А. Сахаров (редактор)
АННА ИОАНОВНА
(Романовы. Династия в романах-9)

АННА ИОАННОВНА – императрица Всероссийская, родилась 28 января 1693 года, коронована 28 апреля 1730 года, умерла 17 октября 1740 года. Вторая дочь царя Иоанна Алексеевича и царицы Прасковьи Фёдоровны (урождённой Салтыковой), Анна Иоанновна росла при довольно неблагоприятных условиях тяжёлой семейной обстановки. Слабый и нищий духом, царь Иоанн не имел значения в семье, а царица Прасковья не любила дочь. Естественно поэтому, что царевна Анна не получила хорошего воспитания, которое могло бы развить её природные дарования. Учителями её были Дидрих Остерман (брат вице-канцлера) и Рамбурх, «танцевальный мастер». Результаты такого обучения были ничтожными: Анна Иоанновна приобрела некоторые познания в немецком языке, а от танцевального мастера могла научиться «телесному благополучию и комплиментам чином немецким и французским», но плохо и безграмотно писала по-русски. До семнадцатилетнего возраста Анна Иоанновна большею частью проводила время в селе Измайлово, Москве или Петербурге под надзором тётки Екатерины и дяди Петра Великого, который, однако, не позаботился исправить недостатки её воспитания и из-за политических расчётов выдал её замуж за герцога Курляндского Фридриха Вильгельма осенью 1710 года. Но вскоре после шумной свадьбы, отпразднованной с разными торжествами и «курьёзами», 9 января 1711 года герцог заболел и умер. С тех пор Анна Иоанновна провела 19 лет в Курляндии. Ещё молодая, но овдовевшая герцогиня жила здесь не особенно весёлой жизнью; она нуждалась в материальных средствах и поставлена была в довольно щекотливое положение среди иностранцев в стране, которая была постоянным яблоком раздора между сильными соседями – Россией, Швецией, Пруссией и Польшей. Со смертью Фридриха Вильгельма и после ссоры его преемника Фердинанда с курляндским рыцарством претендентами на Курляндское герцогство явились князь А. Д. Меньшиков и Мориц Саксонский (побочный сын короля Августа II). Мориц притворялся даже влюблённым в Анну Иоанновну, но планы его были расстроены благодаря вмешательству петербургского кабинета. Во время пребывания своего в Курляндии Анна Иоанновна жила преимущественно в Митаве. Сблизившись (около 1727 года) с Э. И. Бироном и окружённая небольшим штатом придворных, в числе которых особенным значением пользовался Пётр Михайлович Бестужев с сыновьями Михаилом и Алексеем, она находилась в мирных отношениях с курляндским дворянством, хотя и не прерывала связей с Россией, куда ездила изредка, например, в 1728 году на коронацию Петра II, внезапная смерть которого (19 января 1730 года) изменила судьбу герцогини. Старая знать хотела воспользоваться преждевременной кончиной Петра Алексеевича для осуществления своих политических притязаний. В собрании Верховного Тайного Совета, 19 января 1730 года, по предложению князя Д. М. Голицына решено было обойти внука Петра Великого и его дочь. На престол избрана была Анна Иоанновна, а с предложением об этом избрании, под условием ограничения власти, немедленно посланы были в Митаву князь В. Л. Долгорукий, князь М. М. Голицын и генерал Леонтьев. Герцогиня подписала поднесённые ей «кондиции» и, следовательно, обязалась без согласия Верховного Тайного Совета, состоявшего из восьми «персон», ни с кем войны не начинать и мира не заключать, верных подданных никакими новыми податями не отягощать и государственных доходов в расход не употреблять, в придворные чины как русских, так и иноземцев не производить, в знатные чины, как в светские, так и в военные, сухопутные и морские «выше полковничья ранга» никого не жаловать, наконец, у шляхетства «живота, имения и чести» без суда не отнимать. В случае нарушения этих условий

императрица лишалась короны российской. По приезде в Москву императрица, однако, не обнаружила особенного желания подчиниться подписанным ею условиям. В столице она застала целую партию (графов Головкина, Остермана), которая готова была противодействовать олигархическим стремлениям верховников и, быть может, знала, что офицеры гвардейских полков и мелкое шляхетство, приехавшие на предполагавшуюся свадьбу императора Петра II, собираются в домах князей Трубецких, Барятинских, Черкасских и явно высказывают своё недовольство по поводу «властолюбия» Верховного Тайного Совета. Князья эти вместе со многими дворянами допущены были во дворец и уговорили императрицу собрать Совет и Сенат. На этом торжественном собрании 25 февраля 1730 года князь Черкасский подал от шляхетства челобитную, которую прочёл вслух В. Н. Татищев и в которой оно просило императрицу обсудить кондиции и шляхетские проекты выборными от генералитета и шляхетства. Государыня подписала челобитную, но выразила желание, чтобы шляхетство немедленно обсудило поданное ей прошение. После недолговременного обсуждения князь Трубецкой от лица всего дворянства подал императрице адрес, который составлен и прочитан был князем Антиохом Кантемиром. В адресе дворянство просило императрицу принять «самодержавство, благорассудно править государством в правосудии и в облегчении податей», уничтожить Верховный Совет и возвысить значение Сената, а также предоставить право шляхетству в члены Сената «на упалые места», в президенты и губернаторы выбирать «баллотированием». Императрица охотно согласилась принять самодержавие и в тот же день (25 февраля) разорвала незадолго перед тем подписанные ею «кондиции». Так рушилась политическая затея старой московской знати. Князья Долгорукие были сосланы в свои деревни или в Сибирь, а вскоре затем некоторые из них казнены. Князья Голицыны претерпели менее: «сначала никто из них не был послан в ссылку; их только отдалили от двора и от важнейших государственных дел, возложив, впрочем, на них управление сибирскими губерниями».

Анне Иоанновне было 37 лет, когда она стала самодержавной императрицей Всероссийской. Одарённая чувствительным сердцем и природным умом, она, как её отец, лишена была, однако, твёрдой воли, а поэтому легко мирилась с той первенствующей ролью, которую играл её любимый Э. И. Бирон при дворе и в управлении. Подобно деду (царю Алексею Михаиловичу) она охотно беседовала с монахами, любила церковное благолепие, но, с другой стороны, страстно увлекалась стрельбой в цель, псарями, травлей и зверинцами. Старый московский дворцовый чин не мог уже удовлетворять новым потребностям придворной жизни XVIII века. Необыкновенная роскошь мирилась нередко с безвкусием и плохо прикрывала грязь; западноевропейское платье и светская вежливость не всегда сглаживали природную грубость нравов, которая так резко сказывалась в характере придворных развлечений того времени. Императрица оказывала своё покровительство святошам и приживалкам, держала при дворе разных шутов (князя Волконского, князя Голицына, Апраксина, Балакирева, Лакосту, Педрилло), устраивала «машкерады» и курьёзные процессии; из них наиболее известны те, которые состоялись по случаю женитьбы шута князя Голицына и постройки ледяного дома в конце зимы 1739 года. Таким образом, придворная жизнь этого времени уже не регулировалась строгим и скучным ритуалом московского терема, но и не привыкла ещё к утончённым формам западноевропейского придворного быта.

По принятии самодержавия императрица поспешила уничтожить учреждение, которое обнаружило стремление к ограничению её верховной власти. Верховный Совет в 1731 году заменён был Кабинетом, впрочем, равным ему по значению. Кабинет, в сущности, управлял всеми делами, хотя и действовал иногда в смешанном составе с Сенатом. Последний приобрёл большее значение, чем прежде, разделён на пять департаментов (духовных, дел, военных, финансовых, судебных и торгово-промышленных), но решал дела на общих собраниях. Сделана была также попытка (указом 1 июня 1730 года) привлечь «добрых и знающих

людей» из шляхетства, духовенства и купечества к составлению нового Уложения. Но, по случаю неявки большинства выборных к сроку (1 сентября), дело это указом 10 декабря 1730 года поручено ведению особой комиссии, которая работала над составлением вотчинной и судной глав Уложения до 1744 года. Таким образом, просьбы, высказанные дворянством 25 февраля 1730 года, остались далеко не выполненными. Тем не менее, в его положении произошли перемены политического и экономического свойства, перемены, благодаря которым существенно изменилось и его служебное значение. Эти перемены вызваны были, с одной стороны, помимо правительства тем участием, какое принимало дворянство в дворцовых переворотах со смерти Преобразователя, с другой – стремлением самого правительства облегчить сильное напряжение, в котором находилось народное хозяйство со времён Петра. Под влиянием этих причин облегчена была и военная служба. Манифестом 31 декабря 1736 года дозволено одному из шляхетских сыновей, «кому отец заблагорассудит, оставаться дома для содержания экономии»; однако этот сын должен был обучаться грамоте и, по крайней мере, арифметике для того, чтобы быть годным к гражданской службе. Жалование тех из шляхетских детей, которые отправлялись на службу, ещё с января 1732 года сравнено было с жалованием иностранцев, а манифестом 31 декабря самая служба их ограничена двадцатипятилетним сроком, считая её действительной с двадцатилетнего возраста. Вместе с облегчением службы увеличены привилегии землевладельцев. Указом 17 марта 1731 года отменён закон о единонаследии (майорат), окончательно уравнены поместья с вотчинами, определён порядок наследования супругов, причём вдова получала одну седьмую недвижимой и четверть движимой собственности покойного мужа даже и в том случае, если вступала во второй брак. Военная служба была тяжела не только для дворян, но и для крестьян, которые нанимали рекрутов за большие деньги (средним числом сто пятьдесят рублей за каждого). В 1732 году Миних предложил сбирать рекрутов от пятнадцати до тридцати лет по жребию с крестьянских семей, где находится более одного сына или брата, и выдавать рекрутам уверительные письма в том, что если они прослужат десять лет рядовым и не получат повышения, то могут выйти в отставку. Но если во внутренней деятельности правительства заметны довольно значительные отступления от взглядов Петра, то в отношениях к Малороссии и во внешней политике оно, напротив, стремилось выполнить петровские планы. Правда, правительство отказалось от мысли утвердиться на берегах Каспийского моря и в начале 1732 года возвратило Персии завоёванные у неё Петром области. Зато в Малороссии, по смерти гетмана Апостола в 1734 году, нового гетмана не назначили, а учредили «правление гетманского уряда» из шести «персон», трёх великороссов и трёх малороссов, которые под ведением Сената, но «в особливой конторе» управляли Малороссией. В отношении к Польше и Турции также продолжали действовать прежние начала петровской политики. По смерти Августа II Россия в союзе с Австрией стремилась водворить на польском престоле сына его Августа III, который обещал содействовать русским видам на Курляндию и Лифляндию. Но Станислав Лещинский продолжал высказывать свои претензии на польский престол, а бракосочетание его дочери Марии с Людовиком XV усилило влияние его партии. Тогда польская партия, сочувствовавшая избранию Августа, сама обратилась с просьбой о помощи к императрице, которая не замедлила воспользоваться таким случаем. Вслед за появлением двадцатитысячного русского войска под начальством графа Ласси в Литве состоялось избрание Августа (24 сентября 1733 года). Станислав Лещинский бежал в Данциг. Сюда же прибыл Ласси, но осада города пошла удачно лишь с приездом Миниха (5 марта), и с появлением русского флота (28 июня 1734 года) город сдался, и Лещинский принуждён бежать. Осада Данцига продолжалась 135 дней и стоила русским войскам более восьми тысяч человек, а с города взят был миллион червонцев контрибуции. Но русские силы не столько нужны были на северо-западе, сколько на юго-востоке. Пётр Великий не мог без досады вспомнить о Прутском мире и, по-видимому, предполагал начать новую войну с Турцией; в нескольких стратегических пунктах южной Украины он

заготовил значительное количество разного рода военных припасов (муки, солдатской одежды и оружия), которые при обозрении их генерал-инспектором Кейтом в 1732 году оказались, однако, почти все сгнившими и испортившимися. Ближайшим поводом к объявлению войны послужили набеги татар на Украину. Правительство воспользовалось временем, когда турецкий султан занят был тяжёлой войной с Персией и когда крымский хан находился в отлучке с отборными войсками в Дагестане, для открытия военных действий. Тем не менее первая экспедиция генерала Леонтьева в Крым с двадцатитысячным отрядом оказалась неудачной (в октябре 1735 года). Леонтьев потерял более девяти тысяч человек без всяких результатов. Дальнейшие действия были удачнее; они частью обращены были на Азов, частью на Крым. Азовская армия (1736 год) находилась под начальством Ласси, который после довольно тяжкой осады овладел Азовом (20 июня). В то же время Миних взял Перекоп (22 мая) и дошёл до Бахчисарайских теснин, а Кинбурун сдался генералу Леонтьеву. В 1737 году Ласси опустошил западную часть Крыма, а Миних приступил к осаде Очакова, который взят был 2 июля. Осенью того же года храбро защищался генерал Штофелен от осаждавших его турок. Этим, однако, военные действия не закончились. В 1739 году Ласси снова вторгся в Крым с целью завладеть Кафою, а Миних двинулся на юго-запад, одержал блестящую победу при Ставучанах (17 августа), взял Хотин (19 числа того же месяца), 1 сентября вступил в город Яссы и принял от светских и духовных чинов Молдавии изъявление покорности императрице. Но в начале сентября Миних получил приказание прекратить военные действия. Русское правительство желало мира, давно начатая война требовала больших средств и становилась утомительной для самого войска, которое в дикой, степной местности должно было возить с собой не только припасы, но и воду, даже дрова, больных и раненых. Императрица принуждена была заключить этот мир поспешно и далеко не выгодно для России ввиду неудачных действий союзных австрийских войск. Ещё в конце 1738 года русское правительство обещало Карлу VI выслать вспомогательный корпус в Трансильванию, но не могло выполнить своё обещание, так как русским пришлось бы в таком случае пройти через Польшу, а поляки не соглашались пропустить их. Австрийский двор, однако, продолжал требовать высылки этого вспомогательного корпуса. Между тем, неудачные действия австрийских войск и происки французских дипломатов, которые в интересах Франции стремились к разделению двух союзнических дворов, побудили Австрию заключить крайне невыгодный для неё и притом сепаратный, подписанный без ведома союзников, мир с Портой. Лишённая союзников и предвидя близкое окончание войны султана с Персией, императрица решила также заключить (Белградский) мир, по которому Азов остался за Россией, но без укреплений, Таганрогский порт не мог быть возобновлён, Россия не могла держать кораблей на Чёрном море и имела право вести торговлю на нём только посредством турецких судов. Но Россия получала право построить себе крепость на донском острове Черкасске, Турция – на Кубани. Наконец, Россия приобретала кусок степи между Бугом и Днепром. Таким образом, война, которая стоила России до ста тысяч солдат, оказалась бесполезной, как это и предсказывал граф Остерман ещё до начала военных действий. Заключение мира пышно отпраздновано было в Петербурге 14 февраля 1740 года.

Походы Миниха и Ласси не только не принесли почти никаких выгод России, уже истощённой петровскими войнами, но повели к вредным последствиям в сфере государственного и народного хозяйства. В конце царствования императрицы Анны Иоанновны в великороссийских губерниях насчитывалось всего лишь 5 565 259 человек мужского пола и 5 327 929 женского пола. Государственные расходы, между тем, были довольно значительны. В 1734 году, например, на содержание двора требовалось 160 000 рублей, императорской конюшни – 100 000 рублей. На пенсии разным родственникам и родственницам императрицы выходило 77 111 рублей, на жалование и дачи разным гражданским чинам 460 118 рублей, на артиллерию 370 000 рублей, в адмиралтейство 1 200 000 рублей, на войско 4 935 154 рубля. Кроме того, отпущено в две академии (Наук и Адмиралтейскую) – 47 371 рубль, геодезистам и школьным учителям 4500 рублей,

на пенсионные дачи 38 096 рублей, на строения 256 813 рублей и на мелкие, случайные расходы 42 622 рубля. Но эти потребности удовлетворялись, да и то не вполне, лишь при крайнем напряжении народных сил. Тяжёлые подати и повинности, падавшие на незначительное население, и народные бедствия, такие, как голод (в 1734 году), пожары и разбои, приводили народное хозяйство в печальное состояние. Многие крестьяне убегали из бесхлебных мест, так что в деревнях иногда оставалось лишь половина населения, занесённого в последнюю переписную книгу. Снять хлеб было некому, а оставшиеся крестьяне были, между тем, принуждены платить подати за бежавших и разорялись ещё больше. Неудивительно поэтому, что население неисправно платило подати. В 1732 году, например, в губерниях и провинциях надлежало собрать таможенных, кабацких «и прочих» доходов 2 439 573 рубля, а по присланным «репортам» в сборе оказалось всего 186 982 рубля; «а остальные сполна ли в сборе и что в доимке осталось – неизвестно, потому что из многих губерний в провинции репортов не прислано». Для того, чтобы, по возможности, сократить всё более и более нараставшее количество недоимок, правительство, с одной стороны, стремилось облегчить положение тяглых классов, с другой – прибегало к предохранительным и карательным мерам. Первая цель достигалась упорядочением областного управления, например, известным распоряжением о том, чтобы воеводы в городах сменялись каждые два года и по смене отдавали отчёт в своей деятельности перед Сенатом, сложением недоимок, как это было в 1730 году на майскую треть и на первую половину 1735 года, наконец, промышленной политикой, поощрявшей фабричное производство. Так, указом 6 апреля 1731 года дозволено фабрикантам торговать своими товарами в собственных лавках; указом 7 января 1736 года хотя и запрещено фабрикантам покупать деревни, но дозволено приобретать крепостных без земли. Тот же самый указ прикреплял к фабрикам мастеров (но не чернорабочих), бежавших от помещиков, приписывал к фабрикам на пятилетний срок лиц несостоятельных, бродяг и нищих, но не дозволял принимать новых рабочих на фабрики без паспортов, заботился об устройстве технических школ при фабриках, давал даже слишком большие права фабрикантам наказывать рабочих, поручал надзор за фабриками и определение торговых оборотов каждой из них Коммерц-коллегии, и, наконец, фабрикантов и выдававших себя за таковых для посторонних целей лишал привилегий, дарованных законом лицам этого состояния. Центральное управление по торговой части несколько видоизменилось ещё по указу 8 октября 1731 года; по этому указу Мануфактур-контора и Берг-коллегия соединены с Коммерц-коллегией, которая разделена на три секции, заведовавшие горным делом, мануфактурами и торговлей. В царствование Анны Иоанновны обращено также внимание на горное дело. В 1733 году учреждена особая комиссия под председательством графа М. Головкина для решения вопроса, полезнее ли содержать горные заводы на казённые средства или отдавать их частным лицам. Вопрос этот, не решённый комиссией 1733 года, снова обсуждался в комиссии 1738 года. Последняя решила, что выгоднее горное дело предоставить частной предприимчивости, что и утверждено было государыней. Ещё за четыре года до созыва этой комиссии, для приведения в порядок горного дела, в Сибирскую и Казанскую губернии послан был В. Н. Татищев, который, однако, не успел докончить начатого им дела; он возбудил недовольство Бирона, ибо обнаружил злоупотребления герцога, который под подставным именем выписанного им из Саксонии барона Шенберга взял казённые заводы себе в аренду и сделал Шенберга начальником Берг-директориума, заменившего Берг-коллегию, и устроенного бюрократически, а не коллегиально. Кроме забот о промышленности, горном деле и торговле, правительство стремилось пополнить недостаток частного кредита, хотя в этом случае и имело в виду скорее казённые, чем частные выгоды. В 1733 году велено было открыть заём из монетной конторы под восемь процентов, а также под залог золота и серебра, которые четвертью доли превосходили бы выданные деньги; «но алмазных и прочих вещей, также деревень и дворов под заклад и на выкуп не брать». При годовом сроке займа дозволялась, однако, трёхлетняя рассрочка.

Но все эти попечения правительства о поднятии уровня народного благосостояния далеко не вполне приводили к желанной цели. В 1740 году недоимок можно было насчитать «несколько миллионов». Поэтому принимались строгие меры относительно розыска беглых крестьян, учреждён особый доимочный приказ, из которого дела по сбору недоимок впоследствии перешли в канцелярию конфискации, а с 1738 года в доимочную комиссию. Учреждена была также особая генеральная счётная комиссия, впрочем, скоро упразднённая, и восстановлена Ревизион-коллегия, для которой был составлен особый регламент, по которому коллегия получала «вышнюю дирекцию в свидетельстве и в ревизии счетов о всех государственных доходах и расходах, какого бы звания они ни были», начиная с 1732 года.

Внешняя политика направляла правительственную деятельность и народный труд к выполнению не особенно плодотворных целей. Тем не менее, внимание правительства не настолько поглощено было этими целями, чтобы вовсе не обращать внимания на потребности народного образования. При академии, как известно, читались лекции «российскому юношеству»; впрочем, с 1733 по 1738 год таких лекций «не преподано». В 1731 году по предложению Миниха основан Кадетский корпус, состоявший первоначально из двухсот, затем из трёхсот шестидесяти воспитанников. Обязательными для всех были закон Божий, арифметика и «военные экзерциции»; остальным наукам также, как и языкам, учился кто хотел. По указу 1737 года недоросли, шляхетские дети, когда являлись во второй раз в Петербурге к герольдмейстеру, в Москве и губерниях к губернатору, то должны были знать читать и писать; отцу или родственникам, желавшим было продолжить это воспитание, дозволено было приводить детей через четыре года, но уже со знанием закона Божия, арифметики и геометрии. Наконец и после третьего смотра шестнадцатилетних недорослей в Москве или Петербурге возможно было молодым людям оставаться при родителях, но с обязательством изучить географию, фортификацию и историю. В двадцать лет назначалась последняя явка в герольдию, причём тех из шляхетских детей, которые обнаруживали наибольшие успехи в науках, скорее других производили в чины. Кроме образования высших классов, правительство обратило внимание и на образование низших слоёв общества. Указом 29 октября 1735 года велено было устраивать школы при фабриках для детей фабричных рабочих, а 12 декабря того же года велено основать церкви при фабриках с многочисленным персоналом, если эти фабрики отдалены от приходских церквей. Впрочем, 28 сентября 1736 года издано было распоряжение, по которому всех церковнослужителей, не присягавших императрице, велено было взять в солдаты. От этого в 1740 году церквей без причта, праздных, оказалось до шестисот.

Наука и литература в царствование императрицы Анны Иоанновны также имели своих довольно видных представителей. В. Н. Татищев знакомился с рукописями, издавал Судебник, составлял свой лексикон, написал известную «Историю Российскую», наставлял сына в своей духовной. Байер, «профессор антиквитетов», занимался исследованием скифо-сарматской древности, бывший лейпцигский студент Герард Миллер участвовал в Камчатской экспедиции в 1733 году, собирал памятники, касавшиеся истории Сибири, и издавал рукописные тексты; академики Гольдбах, Делил, Винигейм, Гензиус, Дювернуа, Крафт, Эйлер, Вейбрехт, Аммон – занимались изучением математических и естественных наук. Князь Ан. Кантемир переводил Анакреона, Юстина и других писателей, а также в известных своих сатирах выставлял недостатки современного ему общества. В. Тредиаковский составлял «Новый и краткий способ к сложению стихов российских» (издан в 1735 году), занимался переводами и упражнялся в стихотворчестве. В области духовной литературы продолжалась полемика, которая возбуждена была изданием «Камня веры» Стефана Яворского. В этой полемике принимал деятельное участие Феофилакт Лопатинский, написавший «Апокризис и возражение на письмо Буддея» и сочинение «О лютеранской и кальвинской ереси».

Несмотря на заметное развитие науки и литературы при Анне Иоанновне, положение государства в последние годы её царствования было довольно

печальным. Петровские войны и тяжёлые походы 1733—1739 годов, а также жестокое правление и злоупотребления Бирона давали себя чувствовать, вредно отзывались на состоянии народного хозяйства. Если служебные обязанности шляхетства и были облегчены в некоторых отношениях, то податные обязанности по-прежнему тяжёлым бременем ложились на низший класс и становились ещё тяжелее под влиянием той строгости, с которой производилось взимание недоимок. При таких условиях власть землевладельцев над крестьянами чувствовалась сильнее. Неудивительно поэтому, что кое-где замечаются вспышки народного неудовольствия. Сохранились известия, например, о появлении в селе Ярославцево Киевского полка лжецаревича Алексея Петровича, которого поспешили признать местный священник и солдаты; есть сведения о заговоре против жизни хозяина, составленном рабочими на Ярославской полотняной фабрике Ивана Затрапезного в 1739 году, о возмущении крестьян против одного из данковских помещиков, причём для их усмирения понадобилось содействие «городской команды». С 1735 года по 1740 год происходило несколько восстаний башкирцев, к которым с 1738 года присоединились и киргизы. Их усмиряли А. Румянцев, В. Татищев и князь В. Урусов. Ропот и неудовольствие возбуждали подозрения правительства; лазутчики роились всюду. Терпели не только низшие классы, но и некоторые из представителей аристократии, если чем-либо мешали усилению Бирона. Фельдмаршал князь В. В. Долгорукий был сослан, в 1733 году также сослан был ни в чём не повинный князь А. Черкасский. Указом 12 ноября 1739 года обнародовано, что князю Ивану Долгорукому после колесования отсечена голова, что тому же наказанию подвергнуты князья Василий Лукич, Сергей и Иван Григорьевичи и что князья Василий и Михаил Владимировичи сосланы; Алексей Васильевич Макаров содержался под арестом. Наконец известна печальная судьба А. П. Волынского, который восстановил против себя бывшего своего покровителя Остермана и Куракина. Обвинённый в государственных преступлениях, он был казнён 27 июня 1740 года вместе с несколькими сообщниками; других били кнутом и сослали в Сибирь на каторжную работу. Тяжело было правление временщика; но ропот и неудовольствие народное благодаря его стараниям почти вовсе не доходили до императрицы. Притом в последнее время Анна Иоанновна чувствовала себя не совсем здоровой. 5 октября 1740 года за обедом ей стало дурно, а 17 числа того же месяца она скончалась, назначив преемником малолетнего Иоанна Антоновича и регентом до его совершеннолетия Бирона, герцога Курляндского.

Энциклопедический словарь,
Изд. Брокгауза и Ефрона.
т. ІБ СПб, 1890 г.

М. Н. Волконский
КНЯЗЬ НИКИТА ФЁДОРОВИЧ
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН В ТРЁХ ЧАСТЯХ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«Ты защищал, Господи, дело души моей, искуплял жизнь мою».
«Плач Иеремии», гл. III, ст. 58.

I
МИТАВА

По воле государя князь Никита Фёдорович Волконский был записан в Преображенский полк и отправлен в числе других молодых людей за границу для обучения разным наукам и

искусствам. Он безостановочно ехал морем от Петербурга до Риги, откуда должен был продолжать путешествие на лошадях, направляясь в Курляндию, на Митаву[1]. Два года тому назад Рига, сдавшаяся русскому оружию, вошла уже в состав Российской империи[2], и, согласно данному царём приказанию ни минуты не останавливаться в пределах России, Никита Фёдорович не мог мешкать в этом городе. Только в Митаве мог он отдохнуть.

Он остановился здесь у товарища своего детства Черемзина, занимавшего, по своему придворному положению, небольшую квартиру в самом замке Кетлеров, служившем резиденцией герцогини Курляндской.

Черемзин, разбитной молодой человек, побывавший за границей, в Париже, живо впитал в себя верхи европейской образованности и покрылся лаком внешнего приличия, созданного щепетильным этикетом блестящего двора Людовика XIV. Это было всё, что он вынес из своего пребывания за границей; впрочем, он привёз с собою оттуда также несколько ящиков книг, красиво переплетённых, но не прочитанных.

На другой же день своего приезда в Митаву Волконский побывал у русского резидента в Курляндии Бестужева[3], силою царя Петра управлявшего всем герцогством, согласно воле своего государя.

Бестужев, к которому у князя Никиты было рекомендательное письмо из Петербурга, принял его ласково, пригласил к себе на обед, расспросил о петербургских знакомых, о государе, о дворе и тут же представил своей дочери Аграфене Петровне.

В гостиной Бестужева пахло какими-то очень сильными, должно быть, восточными курениями, стояла золотая мебель, обитая голубым штофом, и блестел, как зеркало, вылощенный, натёртый воском паркет. Князь Никита видал роскошь, видал богатые дома в Петербурге, недавно выросшем на болотах, и в Москве, но там всё было далеко не то, что здесь. Не было этой блестящей чистоты, отделанности, законченности и вместе с тем кажущейся простоты.

Молодая хозяйка дома тоже казалась вовсе не похожей на тех, вечно робевших и боявшихся взглянуть, не только говорить, молодых девушек, полных и румяных, которых Никита Фёдорович видал до сих пор. Бестужева не только не робела пред ним, но, напротив, он чувствовал, что сам с каждым словом всё больше и больше робеет пред нею и не смеет поднять свои глаза, глупо уставившиеся на маленькую, плотно обтянутую чулком, точёную ножку девушки, смело выглянувшую из-под её ловко сшитого шёлкового платья.

Волконский не знал, как и вовремя ли он встал, поклонился и вышел осторожно, чтоб не поскользнуться, ступая по паркету. Выходя, он решил, что больше не поедет к Бестужеву.

– Ты понимаешь, – сказал он в тот вечер Черемзину, – что мне здесь у вас не нравится? Видишь ли, воли нет, простора, всё тут сжато. Вот и дома. Они, пожалуй, и больше наших московских, а всё-таки как-то давят; не хоромы они… Так и всё. Дворец вот…

– Замок, – поправил Черемзин.

– Ну, замок, что ли… Ты посмотри: окошечки узенькие, стены толстые, рвы, валы кругом. Да и люди тоже, скажу тебе, все в себя сжались, точно весь мир они только и есть,

---

[1] Митава (после 1917 г. – Елгава) – столица Курляндского герцогства, образовавшегося при распаде Ливонского ордена. Курляндское герцогство было вассалом сначала Великого Княжества Литовского, затем – Речи Посполитой (с 1569 г.) и наконец России (с 1710 г.). Кроме Митавы, в герцогство входили города Либава (Лиепая), Виндава (Вентспилс), Венден (Цесис), Пернава (Пярну), Вольмар (Валмиера), Иллукс (Иллуксте), Туккум (Туккумс). В 1795 году герцогство присоединено к Российской империи под названием Курляндской губернии.

[2] В ходе Северной войны русская армия под командованием гр. Шереметева овладела Ригой (1710 г.).

[3] Пётр Михайлович Бестужев-Рюмин (1664—1743) в 1712 году был назначен обер-гофмейстером при дворе герцогини Курляндской Анны Иоанновны.

точно всё существо жизни они притянули к себе, да сдавили его. Разве так, без воли, проживёшь?

– Это ты, должно быть, с дороги устал, мой милый, – возразил Черемзин. – А, впрочем, если желаешь простора, выйди погулять за город: там, брат, такой уж простор – прелесть…

– Что ж, и пойду, – согласился Волконский, – а то здесь просто душно… Ты не пойдёшь? – спросил он уже со шляпой и тростью в руках.

Черемзин зевнул, закинул руку за голову и отрицательно покачал головой.

– Ну, так я один пойду.

– Смотри, не опоздай вернуться – после заката в замке поднимут мост, – крикнул Черемзин ему вслед.

Выйдя из замка, Волконский направился прямо в поле по первой попавшейся дороге.

Вечер был тих и прекрасен. С лугов веяло запахом скошенного сена, и дышалось легко. Солнце садилось, окрашивая небосклон нежными красками то огненного, то желтовато-бледного заката. Волконский, испытывая особенное наслаждение поразмяться после сиденья в неудобном экипаже, шёл, объятый прелестью этого летнего вечера.

Через несколько времени он остановился, чтобы перевести дух. Сзади открылся ему вид на плоскую, окружённую зеленью Митаву, с её длинными шпицами лютеранских церквей и силуэтом тёмного замка. Черепичные кровли домов, окружённые тёмно-зелёными кущами дерев, румянились косыми лучами заката, отражавшегося с этой стороны в изгибах реки, прозрачной и светлой.

Вдалеке, у конца расстилавшейся от ног Никиты Фёдоровича прямой, сужавшейся к городу дороги скакали несколько лошадей.

Впереди других Никита Фёдорович разглядел амазонку, которая подгоняла хлыстом свою и без того скакавшую широким галопом большую серую лошадь. Остальные, видимо, едва могли следовать за нею. На амазонке было тёмно-зелёное широкое платье с бархатною красною накидкой, красиво развивавшеюся на ходу лошади. Она быстро приближалась по дороге, подымая отягощённую вечернею сыростью пыль. Ещё несколько секунд, и Никита Фёдорович узнал в ней Бестужеву.

Он узнал её, хотя теперь она была совсем другою, чем там, у себя дома. Она сдержала уже свою лошадь и вполоборота разговаривала с нагнавшим её русским драгунским офицером. Тот, поднявшись на стременах и почтительно склонившись вперёд, слушал её, как бы гордясь своею собеседницей.

Волконский никогда ещё не видал такой девушки. Тут не красота, не стройность, не густые брови и быстрые большие глаза притягивали к ней; нет, она вся дышала какою-то особенною, чарующею прелестью. Она легко и свободно сидела в седле, видимо, уверенная не только в каждом своём движении, но и в том, что каждое это движение хорошо и красиво, потому что в ней всё было хорошо. Никита Фёдорович смотрел на неё, забыв то смущение, которое испытывал при первом знакомстве, – забыв потому, что теперь пред ним была не Бестужева, не дочь важного сановника могучего Петра, но чистое, нездешнее, неземное существо, на которое мог радоваться всякий живущий. А она, не заметив даже Волконского, ударила лошадь и промчалась быстрее прежнего.

Он пошёл обратно в город большими шагами. Он, конечно, не мог знать, какое у него было в это время блаженное, радостное лицо, с блестевшими глазами и счастливою улыбкою, но, радуясь, чувствовал во всей груди какой-то необъяснимый трепет и неудержимую удаль. Теперь всё казалось уже прекрасным. Даже холодные, мрачные своды замка получили некоторую привлекательность, и Никита Фёдорович удивлялся лишь, как прежде он не замечал, что всё в Митаве так хорошо и приятно.

Его отъезд был отложен на неопределённое время. Впрочем, это случилось как-то само собою. Он просто не приказывал своему старику слуге Лаврентию укладывать вещи, а тот не напоминал. Черемзину тоже не приходило в голову сделать своему гостю такое напоминание, и Волконский оставался в Митаве, забыв, что должен отправиться дальше по приказу грозного и не любившего ослушания государя.

Волконский приехал в Митаву в смешном, грубом наряде, неповоротливый, застенчивый и, может быть, даже неуклюжий; но всё это быстро, как лишняя кора, упало с него, благодаря влиянию обстановки, в которой очутился князь Никита и которая, видимо, вовсе не была чужда его природе врождённым чутьём отгадавшей, что именно нужно.

Привезённый из Петербурга парадный кафтан из серебряного глазета, расшитый руками крепостных золотошвеек по карте золотою канителью, битью и блёстками, оказался не только скроенным не по моде, но и сидел настолько неуклюже, что его пришлось заменить новым, хотя и более простым, но зато более ловким и красивым. Затем явилась бездна мелочей, незаметно привившихся к внешней жизни Волконского. Черемзин, находя всё это совершенно естественным, не замечал этой перемены в князе, так же как и он сам.

Из русских книг, прочитанных прежде Волконским, он знал, что французы «зело храбры, но неверны и в обетах своих не крепки, а пьют много», «королевства англиканского немцы купеческие доктуроваты, а пьют много». Дальше этого сведения русских книг не распространялись. Черемзин рассказал князю Никите подробно и о французах, и о других народах, которых видел. О том, чего не видел Черемзин, князь Никита узнал из его книг, из которых оказывалось, что свет вовсе не так необыкновенен, как описывалось в русских сочинениях, говоривших «о людях, кои живут в индейской земле, сами мохнаты, без обеих губ, а питаются от древа и корения пахучего, не едят, не пьют, только нюхают и, покамест у них запахи есть, по то место и живут».

– Знаешь что, – сказал однажды Волконский Черемзину, отрываясь от немецкой книги, – всё-таки мне прежнего жаль.

– Чего прежнего? – удивился Черемзин.

– Да вот того, что описывается в наших книгах… Там есть такие рассказы, например, о царстве девичьем…

– Вот вздор! – усмехнулся Черемзин.

– Может быть, конечно, и вздор. Я вот из одной этой «Космографии», – Волконский кивнул на книгу, – понимаю, что всё это – вздор; это-то мне и жаль… Неужели всё на свете так же вот просто, как мы с тобою?

– Во-первых, мы с тобою вовсе не так просты, – ответил Черемзин, хотя и немного читавший, но тем не менее способный поддержать всякий разговор, – кто тебе это сказал? А во-вторых, есть на свете довольно чудесного и без девичьего царства.

Волконский задумался.

– Вот, – начал Черемзин, – послезавтра у Бестужевых будет немец…

– Какой немец? – спросил Волконский, чувствуя, что при имени Бестужевых краска бросается ему в лицо.

– Кудесник-немец, до некоторой степени особенный, судя по рассказам. Я один раз во Франции встретил подобного человека. Они попадаются. Если тебя интересует – пойдём вместе. Немец здесь проездом. Да, отчего ты не бываешь у Бестужевых? Там раз как-то даже спрашивали о тебе, – добавил Черемзин.

– Кто спрашивал? – не вытерпел Волконский, тут же досадуя на себя за это, потому что ещё минута – и его волнение могло быть заметно Черемзину.

Но тот совершенно равнодушно ответил:

– Право, не помню, кто именно, знаю, что говорили…

На этом разговор прекратился, но Волконский так и заволновался весь. Он жил всё это время полный своими мечтами, в каком-то восторжённом состоянии. Однако, когда Черемзин такими простыми словами и таким равнодушным голосом сказал, что он, Волконский, может пойти к Бестужевым, Никита Фёдорович почувствовал вдруг безотчётную боязнь за своё чувство, как будто оттого, что он пойдёт туда, может случиться или что-нибудь ужасное, или… Никита Фёдорович не знал, что следовало за этим «или». Он знал только, что сердце его бьётся, и кровь приливает к вискам.

Несмотря на это, теперь, после разговора с Черемзиным, он страстно, со всё увеличивающимся желанием начал ждать назначенного у Бестужевых вечера.

II
КУДЕСНИК

Гости съезжались, когда Волконский с Черемзиным подъехали к дому Бестужева. Никита Фёдорович по крайней мере уже раз сто представлял себе, как он войдёт, как увидит дочь Бестужева и как вообще всё это будет. Аграфена Петровна встретила его совершенно просто, равнодушно ответив на глубокий, почтительный поклон кивком головы, таким же, каким ответила Черемзину и всем другим. Но от этого, разумеется, она не сделалась хуже; напротив, она была ещё лучше, чем воображал Никита Фёдорович. И этот её небрежный поклон был всё-таки поклоном, обращённым к нему, и потому получал особенную прелесть.

Поздоровавшись с хозяевами, Волконский стал оглядывать гостиную. Лучше всех была, разумеется, молодая хозяйка. Все молодые люди, пышно разодетые, были вокруг неё, оставляя в стороне прочих дам, скучно и вяло сидевших в золочёных креслах.

Даже старики оберраты, толстые и солидные, которые держали себя очень важно и к которым то и дело подходил с любезной улыбкой сам Бестужев, казалось, радовались, глядя на его дочь, освещавшую всё собою. Одна только молодая дама в тёмном, не совсем ловко сшитом платье сидела отдельно на диване, сдвинув брови над довольно широко поставленными глазами и, сложив губы в принуждённую улыбку, лениво обмахивалась веером, как бы не желая ни на что обращать внимания. Эти широко поставленные глаза, улыбка, а главное – ровный большой прямой нос и два спускавшиеся прямо на лоб дамы завитка неприятно поразили Волконского, когда он взглянул на неё. Он заметил, что все, почтительно поклонившись, как-то обходили её, и только хозяин старался изредка занять её разговором, но она улыбалась ему широкой улыбкою и отвечала, видимо, односложными словами, слегка позёвывая под веером.

Среди бархатных и шёлковых расшитых кафтанов особенно отличался своим чёрным с ног до головы одеянием приезжий немец, для которого съехались сегодня к Бестужеву и который сидел теперь у окна с самым солидным и толстым оберратом. Сначала все разговаривали, будто не обращая внимания на немца, но затем мало-помалу гостиная как-то сама собою приняла то расположение, которое было необходимо. Чёрный немец очутился в средине большой дуги, образованной рядом кресел, на которых поместились старики; молодёжь, окружавшая хозяйку, сгруппировалась по-прежнему возле неё, и все незаметно придвинулись; только дама в тёмном платье осталась по-прежнему в отдалении на своём диване. Разговор становился всё более и более отрывочным, смех делался сдержанным, все точно ждали и прислушивались, думая, что вот-вот сейчас начнётся самое интересное. Но немец, спокойно продолжая разговаривать с оберратом, ничего «не начинал» и ничего необыкновенного не показывал.

«Может быть, всё это – вздор», – мелькнуло у некоторых из гостей.

Аграфена Петровна поняла, что нужно вызвать немца на разговор, которого все ждали.

– Господин доктор, – обратилась она к нему по-немецки с откровенною решительностью, свойственною только хорошеньким женщинам, уверенным в том, что им будет позволено и всякое желание их исполнено.

Чёрный доктор склонился, почтительно слушая. Бестужева прямо поставила вопрос ребром:

– Мне говорили, что вы – особенный человек и обладаете такими удивительными знаниями, что вам доступны вещи сверхъестественные…

Немец, прищурив глаза, ответил:

– Могу вас уверить, что на земле нет ничего сверхъестественного… Всё очень просто и обыкновенно, если знать, и только для незнания таинственно.

– Ну, это нам всё равно, – задорно сказала Бестужева, – мы ждём от вас чего-нибудь такого… удивительного…

И она улыбнулась немцу, смягчая этою улыбкой резкость своей намеренной

откровенности.

– Извольте, – согласился доктор, улыбаясь в свою очередь. – Ровно сто лет тому назад…

Все притихли, довольные, что «началось»; одна лишь Бестужева не могла успокоиться.

– Что же это будет, доктор? История? – спросила она.

– Ровно сто лет тому назад, – продолжал он, не слушая, – в этот самый час был окружён врагами один монастырь, где заперся с небольшим отрядом ратников военачальник, твёрдо решивший не сдаваться. Напрасно враги шли на приступ, напрасно лезли на высокие стены и ломились в ворота – все усилия их были напрасны. Наконец нашлись двое изменников, которые тайно впустили врагов внутрь монастыря; они вошли ночью и бросились на его защитников. Военачальник с горстью ратников кинулся в церковь и там был убит, защищаясь до последней возможности, кровь его, пролитая на церковный пол, так и осталась на камне; когда её смывали, она выступала вновь…

– Это был, вероятно, немецкий монастырь? – самоуверенно спросил оберрат. – Я помню нечто даже подобное в истории м о е г о рода…

Все находившиеся в гостях у Бестужева немцы, которых тут было гораздо больше, чем русских, невольно постарались припомнить, не случилось ли такой истории и в их роде, которым каждый из них гордился, зная чуть ли не наизусть всю свою родословную.

– Нет, – продолжал доктор, – монастырь был русский… Вам знаком этот случай, князь? – вдруг обратился он к Волконскому.

Никита Фёдорович почувствовал, что все взгляды обращаются на него, что все – и с ними она тоже – смотрят на него. Рассказ про своего родного прадеда, погибшего при осаде Боровского монастыря[4], он часто слышал в своей семье ещё в детстве, но не мог понять, откуда этот приезжий, случайно встретившийся с ним немец знает и этот рассказ и, наконец, самого его. Бестужева действительно вместе с другими глядела теперь на князя Никиту. Худой, высокий и стройный, он стоял, опустив голову. До этой минуты он был для неё одним из молодых людей, составлявших толпу, на которую она всегда смотрела равнодушно, не обращая ни на кого особенного внимания, привыкнув к общему подчинению себе. Она знала, что несколько времени тому назад приехал в Митаву какой-то князь Волконский, что он был раз как-то у них, но какой он именно, не помнила. Теперь она смотрела на его довольно редкие, но приятные черты, на его высокий, бледный лоб и глубокие глаза, и странно – что-то особенное показалось ей в этом человеке, точно он не похож на остальных, точно его лицо светится как-то особенно для неё и в его глазах она может читать всю его душу.

– Всё это очень хорошо, – обратилась она к доктору, – но я не понимаю, зачем вы рассказали эту историю про… князя… – добавила она, не найдя другого выражения и показывая веером в сторону Волконского.

– Почему я рассказал и м е н н о эту историю? – ответил доктор. – Не знаю, но расскажи я всякую другую – вы смогли бы сделать мне тот же вопрос. Но почему я вообще рассказал вам что-либо, так это вследствие вашей просьбы…

– Да что же тут удивительного? – воскликнула Бестужева с некоторой обидой, выражавшейся у неё обыкновенно в лёгком дрожании подбородка.

– Как? Разве не удивительно в самом деле то, что я вот, сидя здесь, в покойном кресле, знаю, что случилось сто лет тому назад, когда ни меня, ни вас не было и никто не думал о нас?

– Да, но вы могли прочесть этот рассказ где-нибудь или услышать, то есть сделать то, что доступно каждому из нас, – возразил один из оберратов, считавшийся самым умным в совете.

---

[4] Михаил Константинович Волконский (прадед Никиты Фёдоровича) погиб при осаде поляками Боровского Рождественского Пафнутьева монастыря в 1610 году.

– Совершенно верно, – согласился доктор, – и вас это не удивляет лишь потому, что вы сами можете сделать это…

– Ну, конечно, – нетерпеливо перебила Бестужева, – я понимаю, если бы вы рассказали нам будущее…

– Тогда бы вас это удивило?

– Разумеется, это было бы интересней.

– А мне кажется, что это решительно всё равно; почему, собственно, труднее знать будущее, чем прошедшее?

– Ах, Господи, как почему? Да прошедшее, в особенности такое, как вы рассказали, каждый ребёнок, умеющий читать, может знать.

– А, вот вы сказали: «умеющий читать»! Видите, нужно и для знания прошедшего поучиться чему-нибудь, – значит, это вовсе не так просто, как вы думаете! – возразил доктор. – Этак ведь можно точно так же поучиться читать и о том, что будет, и тогда для человека знающего, согласитесь, пропадёт всякая разница в отношении знания для прошлого и будущего…

– Ну, а вы будущее можете нам сказать? – настаивала Бестужева.

Доктор, улыбаясь, поднял плечи.

– Что вам угодно знать? – проговорил он.

– Позвольте! Ну, вот здесь нас, – Бестужева оглянулась, – человек тридцать, я думаю… Чья судьба вас интересует больше других?

Аграфене Петровне главным образом, как и каждому из присутствовавших, хотелось узнать свою собственную судьбу; но она нарочно, не желая говорить о себе, поставила вопрос так, будучи уверена, что, разумеется, самою интересною будет найдена её судьба. Дочь первого лица не только в городе, но и во всей Курляндии, она уже давно привыкла к лести, которою тешили её самолюбие все окружающие, отчасти вследствие высокого положения отца, а отчасти и вследствие собственного её ума, молодости и красоты.

– Наиболее интересная судьба ожидает князя, – заговорил доктор и опять обернулся в сторону Волконского, и все снова стали смотреть на него. – Вам в жизни предстоит много борьбы духовной – и победа останется за вами. Не отчаивайтесь! Будьте бодры! В положении самом жалостливом вы будете всё-таки выше людей, вас окружающих. Может быть, мы встретимся ещё когда-нибудь, – заключил доктор серьёзным, мерным голосом, каждый звук которого отдавался в сердце Никиты Фёдоровича.

«Так вот он какой – этот Волконский! – думала Аграфена Петровна, взглядывая на князя Никиту. – Вот что!..»

И она не могла не ощутить горделивого сознания, что вот человека, которого о н а видит теперь совсем молодым, и который, вероятно, вместе с другими робеет пред нею, ждёт впереди совершенно особенная, таинственная будущность, отличная от будущего других.

Доктор, собственно, ничем не мог сию минуту подтвердить сделанное им предсказание. Известно было только, что он никогда не видал Волконского, и никто не мог говорить ему о нём, потому что, кроме Черемзина, почти никто не знал в Митаве князя, вовсе не принадлежавшего к жизни города. Это было странно. Но не это заставило всех поверить словам немца. Особенное доверие возбуждал его мерный, серьёзный голос, который, казалось, никогда не говорил неправды.

– Ну, а из женского находящегося здесь общества, – снова спросила Бестужева, желая всё-таки добиться своего, – кому вы подскажете будущность?

Доктор поднялся со своего места, налил из стоявшего на столе у стены графина воды в стакан и достал из кармана складную серебряную ложку.

Все в комнате с напряжённым вниманием следили за малейшим его движением. Он вынул из канделябра восковую свечу и, отломив от неё кусок и распустив его в своей ложке, быстро вылил расплавленный воск в стакан.

Бестужева не сомневалась, что гадание делается для неё, и, внимательно вытянув шею, старалась рассмотреть, какую фигуру принимает застывший в прозрачной воде воск. Доктор

поднял стакан на свет и разглядывал его.

«Неужели?» – мелькнуло у Бестужевой.

В стакане ясно очерчивалась фигура короны.

Немец вынул воск, расплескав воду, и действительно тот имел форму подушки с кистями по углам, на которой лежала ажурная тонкая императорская корона со скипетром и державою.

Бестужева, краснея от удовольствия, опустила глаза, чувствуя, что взгляды всех присутствующих обращаются к ней, и все лица улыбаются ей, склоняясь, и что чёрный доктор сейчас подойдёт к ней. Но он, как бы сам поражённый, быстро выпрямился, твёрдыми большими шагами прошёл чрез комнату и, опустившись на одно колено, подал фигуру короны сидевшей в отдалении даме в тёмном платье.

Это была герцогиня Курляндская, Анна Иоанновна – будущая императрица Всероссийская.

III
ГЕРЦОГИНЯ КУРЛЯНДСКАЯ

Анна Иоанновна скучала в своей Курляндии, как только может скучать полная сил двадцатилетняя женщина, овдовевшая через два с половиною месяца после свадьбы, с детства привыкшая к огромному дому, полному всякой прислуги, приживалок и гостей, и заключённая, как в темницу, в пустынный средневековый замок с толстыми сводчатыми стенами, под которыми невольно стихала всякая попадавшая туда жизнь. Положение герцогини не только не спасало её, но, напротив, служило главною причиной её одиночества и заключения. Дочь покойного Иоанна Алексеевича, родного брата и соправителя по престолу царя Петра, она не помнила своего отца, умершего, когда ей было всего три года. Она выросла в родном селе Измайлове на попечении матери, царицы Прасковьи, вместе с двумя своими сёстрами, из которых она была среднею.

В пятнадцать лет царевна Анна Иоанновна, благодаря своим не по возрасту формам и окрепшим мускулам, не казалась уже подростком.

В это время император Пётр потребовал всех членов своей семьи в Петербург, и царица Прасковья, всегда послушная желаниям своего деверя, поспешила переехать туда с дочерьми. Царь Пётр, помня кроткий нрав и подчинение своего покойного брата и видя послушание царицы Прасковьи, ласкал её дочерей и заботился о них. Анна Иоанновна стала веселиться в Петербурге, где потянулась длинная вереница выездов, катаний, обедов, фейерверков, на которых она присутствовала вместе со всей царской семьёй, окружённая почётом и вниманием. Так прошло два беззаботных года, когда, наконец, раздалось над нею страшное слово «замуж».

Сам царь Пётр выбрал племяннице жениха. Ещё в октябре 1709 года он сговорился при свидании в Мариенвердере со своим политическим союзником, королём прусским, обвенчать русскую царевну с племянником короля, Фридрихом Вильгельмом, герцогом Курляндским. Этот брак нужен был Петру, чтобы, с одной стороны, вступить в свойство с прусским королевским домом, а с другой – приобрести влияние на Курляндские дела, и он назначил невестою немецкому принцу родную племянницу свою, Анну Иоанновну.

Жених не замедлил явиться в Петербург, после того, как вопрос о приданом был тщательно обсуждён и решён его послами с русским правительством.

Свадьба справлялась целым рядом празднеств и затей. На одном из пиршеств, например, подали два огромных пирога, из которых выскочили две разряженные карлицы и протанцевали менуэт на свадебном столе. В то же время была сыграна потешная свадьба карликов, для чего их собрали со всей России до полутораста.

Пиры и празднества закончились небывалою попойкою, после которой молодого замертво уложили в возок и отправили вместе с женою домой в Курляндию. Но герцог мог доехать только до мызы Дудергоф и здесь, в сорока верстах от Петербурга, скоропостижно

скончался.

Смерть мужа оставила Анну Иоанновну вдовою без воспоминаний о супружеском счастье и герцогинею без связанных с этим титулом значения и власти. По политическим расчётам Петра она всё-таки должна была отправиться в Курляндию. Герцогский жезл получил там, после кончины Фридриха Вильгельма, последний потомок Кетлеров, герцогов Курляндских, семидесятилетний Фердинанд, нерешительный и трусливый, не любимый народом, неспособный к управлению и постыдно бежавший с поля сражения во время Полтавской битвы, где должен был находиться в рядах шведских союзников. Он не хотел явиться в Митаву, жил, ничего не делая, в Данциге и предоставил своё герцогство управлению совета оберратов. На самом же деле Курляндиею управлял резидент русского государя Пётр Михайлович Бестужев, присланный в Митаву в качестве гофмаршала вдовствующей герцогини Курляндской.

Анна Иоанновна не могла не чувствовать, что она в Митаве – второстепенное лицо, и что все знаки внешнего почёта и уважения, которые оказывались ей, служат лишь для того, чтобы исключить её из митавского общества, веселившегося по-своему и недружелюбно относившегося к ней. Немцы-курляндцы, видимо, не любили бывшей русской царевны, иноземки, почти насильно посаженной им в герцогини; русские же составляли свой кружок, в котором на первом месте была молодая, весёлая и хорошенькая дочь Бестужева, пользовавшегося обаянием действительной власти и силы. Таким образом, положение герцогини только уединяло Анну Иоанновну, связывало правилами этикета и лишало возможности жить так, как хотелось ей, то есть пользоваться наравне с другими жизнью в своё удовольствие. Она пробовала собирать у себя гостей. Они являлись аккуратно в назначенный час, но держали себя чопорно и натянуто, почти не скрывая своей скуки, уничтожить которую Анна Иоанновна положительно не умела. Кроме самого давящего тоскливого воспоминания – ничего не оставалось ни у гостей, ни у хозяйки от этих сборищ. К себе на празднества Анны Иоанновны никто не приглашал, под тем предлогом, что она – «герцогиня» и ждать от неё чести посещения не смеют; правда, все отлично знали, что она с восторгом явилась бы на какое угодно приглашение, но знали также, что, явившись, она принесёт вместе с собою скуку и натянутость. Оставался один дом Бестужева, куда Анна Иоанновна и ездила, но и тут всегда на первом месте была Аграфена Петровна.

Ко всему этому у Анны Иоанновны, обязанной содержать особый ливрейный штат, повара, лошадей, которых она очень любила и которых у неё не было очень много, и, наконец, поддерживать старый замок, – просто не хватало денег на то, чтобы «себя платьем, бельём, кружевами и по возможности алмазами не только по своей чести, но и против прежних вдовствующих герцогинь курляндских достаточно содержать», как писала она дяде Петру, горько жалуясь на свою судьбу.

Но Пётр Великий оставался непреклонен к слабостям женского сердца и не находил нужным потакать им своею щедростью. Даже известие о том, что «партикулярные шляхетские жёны в Митаве ювелы и прочие уборы имеют неубогие, из чего герцогине, при её недостатках, не бесподозрительно есть», не тронуло его.

На другой день после вечера у Бестужева, где Анна Иоанновна была в простом, надёванном уже платье и где белый шёлковый наряд Аграфены Петровны блистал и свежестью, и богатством, она стояла у окна своего замка, грустно облокотившись на растворённую цветную раму. Из этого узенького окна виднелась аллея сада, и неслось ароматное тепло летнего утра, нежно и приятно вливавшегося в грудь под сырыми сводами неприветливых каменных стен.

Проснувшаяся зелень, как бы расправляя свои умытые росою листья, тихо шевелилась на тёплом утреннем ветерке, трава нежилась и радовалась только что поднявшемуся солнцу, и птицы переговаривались неумолкавшим, весёлым чиликаньем.

«Да, всё живёт, всё радуется, – думала Анна Иоанновна, – а я тут одна, словно заживо погребённая».

И ей невольно вспомнились подвальные склепы замка, где в величавых каменных

гробницах лежали похороненные потомки Кетлеров, и куда она как-то ходила от нечего делать посмотреть из любопытства, после чего не могла спать спокойно несколько ночей.

Чтобы отогнать эту грустную мысль, она стала думать о своём детстве, об Измайлове, где было так хорошо и весело, где были тоже каменные хоромы, но приветные, уютные, с церквами и золотыми куполами, полные с утра до ночи народом. Матушка, царица Прасковья, любила «Божьих людей», юродивых и странников, которые всегда находили приют в её доме и умели рассказывать такие чудесные, волшебные и занимательные истории. Один из юродивых, подьячий Тимофей Архипович, замысловатыми выражениями и намёками предрекал царевне Анне то, что было ясно из действий вчерашнего кудесника. Это уже не было ей внове. Ещё в детстве она с матерью ездила в Суздаль, и там митрополит Илларион тоже предсказывал ей скипетр и корону. Анна Иоанновна то верила в счастье своей судьбы и безотчётно надеялась на что-то, то вдруг чувствовала сильную боязнь к грозному дяде и спешила уверить себя, что она уже получила то, чего ей предсказано, что у неё есть уже герцогская корона и что она должна жить в Митаве и скучать, заживо погребённая. Эта мысль казалась ей всегда особенно жалостливою, и она не могла сдержать навёртывавшиеся на её глаза слёзы.

В это время в саду хрустнул песок дорожки, и Анна Иоанновна отстранилась от окна.

По саду шёл, опустив голову, с маленькой книжкой в руках, Никита Фёдорович, и в нём герцогиня сейчас же узнала того князя, которому вчера вместе с нею кудесник предсказал странную судьбу. Он, очевидно, был так далёк от всего окружающего, что, сам того не замечая, зашёл в ту часть сада, где никто из живущих в замке обыкновенно не гулял.

Но Анна Иоанновна рада была видеть живого человека. Волконский ещё вчера вечером, когда стоял, смущённый общим вниманием, понравился ей, и ей захотелось теперь просто поговорить с ним так, как вот он есть, случайно застигнутый посреди своих мыслей.

– Читаете? – спросила она, опираясь на подоконник.

Волконский вздрогнул, огляделся кругом и, увидев в окне Анну Иоанновну, быстро закрыл книгу, а затем с глубоким поклоном ответил:

– Герцогиня!

Он весь как-то в одну минуту подтянулся и из настоящего, живого человека, каким видела его за минуту пред тем Анна Иоанновна, сделался вдруг безжизненно деревянным, похожим на всех, кто обыкновенно разговаривал с нею в этой ненавистной Митаве.

– Господи! Да чего тут герцогиня! – заговорила она. – Разве я не такой же человек, как и все, разве со мною уж и поговорить просто нельзя?

Волконский стоял, почтительно склонясь, и слушал.

– Ну, чего вам-то тут? – продолжала Анна Иоанновна. – Вы – человек приезжий, кажется, можете и не стесняться.

– Простите, ваша светлость, я попал сюда совершенно случайно, – ответил Волконский, думая, что Анна Иоанновна намекает на его бесцеремонность, с которой он подошёл под самые окна герцогини.

– Не про то я, – перебила она, – напротив, что ж, что подошли?.. Утро-то какое чудесное, а? – вдруг спросила Анна Иоанновна, видимо, желая завязать разговор.

Никита Фёдорович постарался выразить всем лицом и новым поклоном, что вполне разделяет это мнение.

«Ну, вот и этот, как и прочие!» – мелькнуло у Анны Иоанновны, и ей снова сделалось грустно и скучно.

Она замолчала, задумавшись и смотря куда-то вдаль поверх головы Никиты Фёдоровича, а он воспользовался этой минутой, чтобы откланяться и уйти от их неловкого разговора, который почему-то был ему неприятен.

Анна Иоанновна поднялась от окна.

– С кем это разговаривать изволили, ваша светлость? – послышался над её ухом строгий голос Бестужева, входившего обыкновенно без доклада.

Анна Иоанновна наморщила лоб, и лицо её приняло страдальческое выражение.

– С кем говорить-то мне? – вдруг, возвышая голос, воскликнула она. – Сижу здесь взаперти, и в окошко нельзя мне теперь выглянуть…

– Нет, я только думал… – начал было Бестужев, поднимаясь на цыпочки и стараясь заглянуть в окно.

– Я вот что скажу тебе, Пётр Михайлович, – резко перебила его Анна Иоанновна, – я больше не могу так!.. Это с ума сойти можно. Просто возьму, да и убегу в Москву. Что же это в самом деле? День-деньской одна сидишь, делать нечего, никого не видишь, такая тоска возьмёт…

– Что же делать, ваша светлость: положение герцогини заставляет иногда… – попытался возразить Бестужев.

– Эта «герцогиня»! – крикнула Анна Иоанновна, гневно сверкнув глазами. – Вот уж она мне где! – и она показала себе на горло.

Бестужев видел, что Анна Иоанновна рассержена не на шутку. В такие минуты она никогда не помнила себя и, выйдя из терпения, могла наделать каких-нибудь хлопот, вздумав, пожалуй, в самом деле уехать, не спросясь государя, в Москву. Нужно было чем-нибудь успокоить её.

– А я шёл к вам вовсе не для того, чтобы рассердить вашу светлость, – помолчав, мягко заговорил он. – Напротив, я думал предложить вам устроить охоту, если будет угодно.

Анна Иоанновна так и расцвела вся. Охота была любимым её удовольствием.

– Что ж, я рада, – сказала она, уже жалея о своей вспышке, казавшейся ей теперь даже беспричинною. – Только какая же теперь может быть охота?.. Охоте не время теперь, – добавила она снова изменившимся голосом.

– Охота самая необыкновенная. Видите ли, все должны быть верхами, а один из участников выбирается зверем, и должен скрыться от остальных. Его ищут, гонятся за ним, и тот, кто поймает, получает приз, – стал рассказывать Бестужев, вспоминая тут же пришедшую ему в голову новую затею своей дочери, которую та хотела привести на днях в исполнение.

– Ловко придумано! – обрадовалась Анна Иоанновна. – Когда же это будет? Нужно поскорее, Пётр Михайлович.

– Когда ваша светлость прикажет, – ответил Бестужев, – я велю приготовить лошадей.

– Нет, насчёт лошадей я уж сама распоряжусь… Да, вот что: вели пригласить на эту охоту тоже Волконского, что был вчера у тебя.

Бестужев внимательно посмотрел на неё.

– Ведь чем больше народа, тем лучше, – пояснила Анна Иоанновна, кивком головы показывая гофмаршалу, что он может удалиться.

Волконский всё это утро думал о вчерашнем вечере, о Бестужевой, и о том, как она смотрела на него, когда кудесник делал своё предсказание. Он никак не мог ожидать, что именно к нему будет относиться самое важное предсказание и что именно его судьба станет самой интересною, и это предсказание заняло его.

От Черемзина он узнал, что кудесник остановился у пастора лютеранской церкви. Он скоро нашёл маленький домик, мимо которого всегда приходилось ходить из замка в город, и который стоял недалеко от церкви, на берегу реки, почти у самого моста, одним боком выдававшись из высокой каменной стены, закрытой каким-то густым ползучим растением. К пастору можно было попасть, только войдя с другого конца улицы в церковную ограду и миновав церковный сад. Церковь была окружена тёмными ветвистыми старыми деревьями, среди которых шла довольно широкая аллея, и в конце её виднелась стена пасторского сада с небольшою железною дверцей. Ветви были очень густы, и солнечные лучи лишь изредка пробивались сквозь них, прорезывая сырой полумрак тени и кладя кое-где светлые пятна на влажную, тёмную дорожку аллеи.

Когда Никита Фёдорович входил с одного конца, на другом отворилась маленькая дверца, и в её четырёхугольнике, вдруг осветившемся солнцем, заливавшим своими лучами садик пастора, как в рамке, показались две женские фигуры с кланявшимся пастором,

который, прощаясь, провожал их. Волконский не столько глазами, сколько всем существом своим узнал Аграфену Петровну. Она смело шла к нему навстречу, сделав несколько шагов вперёд, узнала в свою очередь князя Никиту.

Она, видимо, смутилась – и тем, что он застал её здесь, и тем, что они встретились случайно, и тем, наконец, что он может заметить её смущение: Как ни странно было для неё это чувство, которое она, всегда уверенная в себе, редко испытывала, но ей не было неприятно, что этот мало знакомый ей человек видит её смущённою.

С первого же взгляда на Никиту Фёдоровича, с восторгом смотревшего на неё, она поняла, что он любуется ею так, как она есть, любуется даже самим смущением, которое для него так же прекрасно в ней, как и всё остальное. И она не только простила его за то, что смутилась пред ним, но и почувствовала, что он в эту минуту не так ей чужд, как все остальные, точно всё это было уже раз пред нею: и эта тёмная аллея с высокими деревьями, и эти пробившиеся сквозь листву лучи и, главное, этот сырой запах вековых древесных стволов, смешанный с благоуханием жасмина.

– Вы к нему? – спросила Бестужева, первая овладев собою и кивком головы показывая на калитку.

– Да, к немцу, – чуть слышно проговорил Никита Фёдорович, уже испытывая в себе лёгкость и волнение, которые всегда охватывали его, точно выросшие и готовые распуститься крылья, когда он смотрел на эту девушку или думал о ней.

– Уехал, сегодня утром уехал, – с улыбкой ответила ему Бестужева и прошла мимо.

Больше они ничего словами не сказали друг другу, но Никита Фёдорович чувствовал, что после этой встречи они стали точно более близки и что эта случайность не пройдёт бесследно.

Пастор подтвердил ему, что доктор действительно сегодня рано утром уехал из Митавы и не пожелал сообщить, куда именно; но Волконский уже не жалел, что не мог говорить с чёрным доктором.

IV
ОХОТА

Анна Иоанновна сама распоряжалась приготовлением к потешной охоте, которая была назначена в её загородном доме близ Митавы, в Вирцау. Затея очень понравилась ей, и каждый день она заставляла делать выводку лошадей у себя на конюшне, выбирая и распределяя их для участников потехи. За день до охоты она уехала в Вирцау и ночевала там. Гости должны были съехаться к десяти часам утра. Верховые лошади герцогини были приведены туда заранее.

Черемзин с Волконским явились в экипаже в Вирцау раньше других; но почти сейчас вслед за ними приехали несколько немецких баронов, которые, вежливо раскланявшись, пошли в конюшню осматривать лошадей. Затем прискакали верхом драгунские офицеры; потом, в тяжёлой золочёной колымаге с гайдуком на запятках, приехал Бестужев.

Никита Фёдорович думал, что с гофмаршалом приедет его дочь и радовался своим ожиданиям; но теперь у него невольно явилось сомнение, приедет ли она вообще, и всё ему перестало здесь нравиться. Подойти и спросить у Бестужева о его дочери он, разумеется, не решался.

Все эти дни погода стояла чудесная, и сегодня тоже небо было безоблачно и ясно. Молодые люди, блестя на солнце своими расшитыми кафтанами и галунами на шляпах, ходили в ожидании герцогини по небольшой площадке пред домом. Анна Иоанновна долго не выходила. Бестужев несколько раз вглядывался в даль дороги, держа руку над глазами от солнца, и затем беспокойно прохаживался по крыльцу.

– Кого же мы ждём? – спросил князь Никита Фёдорович у Черемзина.

– Как кого?.. Герцогиню! – ответил тот, недовольно пожимая плечами.

Анна Иоанновна вышла на крыльцо сияющая и довольная в длинном ярком платье,

шлейф которого нёс маленький паж. Ей подвели стройную, красивую лошадь под чепраком, с гербами курляндских герцогов.

Бестужев тоже сел верхом.

«И очень нужно по этакой жаре без толку слоняться!» – рассуждал Волконский, забирая за загривок лошадь и поднимая ногу в стремя. – И чего, право, не выдумают!.. А вот возьму, да и уеду!» – решил он, попав в стремя, и быстро вскочил на нетерпеливую, не стоявшую спокойно на месте лошадь.

Толпа охотников, с Анной Иоанновной впереди, шагом выехала на дорогу. Изо всех лиц улыбающимся было только одно – лицо самой герцогини. Все остальные сидели насупившись и морщились от лучей прямо бившего им в глаза солнца.

Так молча проехали некоторое время. Нужно было, наконец, что-нибудь предпринять – свернуть с дороги, что ли, а то, продолжая так, можно было доехать до самой Митавы. Анна Иоанновна почувствовала это. Но, видимо, никто не хотел помочь ей; все были готовы исполнять только её приказания, а что и как приказать – она положительно не умела.

«Вот эта Бестужева, наверное, знала бы, что теперь делать, – не без зависти подумала герцогиня. – И что они находят в ней, право? Худа – и больше ничего», – рассуждала она про безмолвно едущих за нею теперь молодых людей.

Действительно, они и сами не могли понять, почему, когда пред той же толпой их, как сегодня, бывала в другие дни Бестужева, – всё было иначе, являлись откуда-то и веселье, и смех. Бестужева при этом ничего, казалось, не делала, чтобы вызвать такое настроение. Анна же Иоанновна, напротив, всеми силами старалась – и ничего из этого не выходило…

– Ну, что ж, пожалуй, свернуть можно? – спросила Анна Иоанновна, оборачиваясь к Бестужеву.

– Уж как это угодно вашей светлости, – ответил тот.

– Да мне угодно только, чтобы весело было; вы скажите как, нужно теперь свернуть, что ли?

– А вот, кажется, дочь моя едет – она покажет, – сказал Бестужев, смотря на дорогу, где уже белело облако пыли, в которое давно жадными глазами впился Никита Фёдорович.

При имени Бестужевой Анна Иоанновна вдруг решительно повернула лошадь и, как будто сама зная, что ей делать, крупною рысью поехала прямо в поле. Там, на дороге, где ехала Бестужева, также окружённая охотниками, заметили это движение. Но Аграфена Петровна вместо того, чтобы погнать свою лошадь шибче, напротив, придержала её и поехала шагом, свернув, однако, тоже в поле.

Анна Иоанновна, отскакав от дороги на довольно большое пространство, остановилась. Она видела, что Бестужева, нарочно не спеша, шагом приближается к ним, и ей хотелось во что бы то ни стало начать «охоту» раньше того, как она подъедет.

– Ну, господа, как же, кто же будет зверем, а? – спросила она, любезно улыбаясь и нетерпеливо поворачиваясь в седле. – Да ну же, скорее начинайте!.. – чуть не умоляя, добавила она.

Но никто не выказывал особенной торопливости. Видимо было, что никто не двинется, пока не подъедет Аграфена Петровна, которая, точно нарочно, дразня и рисуясь, подвигалась особенно медленно, придержав ещё свою лошадь и бережно объезжая каждую кочку.

«Милушка!» – чуть не вырвалось у Никиты Фёдоровича навстречу ей.

Наконец её большая серая лошадь мерным, красивым шагом, особенно ловко округляя передние ноги, подошла почти вплоть к лошади герцогини.

С появлением Бестужевой все лица оживились.

– Добрый день, ваша светлость! – обратилась она по-немецки к Анне Иоанновне с тою улыбкой, чарующее впечатление которой она знала.

И действительно, эта улыбка способна была примирить с нею всякого. Анна Иоанновна не могла не чувствовать, что теперь будет непременно весело, потому что у этой безжизненной толпы вдруг явилась душа, и толпа проснулась. Общее оживление невольно передалось Анне Иоанновне, и в ней незаметно растаяло всякое неудовольствие против

Бестужевой.

– Аграфена Петровна, – обратилась она к ней, – ну, как же начать?

Бестужева обвела глазами охотников. Среди них особенно выделялся своим самодовольным бело-розовым лицом откормленный, гладенький немчик, сын старшего оберрата, взгромоздившийся на огромную лошадь, вовсе не соответствовавшую его маленькому, пухлому тельцу.

– Ну, барон, выезжайте! – предложила ему Аграфена Петровна.

Барон храбро дал шпоры своему коню и выдвинулся, стараясь пробраться между нетерпеливо топтавшимися на месте лошадьми.

– Да не так… Туда, в поле! – пояснила Бестужева, протягивая руку вперёд и указывая в пространство. – Мы будем считать до ста, в это время вы можете уехать куда угодно, а затем мы поскачем за вами. Ну, Черемзин, считайте! – приказала она.

Барон ещё раз дал шпоры, его огромный конь, видимо, не желая отделяться от других лошадей, перебрал ногами и стал пятиться.

– Раз, два… – начал Черемзин.

– Постойте, погодите, ещё не время, я ещё не начал, – забеспокоился барон, едва охватывая своими коротенькими ногами крутые бока лошади, которая трясла головою и продолжала пятиться.

– Одиннадцать, двенадцать, – неумолимо продолжал Черемзин.

Барон отчаянно замахал рукою и что было силы ударил коня хлыстом. Тот вдруг рванулся вперёд и поскакал по полю сломя голову.

Кругом все засмеялись. Барон нёсся, растопыря ноги и откинувшись назад, точно повис на поводьях… Его шляпа с огромным пером свалилась назад и трепалась на ремешке, сползшем со щёк барона. Проскакав таким образом, лошадь круто остановилась, и барон перекинулся на её шею, которую невольно охватил руками, чтобы не полететь через голову лошади.

Черемзин в это время дошёл уже до шестидесяти.

Фигура барона была очень смешна, в особенности с той стороны, с которой глядели на него остальные. Огромный конь, почувствовав, должно быть, нетвёрдость своего седока, поддал задними ногами, и барон ещё крепче припал к его шее, не обращая внимания на то впечатление, которое он производит.

– Девяносто восемь, девяносто девять, – считал Черемзин, – сто! – наконец крикнул он.

Несколько лошадей кинулись по направлению несчастного барона, бившегося на своей лошади посреди поля.

Бестужева сделала только вид, что кинулась вместе с другими, но на самом деле осталась сзади. Она заметила, что несколько молодых людей, между которыми был Волконский, сделали то же самое.

Анна Иоанновна первая настигла барона и получила первый приз.

Лошади только разгорячились этою короткой скачкой. Никто, разумеется, не имел ещё времени устать, напротив, каждому казалось, что он может хоть целый день провести, не слезая с лошади. У барона пошла кровь из носа, который он, очевидно, разбил, когда наткнулся на шею своего коня, но и барон старался оправиться и всеми силами желал показать, что это ему ничего.

После барона в качестве зверя выехал Черемзин. Он не торопясь отделился от охотников, спокойно выждал момента, когда они поскакали, и, подпустив их довольно близко к себе, внезапно отскочил в сторону, а затем, сделав большой круг по полю, поддался герцогине. Всё это было исполнено красиво и весело.

Бестужева всё время ездила, сберегая силы своей лошади. Она отлично видела, что Черемзин поддался герцогине и прежде других остановилась на небольшом холмике, как бы осматривая местность. Мало-помалу все начали подъезжать к ней.

Они все незаметно приблизились теперь к небольшому леску, который прежде только синел пред ними тонкою полоской вдали от дороги.

– Не пора ли обедать, ваша светлость? – подъезжая крупною рысью, спросил у герцогини Бестужев, не участвовавший в скачках и лишь степенно наблюдавший за ними.

– Ах, нет ещё, погоди, Пётр Михайлович! – ответила Анна Иоанновна, блестя разгоревшимися глазами.

– Ну, а кто поймает меня? – вдруг крикнула Аграфена Петровна, и, прежде чем кто-нибудь успел опомниться, она была уже у опушки леса, перепрыгнула какую-то канаву и исчезла в зелени деревьев.

– Куда ты… сумасшедшая! – мог только крикнуть отец ей вслед.

Никита Фёдорович вместе с другими, не помня себя, кинулся за Бестужевой.

Они быстро миновали пространство, отделявшее их от леса, и Волконский, к своему удовольствию, чувствовал, что его лошадь ещё совершенно свежа и легко перепрыгнула канаву у леса. Пригибаясь к седлу, чтобы ветви не мешали ему, он поехал между деревьями, стараясь разглядеть след лошади Аграфены Петровны, и с ужасом замечал, что это невозможно и что он теряется в чаще похожих друг на друга стволов леса. Он огляделся кругом. Остальных охотников уже не было видно. Только направо и налево слышалось хрустение веток и валежника, ломавшегося под ногами их лошадей. Волконский остановился. Мало-помалу треск валежника стал слабее и, наконец, вовсе замолк. Очевидно, все разъехались, сдержав лошадей, потому что бесцельная скачка была не нужна и опасна. Князь Никита поехал вперёд наугад. Он долго пробирался между деревьями, не зная направления и не отдавая себе отчёта, едет он вперёд или назад и сколько времени прошло с тех пор, как они въехали в лес.

«Нет, – соображал он, – верно, я свернул с дороги, потому что иначе встретил бы кого-нибудь… Боже мой!..»

И сердце его сжалось при мысли, что кто-нибудь другой настигнет её и что, может быть, теперь она уже настигнута, и охота кончена, и все, забыв о нём, собрались где-нибудь и завидуют охотнику, которому улыбнулось сегодня счастье. Дыхание у него сжалось, и сердце забилось – неужели кто-нибудь другой, не он, будет сегодня победителем? И, ударив лошадь, он поскакал вперёд.

Лес, сначала частый, начал редеть, и скоро между стволов показались просветы.

«Так и есть! – с отчаянием подумал Волконский, – это – опушка; я вернулся назад, опять к тому месту, откуда мы поехали…»

Но вдруг признак надежды вдохнул в него новую силу. Он ясно услыхал фырканье чьей-то лошади и тяжёлую неровную поступь копыт.

«А вдруг это – о н а?» – мелькнуло у Волконского, но тут же, по биению своего сердца, он решил, что это не может быть Бестужева.

Он выехал не на опушку, как ему показалось сначала, но на довольно широкую лесную полянку, где пред большим корявым пнём топталась на одном месте огромная лошадь барона, напрасно силившегося одолеть её упорство.

– Наконец-то кто-нибудь! – радостно крикнул барон, – теперь ничего, она пойдёт за другой лошадью… Погодите меня!

Но Волконский быстро повернул назад и что было сил всадил шпоры в бока своей лошади; та понеслась. Однако он слышал, что барон скачет за ним, становится всё ближе и ближе к нему, и теперь все его мысли и всё уменье были направлены к тому, чтобы отделаться во что бы то ни стало от этого смешного немца.

Никита Фёдорович летел стремглав, перепрыгивая сваленные стволы, рытвины и не обращая внимания на хлеставшие его ветки. Барон отстал от него, а он, не помня ничего, так как вдруг решил, что теперь для него уже всё пропало, всё-таки нёсся вперёд, с мучительной тоскою повторяя себе:

«А как всё это могло быть хорошо сегодня!»

И вдруг посреди этой бешенной скачки его лошадь вынесла снова на поляну. Тут, скрестив на груди руки и высоко закинув голову, одна, ещё не настигнутая никем, стояла Бестужева.

Никита Фёдорович, не веря своим глазам, бросился к ней.

«А, это – вы, князь!..» – как бы сказала она всем своим движением и, ударив лошадь, кинулась в сторону.

Догнать теперь её составляло жизнь или смерть для князя Никиты.

Аграфена Петровна, как бы щеголяя своим уменьем держаться на лошади и. видимо, будучи отлично знакома с местностью, неслась впереди, заставляя Волконского делать безумные скачки и повороты. Но он, готовый лучше зарезать лошадь или лишиться жизни, чем отстать, гнался с настойчивым, отчаянным упорством и надеждой. Несколько раз он почти настигал Аграфену Петровну, но не было места объехать её, и он волей-неволей должен был оставаться сзади. Наконец, замучив своих взмыленных лошадей, они приблизились к опушке. Никита Фёдорович безжалостно посылал и хлыстом и шпорами свою лошадь. Но вот она сделала, казалось, последнее страшное усилие – и Волконский увидел, что он уже скачет рядом с Аграфеной Петровной, что, протянув руку, он может достать удила её лошади. Он нагнулся вперёд и действительно схватил под уздцы лошадь Бестужевой. Аграфена Петровна не ожидала этого и покачнулась в седле. Князь должен был обхватить её свободною рукою, чтобы она не упала. Это движение было совершенно невольно. Лошади сделали ещё несколько скачков и, измученные, готовы были остановиться. Как это случилось – Волконский не помнил, но забыв о том, что он делает, и не владея собой, он в опьянении счастья прикоснулся губами к горячей щеке Аграфены Петровны.

Девушка вздрогнула и рванулась от него. Он не удерживал. Лошади пошли шагом.

Аграфена Петровна ехала молча, низко опустив голову и кусая губы.

«Всё пропало! – думал Волконский. – Боже мой, Боже мой, что я наделал!..»

Насупив брови и не сказав ему ни слова, Бестужева приблизилась, наконец, к разбитому в поле шатру, у которого давно гудел звонкий рог доезжачего [5], сзывая участников охоты.

Волконский слез с лошади и едва устоял на ногах. Колена его дрожали, и руки тряслись. Должно быть, он был очень бледен, потому что Черемзин с беспокойством подошёл к нему и советовал выпить вина.

– Не надо, – слабым, безнадёжным голосом ответил Волконский, – теперь ничего не надо.

– Да что с тобою? – настаивал Черемзин. – Тебе нездоровится?.. Ты, верно, слишком устал… Тебе бы вина, – предлагал он.

Никита Фёдорович почти бессознательно поймал только одно слово «вина» и невольно зацепился за него мыслями, придав ему своё, совершенно иное значение.

«Виноват, сам виноват!..» – повторял он себе.

У шатра был разостлан большой ковёр, уставленный посредине яствами и питьём. Здесь все весело расположились, чувствуя большое удовольствие хорошо поесть, проведя столько времени на вольном воздухе и верхом. День выдался очень удачный. Веселье было полное.

Один Никита Фёдорович сидел, ни к чему не притрагиваясь. Он был чужд этой весёлой толпе. Сегодня он испытал мимолётно слишком большое, незаслуженное, украденное, как думал он, счастье, чтобы теперь радоваться какому-то пустому и мелкому веселью. Правда, его дерзость никогда не будет прощена и навеки унесла всякую надежду, и теперь ничто не может быть ему радостно… И ему вдруг показалось невыносимо оставаться в этой равнодушной, глупой и совершенно чуждой ему толпе, имеющей силы веселиться и смеяться после того, что случилось с ним. Он почувствовал неудержимую частую дрожь в правой щеке, и, как молния, по его лицу пробежала нервная судорога.

---

[5] Доезжачий – старший псарь, занимающийся обучением борзых и гончих собак и распоряжающийся на охоте.

«Что с ним?» – мелькнуло у Бестужевой.

– Князь Никита, – быстро сказала она, подняв тонкой, маленькой рукою хрустальный стакан, – подайте мне мёда – вон того красного, что стоит возле вас.

И жизнь вернулась в душу Волконского. Он встал, задыхаясь от нового нахлынувшего на него счастья, подошёл к ней и дрожащею рукой наклонил над её стаканом большой кувшин с мёдом.

– Что с вами? – укоризненным шёпотом спросила Бестужева. – Это ни на что не похоже!

Кругом стояли говор и смех. Никто, казалось, не обращал на них внимания.

Волконский вернулся на своё место совсем преобразившийся, сияющий.

«Что с вами? Это ни на что не похоже», – безостановочно твердил он себе, думая, что сходит с ума от радости, глядел теперь на всех добрыми, ясными глазами, и их смех и веселье, казавшиеся ему за минуту пред тем ненавистными, теперь были для него дороги, милы.

Анна Иоанновна слышала, как Бестужева подозвала к себе Волконского – того самого Волконского, который так ещё недавно там, у окна замка, спешил отделаться от её разговора, – видела, как он подошёл к Аграфене Петровне, и заметила перемену в нём после того, как та что-то тихо сказала ему.

«Ишь, одним словом осчастливила человека!» – подумала Анна Иоанновна, и дурное чувство к Бестужевой снова вспыхнуло в ней.

– Принесите мне накидку, я забыла её в шатре, – резко и громко сказала она по-немецки, обращаясь к Аграфене Петровне.

При этом смелом и неожиданном приказании, которое не могли не слышать все, всем как-то сделалось неловко, и гул разговоров внезапно затих.

Бестужева изменилась в лице, – никогда ещё ничего подобного не случалось. Её отец удивлённо поднял голову, точно не веря своим ушам; но Анна Иоанновна, как бы равнодушно смотря вдаль, видимо, настойчиво ждала исполнения своего приказания.

Старик Бестужев встал, чтобы пойти вместо дочери за накидкой.

– Когда герцогиня приказывает, – вдруг ещё резче произнесла Анна Иоанновна, – нужно немедленно исполнять её приказание. Аграфена Петровна, слышали?

Бестужева, бледнея и дрожа, подняла голову. Её отец в ужасе сжал себе виски руками и закрыл глаза. Остальные потупились, ожидая, что произойдёт сейчас неудержимая вспышка Аграфены Петровны. Но она, сделав над собой усилие и чуть слышно прошептав: «А-а, если так…» – медленно встала со своего места, вошла в шатёр и вернулась оттуда с накидкой.

Прежнее веселье как рукой сняло. Сидели недолго и молча; герцогиня велела подавать лошадей. «Охота» кончилась.

V
БЕСТУЖЕВА

Аграфена Петровна вернулась в Митаву вместе с отцом и дома с нею сделался нервный припадок.

Пётр Михайлович серьёзно забеспокоился о здоровье дочери. Однако она даже без помощи доктора сама оправилась, но прежняя весёлость не вернулась к ней. Она ходила с серьёзным, сосредоточенным лицом, на котором так и застыло появившееся выражение затаённой обиды, когда она встала на охоте за накидкой герцогини со словами: «А-а! если так…» Бестужев внимательно следил за нею и, зная её характер, был очень встревожен её душевным состоянием. Оставалось не больше недели до 29-го июня – дня именин не только самого Петра Михайловича, но главное – государя. Этот день обыкновенно праздновался у Бестужева с подобающей роскошью. По своему положению в Митаве, он должен был делать приёмы в высокоторжественных случаях, а именины государя были, безусловно, одним из таких случаев. В этом году, как и прежде, он хотел устроить у себя бал, но боялся, как бы

нездоровье дочери не помешало этому. Пригласить на бал герцогиню было необходимо, но после оскорбления на охоте Аграфена Петровна, вероятно, постарается избежать всякой встречи с нею и ради этого, может быть, нарочно скажется больною. Бестужев положительно терялся. Сделать бал без хозяйки, так, чтобы Аграфена Петровна не выходила к гостям, – ему казалось неловко; а главное – он знал, что тогда всем будет скучно, о гостях придётся заботиться ему самому, и он не будет иметь времени для кое-каких разговоров с нужными, важными в Митаве людьми, которые съедутся к нему. Если же вовсе не сделать бала – выйдут большие неприятности, потому что об этом, наверное, донесут в Петербург, и государь может остаться недоволен.

Пётр Михайлович решился поговорить с дочерью.

Он пришёл к ней, в её маленькую гостиную и застал Аграфену Петровну с покрытою тёплым платком головою.

– У меня страшно голова болит, – начала она, – просто места не найду…

– Я же предлагал тебе послать за доктором, – сказал Бестужев, опускаясь на кресло. – А мне очень нужно, чтобы ты здорова была, – быстро добавил он, заметив нетерпеливое движение дочери при упоминании о докторе. Она вопросительно взглянула на отца.

– Петров день близко, – пояснил он, – наш ежегодный бал не может состояться без тебя; нужно, чтобы ты была здорова…

– Я и буду здорова! – несколько удивлённо ответила Аграфена Петровна, – будьте покойны; напротив, мне нужно теперь какое-нибудь развлечение…

– Ну, вот и прекрасно! – я уверен, что ты будешь веселиться… гостей будет много. Само собою разумеется, нужно пригласить в с е х.

Бестужев нарочно подчеркнул слово «всех». Аграфена Петровна как будто не поняла.

– Ну, конечно! – подтвердила она.

– Оберратов с жёнами, баронские семьи, бургомистра, наших офицеров, герцогиню, – перечислял Бестужев, внимательно косясь на дочь.

Она с улыбкой кивала головою в подтверждение его слов.

У Петра Михайловича отлегло от сердца.

– Значит, тебе не претит снова встретиться с Анной Иоанновной? – недоверчиво спросил он, не скрывая, однако, своего удовольствия.

– Разумеется, не претит! Что ж я могу против г е р ц о г и н и? – подчеркнула в свою очередь Бестужева. – Нам, конечно, не приходится с нею ссориться, раз мы тут на холопском положении.

– Перестань, Аграфена! – остановил её отец.

– Да ведь я согласна на всё, чего же вы хотите больше?.. Устраивайте бал, я развлекусь, мне всё равно – пусть тут все будут, я согласна…

– Ну, хорошо, хорошо! А какое же платье ты наденешь на бал? Сшей новое… Если нужно денег – возьми, сколько хочешь, – предложил Бестужев, желая баловством вознаградить дочь за её покорность.

– Я уже подумала об этом, – улыбнулась она. – У меня есть всё, платье я устрою себе; а вот если хотите сделать мне удовольствие…

– Господи! Да всё, что хочешь… спроси только!

– Дайте мне денег на материю для этой мебели: её нужно обтянуть заново, посмотрите, как она обтрепалась.

Бестужев оглядел комнату. Мебель действительно показалась ему очень потёртою, и он удивился, как не замечал этого раньше.

– Ну, что ж, я сегодня велю управляющему, чтобы он пришёл к тебе за приказанием, – сказал Пётр Михайлович, вставая, и, простившись с дочерью, тотчас отправился в замок приглашать герцогиню на бал.

Едва успел уйти Пётр Михайлович из гостиной дочери, как она позвала к себе молоденькую немку, горничную Розу, которая была всегда доверенным её лицом и исполнительницею всех приказаний.

– У нас будет скоро бал, Роза, – сказала Бестужева.

– Это очень весело… и госпожа будет веселиться, – ответила та, приседая.

– Вы мне нужны будете для одного дела, Роза.

– Я всегда к услугам моей госпожи.

– Вот что: мне необходимо знать, в каком платье будет герцогиня у нас на балу, и вы это можете узнать мне, я думаю?

– Это – не мудрёное дело, – рассмеялась Роза, – это очень легко узнать; у нас есть близкие приятельницы в штате герцогини… Госпожа может быть покойна.

Аграфена Петровна действительно была покойна; она знала, что на Розу можно вполне положиться.

Отпустив горничную, она задумалась. Недавние события вспомнились ей во всех своих подробностях. И странно, первое место в этих подробностях занимало не унижение, перенесённое ею, не подавленное чувство стыда и горечи, которое, впрочем, далеко ещё не изгладилось, да и не могло изгладиться; нет, на первом месте было воспоминание о Волконском. Его взволнованное лицо, сначала несчастное, потом сияющее, как живое, стояло пред нею.

«Что за глупости! – поморщилась она. – Зачем я думаю об этом?»

И она постаралась заняться подробным обсуждением своего будущего бального наряда, но вдруг поймала себя на мысли о том, понравится ли её платье князю Никите, и опять задумалась о нём.

А Волконский в это время ходил большими шагами по кабинету Черемзина, круто поворачиваясь по углам на каблуках. Черемзин сидел у стола и улыбался хитрою, дружески-насмешливою улыбкою. Сегодня утром, вернувшись из города, он сказал Никите Фёдоровичу, что теперь только и разговоров, что о недавней «охоте» и, между прочим, о нём, Волконском.

– Я-то тут при чём? – спросил он.

– Веди себя, мой друг, впредь иначе, умей сдерживаться! – наставительно пояснил Черемзин. – Ты думаешь, я не видел вчера истории с кувшином мёда?

– Какой истории с кувшином? – спросил упавшим голосом Волконский, отлично понимая, про что говорит ему.

– Ты знаешь! – ответил Черемзин. – Неужели ты думаешь, никто не заметил, что ты совсем влюблён в Бестужеву?

Эти слова: «влюблён в Бестужеву», до того показались Волконскому низменными и пошлыми в сравнении с тем чувством, которое он испытывал теперь, что кровь с силою прилила ему в голову, и злоба сдавила горло.

– Вздор, неправда! – крикнул он. – Никто не смеет говорить так! По какому праву?

Черемзин пожал плечами.

Волконский несколько раз нервно прошёлся.

– Я повторяю тебе, что это – вздор, – заговорил он более спокойным голосом, – этого не может быть.

– Отчего же не может быть? Напротив, это вполне просто и естественно. Мы все, кажется влюблены тут в неё, только ты, должно быть, серьёзнее других… потому что Аграфена Петровна…

– Ну?.. – перебил Волконский.

– Кажется, сама к тебе очень… расположена, – проговорил Черемзин, как бы подыскивая подходящее выражение.

– Как? И это говорят? – воскликнул Никита Фёдорович, чувствуя, будто пол начинает колыхаться под его ногами, и вся комната вертится.

– Да ведь она ни к кому из нас так не относится…

– Вздор, вздор! – крикнул опять Волконский. – Ничего этого нет… это невозможно.

– Ну, сознайся, голубчик: ты не влюблён?

– Нет.

– И не заметил, что она именно тебя позвала вчера налить ей мёду?

– Нет, не заметил.

– И вполне к ней равнодушен?

Дальше Волконский лгать не мог.

– Да что ж это? Допрос, что ли? – спросил он… – Тебе какое дело?

– А, видишь ли, я должен сообщить тебе одно известие, которое тебе может быть неприятно, если наши предположения справедливы.

– Какое известие? – испугался Никита Фёдорович.

– Да ведь ты говоришь, что это – неправда, значит пугаться нечего.

– Какое же известие? Говори, не тяни, ради Бога!

– Из Петербурга пришёл указ…

– Обо мне? – спросил Волконский, побледнев.

– Да. Велят тебе ехать дальше. Отсюда, должно быть, донесли, что ты здесь загостился вопреки царскому приказанию.

– Господи! – мог только выговорить Никита Фёдорович и закрыл лицо руками.

– Да чего же ты? Ведь даже за твоё ослушание на тебя не сердятся… поезжай! – успокоительным тоном проговорил Черемзин.

Князь Никита только рукою махнул.

– Ну, как же ты не влюблён? Ну, как же? – смеясь, начал опять Черемзин. – Да успокойся! Я лишь поймать тебя хотел; никакого указа нет… всё это я рассказал так только, чтобы ты попался.

Никита Фёдорович отнял руки от лица. Его испуг и ужас были так сильны, что он готов был даже простить теперь Черемзина за то, что тот солгал ему, лишь бы его известие оказалось неправдой.

– Да ты теперь врёшь или прежде соврал? – спросил он, едва приходя в себя.

– Прежде, прежде соврал; право, никакого указа нет. Напротив, могу сообщить тебе даже приятную новость: у входа в замок я встретил Бестужева; он приезжал сюда приглашать герцогиню к себе на бал двадцать девятого и позвал тоже меня с тобою. Желаю, голубчик, успеха; советую танцевать польский с Аграфеной Петровной, и будь уверен, что я попусту болтать ничего не стану, – заключил Черемзин, подходя к Волконскому и дружески кладя ему руки на плечи.

VI
БАЛ

В день бала в доме Бестужева работа кипела с утра. В саду настилали пол для танцев, строили помост для музыкантов и готовили иллюминацию. В залах расставлялись столы для угощений, среди которых должна была появиться модная новинка – лимонад. В маленькой гостиной у Бестужевой стучали молотками и ползали немцы-рабочие, спешившие к сроку околотить мебель новою материей.

– И зачем ты это затеяла? – сердился Пётр Михайлович, приходя к дочери. – Не поспеют они.

– Поспеют, – успокаивала Аграфена Петровна. Она сидела перед зеркалом, в белом пудермантеле, терпеливо отдав свою голову в распоряжение Розы, которая причёсывала её с помощью служанок.

– А ты не ошиблась, Роза? У герцогини будет платье именно такое, жёлтое?

– Я принесла моей госпоже даже образчик. Госпожа может быть спокойна.

Лицо Аграфены Петровны было весело и по-прежнему оживилось. Она, казалось, так была в духе сегодня, что даже не сердилась на обычную медлительность Розы, с которою та устраивала сложную причёску. Правда, на этот раз причёска ей особенно удавалась и шла лицу Аграфены Петровны.

Роза, как художник, любуясь своим произведением, не торопилась. Наконец, она

вплела поверх высоко взбитых волос Аграфены Петровны несколько крупных зёрен жемчуга, и причёска была готова.

Аграфена Петровна встала. Белая короткая юбка высоко открывала её маленькие ножки, обутые уже по-бальному – в светло-голубые атласные туфельки и такие же шёлковые чулки, присланные ей недавно из Ганновера братом; он же прислал ей светло-голубую материю, лёгкую и мягкую, из которой было сшито сегодня её платье с длинным королевским шлейфом.

Пётр Михайлович уже несколько раз подходил к дверям уборной дочери и торопил её.

– Всё уже готово, – говорил он, – сейчас гости начнут съезжаться, пора.

Аграфена Петровна тем не менее не спешила. Платье уже было надето на ней. Две горничные возились со шнуровкой. Роза осматривала и поправляла складки.

– Настоящая княгиня! – проговорила она, сложив руки и смотря на свою госпожу.

– Что? – переспросила Аграфена Петровна.

– Eine Furstin, eine Furstin![6] – повторила Роза. – Иначе и быть не может.

Аграфена Петровна прищурилась, и самодовольная улыбка скользнула по её тонким губам. Она была довольна и нарядом, и собою, и сегодняшним днём.

Аграфена Петровна прошла через маленькую гостиную, которая теперь была уже заново обита, и направилась в зал, где начинали собираться гости. Она оглядела их и прежде всего заметила, что Волконский ещё не приезжал.

«Зачем я опять вспомнила именно о нём? – подумала она, стараясь отогнать от себя эту мысль. – А всё-таки его нет, – снова настойчиво пришло ей в голову. – Пустяки!» – решила она.

Волконский несколько опаздывал из-за Черемзина, с которым должен был ехать вместе из замка и который одевался слишком долго. Он причёсывался, душился, мазал голову какою-то особенной эссенцией и до того надоел князю Никите, что тот пригрозил, что уедет один; лишь тогда, наконец, Черемзин оторвался от зеркала.

Бал не начинали до приезда герцогини. Аграфена Петровна с дамами сидела в маленькой гостиной. Мужчины ходили по остальным комнатам в ожидании Анны Иоанновны.

Наконец суетливый дворецкий, ловко пробираясь между гостями, отыскал Петра Михайловича и предупредил его, что на углу показался экипаж герцогини. Бестужев пошёл встречать её на крыльцо.

Через несколько минут Анна Иоанновна в ярко-жёлтом пышном платье, нарочно сшитым для нынешнего дня и стоившем долгих расчётов и выгадываний, любезно отвечая на низкие поклоны расступившихся пред нею гостей, прошла через зал в гостиную, где ждала её Аграфена Петровна, которая, отговорившись болезнью, не пожелала встретить герцогиню у двери.

Бестужева стояла посреди своей маленькой гостиной прямая и гордая, с торжественной улыбкой на губах.

«Боже мой, как хороша!» – подумал про неё Волконский, подойдя к дверям вслед за герцогиней.

Анна Иоанновна вошла в гостиную твёрдою, решительною походкой, чуть потряхивая головою, с выражением: «Я знаю сама, что мне делать».

Аграфена Петровна и другие дамы низко поклонились ей. Она ответила кивком головы, осмотрелась кругом, и какой-то внезапный испуг выразился на её лице. Сначала она вдруг покраснела, потом побледнела, как полотно, и губы её дрогнули. А Бестужева нежным, вкрадчивым голосом говорила ей в это время:

– Милости просим, ваша светлость, не угодно ли сесть, вот кресло, вам здесь будет удобнее.

---

[6] «Княгиня, княгиня!» (нем.)

Роза оправдала доверие госпожи. Образчик, который она достала, был действительно от платья герцогини – и мебель гостиной оказалась обитой точь-в-точь от одного куска, тою же самою ярко-жёлтою материей, из которой было сшито её платье.

Неудержимая насмешка цвела кругом, на лицах всех дам. Столпившиеся у дверей мужчины тоже едва сдерживали смех, готовый вырваться у них, а в задних рядах смешливый толстенький барон вовсе не мог удержаться и фыркнул. Бестужев стоял бледный, не зная, что ему отвечать. Одна только Аграфена Петровна как будто ничего не замечала и наивно-участливо смотрела на герцогиню, страшно изменившуюся в лице и готовую упасть.

– Воды!.. воды!.. – послышался шёпот кругом. – Герцогине дурно… воды, скорее!

Принесли воду, хотели усадить Анну Иоанновну, но она, несмотря на свою дурноту, сверхъестественным усилием держалась на ногах, не желая сесть в «горевшее, как её платье, словно золото», ярко-жёлтое кресло гостиной. Под руки провели её до кареты, и она вне себя уехала домой, чтобы ни минуты больше не оставаться в доме Бестужева. Аграфена Петровна жестоко отомстила ей.

Едва успела уехать герцогиня, и провожавший её Бестужев не вернулся ещё в зал, как по приказанию молодой хозяйки грянули литавры и трубы, и гости попарно, в предшествии музыкантов, стали спускаться в сад, где должны были происходить танцы на устланной нарочно для этого деревянным полом площадке, украшенной кругом гирляндами, щитами и флагами.

Войдя на площадку, мужчины и дамы разделились. Нужно было выбрать «царицу бала».

– Аграфену Петровну, её, только её! – крикнул Никита Фёдорович, задыхаясь от волнения и блестя глазами, готовый, кажется, тут же уничтожить всякого, кто бы посмел возразить против этого.

– Ну, конечно, – подтвердил Черемзин, – кого же, как не её?

– Да, да, её… Аграфену Петровну! – говорили остальные, и бронзовый золочёный жезл и перчатки – обычные знаки достоинства «царицы бала» – были торжественно поднесены Бестужевой.

В самом деле она, нежная, милая, со своим жемчугом, лежавшим в её волосах в виде короны, выделялась из всех, точно царица.

Она сделала несколько шагов вперёд. Теперь ей следовало выбрать маршала.

Мужчины длинною вереницей стали подходить к ней. Первым подошёл какой-то немец, очень напыщенный, древнего рода и опустился на одно колено, смело протягивая руку к жезлу; Бестужева махнула перчаткой. Немец встал, обиделся и отошёл в сторону.

«Ну, конечно!» – подумал Волконский.

Он почему-то был очень спокоен. Ему казалось, и он не сомневался в этом, что жезл будет передан именно ему, Волконскому. Откуда явилась такая уверенность, он не мог дать себе отчёт, но оглядевшись, невольно почувствовал, что многие согласны с ним, и что, наверное, только он будет выбран маршалом.

За немцем следовал драгунский офицер, за офицером – опять немец, потом ещё кто-то, потом толстяк-барон, но Бестужева всем им махала перчаткой, и они удалялись в сторону с огорчённым лицом.

Наконец, очередь дошла до Никиты Фёдоровича. Он не теряя ещё своей уверенности, опустился на колено, тут только замечая, что ноги его дрожат. И вдруг всякая надежда оставила его.

«Нет, куда мне… не меня!» – говорил он себе, взглядывая на Бестужеву и испытывая неизъяснимое наслаждение стоять пред нею на коленах.

Аграфена Петровна лукаво, как бы в нерешимости, посмотрела ему прямо в глаза, и на её лице появилась совсем особенная улыбка, в которой отразилось всё счастье влюблённого в неё Волконского. Правая рука её, державшая жезл, чуть шевельнулась.

«Неужели? – с замиранием сердца подумал Волконский, но Бестужева махнула перчаткой, и свет померк в глазах Никиты Фёдоровича. – И откуда я это выдумал? –

рассуждал он: – Откуда? Зачем ей меня… и, Господи! И зачем Черемзин говорил мне, что она… Нет! Нет, этого быть не может; нет, т е п е р ь уже всё кончено!»

Черемзин подошёл к «царице» сейчас же за Волконским. Никита Фёдорович видел, как он опустился на колено, как Аграфена Петровна протянула ему жезл, дала поцеловать свою руку и приложила два пальца к его щеке, исполняя старинный обряд посвящения в рыцари. Всё это было на его глазах.

Музыка заиграла польский. Торжествующий Черемзин, слегка покачиваясь всем корпусом и развевая полы своего богатого атласного кафтана, повёл Аграфену Петровну в первой паре в такт, под мерные звуки польского.

Волконский остался в числе немногих молодых людей, которым не хватило дам. Но он, разумеется, и не желал танцевать. Теперь уже ничто не нравилось ему здесь. Он твёрдо решил сейчас же уехать домой, как только кончится этот польский. Мало того, он был уверен, что завтра же уедет навсегда из Митавы, будет заниматься «делом» и ни за что не встретиться с Аграфеной Петровной. Пусть она веселится с Черемзиным, с кем угодно, но он, князь Никита, забудет её как можно скорее. Какое, собственно, было «дело», которым он собирался заняться, – он, разумеется, не знал хорошенько; но он был уверен, что то, что он сделает, будет очень важно и нужно. Ему по крайней мере казалось так.

Аграфена Петровна в это время, в паре с Черемзиным, уже два раза прошла мимо Волконского, и теперь, делая третий круг, снова приблизилась к нему. Она смотрела прямо на него с задорною, вызывающею улыбкой. Он опустил глаза, стараясь в свою очередь улыбнуться как можно равнодушнее и не глядеть на неё. Но Бестужева оставила руку Черемзина и протянула её Волконскому. Черемзин, как ни в чём не бывало, как будто он ничего не терял и не выигрывал, принял даму следующей пары и повёл её, по-прежнему покачиваясь и развевая полы кафтана. Никита Фёдорович пошёл впереди с царицей бала.

Он чувствовал в своей руке маленькую, тонкую руку Аграфены Петровны, и её прикосновение заставляло в нём сердце неудержимо биться, грудь его наполняло восторжённым трепетом, мысли путались и переходили наяву в какие-то чарующие, волшебные грёзы.

«Да ведь это – она, сама она, со мною рядом… Боже, как хорошо!.. Прелесть моя», – думал Волконский, напрасно стараясь держать прямо и ровно свою непослушную, дрожащую руку.

– Что с вами? – спросила Бестужева.

– Не знаю, – ответил Волконский, – почём я знаю…

Он, не теряя такта, ускорил шаг, но заговорил тише, так тихо, что Аграфена Петровна могла лишь догадываться о том, о чём он говорил, по движению его губ; и она догадывалась и понимала.

– А вы загостились в Митаве, – снова заговорила она. – Ведь вы проездом здесь?

– Не знаю… право, не знаю… Я знаю лишь одно, что никогда не уеду отсюда…

Она взглянула на него своими ясными, милыми глазами, как бы спрашивая этим взглядом: «Отчего?»

«Оттого, что я люблю тебя!» – чуть не вырвалось у князя Никиты, но он сдержал себя и, ничего не ответив, только глубоко вздохнул.

Аграфена Петровна улыбнулась и ниже опустила голову.

Пётр Михайлович Бестужев, проводив герцогиню, вернулся к гостям рассерженный. Он отлично понимал, что его дочь нарочно устроила себе торжество в заново обитой гостиной, и боялся, как бы это торжество не стоило ему многого, если взбешённая Анна Иоанновна напишет в Петербург жалобу. Он тревожился и сердился, но волей-неволей должен был при важных гостях сдерживать себя и не показывать вида, что недоволен чем-нибудь. Напротив, он старался быть как можно любезнее с оберратами, заставлял себя занять приятным разговором богатых баронов, мало-помалу разошёлся сам и, наконец, выпив стакан крепкого мёда, совсем развеселился.

В сад на террасу он вышел, улыбаясь и позабыв на время недавнюю неприятность. Со

ступенек террасы была видна разукрашенная площадка, где происходили танцы, и веселье, царившее там, гром музыки и причудливая, но красивая, движущаяся пестрота толпы танцующих приятно поразили его. Воздух был насыщен ароматом цветов, чист и спокоен; деревья, точно на картине, стояли недвижимы и тихи.

Разглядывая танцующих, Бестужев сейчас же заметил среди них свою дочь, которая шла в первой паре. При виде её в нём снова проснулось недовольство её поступком с герцогинею, но он постарался сдержать себя.

«С кем это она?» – подумал он, стараясь рассмотреть, с кем танцует Аграфена Петровна, и, наконец, узнал Волконского.

По сияющему радостному лицу князя Никиты и в особенности по смущению дочери, которое не могло скрыться от отцовского глаза, Пётр Михайлович догадался, что между ними что-то происходит теперь, что и князь и его дочь не совсем равнодушно ходят в паре под звуки этого польского. И вдруг он вспомнил недавнюю охоту, и та тоже показалась ему подозрительною.

«Так вот оно что! – решил Бестужев. – Ну, хорошо, посмотрим…»

В нём закипели досада и гнев против дочери. Положим, он никогда не был приверженцем старых московских порядков: сына весьма охотно отдал на воспитание в Берлин и радовался, когда тот, окончив там курс, поступил на иностранную службу; сам он, наконец, служил за границей и, давно став европейским человеком, держал дочь свободно, вовсе не по-московски. Но теперь, когда на самом деле, видимо, происходило то, о чём он проповедовал так часто на словах, в нём невольно поднялось скрывшееся где-то на дне души чувство слепой отцовской власти над дочерью, и он возмутился её самостоятельностью, которую сам же допустил и которой не стеснял до сих пор. Он вспомнил свою женитьбу, вспомнил, как ещё сравнительно недавно девушка не смела смотреть даже на жениха, а не только на постороннего молодого человека – и вдруг его родная дочь вот так свободно разговаривает с приезжим князем Волконским, у них, быть может, решается что-нибудь, а он, отец, ничего не знает, и он большими, тяжёлыми шагами спустился с лестницы и направился к площадке.

В эту минуту как раз кончился польский, и пары с глубоким поклоном расходились в разные стороны.

Бестужев, сдвинув брови и сердито опустив углы губ, подозвал к себе дочь.

– Отчего ты танцуешь с Волконским? – спросил он, не скрывая своего гнева.

Аграфена Петровна удивлённо взглянула на него.

– Надо же с кем-нибудь танцевать, – ответила она, – для того и бал.

– Хорошо… Но больше ты не будешь танцевать с ним во весь вечер. Слышала?

– Я избрана царицей бала, – возразила с улыбкой Аграфена Петровна, – и здесь, по закону и обычаю, всё в моей власти: я могу делать всё, что хочу, и танцевать с кем угодно.

Она была права – обычай был действительно таков.

Пётр Михайлович ничего не мог сказать ей; его родительская власть здесь не имела силы.

– Чёрт возьми ваши обычаи и эти танцы! – процедил он сквозь зубы и на весь вечер остался уже молчаливый и неприветливый, с нетерпением ожидая, когда наконец разъедутся гости.

Черемзин, как маршал, распоряжавшийся танцами, велел играть менуэт и стал устраивать пары. Аграфена Петровна танцевала менуэт опять с Волконским.

VII
ОТЕЦ

Проводив последнего гостя, Бестужев, несмотря на поздний час, направился прямо в уборную дочери. Аграфена Петровна, утомлённая весельем этого дня, сидела у зеркала в большом мягком кресле, медля позвать своих служанок. Она желала остаться несколько

минут теперь одна, сама с собою, после всего этого бального шума, пестроты, суетни и блеска. Она откинулась на спинку кресла и сидела так, не меняя положения и наслаждаясь тишиной и покоем.

Отец вошёл быстро, не постучав предварительно в дверь, и большими шагами приблизился к креслу.

Аграфена Петровна вздрогнула.

– Господи, как вы меня испугали! – проговорила она.

– Спасибо, Аграфена Петровна, зело тебе спасибо! – начал тот сердитым голосом. – Скажи, пожалуйста, что всё это значит?

Бестужева не была удивлена ни вопросом, ни вообще неудовольствием отца. Она знала заранее, что дело не обойдётся без серьёзного объяснения, но не ожидала того тона, которым говорил теперь Пётр Михайлович. Он никогда не обращался так с нею.

– Простите, батюшка, но сегодня я просто не могу говорить: я устала, нездоровится мне, завтра…

– Если я говорю, так не завтра, а сегодня! – резко перебил Бестужев. – Да изволь встать, когда говоришь с отцом! – вдруг крикнул он и отвернулся.

Аграфена Петровна испуганно подняла свои прекрасные, выразительные глаза на отца, недоумевая, что сделалось с ним, и тихо встала с кресла, опустив голову и покорно сложив руки, готовая слушать и подчиняться ему.

Эта её покорность, – напускная покорность, как воображал Бестужев, – только больше взбесила его. Он хотел, чтобы она лучше рассердилась, вспылила, расплакалась, наконец, хотя он терпеть не мог слёз, только бы она дала ему повод вылить, в потоке укоризненных слов, накипевшую в его груди злобу. Но она стояла пред ним, тихая и милая, в своём великолепном наряде, который удивительно шёл к ней.

– Извольте ж отвечать, сударыня! – проговорил, едва сдерживаясь, Пётр Михайлович.

– Да в чём же я виновата? – произнесла, вполне овладев собою, Аграфена Петровна.

– Мебель… мебель – это раз! – снова закричал Бестужев, раздражаясь уже резким звуком собственного голоса и в особенности тем, что не может сдержать гнев.

– Это – не более как случайность; почём же я могла знать, что это так выйдет?

– Знаю, всё это я знаю тоже, что не случайность… меня-то, матушка, не проведёшь!.. Ты вот тут думаешь о своём самолюбии, а мне приходится расплачиваться за это, – горячился Пётр Михайлович. – Что ты думаешь, о н а, – он произнёс это слово так, что было ясно, что он разумеет герцогиню, – не напишет теперь обо всём в Петербург, не станет жаловаться?.. Лёгкая штука – нечего сказать! И попомни моё слово, даром тебе эта мебель не пройдёт… Вот увидишь, когда-нибудь да вспомнится… отомстит она тебе!.. Ну, а затем Волконский…

– Что ж Волконский? – спросила вдруг Аграфена Петровна.

Бестужев остановился, подыскивая выражение, которое соответствовало бы тому, что он хотел сказать.

– Что у тебя с ним, а?

Она не ответила.

– Что у тебя было с ним? – повторил Пётр Михайлович.

– Решительно ничего… Что ж, я только танцевала… я могла сделать это. Тут не было ничего дурного…

Бестужев закусил губу…

– Ах, знаю я это всё! – повторил он:-Да ведь ты же понимаешь… ведь видишь, что он без ума от тебя…

– Если вы всё видите, так должны и об этом знать, – возразила она, пристально взглядывая на отца, ожидая, что он ответит.

– Та-ак! – протянул он. – А если, по-моему, и сама ты…

– Что я сама?.. Ну, это – неправда, неправда, ничего я сама… для меня Волконский решительно как все другие, – волновалась Аграфена Петровна, а в голове у неё мелькало в

это время: «Господи! неужели заметно?.. неужели я в самом деле?.. да нет, нет!..» – Этого не может быть, – продолжала она вслух. – Кто вам сказал это? Или вы сами заметили?

– Это всё равно, но если это так, то я тебя предупреждаю, что этого никогда не будет, я не позволю. Слышишь? не позволю… Я тебе дам без отца, никогда не спросясь… замуж выходить!.. Ишь, выдумала… волю забрала! Так я сумею привести тебя на путь истинный!

И Бестужев, круто повернувшись, ушёл, застучав каблуками и не простившись с дочерью.

Аграфена Петровна долго оставалась пред зеркалом, так, как оставил её отец. Мысли с особенною, необычайною быстротою менялись в голове. Гнев отца, торжество над герцогиней, невыясненное до сих пор и вдруг получившее теперь точно какую-то определённую форму чувство к Волконскому, – всё это волновало её, тревожило, не давало успокоиться. Она забыла об усталости и чувствовала, что сон не придёт к ней… Грудь её точно была стеснена чем…

«Шнуровка, – пришло ей в голову, и она, подумав о своём наряде, оглядела себя в зеркало с ног до головы. – «Eine Furstin – настоящая княгиня», – вспомнила она слова Розы.

Аграфена Петровна позвала Розу, велела раздеть и подать свой широкий шёлковый шлумпер.

– Я ещё не лягу в постель, – пояснила она и, сев за свой маленький письменный стол, тщательно очинила перо и начала письмо к брату в Ганновер.

Она по-немецки писала ему о перемене в отце, об его вспышке и о том, что он вдруг выразил желание стать тираном её души в противность тому просвещению, которое столь свойственно всему роду Бестужевых. О Волконском, разумеется, в письме не было и речи. Да и не о нём теперь беспокоилась Аграфена Петровна. Ей важно было выяснить при помощи брата, неужели, если действительно она полюбит кого-нибудь, то отец может положить запрет на её свободную любовь, на лучшее чувство её души?

Анна Иоанновна в этот вечер тоже долго не ложилась спать и тоже писала. Она писала медленно, постоянно морщась и с неимоверным трудом обдумывая «штиль» своего письма. Вернувшись домой, она быстро скинула своё ярко-жёлтое платье и тут же подарила его камеристке, потом прогнала всех из комнаты и села писать прямо к дяде-государю. Она долго перечёркивала, переписывала и переделывала, но, составив, наконец, слёзную жалобу на Бестужева царю Петру, перечитала её и изорвала. Она положительно не могла написать так, как следовало. Все письма к государю сочинял ей сам Пётр Михайлович, и теперь некому было заменить его.

«Господи, что же делать мне?» – спрашивала себя Анна Иоанновна. – Матушке написать, она – моя единственная защитница, – решила она, и уже без помарок и перечёркиванья, написала многословное послание к царице Прасковье, в котором жаловалась на терпимые ею в Курляндии притеснения и просила, чтобы матушка умолила своего деверя-царя отозвать отсюда Бестужева. – Ну, Пётр Михайлович, посмотрите вы с вашей Аграфеной теперь! Уж я терплю-терплю, а потом добьюсь своего, посмотрим… Заговорите вы, как уберут вас отсюда!» – думала она, заранее радуясь тому, как «разжалуют» Бестужева, в чём она не сомневалась, надеясь, что государь ни в чём не откажет своей покорной золовке.

На другой же день Пётр Михайлович узнал, что герцогиня послала уже рано утром секретного гонца в Петербург с собственноручным письмом к матушке-царице Прасковье. Цель этого послания и содержание письма были ясны Бестужеву.

Когда он по обыкновению приехал к герцогине утром с докладом, та не приняла его. Дело выходило серьёзным, так как Анна Иоанновна, видимо, начала открытую борьбу, и Пётр Михайлович задумался, не зная на этот раз силы противника. На такой явный разрыв с ним герцогиня могла решиться, только заручившись твёрдою поддержкою в Петербурге, а Бестужев знал, что такая поддержка не невозможна для неё. Он выждал несколько дней, не одумается ли Анна Иоанновна и не пришлёт ли за ним; но она не присылала. Тогда он ещё

раз попробовал явиться в замок, но его опять не приняли. Очевидно, герцогиня не боялась его.

Пётр Михайлович дома ходил сердитый, не в духе, упрекал дочь за случившееся, и его обхождение с нею совершенно изменилось. В обществе он старался казаться равнодушным и весёлым, но многие замечали, что это равнодушие и веселье служили только маскою для того беспокойства, от которого не был в силах отделаться Бестужев.

Анна Иоанновна, в ожидании ответа из Петербурга на своё послание, переехала жить в Вирцау, и – странное дело – митавский замок с отъездом хозяйки не только опустел, но, напротив, в нём проснулась жизнь. Население замка, не стесняемое теперь присутствием герцогини, оживилось, в саду появились гуляющие, на дворе показалась прислуга, в окнах дольше обыкновенного по вечерам блестели огни, и только покои герцогини темнели по-прежнему.

Волконский с утра выходил в сад, не боясь уже встречи с герцогиней, и подолгу гулял там со своею книжкой.

Он находился теперь в самом блаженном состоянии счастливого влюблённого и, наслаждаясь воспоминаниями бала, думал только об Аграфене Петровне и искал с ней встречи.

Черемзин рассказал ему, что на днях будет храмовый праздник в церкви Освальдского замка, где жил старый граф Отто, и что в этот день вся Митава бывает у него в гостях. Князь Никита сейчас же подумал, что, наверно, там будут Бестужевы и что хорошо было бы попасть туда, если это возможно.

Замок Освальд, расположенный недалеко от Митавы, вверх по реке Аа, на левом берегу, на небольшом холме, был основан в 1347 году рыцарем Ливонского ордена Освальдом и сохранил всё своё прежнее величие, несмотря на пронёсшиеся над его стенами века. Народное движение, реформация и, наконец, распадение ордена прошли для него бесследно, и в начале XVIII столетия живший там бездетный старец граф Отто – последний Освальд – оставался верным католиком и ревниво охранял свой замок от всякого новшества. Граф никого не принимал и сам не выходил за черту своих окопов. Народ про него рассказывал басни; говорили, что он – алхимик и чародей, а в Митаве считали его просто выжившим из ума сумасбродным стариком, хотя и отзывались о нём с уважением.

Замок со своими высокими стенами, рвами, башнями и бойницами, с подъёмным, гремевшим цепями мостом, имел снаружи странный, таинственный вид и казался необитаемым. Только в утренний час обедни из-за этих стен раздавались мерные удары колокола.

Старый граф жил у себя, как хотел, никому не мешая, и не позволял, чтобы мешали ему. Он рабски придерживался дедовских обычаев, завещанных ему отцом, на которого был очень похож своими причудами и странностями.

В обыкновенное время ворота замка никогда не растворялись для случайного посетителя или гостя. Раз только в год, в престольный праздник замковой церкви, эти ворота были отворены для всех желающих, и тогда всякий, кто хотел, – и знатный, и простолюдин – мог идти в гости к старому графу. Для народа устраивалось угощение на дворе, а благородных гостей провожали в столовый зал к графу.

Таким образом, попасть туда Волконскому было очень легко и возможно.

VIII
СТАРЫЙ ЗАМОК

– Да вставай, брат, вставай!.. Не то опоздаем, – будил давно умытый, причёсанный и почти одетый князь Никита лежавшего ещё в постели Черемзина.

– А-а-а, который час? – зевнул Черемзин.

– Скоро шесть…

Было ещё половина шестого утра, но Волконский нарочно сказал больше.

– Так рано ещё – успеем, – сонным голосом отозвался Черемзин и повернулся к стене.

– Ну что мне с тобой делать? – беспокоился Никита Фёдорович. – Где же мы успеем? Ты одеваться будешь полтора часа по меньшей мере… Да сам ты вчера говорил, что до Освальда час езды будет, значит, приедем туда в половине девятого, а нужно быть в восемь.

– Значит, приедем в половине девятого, – согласился Черемзин, садясь на постели, потягиваясь и мигая ещё слипавшимися от сна глазами. – Знаешь, князь, – вдруг сообразил он, – мы вот что сделаем – вовсе не поедем.

Волконский только рукой махнул.

– Ведь всё равно опоздали, – продолжал Черемзин.

– Да встанешь ли ты, может, и не опоздали.

– Да ведь её не будет…

– Кого её?

– Не знаешь? – и Черемзин лукаво прищурил правый глаз.

– Послушай, наконец… – начал уже рассердившийся князь Никита.

– Ты погоди злиться. Я тебе приятную новость могу сообщить.

– Ну? – спросил, не меняя тон, Волконский. – Да, верно, опять врёшь что-нибудь.

– Нет, не вру. Вчера я положительно узнал, что Бестужева отзывают отсюда.

– Ну, что ж из этого?

– Ну, значит, он будет в немилости, лишится своего положения, может быть, состояния. Герцогиня вот уже сколько времени не принимает его, словом, Бестужев накануне падения.

– Так что ж тут приятного?

– Для Петра Михайловича, конечно, ничего, но для тебя это очень хорошо.

– Да что ты, не проснулся, верно? Что ты за вздор говоришь?

– Нет, не вздор, голубчик. Ведь ты Аграфену Петровну любишь?

Волконский молчал.

– Любишь ты её или нет, я тебя спрашиваю?

– Ну, хорошо… дальше что?

– А если ты её любишь, то ни на богатство, ни на протекцию её отца внимания не обращаешь. Значит, то, что казалось невозможным или трудным, когда Бестужев был в силе, станет просто и даже очень достойно с твоей стороны, когда он впадёт в немилость…

– То есть?

– Да сватовство твоё к Аграфене Петровне! – отрезал вдруг Черемзин и, спустив ноги с кровати, быстро стал одеваться.

На этот раз он окончил свой туалет довольно поспешно и не было ещё половины седьмого, когда они выехали верхом, быстрою рысью, за город.

Слова Черемзина всю дорогу мучили Волконского. Он не мог не сознаться, что эти слова были счастливою и чудною истиной, но, несмотря на это, для него Аграфена Петровна всё-таки казалась так недосягаемо прекрасна, что то счастье, о котором говорил Черемзин, представлялось неземным, нездешним и потому для простого смертного невозможным.

– Фу! Я с ума сойду! – повторял он, схватываясь за голову.

Они подъехали к замку как раз вовремя, когда только что загудел церковный колокол, и ворота отворились.

Толпа народа, ожидавшая этой минуты, повалила в ворота, потому что с последним ударом колокола ворота снова затворялись и в продолжение всего дня, до вечера, нельзя было ни войти в замок, ни выйти из него.

Узенький первый двор замка, стиснутый между двумя почти лишёнными окон стенами, был вымощен плоскими квадратными камнями, между которыми пробивалась сорная трава, и казался пустынным и неприветливым. Но за вторыми – башенными – воротами открывалась широкая обсаженная деревьями и усыпанная песком площадь, где готовилось угощение для простонародья.

Обогнув эту площадь, благородные гости подъезжали к длинным ступеням главного подъезда, у дверей которого вытянулись и застыли, словно каменные, держа наотмашь свои

алебарды, два латника в старинном и блестевшем на солнце вооружении.

Волконский слез с лошади и, отдав её конюху, стал вслед за другими подыматься по лестнице в покои графа.

Знакомый теперь князю Никите митавский замок Кетлеров, где жила герцогиня со своею свитою, был почти на целое столетие старее Освальда, но имел гораздо более современный вид, даже снаружи, не говоря уже о внутреннем убранстве. Два высоких со стрельчатыми сводами и окнами зала, которое миновали гости, имели строгий, до мельчайших подробностей, характер глубокой старины, тщательно сохранённой. Узкая галерея, с длинным рядом фамильных портретов графов Освальдов, вела в церковь, где начиналась обедня. Эта церковь, освещённая прозрачною мозаикой мелких разноцветных стёкол, с открытым католическим алтарём, была невелика. Впрочем, и гостей, допущенных сюда, было немного. Впереди, в особом, обтянутом красным сукном месте, сидел сам старик граф Освальд, одетый в чёрный бархатный кафтан покроя шестнадцатого, столетия. На плечах у него была графская мантия. Гости разместились по скамейкам: в первых рядах дамы, мужчины – позади.

Вся эта обстановка замка и граф в своём чёрном одеянии резали глаз непривычною важностью и по-своему были величественно красивы, но как-то уж слишком «по-своему», в особенности, в сравнении с шуршавшею своим атласом и шёлком толпою гостей, в нарядах, к которым привык глаз Волконского.

Но Никита Фёдорович не обращал почти ни на кого и ни на что внимания, потому что та, для которой он приехал, была здесь.

Бестужев нарочно явился с дочерью в Освальд, желая показать, что его дела идут вовсе не дурно и что он совершенно спокоен и весел.

Служба была продолжительна. Сначала патер произнёс длинную проповедь по-немецки, потом началась торжественная обедня при звуках органа и пения. Волконский нетерпеливо ждал окончания службы, чтобы иметь возможность подойти и заговорить с Аграфеной Петровной, но эта возможность представилась не скоро. Когда вышли из церкви, Бестужева с отцом и прочими важными людьми прошла вперёд, и Никите Фёдоровичу неудобно было попасть в их среду; но он видел, что Аграфена Петровна, пройдя мимо него, заметила его и знала, что он здесь и любит её, и восхищается ею. Этим сознанием он утешился.

После обедни граф, перейдя в зал, приветствовал важных гостей и здоровался с остальными, которые по очереди подходили к нему и которых, не ошибаясь, называл графу мажордом, неизвестно как и откуда уже узнавший их имена.

Представление кончилось, раздался звук рожка, и два пажа в серебряных епанчах с гербами графского дома Освальдов настежь распахнули большие дубовые двери в соседний зал, где был приготовлен стол для угощения.

Этот стол имел форму подковы и был сплошь заставлен тяжёлою серебряною посудой, кубками и кувшинами. Пред каждым стулом с резною высокою спинкой на столе стояли серебряные тарелки, но ни ножей, ни вилок, запрещённых в старину в католических монастырях, не лежало возле них. На середине стола и на обоих концах его, в серебряных бассейнах били небольшие фонтаны белого и красного вина. Тут же стояли затейливые сооружения из теста, украшенного разноцветною глазурью: высокий замок с башнями, дверьми и окнами, корабль с парусами и снастями, огромный павлин, распустивший свой хвост, мельница с вертящимися крыльями, увитый плющом Бахус на бочке. Белая реймская скатерть была увешана и покрыта гирляндами цветов.

– Что, хорошо? – спросил Черемзин Никиту Фёдоровича, усаживавшегося с ним за стол.

– Что ж, хорошо, – согласился Волконский, оглядываясь и напрасно ища салфетки и прибора. – Только как же есть?

Хотя отсутствие прибора и не особенно поразило – сам царь Пётр ел часто просто руками, – но он сделал свой вопрос, потому что Аграфена Петровна могла увидеть, как он

будет пальцами пачкаться в кушанье. Однако Черемзин успокоил его, что у графа такое обыкновение, да и кушанья будут подаваться совсем особенные.

Действительно, князь Никита никогда ещё не пробовал сухого винегрета из бараньих языков, приправленных разными пряностями, с которого начался обед. За этим первым блюдом следовал бесконечный ряд разных разностей: цыплята в уксусе, кабанье мясо с каштанами, телячьи сосиски, рыба сушёная и вяленая, дичь с золочёными клювами и ногами, паштеты ласточек, артишоков, каплунов и бычьих языков, потом спаржа, сыры, засахаренные огурцы, компот из слив, наконец, торты и пироги итальянские, слоёные, на сливках и на белом вине. Волконский не только не мог всё это съесть, но даже запомнить по порядку.

После каждого блюда пажи с кувшинами розовой воды обходили гостей и подавали им мыть руки.

Граф сидел всё время молчаливо и неподвижно, мало ел и изредка пил что-то особенное из стоявшего пред ним кубка.

– А знаешь ли, ужасная тоска! – шепнул Волконский Черемзину, на что тот лишь повёл бровями, как будто говоря: «Ведь я предупреждал, что не стоило вставать так рано».

Никита Фёдорович даже не мог глядеть на Бестужеву – хвост стоявшего на столе пред нею павлина заслонял её. И напрасно Волконский ждал, когда, наконец, дойдёт очередь до этого павлина в ряду кушаний графского стола.

Этот бесконечный ряд блюд, эти кувшины розовой воды, отсутствие оживления и однообразное журчание фонтанчиков стали вдруг производить на князя Никиту самое угнетающее впечатление.

«И к чему всё это?» – думал он.

В это время на середину зала вышел одетый в плащ и с арфою на плече старик с длинною седою бородой и старческим, тихим, но сохранившим свою музыкальность и певучесть голосом спросил по-немецки:

– Что будет угодно дамам, графу и его высоким гостям, чтобы спел я?

Черемзин, которому уже надоело сидеть не менее, чем Волконскому, не предвидя от этого пения ничего хорошего, от души пожелал старику охрипнуть.

– Песню об Алонзо! – послышалось на вопрос певца.

– Кольцо! – проговорил женский голос.

И старик, почтительно склонившись в его сторону, запел песню о кольце.

Я взошла на высокую гору,
Лес шумел вдалеке под горой,
Здесь три князя ко мне выезжали
И один был из них молодой.

Он с руки снял серебряный перстень,
Свой серебряный перстень он снял,
И мне отдал серебряный перстень,
И, его отдавая, сказал:

– Если спросят, откуда взяла ты,
Этот перстень откуда взяла?
Отвечай, то в лесу, под горою,
Этот перстень сегодня нашла.

– Нет, не буду я лгать, что сегодня
Этот перстень нашла под горой,
А скажу, что серебряным перстнем
Мой жених повенчался со мной.

Общую натянутость и тоску живо чувствовала и Аграфена Петровна, и для неё они были ещё несноснее и неприятнее, потому что самой по себе ей было далеко не весело. Она почти не притрагивалась к кушаньям и сидела низко опустив голову над столом, внимательно глядя на свою руку, которою слегка поглаживала скатерть.

– Ах, как хорошо, очень хорошо! – сказал сидевший рядом с нею оберрат, когда кончилось пение. – А моя дама не любит пения? – обратился он к Бестужевой.

Она подняла на него глаза. Оберрат, очевидно, недаром наполнял часто свой кубок во время обеда. Его нос и щёки были красны, и глаза поддёрнулись влагой.

«Противно смотреть», – подумала про него Аграфена Петровна и, ничего не ответив оберрату, снова опустила голову. «Господи, когда же будет этому конец?» – мысленно повторяла она.

Старик ещё что-то пел, но Бестужева его уже не слушала, всецело охваченная своими грустными, тяжёлыми мыслями.

От этих мыслей её как бы разбудили вдруг резкие звуки роговой музыки, должно быть, раздавшиеся после пения старика. Она огляделась и увидела, что из-за стола вставали, с шумом отодвигая тяжёлые стулья.

Сырой воздух зала давно отяжелел от запаха вина, кушаний, розовой воды и приторно-ароматного чада четырёх высоких курильниц, дымивших всё время в углах. Истомлённая долгим сидением и скукой Аграфена Петровна чувствовала, что просто нечем дышать, что она не может дольше оставаться здесь. Она, бледная, едва добралась до дверей и, выйдя из зала, попала в какую-то многоугольную, с низким потолком, комнату, заставленную шкафами с книгами.

«Библиотека», – догадалась Аграфена Петровна и пошла дальше, потому что здесь низкий потолок давил её.

Она увидела в стене маленькую дверь, за которою сейчас начиналась узкая лесенка наверх, и стала подыматься по ней. Куда она шла – ей было решительно всё равно, но ей хотелось куда-нибудь, лишь бы вздохнуть свободно, одной. Лестница освещалась маленькими окнами и вела, очевидно, наверх одной из башен замка.

Бестужева несколько раз останавливалась, тяжело дыша и прикладывая руку к сильно бившемуся сердцу, как бы желая остановить его, и потом опять шла кверху, боясь поскользнуться на каменных, старых ступенях.

Наконец, она вышла на свежий воздух, на вершину высокой башни, окружённую толстыми, неуклюжими зубцами, которые снизу казались удивительно лёгкими и маленькими. Поднявшись, она с наслаждением порывисто вздохнула и опустилась в прогалине меж двух зубцов на грубый камень, тепло согретый солнечными лучами. Она чувствовала, что голова у неё кружится, и боялась некоторое время смотреть вниз, чтобы не упасть, но потом провела руками по лицу и, приходя в себя, невольно стала любоваться непривычною картиной открывшегося пред нею вида.

Внизу, у самых стен замка, слегка покачивался своими верхушками лес, точно двигавшаяся бородавчатая, покрытая щетиной, спина неведомого зверя; за лесом расстилалось поле с серебряною лентой реки, а там, далеко, сплошною пёстрою полоской виднелась в тумане Митава. Мост замка был поднят, и глубокий чёрный ров правильным кольцом опоясывал со всех сторон замок.

«Выхода нет!» – подумала Аграфена Петровна.

Этот крепкий, каменный, непобедимый, заполонивший её на сегодня, замок с удивительной ясностью напомнил ей её положение. Она кругом и вполне зависела от отца. Отец был раздражён беспокойством о своих служебных делах; он мог ещё больше рассердиться, и вот она ничего не в силах сделать, связана по рукам и ногам. Что ж она такое?.. Бедная, ничего по себе не значащая дочь важной до поры до времени персоны в Митаве. Но сама по себе она – пока ничто, р е ш и т е л ь н о н и ч т о!..

А между тем эта высота, на которой сидела теперь Аграфена Петровна, и открывшаяся

пред нею, точно подвластная ширь, говорили ей, что душе её родственна и близка прелесть независимости, власти и значения и что, раз она может понимать это, значит, должна достичь.

«Но ведь выхода нет, – повторяла она себе. – А он должен быть».

«Отвечай, что в лесу под горою
Этот перстень сегодня нашла!» –

вспомнила вдруг Аграфена Петровна и, прислушиваясь, наклонила голову.

По лестнице поднимались шаги. Кто-то шёл к ней.

«Да, серебряный перстень, – продолжала она думать. – Но кто же это будет?»

Шаги были совсем уже близко. Ещё секунда – и на площадку башни вошёл Волконский. Он сейчас же заметил внизу исчезновение Аграфены Петровны и невольно стал искать её.

– Насилу-то!.. – проговорил Никита Фёдорович, с трудом переводя дух от ходьбы по лестнице.

Бестужева не глядела на него.

Как ни странно это было, но ей казалось теперь, что именно князь Никита должен был прийти в эту минуту и что он должен был искать именно её.

– Господи, я измучился, истомился без вас, – заговорил Волконский, сам удивляясь своим словам и их смелости, – такая тоска тут… Да и везде без вас тоска, – вдруг сказал он.

– Вы знаете старую сказку о спящей принцессе? – спросила Аграфена Петровна. – Помните, как она проснулась в замке, который сто лет спал вместе с нею? Знаете, мы точно попали на это пробуждение. Этот замок словно проснулся сейчас, заснув несколько десятков лет тому назад, – до того здесь всё по-старинному… Только принцессы нет, пожалуй…

Никита Фёдорович смотрел на неё счастливыми, блестящими глазами.

– А вы? Вы… Аграфена Петровна?.. Господи! Я с ума сойду! – повторил он с утра преследовавшие его слова.

И он и она знали, что сейчас, сию минуту, должно выясниться то, зачем их свела судьба случайно, как сначала казалось, и выясниться это должно теперь или никогда.

Князь Никита сделал несколько шагов к девушке и подошёл совсем близко. Зачем он сделал это – он не помнил и не понимал, потому что ничего не мог теперь помнить и понимать. Она также бессознательно двинулась к нему и, почувствовав его близость, любовь, смущение и радость, вдруг просветлела вся, и ей стало ясно, что она любит этого человека, верит ему и что с ним приходит к ней новая жизнь, свободная и прекрасная. Она ничего не могла сказать ему, но руки её поднялись послушно и доверчиво и бессильно упали на плечи князя.

– Моя!.. моя! – прошептал Никита Фёдорович, прижимая её к груди.

В это время на лестнице опять раздались чьи-то шаги, и Аграфена Петровна пугливо отстранилась.

На башню вошли несколько гостей, пожелавших осмотреть замок. Волконский и Бестужева стояли вдали друг от друга и внимательно, как казалось, разглядывали Митаву, споря о том, какая церковь видна справа. Один из пришедших постарался объяснить им и сам заспорил.

IX
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Наступил август месяц, а положение Бестужева в Митаве нисколько не выяснилось.

Герцогиня жила в Вирцау и не виделась с ним. Из Петербурга не было никаких известий.

Пётр Михайлович сидел у себя в кабинете, в утреннем шлафроке. Был восьмой час

утра. Он только что встал.

Поместившись поудобнее в кресле у письменного стола, Бестужев задумчиво смотрел на строки письма, привезённого оказией ещё вчера вечером и давно прочитанного. Письмо было из Ганновера, от сына Алексея, который, получив от сестры известие о замеченной ею в отце перемене, сейчас же сел сочинять ему длинное, на немецком языке послание, строго придерживаясь изученных в берлинской академии стилистических правил. Замысловатые, вычурные фразы письма составляли целый философский трактат о том, что женщина может выбирать себе мужа по сердцу. Алексей Петрович ни словом не обмолвился, что речь идёт об Аграфене Петровне и об отношениях к ней отца. Но тот сейчас же понял, в чём дело.

Горячий, как казалось, великолепный стиль письма нравился ему. Он с горделиво-самодовольной отеческой улыбкой перечитывал письмо и несколько раз подумал о том, что сыну его предстоят, вероятно, в будущем большие успехи.

Письмо освежило Бестужева, дало ему новую нить мыслей и окончательно побороло проснувшееся старомосковское чувство отеческой власти. Пётр Михайлович сознался сам пред собою, что готов был повернуть назад с того пути, по которому шёл до сих пор неуклонно.

Начав думать в этом направлении, он всё более и более убеждался в своей неправоте, наконец вдруг поспешно встал с кресла и с добродушною усмешкой направился на половину дочери.

Аграфена Петровна рассеянно слушала неумолчную болтовню Розы, когда в дверь раздался лёгкий стук.

– Войдите! – ответила она.

Дверь отворилась, и на пороге показался Бестужев, как он был в шлафроке, колпаке и туфлях.

– Ach, Gott![7] – воскликнула Роза, притворяясь сконфуженною.

Пётр Михайлович, не заметив горничной, прямо подошёл к дочери и поцеловал её в лоб.

Та сделала знак Розе, что она может выйти, и удивлённо взглянула на отца, на письмо, которое он всё ещё держал в руках, и постаралась разгадать, почему явилась в нём снова прежняя ласковость, исчезнувшая со дня истории с жёлтою гостиной.

«Верно, из Петербурга хорошие вести», – догадалась она.

– Я получил письмо от Алексея, – заговорил Пётр Михайлович. – Славно он пишет…

Аграфена Петровна вдруг густо покраснела. Она тоже получила вчера от брата письмо в ответ на своё и знала теперь, о чём он мог писать отцу.

Пётр Михайлович ласково смотрел прямо в глаза дочери, точно старался заглянуть в самую её душу.

– Ты вот что, – начал он, – я был вот тут всё расстроен, беспокоился и говорил тебе… – Бестужев замялся. – Так это ты забудь, – добавил он вдруг.

– О чём забыть, батюшка?

– Ну, там… я тебя, словом, неволить не стану… Если захочешь замуж… так выбери себе жениха – я благословлю…

Аграфена Петровна, чувствуя, что краска не сбежала ещё с её лица, опустила голову, напрасно стараясь овладеть собою. Она понимала, что отец сам не выдержал долгой своей строгости к ней и что письмо Алексея Петровича было скорее предлогом, чем внезапною причиной того, что эта строгость была заменена прежнею милостью.

– Я ещё не собираюсь замуж… мне у вас хорошо, – сказала она.

– Не ври!.. Зачем врать?.. Ты думаешь, я не вижу… князя Никиту-то… не вижу? а?

Аграфена Петровна не могла сдержать своего волнения.

– Ах, батюшка, не надо, не надо об этом! – заговорила она, не имея в себе силы

[7] Ах. Боже! (нем.)

побороть себя.

Какие-то глупые, ненужные, но счастливые слёзы подступали к горлу.

– Да ведь что ж… когда-нибудь нужно будет всё равно – зачем тянуть понапрасну?.. Ведь он любит тебя, – ну, и Христос с вами!..

Аграфене Петровне, несмотря на всё её смущение, захотелось вдруг, чтобы отец сейчас же подтвердил, что Волконский любит её, чтобы он представил ей доказательства этого, чтобы он у с п о к о и л её, как будто она и в самом деле не знала и сомневалась, что Никита Фёдорович любит её больше жизни. Она потребовала этого от отца не словами, не вопросом, но только взглядом своих влажных блестящих глаз. И Пётр Михайлович понял этот взгляд.

– Ну, да… сам молод был… и сам был такой, как твой Волконский, – прошептал он, стараясь незаметно провести рукою по глазам.

– Батюшка, что с вами? Слёзы у вас?.. – заговорила Аграфена Петровна, обнимая отца и пряча у него на груди своё лицо. – Полноте, батюшка!..

Она привыкла видеть его всегда ровным, спокойным, скорее суровым, думала, что изучила характер его и знала, как обращаться и говорить с ним, но никогда не ожидала, чтобы у него, у её старика отца, показались слёзы на глазах и что он т а к любил её.

Подбородок её сильно дрожал, дыхание сделалось чаще, и она, крепко прижавшись к отцу, заплакала, как ребёнок, согретый наконец такою лаской, по которой давно тосковала душа его.

Успокоив дочь, и сам Пётр Михайлович вышел от неё успокоенный и весёлый. Камердинер давно уже ожидал его с платьем, удивляясь, почему нынче так долго барин не идёт одеваться.

– Что, заждался? – спросил его Бестужев. – Ну, давай скорее, и без того поздно!

Пётр Михайлович ощущал теперь в себе особенную лёгкость, точно гора свалилась у него с плеч, и мысленно почему-то несколько раз повторил себе: «Ну, теперь, кажется, всё будет хорошо». Беспричинно он чувствовал, что совсем успокоился, и, к своему удивлению, вскоре увидел, что это чувство явилось у него недаром.

Из замка приехал Черемзин с известием, что герцогиня вернулась в Митаву и сегодня же сама навестит Петра Михайловича. Это был неожиданный для Бестужева и самый блестящий исход всех его беспокойств и неприятностей.

Анна Иоанновна действительно приехала, как сказал Черемзин. Бестужев встретил её у крыльца. Она вышла из кареты, молча направилась по лестнице и также молча прошла вплоть до самого кабинета Петра Михайловича.

Бестужев почтительно следовал за нею, стараясь ничем не показать своего торжества, которое тем не менее так и светилось в его глазах.

Герцогиня казалась несколько бледною, пригнула голову и смотрела в пол. Войдя в кабинет, она опустилась в кресло, тяжело дыша.

Бестужев стоял пред нею и, видя, что она, должно быть, ждёт, когда он сядет, чтобы начать разговор, тоже сел и всем существом своим постарался выразить, что готов внимательно слушать то, о чём ему будут говорить.

Герцогиня всё молчала, поправляясь в кресле и, очевидно, не зная, с чего начать. Положение казалось неловким, но Пётр Михайлович терпеливо ждал, не желая помочь Анне Иоанновне.

– Пётр Михайлович, – заговорила она наконец, – ты меня знаешь… я всегда была расположена к тебе…

Бестужев поклонился.

– Ну, так вот, Пётр Михайлович, как ты думаешь, сладка моя жизнь здесь или нет?

– Ваша светлость… – начал было он.

– Нет, ты прямо ответь – сладка моя жизнь? Молчишь – ну конечно, сказать тут нечего… Я сердилась на тебя; так вот, видишь ли, ты не сердись на меня за это…

Она говорила отрывисто, с трудом подбирая слова и повторяя их, хотя заранее обдумала всё, что скажет и как именно скажет, но теперь перезабыла всё придуманное и не

знала, как ей быть.

– Конечно, я теперь вижу, что ты – человек хороший, – снова заговорила она, – и разумный, и всё такое… и зла мне не пожелаешь, – промолвила она, и хотя это было опять вовсе не то, но она продолжала: – Я никогда тебе дурного не желала… Ну, там была, что ли, размолвка, но это – дело прошлое…

Анна Иоанновна остановилась. Она решительно не знала, что ей ещё сказать.

– Да в чём дело, ваша светлость? Что такое? – спросил наконец Бестужев.

– В чём дело?.. Эх, да что тут! Уж если говорить, так говорить… Из Петербурга я получила указ.

Уезжая из дома она была твёрдо уверена, что ни за что не проговорится об этом указе, но тут вдруг, к крайнему своему удивлению, именно с него-то и начала.

«Верно, так уж тому и быть должно», – решила она.

– Ох, беда моя, не умею я тонкие дела вести!.. Ты, Пётр Михайлович, цени мою откровенность…

– Какой же это указ? – опять спросил Бестужев.

– Ну, да вот он, возьми, что ж, я уж скрываться не буду!.. – И Анна Иоанновна, желая победить гофмаршала своею доверчивостью, протянула ему бумагу.

Бестужев почтительно принял её и не спеша стал просматривать.

Указ был дан, по поручению царя, от государыни Екатерины на имя царицы Прасковьи, матери Анны Иоанновны, и гласил:

«Пётр Бестужев отправлен в Курляндию не для того токмо, чтоб ему находиться при дворе герцогини, но для других многих его царского величества нужнейших дел, которые гораздо того нужнее, и ежели его из Курляндии отлучить для одного только вашего дела, то другие все дела станут, и то его величеству зело будет противно…»

«Ну, я говорил, что сегодня всё будет хорошо – так оно и есть, – подумал Бестужев. – А всё оттого, что с дочерью поступил сегодня как следовало».

Похвала и доверие, выраженные в указе, были, разумеется, ему приятнее всего остального.

– Так видишь ли, Пётр Михайлович, – продолжала герцогиня, – я вот и рассуждаю, что ты – человек хороший, и государю здесь нужный – значит, мы с тобою будем лучше жить в мире… Что ж ссориться?.. Я ссор терпеть не могу…

И долго ещё Анна Иоанновна говорила Бестужеву о своей всегдашней приязни к нему и откровенности, но он только делал вид, что слушает её внимательно, а на самом деле милостивые слова указа не выходили у него из головы и мешали ему понимать и слушать.

Черемзин, предупредив Петра Михайловича, по поручению герцогини, об её посещении, не сейчас уехал из дома Бестужева, но спустился вниз, в его канцелярию, где давно был своим человеком. Он направился прямо, без доклада, в комнату к своему секретарю, однако тот встретил его не особенно дружелюбно. Секретарь не любил Черемзина за его постоянные шутки, оскорблявшие достоинство чиновного звания.

– Что, пан Щебрыца-Рыбчицкий, всё пишете? Вы бы погулять сходили, пока тепло на дворе, – заговорил Черемзин, садясь без стеснения.

Секретарь действительно носил фамилию «Щебрыца-Рыбчицкий» и был польского происхождения; но это происхождение было так отдалённо, что он считал себя русским и морщился, когда его называли «паном». Кроме того, Черемзин всегда с таким трудом выговаривал его фамилию, что это тоже было очень неприятно.

– Истинно всем сердцем рад погулять, да натуральная невозможность не позволяет, – ответил секретарь, стараясь говорить как можно важнее и, откинувшись на спинку кресла; склонил набок своё бритое, пухлое лицо.

Черемзин, прищурясь, смотрел на него.

– Что же, всё дела задерживают?

– Дела, всеконечно… С чем к нам изволили пожаловать из замка? – спросил со вздохом секретарь, видимо, желая поставить разговор на серьёзную почву.

– С известием.

Рыбчицкий поднял брови и замер, не донеся до носа щепотки табака, которую только что взял, топыря пальцы, из своей золотой табакерки.

Черемзин поспешно достал из кармана тоже табакерку и, растопырив пальцы, в свою очередь застыл в точно такой же, как секретарь, позе.

Рыбчицкий недовольно дёрнул рукою, втянул носом табак и чихнул.

– Будьте здоровы! – сказал Черемзин.

– Благодарствен, – резко ответил секретарь: казалось, он обиделся.

Но Черемзин, как бы не замечая этого, стал рассказывать о возвратившейся из Вирцау герцогине. Лицо Рыбчицкого прояснилось. Новость была для него очень интересна. Однако посредине рассказа Черемзин вдруг быстро взглянул в окно, выходившее в сад. Там мелькнуло голубое платье камеристки Аграфены Петровны.

– Пан Щебрыца-Рыбчицкий, вы видите? – торжественно произнёс он, указывая в сад.

Секретарь взглянул в окно.

– Пойдёмте в сад! – предложил Черемзин.

– На такие дела не гораздо я сведом, – возразил Рыбчицкий. – Так вы говорите, что герцогиня…

Но Черемзин уже не ответил ему. Он преспокойно сел на какие-то бумаги на подоконнике, перекинул за окно ноги и, спрыгнув в сад, скрылся в густой зелени. Пан Рыбчицкий сердито хлопнул окном ему вслед.

Черемзин скоро нагнал Розу: он не брезговал никакою «авантюрой».

Роза встретила его, как знакомого, сказав:

– А я знала, что господин ещё не уехал.

– И нарочно вышли в сад?

– Да, у меня есть к вам дело.

– Вот как! Серьёзное? – спросил Черемзин, садясь на деревянную скамейку. – Ну, говорите! Здесь нас не увидят и не услышат…

– Не так ещё скоро… Мне нужно знать, что мне за это будет?

– Поцелуй.

– Я с вами хочу говорить серьёзно, а так не буду, – обиделась Роза. – Вы мне должны сделать подарок…

– Так это – серьёзное дело, по-вашему? Ну, какой же это подарок?

– Розовую косынку, шёлковую… а затем – будет дело…

– Роза! шерстяной довольно! – с пафосом произнёс Черемзин, прикладывая руку к сердцу.

– Нет, и шёлковой мало. Ведь вы – друг князю… князю, – и она по-своему, по-немецки, перековеркала фамилию Волконского.

Черемзин недоверчиво взглянул на неё и сказал уже серьёзным голосом:

– Если то, что вы скажете мне, будет очень важно, Роза, то вы получите две косынки и платье… Говорите!

– Это правильно, – согласилась Роза и начала подробно рассказывать всё, что происходило сегодня утром в уборной её госпожи, когда туда пришёл Пётр Михайлович.

Черемзин внимательно слушал и несколько раз переспрашивал.

– Значит, он так и сказал: «Выбирай себе кого хочешь… я благословлю»?

– Так и сказал, – подтвердила Роза.

– Ну, так знаете ли что, Роза, ступайте теперь в дом, там должна теперь быть герцогиня, и, как только она уедет, придите мне сказать.

Едва герцогиня уехала, Черемзин велел доложить о себе, и Пётр Михайлович сейчас же его принял.

Черемзин вошёл к Бестужеву своею особенною походкой вперевалку, с которою танцевал польский, и церемонно, по правилам французских танцмейстеров, проделал фигуру изысканного поклона. Он был чрезвычайно серьёзен и важен.

– Чем могу служить? – обратился к нему Пётр Михайлович, указывая на кресло.

Черемзин поклонился ещё раз и сел.

– Пётр Михайлович, – начал он, – я являюсь к вам не по собственному, но тем не менее очень важному делу…

«Все дела станут и то его величеству зело будет противно», – вспомнилось Бестужеву ещё раз слова указа.

– Какое же это дело? – улыбаясь, спросил он.

– Я являюсь к вам, Пётр Михайлович, сватом от лица моего друга, князя Никиты Фёдоровича Волконского… Он любит вашу дочь Аграфену Петровну и от вас, разумеется, зависит его счастье…

Бестужев долго не отвечал. Он сидел молча, как бы обдумывая, точно услышал в первый раз о Волконском.

Черемзин знал, что приличие не позволяет Петру Михайловичу сразу согласиться на предложение, но из рассказа Розы он знал также, что отказа не будет, и, потому ждал с серьёзностью и терпением.

– Благодарю князя Никиту за честь, – заговорил наконец Бестужев, – но Аграфена ещё молода и ей хорошо при отце…

– Ваша воля, – согласился Черемзин.

– Конечно, я не стану неволить дочь, и если она будет согласна… Я подумаю, поговорю… Да и князь Никита молод…

– Молодость – не порок в таком деле, как любовь, – ответил Черемзин.

– Конечно, но всё-таки мне, как отцу, нужна осмотрительность. Прошу вас и князя Никиту пожаловать сегодня к ужину.

– Почтём сие приятнейшим долгом, – заявил с новым поклоном Черемзин, окончательно входя в роль свата.

Он не сговаривался с Волконским о сватовстве. Мысль пойти к Бестужеву и просить для князя Никиты руку его дочери родилась у него совершенно внезапно во время разговора с Розою. Он видел, что его приятель без ума влюблён в Аграфену Петровну, что она, со своей стороны, более чем благосклонна к нему, и, узнав о разговоре Петра Михайловича с дочерью, решил, что нельзя упускать сегодняшний день, во всех отношениях благоприятный для сватовства. Бестужев после посещения герцогини не мог отказать. Этот расчёт оказался совершенно верным.

Сломя голову летел Черемзин в своей одноколке в замок, погоняя кучера, чтобы скорее обрадовать ничего не знавшего и не ожидавшего Волконского. Он желал поразить его неожиданною радостью. Но оказалось, что князь Никита сам поразил его, Черемзина, такою неожиданностью, что тот развёл лишь руками. Черемзина встретил в замке слуга Волконского Лаврентий, встревоженный и растерянный.

– Где князь? Что случилось? – беспокойно спросил Черемзин.

– Князь наш, – Лаврентий покачал головою, – я уже давно собирался доложить вам… с тех самых пор, как вы их к немцу старому в гости с утра возили – вот из черепа, прости Господи, пьёт… с тех уже пор я стал замечать неладное…

– Да теперь-то что с князем? – нетерпеливо перебил Черемзин.

Но обстоятельный Лаврентий, по привычке рассказывать всегда всё по порядку, продолжал, не торопясь:

– Как съездил князь туда, так совсем голову потерял. Я сколько раз докладывал ему: «Хоть и много ты, князь, книжек читаешь, а всё меня бы послушал. Опоили его там, должно быть. По ночам спать совсем перестал… есть-пить не хочет и всё сам с собою разговаривает… Вам не видно, а я-то смотрю… И так до сегодняшнего дня всё больше и больше. А сегодня, как вы уехали в город, князь призвал меня и говорит: «Лаврентий, собери все мои вещи и с ними поезжай на лошадях за мною, а я сейчас верхом уеду. Где меня нагонишь, там и хорошо, а я больше так жить не могу». И не велел вам об этом сказывать. «Напишу», – говорит, и уехал.

– Уехал? – воскликнул Черемзин. – Уехал верхом и не вернётся?.. Да что ж это?!.

– Говорю вам, опоили его, – серьёзно повторил Лаврентий.

– Лошадь мне! – крикнул Черемзин. – Лошадь! Авось нагоню!

И сам побежал на конюшню торопить конюха.

X
А ДЕНЬ ВСЁ-ТАКИ СЧАСТЛИВЫЙ

Черемзин отлично знал окрестности Митавы и давно привык к разбросанным в полях и лугах отдельным крестьянским домикам, не соединённым, как в России, в деревни и села, но построенным вдали друг от друга. Эти чистенькие выбеленные дворы мелькали красивыми пятнами в зелени лугов, оживляя вид и придавая ему непривычную для русского глаза особенность.

Черемзин без устали летел от одного двора к другому, расспрашивал и разузнавал, не видел ли кто-нибудь Волконского, и подробно описывал его приметы. Наконец ему удалось напасть на след князя Никиты. Ему объяснили, что какой-то благородный господин верхом действительно проезжал здесь сегодня по направлению замка Освальд.

Черемзин без дороги прямо по полю направился к замку, и поиски его не оказались напрасными. Там, у опушки леса, сидел на пригорке Волконский, задумчиво смотря вдаль. Лошадь князя паслась тут же, непривязанная. Князь Никита сидел с застывшею, блаженною улыбкою на губах и счастливыми, ясными глазами смотрел пред собою на убранные поля и скошенные луга с их беленькими домиками и прислушивался к шёпоту листьев шелестевшего сзади него леса, ещё не тронутого дыханием приближавшейся осени.

«Все они такие – влюблённые», – подумал Черемзин.

– Князь Никита, а, князь Никита! – окликнул он. – Будет, брат, довольно, домой ехать пора!

Никита Фёдорович спокойно перевёл взор на Черемзина. Ему казалось, что он видел, как подъехал Черемзин, и он не обратил никакого на это внимания.

– Это ты? – спокойно спросил он.

– Ну да, я, – ответил Черемзин, слезая с лошади.

– Черемзин, ты любил когда-нибудь? – вдруг спросил князь Никита.

– И много раз… Что ж из этого?

– Помнишь, ты мне как-то говорил, что стоит только наблюсти – и много можно найти интересного вокруг себя.

– Не помню.

– Ты посмотри, вот видишь это дерево?

– Вижу! – сказал Черемзин, не поворачивая головы.

– Ну, вот что я думаю. Вот я живу здесь, на земле, и проживу ещё, может быть, ну, пятьдесят лет… Это – самое большее… И в каждую минуту этой жизни, стоит мне лишь захотеть, и я это дерево могу срубить, уничтожить… А может и так случиться, что это дерево, которое вот теперь совсем в моей власти и которое ничего, понимаешь, н и ч е г о не может мне сделать, переживёт меня на сотни лет… и мои правнуки могут увидеть его, да, пожалуй, и праправнуков переживёт… И выходит, что я ничтожнее дерева…

– С чем тебя и поздравляю, – вставил Черемзин.

– Ну, а на самом деле это вовсе не так, – продолжал Волконский, – потому что я могу любить… и люблю… и в этом – всё, а остальное – вздор, и дерево – вздор… И, раз я могу любить, значит, не умру, потому что дух, которым я чувствую свою любовь, не погибнет, не может умереть, а в этом – весь я… суть-то моя в этом духе… Ты понимаешь меня?

– Всё это хорошо, – заговорил Черемзин, приподнимаясь на локоть, – но скажи, пожалуйста, с чего ты вздумал удирать из Митавы? Кто тебя погнал оттуда?

– Кто погнал?.. Я сам уехал.

– И не вернёшься?

– Не вернусь.

– Отчего ж это?

– Так… не вернусь.

– Знаешь, – начал Черемзин, качая головою, – я много видел вашей братьи, влюблённых, но такого, как ты, ещё не встречал… Это уж что-то совсем занятное чудачество. Ты мне прямо отвечай: раздумал, что ли, жениться на Аграфене Петровне?

Князь Никита не отвечал.

– Да говори же, наконец! – крикнул Черемзин.

Волконский грустно, но с тою улыбкою, с какою обращаются к детям, говорящим неразумные вещи, посмотрел на него и вздохнул.

– Этого не может быть… это невозможно, – проговорил он, как будто дело было уже решено бесповоротно.

– Да отчего? Отчего? – настаивал Черемзин.

– Оттого, что это было бы слишком большое, не человеческое счастье, не здешнее, не земное!.. Это вот когда дерево переживёт меня…

Поняв наконец, что князь Никита обратился в бегство единственно вследствие решения, что счастье было бы слишком велико и потому невозможно, Черемзин посмотрел на него и разразился весёлым, неудержимым смехом.

Волконский глядел на него удивлённо-испуганно, не понимая, что можно было найти смешного в таком глубоком и серьёзном для него деле. Наконец, никто не имел права смеяться над ним и над его чувством. Очевидно, Черемзин, не перестававший хохотать, раскачиваясь всем корпусом, позволял себе слишком многое.

– Да что ж это ты? – крикнул в свою очередь князь Никита, – обезумел, что ли? Наконец, это просто обидно… Как ты смеешь смеяться?

– Постой… не сердись! – сдерживаясь, старался выговорить Черемзин. – Сейчас заговоришь другое… Слушай!.. Я сегодня был у Петра Михайловича сватом от тебя…

– Что-о! Ты, сватом, от меня, у Петра… Петра… – Волконский вскочил, схватясь за голову руками. – Да кто тебя просил?.. Как же ты смел!.. Что ж ты наделал?.. а-а-а?..

Он казался в эту минуту таким испуганным, несчастным, что Черемзин невольно испугался, взглянув на его побледневшее, внезапно осунувшееся лицо.

– Да нет же, – подхватил он, – не отказал: Пётр Михайлович позвал нас ужинать… сегодня на ужин позвал!.. Понимаешь?

Волконский несколько секунд стоял без движения, точно слова друга не сразу долетели до него. Потом он вздрогнул всем телом, отнял руки от головы и как-то растерянно смотрел на Черемзина.

– Что ты говоришь?.. сватом… позвал… на ужин?.. и это – правда?

– Правда, правда, – твердил Черемзин.

– Голубчик! – вдруг вырвалось у князя Никиты, и он кинулся на шею Черемзина. – Что ж ты молчишь до сих пор? Ведь мы опоздаем, опоздаем!.. Господи, да беги же, торопись, а то поздно будет!

И он бежал уже к своей лошади, спотыкаясь и задевая за кочки.

Черемзин медленно, как бы любуясь доставленной им другому человеку радостью, следовал за ним.

Несмотря на неодолимое желание узнать от Черемзина подробнее обстоятельства сватовства, Волконский не расспрашивал его дорогою, единственно заботясь о том, чтобы не опоздать. Он всё ещё боялся верить в возможность своего счастья и гнал лошадь так, что Черемзин едва поспевал.

В одноколке, по дороге из замка в город, Черемзин рассказал всё Никите Фёдоровичу.

У Бестужева оказался парадный званый ужин. Вся митавская знать была приглашена и явилась как один человек, потому что весть о внезапном посещении герцогини, которая, очевидно, приезжала мириться с Бестужевым, быстро разнеслась по городу. Все думали, что Пётр Михаилович своим ужином желает отпраздновать торжество своей победы над Анной

Иоанновной.

Среди этих знатных почётных чиновников и приватных, но родовитых немецких персон оказалось только двое молодых людей: Черемзин и Волконский. С их появлением общее внимание было обращено на них. Гости стали перешёптываться и высказывать свои соображения.

Волконский положительно не помнил, как он вошёл, как здоровался, и не соображал даже, ходит он или сидит; ему казалось, точно он приподнят на воздух и его носят какие-то невидимые, нежные руки.

Аграфена Петровна встретила его с приветливою, радостною улыбкой.

«Знает она или не знает? – спросил про себя князь Никита, целуя ей руку. – Наверно, знает», – решил он, чувствуя, как похолодела и дрожит её рука.

Черемзин заговорил что-то, как ни в чём не бывало, будто не произошло ничего особенного. Волконский смотрел вокруг себя, широко и блаженно улыбаясь; но куда бы он ни смотрел, отовсюду ему была видна его Аграфена Петровна, милая и любимая. Она тоже будто слушала Черемзина, но князь Никита знал, что она также видит только его и думает о нём, и всё кругом получало для него новую красоту и прелесть.

Большая гостиная Бестужева, та самая, где так недавно князь Никита стоял затерянным в толпе пред чёрным доктором, казалась теперь совсем иною. Никите Фёдоровичу ясно вспомнился этот вечер.

«Выше всех людей!» – прозвучали в его ушах слова доктора.

За ужином Волконский сидел рядом с молодою хозяйкою. Ужин тянулся долго, но ему казалось, что время летит так быстро, что он просто не успеет наглядеться на свою радость, ангела, счастье, как он мысленно называл Аграфену Петровну, не находя достаточно ласковых слов.

В конце ужина в хрустальные бокалы налили французское шипучее вино, и Пётр Михайлович, высоко подняв бокал, крикнул:

– За здоровье царя Петра!

Гости встали и тотчас начали подходить к хозяину, чокаясь с ним. Заиграла музыка, и раздались приветственные клики.

– Урррааа! – кричал Волконский.

– За здоровье хозяина! – провозгласил старший оберрат.

– Урррааа! – подхватил Волконский. – Ваше, ваше здоровье! – подошёл он к Аграфене Петровне и залпом допил вино. – Видите, до последней капли, – сказал он, опрокидывая бокал и показывая, что там действительно нет ни капли. У Аграфены Петровны вино было на донышке.

– И я за вас последнюю капельку; видите? – проговорила она, осушая бокал.

«Я… за вас… последнюю капельку»… Господи! Я с ума сойду!» – радовался князь Никита.

К ним подошёл Черемзин и хотел чокнуться с ними.

Пётр Михайлович во время ужина изредка поглядывал на дочь и на Волконского, и каждый раз взгляд его становился серьёзен и даже строг.

Черемзин ждал от него ответа, но Бестужев медлил.

«Когда же наконец он поздравит жениха с невестой?» – думал Черемзин.

Однако ужин кончился, и гости, встав из-за стола, перешли в гостиную, но вопрос Черемзина оставался неразрешённым.

После ужина случилось как-то само собою, что Волконский остался один с Аграфеной Петровной в её маленькой гостиной; они незаметно прошли туда и за ними никто не последовал, точно понимая, что нельзя мешать их радости.

Впрочем, теперь развеселившиеся от вина гости, сплочённые общим за ужином разговором о политических новостях дня и увлечённые затем интересом этих новостей, занялись сами собою, так что большинство из них не заметило исчезновения Бестужевой. О Никите Фёдоровиче тоже забыли эти солидные, не подходившие к нему ни по возрасту, ни

по положению, люди.

– Помните, – сказал Волконский Аграфене Петровне, – тот вечер у вас, когда мне, затерянному, неизвестному и не замеченному вами, было предсказано, что я буду выше всех людей?

Бестужева взглядом и улыбкою отвечала, что помнит.

– У меня вот так и стоит пред глазами этот чёрный доктор… Может быть, сегодня окажется, что он был прав.

– Вы получаете назначение… вас заметили из Петербурга? – спросила, более прежнего оживляясь, Аграфена Петровна.

– Нет, дело не в том; разве вы не знаете, что Черемзин приезжал сватом от меня к Петру Михайловичу, вашему батюшке?

– Когда? – спросила Бестужева, меняясь в лице.

– Сегодня, и он нас позвал к ужину, и, может быть, сегодня решиться моя судьба, и я буду выше всех людей – буду иметь право назвать вас своею пред ними.

Аграфена Петровна смущённо и стыдливо опустила голову. Сияющая улыбка исчезла с её губ, над бровями появилась строгая, серьёзная складка; казалось, вот-вот слёзы брызнут из её глаз. Она до сих пор не знала, что произошло утром.

– Что ж? Не рады? Плачете? – беспокойно произнёс Волконский, смущаясь в свою очередь.

Она подняла на него взор, и её глаза были так ясны, так радостны, так много было в них счастья для Никиты Фёдоровича, что он снова преобразился, теряя рассудок и соображение. Аграфена Петровна протянула ему руки; он стал целовать их.

– Не думайте, однако, – прошептала она, – что предсказание сбылось сегодня, нет! Пусть я буду ваша, но вы, если любите, должны быть в самом деле на высокой ступени. У вас есть возможность; старайтесь, добивайтесь и добьётесь! Мы будем вместе добиваться: нам нужно далеко пойти – я этого требую… я так хочу… Я не могу и не должна остаться в неизвестности бюргерской жены, мой муж станет не в уровень с остальными.

Всё, что она говорила теперь, казалось Никите Фёдоровичу прекрасным, и при каждом слове её он только улыбался, видимо, соглашаясь со всем. Она верила в него, она любила его и радовалась его ласке.

– Посмотрите, какими складками легла эта занавеска, точно сборки на платье! – сказала вдруг Аграфена Петровна, показывая на жёлтую шёлковую занавеску у окна.

– Ну, что ж такое? – ответил Волконский, не понимая, что хотела она сказать.

– Герцогиня была в таком же платье, – пояснила Бестужева, – тогда, у нас на балу…

Она замолчала и задумалась.

Волконский улыбнулся, вспоминая этот бал, но Аграфена Петровна казалась серьёзною.

– Ведь и ей было предсказание, – продолжала она в раздумье, – и если оно сбудется, то о н а не простит… Она отомстит нам…

– Ну, что загадывать о будущем, когда всё теперь хорошо и ясно! – перебил её князь Никита.

Пётр Михайлович, разумеется, давно заметил, что его дочь сидит с Волконским у себя в гостиной, но не мешал им, как будто занятый участием в общем разговоре и всецело, как радушный хозяин, поглощённый своими гостями. Однако не спускавший с него глаз Черемзин видел, как он посматривал на опущенные занавесы жёлтой гостиной. Он видел также, как наконец Бестужев с решительным видом направился туда и вслед затем появился у дверей, держа за руку дочь и Волконского.

Все, притихнув, обернулись в их сторону.

В это время из других дверей показались слуги с подносами, уставленными бокалами вина.

– Господа, – дрогнувшим голосом проговорил Пётр Михайлович по-немецки, потому что большинство присутствующих были немцы, – представляю вам жениха и невесту.

Старый бестужевский дворецкий грохнул, по русскому обычаю, свой поднос на пол. Хрусталь зазвенел и задребезжал, разлетаясь на куски; гром музыки заглушил всё. Гости спешили поздравить наречённых.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Ты защищал, Господи, дело души моей; искуплял жизнь мою».
Плач Иеремии, III, 58.

I
ПРОШЛОЕ

Четырнадцать лет тому назад была отпразднована свадьба Волконских. Князь Никита, женившись на своей милой и любимой Аграфене Петровне, остался в Митаве; он с царского соизволения был освобождён от дальнейшего путешествия за границу и поступил на службу в канцелярию своего тестя Петра Михайловича. Ответственное положение Бестужева в Курляндии требовало очень хитрой деятельности и большого искусства. Русскому резиденту приходилось бороться с несколькими враждебными течениями, чтобы иметь преобладающее влияние на своей стороне. И Пётр Михайлович боролся не без успеха. Дело было, видимо, важное, сложное, оно касалось жизни самостоятельного маленького государства, по всем признакам находившегося почти накануне своего присоединения к единому из трёх более сильных, чем оно, соседей, и весь вопрос заключался в том, кто окажется победителем: Россия ли, к царствующему дому которой принадлежала вдовствующая герцогиня Анна; Польша ли, считавшая Курляндию своим ленным владением[8], или Пруссия?

У князя Никиты через год после свадьбы родился сын Миша.

Волконский был счастлив своею жизнью и ничего не желал больше. Он обожал Аграфену Петровну и сына, они были с ним, и весь мир, вся суть его жизни сосредоточивалась в этих двух существах, и вне их ничего не существовало для Никиты Фёдоровича.

Для вышедшей замуж Аграфены Петровны внешняя жизнь в Митаве сначала мало изменилась. Но вскоре она не могла не заметить, что из дочери первого в Курляндии лица она стала просто женою молодого человека – правда, русского князя, но не сумевшего приобрести никакого значения в том обществе, где они находились, и упорно удалявшегося от этого общества. Это чувствовалось, и она знала, что многие понимают это. К тому же её отец сблизился с герцогиней, и почва прежнего положения в Митаве уходила из-под её ног. Муж её не хотел служить в канцелярии, и с этим она согласилась, хотя у неё были совершенно иные причины, чем у князя Никиты: митавская канцелярия казалась слишком незначительным местом для того, чтобы выдвинуться, служа там.

Аграфена Петровна любила мужа и из частых разговоров с ним видела, что с его способностями можно пойти далеко; она часто думала о будущем, по-своему, с надеждами на это будущее, ожидая, что оно придёт ещё радостней и лучше и что судьба вечно будет улыбаться ей, как улыбалась до сих пор.

Малолетство сына привлекло её к ребёнку, и она стала заниматься им, проводя время дома. Это были самые счастливые дни для князя Никиты. Но Аграфена Петровна жила, кроме настоящего, ещё мечтая о будущем, и думала о Петербурге, о большом дворе, о значении, которое может иметь со временем Никита Фёдорович.

---

[8] В средневековой Европе леном назывались земли (или доходы с этих земель), пожалованные сеньором своему вассалу, обязанному за это нести военную и придворную службы, вносить установленные обычаем платежи.

Она чаще стала заговаривать с ним о новой русской столице, звала его в Петербург, требовала от него работы и деятельности, говорила, что так жить нельзя, и приводила в пример своих братьев, которые занимали уже видные посольские места.

Никита Фёдорович старался объяснить ей свой особенный план жизни, в котором на первом плане стояло воспитание сына и затем усовершенствование. Он был уверен, что, сокращая свои желания и расходы на себя, он может отдавать излишек другим, и ради этих же других, чтобы по мере своих сил принести им возможно больше пользы, занялся медициной и с упорством и терпением стал изучать эту науку.

Аграфена Петровна никак не могла согласиться, что «воспитание» сына может составить какое-то особенное «дело». Ей казалось, и это было так обыкновенно и просто, что мальчик вырастет под их присмотром, они научат его чему следует, и всё это будет незаметно, само собою, и говорить об этом с т а к о й важностью вовсе не следует. Относительно расходов для других Аграфена Петровна возражала мужу, что их достаток вовсе не так велик, чтобы можно было делать это, и что у него есть жена и ребёнок, о которых он должен думать и заботиться. Узнав о медицине, она сначала очень испугалась. Она находила, что быть лекарем вовсе не княжеское дело, даже неприлично для её мужа; но когда Никита Фёдорович пояснил ей, что и не думает стать лекарем, врачующим за деньги, а хочет именно помогать только ближнему по мере сил, – она успокоилась и всё-таки не увидела в мужниной медицине «серьёзного дела», хотя не была против этих занятий, которые казались ей так, между прочим, не липшими, но и не особенно нужными. В её глазах настоящее было всё-таки в канцелярии, и она звала его на службу в Петербург.

Аграфена Петровна была убеждена, что в ней говорит только желание блага, что при всей своей любви к мужу она не может поверить в его рассуждения и что т а к, как она хочет, будет лучше, и сам Никита Фёдорович увидит это впоследствии. Но Волконский стоял на своём, то есть продолжал быть по-прежнему ласковым и милым, но никогда сам не заводил разговоров о Петербурге, когда же Аграфена Петровна заговаривала об этом – начинал по-своему убеждать её, и ей становилось неприятно и боязно.

«Да что он в самом деле? – думала она. – Он считает меня глупее, неразумнее себя, вот что… Разве я, наконец, не могу понимать, что лучше и что хуже? Время идёт, а мы здесь, в глуши (теперь, когда она была княгиней Волконской, Митава казалась ей глушью), ничего не делаем, живём, не зная зачем, а время проходит, лучшее время!»

Она зажмуривала глаза и представляла себе Петербург большим богатым городом, где всё великолепно и где можно было выделиться и стоило поработать над этим.

Такие минуты стали чаще и чаще находить на неё, когда она оставалась одна со своими мыслями, и, наконец, стали переходить в какое-то томительное состояние гнетущей тоски, от которой нельзя было найти себе места.

«Что с нею? – спрашивал себя князь Никита, видя холодный, «не живой» для него взгляд, которым она иногда так зло и гордо смотрела на него в последнее время. – Не больна ли она?»

Он попробовал спросить Аграфену Петровну: не нездоровится ли ей. Она рассердилась.

– Я здорова! Терпеть не могу, когда меня спрашивают так – всегда что-нибудь случится потом! – ответила она, в упор, не улыбаясь, смотря на него. – И что за охота думать, что все больны?

Она знала, что намекает этим на занятия мужа медициной, что это будет неприятно ему, но ей именно хотелось сделать ему больно.

Никита Фёдорович взглянул на неё, как-то страдальчески улыбаясь, и эта улыбка ещё более рассердила Аграфену Петровну.

«Он смеётся надо мной!» – решила она. И вдруг ни с того ни с сего наговорила мужу самых обидных слов, самых обидных вещей, которые, она знала, будут ему особенно неприятны.

После этого разговора Никита Фёдорович несколько дней ходил задумчивый и почти не занимался своими книгами.

Аграфена Петровна первая пришла к нему просить прощения. Она чувствовала себя виновною пред мужем за то, что оскорбила его, но вместе с тем ей, виноватой, казалось, что теперь Никита Фёдорович был более чем когда-либо не прав пред нею, за свои мысли и поступки.

Они помирились. Однако князь Никита видел, что душевное состояние жены не изменилось после примирения, задумчивость не исчезла с его лица, и он не вернулся к своим книгам. Он теперь подолгу шагал из комнаты в комнату, не спеша, не торопясь, и часто заходил к сыну, играл с ним и был особенно ласков и нежен.

– Ты точно п р е д о т ъ е з д о м прощаешься с домом, – заметила Аграфена Петровна.

Она опять была в своём состоянии угнетения.

Волконский, не ответив, только внимательно посмотрел на неё, и она видела, что он понял, что она хотела сказать вместо «пред отъездом» – «пред смертью», но удержалась.

В конце концов князь Никита уступил жене. Однако, сидя за обедом, он после долгого молчания сказал, как бы думая вслух:

– Если бы ты знала только, что мы теряем, что мы теряем!

На другой же день начались сборы, а через две недели Волконские уехали в Петербург.

Аграфена Петровна ожила, точно всё прежнее вернулось к ней, и сборы в дорогу, сама дорога, несмотря на все её неудобства, приезд в столицу, разочарование ею, как городом, ещё неустроенным и далеко не столь пышным, как воображала Аграфена Петровна, встреча с родными, знакомства, – всё это прошло, как счастливое сновидение.

Волконский будто сам оживился, словно теперь и он был согласен, что так действительно будет лучше.

II
В ПЕТЕРБУРГЕ

Не стало императора Петра, и Меншиков при помощи гвардии возвёл на престол его супругу Екатерину. На российском троне в первый раз появилась женщина, сделавшаяся самодержавною государыней. Конечно, это было крупное событие и об исторической важности его впоследствии было и, вероятно, будет ещё много написано; однако оно вовсе не имело такого значения для современников, на глазах которых произошло тогда. Никто не заботился о том, будет ли продолжено начатое Петром дело преобразования, или со смертью его умрёт всё сделанное им, как следствие одной его личной воли, или напротив, будет развиваться, как нечто такое, к чему Россия уже давно была подготовлена и лишь ждала, чтобы стать на тот путь, куда вывел её великий император.

Для людей; бывших свидетелями этого события, неминуемо смешивались личные их мелкие интересы с тем, что происходило и что имело историческое значение. Главным образом тут важно было для них, как именно сами они попадут под поднявшуюся волну – захлестнёт ли она их или поможет выплыть, общая же форма волны осталась, разумеется, для них незаметною. Ясно стало, что значение Меншикова, сильного при Петре, теперь ещё увеличится, и он, счастливый баловень судьбы, пробившийся из неизвестности, будет, безусловно, первенствующим лицом.

Старинные русские роды, в числе которых стояли Голицыны и Долгоруковые, оказались недовольными. Также много было недовольных и среди чиновников, которых Меншиков, занятый главным образом войском, забыл или обошёл. Недовольные, соединяясь, мало-помалу стали кристаллизироваться в кружки, и из них образовалась партия великого князя Петра, десятилетнего сына царевича Алексея Петровича.

Имя царевича с его несчастною судьбою и упорным, молчаливым противодействием новшествам отца явилось теперь как бы знаменем противного Меншикову лагеря и делало великого князя лицом, с которым невольно соединялись надежды недовольных. К тому же великий князь, как единственный потомок мужского пола из всего царского рода, имел гораздо более прав на корону, чем Екатерина, и все понимали, что женщина пока только

устранила ребёнка от престола, но что настанет время, когда этот ребёнок вырастет.

Для Волконских всё это произошло наряду с хлопотами об устройстве их дома, который они строили себе на Васильевском острове (императорским указом было запрещено нанимать помещения). Князь Никита всё сделал для жены: переехал на житьё в столицу, отделал там дом, несмотря даже на то, что для этого пришлось войти в долги, но не хотел изменить свои привычки и по-прежнему остался нелюдимым, несообщительным, хотя дал княгине Аграфене полную свободу поступать, как ей заблагорассудится.

Умная, отлично образованная и владевшая несколькими языками, княгиня скоро собрала в своей гостиной целый кружок, в котором своими людьми стали бывать у неё Черкасов, кабинет-секретарь, сенатор Нелединский, Веселовский, Пашков, Егор Иванович, советник военной коллегия, и Абрам Петрович Ганнибал, известный приближённый покойного государя, его любимец арап.

Княгиня сразу сумела поставить себя в Петербурге и не потерялась там.

Сначала она не сразу могла определить, чего ей следовало, собственно, добиться и кого держаться, но вскоре положение выяснилось само собою.

Великий князь – ещё ребёнок; нужно здесь заручиться и медленно, но прочно строить своё здание. Рано или поздно он взойдёт на престол, и об этом-то времени нужно думать и рассчитывать на него. Сестра великого князя Наталья Алексеевна не только дружна с братом, но имеет огромное влияние на него: вот путь, который доведёт к желанной цели.

И Аграфена Петровна окружила себя людьми, противными Меншикову, и сделалась центром пока ещё небольшого кружка, собиравшегося в её гостиной. Вскоре в этой гостиной появился Маврин, воспитатель великого князя.

Апрель 1726 года был беспокойным месяцем в Петербурге. Две недели не собирался уже Верховный тайный совет, государыня была встревожена подмётными письмами, и по городу снова ходил слух, впрочем, уже не раз напрасно возникавший, но тем не менее всегда производивший впечатление, о том, что князь Михаил Михайлович Голицын двинулся на Петербург со своею украинскою армиею.

Как всегда, когда людям что-нибудь очень хочется, они охотно придают веру и значение всему, что мало-мальски соответствует их желаниям, так и теперь многие в Петербурге думали, что они накануне великих событий, и высчитывали по пальцам шансы борьбы.

– Извольте вспомнить, – кричал Веселовский в гостиной Аграфены Петровны, – кто у н и х есть?.. Толстой граф – хорошо, Апраксин – ну, генерал-адмирал, да ведь стар, стар до того, что всё равно что ничего; и остаются Меншиков да герцог Голштинский.

– А ведь какую волю герцог-то взял – и в совете сидит, и через него всё идёт, – вставила Волконская.

– Что поделаете, княгиня? – отвечал ей, разводя руками, Нелединский. – Он – муж старшей дочки её величества; не станете же спорить с ним! – и он насмешливо улыбнулся.

– Да сам Меншиков уже предупредил вас, – возразил Веселовский, как будто на самом деле-то они собирались уже спорить с герцогом. – Он не может простить ему предательство в совете.

– Так, значит, у них уже пошли размолвки в середе? – заметил Нелединский, снова улыбаясь.

– В том-то и дело, – подхватил Веселовский, не замечая, что тот умышленно упомянул середу, потому что Тайный совет собирался обыкновенно по середам.

Но Аграфена Петровна поняла и улыбнулась.

Ганнибал сидел по своему обыкновению в углу, на своём излюбленном месте, с крепко стиснутыми на груди руками, и молчал, изредка лишь вставляя свои замечания.

– Ну, а Феофан, – сказал он, – этот поневоле будет на их стороне. Великий князь ему не простит «Правду воли Монаршей».

– Что, что?.. Феофан? – опять загорячился Веселовский. – А дело Маркелла? Нынче Маркелл обвиняет его в Преображенской канцелярии. Нет, он не страшен!

– Гвардия, гвардия страшна! – как бы про себя проговорил Черкасов, ходивший по комнате с серьёзным лицом и опустив голову.

Но для Веселовского, видимо, не существовало никаких препятствий.

– А украинская армия? – воскликнул он. – Князь Михаил Михайлович двинулся, и уж на этот раз оно верно.

– Да, кажется, что двинулся, – подтвердил Нелединский, – пора ему…

Аграфена Петровна, довольная, что в её доме идёт как следует серьёзный разговор, сидела, удобно прислонившись к спинке дивана, и, одобряя улыбкой гостей, играла веером, который, по принятой ещё в Митаве моде, был весь покрыт автографами выдающихся лиц.

– Абрам Петрович, – обратилась она к Ганнибалу, – вы должны мне тоже написать на веере что-нибудь.

– Если вы меня признаете достойным, – ответил с поклоном арап и улыбнулся своими белыми, ровными зубами.

Абрам Петрович был очень нужный для Волконской человек, так как он, преподавая, по поручению государыни, математические науки великому князю, считался в числе его наставников и близких к нему лиц.

В это время лакей доложил о приходе Пашкова.

Пашков вошёл в гостиную, как свой человек, и, поздоровавшись, с улыбкой подал Аграфене Петровне грязный клочок грубой бумаги, сложенной в виде письма.

– Это что? – спросила княгиня, отстраняясь и брезгливо поднимая руки.

– Должно быть, подмётное письмо, – объяснил Пашков. – Я его у вас на крыльце нашёл.

– Вот нашли, куда подкидывать письма! – засмеялся Веселовский.

– Ах, это, должно быть, очень интересно! – сказала Аграфена Петровна, всё-таки не касаясь письма. – Прочтите же скорее!

Пашков развернул бумагу и стал читать:

«Известие детям Российским о приближающейся погибели Российскому государству, как при Годунове над царевичем Дмитрием учинено: понеже князь Меншиков истинного наследника, внука Петра Великого, престола уже лишил, а поставляют на царство Российское князя Голштынского. О, горе, Россия! Смотри на поступки их, что мы давно проданы!»

– А ведь ловко составлено! – заключил Пашков. – На народ может подействовать.

– Любопытно, кто этим занимается? – спросил Черкасов. – Видно, что человек не простой.

Пашков смял письмо и, подойдя к печке, бросил его туда.

– А вы знаете новость? – спросил он, поворачиваясь на каблуке и захлопнув заслонку. – Рабутин приехал.

Граф Рабутин, которого уже несколько времени со дня на день ждали в Петербурге, был посол Карла VI, императора римско-немецкого.

Глаза Аграфены Петровны заблестели, и лицо оживилось.

– Так что ж вы молчите до сих пор и не скажете? – заговорила она, придвигаясь к столу. – Когда он приехал? Откуда вы знаете это, кто вам сказал?

– Сам видел, сейчас, едучи к вам. Дом ему приготовили у Мошкова; проезжаю – вижу, зелёная карета стоит; гайдуки, кучера – тоже в зелень с белым одеты; ничего, красиво. Спросил, кто приехал, – говорят: Рабутин… вещи его вынимали.

– И много вещей? – осведомился Веселовский.

– Да, изрядно.

Аграфена Петровна задумалась с торжественной улыбкой на губах.

– Прие-хал! – протянула она.

– А отчего вы так интересуетесь им, княгиня? – спросил Пашков. – Я не знал, а то бы поспешил сообщить первым делом…

– Да как же не интересоваться? – наперерыв всем крикнул Веселовский. – Ведь Пётр

Алексеевич, со стороны своей матери, – родной племянник австрийской императрицы, – значит, Рабутин будет на стороне великого князя, а ведь это – сила!

– Хорошо бы с ним знакомство свести поближе, – заметил Нелединский.

– Что ж, это можно, я думаю, вот через Абрама Петровича или Маврина, – проговорил Черкасов, снова заходивший по комнате.

– Можно ещё легче и проще, – сказала Аграфена Петровна. – В первый же раз, как Рабутин будет у меня вечером, я приглашаю вас к себе…

Черкасов приостановился; остальные, как бы удивлённые неожиданностью, посмотрели на княгиню, и она наивно оглядела их, точно говоря:

«Ну да, Рабутин будет у меня, и тут нет ничего удивительного».

На другой же день весть о приезде Рабутина разнеслась по всему городу и отодвинула на второй план все остальные толки.

Городские рассказы и пересуды следили уже почти за каждым шагом австрийского посла. Казалось, узнали всю подноготную: каков он собою, сколько у него платья, слуг как он держит себя – и все отзывы были благоприятны. Впрочем, одного не могли узнать – самое главное – зачем явился Рабутин в Петербурге?

В придворных кружках говорили, как будто под секретом, но на самом деле желая, чтобы оно стало гласным, что австрийский посол приехал для заключения договора её величества с его царским величеством относительно турецких и иных дел, общих для обоих государств. Но этого было мало. У нас был свой представитель в Вене – Логинский: отчего он не мог заключить договор?

Стали следить за Рабутиным, к кому он поедет и с кем сведёт знакомство.

Рабутин, тотчас по своём приезде, был принят государыней частным образом, прежде торжественной аудиенции. Затем он был у великого князя и его сестры, потом объехал важных персон в Петербурге, безразлично, к какой бы партии они ни принадлежали, но у Меншикова был наравне с другими, не выделив его из числа прочих.

У крыльца дома княгини Волконской тоже видели зелёную карету австрийского посла.

Князь Никита, переселясь в угоду жене в Петербург, невзлюбил этого города, тонувшего, как ему казалось, в болотах. Он так и не мог отделаться от того ужасного, тяжёлого впечатления, которое произвели на него, – когда они подъезжали по топкой, глубоко засасывавшей колёса, дороге к Петербургу, – обезображенные тлением трупы лошадей, валявшихся по сторонам этой дороги. Дождливая, мрачная, сырая петербургская весна всегда оказывала на него удручающее действие. Приближения этого времени он ждал с внутренним безотчётным страхом. Он знал, что весна не обойдётся для него без страшных головных болей, которые аккуратно повторялись у него и мучили, точно какие-то твёрдые подушки неумолимо сдавливали ему виски и затылок.

Волконскому, который страдал теперь этими своими головными болями, было не до Рабутина и не до его приезда. Он уже недели полторы не выходил из своей комнаты, где сидел, поджав ноги, на диване, в халате и с обвязанной тёплым платком, наподобие чалмы, головою – единственным средством, которое помогало ему.

Аграфена Петровна привыкла к головным болям мужа, знала, что они пройдут, что ему нужно только отсидеться со своим платком на голове, и не беспокоилась. Она часто заходила к нему и спрашивала, не нужно ли чего. Никита Фёдорович – если это было во время приступа боли – обыкновенно махал рукою, чтобы она ушла, или – когда ему было легче – делал односложные вопросы, и княгиня садилась и рассказывала ему.

– Ты знаешь, – заговорила она в один из таких промежутков, – к нам сюда приехал австрийский посланник Рабутин. Он нужен мне… и очень даже нужен, – добавила она, запинаясь.

Волконский, боясь пошевельнуть голову, показал глазами, что понимает это и на всё согласен. На самом же деле ему было решительно всё равно.

– Ну, так вот, – продолжала Аграфена Петровна, – он уже был у меня утром, и мне нужно сделать для него вечер, пригласить своих – это необходимо.

Она остановилась и вопросительно посмотрела на мужа.

Он, не двигаясь, молчал, глазами только спрашивая: «в чём же дело?»

– Да я не знаю, к а к т е б е? Тебя это не обеспокоит? Впрочем, ведь мы будем далеко от тебя, в гостиной, и тебе ничего не будет слышно.

– Ах, пожалуйста, что ж мне!… пожалуйста! – с трудом выговорил Волконский и, почувствовав от движения ртом приступ боли в голове, закрыл глаза и болезненно сморщил щёки.

– Что, опять? – тихим, соболезнующим шёпотом спросила жена.

Он только махнул рукою и застонал.

Аграфена Петровна осторожно, на цыпочках, вышла из комнаты.

Вечер княгини в честь Рабутина удался как нельзя лучше и был вполне блестящим. Съехалось почти пол-Петербурга, и в городе забеспокоились и заговорили о том, что могло быть общего между Аграфеной Петровной и Рабутиным, который, видимо, относился к ней очень внимательно. Мало того, после вечера он продолжал уже запросто посещать княгиню, и больной Никита Фёдорович, на свой обычный вопрос жене, кто был у неё сегодня, чаще и чаще стал получать ответ: «Граф Рабутин!» – так что, когда наконец Волконский отсиделся от своей болезни и вышел из комнаты, этот австрийский посланник, о котором он слышал то и дело, был уже и ему интересен.

– Познакомь же меня с твоим Рабутиным, – сказал он жене, к её удивлению, потому что очень редко интересовался теми, кто бывал у неё.

И в первый раз, как приехал Рабутин, она послала доложить об этом мужу.

Никита Фёдорович почему-то составил себе понятие о графе Рабутине, как о семейном человеке, приехавшем с важным поручением, гордом и смотрящим несколько свысока, но умном и бывалом, с которым, может быть, будет интересно поговорить.

Из всей «компании» своей жены он любил беседовать только с Ганнибалом да имел некоторые сношения с Веселовским, который через своего брата, проживавшего в Лондоне, доставал князю кой-какие книги.

Однако, войдя в гостиную Аграфены Петровны, он увидел, что настоящий Рабутин вовсе не похож с виду на того Рабутина, каким он его представлял себе. Это был молодой человек, стройный и изящный, с красивыми, нежными чертами лица и изысканными манерами. Он так ловко встал и поклонился, так ловко сидел на нём белый гродетуровый французский кафтан с зелёными отворотами и так красиво на его белом шёлковом камзоле лежала зелёная орденская лента, что князь Никита невольно смутился и почувствовал, что отвык от общества этих блестящих светских людей, и пожалел, зачем ему захотелось знакомиться с Рабутиным.

Граф, поклонившись Волконскому особенно вежливо, причём, однако, было ясно, что он кланяется таким образом не именно Волконскому, а просто потому, что привык так кланяться всем без исключения, – сел довольно развязно в кресло и, обратившись к Аграфене Петровне, продолжал начатый с нею разговор о своих впечатлениях в Петербурге.

Рабутин говорил по-французски с несколько худо скрываемым немецким акцентом и неправильностями, но живо и остроумно. Волконский заметил, что Рабутин знает, что его разговор жив и остроумен, и как будто сам слушает себя. Это ему не понравилось. Не понравилась также князю Никите та учтиво-приличная развязность, с которою граф, поджав ноги в шёлковых, ловко обхватывавших его красивые икры чулках, и как-то свободно держа треугольную шляпу с пышным пером, смотрел прямо в глаза Аграфене Петровне, в эти милые, дорогие для князя Никиты глаза, светившиеся до сих пор для него лишь одного счастливою улыбкой. Видимо было, что Рабутин привык смотреть так на всех хорошеньких женщин и, собственно говоря, никто не мог бы придраться к нему за это, но Никите Фёдоровичу неприятно было, как смел этот красивый, чужой, Бог знает, зачем приехавший молодой человек относиться к е г о Аграфене Петровне, как ко всякой хорошенькой женщине.

Волконский знал, что она была хороша и что лучше её не было на свете; но при чём же

тут Рабутин и какое дело ему до всего этого? А между тем этот Рабутин смеялся, разговаривал, шутил и был очень доволен собою, как будто всё, что он делал, было очень хорошо и необходимо и доставляло неизъяснимое удовольствие Аграфене Петровне.

Никита Фёдорович постарался поймать её взгляд, но она не смотрела в его сторону. Правда, она ни разу не взглянула и на Рабутина, но Волконскому уже казалось, что она нарочно делает это в смущении, хотя он знал, что если бы она посмотрела теперь на Рабутина, – он, Никита Фёдорович, не ответил бы за себя.

Недавние головные боли были тому причиной, или просто Волконский отвык от этого обращения молодых людей, но только он чувствовал, что ему нестерпимо противен изящный Рабутин с его лентой и зелёными икрами, и что он не может оставаться дольше в этой гостиной, но вместе с тем и ни за что не уйдёт из неё, ни за что не оставит и х одних.

Он сидел, стиснув зубы и зло уставившись на Рабутина, который несколько раз заговаривал с ним, но каждый раз получал такой односложный ответ, что перестал обращаться к князю Никите.

Волконская видела состояние мужа и боялась, чтобы он не наговорил Рабутину дерзостей.

– Что с тобою? – проговорила она наконец, когда её гость, раскланявшись, уехал.

Князь Никита только теперь, оставшись один с женою и видя её по-прежнему милое лицо, пришёл в себя и опомнился.

– Ничего! – ответил он, проведя рукой по голове. – Ничего… только я к этому Рабутину никогда больше не выйду.

С этого дня Волконский каждый раз, как узнавал, что у его жены был Рабутин, болезненно морщился и не расспрашивал о нём.

Частые посещения молодого, красивого иностранного графа в доме Волконской неминуемо должны были подать повод к перешёптыванью в петербургских гостиных, и мало-помалу начала создаваться сплетня.

Рабутин принадлежал к числу тех дипломатов, которые, благодаря данным им от природы средствам, не только составляют через женщин свою собственную карьеру, но и устраивают многие дела, порученные их ведению. Рабутин по этой части давно приобрёл и выдержку и опыт.

Правда, сплетня, ещё глухо ходившая из уст в уста в виде догадок, не могла дойти до Никиты Фёдоровича. Но появление Рабутина уже принесло в сердце Волконского каплю горечи, которую он напрасно старался заглушить. Он предчувствовал и знал, что стремления жены не могут торжествовать над его правдой, которая отвергала эти стремления, и хотел, чтобы она собственным опытом убедилась в этом, и не боялся до сих пор за своё счастье; но теперь вдруг, когда он увидел этого графа, в его душе шевельнулось чувство, похожее на страх, и он впервые ощутил раздражение и недовольство затеями жены, которые сам же и допустил. Разумеется, нечего было и думать идти назад. Но прежде ему не приходило в голову вмешиваться в дела жены, он просто ждал развязки, уверенный в том, какова она будет, а теперь он уже не мог отогнать от себя беспокойную мысль о том, в чём, собственно, заключаются эти «дела». Конечно, он верил в свою Аграфену Петровну, иначе нельзя было бы жить, и всё-таки это глупое беспокойство мучило его. Но как узнать и как заговорить с нею?

А Рабутин продолжал бывать. Аграфена Петровна писала ему записки и отправляла при его посредстве какие-то письма. Она каждый вечер подолгу сидела у своего стола и исписывала большие листы бумаги. Она стала казаться рассеянною, беспокойною, нетерпеливою, ожидала каких-то известий, много выезжала из дома, не пропускала ни одного мало-мальски выдающегося собрания в Петербурге и несколько раз ездила во дворец к великой княжне Наталии Алексеевне.

Наконец Волконский застал жену такою, какою никогда не видел её без себя, – т а к о ю она бывала в лучшие минуты их счастья! Она сидела вся сияющая, радостная, и бесконечно счастливая улыбка была на её лице. Она блестящими глазами точно впилась в письмо,

которое держала в руках, ничего не слышала кругом и не видела.

Князь Никита близко подошёл к ней; она вздрогнула и быстро спрятала письмо.

Много раз Никита Фёдорович заставал её за чтением своей корреспонденции, но никогда она не пугалась так, никогда у неё не бывало этого счастливого лица и никогда она не прятала писем.

– Покажи мне письмо! – вдруг проговорил Никита Фёдорович.

Аграфена Петровна засмеялась каким-то мелким, н е с в о и м, неприятным для князя Никиты смехом и, отстранившись от мужа, как кошка, вырвалась от него и ушла к себе в спальню.

Волконский стоял, точно кто-нибудь неожиданно больно ударил его и исчез.

Что это было за письмо, откуда?.. И письмо ли это было? А может быть, просто записка, но от кого? Не от Рабутина же?

III
РАБУТИН

Никита Фёдорович должен был сознаться сам пред собою, что он ревнует. Это скверное чувство неожиданно возмутило его душевный покой, в котором всё до сих пор казалось так ясно и неизменно. Он никак не предвидел волнения именно с этой стороны. Положим, князь Никита сознавал, что его ревность неосновательна и что он не имеет никакого права на неё, потому что в четырнадцать лет его семейной жизни Аграфена Петровна не подала ни малейшего повода к тому; он соглашался, что ревновать было глупо, смешно, может быть, но тем не менее не мог лукавить, не мог скрыть пред собою своё скверное чувство и мучился, стараясь успокоить себя и победить явившегося в нём б е с а.

Разумеется, он скрывал это от жены, чтобы не оскорбить её, но Аграфена Петровна была так занята, что, казалось, не замечала, что происходит в душе мужа, как будто ей было вовсе не до него.

Всё это время она, при постоянных приёмах и выездах, тратила особенно много денег. Между тем средства Волконского вовсе не соответствовали тем требованиям, которые к ним предъявляли.

Из деревни, где Волконский запретил всякие крутые меры, оброк получался туго; Пётр Михайлович в последнее время присылал из Митавы всё меньше и меньше. Князь Никита отказывал лично себе во всём, но его мечта уделять другим из своего дохода не только не осуществлялась, а напротив, нужно было так или иначе покрывать с каждым днём увеличившиеся недостатки.

Они содержали целый штат дворовых, у княгини было несколько пар лошадей, кареты, провизия была дорога, и ко всему этому нужно было расплачиваться по сделанному для постройки дома долгу.

Князь Никита считал необходимым делать всё это для жены, твёрдо уверенный, что настанет время, и, может быть, очень скоро, когда Аграфена Петровна откажется от Петербурга, и они уедут навсегда, одни, в деревню. Это было самое сокровенное желание Никиты Фёдоровича, и исполнение его казалось вовсе не невозможным: ему так не нравился Петербург, что он не сомневался, что Аграфена Петровна не может не увидеть, что в деревне лучше.

Однако пока она не убедилась в этом, нужно было дать полную ей возможность испытать самой на опыте всё, дать полную волю, чтобы она сама нашла дурное дурным. А для князя Никиты лучшею в мире женщиною была Аграфена Петровна, и, по его мнению, эта лучшая женщина могла только временно ошибаться, но если ей дать свободный выбор, в конце концов она станет непременно на ту сторону, где правда. И он старался не отказать ей ни в чём.

Бестужевы жили всегда большим домом. Пётр Михайлович баловал дочь, и она, почти никогда не знавшая ни в чём отказа, никак не могла и не умела войти в мелкие расчёты и

понять, что может не быть денег, когда их нужно.

Первого мая было назначено катанье в Петербурге. Волконская хотела поехать с сыном и за несколько дней пред этим пришла к мужу, чтобы переговорить о предстоящем развлечении. Никита Фёдорович сидел у своего письменного стола и при входе жены отклонился назад, по привычке перекинув через спинку кресла руку, в которой держал перо.

– Ты занят? – спросила Аграфена Петровна.

Князь Никита ласково взглянул на неё и, улыбаясь, покачал головою. Он любил жену и был влюблён в неё так же, как и на другой день их свадьбы. Никогда не расставаясь с Аграфеной Петровной, он, видя каждый день её милое лицо, решительно не замечал в этом лице никаких изменений: ему она казалась совершенно такою, какою он увидел её в первый раз, и он всегда с одинаковою нежностью и восторгом любовался ею.

– Прелесть моя, радость! – проговорил он и хотел взять её руку, чтобы поцеловать.

Аграфена Петровна видела, что он в особенно кротко-любовном настроении; но она пришла для разговора, который не совсем подходил к этому настроению, и потому суше, чем следовало, поспешно протянула мужу руку к губам и проговорила:

– А я к тебе.

Никита Фёдорович поморщился. Он знал, что значили эти слова: Аграфена Петровна пришла просить денег.

– Я получил письмо сегодня от твоего батюшки, – сказал он, снова пригибаясь к столу и перебирая лежавшие на нём бумаги. – Вот, – добавил он, найдя письмо, – прочти!..

Аграфена Петровна взглянула на знакомый, неясный почерк отца и с первых же строк поняла, в чём дело. Пётр Михайлович писал, что ему нынче положен запрет в Курляндском герцогстве вступать в тамошние управления и таможенные сборы и других всяких доходов, и велено отнюдь ни до чего не интересоваться, кроме одних местностей, определённых вдовствующей герцогине. Жалованья он-де получает немного, да и не в срок, а потому выслать денег не может и не знает, когда вышлет.

– А ты ждал денег от батюшки? – спросила Аграфена Петровна.

– Конечно, ждал.

– Значит, мы не можем заплатить за свечи? У нас их много вышло, я велела ещё взять, это необходимо.

Никита Фёдорович пожал плечами.

– Зерно, крупа, к а ж е т с я, вышли, – неуверенно произнесла Аграфена Петровна.

– Нет, зерна и крупы хватит ещё, – утвердительно произнёс князь Никита.

– Ну, а как же я заплачу за локоны? – спросила вдруг Волконская.

– Какие локоны?

– Да по счёту там нужно заплатить сто пять рублей, кажется… вот тебе счёт, чтобы ты не думал, что я лгу.

Никита Фёдорович, который вовсе и не думал, что она лжёт, взял из рук жены золотообрезную бумажку, на которой было чётко и красиво написано:

«Щёт, коликое число сделано про сиятельную княгиню и милостивейшую государыню Аграфену Петровну, княгиню Волконскую, локонов и протчего камердинером её императорского величества Петром Вартотом.

Февраля 8 дня 8 малых машкаратных локонов 25 р.
Машкаратные же турецкие длинные волосы 10 «
Фаворитов 8 пар 16 «
4 штуки долгих волос 8 >
2 поручки маленьких длинных 32 >
За переправку локонов 12 >

Итого 103 р.
Pierre Wartot».

Волконский, просмотрев счёт и наморщив лоб, стал, придавливая, тереть его, точно у него чесалось там внутри головы.

– Как же это? – проговорил он наконец. – Знаешь, Аграфенушка, это всё чересчур – так мы не проживём, пожалуй.

– Ах, опять ты за старое! – заговорила, начиная уже волноваться, Аграфена Петровна. – Сколько раз я тебе говорила, что мы живём так скромно, как только можно! Только с а м о е необходимое… Ведь не могу же я не быть окружена обстановкой, соответствующей моему положению? – сверкнув глазами, добавила она.

– Да всё-таки можно бы сократить кое-что.

– Что, что сократить? Ты скажи, ну, назови!

– Да я не знаю… ну, вот хоть для Миши опять новые башмаки купили; ну, зачем ему столько башмаков? – слабо возразил Никита Фёдорович.

Аграфена Петровна рассердилась за то, что он так скоро нашёл свой пример и, дёрнув плечами, ответила: «Ведь не водить же мне его босиком?» – и отвернулась, недовольно надув губки.

Волконский давно привык к манере жены отвечать, когда она сердилась, всегда преувеличивая слова говоривших с нею, и потому только укоризненно тихо произнёс:

– Аграфенушка, ну, когда же я говорил, чтобы ты водила его босиком?

Когда он говорил «Аграфенушка», всё шло ещё ничего, но при второй половине его фразы Аграфена Петровна вдруг обернулась к нему и нервно, с внезапно поднявшеюся злобой, заговорила, торопясь словами, точно боялась, что сердце пройдёт у неё раньше, чем она кончит говорить:

– Да что это ты выдумал читать мне наставления, словно кто дал тебе право? Я – не батрачка, не подлая тебе раба, я не в неволе у тебя… и сама могу иметь свою волю… Если ты сидишь в одном месте и ничего не хочешь делать – так я не могу так. Понимаешь, я хочу и буду делать, что мне нравиться… Да, вот что! Не нужно мне твоих денег, слышишь, не нужно! – встав уже с места и возвысив голос, сердилась она и, не найдя, что сказать ещё, скорыми шагами вышла из комнаты, хлопнув дверью.

Никита Фёдорович грустно опустил на руки голову и задумался.

Эти вспышки жены, казавшиеся как будто беспричинными, обыкновенно до глубины души огорчали его. Но он всегда старался объяснить их себе и, разобрав подробности, всегда находил роль последовательных причин и оправдывал свою Аграфену Петровну.

Однако сколько он ни думал теперь, ничего не мог найти в оправдание сегодняшней вспышки. Главное, он не знал, почему жена так скоро рассердилась и почему пришла уже раздражённою, готовая встретить целою бурею малейшее возражение.

Очевидно, у неё было что-то своё, скрытое от Никиты Фёдоровича, волновавшее её, чего он не знал, и не вполне ещё побеждённый недавний бес снова проснулся в нём.

Волконский встал из-за стола и быстрыми шагами заходил по комнате. Оба они теперь – Аграфена Петровна на своей половине, он у себя в кабинете, – чувствовали, что поссорились, и никто не хотел идти мириться.

Кончился день, и на другое утро они встали с окрепшею, принявшею уже известную форму, злобою. Никита Фёдорович не пошёл на половину жены; она не пошла к нему.

Над Петербургом разразилась первая весенняя гроза, и давивший с утра жаркою тяжестью воздух разрядился и, словно промытый дождём, благоухал распускавшимися почками зелени.

Князь Никита открыл окно и с удовольствием вдохнул этот воздух. На него повеяло свежестью ещё холодновато-сырого вечера, но эта свежесть была приятна, и Никита Фёдорович, облокотившись на подоконник, стал смотреть на расстилавшийся пред его глазами широкий, своеобразный вид сравнительно недавно возникшего Петербурга.

Из-за низких крыш наскоро устроенных мазанок виднелась торжественная, огромная река своею гладкою, озарённою красным огнём заката поверхностью, с профилем крепости,

где высилась тонкая, красивая колокольня собора. Оголённые ещё деревья Летнего сада причудливою, тёмною сеткой вырисовывались на терявшем с каждой секундой свою лазурь небосклоне. Вечер был совсем весенний, не петербургский, напоминавший Никите Фёдоровичу далёкую деревню.

У Волконского отёк наконец правый локоть, на который он упирался, и он машинально перегнулся на левый, но это своё движение он заметил лишь потому, что ближайшие предметы передвинулись у него направо. Теперь Бог знает откуда торчавшее деревце заслоняло своими тощими, голыми веточками часть крепостной колокольни. Он подвинулся ещё чуть левее, и колокольня почти совсем заслонилась.

«Странно! – мелькнуло у князя Никиты. – Как это ничтожный пучок прутьев может вдруг заслонить то, пред чем он – такое ничтожество! – И невольно у него это деревце получило связь с тем, на что целый день были направлены сегодня его мысли. – Неужели, – пришло ему в голову, – могут минутные размолвки с женою заслонить счастье стольких лет супружеской жизни?»

Он закрыл окно и почувствовал, что давно уже перестал сердиться на жену и что сейчас же должен пойти к ней, посмотреть на неё, посмотреть ей прямо в глаза и рассмеяться в ответ на её улыбку, которою она наверно встретит его.

Аграфена Петровна была в маленьком кабинете – своей любимой комнате, очень уютной. Здесь стояла привезённая ещё из Митавы лёгкая мебель жёлтого тополя, а стены были расписаны по холсту французскими художниками, приехавшими вместе со знаменитым Леблоном, по проекту которого строился и сам дом Волконских. Комната, освещённая двумя окнами, в которые слабо гляделись сумерки угасшего дня, была полутемна.

Никита Фёдорович, войдя, сейчас же увидел профиль жены, темневший пред одним из окон. Она сидела у своего столика и была, очевидно, занята чем-то очень серьёзно.

Князь Никита сделал шаг вперёд. Аграфена Петровна считала деньги. Часть лежавших пред нею золотых монет выравнивалась уже в аккуратные стопочки, остальные – лежали ещё беспорядочною кучкой.

Волконский, предполагавший, что жена ждёт его примирения, что её сердце так же, как у него, и так же, как это бывало прежде, давно прошло – и она только первая не хочет идти мириться, ждал совсем другого; он никак не думал, что Аграфена Петровна совсем забыла о нём в эту минуту, это он может каким-нибудь образом п о м е ш а т ь ей. А между тем она обернулась, и по её холодному, недовольному лицу он видел, что действительно она в эту минуту вовсе не думала о нём, и он помешал ей.

Но откуда при всём этом были у неё деньги?

«Что это? Долг, сделка, продажа каких-нибудь вещей? Рабутин!» – вспомнил Никита Фёдорович.

И вдруг небывалое бешенство охватило всё его существо; он задрожал всем телом – и не своим, сдавленным голосом проговорил, чувствуя, что не он сам, но бес владеет им:

– Откуда… откуда деньги?

Аграфена Петровна встала, оперлась рукою на стол и, выпрямившись во весь рост, высоко закинув голову, грозно ответила:

– А т е б е какое дело до этого?

Её лицо было искажено злобою и гордостью и отталкивало от себя Никиту Фёдоровича.

– Что? Какое мне дело?.. мне? А такое мне дело, что я знаю, откуда эти деньги! – Он всё больше и больше задыхался, его сердце билось до боли сильно, грудь сдавилась, словно тисками. – Знаю, что они от Рабутина! – вдруг выкрикнул он и, упав в кресло, закрыл лицо руками.

Он не помнил уже, что говорил и делал. Он боялся отнять руки, открыть глаза и посмотреть, что с женою; он не понимал, как язык повернулся у него нанести ей это оскорбление, и не мог сообразить, что должно случиться теперь.

Но Аграфена Петровна оставалась совершенно спокойною, всё также опершись рукою на стол и гордо закинув голову.

– Да, от Рабутина… «вы» угадали! – подтвердила она.

Князь Никита ожидал всего, но только не этого. Он отнял руки от лица и остановился на жене долгим, бессмысленным взглядом своих помутившихся, необыкновенно широко открытых глаз. Его лицо стало изжелта-бледным, и губы посинели.

«Господи, что с ним?» – мелькнуло у Аграфены Петровны.

И вдруг правая щека князя Никиты часто и судорожно задрожала, жила на левой стороне шеи стянулась, рот дрогнул и скривился, плечи заходили мелкою дробью, и кисти рук неудержимо замотались в разные стороны.

Смятение, страх, раскаяние и жалость, главное – жалость, охватили Аграфену Петровну, и она, забыв уже свою гордость, обиду и злобу, кинулась к мужу.

– Милый… родной… погоди! Что ты? – проговорила она голосом, в котором звучала неподдельная нежность. – Воды тебе, постой!

Она принесла мужу из спальни воды, заставила его выпить и, положив ему на плечи руки, смотрела на него испутанная, но снова любившая и потому по-прежнему прекрасная.

Князь Никита тяжело дышал. Судорог в лице у него уже не было, только руки вздрагивали.

Он силился улыбнуться и успокоиться. Ему было довольно взгляда жены, её ласкового слова, чтобы вновь почувствовать радость и жизнь.

– Да что ты так… что? – спросила Аграфена Петровна. – Ну, скажи в с ё, что с тобою было?

Она села мужу на колена и обняла его одною рукою. Спокойствие почти вернулось к нему. Своим чувством любви, которое никогда не обманывало его, он уже знал, что жена ни в чём не виновата пред ним, что всё объяснится, и его Аграфена Петровна останется чиста, как прежде. Он постарался подробно рассказать ей все свои тревоги последних дней, сообщил о письме и о Рабутине. При упоминании этого имени он было снова заволновался, но Аграфена Петровна перебила его вопросом:

– Да ты знаешь, зачем он приехал в Петербург?

– Говорят, что заключать какой-то договор.

Волконская улыбнулась.

– Да, это так говорят, а на самом деле он здесь, чтобы хлопотать за великого князя.

– Петра Алексеевича?

– Ну да! Видишь ли, – заговорила Аграфена Петровна, – императрица хочет сделать наследницею престола одну из своих дочерей. Герцог Голштинский, муж старшей царевны Анны Петровны, входит теперь в мельчайшие подробности правления, словно будущий супруг будущей государыни. Они хотят обойти великого князя, Ну, а это не так-то легко, – у него тоже есть преданные люди, да и со стороны матери он – родня Гамбургскому дому; значит, для этого дома весьма важно, чтобы русский престол занимало лицо, находящееся в близком родстве с ним. Вот австрийцы и послали…

– И ты в числе преданных людей великому князю? – спросил Никита Фёдорович.

– Это – старая история; брат Алексей уже давно в сношении с австрийским двором, ещё с тех пор, как в Вене скрывался от своего отца царевич Алексей Петрович.

– Значит, вы играете в руку австрийцам?

– Как, в руку австрийцам? – встрепенулась Аграфена Петровна, вставая от мужа. – Желать, чтобы в России царствовал коренной русский государь, единственный мужской потомок Романовых, родной внук императора, и всеми силами противодействовать воцарению женщины, рождённой от иностранки и вышедшей замуж за иностранца же, который придёт и будет господствовать над нами, – по-твоему значит играть в руку австрийцам? Пусть австрийцы теперь пока помогают нам с их Рабутиным, а потом увидим ещё, будут ли они иметь возможность сесть нам на шею.

Выражение жены «австрийцы с и х Рабутиным» было особенно приятно Никите

Фёдоровичу.

– Но зачем же ты берёшь от него…

– Деньги? – перебила Аграфена Петровна. – Затем… затем, что у нас их нет, затем, что они нам нужны, и что борьба без денег немыслима. Я смотрю на эти деньги, как на средство борьбы за благое дело. Это всё равно. Отец в Митаве брал деньги даже у евреев, когда они ему были нужны… Я беру у австрийцев. Придёт время – и отдам!

– Постой!.. Но при чём же тут ты? Отчего же ты являешься каким-то чуть не главным лицом здесь?

– Главным – нет, – скромно опуская глаза, но самодовольно улыбаясь, ответила Аграфена Петровна, – а одним из главных, может быть.

– Каким же это образом? Для чего нужно всё-таки иметь положение, ну, хоть при дворе.

– Я его уже имею или всё равно что имею! – ответила она и, открыв средний ящик своего столика, достала одно из лежавших там писем. – Прочесть? – лукаво щуря глаза, спросила она мужа.

– Да ну! – нетерпеливо проговорила он.

И Аграфена Петровна, объяснив, что письмо от брага Алексея, стала читать.

«Как к Рабутину отсюда дано знать, – писал Алексей Петрович, – так и к великому двору, дабы он, Рабутин, инструктирован был стараться о вас, чтобы вам при государыне великой княжне цесарского высочества обер-гофмейстериной быть. Вы извольте с упомянутым Рабутиным о том стараться; что же касается меня, и я намерен потерпеть доидеже вы награждение своё, чин обер-гофмейстерины, получите, ибо награждение моё через венский двор никогда у меня не уйдёт. Согласитесь с Рабутиным о себе, такожде и о родителе нашем прилежно чрез Рабутина стараться извольте, чтоб пожалован был графом, что Рабутин легко учинить может».

– Аграфенушка, так это – то самое письмо? – спросил Волконский, краснея.

– Ну разумеется! А ты что думал?

Аграфена Петровна хотела ещё сказать что-то, но муж не дал ей договорить и, вскочив, стал целовать её.

– Так это ты будешь обер-гофмейстериной при Наталье Алексеевне?! – проговорил он наконец.

– Ну да, при сестре великого князя.

Волконская сияла и вследствие состоявшегося примирения с мужем, и вследствие радостных надежд, которые теперь, при разговоре о них, снова взволновали её. Она была искренне рада и ей захотелось увидеть сочувствие в муже, ей захотелось, чтобы и он радовался вместе с нею.

Но Никита Фёдорович только улыбался жене, как улыбается взрослый человек, смотря на восторг ребёнка, восхищённого, положим, тем, что ему удалось состроить из чурок высокую башню. Точно так же, как князь Никита не мог бы искренне огорчиться, если бы башня эта развалилась во время постройки, или радоваться, когда она была сложена, – точно так же он не мог радоваться удавшимся планам жены или огорчаться, если бы они не удались.

– И неужели всё это тебя тешит? – серьёзно спросил он.

– То есть как, т е ш и т? – с оттенком обиды спросила Аграфена Петровна.

– Ну ведь мы же помирились! – сказал Никита Фёдорович. – Чего же ты обижаешься?

И он снова не дал ей говорить, начав целовать её.

IV
КУРЛЯНДСКОЕ ДЕЛО

У герцогини Курляндской Анны Иоанновны было мною женихов, потому что она являлась одною из завидных невест, принося за собою в приданое курляндскую корону.

Говорят, их было до двадцати, но свадьбе каждый раз мешали политические соображения.

Наконец, в 1726 году явился в Митаву молодой, красивый и ловкий граф Мориц Саксонский, прогремевший своими успехами чуть ли не при всех европейских дворах Он, поддержанный незаконным своим отцом Августом, королём польским, приехал как претендент на герцогский титул и как жених. С первого же взгляда, с первого же слова герцогиня Анна почувствовала неудержимое влечение к этому человеку, который хотел и мог стать её мужем.

Казалось, счастье теперь улыбнулось ей. Главного препятствия – непреклонного, неодолимого запрета дяди-императора – не могло быть, потому что дядя уже умер. У Морица был сильный заступник и покровитель – его король-отец. Следовательно, если только Морица выберут в Курляндии в герцоги, никто не посмеет помешать её счастью. И курляндский сейм выбрал графа Саксонского. Мориц мог по праву взять за себя и так долго томившуюся в одиночестве Анну, но вдруг все счастливые грёзы исчезают, мечты тают, как дым, а в действительности в Митаву приезжает из Польши Василий Лукич Долгорукий и объявляет выбор незаконным. Мало того, получается известие, что сам Меншиков уже подъехал к курляндской границе. Он сам захотел быть герцогом, и Анне Иоанновне хорошо было известно, что Александр Данилович – не такой человек, чтобы не достигнуть того, чего пожелает. Она уложила самые необходимые вещи и с одною лишь девушкой, в коляске, поехала навстречу Меншикову. Они встретились в Риге.

Однако из этого свидания ничего не вышло для Анны Иоанновны. В Петербурге было получено письмо светлейшего на имя государыни, которое стало известным и в котором Меншиков писал, что после разговора с ним герцогиня, убеждённая его, Меншикова, доводами, согласилась, что ей неприлично выходить замуж за Морица, «сына метрессы», и что избрание графа в герцоги Курляндские причинит вредительство интересам российским.

Но почти одновременно вместе с этим письмом пришли в Петербург известия о том, как действует появившийся в Митаве Меншиков. Долгорукий писал своим родственникам, Бестужев – дочери. Левенвольд, имевший в Курляндии немало знакомых и приятелей, получил от них послания с ужасающими подробностями.

Меншиков явился в Митаву, собрал почти насильно депутатов курляндского сейма, грозил им Сибирью и, стуча палкою и крича на них, дерзко требовал своего собственного избрания. Граф Мориц вызвал Меншикова на дуэль, но тот прислал в Митаву триста солдат арестовать Морица; однако тот отбился.

Обо всём этом в Петербурге заговорили, стараясь придать поступкам Меншикова характер чуть ли не покушения на правительственную власть.

Анна Иоанновна, потерпевшая неуспех в Риге, отправилась лично хлопотать в Петербург за своего «Морица». Она знала, что здесь, прямо у государыни, для которой Меншиков был сила, возведшая её на престол, она, Анна «Ивановна», как звали её при дворе, ничего не может значить, и её непосредственное заступничество не принесёт никакой пользы. Нужно было действовать через людей, имевших связи и хорошо знавших все её ходы, чтобы бороться с волею временщика. Но к кому обратиться?

К заведомым врагам Меншикова – Долгоруким, Голицыным, Анна Иоанновна не решалась, потому что это значило стать в прямые враждебные отношения к светлейшему. Остерман? Но этот немец хотя и может многое сделать, однако постоянно ссылается на свои недуги и ни для кого ничего не делает, кроме самого себя. Прасковья Ивановна, родная сестра герцогини, у которой она и останавливалась обыкновенно в Петербурге, удалилась от двора, с тех пор как вышла замуж за «приватного человека» Дмитриева-Мамонова, и ничем, кроме совета, не могли помочь сестре. В прежнее время Левенвольд мог сделать что-нибудь, но теперь он потерял значение.

– Да обратись к Волконской, княгине Аграфене Петровне, – вспомнила наконец Прасковья Ивановна, – ведь она – дочь т в о е г о Петра Михайловича и может, по нонешним временам, многое сделать.

Герцогиня Анна поморщилась. Опять эта Аграфена Петровна становилась на её пути,

непрошеная, но, видимо, необходимая.

– Да разве она может что? – спросила Анна Иоанновна после некоторого молчания.

– Во всяком случае, – пояснила ей сестра, – если и не может сама сделать что, то укажет, как и к кому обратиться.

Анна Иоанновна долго старалась отстранить от себя необходимость ехать к Волконской. Но чем дальше она думала об этом и чем старательнее искала какого-нибудь другого выхода, тем настойчивее казалось ей, что кроме Аграфены Петровны нет другого лица, более подходящего для начала её дела.

Герцогиня побывала при дворе, сделала визиты всем важным персонам. Везде её приняли вежливо, но довольно сухо и не дали заикнуться о «деле».

Она не могла знать, что уже началась деятельная работа против её теперешнего врага. Посвятить её в эту тайну опасались из боязни какого-нибудь неловкого с её стороны шага, и она думала с отчаянием, что время проходит даром, и что она ничего ещё не сделала.

– Что ж, поеду уж! – сказала она сестре и отправилась к Волконской.

Аграфена Петровна видела из окна, как у ворот её дома остановилась карета герцогини, как с козел соскочил гайдук и, пробежав по лужам широкого двора, скрылся в подъезде.

«Наконец-то! – мелькнуло у неё. – Давно пора!»

Она знала, что будет н у ж н а Анне Иоанновне и нарочно здесь, в Петербурге, где титул «герцогиня» не значил ничего, не ехала к ней первая.

Аграфена Петровна, отойдя от окна, села на диван, развернув первую попавшуюся под руку книжку.

Лакей, по заведённому порядку, доложил о гостье. Волконская продолжала читать, как будто не слушая.

– Ну да, просите! – наконец сказала она.

Она не вышла встречать герцогиню, но осталась на своём диване, как была, и только встала навстречу Анне Иоанновне, когда та вошла к ней в кабинет.

Герцогиня сильно изменилась на взгляд Аграфены Петровны, не видавшей её с самого своего отъезда из Митавы. У неё была совсем другая причёска с буклями; правда, герцогиня делала её себе ещё при Волконской, но тогда эта причёска не бросалась так в глаза княгине, как теперь, после нескольких лет, как они не виделись. Анна Иоанновна также очень потолстела, и её лицо стало совсем круглым, с несколько неприятно отвислыми щеками. Прежде она гораздо больше подходила к немецким перетянутым барыням, которые окружали её в Митаве, а теперь, несмотря на жизнь в иностранном городе, видимо, опускалась и становилась очень похожа на московских боярынь, не умевших одеваться в чужеземный наряд и носить шёлковые робы с талией. Теперь немецкий титул «герцогиня» как-то особенно не шёл ей.

Она вошла красная, тяжело дыша, и казалось взволнованною; она, видимо, чувствовала приём Волконской.

– А я к вам… – начала она и не утерпела, чтобы не прибавить «по делу».

Это значило, что иначе она не приехала бы. Аграфена Петровна наружно спокойная, любезно улыбнулась и, как власть имеющая, снисходительно ответила:

– Чем могу служить, ваша светлость?

«Я б тебя растерзала за этот тон», – подумала Анна Иоанновна.

– Вот что, – начала она, сдерживая волнение, – слышали вы, что у нас в Курляндии делается?

Аграфена Петровна давно рассчитывала, что явившаяся в Петербург герцогиня, озлобленная на Меншикова, будет живым свидетелем против него и может, если её направить как следует, быть очень полезною.

– Слышала, – ответила она, – это – ужас!

– Да как же не ужас? – заговорила герцогиня. – Избрала графа Морица… он имеет все права…

– Но ведь ваша светлость уже отказались от брака с графом Саксонским.

– Как отказалась? – встрепенулась Анна Иоанновна. – Кто это сказал?

– Императрица получила от светлейшего собственноручное письмо, – и Волконская передала в нескольких словах содержание письма.

– Что-о?! – воскликнула герцогиня. – Он это написал?.. Это – неправда, это не так было!.. Вы знаете Данилыча – явился ко мне в Риге таким, каким никогда я его не видела… Начал кричать, что Мориц – сын метрессы, что он – мне не пара… Ну, что ж я могла сделать?

– Ну, и вы согласились с ним?

– Да не знаю – говорил больше он, а я молчала. Наконец он сказал, что так и напишет всё, как было.

– А видите, что написал он?!

– Так как же теперь быть? – упавшим голосом спросила герцогиня.

Аграфена Петровна пожала плечами. Ей весело было видеть, как эта женщина дрожала теперь пред нею за своё счастье, ожидая помощи от неё, самолюбие которой задевала в минувшие годы.

– Что ж делать, ваша светлость, нужно подчиниться воле светлейшего, – улыбнулась она.

– Как, подчиниться? – почти крикнула Анна Иоанновна. – Где ж это видано, чтобы подданный вертел так царским домом? Что ж это? Этак, пожалуй, он и впрямь не только герцогство Курляндское получит, но захочет и ещё большего.

– Ну, большего ему никто не даст! – меняя тон, заговорила Волконская, а затем, насколько было нужно, посвятила герцогиню в тайные подкопы против временщика и указала, с кем и как должна поговорить Анна Иоанновна, и обещала ей, что со своей стороны сделает всё возможное, чтобы помочь ей.

Несмотря на всю неприятность своего посещения Волконской, Анна Иоанновна уехала от неё с сознанием, что это посещение было сделано недаром.

У Морица Саксонского оказались в Петербурге ещё защитники, или, вернее, защитницы, которых он, по всей вероятности, и не подозревал. Француженки, состоявшие при цесаревне Елизавете и великой княжне Наталии, были без ума от подвигов Морица, слава которого дошла до них. Они постарались настроить в пользу этого, вдобавок опоэтизированного их французскою фантазией, героя своих воспитанниц, которые таким образом со своей стороны явились невольными заступницами графа Саксонского пред государыней.

Все эти люди, питавшие в силу самых различных причин ненависть к Меншикову, зашевелились в его отсутствие и начали свою работу.

Волконская с утра выезжала из дома или принимала у себя, суетилась, действовала, беспокоилась и волновалась, с тревогой ожидая, чем кончится вся эта история, которая имела большую возможность успеха.

Она боялась ещё торжествовать и радоваться, но, предчувствуя победу, всё время была особенно в духе и выказывала горячую лихорадочную деятельность.

Её удивлял Рабутин. Несмотря на то, что всё, по-видимому, шло очень хорошо и светлейшему была поставлена очень хитрая ловушка, из которой он едва ли мог уйти, Рабутин не принимал деятельного участия во враждебных Меншикову происках и ничего, даже тайно, не предпринимал в помощь Аграфене Петровне. Сколько ни пробовала она говорить с ним серьёзно, он или отшучивался, или ссылался на то, что Меншиков – князь Священной Римской империи и потому он не может действовать против него, не имея на то прямых инструкций от своего двора. Но Волконская знала, что это – вовсе не настоящая причина поведения Рабутина. Она догадывалась, что австрийский посол просто не верит в возможность падения временщика и потому считает напрасным все направленные к этому усилия, которым он, впрочем, не желает и противодействовать. И Аграфена Петровна удивлялась, как может он думать так, когда успех предприятия был несомненен, и старалась «вывести» австрийца на н а с т о я щ у ю дорогу. Она хотела – и он должен был во что бы то

ни стало подчиниться ей. Она находила его слишком молодым, несмотря на то, что он был на самом деле старше её, и так была уверена в себе и в верность своих расчётов, что считала долгом своим для пользы и общей, и самого Рабутина, руководить им.

Рабутин на общественных собраниях был всегда очень внимателен к Аграфене Петровне. Сначала он пробовал было особенно приблизиться к умной и милой русской княгине, но Волконская очень ловко сумела обойти это и удержала молодого графа в должных границах, оставшись, однако, в прежних с ним отношениях.

Рабутин видел, что всё-таки она может быть полезна ему, и потому продолжал оставаться возле неё, хотя их отношения держались чистою связью одних и тех же интересов и цели, что, впрочем, не мешало вести остроумную беседу, в которой Рабутин щеголял своею любезностью, не умея иначе разговаривать с женщинами.

Но собственно для своего влюбчивого сердца он должен был избрать другой предмет.

Волконская сошлась в последнее время с Марфой Петровной Долгоруковой, дочерью Шафирова, которая была озлоблена против Меншикова за сделанные им её отцу неприятности и готова была всеми силами отомстить светлейшему. Аграфена Петровна часто вечером заезжала к ней и оставалась, рассказывая то, в чём успела за день.

Июль был уже на исходе, когда Волконская явилась к Марфе Петровне с известием, что Меншикову послан указ немедленно вернуться в Петербург.

– Вы поймите, – сказала она Долгоруковой, – это очень важно. Он, вероятно, не послушается, и тогда ему конец. Государыня так уже подготовлена, и всё обставлено…

Несмотря на свою нелюбовь к Меншикову, Марфа Петровна слушала слова княгини довольно рассеянно. Правда, Волконская уже давно сидела у неё, и они, казалось, обо всём успели переговорить и рассмотреть известие об указе со всех сторон, но Волконской всё ещё хотелось говорить об этом.

– Что это, вам не по себе, кажется? – спросила, наконец, она, замечая скучающее и нетерпеливое выражение в глазах Долгоруковой.

– Устала я, – коротко ответила та.

Аграфена Петровна начала прощаться с нею.

– Ну, до свидания, голубушка, дай вам Бог и на завтра успеха! – сказала по обыкновению Марфа Петровна, провожая свою гостью до лестницы, а затем вернулась к себе в маленькую гостиную и поспешно подошла к большим стеклянным дверям, выходившим в сад на террасу.

На дворе стояли сумерки июльской ночи. Небо было безоблачно, но в саду, под чёрным кружевом тихих дерев, казалось всё-таки настолько темно, что Марфа Петровна приложила обе руки к стеклу и прислонилась к ним, чтобы заглянуть в эту темноту. Всё было тихо кругом.

Долгорукова неслышно отворила дверь и вышла на террасу. Странная таинственность ночи охватила её, и она почувствовала какую-то жуткость, точно щипнувшую её за сердце. Но она подавила в себе неприятное чувство и подошла к перилам.

В глубине аллеи послышались твёрдые, видимо, привыкшие к дороге, но осторожные шаги.

«В мире, есть одна лишь сила,
Гордый дух подвластен ей», –

вполголоса, как бы про себя, пропела по-немецки Долгорукова.

«То улыбка вечно милой,
Нежный взгляд её очей», –

подхватил также тихий голос из сада, и вслед за тем на ступеньки террасы поднялся Рабутин.

Марфа Петровна двинулась ему навстречу.

– Не люблю я этих ваших ночей, сырых и полусветлых, – заговорил Рабутин, входя за Долгоруковой в гостиную, как свой, как давно ожидаемый и желанный. – Ты не долго ждала меня? – с улыбкою спросил он, скидывая свой плащ.

– Нет, от меня только что уехала Волконская, – ответила Марфа Петровна, садясь на небольшой диванчик. – Ну, иди сюда, здравствуй!..

Они говорили по-немецки.

– Ну, что ж, она всё о е г о падении хлопочет? – сказал Рабутин, подходя к Долгоруковой и садясь рядом с нею.

– Конечно, мы все хлопочем… дело идёт к развязке… е м у послан уже указ, всё идёт как нельзя лучше…

Рабутин покачал головою.

– Ну, вот ты всегда не веришь! У тебя вечные сомнения! – сказала капризным голосом Марфа Петровна. – А ведь, кажется, всё так ясно!..

Её восточные, красивые чёрные глаза блестели уверенностью и улыбкой, и всё лицо сияло особенною – несвойственною европейским, надоевшим Рабутину, женщинам, – красотою; только рот с чуть выдававшеюся, но отнюдь не портившей её, нижнею губою, сложился недовольной складкою. Она была недовольна на него за его противоречие.

– Я удивляюсь одному, – серьёзно заговорил Рабутин, – как вы все не понимаете, что т е п е р ь так же немыслимо побороть этого господина, как нельзя остановить щепкой течение большой реки. Царица отлично понимает, что, оттолкнув его, она всё потеряет, а если и не понимает этого, то герцог Голштинский с Бассевичем объяснят ей, хотя бы из чувства самосохранения. Ведь и они пропадут тогда. Наконец, Меншиков силён в гвардии… А, да ничего из этого не выйдет! – махнул он рукою.

Долгорукова окончательно рассердилась.

– Я тоже удивляюсь тебе, Густав, – возразила она, – ты вот уже сколько времени в Петербурге и ведь, собственно, ничего не сделал для великого князя, ни даже для договора, который служил официальной причиной твоего приезда. Скажи, пожалуйста, зачем же ты приехал сюда?

Глаза Рабутина сощурились, и он улыбнулся, весело глядя на её сердитое уже лицо.

– Может быть, лишь для того, чтобы судьба свела меня с тобою, я приехал сюда, – ответил он, продолжая улыбаться и смотря прямо ей в глаза. – А вот пришёл я к тебе вовсе не для того, чтобы ссориться теперь, – и он ласково потянулся к ней и хотел взять её руку, но Долгорукова отдёрнула её.

– Ты знаешь, что я терпеть не могу этого человека, и не успокоюсь до тех пор… – начала она.

– Всему своё время, – перебил её Рабутин. – Придёт и ему черёд, но пока я должен сделать наследником великого князя и сделаю это! – с оттенком немецкого пафоса произнёс он.

Долгорукова ласково взглянула на него.

– Знаешь, Густав, когда ты говоришь о делах, мне всегда кажется, что ты старше, чем ты есть… Но будет о них…

И они перестали говорить о делах.

V
ПРОПОВЕДЬ ДУХА

Прошло немного времени – и Рабутин оказался совершенно прав. То глубоко обдуманное и обеспеченное в своём успехе «дело», над которым с таким рвением хлопотала Аграфена Петровна, явилось пустым и вздорным, и в действительности оказалось серьёзным только для тех, кто им занимался, но не для того, против которого направлены были эти, в сущности, очень слабые, в сравнении с его собственным могуществом, усилия. Меншиков

вернулся из Митавы в конце июля, и ни одно из ожиданий его врагов не оправдалось.

Императрица Екатерина, должно быть, привыкшая к подчинению при покойном своём супруге, постоянно чувствовала необходимость опираться на твёрдую руку с непреклонною волею, а такою рукою являлся, несомненно, Меншиков, воспитанный в суровой школе Петра.

И австрийский посланник понял это. Партии великого князя он объяснил, не щадя ни слов, ни издержек, какую силу будет иметь она, если на её сторону перейдёт Меншиков, а Меншикову подсказал мысль выдать свою дочь за великого князя и первый заговорил об этом во всеуслышание, как о деле весьма возможном и ничуть не удивительном тем более, что за жениха Меншиковой, красавца Сапегу, императрица желала выдать свою племянницу – Скавронскую. И вот, по воле Рабутина, прежние друзья стали врагами, а враги – друзьями. Меншиков сошёлся с Голицыным, Долгоруким, а Толстой, Апраксин и прежний союзник Меншикова, герцог Голштинский, оказались его открытыми врагами. К ним примкнули Бутурлин, обойдённый Меншиковым по службе, и Девьер, женатый на родной сестре светлейшего, озлобленный против него за постоянные оскорбления, которые он наносил ему.

Анна Иоанновна, ничего не добившись, уехала обратно в свою Курляндию.

Волконская смутилась и потерялась. Не послушавшийся её Рабутин, которого она хотела вести и направлять, оказался досадно и обидно прав. Ничтожная, слабая, как вышло теперь, попытка её получить долю влияния на высшие события была точно неудачною попыткою, а вовсе не серьёзным государственным делом. Аграфене Петровне казалось, что тут-то и есть самое настоящее, которое так сразу, сейчас – стоит лишь съездить сюда, побывать там – и придёт к ней; но «настоящее» было, очевидно, в руках этих Меншиковых, Рабутиных и им подобных, а для Волконской, как доской, прихлопнулись высшие цели и планы. Она могла хлопотать о звании гофмейстерины себе, о графском титуле для отца, сообщать брату в Копенгаген о том, что делалось в Петербурге; но свергнуть Меншикова ей было не под силу. И как она не могла подумать об этом раньше?

Она сердилась на себя, на Рабутина, на Долгорукову, на всех, и несколько раз поссорилась в это время с мужем.

Но вместе с тем она сознавала, что из всех её благоприятелей самым сильным и по значению, и по положению был всё-таки Рабутин. И вот, вместо того чтобы «вести» его или «направлять», ей пришлось употребить все свои усилия думать об одном лишь, чтобы этот человек остался для неё благоприятным и, удержавшись и получив значение избранным им самим путём, оказывал ей п о д д е р ж к у. Сознаться, что это было просто покровительство, она даже сама пред собою не хотела.

После своей ничем не кончившейся суеты Аграфена Петровна вдруг увидела, что у неё стало очень много свободного времени, после того как она минуты – казалось ей – не имела покоя.

Она не то что упала духом, но сделалась капризна, скучна и нервно-обидчива. С сыном она всегда была ласкова и единственно на него не сердилась. Князь Никита внимательно следил за состоянием её души, ни о чём не расспрашивал, не старался узнать внешние причины её состояния, но ему было ясно, что именно происходило в его Аграфене Петровне, и он был доволен этим. Судьба, казалось, сама вела её к тому, чему она не могла поверить в словах Никиты Фёдоровича. Он ждал, утешал её, когда было нужно, и терпеливо переносил её вспышки и раздражение.

Аграфену Петровну раздражали в муже его спокойствие, отсутствие суеты и постоянство. Пред нею, на её глазах, были два совершенно различных человека: один, князь Никита, как будто ничего не делавший и вместе с тем занятый целый день, и другой – Рабутин, всегда весёлый, самоуверенный, беззаботный, всегда свободный, но «делавший очень много». У каждого из них, казалось, была своя особая цель, и каждый шёл к ней, не сбиваясь и не спеша. При этом в них обоих, как ни казались они различны, было что-то общее – это мужское, упорное терпение, выдержка, может быть, воля – обижавшие её женское самолюбие. С этим неуклонным «чем-то» нужно было примирить свою горячность

и подчиниться, вместо того, чтобы «подчинить» себе и направлять.

Она знала, что так же, как она может добиться от Рабутина, если захочет, звания для себя или титула для отца, она может заставить мужа сделать какой-нибудь расход, прийти просить к ней прощения, когда, пожалуй, сама виновата пред ним; но самое суть их деятельности она не в силах была изменить.

Рабутин ей был совсем чужой человек. Князь Никита был муж, которого она любила, и, несмотря на то, что она ни в чём так не горячилась, то есть не сердилась, как говоря с ним, потому что ни с кем не могла и не умела говорить, ничего не утаивая, откровенно – всё, что есть на душе, – несмотря на это, никто не мог её так успокоить, как муж, и ни с кем ей не было так хорошо и светло, как с ним.

Она, в особенности теперь, скучая открывшимся для неё свободным временем, часто вечером приходила к нему, садилась сзади на диван, и он оборачивался к ней и заговаривал, причём всегда о чём-нибудь своём, запутанном, но светлом и хорошем, производившем успокоение.

Тогда, при виде этой его заваленной книгами, заставленной склянками и ретортами комнаты, где среди простых стульев и столов стояла одна мягкая кушетка для неё, – при виде его худого, с большим ртом и горбатым носом лица, освещённого каким-то внутренним, знакомым и милым ей огнём вдохновения и улыбкой смотрящих в душу серых глаз, – Аграфена Петровна переносилась в иной мир, далёкий от всего, что было за рубежом этой комнаты, и ей дышалось легче, и она любовалась с в о и м князем Никитой, потому что знала: «Вот он каким был!»

Раз как-то он особенно понравился ей. Это было после того, как она, когда в ней улеглась поднятая неудачею желчь, рассказала ему всю историю.

Волконский выслушал жену не перебивая, зная, что нужно дать выговориться ей и что после этого ей будет легче.

– Господи, сколько во всём этом потрачено даром силы! – когда она кончила, проговорил он, откидывая назад свои белокурые, лежавшие неправильными прядями, волосы, которые он, перестав стричь, давно перестал также прятать под парик. Затем он встал со своего места и с обрадованным лицом подошёл к жене. – Знаешь что, Аграфенушка, – заговорил он своим особым, «внутренним», как она называла, голосом, садясь возле неё на кушетку, – я сколько раз замечал, что, когда ты вот так приходишь ко мне, я всегда читаю в этот час именно то, что тебе нужно, то есть то, что я могу рассказать тебе в ответ на твой рассказ. Это выходит всё равно, как вот в таком случае: когда на что-нибудь не находишь ответа – возьми хорошую книгу и открой на первом попавшемся месте, и всегда выйдет удивительно верно, и всё станет ясно.

– Ну, о чём же ты читал? – спросила Аграфена Петровна.

– А вот сейчас: ты знаешь, как жил святой Алексей Божий человек? Это удивительно! Его отец был в Риме знатным и богатым лицом. Его невеста была прекрасна и из царского рода… И он добровольно отрёкся и от знатности, и от богатства, и от всего и ушёл нищим в далёкий город, где стал питаться чем Бог послал… Как ты думаешь, что труднее: отречься от богатства и почестей, когда они уже есть, или достичь их, когда их нет? И для того и для другого нужно то, что немцы называют Energie[9], но для первого нужно её в гораздо большей мере. Слушай дальше!.. Святой Алексей молился, постоянною молитвою угодил Богу и своею жизнью стал известен. И вот совершенно с другого конца подползает к нему, к его духу, то есть соединённому с плотью, новое земное искушение – то, что люди называют славою!.. Понимаешь ли, он достиг опять иным путём, уже не богатством и знатностью, но лишением, нищетою того же, то есть славы, известности,, значит, известных почестей, потому что он сделался чтимым… Постой, не перебивай, – остановил князь Никита жену. Он встал со своего места и продолжал стоя: – И что же сделал Алексей? Он ушёл от этого

[9] Энергия.

соблазна; он удалился снова в Рим и там был принят в дом отца, где его не узнали; как нищий, как убогий, как странник, он жил в этом доме. Слуги смеялись, издевались над ним, даже били его. Он мог одним словом, открыв себя отцу, снова каждую минуту получить обратно всё, от чего отказался, и уничтожить, стереть тех самых слуг, которые потешались над ним, но не делал этого потому, что ему н е н у ж н о было богатства здешнего, земного, потому что он так глубоко сознал, что всё это – суета: и богатство – суета, и то, что люди называют славою, и то, что они называют оскорблением, – всё суета!.. Послушай, Аграфенушка, ведь если наша жизнь не здесь, не на земле, а тут для нас лишь короткое испытание, то до чего мелки, до чего ничтожны покажутся все эти и оскорбления, и богатства, и я не знаю, ещё что. Господи, человеку дана сила, энергия; он может усыпить её в себе – это редко бывает, но бывает. Затем у него две задачи: он может направить свою силу или к достижению того, что требует его тело, или того, что нужно для его духа. А что тут важнее: тело или дух, – дух, который один вечен, вечен, вечен…

Князь Никита говорил, стараясь не словами, но голосом, всем существом своим передать ей то, что было у него в душе в эту минуту, и то, что он – сколько бы не подбирал слов – всё-таки не мог объяснить, как ему хотелось, этими ч е л о в е ч е с к и м и словами, придуманными для здешних, земных понятий и стремлений…

Аграфена Петровна смотрела на его просветлевшее лицо, на его раскиданные волосы и дышавшую силой и уверенным сознанием фигуру – и любовалась им. Он всегда был особенно мил ей в такие минуты.

Эта беззаветная вера, это какое-то увлекающее, горящее в его душе чувство, это упорное стремление – действовали на неё таинственно и загадочно, и бывали минуты, что она забывалась вместе с ним, и что-то лёгкое и свободное начинало шевелиться в её груди, точно она, отделившись от земли, без страха и трепета поднималась на воздух.

Подчас, когда муж говорил так с нею, слёзы навёртывались у него на глазах, и она незаметно вытирала и свои тоже влажные глаза. Тогда она почти соглашалась с ним. Но всегда случалось так, что дня через два какие-нибудь обстоятельства, как нарочно, выступят и увлекут своею «земною» серьёзностью.

Так случилось и на этот раз.

После памятного Аграфене Петровне разговора она вскоре получила от отца известие, что Меншиков, недовольный Петром Михайловичем, который, по его мнению, недостаточно поддерживал в Курляндии его стремления, обвиняет его в злоупотреблениях по управлению имениями герцогини, и дело это должно разбираться в Верховном тайном совете. Бестужев писал, что сам едет в Петербург, а пока просит дочь сделать с её стороны всё, что она может сделать, не отлагая и не медля.

Аграфене Петровне через Рабутина легко было устроить дело отца и выгородить его. Пётр Михайлович приезжал тогда в Петербург[10], пробыл здесь месяца с два и, вернувшись в Митаву, застал там молодого Бирона, захватившего всю силу при дворе герцогини Курляндской.

Неприятности Петра Михайловича сильно повлияли на материальное благосостояние Волконских. Аграфена Петровна убедилась наконец, что нужно сократить расходы. Впрочем, эти расходы сократились отчасти сами собою. Княгиня стала меньше выезжать и не делала больших приёмов. У неё собирались только по-прежнему её друзья. Волконская, переговорив о многом с отцом в его приезд, притихла и даже нарочно старалась оставаться в стороне, заботясь лишь о поддержании сношений с Рабутиным и близко стоявшими к великому князю людьми, между которыми был и Маврин, обиженный теперь своим подчинением Остерману, назначенному Меншиковым в звании обер-гофмейстера к великому князю. А затем она решила выждать, что будет.

---

[10] П. М. Бестужев-Рюмин был вызван в Петербург в 1727 г. Причиной стал донос на его самоуправство, хищения и распутный образ жизни.

VI
ПОДМЁТНОЕ ПИСЬМО

Шестого мая 1727 года, в девять часов пополудни, государыня скончалась.

Все меры были приняты, и великий князь взошёл на всероссийский престол беспрепятственно. Меншиков стал верховным, полноправным правителем государства. Юного императора он перевёз к себе в дом на Васильевский остров.

Едва лишь окончились тревоги первых дней, светлейший призвал к себе Остермана.

– Ну, барон, Андрей Иванович, мне нужно с вами очень серьёзно поговорить, – сказал он ему, приведя к себе в кабинет и заперев двери.

На вид хилый, больной, казавшийся старше своих лет и постоянно твердивший о своих недугах, Остерман казался теперь несколько бодрее обыкновенного.

– Что нужно, о чём, собственно? – спросил он.

Меншиков только что позавтракал и, тяжело дыша, опустился в кресло.

– Нужно будет подумать о науках императора: ведь это – серьёзное дело.

– Я думаю, – начал Остерман, разглаживая свой синий камзол и оправляя кружевные манжеты, – что не следует спервоначалу налегать на него. Можно испугать ребёнка наукой, и тогда ничем уже не приохотишь, а так, понемножку, понемножку…

– Конечно, понемножку, – не столько согласился, сколько повторил последние слова барона Меншиков, не перестававший тяжело дышать.

– Я представлю свой план, – продолжал Остерман, – и, согласно этому плану, увидим… Нужно отдать справедливость Петру Алексеевичу: он очень мало знает. Маврин точно ничего не делал.

Меншиков рукою махнул.

– Не нравится мне этот Маврин, ох, не нравится! – снова заговорил барон. – Эти постоянные сборища у Волконской…

– Да-а, – подтвердил светлейший, – я кое-что знаю про княгиню Аграфену – так, что ли, зовут её? (он нарочно сделал вид, что не помнит имени Волконской) – в письмах у Девьера есть и её цидульки… ничего – изрядные…

– Да тут не одна Волконская, – положим, она составляет центр, – а вот и Ганнибал, тут их несколько, – возразил Остерман. – Они затеяли с Мавриным очень опасную штуку, знаете, вот как ястребы круги делают, и всё уже, уже, а потом и ударят в точку. Так вот и они вокруг императора, да уже давно, всё свои круги суживают.

– Так что ж, взять их, как других взяли! – выговорил Меншиков сквозь свою одышку.

Остерман, подняв углы губ, смотрел на светлейшего несколько времени молча. Глаза его улыбались.

– «Взять», «взять»! – тихо повторил он наконец. – Всё у вашей светлости одна сила на уме. Во-первых, нужно придумывать причины для ареста, во-вторых, неудобно пред Рабутиным – он Волконской не выдаст.

– Я посмотрю, как кто-нибудь посмеет помешать моему приказанию, – вдруг возвысил голос Меншиков, – велю, да и всё тут.

– Нет, светлейший князь, нет, – покачал головою Остерман, – всё-таки нельзя везде всё одно только силой делать. Ну, и что же за охота женщину арестовывать?.. как-то неловко даже. Нужно иногда и страсти человеческие принять во внимание: это – очень хороший инструмент для игры… им хорошо пользоваться. У Волконской есть муж…

– Справлялся о нём, – снова махнул рукою Меншиков, – никуда не годный человек, сумасшедший какой-то.

– Ну, я думаю, не совсем! Я имею кое-какие сведения… Ну, так вот, нужно ему открыть глаза на шашни его жены с Рабутиным, а там и посмотрим, что за история выйдет. Волконский – я его знаю немножко – не выдержит, и у него произойдёт что-нибудь с Рабутиным. А тогда граф перестанет быть заступником княгини или же Волконский увезёт в

деревню Аграфену Петровну, а без неё вся компания рассыплется.

– Делайте как знаете, Андрей Иванович, – решительно проговорил Меншиков, – пока мне эта компания не опасна, а если только замечу что, так просто пошлю забрать их, да и дело с концом.

Через несколько дней после этого разговора князь Никита получил подмётное письмо.

«А не худо бы, сиятельный князь, – говорилось в письме, – присмотреть изволить за жёнкою своею, потому она не православным делом занимается, и цесарский посланник Рабутин, граф, сильную ситуацию при ней имеет. Некрасиво, князь! Слабость мужнина довела оную до греха…»

Князь Никита не дочитал письма и, скомкав его, бросил на пол.

Это было вечером. Аграфена Петровна уехала к Долгоруковой и не возвращалась ещё.

Если бы она была дома, если бы князь Никита мог сию минуту пойти посмотреть на неё или призвать к себе, – он, может быть, взглянув на её улыбающееся лицо, рассмеялся бы сам и ничего никому не сказав об этом глупом письме, успокоился бы. Но он был один. Миша уже лёг спать.

Никита Фёдорович ходил по своей комнате, стараясь не волноваться, но чувствовал, что волнуется с каждым шагом всё больше и больше.

В жене, разумеется, он был уверен. Конечно, всё указанное в письме было вздор и клевета. Но каким образом, как могла эта клевета коснуться его Аграфены Петровны? Кто осмелился кинуть грязью в неё, чистую и милую? Мало того, если могло получиться такое письмо, – значит, вокруг его жены, его княгини, ходила эта дерзкая возмутительная сплетня. Были же и причины для неё. Сама Аграфена Петровна не могла подать повод ни к чему предосудительному. Значит, во всём виноват Рабутин. Он своим поведением, этою своею приличною развязностью, а может быть, – полунамёками, улыбками и подмигиванием в холостом кружке, дал зародиться этой возмутительной сплетне. Конечно, иначе и быть не могло. Рабутин виновен. И страшная злоба против Рабутина подымалась в груди Никиты Фёдоровича.

Он всё продолжал ходить по комнате. Скомканное письмо лежало под столом молчаливым подстрекателем его злобы. Едва князь Никита успокаивался, как оно попадалось ему на глаза и снова переворачивало всю его душу.

А Аграфена Петровна, как нарочно, не ехала.

Наконец Волконский поднял этот комок и бросил его в печку.

«Нет, – пришло ему в голову, – люди могут достать как-нибудь и прочесть».

Он открыл заслонку, с трудом вытащил из глубины холодной печи письмо и сжёг его на свечке. Но и теперь ему не стало легче.

Мысль о том, что сплетня, разговоры и пересуды существуют про женщину, носящую его имя, не оставляли его.

Но что было делать с этим?

«Какой вздор обращать внимание на подмётное письмо!» – пробовал думать князь, но сейчас же к ужасу своему сознавал, что тут дело не в подмётных письмах, а в той причине, в тех очевидных толках, которые служили поводом к нему.

Главное, что ужасало Волконского, – это полная невозможность сделать что-нибудь, чтобы уничтожить эти толки. Казалось, говорили в с е, вероятно, все, но определённое лицо нельзя было найти. Оставался один Рабутин, против которого можно было направить свою злобу… Но что сделать с ним?

«Вызвать на дуэль? – с улыбкой, с насмешкой над самим собою, спрашивал себя Волконский. – Пойти и сказать ему, чтоб он не смел… но что не смел?.. Ах, как глупо, как скверно!» – повторял себе Никита Фёдорович, проклиная этого Рабутина.

Аграфена Петровна вернулась довольно поздно от Долгоруковой. Она прошла прямо к мужу и застала его стоящим посреди комнаты. Как только она вошла, он кинулся к ней и, взяв больно за руку, притянул к себе.

– Аграфенушка! – заговорил он изменившимся, страшным, сдавленным голосом. –

Скажи мне, как меня и сына любишь, что у тебя н и ч е г о не было с Рабутиным.

Аграфена Петровна, озабоченная ещё своим делом и разговорами с Долгоруковой, не сразу поняла, чего от неё хотят.

– То есть как н и ч е г о? – спросила она наконец.

Никита Фёдорович тут только заметил, что требовал от жены, чтобы она своею к нему любовью подтвердила эту же любовь.

– Ах, нет, не то! – воскликнул он, хватаясь за голову.

– Да что с тобою, что? – уже беспокойно обратилась к нему жена.

Волконский напряг все силы, чтобы овладеть своими словами и прийти в состояние – говорить, думая о том, что говорит.

– Постой, сядь вот тут, не тревожься! – начал он, успокаивая жену, как будто не он, а она главным образом тревожилась. – Погоди!.. Представь себе, если бы в с е, – он сделал кругообразное движение рукою, – начали говорить, что… что ты и з м е н и л а мне, – с трудом проговорил он наконец.

– Это была бы клевета, – спокойно ответила княгиня.

– Знаю, уверен в том… но с этой клеветою нужно считаться… нельзя оставить её…

– Конечно, – нехотя возразила Аграфена Петровна, – но только что тебе за охота создавать себе ещё тревогу?.. Мало ли что было бы, если бы было, да пока этого нет… Я веду себя…

Она не договорила, потому что вдруг подумала о Рабутине и вспомнила, что при всей чистоте своих отношений к нему она с удовольствием видела, как этот красивый, молодой австрийский граф ухаживал за нею на собраниях, и знакомая уже краска покрыла её щёки.

– Ну, а если есть, если я не выдумал это? – не переставая волноваться, снова сказал князь Никита.

– Полно, что там есть!.. дался тебе этот Рабутин! – начала было Аграфена Петровна.

При этом имени, назвать которое нарочно теперь избегал князь Никита, злоба его поднялась, и он, снова теряя способность владеть собою, заговорил, не помня себя:

– Так знай же, что в городе только и говорят про это, что я п о л у ч а ю подмётные письма, что ты сделалась сказкой.

Он с каким-то даже наслаждением говорил теперь, преувеличивая и чувствуя каждое своё слово, приносившее ему несказанное мучение и боль.

Аграфена Петровна сначала испуганно взглянула на мужа, потом как бы молния пробежала по её лицу, и она, гневно сдвинув брови, заговорила, точно не желая оставаться в долгу пред мужем в отношении неприятных известий. И у неё было чем испугать его.

– Ну, и что ж? Там какие-то сплетни, – заговорила она, – а у меня дело серьёзнее… Меншиков принимает крутые меры: вышел указ, по которому из-за ничего Девьера, Толстого, Бутурлина, Нарышкина и ещё многих ссылают… и со мной не поцеремонятся… и меня арестуют…

Это слово «арестуют» княгине тоже приятно было выговорить: оно звучало так торжественно-значительно и вместе с тем было страшно.

Никита Фёдорович взялся за голову.

Аграфена Петровна с улыбкой, без жалости посмотрела на него, потому что сознавала, что не ей теперь, а «её» следует жалеть.

– Но что же делать теперь? – протяжно, с отчаянием произнёс князь Никита.

– Что делать? – вставая и вскинув руками, сказала Аграфена Петровна. – Не уступать и бороться.

Вслед затем она медленно повернулась и ушла к себе. Князь Никита не скоро ещё отнял руки от головы и огляделся.

«Слишком далеко, слишком далеко зашло дело, – повторял он себе, – во всём виноват сам… Господи, зачем приехали сюда мы! Зачем этот Петербург!»

«Уехать из этого омута, уехать завтра же, навсегда! – пришло ему в голову, и он было обрадовался этой мысли, но затем подумал: – Да, уехать, но это будет позорным бегством,

которое ничему не поможет, – имя жены останется всё-таки с прилипшею к нему сплетней, и бежать от неприятных обстоятельств – вовсе не значит победить их. Боже мой, что же делать?»

Часы шли, Никита Фёдорович забыл, что наступила ночь, забыл про сон. Он сидел у своего стола, облокотившись на руку, и ничего, казалось, не видел своими открытыми, не смыкавшимися глазами. Наконец он поднял их. В комнате был особенный синеватый свет, которого он не ожидал. Его поразили квадраты окна, они, как будто ещё так недавно, с вечера тёмные, теперь были совсем светлыми. А произошло это оттого, что рассвело. Восковая свеча на столе горела красным, тусклым пламенем, потерявшим всю свою яркость и силу.

Князь Никита потушил свечку, и на минуту словно от этого стало легче. Он поднялся со стула и постарался вытянуться. Он чувствовал в ногах и руках какую-то болезненную, ноющую усталость, голова кружилась.

Князь Никита, не ощущая в себе желания сна, медленно прошёл на половину к жене по освещённым уже рассветом комнатам и, тихонько приотворив дверь, заглянул в её спальню. Комната была темна от спущенных гардин. Никита Фёдорович, присмотревшись, разглядел белый кружевной чепчик жены и, наконец, её лицо с закрытыми глазами и неподвижно разжавшимся ртом. Аграфена Петровна, тяжело дыша, спала… Нагоревшая, оплывшая свечка, видимо, была недавно потушена – Аграфена Петровна тоже провела почти сплошь бессонную ночь.

Князь Никита издали перекрестил её и на цыпочках, стараясь не задеть за мебель, вернулся к себе, потом взял шляпу, трость и вышел из дома.

Был шестой час утра, Петербург только что просыпался. Солнце уже взошло, блестя своими лучами, но не грело ими. Князь Никита пошёл без цели, без мысли, он рад был, что мысли оставили его.

По мере того как он шёл, улицы всё больше и больше оживлялись.

Князь Никита сосредоточивал все свои способности мышления на то, куда повернуть, когда приходилось дать дорогу встречным, или как обойти попадавшуюся под ноги лужу; больше ни о чём не мог думать, ни даже о том, куда и где идёт он.

Он очутился таким образом на Берёзовом. Здесь уже было очень многолюдно. Прохожие то и дело попадались навстречу, а недалеко впереди у рынка стояло много людей. И вдруг откуда-то сзади раздался дребезжащий, рассыпавшийся, слышный всё ближе и ближе барабанный бой. Князь Никита оглянулся. По улице приближались мерным шагом, с рядом барабанщиков впереди, солдаты, блестевшие на солнце своими пуговицами и вооружением. Из-за их киверов виднелось что-то высокое, тёмное, подвигавшееся сзади с мерным колыханием, точно гроб на погребальных дрогах.

Князь Никита посмотрел снова вперёд, – там, где стояли, скучившись, люди, теперь возвышался над ними на помосте у столба палач, в красной рубахе с засученными рукавами.

Барабанный бой становился слышнее и слышнее. С Волконским поравнялась шеренга барабанщиков, отбивавших молодцевато, со старанием, мелкую дробь. За ними (они шли очень скоро) промелькнули солдаты, за солдатами две тощие лошадки везли чёрную телегу с высокою скамейкой, на которой сидел со связанными назад руками, в каком-то тёмном длинном одеянии живой человек, бессильно покачиваясь всё на одну сторону при каждом толчке телеги.

Никита Фёдорович поднял на него взор.

Знакомое, но теперь бледное, жалкое, осунувшееся лицо Девьера глянуло на него с высоты позорной телеги. Зрачки несчастного подкатились под верхние веки, и рот точно улыбался тою кривою, якобы с п о к о й н о ю улыбкою, в которую предсмертная судорога сводит обыкновенно губы покойников. Но Девьер был жив. Грудь его тяжело и неровно дышала, брови изредка поднимались, и тогда на его лице являлось какое-то испуганно-детское выражение.

Князь Никита остановился. Он понял и сознал, что происходило пред его глазами; но

вместе с тем, несмотря на это сознание, в его голове мелькнул совершенно лишённый здравого смысла вопрос:

«Куда же это едет Девьер?»

Телега проехала, стуча колёсами. Барабаны трещали несколько дальше, и Волконского со всех сторон охватила спешившая за телегой толпа, бежавшая с лестницами, скамейками и табуретками, чтобы было на чём стать и лучше видеть предстоящую казнь. Эти раскрасневшиеся от скорого бега лица, жаждавшие готовившегося зрелища, эти дикие крики и брань, это исступление, которым была охвачена толпа, точно отняли у Волконского воздух, которым он дышал, в глазах помутилось, и он закачался. Сильный толчок в грудь заставил его опомниться. Какой-то рыжий детина в кожаном фартуке столкнулся с ним и, обругавшись, бежал уже дальше. Толпа замяла в своей середине Волконского и повлекла его к месту казни.

Там уже вводили Девьера на помост. Он, по-прежнему подёргивая бровями и тяжело дыша, не подавал никаких других признаков жизни, ступая в гремевших кандалах, точно не он, а кто-нибудь другой двигал ногами. Его подвели к столбу. Палач быстро и скоро развязал ему руки и, приподняв, продел их в железные, привязанные высоко к столбу, кольца. Палач сделал это с серьёзным, сосредоточенным лицом, видимо, стараясь только как можно лучше и добросовестнее исполнить свою обязанность. Потом он отошёл несколько в сторону и протянул вбок, не гладя, правую руку. Молодой парень, тоже в красной рубахе, очевидно помощник палача, поспешно вложил в эту руку тяжёлую ремённую плеть.

Князю Никите были хорошо видны затылок коротко остриженной головы Девьера и его белая, мускулистая, освещённая солнцем спина, когда именно и кем обнажённая – Волконский не заметил.

Барабаны перестали бить. Только что гудевшая на разные голоса толпа безмолвствовала, и в наступившей тишине поразительно ясно раздался свист поднявшейся плети.

– Раз! – рявкнула толпа в один голос.

Плеть свистнула снова, а на той белой спине, на которую глядел, как сумасшедший, Никита Фёдорович, вздувался уже, багровея от притекавшей крови, широкий рубец первого удара.

Князь Никита отвёл глаза, посмотрел вокруг себя и встретился с ухмылявшимся, противным лицом одного из своих дворовых. Больше он ничего уже не помнил.

VII
СМЕРТЬ

Никита Фёдорович очнулся у себя в комнате. Он открыл глаза и сейчас же узнал эту комнату, несмотря на то что в ней многое переменилось, – большинство книг куда-то вынесли, аппараты составили зачем-то в угол. Сам князь Никита лежал на постели, которой никогда не было здесь прежде. Кушетка – «её», Аграфенушки, кушетка – стояла, придвинутая к стене, в ногах его кровати. Но больше всего удивила Никиту Фёдоровича рука, лежавшая на его груди. Она была совсем прозрачная, словно восковая, и до того худа, будто кожа обтягивала одни сухие кости. Белая простыня была совершенно одного с нею цвета. Князь Никита догадался, что эта рука, которую он не узнал, – его рука, и с трудом шевельнул ею.

Окна были чем-то завешаны. Свет шёл сзади, по-видимому, из одного только окна, которое оставалось открытым. Всё было тихо. В комнате, казалось, никого не было.

Но только что князь шевельнул рукою – дверь скрипнула и приотворилась. Миша сначала просунул голову, а затем, тихонько войдя, вдруг быстрыми шагами подошёл к кровати.

– Лаврентий, батюшка пришёл в себя! – радостным шёпотом проговорил он.

Сзади от света подошёл Лаврентий.

– Князинька, родной, голубчик! – заговорил он, заглядывая в лицо Никите Фёдоровичу, и, увидев сознательную улыбку на этом лице, просиял весь и, опустившись, припал к бледной руке. – Насилу-то… ну, слава Богу!..

Миша стоял с навернувшимися на глазах слезами, радостный, видимо не зная, что ему сделать.

– Батюшка, батюшка! – шептал он только всё чаще и чаще и, наконец, разрыдался.

– Княгинюшке сообщите, ваше сиятельство, – сказал ему Лаврентий, – она измучилась ведь.

Миша, напрасно силясь сдерживать свои слёзы, торопливо пошёл из комнаты.

Через несколько минут пришла Аграфена Петровна. Она явилась бледная, исхудалая. Лаврентий был прав, что она измучилась. С нею вернулся Миша.

Аграфена Петровна приблизилась к мужу быстрыми, взволнованными шагами и, видимо, привычным уже движением приложила руку к его голове, потом низко нагнулась над его лицом, посмотрела ему в глаза и улыбнулась.

Князь Никита тоже улыбнулся ей.

Она была без своей обыкновенной высокой причёски, в белом ночном чепчике и капоре.

– Пошли за Блументростом, – обратилась она к Мише, – он велел дать знать, если будет перемена. Лаврентьюшка, а ты бы теперь отдохнуть пошёл – теперь уже можно. Я посижу.

Миша снова пошёл, но Лаврентий не двигался.

– Лаврентий, ты слышишь? – сказала Аграфена Петровна.

Старый слуга поднял голову. Князь Никита глазами показал ему, чтобы он слушался «её».

– Княгинюшка, я сам за лекарем сейчас побегу, – сказал Лаврентий.

– Ты поезжай лучше, я не велела раскладывать карету, – проговорила ему вслед Аграфена Петровна.

Князь Никита хотел приподняться, но из его усилий ничего не вышло.

– Шш!.. Не шевелись! – остановила его жена. – Погоди, приедет доктор.

– И да… да… и давно я так? – с трудом выговорил князь Никита.

– После, после всё расскажу, теперь не говори и не двигайся! – опять остановила она, поправляя одеяло.

Князь послушно и кротко взглянул на жену.

Блументрост не заставил долго ждать себя. Лаврентий нашёл его в академии и сразу привёз.

– Ну, вот мы и поправились, – заговорил он, входя и потирая руки, – ну, теперь всё пойдёт хорошо. Поздравляем, поздравляем! – Он не спеша поздоровался с княгиней, оглядел комнату и, видимо, оставшись доволен порядком, подошёл к больному, пощупал ему голову, сказал «хорошо!», подержал за руку повыше кисти и тоже сказал «хорошо». – Теперь нужно будет давать только подкрепительную микстуру, – обратился он к Аграфене Петровне, – я вам её пришлю. Если он захочет есть – дайте ему молока, суп тоже можно, а больше пока ничего.

Блументрост скоро уехал, сказав, что у него в академии много дела и что вечером он заедет на всякий случай. Уходя, он дружески потрепал Мишу по плечу, как старый знакомый.

Аграфена Петровна только по уходе доктора оживилась и пришла в себя. Она села к мужу на кровать и, гладя его руку, заговорила с ним:

– Господи, как ты напугал нас! Ведь вот уже двенадцать дней, как ты без памяти… как тебя принесли тогда…

Никита Фёдорович силился вспомнить, откуда это и как принесли. У него оставалось смутное впечатление чего-то страшного и ужасного.

– Нет, но кто меня удивляет, – нарочно переменила вдруг тему разговора Аграфена Петровна, – так это Миша. Представь себе: он не отходил… положительно… иногда ночью

придёт и сидит… сколько раз засыпал здесь. Мешает, а прогнать жаль… Ты попробуй уснуть теперь… Хочешь, я дам поесть, а потом усни…

И она послала Лаврентия за молоком и супом.

Княгиня ощущала теперь то особенное волнение, которое приходит всегда после долгого и напряжённого беспокойства, когда причина этого беспокойства исчезнет. Под влиянием этого волнения ей хотелось говорить, и она говорила, заставляя в то же время молчать Никиту Фёдоровича. Иногда она останавливалась, боясь утомить его; но он делал усилие, как будто желая спросить, и она снова начинала о чём-нибудь, но старалась говорить как можно медленнее и тише.

Князь Никита слушал голос жены, музыку его, как будто радуясь звуку её речи, и старался вникнуть в смысл её слов, но это стоило ему больших усилий. Он не мог как-то удержать в памяти то, что слышал, и уловить связь слов. Ему хотелось всё что-то вспомнить, совсем постороннее, и он не мог сделать этого. Несколько раз как будто мысли его уже начинали слагаться в последовательную цепь, но в тот самый момент, когда ему казалось, что вот он вспомнил уже, кто-то, словно пену, сдувал его мысли – и всё оставалось по-прежнему гладко и неопределённо, и снова начиналась, завязывалась цепь, и снова обрывалась.

– А что сталось с ним? – вдруг вслух спросил он.

Аграфена Петровна, рассказывавшая в это время о распустившихся цветах в саду, вдруг смутилась. Она поняла, что князь Никита спрашивает о Девьере, и не знала, ответить ли ей на вопрос или отвлечь внимание мужа.

Он смотрел на неё с серьёзным лицом и совсем осмысленными глазами.

Аграфена Петровна решила, что сказать будет лучше.

– Ты про кого? Про Девьера? – спросила она. – Он, получив двадцать пять ударов, вынес их, г о в о р я т, л е г к о и отправлен уже в ссылку в Сибирь, – добавила она, стараясь говорить как можно ровнее и спокойнее.

И вдруг вся виденная картина у рынка на площади стала во всех своих подробностях пред глазами князя Никиты. Толпа загудела кругом, в виски застучало, затрещали барабаны – и всё смешалось. В воздухе явилось множество рук, видных до локтя, и все они как-то одна из под другой замахали в глаза Никите Фёдоровичу и сделались сквозные, красные, точно насквозь пропитанные горячим, жгучим светом. Он заметался по постели и снова впал в беспамятство.

Аграфена Петровна с ужасом глянула на него и в отчаянии протянула руки. Князь Никита бился уже, бредил и не узнавал жены.

Вечером Блументрост застал его в худшем, чем в первые дни, положении. Такого скорого повторения припадка горячки, как он определил болезнь Волконского, он не ожидал и объявил, не скрывая, что больной уже в безнадёжном состоянии.

Князь Никита перестал быть человеком. Он потерял всякое ощущение, всякую возможность сознания. Он чувствовал вокруг себя свинцовый, тяжёлый туман, голова его будто раздавалась во все стороны и достигала ужасающих размеров… Необыкновенные, частые, шипящие и трещащие звуки неслись откуда-то и сталкивались и сплетались, но всё так же мерно отбивали однообразный такт с одинаковыми промежутками.

«Ха-а-а… а-а…» – шипело у него в горле, и он не знал, что разговаривает в это время.

Так он без умолку, не переставая, говорил ровно сутки, но сам он уже давно потерял счёт времени и даже забыл о его существовании.

Наконец, вдруг мало-помалу (для Никиты Фёдоровича т е п е р ь это было всё равно) опустились в его душу мир и покой. Слышалось тихое церковное пение, дым кадильницы стлался в воздухе, и парчовая риза священника ломалась красивыми складками. Кто-то сдержанно плакал возле.

«О чём же тут плакать, когда мне т а к хорошо? – подумал Никита Фёдорович. – Но что же это всё такое?.. Я умер, должно быть, – решил он, – и это по мне служат… Так вот оно что, вот что значит смерть… вот она… И всё видишь и чувствуешь… как хорошо!..»

Но кровать и комната остались прежними и как-то слишком уже н и ч е г о не изменилось.

«Соборуют меня – вот что», – опять догадался Никита Фёдорович и стал вслушиваться в молитвы, и сейчас же заметил, что служат молебен.

Аграфена Петровна, когда Блументрост сказал, что надежды нет и его наука бессильна, подняла образ из Троицкой церкви и решилась отслужить молебен у постели больного мужа.

И князь Никита вернулся к жизни.

Когда священник, окончив молебен, тихо и торжественно подошёл к постели Волконского, бережно держа обеими руками крест, и, увидев открытые глаза больного, приложил этот крест к его губам, Аграфена Петровна, как бы боясь, что это потревожит умирающего, сделала движение вперёд; но князь Никита совершенно твёрдою рукою перекрестился и спокойно поцеловал крест.

С этой минуты началось его выздоровление.

Он с каждым днём стал чувствовать себя крепче. Не прошло недели, а Никита Фёдорович уже аккуратно принимал подкрепляющую микстуру Блументроста, ел суп, пил молоко и спал спокойным, восстанавливающим силы сном. Голова его совершенно прояснилась, он мог всё сообразить и связно думать.

Все кругом говорили, что над ним свершилось чудо.

Князь Никита лучше других понимал, что чудесный возврат его к жизни был особенным проявлением Божественного Промысла, и больше других удивлялся Его проявлению. Никита Фёдорович не только не боялся смерти, не видел в ней ничего, р е ш и т е л ь н о ничего страшного, но, напротив, ждал её как освобождения, которое должно наступить рано или поздно. Дух его, в бессмертии которого он был твёрдо уверен, рвался наружу, рвался из оков земного тела на свободу, к новой жизни. Что было хорошо здесь, на земле? Любовь его? Но он знал, что она не умрёт. И вот это освобождение, эта воля так были близки от него; казалось, он мог уже получить их, – и вдруг его вернули к прежней земной жизни, где снова являлись Рабутин, зависть, сплетни и неминуемые, всасывающие в своё течение человеческую волю, обстоятельства.

Конечно, умереть было лучше. Да и что значит у м е р е т ь? Ведь страшно только одно слово, но сама смерть страшна лишь своею таинственностью. Почём знать, может быть, на самом деле рождение гораздо страшнее смерти, а между тем как мы радуемся ему!

«А жена, а сын? – подумал вдруг князь Никита. – Разве я не нужен им?»

И себялюбивое желание смерти показалось ему недобрым и нехорошим. Какое он имел право желать себе одному освобождения, когда его семья оставалась тут?

Кроме того, не бояться смерти не значило ещё заслужить её, заслужить в том виде, в каком желал князь Никита.

Таким образом, он должен был ещё жить и для себя и для своих близких. Должен был вернуться в эту земную жизнь, – пусть вместе с нею возвращалось то безвыходное положение, в которое он был поставлен в день, когда заболел. Болезнь и то время, которое прошло с её начала, разумеется, нисколько не изменили к лучшему, а, напротив, вероятно, ухудшили это положение.

Клевета по-прежнему ходила про княгиню Волконскую, и не было, казалось, способа уничтожить её.

Напрасно выздоравливающий князь Никита переворачивал в мыслях и передумывал на все лады всё тот же вопрос: как быть? Он не находил выхода.

Ни Аграфена Петровна, ни кто-нибудь из окружающих не заговаривал с Волконским ни о чём, что могло бы взволновать его. Сам он, несмотря на то, что постоянно только и думал об одном и том же, тоже не начинал речи с Аграфеной Петровной, может быть, даже потому, что она каждый раз, когда дело касалось хотя бы отдалённого намёка, очень искусно отводила разговор в совершенно другую сторону.

Таким образом, точно сама собою установилась для Никиты Фёдоровича привычка говорить о самых ничтожных пустяках и безмолвно думать свою тревожную думу.

А ведь на самом деле положение было безвыходно. Если даже настоять на том, чтобы Аграфена Петровна не принимала у себя Рабутина, и это не могло помочь, скажут: поссорились, разошлись, что ж такое, это ещё ничего не значит.

Никита Фёдорович оправился уже настолько, что встал с постели. Аграфена Петровна и Миша, довольные и счастливые этим событием, пришли поздравить его, и он при них, улыбаясь и конфузясь, робко сделал первые свои шаги по комнате, нетвёрдо держась на ослабевших ногах.

Блументрост тоже заехал поздравить его и сказал, что теперь будет навещать его только раз в неделю, потому что всё идёт «хорошо».

В следующий свой приезд доктор застал Волконского уже сидящим у открытого окна. Погода была действительно жаркая, но Блументрост счёл своим долгом упрекнуть Никиту Фёдоровича.

– Ну как же так можно!.. Того гляди, сквозняк прохватит; тогда что будет? – начал он, здороваясь.

– Да уж пора, – ответил Волконский совсем твёрдым голосом.

Блументрост оглядел его.

– Что ж, вы уже совсем поправились? – сказал он, и уже не тем тоном, каким обыкновенно говорят доктора с больными, точно будто с детьми, ласково-снисходительно, но совсем просто, как с р а в н ы м, то есть оправившимся и вышедшим из его повиновения человеком.

– Присядьте, доктор, – пригласил его Никита Фёдорович.

Блументрост был не в кафтане, но в обыкновенном сером оберроке с медными пуговицами, в синих с красными стрелками чулках и башмаках с серебряными пряжками. Видимо, он был свободен и не ехал ни в академию и никуда особенно.

– Хотите кофе? – спросил Волконский, зная пристрастие доктора к этому напитку, который, однако, далеко ещё не всеми был оценён по достоинству.

Но Блументрост отказался даже от кофе.

– Нет, нет, мне сейчас нужно ехать… у меня дело, – сказал он.

– Какое же может быть дело! Полноте, садитесь! – настаивал Никита Фёдорович.

– Вы смотрите на мой оберрок – это ничего не значит. У меня дело такое, что туда можно ехать и так.

– А что, навестить кого-нибудь?

– Нет, на вскрытие трупа Рабутина, – проговорил Блументрост.

– Как Рабутина?! – крикнул Никита Фёдорович, и то удивлённое, испуганное восклицание поразило Блументроста.

Скоропостижная смерть молодого австрийского графа уже два дня была таким из ряда вон выходящим событием в Петербурге, что её знал всякий, и Блументрост никак не мог думать, что от совсем выздоровевшего Никиты Фёдоровича скрыли это по совершенно особым причинам, из боязни взволновать его именем Рабутина.

Волконский схватился ладонями за ручки кресла, кинулся корпусом вперёд и, вскочив со своего места, испуганными глазами взглянул на Блументроста.

– Что вы сказали, доктор? – произнёс он.

– А вы не знали? – смущаясь, проговорил Блументрост. – Ну, не раскрывайтесь, сядьте! – и он, запахивая халат Никиты Фёдоровича и его рубашку с широкой оборкой, почти насильно посадил его в кресло. – Я не знал, что вам не сообщили ещё. Ну, мне пора!

– Нет, доктор, постойте… погодите! Я не пущу вас, мне нужно знать всё, – произнёс Никита Фёдорович, обдёргиваясь и торопясь.

Блументрост, не подозревая, почему скрыли от Волконского смерть Рабутина, не мог сейчас ни у кого найти себе помощи, потому что Аграфены Петровны не было дома.

Старик Лаврентий стоял тут, видел, что известие доктора произвело на его «князиньку» сильное впечатление, что он вдруг заволновался весь, но тоже ничего не знал и не мог помочь.

– Зачем же вы его будете вскрывать? – спросил Волконский и нетерпеливо забарабанил по подоконнику пальцами, впившись глазами в Блументроста.

Доктор подумал с минуту.

– Скоропостижная смерть, – проговорил он наконец, видя, что отступление невозможно. – А человек важный, нужно дать знать австрийскому двору подробные причины…

– И когда же это случилось? – снова спросил Волконский.

– Третьего дня вечером… Он был у Марфы Петровны Долгоруковой… разрыв сердца, должно быть.

– У Марфы Петровны? – медленно роняя каждый слог, проговорил Волконский.

– Да, теперь это – уже не тайна. У Долгоруковой были гости… потом уехали… Никто не видел, как прошёл Рабутин… и вдруг… Теперь только и говорят, что о ней и о графе.

Князь Никита облокотился на спинку кресла и закрыл глаза. Безвыходное положение кончилось. Неразрешимый вопрос получил решение сам собою.

– Всё к лучшему! – тихо, про себя, сказал Никита Фёдорович и, открыв глаза, удивлённо посмотрел на Блументроста, точно не ожидал видеть его пред собою.

– Выпейте воды, – сказал между тем доктор, подавая стакан.

Волконский отстранил воду и твёрдым голосом сказал:

– Не надо!

Аграфена Петровна давно уже приехала домой, но не велела говорить о себе мужу. Она, вся взволнованная, ходила по своему кабинету, стараясь прийти в себя, чтобы потом подняться к князю Никите совсем спокойною и не подать ему вида своей тревоги. Она только что узнала, что в доме Рабутина, сейчас после его смерти, был произведён обыск и захвачена переписка графа, между которою было много и её писем, очень серьёзных. Вместе с этою перепиской и она сама, Аграфена Петровна, попадала в руки Меншикова.

Наконец она подошла к зеркалу, огляделась, оправилась ещё раз и решилась идти наверх. На лестнице она встретилась с Блументростом.

– Ничего, ничего, – поспешно ответил доктор и, точно виноватый, проскользнул вниз, сказав, что торопится.

– Аграфенушка, – встретил князь Никита жену, – а ты мне не сказала, что Рабутин…

Аграфена Петровна не дала ему договорить. Она не ожидала этого, и всё её старательно подготовленное мнимое спокойствие исчезло в один миг.

– Не надо, не надо об этом! – заговорила она.

– Да отчего же не надо? – спросил Волконский.

Княгиня знала мужа. Она видела, что он заметил выступившее у неё волнение и что нужно сейчас объяснить причину его, иначе он может снова забеспокоиться, не волнуется ли она п о т е р е ю Рабутина, как человека, который хоть сколько-нибудь был дорог ей, а настоящую причину своего волнения она боялась сказать, потому что это могло ещё хуже испугать больного.

– Потому что смерть Рабутина выводит нас из затруднений и как-то неловко говорить об этом, – догадалась она солгать, и князь Никита успокоился.

VIII
ВСЁ К ЛУЧШЕМУ

Через несколько дней Никита Фёдорович, в первый раз после болезни одетый «по-здоровому», то есть в кафтан, чулки и башмаки, и потому особенно тщательно выбритый и причёсанный, шёл на половину жены, совсем «чистенький и гладенький», как говорила Аграфена Петровна.

– Ну, вот и я к тебе в гости, – сказал он, здороваясь с женою и оглядывая её кабинет, в котором давно уже не был и который казался ему теперь лучше, чем он думал. – Ну-с, с сегодняшнего дня, – продолжал он, – я опять начну всё по-прежнему. Пора! Опять возьмусь

за Мишу. Он, верно, ничего не делал в это время?

– Где ж делать! – улыбнулась Аграфена Петровна. – Он почти всё время был возле тебя… Я тебе рассказывала…

– Славный, славный мальчик! – подтвердил князь Никита.

– Тише! – проговорила Аграфена Петровна, понижая голос и глазами показывая на дверь своей спальни.

– А он там? – так же тихо спросил князь Никита.

– Кажется…

– Миша, ты здесь? – крикнул Никита Фёдорович и наклонил голову набок.

Миша не сейчас ответил. Он слышал похвалу отца и, смутившись ею, конфузился теперь откликнуться.

– Миша! – снова повторил Волконский.

– Здесь, батюшка! – ответил наконец мальчик, но не пошёл, к отцу, чувствуя, что краснеет ещё от услышанных слов его.

– Что ты там делаешь? – спросил князь Никита.

– Смотрю в окно. Мы с Лаврентием сегодня пойдём на Неву рыбу ловить. Он ушёл за крючками, так я жду его.

– А-а! – произнёс Никита Фёдорович и, оставив сына на его выжидательном посту, заговорил с Аграфеной Петровной.

Он чувствовал сегодня себя совсем бодрым, здоровым и весёлым.

– Какой я сон отвратительный видела сегодня, – рассказывала она, – ужас!.. Опять, как пред твоей болезнью, всё низала жемчуг и считала деньги.

– Ох, эти деньги! – воскликнул князь Никита. – Знаешь, вот нынче, говорят, дьяволы из-под земли не выходят. Да зачем и выходить им, право! Выпустят руду золотую, а мы сами докопаемся до неё, да и понаделаем ровных кружочков, и сколько из-за них зла пойдёт!.. И дьяволам спокойнее, и нам не страшно. Напротив…

– Батюшка, – раздался в это время голос Миши из спальни, – посмотрите, к нам солдаты на двор идут.

Аграфена Петровна, переменившись в лице, быстро взглянула в окно и вопросительно-растерянно обернулась к мужу В ворота их дома на самом деле входили ровным, торопливым шагом три ряда солдат с офицером.

Князь Никита и его жена сразу догадались, что это значит.

Аграфена Петровна вскочила со своего места и могла только произнести:

– Господи, что же это?

На ней лица не было.

– Пустяки! – вдруг пришло в голову князю Никите, и он поспешил успокоить жену. – Просто, верно, новые полки пришли и размещаются по квартирам: они к нам на постой идут – вот и всё.

– Нет, батюшка, это – Преображенские, – снова из спальни сказал Миша, видимо, гордясь знанием военного мундира.

– Милый, что же это? – с отчаянием повторила Аграфена Петровна, схватившись за руку мужа.

– Миша, ступай к себе, – вдруг вставая и выпрямляясь, сказал Волконский и обратился к жене: – Ты не была предупреждена, тебе никто не сообщил причины? У тебя есть что спрятать? – быстро, понижая до шёпота голос, проговорил он.

– Да! – как-то неопределённо произнесла она.

– Хорошо. Прячь всё, что успеешь. Я его, – князь кивнул в сторону окна, – задержу, насколько возможно. А там – не бойся: я всё приму на себя. Скажу, что ты была лишь подставным лицом, а во всём был виноват я.

В это время, в гостиной, уже слышались бесцеремонные, тяжёлые шаги офицера, стучавшего своими ботфортами.

Князь Никита твёрдыми шагами направился к двери в гостиную.

Аграфена Петровна с удивлением посмотрела ему вслед. В его тоне, походке, в каждом движении явилось вдруг столько уверенности, столько хладнокровия, что она, ожидавшая испуга, может быть, даже трепета с его стороны, – почувствовала теперь, как инстинктивно передалось ей, заглушая её испуг, это его хладнокровие, и с радостью ощущала всю силу своей любви к мужу, потому что пока там впереди что ещё будет, но теперь ей не было страшно под защитой э т о г о человека, и она кинулась к своим бумагам.

Никита Фёдорович, выйдя в гостиную, захлопнул за собою дверь и стал пред нею. Он спокойно глядел на подходившего к нему офицера, невольно припоминая, где он видел это откуда-то знакомое ему лицо – загорелое, грубое, с большими жёсткими усами и нависшими на глаза бровями.

– По приказу я обязан, произведя обыск, поставить караул у входов сего дома, – заговорил офицер тем самым басом, которым отдавал команды солдатам. – Прошу повиноваться.

И голос его, и плечистая, сильная фигура, и весь его грозный вид производили впечатление, внушающее невольный страх. Он, видимо, привык произносить сказанные им слова и привык также, что люди, к которым он являлся со своим поручением, немедленно робели и терялись пред ним, услышав его голос.

– Скажите, пожалуйста, – начал тихим, ровным и медленным голосом Волконский, – где я вас видел?

Офицер не ожидал такого вопроса.

– Извольте повиноваться! – ещё громче произнёс он. – Позвольте пройти!

– Удивительно знакомое лицо, – повторил так же тихо Никита Фёдорович. – Так вы говорите – обыск? – вдруг будто вспомнил он. – Что ж, обыскивайте! Вот гостиная, начинайте хоть с неё.

– А вы будете хозяином этого дома? – спросил офицер, не веря, чтобы человек, которого близко касается его появление, мог говорить с ним так.

– Да, хозяин, – ответил князь Никита.

– Ну, так на такой случай извольте повиноваться! Я сам знаю, с чего начать. Где комната княгини Волконской?

– Княгиня одевается ещё, – произнёс князь Никита, по-прежнему заслоняя собою дверь.

Офицер остановился. Он чувствовал, что этот говоривший с ним человек, не оробев перед ним, не поддался ему, и он не владеет им.

– Всё равно… я обязан войти… по приказу! – сказал он уже не так громко, как вначале, и пожав плечами, как бы ссылаясь на то, что должен исполнять службу.

«Вы войдёте сейчас», – хотел сказать Никита Фёдорович и вдруг узнал офицера: это был тот самый, который вёл солдат, когда везли Девьера.

Офицер видел, как побледнел Волконский и шатнулся в сторону, едва ухватившись за косяк; воспользовавшись этим, офицер взялся за ручку двери и вошёл в следующую комнату.

Никита Фёдорович знал, что ещё секунда – и у него в голове явится полное, ясное, со всеми подробностями сопоставление несчастной участи Девьера с тем, что происходит теперь, и тогда всё пропало, он окончательно потеряется. Поэтому он сделал над собою нечеловеческое усилие, чтобы уничтожить в себе всякое воспоминание и всю способность мысли направить к настоящему, т а к, как оно есть, безотносительно к тому, что было и что будет.

Но и в настоящем могло уже быть всё потеряно. Аграфена Петровна едва ли могла спрятать всё, что было нужно, и притом, спрятать так, чтобы нельзя было найти.

Никита Фёдорович заглянул в кабинет жены. Офицер стоял там, как бы соображая, откуда начать обыск. Наконец он подошёл к окну, отворил его и позвал двух солдат.

Аграфены Петровны не было в комнатах. Через несколько минут она пришла из входных дверей гостиной.

– Успела? – тихо, сквозь зубы спросил, на всякий случай по-немецки, не глядя на неё, князь Никита.

– Не всё! – так же ответила она. – Письма брата Алексея и венские отнесла к тебе и спрятала в стол.

Офицер с помощью позванных солдат начал хозяйничать в кабинете Аграфены Петровны. Сам он принялся за бюро, а солдатам – одному велел сдирать ковёр с пола, другому – разрисованное полотно со стен.

Аграфена Петровна, нервно сжав за спиною руки, ходила взад и вперёд по гостиной. Волконский стоял в дверях и следил за работой обыскивающих.

Они, видимо, искали чуть ли не целого чулана или потайной двери, или, по крайней мере люка, как будто спрятанные письма не могли поместиться в хитро устроенных, скрытых отделениях, так называемых «boites aux poisons» [11] небольшого шкафика итальянской работы, который стоял в углу комнаты.

Офицер почти не обратил внимания на этот шкафчик, небрежно высыпав на пол какие-то безделушки из его ящиков.

Никита Фёдорович видел, как он откладывал в сторону всякую попадавшуюся ему под руку бумажку. Тут попались и первые опыты Миши в письме, и счёт на количество волосяных изделий, исполненных Вартотом, и пригласительные билеты на маскарады. Следя за всем этим, князь Никита вдруг с улыбкою вспомнил, что никогда не писал жене писем, так как ни разу не расставался с нею со времени их свадьбы.

Осмотр кабинета прошёл благополучно.

– Теперь извольте провести меня в вашу комнату, – обратился офицер к Волконскому.

Сердце князя Никиты сжалось.

Аграфена Петровна остановилась среди гостиной, подняв голову и держа по-прежнему за спиною руки.

Мимо неё прошли офицер, прятавший захваченные им бумаги в сумку, и Никита Фёдорович, который вёл его к себе.

«Всё конечно!» – мелькнуло у княгини.

Офицер торопливыми шагами поднялся в комнату князя Никиты, прямо подошёл к его бюро и принялся копаться в его бумагах. Он выбрал все письма. Тут были письма Черемзина, Петра Михайловича Бестужева, ничего, впрочем, в себе не заключавшие.

Наконец офицер подошёл к столу и взялся за его ящик.

«И не могла она засунуть хоть за книги… нужно же было класть в стол!» – подумал князь Никита и закрыл глаза, чтобы не видеть того, что случится сейчас, однако не утерпел и снова открыл их.

Офицер так же спокойно и равнодушно, как брал счета и Мишины опыты пера, взял все находившиеся в столе бумаги и спрятал их свою сумку.

«Если бы он знал, что попалось ему, то не был бы так равнодушен», – опять подумал князь Никита.

Перерыв всю комнату Волконского и довольно небрежно осмотрев остальные, офицер ушёл, оставив караул у выходных дверей.

Князь Никита по уходе офицера миновал ободранный кабинет жены и вошёл к ней в спальню.

Аграфена Петровна была тут. Она сидела, опустив голову, и, казалось, ни о чём не думала.

– Письма взяты? – отрывисто спросила она.

Никита Фёдорович махнул рукою.

Они оба находились ещё под влиянием поразившего их неожиданного переполоха, и беспокойство и тревога были ещё на той высшей точке, когда они до того сильны, что человек не ощущает их. Так, говорят, у физической боли бывают минуты, что она становится неощутимою.

---

[11] Ящик для ядов. (фр.)

– Хорошо, что у тебя ничего не нашли, а всё у меня! – сказал Никита Фёдорович. – Это многому может помочь.

Аграфена Петровна не ответила.

– Я принесу тебе успокоительных капель, – проговорил князь опять и подошёл к двери.

В кабинете Аграфены Петровны стоял Лаврентий.

– Тебе чего? – спросил его Волконский, видя, что старик смутился при его появлении.

– Да, вот, князинька, я видел, как княгиня Аграфена Петровна, положила вам в стол бумаги свои, – да и догадался, что там их найти могут. Ну, я и поспешил вынуть их и к себе спрятал. А у меня не нашли бы их! – И он вынул из заднего кармана пачку писем, во всей их неприкосновенности.

Никита Фёдорович вспомнил, что в столе его лежали разные рецепты, и что офицер унёс из этого стола эти рецепты, а не письма. И вдруг ему стало так смешно, что он не мог удержать свой нервный, бессознательный хохот; трясясь от него всем телом, он вбежал снова к жене и, кинув на столик пред нею письма и едва проговорив: «Все целы!» – продолжал смеяться неудержимо, заразительно.

Аграфена Петровна несколько раз перевела глаза то на него, то на лежавшие на столе письма и вдруг, точно заразившись смехом мужа, начала тоже смеяться истерично, болезненно.

Но вскоре этот смех перешёл в сухие, тяжёлые, икающие рыдания.

Князь Никита уложил жену в постель, дал капель, воды, забывая всякое остальное беспокойство и думая об одной лишь Аграфене Петровне.

Она оправилась и успокоилась только к вечеру.

Никита Фёдорович сидел возле неё до тех пор, пока она заснула, вернее – забылась, и лишь тогда, по неотвязчивому настоянию Розы, пришедший сменить его, ушёл к себе.

Лаврентий ждал его здесь с какими-то кушаньями, и Волконский только теперь вспомнил, что ничего ещё не ел с утра; но ему не хотелось есть, он отослал Лаврентия и остался один.

Князь Никита снова провёл бессонную ночь, в течение которой он или сидел у своего стола, опустив по привычке голову на руки, или ходил потихоньку в спальню жены, шагая через ободранные и валявшиеся на полу в кабинете ковёр и раскрашенное полотно. Аграфена Петровна несколько раз открывала глаза, и муж давал ей капли. Среди ночи он застал у двери матери Мишу, босиком, в одной рубашке, и прогнал его спать. Он становился также пред образом и читал молитвы за свою Аграфену Петровну.

«Господи, что они сделали с Девьером, и что они сделают с нею?! Господи, лишь бы её не тронули!» – мысленно обращался он к Богу и снова молился.

Наконец он к утру обессилел и прилёг на кушетку.

Едва князь закрыл глаза, как в его ушах раздались было снова барабанный бой и гудение толпы, но тяжёлый, хотя спасительный сон, как свинцом, задавил его.

Долго ли пролежал так князь Никита – он не мог дать себе отчёта. Он проснулся как будто от напёкшего его голову солнца, так она была горяча у него; но солнце на самом деле не пекло. Окна были завешаны, совсем как во время его болезни. Вероятно, Лаврентий сделал это. Князь Никита встал, вспоминая, что было вчера. Голову его начинали уже жать мягкие тиски, и он ощущал в ней ту самую боль, которая повторялась у него обыкновенно прежде только весною.

«А, может быть, в с ё э т о был только сон и ничего этого не происходило?» – подумал Никита Фёдорович и пошёл вниз.

Но страшный хаос, царивший в кабинете Аграфены Петровны, свидетельствовал о том, что всё, что вспомнил Никита Фёдорович, произошло наяву и не было сновидением.

Аграфена Петровна лежала в постели с закинутыми за голову руками и большими, совсем сухими глазами смотрела пред собою. Роза, свернувшись в кресле, спала, свесив голову.

– Я уже давно очнулась, – проговорила Аграфена Петровна навстречу мужу, – да жаль

было будить её, – и она показала на Розу. – Который теперь час?

Князь Никита пошёл узнать. Был уже второй час дня, Волконский разбудил Розу и остался с женою.

Караульные никого не выпускали из дома. Готовить пришлось из тех запасов, которые имелись в кладовых.

Аграфена Петровна велела принести кофе и заставила мужа тоже выпить с нею.

Роза, заявившая, что уже отдохнула и не хочет спать, сама принесла на подносе кофе и две чашки.

– Там Лаврентий просит господина князя, – сказала она князю Никите по-немецки.

Волконский вышел к Лаврентию.

– Нет, ты представь себе, зачем вызывал меня Лаврентий? – стал он рассказывать, вернувшись очень скоро к жене. – Эти люди просто удивительны! – И в первый раз со вчерашнего дня улыбнулся большою, светлою улыбкою. – Знаешь, форейтор твой, мальчишка, которого Акулькой прозвали, – пришёл и молит дать ему какое-нибудь поручение, клянясь, что всё исполнит и «жисти», как говорит, для господ не пожалеет, лишь бы приказали. «Для них, – говорит, – т е п е р ь время трудное!»

И князь Никита, видимо, тронутый участием Акульки, чаще заморгал глазами.

Аграфене Петровне стало немножко совестно пред Акулькой. Она никогда не любила его и часто выговаривала ему прежде, и вдруг теперь он оказался один из первых, выказавших усердие, когда понял, что господам пришлось круто.

– Нет, эти люди!.. – повторил Волконский. – Уж я не говорю про Лаврентия с его письмами, но мальчишка, форейтор… И представь себе, говорят, сегодня у нас в доме все старики всю ночь молились.

– Миша мне говорил, что Лаврентий дал обет идти пешком в Киев, если всё пройдёт благополучно, – сказала Аграфена Петровна и улыбнулась.

– Знаешь что? – вдруг блеснув глазами и вбирая всей грудью воздух, воскликнул Никита Фёдорович. – И я с ним пойду, вот что! – решил он, как будто всё уже прошло и было по-прежнему радостно, и оставалось лишь собраться и пойти в Киев. – Да, Бог даст, всё обойдётся, – успокоительно произнёс он, – ведь никаких писем…

Но Аграфена Петровна перебила его. Она слабым голосом рассказала, что боится, как бы у Рабутина не нашлось каких-нибудь её писем.

– Пожалуй, и впрямь, – – заключила она, – нам не обойтись без любезности господина Акульки.

– Что ж, я его призову к себе, – и князь велел позвать к себе в комнату форейтора.

Акулька явился с красным от волнения лицом, приглаженный и приодетый. Он выслушал всё, что говорил ему барин, приговаривая: «Слушаю, слушаю!»

Впрочем, поручение не было сложно. Нужно было выбраться из дома и сбегать к Пашкову, Черкасову или Маврину и сказать им, что у Волконских в с ё б л а г о п о л у ч н о, но чтобы они прислали им известие в калаче. Акулька, как форейтор, знал отлично и имена всех господ, и где кто живёт.

– Если выберешься, назад и не пытайся возвращаться, – сказал ему князь Никита. – Этого не нужно.

Акулька ещё раз проговорил: «Слушаю!» – и, отвесив низкий поклон, вскинул волосами, а затем молодцевато, желая всем существом своим показать, что на него можно положиться, ушёл исполнять поручение.

Князь Никита думал, что он проберётся как-нибудь задворками, но вскоре оказалось другое.

На дворе раздался беспокойный, громкий крик: «Держи! Держи!» Волконский подошёл к окну.

Акулька выпрыгнул из окна нижнего этажа, бежал, семеня ногами и как-то особенно вывёртывая босые пятки. Солдаты кинулись было за ним, но Акулька с такой стремительностью исчез за воротами, что, видимо, догнать его не было возможности.

Караульные не придали серьёзного значения бегству Акульки, вызвавшему в них только смех.

Но Акулька сделал своё дело.

В тот же день вечером Волконским был прислан калач с хитро засунутой внутрь запиской. Записка была от Пашкова и сообщала, что Маврин, Ганнибал, Черкасов и прочие друзья высланы из Петербурга в разные города, насчёт же самой княгини он ничего не мог узнать, хотя писал, что в бумагах Рабутина улик против неё найдено мало.

На другой день Яковлев, секретарь Меншикова, привёз Волконским приказание немедленно выехать из столицы и отправиться в подмосковную деревню, где и жить безвыездно.

Тревога окончилась благополучно.

С особенным радостным чувством уезжал из Петербурга князь Никита, увозя с собою свою Аграфену Петровну и Мишу в деревню, где ждала их новая тихая жизнь, как мечталось Никите Фёдоровичу, полная любви и счастья.

– Всё к лучшему, всё к лучшему! – повторял он, крестясь в последний раз на видную издалека высокую колокольню крепости.

Аграфена Петровна молчала, задумчиво глядя в окно кареты.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I
СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Постоянно весёлый, не озабоченный своим положением и вовсе не старавшийся разрешать какие-нибудь вопросы своей жизни, а потому всегда довольный ею, Черемзин представлял собою один из тех счастливых характеров, которые живут, как птицы небесные.

Теперь ему уже минуло давно за тридцать. Он попробовал было оглянуться, посмотреть на жизнь серьёзнее, но сейчас же решил, что это – пустяки, которыми не стоит заниматься, а главное – мучить себя ими, и что всё обойдётся и будет так, как оно должно быть.

И в самом деле всё обошлось как нельзя лучше. Пришло известие, что богатый бездетный старик дядя Черемзина скончался, и наследство его целиком должно перейти к племяннику.

Черемзин, шутя, получил в Митаве это известие, шутя, собрался в деревню и сам трунил над собою, как это он вдруг будет хозяйничать и попадёт из «салона» на пашню.

Трудно было решить, случилось ли для Черемзина всё в жизни так, как он хотел, или наоборот, он всегда желал именно того, как слагались для него обстоятельства, но только ему казалось, что лучшего, как вот бросить Митаву и службу, теперь уехать в деревню – ничего и быть не могло.

И он, весёлый и довольный, уехал в деревню, где сейчас же с его приездом приказчик, бывший до сих пор слепым орудием прежнего барина и не смевший пикнуть при нём, сделался почти полным хозяином. Целая ватага челяди пришла к Черемзину и, слёзно поминая доброту покойного его дядюшки, говорила, что жила у него на таком-то положении, – и Черемзин «положил» ей беспрекословно всё довольство, которое она требовала себе. Приказчик казался ему очень порядочным и честным человеком, челядь – добрыми людьми, которым в самом деле некуда было деваться, и к тому же всё это, как уверяли его, так было при дядюшке, значит, пусть будет и впредь.

Черемзин видел, что с тем богатством, которое досталось ему, у него не только всего будет вдоволь, но даже с излишком хватит на всех.

Состояние его увеличивалось, а потребности, вернее возможность куда-нибудь тратить деньги, значительно сократились. В деревне, где всё было своё и готовое, деньги почти не

были нужны.

Но зато здесь было и скучнее. Сначала, в первое время, это было не так заметно. Однако вскоре однообразная жизнь стала надоедать даже Черемзину. Одиночество особенно было неприятно.

Он попробовал было отправиться к соседям. Это были давнишние деревенские жители, смотревшие на Черемзина, как на совсем нового и чуждого им человека. Привыкший к заграничной жизни, постоянно вертевшийся, хотя и при маленьком герцогском дворе, но всё-таки при дворе, он совершенно отличался от них и развитием, и манерами, и наклонностями. И он и они сейчас поняли, что вовсе не подходят друг к другу. И соседи стали дичиться его, да и он, побывав у них раза по два, отставал от их общества.

Какой-то раненый драгунский офицер, возвращавшийся на родину, заехал к Черемзину, и они два дня и две ночи подряд проиграли в кости. На третьи сутки это до того надоело Черемзину, что он, проиграв-таки порядочно офицеру, насилу мог спровадить его от себя. Офицер уехал, прокурил кнастером комнату, в которой останавливался, горячо простился с хозяином, которому уже говорил «ты», и оставил Черемзина с головною болью и самым отчаянным воспоминанием несуразно проведённого времени.

«Жениться пора, что ли? – с улыбкою подумал Черемзин и тут же разрешил своё сомнение: – Ну, какая дура за меня пойдёт? А если и пойдёт, то только дура».

Да и где было искать подходящую невесту? Правда, две-три «боярыни», как ещё величали помещиц в деревенской глуши, мечтали о том, чтобы выдать своих дочек за богатого Черемзина, но не могли не сознаться, что это были только мечты, потому что их дочкам далеко было до «заграничного немца», как окрестили Черемзина в околотке.

– Да и что в нём хорошего? – рассуждали боярыни. – Одно слово, что богат; ну, да не с богатством жить, а с человеком. А человек-то он какой? Постов не соблюдает, хозяйства не ведёт и конскую гриву надевает.

Одним из недалёких соседей Черемзина был старый князь Пётр Кириллович Трубецкой, бывший когда-то при дворе и в школе Великого Петра, но по подозрению в участии, впрочем, вовсе не доказанном, в деле царевича Алексея, сосланный на вечное время в дальнюю свою деревню. Князь Пётр Кириллович, приехав в деревню с единственною своею дочерью, заперся там, занялся устройством дома и парка, ни к кому не поехал и держал себя со всеми, даже с начальствующими, очень гордо. Эта гордость, ни на чём, собственно говоря, не основанная, кроме, может быть, полученного годами и опытом презрения к людям, показалась окружающим вполне законною, и все как-то не только подчинились ей, но стали даже бояться князя Петра.

В именины его почему-то считали уже долгом ездить к нему на поклон; у него явились несколько завсегдатаев из мелких, – словом, он занял место выдающегося лица, которое создалось само собою. Пётр Кириллович приехал и взял на себя роль этого лица, и все точно сейчас же поверили ему, что так и быть должно, и подчинились.

Правда, Трубецкой был крут нравом и не любил спускать тому, кто, по его мнению, был виноват пред ним.

Мужчины его боялись. Хозяйство он завёл образцовое, дом выстроил великолепный. Земли у него было много, и почти все окружные были должны ему. Впрочем, уже этого было достаточно, чтобы держать их в руках.

Дядя Черемзина был в числе немногих, не боявшихся Трубецкого. К нему князь Пётр относился с уважением и угощал его по-приятельски. С остальными он почти не церемонился. Иногда в самый разгар вечернего пира он вдруг подходил к окну, барабанил пальцами по стеклу (в его покоях везде были вставлены стёкла) и говорил со вздохом сожаления: «Ну, гости дорогие, ночь – как день, дорога – как скатерть». Это значило, что гости надоели ему, и он больше их не задерживает. И гости, поняв намёк, послушно разъезжались, а потом снова являлись по первому зову.

Приехав к себе, Черемзин наслушался рассказов про Петра Кирилловича и не счёл нужным отправиться к нему. Таким образом, имение Трубецкого оставалось для него как бы

неисследованным островком в окружавшей его жизни, и мало-помалу его стало мучить любопытство. Что за старик, что за усадьба у него, про которую рассказывали чудеса, и что за дочь, про которую говорили, что она красавица? Однако поехать так вдруг, ни с того ни с сего, к гордому старику Черемзину не хотелось.

«Отчего же, однако, не поехать? Что, право: он гораздо старше меня, пожалуй, в отцы годится, был хорош с дядей, и если чудит со «здешними», то можно всегда себя сдержать так, что со мной чудить не будет».

И Черемзин, скорый на решения, вдруг убедился, что ему не только можно поехать к Трубецкому, но это даже так и следует.

Он велел себе подать лучший наряд, привезённый из Митавы, и заложить колымагу.

«Или не ехать?» – снова мелькнуло у него, когда он посмотрел на приготовленный глазетовый блестящий кафтан, которого уже сравнительно так давно не надевал: ему как будто стало лень сменить своё будничное, просторное одеяние на этот наряд.

Тем не менее он всё-таки оделся, несмотря даже на то, что кафтан стал ему несколько узок и неловко сжимал грудь.

Он легко вскочил в колымагу и, не усевшись ещё как следует, крикнул кучеру, чтобы тот трогал. Лошади дружно подхватили, и колымага закачалась на своих ремнях.

Но, несмотря на эти ремни, отвратительная дорога то и дело давала себя чувствовать. Черемзин, ездивший большею частью верхом по деревне, как-то упустил из вида, собираясь предпринять свою поездку, ту муку, которая ожидала его в колымаге. Трясло, казалось, так, что всё внутри переворачивалось. Всякое удовольствие пропало, и Черемзин уже считал минуты, когда наконец может кончиться его пытка.

– Завтра же велю исправить у себя дорогу…о-о-ох! – охал он, хватаясь за бок.

Через час времени он въехал во владение князя Трубецкого, как свидетельствовал каменный столб с надписью при дороге, и в этом «владении» дорога стала ещё хуже.

– Да что ж это за божеское наказание! – воскликнул наконец Черемзин и приказал кучеру: – Пошёл шагом, шагом поезжай!

Но лошади сами уже перестали идти рысью. Дорога с каждым шагом становилась всё менее проезжею. Казалось, чем ближе было к усадьбе, тем хуже.

– Ну, уж и помещик! – удивлялся Черемзин. – А ещё чудеса рассказывают про него… Хорошо, нечего сказать! Вот врут-то!.. И ехать не стоило просто… Тише ты! – снова крикнул он, хватаясь за края колымаги и чуть не вылетев из неё от нового неожиданного страшного толчка.

На дороге в этом месте был отвесный уступ по крайней мере в пол-аршина вышины. Свернуть в сторону было невозможно. Частый лес, заваленный огромными стволами деревьев с поднятыми и торчавшими в разные стороны сучками и корнями, не позволял съехать с дороги.

И вдруг после этой адской тряски, после рытвин, обрывов и огромных булыжников колымага въехала на гладкое, удивительно ровное шоссе и покатилась, как по бархату. Черемзин попал в царствие небесное.

Впоследствии он узнал, что у Трубецкого нарочно вначале дорога была испорчена, чтобы проезжий мог лучше оценить последующую роскошь.

По сторонам прекрасной, вытянутой в струнку и точно прилизанной дороги, на которую въехал теперь Черемзин, открылась дивная панорама лугов с подчищенными кущами дерев. Безобразный, дикий лес остался сзади. Теперь всюду была видна заботливая рука, превратившая всю окрестность в парк. По временам между красивыми группами словно нарочно рассаженных кустарников и деревьев попадались и такие, которые были подстрижены в форму огромной вазы, петуха, а четыре как-то сросшиеся дерева имели даже вид слона с хоботом и беседкой наверху в виде балдахина.

Черемзин, ощущая теперь приятный отдых ровной и скорой езды, забыл уже своё мученье и лишь любовался тем, что видел по сторонам.

Но вот он въехал в узорчатые каменные с гербом ворота, обвитые, как пеленой,

ползучими растениями; округлённый высокий кустарник, бросая приятную тень, приблизился к дороге, от которой теперь уже шли другие дороги и аллеи. Вскоре по обеим сторонам потянулась подстриженная и сверху и с боков изгородь акаций, а затем она вдруг оборвалась и дала место двум фонтанам. Дорога повернула под прямым углом вправо – и глазам Черемзина открылась целая аллея из фонтанов, неумолчно и ровно подымавших тонкую струю воды, как ракета, рассыпавшуюся наверху блестящими на солнце брызгами. Аллея заканчивалась двумя стоявшими по сторонам огромными львами, метавшими воду из пасти в широкие круглые бассейны.

За этими львами расстилался широкий круг, весь покрытый цветником, точно был разостлан ковёр самого хитрого узора. Цветник огибала убитая и усыпанная ярко-красным песком дорога, обсаженная маленькими, округлёнными в шар деревцами, находившимися в одинаковом друг от друга расстоянии, и соединёнными, как гирляндами, диким виноградом.

Каменный двухэтажный дом, похожий на дворец Меншикова в Петербурге, блестел своею золочёной крышей и пестрел заполонившими его балкон и окна цветами.

У подъезда Черемзина встретили с раболепным почтением два лакея в красных ливреях (по покрою ничуть не хуже его, Черемзина, кафтана) и высадили его под руки из колымаги.

Черемзина ввели в огромные сени, где тоже бил фонтан и откуда двумя всходами шла наверх лестница, уставленная цветами. Между этими всходами был арка, сквозь которую виднелась длинная перспектива прямой, казавшейся бесконечною, аллеи, тепло освещённой солнцем, в особенности в сравнении с несколько матовыми полутонами каменных прохладных и пахнувших цветами сеней.

Здесь Черемзину пришлось ждать довольно долго.

Наконец на лестнице показался благообразный лакей, очевидно, самый старший, и, отвесив низкий поклон, не без достоинства, сказал:

– Пожалуйте-с!

Черемзин поднялся на второй этаж. Здесь прямо с лестницей большою аркою соединялся зал с широкими окнами и таким же широким входом на террасу, откуда нёсся нежный запах цветов, почти сплошь усыпавших каменные сходы.

Навстречу Черемзину шёл высокий, сухой старик в ботфортах и военном, но несколько изменённом против формы мундире самого простого сукна. Вообще вся одежда старика совершенно не соответствовала окружающей роскоши.

– Пора, пора, давно ждал, – заговорил он отчётливо и ясно и, подойдя к Черемзину, протянул ему руку, а затем подставил щёку, плохо выбритую. – Давно, говорю, ждал… С дядей были приятелями… мог раньше приехать…

Черемзин стоял молча.

Трубецкой оглядел его с ног до головы.

– Ну, ничего, – сказал он наконец. – Лучше поздно, чем никогда… старого не помяну теперь… Ступай за мной, ты мне понравился.

И, будто несказанно осчастливив этим Черемзина, он повёл его к себе по анфиладе разукрашенных и расписанных комнат.

Так прошли они крутом всего дома, хотя «кабинет» Трубецкого был рядом с залом и в него можно было попасть гораздо короче. Но Трубецкой повёл Черемзина именно через все комнаты.

– А вот мой кабинет, – пояснил он, не оборачиваясь, когда они дошли до него.

Кабинет Трубецкого был, как и его одежда, прямою противоположностью всему, что было кругом. Эта огромная квадратная комната с простыми выбеленными стенами и некрашеною деревянною мебелью, была заставлена столами и шкафами с книгами. На столах лежали грудою свитки каких-то планов и географических карт. Тут же виднелась астролябия, большой глобус, подзорная труба. В одном из углов валялись стружки и столярный инструмент.

Трубецкой подвёл гостя к одному из столов, сдвинул большую открытую картонку с номерами «Петербургских Ведомостей» и показал рукою на стул с высокою решётчатою

спинкой.

Оказалось, что Пётр Кириллович, несмотря на давнее пребывание в деревне, нисколько не отстал от того, что делалось теперь в Петербурге и при дворе, и из его расспросов и разговора Черемзин понял, что старик вовсе не примирился со своим деревенским уединением и твёрдо надеется, что время его ещё не прошло.

Черемзин знал, что многие, в том числе, видимо, и Трубецкой, пострадавший за царевича Алексея, могут ожидать помощи от матери царевича и, следовательно, бабки царствовавшего юного императора, Евдокии Фёдоровны, рождённой Лопухиной, в инокинях Елены, сосланной Петром в Шлиссельбург, но теперь освобождённой внуком. Она жила уже в Москве, в Новодевичьем монастыре, и величалась «Государыней царицей».

По крови Евдокия Фёдоровна являлась единственным близким, кроме его сестры Натальи, лицом к императору. Хотя последний до сих пор никогда не знавал своей бабки, но казалось очень вероятным, что родственное чувство заговорит в нём при первом же свидании. Это свидание близилось – император должен был приехать в Москву на коронацию.

– Посмотрите, новые времена настанут, и всё пойдёт иначе, – сказал Пётр Кириллович Черемзину, невольно удивлявшемуся, каким образом этот старик до сих пор сохранил и ум, и энергию, и главное – желание всё ещё идти вперёд.

Они оставались в кабинете часа два – до тех пор, пока лакей, встретивший Черемзина на лестнице, не пришёл и не доложил, что кушать подано.

– Пойдём обедать! – пригласил Трубецкой.

И опять они, по всей анфиладе комнат, пришли в зал и спустились затем в нижний этаж, где помещалась столовая. Стол был покрыт камчатною скатертью и уставлен золотою и серебряною посудой.

Черемзин, войдя в столовую, невольно остановился. Пред ним у стола стояла молодая хозяйка, дочь Петра Кирилловича. Высокая, стройная, белая и румяная, с правильными, ровными, тёмными бровями и длинною косою с яркою лентою, она стояла, опустив длинные ресницы и сложив красивые, открытые руки. На ней были парчовый русский сарафан с кисейными рукавами и высокая кика.

Она поклонилась Черемзину русским поклоном, и он так же ответил ей.

– Ну, садись, садись! – пригласил его старый князь, как будто не замечая, какое впечатление производит его дочь.

Начали подавать кушанья. Пётр Кириллович ел очень много, в особенности зелёной каши, которую отдельно подали ему и которую он, видимо, очень любил.

Долгое время за столом царило молчание, которого как бы умышленно не прерывал Пётр Кириллович. Черемзин считал невежливым заговорить раньше его.

Лакеи, бесшумно ступая своими мягкими башмаками, служили, точно безмолвные куклы.

За обедом, кроме Черемзина, других гостей не было. Пётр Кириллович вчера ещё вечером подходил к окну со своей обычной фразой, и гости вчера же уехали. Он был не в духе, но приезд Черемзина рассеял его.

– Ты не смотри, – вдруг заговорил он, отодвигая тарелку с кашею, – что она, – он кивнул на дочь, – в сарафане у меня… Ты скажи, разве наш наряд женский хуже этих роб разных неуклюжих и стеснительных? Лучше ведь и красивей… а?.. Лучше, спрашиваю я тебя? – повторил он.

– Лучше, – едва слышно повторил Черемзин, чувствуя, что краснеет.

– Ну, вот то-то!.. В сарафане у меня – красавица, а попробуй её нарядить в заграничную робу?.. А ты говоришь, – вдруг обернулся Пётр Кириллович к Черемзину, который ничего ещё не говорил, – зачем я не ношу русского кафтана иль о п а ш е н ь, как он там называется…

– Опашень… – начал было Черемзин.

Но Трубецкой перебил его:

– Так потому, что так, – он схватился за борт мундира рукою, – удобнее, понимаешь – удобнее… и тоже лучше… Матрёшку сюда и Иваныча! – приказал он.

Черемзин не мог не заметить, что Пётр Кириллович был здесь, в столовой, на людях, так сказать, совсем другим человеком.

В дверях появилась дура с размалёванными щеками, в шёлковой робе и буклями из пакли и огромным веером в руках, и высочайшего роста человек в русском одеянии, с длинною бородой и в высокой шапке, отчего рост его казался ещё больше.

– Вельможному боярину и всем гостям честным челом бьёт Иваныч-свет! – тонким тенором проговорил великан, снимая шапку и низко кланяясь.

– Бонжур, гуты-морды! – пропищала дура, кривляясь и приседая.

– Хороши? – спросил Трубецкой у Черемзина.

Тот, морщась, смотрел на этих двух людей и удивлялся, как мог этот старый князь, отец сидевшей пред ним красавицы, только что у себя в кабинете выказывавший столько ума в своём разговоре, полном интереса, держать у себя шутов и тешиться ими.

– Не нравится, – с усмешкою протянул Пётр Кириллович, щурясь своими острыми глазами. – Ну, пошли вон! – обернулся он к Матрёшке и Иванычу, и те сейчас же исчезли за дверями. – А многие любят это! – серьёзно, как бы про себя, проговорил Трубецкой и замолчал.

В столовой всё снова стихло.

После обеда молодая княжна ушла сейчас же к себе, а старый князь повёл Черемзина показать парк и сад.

Черемзин сразу понял, что старику было приятно, когда хвалили его устройство, и он хвалил вполне искренне.

– Ну, а как ты думаешь, – спросил Трубецкой, показывая на тщательно расчищенное пространство, расстилавшееся по сторонам дороги, – это я только для красоты, только для глаз сгоняю сюда мужиков на работу?

Черемзин не знал, что ответить.

– Эх, ты!.. Всё под посев пойдёт. Это вот Иваныч со здешними помещиками думают, что это – одна блажь. Ну, а ты не думай так! Посмотришь, поучишься и сам у себя чистить станешь…

Наконец Черемзин, боясь надоесть своим первым посещением, собрался домой.

– Ну, д о с в и д а н ь я, слышишь, – говорю «до свиданья», – сказал ему старый князь на прощанье. – Ты мне понравился. Я сказал…

Никогда ещё не чувствовал Черемзин себя таким одиноким, как после своей поездки в Княжеское, как называлось имение Трубецкого. Дядина усадьба, в которой он был теперь хозяином, показалась ему и скучной и бедной. Прежний его покой и всегдашнее хорошее расположение духа как рукой сняло.

«И хороша же она!» – вспоминал он про Трубецкую, и его неудержимо, страстно стало тянуть туда, назад, чтобы хоть опять мельком за обедом поглядеть на неё.

Он выждал несколько дней и снова отправился в Княжеское.

В это второе посещение он застал там много народа. Однако Пётр Кириллович, видимо, отличал его от всех гостей, был с ним особенно любезен и поил его своим, выписанным исключительно для себя, вином и кормил зелёной кашей.

Черемзину не понравилось, как держали себя гости Трубецкого по отношению к хозяину. Своим обращением с князем они гораздо больше подходили к Матрёшке и Иванычу, чем к Черемзину, который был с князем прост и искренен, и Трубецкой относился к нему иначе, чем к остальным.

Но эти гости, сначала сердившие и раздражавшие Черемзина, вскоре оказались очень полезными. Старый князь, занявшись ими, оставил Черемзина с дочерью.

После этой, поездки Черемзина в Княжеское сделались всё более и более частыми. Он ездил туда, не обращая уже внимания на испорченную дорогу и на то, насколько приличны его частые посещения.

Княжне Ирине Петровне Трубецкой шёл уже двадцать девятый год, но её красота от этого не была меньше и, казалось, не зависела от протёкших лет. Ещё в Петербурге, когда она была восемнадцатилетнею девушкой, к ней уже сваталось много женихов, но отец одинаково всем отказывал. Здесь, в деревне, хотя, собственно, никто не смел дерзнуть иметь какие-нибудь виды на дочь Петра Кирилловича Трубецкого, но всё-таки нашлись смельчаки, получившие от старого князя такой ответ, что сейчас же стали не рады за свою смелость. На одного из таких женихов Трубецкой прямо велел спустить цепных собак.

Пётр Кириллович не мог не видеть, что именно составляет главную приманку для Черемзина в Княжеском, и как бы нарочно оставлял его с дочерью, точно желая сделать какое-то наблюдение и заключить его своим выводом. А Черемзин между тем стал уже ездить к ним по крайней мере через день.

II
НЕУДАЧА

Месяца через два с половиною после появления Черемзина в Княжеском старый князь призвал дочь к себе в кабинет.

Ирина Петровна чрезвычайно не любила, когда её звали в эту комнату, и боялась там отца ещё больше, чем обыкновенно. Пётр Кириллович встречал её крайне недружелюбно у себя в кабинете, где всегда происходили у него с нею «объяснения». Она вошла и стала у окна, в ожидании, когда заговорит отец.

Он ходил по комнате, как будто не замечая дочери, мурлыкал вполголоса какую-то солдатскую песню и, проходя, смахивал со столов и вещей, хотя на них не было ни пылинки. Ирина Петровна терпеливо ждала.

– Ты что ж это, п е р е м о л ч а т ь меня хочешь, а? – заговорил наконец Пётр Кириллович.

– Я жду, пока вам угодно будет, батюшка, заговорить со мною, – ответила она, покачивая головою.

– А-а, ну жди! – спокойно проговорил Трубецкой и снова заходил. Плечо его дёргалось всё сильнее и сильнее. – Как ты думаешь, сколько тебе лет, а? – спросил он опять, впрочем, довольно мягко.

– Двадцать девять, – тихо ответила княжна, испуганно, робко, исподлобья взглядывая на отца.

– Да, двадцать девять, – повторил он – Что ж ты думаешь, отчего до сих пор я не выдал тебя замуж, а?.. отчего оставил вековушей?

Ирина Петровна тяжело, глубоко вздохнула. Она знала, что отец будет мучить её именно этим разговором.

– Ты не вздыхай… это – пустяки. По-вашему, это – блажь… Были у вас женихи, были, и не отдал я тебя, потому что ни один н е с т о и т тебя. Вот и всё! Теперь, – продолжал князь, слегка запинаясь, – новый жених у вас есть: Черемзин, помещик, не сегодня-завтра сделает вам пропозицию.

Он широко улыбнулся и отвесил низкий поклон дочери. При имени Черемзина княжна Ирина вся вспыхнула.

– Разве это может быть? – произнесла она, делая неимоверное усилие, чтобы сдержать свои слёзы.

Ей хотелось плакать, но она знала, что отец терпеть не мог слёз и приходил при виде их просто в бешенство.

– Не «может» быть, а будет, и будет на днях, – поправил князь. – Я это говорю. Ты увидишь… Так я желал бы спросить вас, как вы к этому отнесётесь.

– Как будет вам угодно, – ответила княжна Ирина.

– Конечно, всё будет т а к, как мне угодно, – крикнул Пётр Кириллович. Плечо его в это время так и дёргалось. – Но я спрашиваю в а с, ваше мнение!.. Вы бы согласились пойти за

него замуж? Он – человек богатый, образованный, рассудительный, прекрасный человек и годами не мальчишка.

С каждым словом отца лицо Ирины Петровны разгоралось всё сильнее и сильнее. Ей страстно хотелось сказать отцу, что всё, что он говорит, правда, и что она согласна.

– Так ты согласна? – крикнул Пётр Кириллович.

Она не двинулась, бровью не повела, но всё её существо самым её молчанием и смущением говорило, что она была бы рада этому.

– Всё это я знал. Всё это так, – заговорил Трубецкой, заходив снова по комнате, как будто очень довольный, что его ожидания оправдались и что дочь не ответила отказом.

– Да он не сделает, – вдруг, подняв голову, сказала княжна.

Пётр Кириллович остановился пред нею.

– Как не сделает, когда я говорю, что он сделает на днях пропозицию тебе? Довольна! Знаю. Ну, а потом что будет? История известная – надоедите друг другу и в этом разве найдёте счастье… а?

Он ходил по комнате всё быстрей и быстрей, дёргал плечом, и голос его становился твёрже.

– Я вот что вам скажу, – говорил он. – Пусть черемзинский помещик и богат, и хорош, – он мне сам нравится больше всех ваших женихов, – но только я тебя за него не отдам… Не отдам! – крикнул он так, будто у него отнимали что-нибудь. – Вот и всё. Знаю, что вы думаете теперь обо мне. Знаю… Вы думаете: я – варвар, вот держу вас тут, и думаете, когда я развяжу вас.

– Что вы, батюшка! – начала было княжна Ирина, и слёзы-таки показались у ней.

– А умру я, тоже не смейте выходить замуж! – продолжал отец. – Вековушей лучше, вековушей лучше!.. Слышите!.. Ну, а теперь ступай! – показал он на дверь рукою. – Ступа-ай! – снова повторил он, видя, что княжна хочет возразить что-то.

И она вышла из кабинета.

В тот же день князь Пётр Кириллович встретил Черемзина как ни в чём не бывало, очень ласково и любезно, и он по-прежнему стал приезжать через день.

Конечно, Ирина Петровна ни слова не сказала ему о своём объяснении с отцом, но старый князь не ошибся. Вскоре доложили ему, что Черемзин просит принять его, желая поговорить об очень важном деле.

Пётр Кириллович был в это время на пчельнике.

– Что ж, если дело важное, приведите его сюда, пусть придёт! – сказал он.

Черемзин прошёл через сад, как-то смущённо и робко оправляясь, и, подойдя ко входу на пчельник, надел поданную ему, по приказанию Трубецкого, сетку и рукавицы.

Это была особенная любезность со стороны князя Петра Кирилловича. Обыкновенно он призывал на пчельник того, кем был недоволен, и заставлял его без сетки разговаривать. В это время пчёлы облепляли несчастного, который, обезображенный их жалами, как сумасшедший, вылетал с пчельника. Почти никто не мог вынести эту пытку, и крестьяне больше всего боялись этого наказания.

Когда Черемзин вошёл в пчельник, Трубецкой, присев к улью, копался там, видимо, занятый всецело своею работой.

– Ты, говорят, по делу ко мне? – спросил он, не оборачиваясь. – И важному… а? Ну, говори!

Он усмехнулся.

«Никому в жизни, наверно, не приходилось объясняться в таком положении», – подумал Черемзин, глядя сквозь надетую на лицо душную сетку на непривычную ему обстановку пчельника, на летавших кругом, по прямой линии, как пули, к ульям рабочих пчёл и на широкую спину Петра Кирилловича, возившегося пред ним в улье. Черемзин не знал, говорить ли ему теперь, или отложить объяснение до другого, более удобного, часа.

– Я жду… слушаю, – сказал опять Трубецкой.

– Я хотел сказать вам, князь Пётр Кириллович, – начал, путаясь, Черемзин. – В

продолжение нашего с вами знакомства вы, вероятно, уже могли узнать меня и разглядеть. Впрочем, я не сейчас прошу ответа…

Трубецкой, присев и не оборачиваясь, замахал назад Черемзину рукою, чтобы тот замолчал, потому что его разговор, видимо, мешал улью. Черемзин замолчал. Наконец Пётр Кириллович встал и повёл его с пчельника.

– Ты говоришь, что желаешь жениться на моей дочери? – сказал он, когда они вышли оттуда. – Так я понял твои слова?

Черемзин почувствовал, что с его плеч спала некоторая тяжесть. Трубецкой освобождал его от длинной и неловкой вступительной речи, которую он приготовил, и прямо приступил к делу.

– Да, – произнёс он, повеселев, – если вы будете согласны и княжна Ирина Петровна…

– Я тебе вот что скажу, – начал Трубецкой, замедляя шаг, – я тебя узнал, ты мне понравился… правда. И именно потому, что ты мне нравишься, и говорю тебе: не женись, никогда не женись… Первый год – дай Бог ещё, чтобы это год был! – у вас всё пойдёт отлично, ну, а там придётся расплачиваться за это счастье, которое промелькнёт очень скоро. Я вот что скажу тебе, – повысил голос Пётр Кириллович. – Моя жена, покойная княгиня, была лучшая в мире женщина, лучшая в мире! – ты понимаешь это? Ирина не может и сравниться с нею… да что Ирина – никто не может сравниться!.. Ну и, я тебе говорю после этого: не женись, не женись! – крикнул Трубецкой, и голос его оборвался. – Любишь ты её, хочешь её счастья – не женись. Пусть в девках остаётся. Лучше это. А сам уезжай. У тебя эта блажь пройдёт, и останется навек самое лучшее воспоминание о ней… верь мне… верь…

– Но князь, – заговорил в свою очередь Черемзин, – я уже в таких летах, что могу рассудить здраво, и это с моей стороны вовсе не увлечение. Я много думал пред тем, как прийти к вам.

– Ты много думал! – перебил его Трубецкой. – Много думал!.. А я больше тебя, может быть, думал об этом. – Он вдруг остановился и, дёргая плечом и неестественно моргая одним глазом, продолжал быстро, раздражённо: – Словом, не бывать этому… Что ж ты хочешь ни с того, ни с сего ворваться ко мне, а? отнять у меня дочь, а? оставить меня одного, а? сделать и её, и себя несчастными. И меня, и меня, да?.. Да вот что: принесёшь ты мне в этой сетке воды ковш? – снова крикнул он, сжимая в своей руке сетку, которая была на пчельнике, и тряся ею. – Принесёшь? возможно это? Ну, так же невозможно, чтобы я отдал тебе Ирину… Доволен теперь? что? доволен? Так идите же, милостивый государь мой, идите!..

Черемзин развёл руками и грустно опустил голову. Ему действительно оставалось только уйти. Он медленно пошёл вперёд по аллее, оставляя этого взбалмошного, строгого чудака, как он думал теперь про Трубецкого.

Князь Пётр Кириллович сделал несколько шагов к скамейке, находившейся тут же, у края дороги, опустился на неё и закрыл лицо рукою.

Что он сделал сейчас и имел ли право сделать это?

Он вспомнил «своё время», свою жизнь, молодую, полную силы, и стало жаль этого удалявшегося теперь, почти выгнанного человека, к которому он чувствовал невольную симпатию с первого же взгляда на него. Но слово уже вырвалось, было сказано, и для Петра Кирилловича его нельзя было уже вернуть. Он точно слышал ещё звук своего голоса, кричавшего о том, что нельзя принести воду в сетке.

Он отнял руку от лица и, проведя ею по голове, как бы желая отряхнуть свои мысли, хотел встать, но, взглянув пред собою, увидел Черемзина, приближающегося по аллее. Тот шёл, сконфуженно улыбаясь, и в руках нёс что-то.

«Что это?» – подумал Пётр Кириллович.

Черемзин подошёл и подал ему, всё так же улыбаясь, сетку с куском льда.

– Что это? – произнёс вслух Трубецкой.

– Вы сказали, – что «то» так же невозможно, как принести вам воды в этой сетке. Ну, вот я вам принёс её, только мёрзлую, потому что взял поближе с ледника; до колодца дальше было идти.

Пётр Кириллович остановился, как бы первый раз в жизни не зная, что ответить.

– Иль ты меня перехитрил? – сказал он наконец, вырвав из рук Черемзина сетку со льдом, и отбросил её далеко в сторону. – Садись здесь!

Черемзин сел.

– Остроумно… остроумно! – бормотал старый князь, уже не обращая на него внимания. – Перехитрил… меня перехитрил…

Он усмехался и фыркал носом.

Выход ему был дан Черемзиным. Оставалось, пожалуй, теперь дать только своё согласие, и был один миг, что Пётр Кириллович хотел встать и обнять Черемзина, как будущего мужа своей дочери. Но сердце его снова сжалось. Как! Это значило расстаться с нею, расстаться навсегда, отдав её этому совсем чужому человеку, а самому быть одному и дожить свой век, как никому не нужная рухлядь, как исписанный, никуда не годный лист бумаги, потерявший давно весь свой интерес! Это было ужасно.

«Нет, нет, не нужно… Они будут несчастны», – решил опять Пётр Кириллович и, обратившись к Черемзину, резко спросил его.

– Сколько тебе лет?

Черемзин ответил не сразу.

– Когда ты родился? – переспросил его Трубецкой.

– Я родился в октябре… в год, когда был второй поход Голицына на Крым. Мой отец умер в этом походе.

Пётр Кириллович поморщился.

– Это значит, в тысяча шестьсот восемьдесят девятом году, так по-нашему? – сказал он и концом своей большой палки с серебряным чеканным набалдашником написал на песке дорожки «1689» – А теперь у нас какой год? – продолжал он спрашивать.

– Тысяча семьсот двадцать седьмой, – ответил Черемзин.

Трубецкой надписал над первою цифрой «1727» и сделал вычитание.

– Видишь, – сказал он, – тридцать восемь… Тебе тридцать восемь лет… А дочь моя родилась в июле тысяча шестьсот девяносто восьмого года – значит, ей теперь двадцать девять. Ты старше её на девять лет – ну, а я всегда говорил, – заключил с удовольствием Пётр Кириллович, – что муж моей дочери должен быть старше её на десять лет, на десять лет, понимаешь?.. а ты годами не вышел… Сделайся старше на один год, сделайся… Тогда увидим. – Он встал и отвесил Черемзину поклон. – Ну, так вот! Ты мне нравишься, это – не отказ. Обижаться тебе тут нечего. Сатисфакция полная[12]. А только поди сделайся на год старше… попробуй… попробуй…

Черемзин отлично сознавал, что можно было принести льду в сетке, но сделать то, что требовал теперь Трубецкой, было немыслимо. Он вскочил, ничего не сказав, прошёл по аллее, слыша за собою старческий, донельзя противный ему теперь смех Петра Кирилловича, и, взбешённый, уехал, как ему казалось, навсегда из Княжеского.

Вернувшись домой, Черемзин увидел, что для него всё теперь кончено. Упрямый старик ни за что не отступит от с в о е г о и, придравшись, как это было видно, к первому пришедшему ему в голову обстоятельству, не согласится изменить своё решение, потому что не хочет отпускать от себя дочь. Оставаться теперь здесь, у себя в именье, так близко от Трубецких, к которым он не мог уже показаться, было и мучительно и тоскливо.

Несколько дней Черемзин ходил у. себя по комнатам, затем занялся усиленно верховой ездой, так что даже загнал лошадь, наконец, велел укладываться. Он собрался опять в Митаву или в Петербург на службу, куда-нибудь. В деревне оставаться он не мог больше и уехал, решив по дороге завернуть к Волконским, которые – он знал – были у себя в деревне, недалеко от Москвы.

Старый князь Пётр Кириллович, узнав об отъезде Черемзина, сделался на неделю не в

---

[12] Удовлетворение полное.

духе, не принимал гостей и не допускал к себе дур и шутих. Но с дочерью он был особенно ласков и внимателен и хвалил её за то, что о н а н е п р о м е н я л а отца на «черемзинского помещика», как будто во всём этом была её воля.

Бедная Ирина Петровна старалась сдержать себя при отце, но, проводя бессонные ночи, часто и много плакала, горько жалуясь на то, что ей выпала такая судьба.

У Волконских Черемзина встретили как старого приятеля и очень обрадовались ему. Он приехал к ним совершенно неожиданно и своим появлением внёс невольные воспоминания Митавы, минувшего времени и лучших беззаботных лет.

В деревне у себя Волконские устроились пока в тесных, низеньких покоях хором старинной постройки. Князь Никита по приезде первым делом по настоянию жены стал рубить для неё новый дом с просторными горницами. Оглядевшись, он исполнил свой обет – ходил с Лаврентием пешком в Киев.

Аграфене Петровне всё не нравилось в деревне: жара, мухи, низкие потолки, маленькие окна и в особенности грубость мужиков. Всё это ежедневно, ежеминутно раздражало её. Она почти целый день была не в духе, и когда князь Никита, вернувшись с поля или с реки, подходил к ней и нагибался и взглядом требовал от неё улыбки, она не улыбалась ему, и Волконский, тяжело вздохнув, отходил от жены. Разница в склонностях и стремлениях в деревне стала сильнее заметна. В Митаве, в Петербурге Никите Фёдоровичу легко было жить так, как ему хотелось, то есть подальше от всех, но Аграфене Петровне вовсе не было возможно жить в деревне так, как хотелось ей, и Волконский понял, что тот покой, который думал он найти в деревне, тот внутренний душевный покой, к которому он постоянно стремился, был ещё менее возможен здесь.

С приездом Черемзина не только сам Никита Фёдорович и Аграфена Петровна, но и Миша, и Лаврентий, и даже Роза повеселели. Гостю отвели лучшую комнату, за ним ухаживали, были рады ему и внимательны, и он, улыбаясь, и сам тоже повеселев, с удовольствием принимал эту радость и ласку своих друзей.

– Ну, рассказывай, как же ты, как княгиня, Миша… и как он вырос! – воскликнул Черемзин в первый же вечер своего приезда, обращаясь к Никите Фёдоровичу, когда они остались одни.

– Да вот живём – и з г н а н н и к и, – усмехнулся князь Никита.

– А ты и рад?

– Конечно, рад, с одной стороны… но боюсь, как бы хуже не было. Аграфена Петровна опять что-то затевает.

– Неужели опять? – воскликнул Черемзин.

Никита Фёдорович махнул рукою и рассмеялся. Ему теперь, при свидании с приятелем, всё казалось весело и хорошо.

– Да что ж она может сделать здесь, в деревне, в изгнании, как ты говоришь? – переспросил тот.

– Как, что? – ответил князь Никита, наморщась и становясь серьёзным. – На грех тут от нас недалеко именье двоюродного её, Талызина Фёдора, от Москвы он в тридцати верстах. Из Москвы туда приезжают, и моя ездит… И сделать ничего не могу. Уж коли петербургского случая мало было…

Черемзин слушал друга, перебивая расспросами и вставляя замечания. Ему тоже хотелось говорить и тоже рассказать про себя.

– А что у нас в Митаве делалось без вас! – начал он, когда Волконский обо всём рассказал. – Представь себе, когда – помнишь – Пётр Михайлович ездил в Петербург, тогда вдруг выдвинулся при дворе герцогини Бирен, сын простого конюха.

– Я его мельком помню, – перебил Волконский, – как же… в Митаве… Теперь он, говорят, уже называет себя не Биреном, а Бироном, и производит свой род от французских графов.

Черемзин снова рассмеялся.

– Да и сам Пётр Михайлович покровительствовал ему.

– Да ты о себе-то расскажи! – опять перебил Никита Фёдорович. – Ну, как жил в деревне, как там устроился?

– Да никак не устроился, – вдруг упавшим голосом ответил Черемзин. – Что поделаешь! Я навсегда уехал теперь из деревни.

– Опять на службу, опять в Митаву? – почти с ужасом спросил Волконский.

– Да, опять.

И Черемзин в свою очередь рассказал всё о себе и о своей неудаче.

Никита Фёдорович серьёзно, внимательно следил за его рассказом.

– Странный старик! – сказал он, когда Черемзин кончил. – Я тебе одно только могу сказать – будь уверен: если должно, чтобы твоя княжна Ирина стала твоею женою, то ничто – ни отец, ни какая другая сила не остановят этого.

– Да, хорошо тебе говорить так, а я не вижу возможности… Нет, это не сбудется…

Волконский встал со своего места и заходил по комнате.

– Помнишь Митаву? – сказал он, обращаясь к Черемзину. – Помнишь, как ты тогда утешал меня и помог мне – да, помог, конечно, хотя и смеялся и балагурил?

– Что ж, тогда мы моложе были, – вставил Черемзин, как будто оправдываясь.

– И могли ли мы думать тогда, – продолжал князь Никита, – что вот придёт время, когда мы поменяемся местами и мне придётся также утешать тебя?

– Жаль одно, что ты мне помочь не можешь, – грустно возразил Черемзин.

Никита Фёдорович несколько раз прошёлся молча.

– Ну, этого ты не говори! – не вдруг продолжал он, видимо, соображая что-то. – Нет, не говори – может быть, и помогу.

Черемзин быстро поднял на него взор, как бы сомневаясь, не ослышался ли он, или в своём ли уме Волконский, желавший помочь его сватовству на Трубецкой, которая была теперь далеко от них, в полной власти и полном повиновении у своего строптивого и упрямого отца.

– Да, и помогу, – подтвердил князь Никита.

– Но как же, голубчик? Ведь это невозможно, – недоверчиво произнёс Черемзин.

Но он стал настаивать на том, чтобы князь Никита объяснил, как это он собирается помочь ему. Он думал просто, что Волконский хочет утешить его, поддержать и поэтому говорит так себе, чтобы дать ему хоть тень надежды. Но Черемзин знал, что надежды этой не может быть.

На другой день Волконский не возобновлял этого разговора, и его гость ещё больше убедился в справедливости своего предположения.

Черемзин провёл у Волконских недели две и наконец собрался уезжать.

Накануне его отъезда Никита Фёдорович пришёл к нему опять вечером и спросил:

– Так ты положительно хочешь уже уезжать?

– Да, голубчик, пора, – озабоченно ответил Черемзин.

Он опять находился в таком состоянии, что не мог долго засиживаться на одном месте, и, как ни хорошо ему было у Волконских, но всё-таки ему многого недоставало. Он тосковал по княжне Ирине Петровне, и её-то и недоставало ему, а потому он и не мог сидеть на одном месте. В переездах, в дороге ему всё-таки было легче.

– Ну, а если я тебе скажу: поезжай назад в деревню? – произнёс Волконский.

Черемзин нахмурил брови и недовольно взглянул на друга.

– Полно тебе, князь Никита! – сказал он, хмурясь.

– А разве ты забыл, что я обещал помочь тебе? – перебил его Никита Фёдорович и, улыбаясь, весело взглянул на Черемзина.

Тот в свою очередь недоумевающе, вопросительно посмотрел на него и спросил:

– Так ты не шутишь? это серьёзно?

– Нет, не шучу. Дай только мне слово, что исполнишь то, что я потребую от тебя.

– Хорошо, даю слово, – сказал Черемзин, несколько подумав.

– Ну, так вот, возьми это письмо, – и Никита Фёдорович достал из кармана уже готовое

и запечатанное письмо, – и вези его, не читая, к себе в деревню, а когда приедешь – прочти и объяснись со стариком Трубецким.

– И ты думаешь, что из этого что-нибудь выйдет?

– Я даю тебе слово, что выйдет, если только, повторяю, суждено Ирине Петровне стать твоею женой.

Черемзин подчинился другу и, изменив свой маршрут, отправился назад, к себе в деревню.

III
НОВЫЙ ГОД

Черемзин уехал и как будто увёз с собою дурную погоду, стоявшую всё время его пребывания у Волконских. После дождей и мокроты вдруг завернула сухая погода бабьего лета. Солнце выглянуло на совсем синем небе и к полудню пекло, как в июле. Закаты были, конечно, свежее июльских, но тем не менее приятны и не холодны.

В один из таких, несмотря на сентябрь месяц, тихих и даже тёплых вечеров Никита Фёдорович сидел с Лаврентием на вдавшемся в реку пригорке за своим любимым занятием – ужением рыбы.

Медленная, прозрачная летом и теперь к осени чуть потемневшая, словно сгустившаяся, река беззвучно плыла между своих скошенных и снова уже обросших травою зелёных берегов, кое-где изредка оттенённых красновато-жёлтою глиною обрывов.

«Все реки, – вспомнил Никита Фёдорович, – текут в море, но море не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь».

В последнее время Волконский мало-помалу оставил все свои книги и остановился на одной только Библии, открыв в ней вдруг такую силу и мощь, пред которыми все остальные сочинения казались ему ничтожными и жалкими. В особенности его поразил Екклезиаст. Здесь, на этих нескольких страницах, как казалось ему, сосредоточивалась в с я мудрость человеческая, было всё то, о чём писали и над чем думали, как над новым, люди впоследствии.

«Бывает нечто, – говорил Екклезиаст, – о чём говорят «Смотри, вот это новое», но э т о было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Что было то и теперь есть, и что будет, то уже было; и Бог воззовёт прошедшее»

«И так всё, – думал князь Никита, – всё – суета сует и томление духа!»

– Господи, хорошо-то как! – вздохнул Лаврентий.

С тех пор, как барин и старый слуга сходили вместе в Киев, между ними образовались совсем новые отношения, естественные и простые. Правда, в доме, а тем более при людях Лаврентий оставался прежним Лаврентием и никогда не только не садился пред князем, но даже упорно выдерживал свойственный крепостному человеку тон; но когда они были совсем одни, окружённые лесом, привольем реки или простором поля, Лаврентий преображался и становился другим человеком с князем.

– Ты что сказал? – спросил князь Никита.

– Я говорю, хорошо-то как! – и Лаврентий показал рукою на полосу реки, луга и синюю даль. – Истинно хорошо, а ведь кажется, ничего нет, ни домов с колоннами, ни фонтанов, ни статуев, – пояснил он. – В Питербурхе-то они казались как будто и ничего, а всё-таки всё это ни к чему…

«Кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?» – пришло на ум Никите Фёдоровичу, и жалкие потуги людей создать что-то, что, по их мнению, было бы красивее существовавшего в природе, показались ему удивительно смешными и неуместными.

– Суета, и это – суета, – проговорил он вслух.

Лаврентий понят слова князя именно так, как они были сказаны, и тоже улыбнулся.

«Конечно, суета!» – сказала эта улыбка.

Князь Никита уже давно заметил, что не один Лаврентий умел и мог понимать его, но что тот народ, из которого вышел Лаврентий, тот народ, который говорил с какою-то презрительною грустью: «все помирать будем», и тогда, когда земное горе надвигалось на него, и тогда, когда, соблазняя его, ему предлагали земные блага и благополучия, – тот народ также мог понимать и понимал именно то, что князь Никита считал единственно важным; мало того, он сознавал, что и сам потому так легко дошёл до своего «важного», что принадлежал к тому народу, из которого вышел Лаврентий и который думал одинаково с ним.

Эти простые слова «помирать будем», казавшиеся столько раз Никите Фёдоровичу трогательными, ясно, верно были объяснены несколько веков тому назад Екклезиастом: «Всё идёт в одно место; всё произошло из праха, и всё возвратится в прах!», «Конец дела лучше начала его, и день смерти – дня рождения», «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днём смерти и нет избавления в этой борьбе, и не спасёт нечестие нечестивого», «Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит каким пришёл, и ничего не возьмёт от труда своего, что мог бы он понесть от труда своего».

С тех пор как князь Никита сошёлся в деревне ближе с народом, он вдруг увидел, что до сих пор в душе жил с ним одинаковою жизнью, и с радостью увидел, что то, чего он достиг, как ему казалось, сам, собственною работою своего духа, подтверждалось рассуждениями Екклезиаста и жизнью народа.

В Петербурге, в разговорах, Веселовский, горячий поклонник и приверженец заграничного, часто ссылался на закоснелость мужика, на его упорное нежелание с охотою, с удовольствием наброситься на те улучшения и блага, которые переносились к нам из чужих краёв, называл это ленью и бранил мужика совершенно так же, как бранила Аграфена Петровна самого Никиту Фёдоровича, когда он не хотел заниматься тем, чего требовала она от него вначале и в чём видела с в о ё настоящее дело.

Но Волконский не считал ленью того, что раздражало Веселовского. Мужик покорно принимал то, чему его научали, но, видимо, в глубине души своей считал это суетою. И кто тут был больше прав?

Князь Никита с Лаврентием думали, что они, а Веселовский не сомневался, что правда была на его стороне. Но Екклезиаст говорит, что и это – суета, ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, во все дни суетной жизни его, которые он проводит, как тень? И кто скажет человеку, что будет после него под солнцем?

Рыба клевала мало: князь ли Никита был невнимателен, или действительно клёв прекратился, но только они поймали немного.

Лаврентий сложил удочки, взял ведро с рыбою, и они пошли домой.

Никита Фёдорович казался задумчивым. Он прошёл прямо к жене. Она встретила его взволнованная, радостная, встрепенувшаяся.

– Ну что, ну что? – заговорила она, держа в руках какое-то, очевидно, только что полученное письмо. – Ну, что?.. чья правда? Я говорила, я это знала… Меншиков впал в немилость. Он выслан из Петербурга [13]: дни его могущества кончены. Да, по указу императора, Меншиков сослан в Раненбург. Вот видишь: ордена от него отобраны, обручённую невесту императора, дочь Меншикова, не будут поминать на ектениях в церкви. Говорят, у Меншикова нашли письма к прусскому двору, где он просил дать ему десять миллионов и обещал возвратить вдвое, когда получит русский престол… А? Каково?! С завещанием императрицы тоже целая история: говорят – оно подложно, и всему виною Меншиков. Но этого мало; есть вероятность, что его не оставят в Раненбурге, а зашлют и подальше; словом, – заключила Аграфена Петровна, – прошла и погибла суетная слава прегордого Голиафа, которого Бог сильною десницею сокрушил. «И все этому очень рады, и

[13] Александр Данилович Меншиков был арестован 8 сентября 1727 года. На следующий день он был выслан в Раненбург.

в Петербурге всё благополучно, и таких страхов теперь ни от кого нет, как было при князе Меншикове!» – прочла она из письма и победоносно поглядела на мужа.

Глаза её горели, щёки покрылись румянцем, грудь высоко подымалась, она готова была и плакать и смеяться, не зная, чем выразить свою радость, и требовала и взглядом, и тоном своего голоса, и всем существом своим сочувствия от князя Никиты этой своей радости, сочувствия и одобрения.

Но он грустно поглядел на неё и даже не улыбнулся.

– Суета, Аграфенушка, всё – суета! – проговорил он и ушёл к себе.

С падением Меншикова надежды Аграфены Петровны удвоились, и теперь дорога казалась ей открытою.

С первых же дней своего отъезда в деревню она снова завела деловую переписку с братьями и отцом, переписывалась с Ганнибалом, сосланным в Томск, и с Мавриным, бывшем в ссылке в Тобольске, посещала Новодевичий монастырь в Москве и ездила на свидания с нужными ей людьми к своему двоюродному брату Талызину. Ей казалось, что с каждым днём близится её освобождение и что, наверное, будет выхлопотан указ, разрешающий вернуться снова в Петербург как ей, так и её друзьям.

Между тем Алексей Бестужев, не знавший во всех подробностях того, что происходило в это время в Петербурге, писал сестре из Копенгагена:

«Конечно б, по желанию всех вас учинилось, ежели б смерть графа Рабутина в том не воспрепятствовала. Но ежели б его императорское величество да не свободил империю свою от ига варварского, то б мне трудно было столь скоро всем вам вспомочь; ныне же уповаю, что вы с друзьями нашими и без посторонней помощи, по отлучении известного варвара, всякой сами себе вспомочь можете».

Варвар, то есть Меншиков, уже был сослан в Берёзов, и соображение Алексея Петровича заняло было Аграфену Петровну. Но Пашков из Петербурга советовал быть осторожней.

«Отважно ни в какое вступать не извольте, пока время покажет спокойное, – писал он. – Может, Бог хоть одного не оставит компании нашей. Сколько мерзкой клеотуре ни искать себе защищения по своим худым делам, только им себя не можно никак закрыть».

Под «мерзкою клеотурою» подразумевались Остерман и его приятель и помощник Левенвольд. Остерман, почти главный виновник ссылки Меншикова, получил большую силу и значение при молодом императоре. Весьма естественно, он не мог желать возвращения из ссылки таких, ещё недавно приближённых к Петру Алексеевичу людей, как Маврин и его друзья. Но Остерман казался не опасен, или, по крайней мере, не так страшен, как Меншиков. Волконская видела это и потому, удвоив осторожность, стала больше прежнего «работать», как она говорила.

В конце 1728 года двор стал собираться в Москву на коронацию. Решительное время близилось.

Никита Фёдорович делался с каждым днём молчаливее и угрюмее. Он как будто покорился судьбе и махнул на всё рукою, не препятствовал жене, но и не помогал ей. Ближайшим её помощником теперь был её двоюродный брат Талызин, живший вблизи в своей деревне Дедове, посвящённый Аграфеною Петровной во все её планы и исполнявший для «сестрицы», как он называл Волконскую, всё что угодно.

В первых числах февраля состоялся торжественный въезд императора в Москву. Пётр Алексеевич виделся со своей бабкой, и при встрече присутствовали великие княжны Наталия Алексеевна и Елизавета Петровна.

Старуха царица Евдокия при виде внука стала плакать, обнимать его, читать ему наставления и выговаривать за его свободную жизнь и за дружбу с Долгоруковыми, из которых один, Иван, был самым близким человеком к императору и постоянным участником его веселья. Свидание вышло сухим, и присутствующие видели, что Пётр Алексеевич уехал от бабки, по-видимому, не скоро собираясь вернуться к ней. К себе он не позвал её.

Для всех стало ясно, что государыня-бабка не будет иметь н и к а к о г о влияния, и те,

что рассчитывали на неё, ошиблись в своих расчётах.

Для Волконской и её друзей это было большою неприятностью.

Но как пострадавшие от Меншикова, они всё-таки надеялись, что государь, по гневу своему на светлейшего, легко может вспомнить про них. И действительно, верные люди уже сообщили, что Пётр II несколько раз со времени приезда в Москву опять заговаривал о них. Наталья Алексеевна спрашивала про Аграфену Петровну. Надежда снова загоралась.

Так в постоянной тревоге прошли весь февраль и март. То счастье казалось близко, и цель чуть не была достигнута, то опять несколько недель полной неизвестности, сомнений и нерешительного положения. Остерман, видимо, внимательно следил за своим воспитанником.

Наконец к маю месяцу надежды опять поднялись. Теперь уже по всей Москве говорили, что император прямо желал вернуть прежнего своего наставника Маврина и его друзей.

IV
ЧЕМ КОНЧИТСЯ

Это было седьмое мая – день, памятный для князя Никиты на всю жизнь.

Он встал в этот день, как обыкновенно, рано и отправился на постройку, к которой только что приступил после зимнего перерыва.

Новый дом строился в порядочном от старого расстоянии, на красивом месте, на самом берегу реки, у рощи, в которой предполагалось разбить парк и сад. Этот дом, большой, одноэтажный, на каменном фундаменте, был вчерне почти готов ещё в прошлом году и оставлен на зиму с заколоченными отверстиями для окон. Крыша была уже готова; оставалось вставить рамы, настлать полы и сделать тёсовую обшивку.

Никита Фёдорович, с отвесом и мерою в руках, ходил по хрустевшим под его ногами, чёрным от времени, прошлогодним щепкам и стружкам и распоряжался уроками плотникам на сегодняшний день. В другом конце Лаврентий считал только что привезённые дубовые доски.

– А где же Филипка меньшой? – спросил Волконский, оглядываясь крутом и ища глазами Филипку, которого он знал как хорошего работника.

– Филипка-то? – переспросил стоявший рядом мужик, дожидавшийся урока, и потупился.

– Ну да, его кликнуть надо!

– Филипка-а! – протяжно, лениво закричал кто-то, и роща отозвалась эхом на этот крик.

Князь Никита кончил уроки, но Филипка не являлся.

– Филипку звали? – спросил Лаврентий, подходя к Никите Фёдоровичу. – Эх, нехорошо! Ведь убёг, пожалуй! Много у нас народа уходит! – продолжал он, понизив голос, когда они отошли от мужиков. – Всё эти дворовые сбивают с толка. Понавезли их теперь из Питербурха.

Никита Фёдорович опустился на сваленное на траве бревно.

– Ну, и Бог с ними! – проговорил он. – Пусть их бегут, если у нас не нравится. Что ж, если нехорошо у меня, пусть ищут, где лучше.

– А объявку бы подать следовало, – почтительно, будто рассуждая сам с собою и не смея давать барину советы, сказал Лаврентий.

Князь Никита сделал вид, что не слышит его слов. Он рассеянно смотрел пред собою и совершенно равнодушно переводил взоры с постройки, которая, видимо, ничуть не занимала его, на реку и на мужиков, застучавших уже топорами. Наконец он взглянул и на Лаврентия.

«Удивительно, как природа человека двойственна, – подумал он, – душа и тело… всюду душа и тело! Ведь вот Лаврентий многое понимает, а советует объявку подать. Удивительно… душа и тело».

– Да, так что ж ты говоришь? – спросил Волконский.

– Я говорю, что дворовые народ портят! – ответил Лаврентий, поняв, что слова его насчёт объявки были совсем не к месту. – Вот онамеднись Добрянский, что из Питербурха с нами приехал, ушёл совсем и Зайцева сбил с собою.

– Какой это Зайцев? – спросил князь Никита.

– Пропойца был! – коротко, как говорят про скончавшихся уже, сказал Лаврентий.

– А Добрянский?

Лаврентий, видимо, затруднился ответом и наконец коротко ответил:

– Из Питербурха.

Никита Фёдорович стал припоминать. Добрянский был тот самый человек, который тогда явился и приставал взять его к себе. Потом Никита Фёдорович видел его лицо в толпе, во время казни Девьера. Он же и принёс его домой, когда ему там сделалось дурно.

Это воспоминание было болезненно неприятно. Князь Никита вздрогнул всем телом, точно вдруг пахнул на него сырой, холодный воздух. Образ Добрянского стоял пред его глазами, как живой.

– Ну, Бог с ними! – опять проговорил Никита Фёдорович и встал.

Странное дело – ему несколько раз приходилось замечать, что как только что воспоминание воскресало у него в голове, всегда за ним следовало какое-нибудь несчастье.

«Ну, что за вздор! – попробовал он успокоить себя. – Что может случиться?»

Но Никита Фёдорович чувствовал, что сердце его беспокойно, неудержимо забилось, и предчувствие недоброго, никогда не обманывавшее его до сих пор, сжало ему грудь. Он как-то невольно, почти бессознательно обернулся и к ужасу своему увидел, что не обманулся и теперь.

«Так и есть!» – мелькнуло у него.

По протоптанной к постройке тропинке бежал, семеня своими босыми ногами, мальчишка Акулька с испуганно выкатившимися глазами и бледный, как полотно.

Волконский зажмурился и поднял руки к лицу. Он понял, что несчастье близко, что оно уже тут, и. несмотря на всю его неожиданность, ему уже казалось, что он давно ждёт его.

Акулька подбежал к Лаврентию и, запыхавшись, напрасно силясь передохнуть, отрывисто заговорил:

– Дяденька… там на барский двор солдаты приехали, с набольшим, и говорят – всех забирать будут… Коли что – я в лесу схоронюсь, а нужно будет – свисните!

И, едва договорив, Акулька снова пустился бегом по направлению леса.

«Солдаты!» – мог расслышать только Никита Фёдорович и, не помня уже ничего, кинулся домой.

От постройки до дома было довольно далеко и, когда наконец он очутился в воротах, вся кровь прихлынула к его сердцу, и он едва не упал.

У крыльца стояла телега с солдатом, помещавшимся рядом с ямщиком. Сзади было двое верховых.

Народ и с ужасом, и с любопытством толпился вокруг. Бабы голосили. По ту сторону телеги, на крыльце отворилась дверь, и на пороге показалась Аграфена Петровна.

Она была в своём утреннем белом шёлковом капоте, который всегда очень нравился Никите Фёдоровичу, и придерживала его оборку на груди левою рукой; за другую её вёл офицер, отвернувшись и не глядя. Княгиня шла покорно, тихо опустив своё неподвижное, совсем помертвелое лицо, и только её красивые, сухие глаза бегали из стороны в сторону.

Дверь на крыльце снова отворилась: испуганная Роза выбежала с большой шалью в руках и накинула её на Аграфену Петровну.

Всё это было один миг, одна секунда. Не успел Никита Фёдорович броситься к жене, как её уже посадили в телегу. Офицер тоже вскочил туда, и ямщик, повернув затоптавших с места лошадей, закричал расступавшейся толпе:

– Берегись!

Волконский в исступлении ужаса, не помня себя, бросился под лошадь и, кажется, схватил одну из них за морду, но чья-то сильная рука остановила его.

В это время откуда-то сбоку, из-за дома, бежал Миша, всхлипывая, и кричал что-то.

Аграфена Петровна вдруг замахала руками; но телега, не останавливаясь, повернула в ворота.

Никита Фёдорович сильно отдёрнул державшую его руку и, точно невидимой нитью привязанный к телеге, побежал за нею. Зачем он делал это и чем и кому мог помочь этим, он не сознавал, да и время ли было сознавать что-нибудь! Он бежал, не чувствуя, как большими, размашистыми шагами двигались его ноги, как развевались по ветру его волосы, и грудь тяжело дышала; но своё хриплое дыхание он слышал, не понимая, однако, что это хрипит он сам. Точно рядом бежал другой человек, который хрипел так. Должно быть, рот его был открыт, потому что туда набивалась пыль. В руках что-то мешало. Это была палка. Он бросил палку. Голове было тяжело – он скинул шляпу. Телега то удалялась, то была ближе, но князь не мог догнать её.

Аграфена Петровна, металась там, несколько раз делая движение выскочить, но каждый раз офицер удерживал её, и после этого лошади скакали шибче. Часто тоже сцепившиеся руки Аграфены Петровны подымались, точно она хотела сломать их. Никита Фёдорович видел, что она долго собиралась с силами сделать это. Она чувствовала, что он ещё тут, позади, бежит; но посмотреть на него, несчастного, милого, она всё не могла. И вот, наконец, она как-то всем корпусом перекинулась назад, и её лицо мелькнуло пред ним. Потом вдруг её руки бессильно опустились и голова повисла; и в этом было что-то уже знакомое, девьеровское, жалкое, детское. Она лишилась чувств или умерла.

«Умерла!» – как молотом, ударило Никиту Фёдоровича.

Он вдруг приостановился и только теперь заметил, как скоро ехала удалявшаяся пред его глазами телега.

– Что ж я? – проговорил он и закричал почему-то: – Пустите! – и снова хотел бежать, но ноги его были уже тяжелы, как свинцовые, и помимо его воли отшатнули его в сторону.

Под ногами его была трава, он зацепился за кочку и упал.

Холодное, сырое прикосновение земли было приятно князю. Сознание будто прояснилось, но это было лишь для того, чтобы он мог ещё осязательнее почувствовать свою муку.

«Увезли, «её» увезли!.. Безбожники, жизнь мою увезли!.. Куда? Зачем?.. Кому она мешала и кому она сделала что?» – терзался Никита Фёдорович.

Он лежал ничком, бился о землю головою, царапал руками землю и скрипел челюстями. Щёки его неудержимо прыгали, рот сводился на сторону, и всё тело судорожно вздрагивало.

– А вот ещё… а вот ещё! – со злобою, сквозь скрипевшие зубы, с бешеным злорадством приговаривал князь Никита, и тело его дёргалось новыми судорогами.

Слёз не было у него. Рыдание, одно сухое рыдание остановилось в горле и не могло вырваться.

Так лежащим у дороги нашли его Лаврентий со слугами.

Его подняли, положили в коляску и повезли домой.

Навстречу им попался другой офицер, тоже с конвоем, разобравший переписку Аграфены Петровны и увозивший теперь её письма. Князь Никита не узнал и не понял, что это был за человек.

Дома его отнесли прямо в его комнату, приведённую в беспорядок хозяйничавшим тут офицером.

Никита Фёдорович не потерял способности двигаться. Его посадили – он сел; ему дали воды – он выпил. Но только произвольно он как-то не мог или не хотел двинуть ни рукою, ни ногою. Он смотрел прямо пред собою неподвижными глазами, а когда ему нужно было поглядеть в сторону, он не переводил туда одни только глаза, но поворачивал всю голову, глаза же оставались по-прежнему неподвижны.

Лаврентий принёс ему вместо запылённого, загрязнённого, истерзанного платья чистый шлафрок и туфли вместо испачканных башмаков.

«Нет, не надо, к чему т е п е р ь это?» – хотел сказать князь Никита, потому что в с ё уже теперь кончилось для него.

Но вместо того чтобы произнести эти слова, он издал лишь неясное мычание, воображая, однако, что всё-таки сказал то, что хотел, и даже махнул рукою, хотя вместо всякого другого движения только щёки у него опять запрыгали и рот скривился.

Лаврентий, видя его беспокойство, поспешно отошёл прочь со шлафроком и туфлями.

Волконский не знал, сколько времени прошло с тех пор, как его посадили так; время для него остановилось. Ему казалось, что он всё ещё бежит за телегою и видит блестящий на солнце шёлк белой одежды Аграфены Петровны. Он раскрыл рот, чтобы ему легче было бежать.

Не отходивший от него Лаврентий подумал, что он хочет пить, и поднёс ему опять воды. Впрочем, Никита Фёдорович действительно хотел пить и с удовольствием сделал несколько больших глотков. Это освежило его. Лаврентий догадался намочить ему голову.

Князь Никита встал, удивлённо посмотрел на Лаврентия и вдруг сделав несколько шагов, сел на пол, и ему стало легче.

Он увидел свою комнату и все предметы в ней снизу, под таким углом, под каким никогда не видал их, и эта разница производила своего рода впечатление, разбивала воспоминание. Комната казалась гораздо-гораздо выше, чем была в действительности, потолок не так давил, и воздуха словно стало больше.

Лаврентий, с испугом всплеснув руками, остановился и смотрел на своего «князиньку».

– А где Миша? – вдруг певучим голосом протянул князь Никита, и эта певучесть собственного голоса ему очень понравилась; ему захотелось ещё раз услыхать её.

«Что ж, если запою, если это так надо?» – подумал он и не то запел, не то снова протянул, как-то раздельно:

– Со-о свя-тыми упоко-ой…

Лаврентий закрыл лицо руками, зарыдал и выбежал из комнаты.

За дверями, прижавшись в уголок, сидела Роза.

– Роза Карловна, подите туда, – сказал ей Лаврентий, показывая головой на дверь к князю Никите, – мочи моей нет… не могу… не могу, сердце на куски расходится…

Роза отрицательно покачала головой.

– Если нужно, я тут, – ответила она. – я всё сделает, я для того тут; а как же я пойдёт туда, к господину князю?

Лаврентий махнул рукой на неё.

Миша с самого утра пропал в суматохе. Когда его хватились и стали искать, его нигде не было. Наконец его нашли у реки, где он сидел на берегу без шапки.

– Батюшка кличет вас, – сказал ему нашедший его и обрадованный этим человек.

– Ах да! Батюшка! – вскрикнул Миша и побежал к отцу.

Никита Фёдорович всё по-прежнему сидел на полу, скорчив ноги, обняв колена и опираясь на них подбородком, когда вошёл к нему сын. Он долю молча смотрел на него, вполне понимая что это – его сын, его Миша, которого он любит, но никакого чувства к нему не находил теперь в себе.

– У вас шиворот-навыворот! – вдруг старательно произнёс он, обращаясь к сыну и показывая на одну из пуговиц его камзольчика, которая действительно была перевёрнута.

Князь Никита отлично сознавал, что говорит почему-то сыну «вы», и что он может удержаться, чтобы не сказать их, но как-то ему вот не хотелось удерживаться, и он сказал.

У Миши было то самое растерянное, виноватое выражение, с которым он приходил обыкновенно, когда не знал урока. После того, что случилось утром, ему уже не казалось ничего странным, и он не удивился, зачем отец так сидел пред ним на полу и зачем, обращаясь с ним на «вы», он говорил о какой-то пуговице. Он думал только о матери и о том, что теперь могло быть с нею.

– А что, маменька не вернётся к нам? – спросил он.

Этот вопрос не раз уже приходил Никите Фёдоровичу в голову в течение этого дня. Он

вдруг широко открыл глаза и схватился за голову.

Миша был прав: ведь она могла вернуться. Это было не невозможно. Но вот что можно было сделать ещё: поехать в Москву и там добиться её освобождения.

В голове его появилась тень прежней ясности, и он вдруг заторопился и задвигался.

Лавретий не мог понять, чего он ищет. С этой минуты в голове Никиты Фёдоровича упорно засела только одна мысль – что Аграфенушка может вернуться. Он искал шляпу, чтобы идти навстречу жене. Он забыл, что шляпа была потеряна утром, и, не найдя её, вышел на двор с непокрытою головою.

Он прошёл к воротам довольно бодро и сел на прилаженную к ним скамеечку, с которой видна была далеко дорога.

Солнце уже низко спустилось на небе. От деревьев и строений легла длинная, косая тень. Вдали на дороге, скрывавшейся в лесу, куда, не отрываясь, смотрел Никита Фёдорович, синел уже полупрозрачный вечерний туман.

И вдруг в этой дымке тумана зашевелилось что-то. Никита Фёдорович протёр глаза. Они не обманывали его – какой-то экипаж подвигался к усадьбе. Лошади уже ясно были видны.

– Видишь? – показал князь Никита Лаврентию.

– Да, – тихо произнёс старик, не смея выразить свою радость, так как подумал:

«А вдруг это – княгиня?»

Волконский так и впился глазами в этот приближавшийся экипаж. Это была коляска. Вот она ближе, ближе. Её бубенчики давно уже стали слышны, и наконец князь Никита увидел растерянное, но старавшееся зачем-то улыбаться, лицо Феденьки Талызина. Он один сидел в своей коляске.

Никита Фёдорович вскочил и, как сумасшедший, побежал назад домой, к себе в комнату.

Талызина встретил Лаврентий.

– Ну, что у вас тут? – спросил гость с таким видом, что он уже знает, что переполох тут был, и что он сейчас «всё устроит».

– Горе, батюшка-барин, большое горе, – ответил Лаврентий, помогая Талызину выйти из коляски. – Приехали утром сегодня… – начал он.

– Знаю, знаю, и у меня были и все бумаги выбрали.

– Какое бумаги: тут не одни бумаги, – княгинюшку взяли и так, как была, увезли.

Талызин раскрыл рот, и всё его обнадёживающее выражение пропало.

– Как, княгинюшку? – переспросил он.

Лаврентий подробно рассказал всё случившееся утром. Талызин слушал, опустив в немом отчаянии голову и руки.

– Ну, а князь Никита? – спросил он, когда Лаврентий кончил.

– Да что он, мой батюшка! Словно дитя малое убивается, без ума совсем. Весь день у себя на полу сидел. Потом вот на дорогу вышел, да вас увидел и снова к себе убёг. С лица за день так изменился, что не узнать… И не плачет! Хотя бы слезинку уронил…

Талызин пошёл к Волконскому.

Никита Фёдорович сидел опять у себя на полу, но при входе гостя встал. Феденька не без робкой неловкости поздоровался с ним и оглядел его не как человека, а как какое-то словно иное, невиданное существо.

Князь Никита действительно сильно изменился. Глаза его были широко открыты, лицо чуть перекосилось, скулы выдались, и лоб мертвенно побледнел.

– И он т а к с самого утра? – спросил Талызин у Лаврентия.

– Что, с самого утра? – злобно сказал Волконский, сдвигая брови.

– Нет, ничего, – испуганно ответил Феденька, как будто удивляясь, что князь Никита не мог понять его слова.

– Я вот что думаю, – вдруг быстро заговорил Никита Фёдорович, глотая слова и не оканчивая их, – как хотите, а вы должны что-нибудь сделать нам. Так сидеть нельзя. Она

может вернуться, и мы должны помочь вернуться. Вы как хотите, а я решил уже, что еду завтра в Москву.

Он говорил без придыхания и остановок, ровно, не понижая и не повышая голоса, как будто говорил всё одну и ту же фразу.

Талызин помолчал.

– Слышишь? – обернулся он к Лаврентию шёпотом, но не стесняясь, однако, присутствием Никиты Фёдоровича. – Хочет в Москву ехать. Нельзя пускать: может и себе и другим бед наделать.

С этими словами Талызин повернулся к двери.

– Я посмотрю, кто не пустит меня! – громко крикнул ему вслед Волконский, ударив по столу кулаком.

Талызин остался на ночь.

Князю Никите принесли постель в его комнату. Он велел постлать ему на полу и лёг, не раздеваясь. Лаврентий остался у него в комнате, но Никита Фёдорович прогнал его. Лаврентий сел за дверями.

«Им кажется, что я – сумасшедший, что я сошёл с ума! – подумал Волконский, оставшись один, и улыбнулся этой мысли. – Господи! Да ведь сумасшедшие ничего не понимают, а я всё могу сообразить, всё вижу и чувствую, и мучаюсь».

Он поднял голову и, облокотившись на руку, лёжа стал смотреть пред собою.

Ему вспомнилось широкое поле с убегавшею вдаль дорогою, но не такое, как было сегодня пред его глазами, и на дороге всадники, и она, его будущая жена, в красной накидке и зелёном платье, потом охота, скачка в лесу, старый замок и чёрный доктор с его предсказанием. И князь Никита вспомнил тоже, что всю свою жизнь учился побеждать в себе ч е л о в е ч е с к и е страсти и страдания, что хотел быть выше их, и вот страшный искус был уже пред ним, и он не знал, как выдержит его. Легко ли сказать: что выносил он, и что ещё ждёт его!..

«А они думают, что я – сумасшедший!» – снова улыбнулся он.

Была уже середина ночи, а князь Никита всё ещё лежал с открытыми глазами, не смыкая их ни на минуту.

– Ну, пора! – проговорил он и поднялся.

Он тихонько приотворил дверь. Она скрипнула. Никита Фёдорович притаил дыхание, но всё было тихо. Лаврентий спал на стуле за дверью. Волконский, сам не слыша своих движений, как тень, прошёл мимо него. В средней комнате лежали шляпа и трость Талызина; князь взял их, открыл окно и вылез из него. Теперь он был на свободе.

V
РАЗЛУКА

Добравшись до Москвы, Никита Фёдорович прежде всего постарался отыскать Веселовского, но это не скоро удалось ему. Дня через три он нашёл его наконец и узнал, что Веселовский «был тоже взят». Из остальных друзей жены Волконский не знал, кто был в Москве; и их нельзя было видеть.

Никита Фёдорович вспомнил об Апраксине, которого он знал ещё, когда тот был в Ревеле генерал-губернатором.

Граф Фёдор Матвеевич Апраксин, сподвижник покойного императора Петра I, был членом Верховного совета, считался добродушнейшим человеком и многому мог помочь, если б захотел. Он был ещё покойным императором возведён в чин генерал-адмирала, всегда был на виду и теперь занимал выдающееся положение, но при этом никогда не имел врагов и неприятелей. Его как-то все любили.

Князь Никита решился пойти к нему. Ещё день прошёл в розысках дома, где жил Апраксин.

Он пришёл к Апраксину прямо с парадного крыльца. Сидевший в передней графа

старый дворовый, вязавший чулок, встретил его вопросительно-недоумевающе.

– Доложи графу, что князь Никита Фёдорович Волконский желает видеть его.

Эти слова были сказаны таким голосом, и осанка князя Никиты, несмотря на его одежду, так поразила старика, что он встал и пошёл докладывать.

Апраксин принял Волконского у себя в кабинете, сидя у бюро, с табакеркой и платком в руках.

– Милости прошу, будьте здоровы, – ласково встретил он князя Никиту, как неизменно встречал каждого своею добродушной улыбкой.

Никита Фёдорович сразу заговорил о деле. Апраксин выслушал, не перебивая, грустно-серьёзно.

– Знаю, знаю, – проговорил он наконец. – Намедни в Верховном совете слушали.

– Ну, и что ж? – бледнея, спросил Волконский.

Старик Апраксин пожал плечами.

– Ничего против немцев не поделаешь. Уж больно они скоры и всё поворачивают на свою сторону. Я ещё тогда в Петербурге за Маврина да Ганнибала старался говорить – куда! Только хуже вышло.

Фёдор Матвеевич махнул рукой, в пальцах которой зажал уже щепотку табака, и потом впихнул этот табак в нос.

– Ну, а теперь? – спросил опять Волконский.

– Теперь?.. что ж теперь?.. Да вот самое дело у меня, – я прочту, если хотите. – Апраксин взял подшитые одна к другой бумаги толстою тетрадкой, отвернул несколько листов и стал читать: – «Дворовые люди, Зайцев и Добрянский, явились к Андрею Ивановичу Остерману…»

– А! – беспомощно произнёс князь Никита.

Апраксин мельком взглянул на него и продолжал, как бы желая успокоить:

«Донесли, что помещице их, княгине Волконской, велено, за продерзости её, жить в деревне, не выезжая в Москву (слово «продерзости» он проглотил как-то), а она постоянно пребывает в подмосковной деревне двоюродного своего брата Фёдора Талызина, откуда ездит тайно в Москву, в Тушино, для свидания с Юрием Нелединским и с другими некоторыми людьми, между прочим, виделась и с секретарём Исаком Веселовским; ведёт тайную переписку со многими лицами в Москву и другие места; недавно же привёз тайно из Митавы, от отца её, Петра Бестужева, человек его письма, зашитые в подушки…»

– Ну, тут идёт переписка, – сказал Апраксин, снова переворачивая сразу большую пачку разноформатной исписанной бумаги, – а вот мнение совета… – Он пробежал глазами несколько строк про себя и опять громко прочёл: – «Княгиня Волконская и её приятели делали партии и искали при дворе беспокойство, и дабы то своё намерение сильнее в действо произвесть могли, искали себе помощи через Венский двор и так хотели вмешать постороннего государя в домовые его императорского величества дела… Сверх же того проповедовали о делах Верховного тайного совета…» – Апраксин пропустил ещё несколько строк. «За такие вины, – продолжал он, – совет рассудил[14]: княгиню Волконскую сослать до указу в дальний женский монастырь и содержать её там неисходно под надзором игуменьи; сенатору Нелединскому в сенате у дел не быть; Егору Пашкову в военной коллегии не быть; Веселовского сослать в Гилян, Черкасова – в Астрахань к провиантным делам…»

Апраксин, видимо, разошёлся, попав на разбор дела и, по привычке к докладам, не мог остановиться и покатился, желая представить дело как можно обстоятельнее. Он уже сам себя слушал:

– Вышеречённое мнение, – заговорил он приятным голосом, – было отправлено к

---

[14] Решение комиссии Верховного тайного совета по делу кн. А. П. Волконской, сенатора Ю. Нелединского, члена военной коллегии Е. Пашкова и других членов так называемого «бестужевского кружка» состоялось 28 мая 1728 года.

князю Алексею Григорьевичу Долгорукову при следующем письме: «Сиятельный князь! Понеже дело княгини Волконской и прочих по тому делу ко окончанию приведено, того ради ваше сиятельство просим, извольте по тому мнению его величеству доложить, и что изволит указать, о том нас уведомить». И князь Алексей прислал немедленный ответ таковой: «Сиятельные тайные советники, мои милостивые государи, по письму ваших сиятельств и по присланном приговоре его императорскому величеству докладывал, и через сие моё объявлю: его величество по приговору ваших сиятельств быть повелел, и тако сие донести пребываю и прочее…» Так вот, – заключил Апраксин и, подняв взор на князя Никиту, ужаснулся тому, что сделал.

Волконский сидел пред ним, точно хотел вскочить и вцепиться в него. Особенно страшны казались его глаза, щёки дёргались.

– Так вот, – заговорил он, – что ж, вы хотите разлучить меня с нею? Разлучить?.. Да разве это в вашей власти?.. Разве это в вашей власти, спрашиваю я вас? – И вдруг он захохотал, захохотал так, что Апраксину сделалось холодно. – Да, я смеюсь, – силился проговорить он сквозь смех, – я смеюсь над вами и презираю вас, как презираю ту разлуку, какую вы здесь придумали. А вы забыли дух… Дух! – вскрикнул Волконский, вскакивая с места и махая плавно, но неестественно своим словам руками. – Я захочу – и буду возле неё сейчас, духом моим буду… Он вечен… Я вечен. Разлука ваша – лишение… лишение человеческое… испытание духа. Я выдержу его. Это так ничтожно, временно. Здесь мне ничего не нужно… Суета!.. Всё – суета и томление духа… Я над вами смеюсь… – и он снова засмеялся.

Добродушный старик Апраксин растерянно смотрел на него, держа наотлёт свою табакерку с платком. Вдруг, точно он вспомнил что-то, он встал и старческими, особенно старческими в минуту сильного волнения шагами подошёл к Волконскому. Он всем телом дрожал.

– Успокойтесь, князинька, – проговорил он, – успокойтесь, голубчик; вот пройдёмте сюда! – и он своей трясущейся рукой силился поднять князя Никиту.

Волконский перестал смеяться, тихо поднялся с кресел, огляделся и покорно пошёл, куда его вёл Апраксин. Тот довёл его до двери, втолкнул в маленькую соседнюю комнатку и быстро запер дверь.

С этой минуты князь Никита долго не помнил ничего.

Сначала была какая-то тишина и стемнело. Потом опять рассвело. Кажется, кто-то приходил, какие-то верёвки стягивали неловко ему руки; потом стук колёс, и снова тишина – долгая, долгая тишина.

После этой долгой тишины он вдруг почувствовал, что грудь его дышит, и сердце бьётся в ней. Он открыл глаза и огляделся. Он лежал в полутёмной комнате с каким-то окошечком наверху; под ним почему-то вместо постели была солома. Он ощупал себя руками и разглядел их. На них, повыше кисти, были заживающие уже поперечные ссадины.

«Меня связывали, – догадался князь Никита, – но зачем?»

– Вот он тут у меня, – послышался за деревянной перегородкой голос. – Лежит вторую неделю без движения; теперь столбняк на него нашёл. Я вам говорю, совсем без ума, всё равно, что зверь без души.

Никита Фёдорович узнал говоривший голос. Это был Феденька Талызин.

– А доктору показывали? – спросил другой голос, тоже знакомый.

– Да что ж, доктору? Вы знаете, ведь там у докторов на цепь сажают и обращение уж очень крутое, – здесь, у меня, ему всё-таки лучше. Вот вас дожидался, а теперь посмотрим… Вы всё-таки хотите пройти к нему?

– Да, – ответил всё тот же знакомый голос.

– Ох, не ходите, Михаил Петрович, неровен час!

«Михаил Петрович! – подумал Волконский. – Это – П а н т а л о н!» – вспомнил он почему-то именно прозвище шурина.

– Да отчего вы его держите взаперти, – опять спросил Бестужев, – разве он буен?

– Нет, не буен – смирный. Но тогда, как он убежал от нас, мы, как ни искали, не могли найти его. Думали уже, что кончил с собою, да вдруг он явился в Москве, к самому Апраксину-старику, наговорил ему всего совсем несуразного, уверял, что он – дух, а не человек, смеялся, кричал, что он вечен и всемогущ. И смех и горе просто… Напугал так старика… Тот его насилу в комнату запер. Прислали за мною… Ну, вот я привёз его к себе и боюсь, чтобы он снова не ушёл да не натворил чего.

– Ну, а «ей» не сказали, что он сошёл с ума?

– Нет, она не знает, ей только сказали, что он болен. А очень ей хотелось видеть его, как уезжала.

– Пустите меня к ней!.. Не сумасшедший я вовсе! – вдруг ясно и отчётливо крикнул князь Никита.

– Слышите? Очнулся! – проговорил Талызин.

– Ну да, пойдёмте к нему!

Замок щёлкнул. Маленькая дверь открылась, и в ней показалась фигура Михаила Петровича. Талызин не вошёл.

Бестужев поздоровался с князем Никитой, пощупал его голову, оглядел руки и спросил, давно ли Никита Фёдорович был на воздухе.

– Не помню, – ответил он совершенно твёрдо.

– А хотели бы пройтись?

Никита Фёдорович вместо ответа бодро встал со своей соломы.

Бестужев взял его под руку и вывел на свет.

Волконский вышел, щурясь после своей полутёмной комнаты.

– А где Миша, Лаврентий? – спросил он.

– Они придут, придут, – успокоительно произнёс Михаил Петрович.

Лаврентий действительно сейчас же пришёл. Волконский при его помощи умылся, надел чистое бельё, камзол и башмаки и вышел в сад к Михаилу Петровичу. Талызин не показывался.

Никита Фёдорович долго ходил по саду с Бестужевым, стараясь как можно разумнее доказать, что он не сумасшедший, и, беспрестанно повторяя это слово, говорил по чести, что всё может понять и понимает.

Михаил Петрович не только не возражал, но часто одобрительно кивал головою, как будто верил в каждое слово Волконского, вполне разделял его мнение и убеждался его доводами. Наконец он будто совсем убедился и ушёл в дом по аллее, с видом человека, которому предстоит ещё много дела.

Никита Фёдорович остался ходить в саду с Лаврентием, который почему-то счёл нужным поддержать его под руку, хотя князь шёл совсем бодро. Волконский, как бы не желая обидеть Лаврентия, не запрещал ему делать это, если ему так казалось лучше, и продолжал ходить молча.

Наконец в аллее показался Талызин, неуверенно подходивший к князю Никите. Волконский остановился навстречу ему. Феденька подошёл на приличное всё-таки расстояние и участливо, стараясь говорить как можно спокойнее, спросил:

– Ну что, как вы? Не хотите ли отдохнуть? Вам уже пора спать, я думаю.

Это значило другими словами – ступайте под замок.

Волконский ничего не отвечал. Прошло несколько времени неловкого, тяжёлого молчания. Наконец выступил вперёд Лаврентий.

– Батюшка-барин, – заговорил он, повалясь Талызину в ноги, – отпустите нас к себе! Мы никому зла не сделаем. Отпустите, что вам теперь… мы уедем, ей-Богу, сейчас уедем… Чего вам бояться отпустить нас…

И Лаврентий стал просить и доказывать, что лучше всего для его князиньки уехать к себе и что он будет жить там, голубчик, никого не трогая.

– Конечно, пустите меня домой, – проговорил князь Никита так просто и здраво, что Талызину показалось это, наконец, вполне должным и возможным.

– Как угодно, – протяжно проговорил он. – Как угодно вам… Что ж, я сейчас же велю заложить коляску… я сейчас…

– Благодарю вас, – сказал Волконский, протягивая руку.

– Я сейчас, – повторил Талызин и, быстро повернувшись, почти бегом направился в дом.

В это время со стороны двора, у крыльца дома, стояла уже коляска Михаила Петровича Бестужева, и возле неё хлопотали люди с вещами.

Сам Бестужев, одетый по-дорожному, стоял тут же, держа за руку Мишу, которого увозил с собою, к себе, не желая оставить его на руках Талызина, а тем более сумасшедшего отца.

– Просится к себе. Как вы думаете, отпустить? – спросил, подходя, Талызин, бровями показывая, что говорит про того, кто в саду.

– Отпускайте, всё равно, – бегло, сквозь зубы произнёс Михаил Петрович, тоже показывая глазами на Мишу, чтобы Талызин замолчал при нём: дескать, вы там, как хотите, мне всё равно, а ребёнка дайте увезти спокойно.

– Дяденька, – сказал Миша, – мне хотелось бы повидать на прощанье батюшку.

– Я сказал тебе, что отец твой болен и лучше не беспокоить его, – ответил Бестужев, – он скоро выздоровеет и приедет к нам.

Миша недоверчиво, глубоко вздохнул.

– Ну, готово! – проговорил Михаил Петрович. – Едем! – и он стал прощаться с Талызиным.

Через час другая коляска стояла у крыльца. Князь Никита с Лаврентием уезжали к себе.

– А Миша, где же Миша? – беспокойно спрашивал Никита Фёдорович.

Ему сказали, что Миша ждёт его у них в деревне, и князь Никита уехал домой в надежде, что увидит там сына.

VI
В ДЕРЕВНЕ

Когда князь Никита приехал к себе в деревню и не нашёл там сына, он принял это гораздо спокойнее, чем думал Лаврентий, как будто он ждал этого и был готов к тому, или как будто это новое несчастье кольнуло его в такую душевную рану, боль которой была уже настолько сильна, что её ничем, никаким новым несчастьем нельзя было увеличить.

Он поселился в опустевшем теперь для него доме и по целым дням ходил, не проронив ни одного слова. Учение было оставлено. Медицина и книги – всё оставлено. Постройка, которую не для кого было делать, стояла в запустении, доски мало-помалу разносили, кто хотел ими пользоваться, и пробитая к ней тропинка заросла свежею, зелёною травой.

Князь Никита ничего не делал и ни с кем, даже с Лаврентием, не говорил. Ел он редко, когда попадётся, спал, когда случится, иногда среди дня, где-нибудь в углу, на кресле. Ночи почти всегда были у него бессонные.

«Ух, тяжело! – думал он всегда одно и то же, – тяжело вот тут, – он брался за грудь и сдавливал её. – Один… один… Всех взяли, всех увезли… Но я снесу… И его увезли… Тяжело!.. Они думают, что я сумасшедший, – но мне легче было бы, если бы я с ума сошёл. Я не понимал бы тогда, а тут я живу, я понимаю…»

Иногда он пробовал закрывать глаза и, закрыв их, вызывал пред собою милые ему образы, – и тогда недавнее прошлое представлялось ему так ясно, так подробно, как будто он всё ещё жил в нём. Это облегчало на один миг, на один миг приносило отраду; но глаза открывались – и действительность становилась ещё мучительнее, чувствовалась ещё живее.

Князь Никита не пропускал ни одной церковной службы.

Он часто тоже молился пред большой киотой в спальне, пред которой столько лет каждый день утром и вечером читал молитвы, стоя вместе со своей княгиней. Порою, когда он с закрытыми глазами и со сложенными руками опускался теперь здесь один на колена,

ему вдруг казалось, что рядом с ним снова шепчет милый, тихий голос, повторяя за ним. Это был голос её, Аграфены Петровны, и князь Никита обыкновенно слышал его так ясно, что верил, что это она, действительно она приходила к нему.

Он писал длинные письма и жене, и сыну, и Михаилу Петровичу, но не получал ответа, словно его письма не доходили никуда.

Так прошло месяца три.

Князь Никита всё молчал по-прежнему, подолгу глядел в одну случайно попавшуюся на глаза точку, выходил из дома с непокрытою, несмотря на дождь и непогоду, головою и по целым дням без отдыха и устали бродил, не замечая, куда он идёт. Он часто подходил так к обрыву реки, но так же бессознательно поворачивал назад, как и подошёл, словно кто-нибудь удерживал его и отводил от опасного места.

Крестьяне уже привыкли встречать его так, и с сожалением, соболезнуя, долго провожали глазами «своего несчастного князиньку», как они говорили.

Наконец душевное состояние князя Никиты дошло до таких пределов невыразимой, безмерной муки, что он по временам терял сознание под её безысходным гнётом.

У него явились совсем особенные, не свойственные другим людям движения. Так, по временам он выставлял пред собою согнутые руки и, плавно и мерно приседая, поводил ими вперёд и назад, будто плыл. Ему всё казалось, что внутри его будто колыхается что-то, точно хочет поднять его от земли.

Раз он вернулся после целого дня ходьбы в таком состоянии, что даже привыкший к его виду Лаврентий поразился. Князь Никита, как лунатик, не видя ничего по сторонам, прошёл прямо в комнату, которая прежде называлась его комнатой (теперь такое название не имело уже смысла – он был один во всём доме), и приблизился к столу.

«Что-то мне тут нужно было? – вспоминал он. – Но что?.. Я зачем-то шёл сюда…»

На глаза ему попался ножик; он отбросил его.

«Библия!» – вспомнил князь и взял со стола запылённую толстую книгу.

Прежде он часто, когда его мучило что-нибудь, брал эту книгу, развёртывал её наугад и всегда находил себе ответ. Он вспомнил это теперь и хотел посмотреть, что скажет ему Библия.

Он зажмурил глаза, как всегда делал, взял обеими руками книгу, повернул её вверх обрезом и, перебрав большими пальцами края листов, быстро раскрыл, словно сломал её на две части.

Ему открылся тридцать седьмой псалом:

«Сердце моё трепещет, оставила меня сила моя, и свет очей моих – и того нет у меня.

Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.

Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни.

А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих.

И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа.

Ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи Боже мой…»

– Ты услышишь, Господи Боже мой! – повторил вслух князь Никита и положил книгу на место.

И ему стало легче.

Теперь душевная мука как-то меньше мешала его мыслям слагаться последовательно и связно. Теперь он мог заняться ими и хоть на некоторое время отвлечься от своих мучений.

«Что-то важное нужно мне было обдумать, – рассуждал он. – Да! Весь вопрос в том, болен я или нет, сумасшедший я или не сумасшедший. Впрочем, это всё равно. Но как поступил бы здоровый человек на моём месте?»

Он первый сомневался в здравости своего ума.

Конечно, я болен, – решил он, – разве здоровый человек сидел бы так, когда никто не мешает поехать хоть сейчас к ней и жить возле её Тихвинского монастыря».

Волконский узнал через Лаврентия, что Аграфена Петровна была сослана в

Тихвинский монастырь.

«Однако эта мысль всё-таки пришла мне в голову, – сейчас же подумал он, – значит, я ещё не совсем того… Завтра же подумаю, как ехать туда… Но отчего же завтра?.. А вот отчего: имею ли я право ехать туда, если так нужно, чтобы мы некоторое время были по-человечески розно?.. Я могу поехать, но это будет слабостью… Значит, я нарушу испытание, и освобождение моего духа отложится… Это так, а теперь оно близко… близко».

Князь подошёл к образу и забыл, о чём только что думал.

Через несколько дней он опять вспомнил об этом и стал собираться в Тихвин, но мысли его опять рассеялись, словно растаяли. Однако он всё-таки не решил окончательно не ехать, а только как-то не мог во всех подробностях мысленно охватить своё предположение; всегда, дойдя до известного места, рассуждения его сворачивали в сторону так же невольно, как он сворачивал, близко подойдя к обрыву реки.

Вечера с каждым днём становились длиннее. Наконец выпал снег, и наступила зима, принёсшая со своим снегом, холодом, ранними сумерками и заунывным воем метели ещё больше тоски и томления. Но и зимою князь Никита по-прежнему выходил из дома, и если б следивший за ним Лаврентий не успевал накидывать на него его беличью короткую шубку, он так и шёл бы на мороз без верхнего платья.

А через несколько времени, в январе 1730 года, скончался от оспы в Москве молодой император Пётр Алексеевич. Российский престол снова был свободен, и снова поднялся вопрос: кто займёт его?

В деревню князя Никиты эти новости хотя и дошли очень скоро, и Лаврентий сообщил ему их, но князь как-то не придал важности этому событию. Ему не пришло в голову, что участь его Аграфены Петровны зависит теперь от лица, которое взойдёт на этот престол, и что княгиня Волконская, обвинённая по проискам Остермана, сильного в царствование молодого Петра, может получить помилование теперь, если при изменившихся обстоятельствах сам Остерман впадёт в немилость.

Екклезиаст говорил:

«Ещё видел я под солнцем: место суда, а там беззаконие; место правды, а там неправда.

И сказал я в сердце своём: праведного и нечестивого будет судить Бог; потому что время для каждой вещи и суд над всяким делом там».

В конце февраля стояли ещё морозные дни, но они были ясны, и снег ослепительно блестел под игравшими на нём лучами солнца.

Князь Никита в своей беличьей шубке прошёлся далеко полем по дороге и возвращался через деревню домой.

Какое-то непривычное, странное оживление было заметно в деревне. Староста с дубинкой ходил под оконца изб, постукивал и вызывал мужиков. Те выходили, оправлялись и нехотя, но всё-таки поспешно подвигались к церкви. Бабы прятались.

У церкви собралась уже большая толпа. На паперти стояли несколько приезжих военных, губернаторский чиновник и деревенский священник во всём облачении и с крестом в руках.

Князь Никита не спеша подошёл к толпе, которая всё прибывала. На паперти, видимо, заметили его приближение, потому что офицер, показывая на Волконского, спросил что-то у чиновника и кивнул головою.

– Дядя Ермил, али драть кого будут? – спросил неподалёку от Никиты Фёдоровича подбежавший парень, но дядя Ермил уже не ответил ему.

Две какие-то бабы с коромыслами на плечах подошли было тоже к толпе, но, увидев на паперти чиновника, ахнули и, побросав вёдра, стремглав, сдуру, кинулись прочь бегом.

В это время староста, степенный мужик, обойдя, должно быть, деревню, подошёл без шапки к губернаторскому чиновнику и с низким поклоном доложил ему что-то.

Чиновник даже не обернулся на этот низкий, почти земной поклон старосты и, махнув рукою остальным мужикам, и без того стоявшим без шапок, в полном молчании, развернул большую бумагу с печатью. Военные приложили руки к шляпам.

Чиновник прочёл манифест о восшествии на престол государыни императрицы Анны Иоанновны. Он читал очень дурно, и чтение продолжалось очень долго, он давно охрип, видимо, не в первый уже раз читая манифест на холоде.

Когда чиновник кончил, толпа некоторое время оставалась сначала безгласною. Потом вдруг откуда-то из задних рядов послышался пробасивший голос:

– Не согласны!

Стоявший у самой паперти староста вздрогнул и, побледнев, беспокойно обернулся, отыскивая глазами того, чей был этот голос. Но этот голос сейчас же стал голосом всей толпы.

– Не согласны, не согласны, – сдержанно, но потом всё смелее послышалось кругом.

Чиновник растерянно оглянулся и посмотрел на офицера, как бы ища его помощи. Офицер молча смотрел на толпу, сурово поводя глазами и наморщив брови.

А волнение толпы разрасталось.

– Ишь нашли – императрица! Как же… когда сам царь Пётр жив… жив… пра-а!.. К нам едет… Не согласны… как же… а энто опять… Жив… И по старому закону…

Толпа гудела бессвязные, бессмысленные речи. Очевидно, ходившие толки повлияли на мужиков, они что-то слышали и хотели как-то показать свою разумность, протестовали против чего-то. Но князь Никита, следивший теперь за всем происходившим, понимал только одно – и это было для него главное в эту минуту, – что эти люди, запротестовавшие под влиянием сбившей их с толку молвы и неожиданного объявления о воцарении новой императрицы (он не успел ещё вспомнить, что это была та самая Анна Иоанновна, которую он знал бедною, забытою герцогиней в Курляндии), – бормотали свои несуразные слова, собственно, не желая никому зла; вместе с тем князь Никита видел, что стоявший на паперти офицер тоже зла никому не хотел, но лицо его становилось всё грознее и грознее, и пройдёт ещё минута – и офицер велит бить этих людей, и им будет больно, и это будет ужасно, и, главное – не нужно.

Князь сделал шаг вперёд. Толпа вдруг расступилась пред ним, пропуская его.

Да, пред этим спокойным, неподвижным, тихим лицом и нельзя было не расступиться толпе. Князь Никита сильно изменился в последние полтора года. Бледный, высокий лоб его покрылся морщинами, щёки, покрытые сквозною бледностью, ввалились, в глазах светился лихорадочный огонь, губы побледнели, и весь он исхудал, как только может исхудать человек.

Высокий, строгий, смотрящий прямо пред собою, он прошёл среди толпы, которая вдруг вся, заметив его, притихла, поднялся на две ступени паперти и высоко поднял правую руку.

Священник, воспользовавшись минутой тишины, начал читать слова присяги, и князь Никита слабым, но внятным голосом стал присягать как помещик за себя и за своих крестьян новой императрице Анне Иоанновне, а затем, кончив присягу, спустился со ступеней паперти, и снова, не обращая ни на кого внимания, ушёл по дороге в поле.

Чиновника и военных угощал в барском доме Лаврентий.

VII
ГОСТЬ

Никита Фёдорович, как обыкновенно, сидел вечером дома в большом кресле и не то грезил наяву воспоминаниями прошлого, не то дремал, потому что спать не мог.

На дворе крутила метель, с подветренной стороны заносившая маленький домик снегом выше окон. Метель жалобно пела свои бесконечные песни и белыми вертящимися призраками носилась кругом, словно ища, с которой стороны ворваться в жильё, и сердилась, что это жильё не пускало её.

Восковая свеча тускло горела на столике у кресла, где лежала развёрнутая Библия.

Вдруг в этих однообразных, надоевших и приучивших к себе ухо звуках метели

послышался какой-то новый, задорный, привходящий звук. Это были колокольчик и бубенчики.

Князь Никита прислушался: колокольчик звучал под самыми окнами.

Лаврентий хлопнул дверью своей комнатки и тяжёлыми, быстрыми шагами побежал в сени.

Скоро в сенях послышались стук, кашлянье и возня. Кто-то приехал.

Но Никите Фёдоровичу было безразлично. Пусть приезжают! Это его, как ничто другое, не могло интересовать.

– Батюшка, князинька, – послышался голос Лаврентия, – посмотрите, приехал-то кто?

В комнату входил Черемзин.

Волконский как-то написал ему, и, получив это письмо и узнав обо всём случившемся, Черемзин при первой же возможности собрался и приехал навестить князя Никиту.

Об истинном положении «князиньки» Лаврентий успел уже в передней доложить Черемзину, который, впрочем, и по письму уже догадывался.

Никита Фёдорович быстро встал навстречу гостю и исподлобья взглянул на него, точно конфузясь и стыдясь приятеля. Он остановился с опущенными руками, выпрямившись во весь рост…

– Батюшка-барин, садитесь, – заговорил Лаврентий, подставляя посетителю стул, – сейчас я вам принесу с дороги-то закусить, да горяченького чего-нибудь… я сейчас, сейчас! – и взволнованный старик слуга, подбирая слёзы, побежал за горяченьким…

Черемзин сел против князя Никиты, который вместо радости, вместо всякого другого чувства, продолжал ощущать всю свою неловкость, охватившую его при появлении нежданного гостя.

Эти два человека, сидевшие с глазу на глаз и начавшие когда-то почти вместе жизнь, были теперь совершенно не похожи друг на друга. Никита Фёдорович был худ, бледен, изнеможен и едва держался в коже и косточках, как говаривал Лаврентий, Черемзин же был румян, бодр, здоров, видимо, привык встречать только улыбку жизни и избалован ею, казался не только свежее, но и моложе своего товарища детства.

Черемзин думал, что он сделал всё от него зависящее – приехал за тридевять земель, специально для того, чтобы навестить Волконского, помочь ему и утешить его, но теперь видел, что тут ни помочь, ни утешить нельзя. И чувство конфузливости и неловкости стало мало-помалу овладевать и им.

– Вот беда – спать не могу совсем! – произнёс вдруг почему-то князь Никита, как будто всё его горе и заключалось только в этом.

У Черемзина сердце сжалось щемящею болью. Ему было невыносимо жалко смотреть на Волконского. Он только теперь понял всё его ужасное положение, которое издалека казалось ему не таким беспомощным.

Лаврентий принёс закусить.

– Ну, как вы, барин? – спросил он Черемзина. – Как изволите жить? Давно ведь не видели – с самого последнего приезда.

Черемзин был благодарен Лаврентию, что тот заговорил и дал, так сказать, возможность выйти из неловкого молчания. Действительно, трудно было начать о чём-нибудь беседу. Говорить о самом князе Никите и его горе – значило ещё больше растравлять его. О самом себе Черемзин боялся говорить, потому что был слишком счастлив, слишком избалован своею жизнью.

– Жениться изволили? Деточки есть? – спросил между тем Лаврентий.

– Да, я женат и дети есть, – ответил Черемзин тихо, точно извиняясь за своё счастье.

– Ты женат? – спросил Волконский.

– Да, на Трубецкой, помнишь? и тебе обязан этим.

– Как мне? – удивился князь Никита. – Отчего мне?

– Да как же! Помнишь, когда я приезжал… – Он хотел сказать «к вам», но удержался, – приезжал сюда, отчаявшись, что моя Ирина Петровна будет когда-нибудь моею… Тогда

старый привередник-князь – он жив до сих пор и уже во многом переменился, – не желая отдавать дочь за меня, придрался к тому, что я не на десять лет старше её, а только на девять.

– Ну? – спросил Волконский, и в его глазах появилось как будто внимание.

Этот свежий, здоровый голос Черемзина и сам Черемзин, говоривший о вещах, совершенно противоположных тому, о чём князь Никита думал изо дня в день, перебили его думы, ворвались к нему и готовы были охватить и хотя на миг рассеять его.

Никита Фёдорович невольно подчинился рассказу гостя и стал следить за ним.

Хотя ему говорили, что всё это он должен был помнить, однако, он ничего не помнил и слушал как новое, но тем не менее почему-то занимательное.

– Ну, и ты же мне помог тогда, – продолжал Черемзин с большим оживлением, видя, что его слова производят благоприятное действие. – Ты меня уговорил ехать назад в деревню к себе и дал мне с собою запечатанную бумагу. В ней я нашёл расчёт, по которому выходило, что я старше Ирины Петровны на столько именно лет, на сколько требовал её отец. Трубецкой только развёл руками и согласился.

– Как же это так? – опять спросил Волконский, придвигаясь.

Он чувствовал, что рад, что ему говорят о постороннем, и что он может направить свои мысли на это постороннее.

– Очень просто, – пояснил Черемзин. делая вид, что тут не было ничего странного в том, что князь Никита забыл об этом. – Видишь ли, я родился в 1689 году. В 1727 году, когда я женился, Ирине Петровне было двадцать девять лет. Старик Трубецкой вычел тогда 1689 из 1727 и решил, что мне 38 лет, понимаешь? Но дело в том, что я родился в октябре. Ты и вспомнил, что у нас до 1700 года новый год встречали в сентябре, и только с этого года – с января. Таким образом вышло, что в 1699 году было два октября. В первый октябрь мне минуло десять лет, – во второй – одиннадцать, а в октябре 1700 года было уже двенадцать. Значит, в 1727 году мне было тридцать девять лет… и я оказался старше своей невесты ровно на десять лет. Она же родилась в июле, и поэтому относительно её не могло произойти ошибки.

– Так! – произнёс Волконский. – И неужели это я придумал, тогда?

– Да, ты.

Разговаривая таким образом, Черемзин ни разу не намекал, не коснулся того, что могло бы затронуть и разбередить душевную рану Никиты Фёдоровича.

Он пробыл у князя опять недели две и всё время был разговорчивым и занимательным. Он знал, что помочь Волконскому ничем нельзя, а можно было только облегчить его нравственные страдания, и это облегчение состояло лишь в том, чтобы по возможности рассеять его.

Он звал князя Никиту к себе.

– Куда мне! – грустно ответил Никита Фёдорович, и Черемзин перевёл разговор на другую тему.

Через две недели он уехал к себе в деревню, к своей Ирине Петровне, любящей и любимой, с которою в первый раз после свадьбы расстался, чтобы навестить друга. Он невольно стремился к ней, к своей счастливой, тихой жизни.

Теперь он чувствовал ещё глубже, ещё осязательней то счастье, которое выпало на его долю.

Приезд Черемзина освежил Никиту Фёдоровича.

Он с Лаврентием проводил гостя, как близкого, как родного человека.

– И посмотрю я на вас, князинька, – сказал Лаврентий Никите Фёдоровичу, – за что судьба слепа так! Отчего другим счастье здесь посылается, а вам не дано оно? Чем, правда, прогневали вы Господа? Кажется, другого такого я и не видывал, а вот доброта ваша не имеет награды!.. Уж я и так думал: правда, есть несчастливые, и ещё несчастнее вашего, да нам-то от этого разве легче… легче разве? – с сокрушением повторил он.

Никита Фёдорович сидел, опустив голову на руки, и задумчиво слушал старика слугу.

– Ты жалеешь меня, – вдруг сказал он, – находишь несчастным, потому что у нас был

добрый человек, которому здесь, на земле, хорошо живётся. Вот ты и меня пожалел. А чего жалеть меня? Я не жалею. Недолго осталось. А здешняя жизнь всё равно – испытание; и ему, – он говорил про Черемзина, – в его счастье испытание, и мне в моём горе – тоже испытание. И его испытание гораздо труднее моего. Нет, жалеть меня не нужно… не нужно, Лаврентий! – заключил князь Никита и снова задумался.

Лаврентий взглянул на него молча, вздохнул и ушёл к себе.

Вскоре после отъезда Черемзина Никита Фёдорович, облегчённый ненадолго в своём страдании, снова был охвачен им, и снова его мысли сосредоточились на прежнем, и недуг завладел им.

VIII
СНОВА В ПЕТЕРБУРГЕ

Та самая Анна Иоанновна, незначительная герцогиня маленькой Курляндии, которая содержалась в Митаве из политических видов, у которой никто не справлялся, не спрашивал, нравится ли ей самой тоска и скука, которую она испытывала, проводя лучшие годы взаперти, – та самая герцогиня Анна, которая робела пред Меншиковым и приезжала в Петербург хлопотать за своего Морица и которой запретили думать о Морице и велели снова ехать в ненавистное ей «своё» герцогство, – та самая, которая так недавно ещё беднялась, жаловалась на свою судьбу, не видела выхода впереди и со «вдовьим сиротством» переносившая своё положение – теперь вдруг стала могущественной государыней России.

Обстоятельства сложились так, что, чем забитее, чем униженнее была удалённая от двора и всех его интриг дочь Иоанна Алексеевича, родного брата императора Петра, тем оказалась вернее и надёжнее дорога её к Российскому престолу.

По смерти Петра II члены Верховного тайного совета рассудили ограничить императорскую власть и получить львиную часть в управлении государством.

– Батюшки мои, прибавьте нам как можно больше воли! – слышалось тогда на совещаниях.

И вот была избранна смиренная, как думали, привыкшая к подчинению герцогиня Курляндская, то есть лицо, которое вполне соответствовало планам «верховников», как называли тогда господ, захвативших в свои руки власть.

Ей посланы были в Митаву приглашения и ограничительные пункты, которые она должна была подписать.

Анна Иоанновна, подписав пункты, явилась в Москву государыней. Но как только верховная власть перестала быть отвлечённою, воплотилась в живое лицо, так всякие мудрые и хитрые ограничения пали сами собою. Анна Иоанновна явилась государыней, и Россия, вопреки «верховникам», назвала её самодержавною, потому что не хотела и не могла полюбить другую власть.

Ограничительные пункты были разорваны, «верховники» подчинились без возражений, и Анна Иоанновна короновалась единовластною и самодержавною. Полученные ею в молодости предсказания о короне сбылись.

Первые два года своего царствования Анна провела в беспокойстве в Москве, не зная, насколько сильна она и насколько серьёзна та опасность, которая может возникнуть от готовых с каждым днём появиться придворных интриг.

Это беспокойное, переходное состояние наконец выяснилось к концу второго года. Главная надежда была на гвардию, в преданности которой нельзя было уже сомневаться, и Анна Иоанновна решилась переехать в Петербург на постоянное жительство, со спокойным сердцем оканчивая своё временное, тревожное пребывание в Москве.

Торжественный въезд императрицы в Петербург состоялся в начале января 1732 года.

Анна Иоанновна поселилась в старом зимнем дворце и уже на свободе устроила свою жизнь так, как ей хотелось.

Дела государственные ведал учреждённый ею вместо прежнего Верховного совета

кабинет министров.

Совершенно неподготовленная к тому месту, которое судьба предназначила ей, Анна Иоанновна занималась с гораздо большею охотой своими личными делами. И в этих личных делах был один маленький уголок, было одно воспоминание, которое не раз уже приходило ей в голову с тех пор, как она стала всемогущею повелительницей.

Многие из тех, против кого она прежде имела что-нибудь получили уже, по её мнению, «должное», но Аграфена Бестужева, по мужу княгиня Волконская, жила, сосланная в монастырь: её «дело» было давным-давно закончено и рассмотрено, и для его возобновления не было повода. Аграфена Петровна со своим монастырским житьём как-то уходила из-под власти новой государыни, становилась для неё как бы недосягаемою, словом, к ней нельзя было подойти ни с какой стороны.

«А где её муж?» – вспомнила однажды Анна.

Ей доложили, что он – слабоумный, проживает у себя в деревне.

Анна Иоанновна приказала представить ко двору «слабоумного» князя Волконского и сама написала о том в Москву, к Салтыкову.

С этим письмом поскакал нарочный в Москву, и Салтыков поспешил исполнить приказание государыни.

В феврале в придворной оранжерее созрели ананасы. Анна Иоанновна со всем своим штатом ездила смотреть эту диковинку, только что появившуюся из жарких стран, сама собственноручно срезала два ананаса и, оставшись очень довольна этим, вернулась во дворец весёлая и в духе.

Там ей вдруг стало жаль своего хорошего расположения. Она в полдень пообедала, до ужина ещё было далеко, а делать, казалось, решительно было нечего, и Анна Иоанновна боялась, что ей станет скучно.

Спросить сластей и есть она не могла, потому что покушала в оранжерее ананаса; заставить фрейлин петь, – но тогда ничего не останется к вечеру. По вечерам обыкновенно она заставляла фрейлин тешить себя пением.

Она уже начинала хмуриться, как вдруг расторопная, говорливая Авдотья Ивановна Чернышёва, стоявшая у её кресла и следившая за выражением во всех подробностях изученного лица государыни, сказала как раз вовремя:

– Матушка императрица, сегодня из Москвы привезли слабоумного – князя Никиту привезли.

Лицо Анны Иоанновны оживилось.

– Что ж раньше мне никто не сказал? – воскликнула она. – Приведите его, приведите!

Несколько фрейлин бросились исполнять это приказание.

Князя Никиту ввели, и Анна Иоанновна остановила на нём долгий-долгий, казавшийся насмешливым взгляд.

Он стоял, глядя прямо пред собою и, казалось, не только не обращал ни на что внимания, но даже не понимал, где он и что с ним. Глаза его остановились где-то сверху, повыше Анны, лицо было серьёзно, только рот сложился в неестественную, жалкую улыбку.

С тех пор как его одного, запретив ехать с ним Лаврентию, взяли из деревни, и он очутился в тёмном, узком пространстве возка, откуда его не отпускали всю дорогу, он потерял всякое сознание окружающего.

Жизнь, к которой он привык в последние четыре года, то есть с тех пор как взяли у него жену и сына, была перебита. Он единственно хотел двигаться и всё ходил, всё ходил, и от этой ходьбы, от утомления телесного, ему становилось лучше, и душевная боль стихала, и мысли были яснее; но когда его вдруг заперли в тёмный возок, лишили света и движения, мысли его остановились, потом рассыпались, растаяли, и он вовсе потерял сознание.

Князь был привезён с утра, ему дали пройтись по саду и, кажется, облили голову холодной водой; но он всё-таки никого не узнавал, когда ввели его к императрице.

– Ну, здравствуй, князь! – ласково произнесла она. – Аль не узнал меня?

Никита Фёдорович не только не узнал её, но даже не слышал её голоса. Он

по-прежнему стоял, жалко улыбаясь, и смотрел пред собою.

Анна Иоанновна подождала.

– Да ответь что-нибудь! – сказала она наконец. – Ты глухонемой стал, что ли?

И вдруг на спокойном, восковом лице князя Никиты появилось выражение неизъяснимой кротости, он точно просиял весь и ещё улыбнулся.

– Аграфенушка! – протяжным, долгим, тихим шёпотом сказали его губы.

Это лицо, этот шёпот, эта кротость и улыбка были трогательны, жалки и беспомощны; но никому из присутствующих не показались они такими, или, вернее, никто из присутствующих не счёл уместным показать, какое впечатление производил этот человек, привезённый Бог знает откуда, по капризу своевольной повелительницы.

Однако молодые фрейлины опустили глаза, им хотелось плакать, и они мысленно уже читали молитву, чтобы прошло для них благополучно это испытание.

Одна только Анна Иоанновна продолжала торжествующе весело смотреть на князя Никиту.

«А ведь ты знала его, – где-то глухо говорил в ней какой-то голос, – знала совсем иным и не ожидала, что он стал таким. Тогда было другое, тогда он молодой был, на лошади, в ярком шёлковом кафтане; потом с книгой у окна; но и ты была тогда другая…»

Шут Педрилло в своём пёстром камзоле вдруг нагло подошёл к Волконскому и, посмотрев ему в глаза, хлопнул по плечу, а затем стал с ним рядом.

– А ты, князь, повыше моего будешь, – это хорошо! – одобрительно сказала она.

Ничего не было ни смешного, ни остроумного в этих простых грубых словах, но Анна Иоанновна вдруг раскатилась громким, неудержимым смехом, как будто этот смех давно уже был готов сорваться у неё, но только раньше не было к нему ни малейшей причины, а теперь явилась возможность – и она рада была придраться.

И вслед за нею кругом захохотали все, захохотали неестественно, притворно. Громче и голосистее всех смеялся Педрилло.

Среди этого смеха, который вдруг поразил князя Никиту своим особенным, давно уже не слыханным им гамом, в тумане, застилавшем мысли князя, вдруг стал образовываться светлый промежуток.

«Где я, что со мною? – думал он. – Куда я попал, и кто эти люди?»

И он стал пристально всматриваться в хохотавшую пред ним, с трудом узнавая в этой, казавшейся старше своих тридцати восьми лет, растолстевшей женщине с огромным красным лоснящимся лицом прежнюю герцогиню Курляндскую, Анну Иоанновну.

У ног её дрожала, робея и с испугом оглядываясь на смеющихся людей, как бы спрашивая, что с ними, маленькая собачка-левретка.

Анна Иоанновна перестала смеяться, мало-помалу точно удерживаясь, и сделала вид, что отирает с глаз выступившие от смеха слёзы, так уж всё это было забавно ей. Наконец она опустила руки на колена и подвинула ноги вперёд, словно от усталости. Левретка, которую она задела, чуть отодвинулась вперёд.

– Ах, ты здесь? – обратилась к ней императрица. – Ну, поди-ка, куси, кси, обижают! – произнесла она притворно-жалобным голосом, показывая на князя Никиту.

– Куси… кси… ксс… – послышалось кругом.

Левретка ещё больше сгорбила свою и без того горбатую, тонкую спину и, обернувшись с оскаленными зубами по сторонам, медленно перебирая лапками, подошла к князю Никите и завиляла хвостом.

Он никак не мог понять, что всё это значило.

В это время сзади него послышался шум быстро растворённой двери, и Чернышёва вбежала стремглав. Анна Иоанновна вздрогнула и с испугом и гневом взглянула на неё. Но та не смутилась.

– Письмо от его сиятельства графа Бирона, – смело проговорила она, подавая письмо.

Теперь уже истинное, настоящее удовольствие осветило лицо императрицы; она поспешно выхватила письмо из рук Чернышёвой и, сделав знак, чтобы все вышли, стала

распечатывать его.

Уехавший ненадолго к курляндской границе, навстречу своей семье, недавно пожалованный граф Российской империи, обер-камергер и первое лицо теперь в государстве, Эрнст Иоганн Бирон писал, что на днях вернётся в Петербург.

Князю Никите показали отведённую ему во дворце, внизу по коридору, комнату. Придя сюда, он не заметил, что маленькая левретка увязалась за ним и прошмыгнула в дверь. Она попалась ему под ноги, но он не обратил внимания.

Он сел на свою постель и, опустив на колена руки, задумался. Теперь он узнал дворец, узнал Анну Иоанновну и понял, что он в Петербурге.

Он успел спросить про Лаврентия, ему сказали, что тут никакого Лаврентия нет.

Князь Никита не разбирал, зачем он снова попал в Петербург, зачем его привезли сюда; об этом он решил подумать после, как только разберётся сначала в другом каком-то нужном вопросе. Что-то в голове вертелось у него важное, но он не мог вспомнить.

«Да, где она?» – как будто вспомнил он, и это, казалось, было то самое, что нужно было вспомнить, но он почти сейчас же забыл опять.

– Ах, нет, – проговорил он вслух и сморщил лицо, – один, один я – вот что, вот что надо решить! Никого ведь нет, и поговорить даже не с кем.

Он несколько раз отмахнул от себя рукою, словно хотел прогнать муху, снова положил руки на колена и затих.

Левретка давно уже сидела прямо пред ним на полу и, будто стараясь заглянуть ему в глаза, умильно помахивала хвостом.

Наконец она, поняв, должно быть, что князь всё-таки не замечает её, быстро прыгнула в постель и, дрожа и прижимаясь к нему, сунула мордочку к его руке и осторожно, как бы спрашивая, можно ли, – лизнула эту руку.

Никита Фёдорович не испугался и не отнял руки. Он с удивлением взглянул на эту маленькую собачку, вдруг, видимо, сразу почувствовавшую жалость к нему и приласкавшую его. Да, она робко, по-своему, по-собачьему, приласкала его. И это было единственное существо, отнёсшееся к князю здесь дружелюбно; это была первая ласка, полученная им в последние четыре года!

Левретка умными, выразительными глазами смотрела на него.

«Ты не один, ты не один», – будто говорили эти глаза.

Волконский невольно стал гладить собачку, и она, сознавая, что ласка ею принята, и притом, как должно, снова стала лизать гладившую её руку.

Что-то давно неизвестное зашевелилось в груди князя Никиты, давно незнакомые, тёплые слёзы показались у него на глазах и потекли, принося и печаль, и облегчение.

Его оставили в покое дня три, как будто забыли о нём.

Он узнал, что граф Бирон вернулся с курляндской границы и теперь был при государыне.

«А ведь где-то был тут, в Петербурге, мой дом… наш дом, – подумал князь Никита, и новый прилив тоски охватил его при этом воспоминании. – Пойти разве, отыскать его? – Но через минуту он подумал: – Господи, всё это – томление духа, одно томление духа. Когда же, когда придёт освобождение?.. Поскорей бы, поскорей! Господи, да будет воля Твоя!»

Под конец третьего дня он ходил искать свой дом, но никак не мог найти его и даже прежнего места не узнал.

Князь вернулся во дворец. Вопрос: зачем он попал в Петербург, так и остался для него нерешённым, потому что для него опять наступила потеря сознания.

Что было потом, и сколько прошло времени – Волконский не помнил.

Новый светлый промежуток явился к нему, когда он увидел себя в штофной комнате дворца с позолотой и зеркалами, сидящим почему-то в кресле, поставленном в ногах кушетки, на которой полулежала Анна Иоанновна. Неподалёку на полу сидел на корточках шут Педрилло; рядом с ним – калмычонок. Чернышёва стояла у печки и без умолку, как заведённая, тараторила.

В двери входил граф Бирон. Калмычонок и человек в пёстром камзоле (князь Никита не знал, что это – Педрилло) быстро вскочили при его появлении. Бирон покосился на оставшегося спокойно сидеть на месте Никиту Фёдоровича, подошёл к императрице и почтительно поцеловал ей руку.

– Сейчас был в сенате, – заговорил он по-немецки.

– Ну, что там? – спросила Анна Иоанновна.

– Это невозможно, неслыханно, колоссально! Когда я недавно в Курляндии ездил – все мосты были никуда не годны, и карета моя совсем испортилась. Я призвал сенаторов и сказал, что я велю их для исправления вместо мостов положить.

Государыня рассмеялась.

– Я вот им в сенаторы князя Никиту дам, – сказала она, – князь Никита, хочешь в сенаторы?

– Нет, не хочу, – совершенно просто ответил князь Никита Фёдорович слабым голосом.

Императрица ещё больше рассмеялась.

Князь Никита сознавал теперь всё окружающее, но чувствовал во всём теле удивительную слабость. Он говорил с трудом. В голове, во всех мускулах лица, а главное, в затылке он ощущал ноющую болезненную усталость.

Анна Иоанновна видела, как поморщился Бирон на не вставшего пред ним князя Никиту, и заметила, что ему неприятно было, зачем она допустила это.

Ей хотелось разговорить графа.

– А вы знаете, что завтра будет? – обратилась она к Бирону. – Завтра на рассвете при хорошей погоде, – впрочем, и при дурной тоже – по Невской першпективе по гладкой дорожке повезут на салазках железную клетку, и в этой клетке будет сидеть красавица писанная, разубранная во весь свой наряд, в великолепном одеянии, с метлой на голове и в рогожной шали, с пеньковыми буклями… Кто бы вы думали?

Бирон, улыбаясь, уже смотрел прямо в глаза ей.

– Не знаю, – сказал он.

– А вот жёнка его Аграфена. Я её на свидание с муженьком выписываю, – спокойно проговорила, хитро прищурясь, Анна Иоанновна, показывая на князя Никиту.

Волконский не мог побледнеть, потому что на его лице давно не было ни кровинки, не мог ужаснуться, потому что он давно носил в душе чувство, которое было и мучительнее, и сильнее всякого ужаса. Он видел теперь только, что силы совсем оставляют его и что он не может ничего ни сказать, ни сделать.

– Что, князинька, невеселы стали? – вдруг обернулась к нему Анна Иоанновна. – Али осердились на меня? Простите меня, сироту вдовую! – Она рассмеялась. – Ну, помиримтесь, полно… нате, целуйте! – и она протянула князю Никите свою обутую в кожаную туфлю ногу.

Волконский не двинулся.

Нога оставалась протянутою.

Бирон несколько раз взглянул бегло то на Никиту Фёдоровича, то на ногу и вдруг вскочил со своего места. Он казался очень возмущённым.

– Неблагодарный шут! – сказал он. – Позвольте мне, государыня! – и он наклонился.

– Нет, зачем? – застенчиво проговорила Анна Иоанновна. – Оставьте его – он блаженненький, пусть его, а вам руку, – и она подала Бирону свою пухлую, с короткими пальцами и плоскими, с резкими чёрными каёмками на концах, ногтями руку.

Граф взял её своими белыми, тонкими пальцами в кольцах и бережно поднёс к губам.

Князь Никита всё сидел по-прежнему.

– Шут! – наконец слабо, едва слышно проговорил он. – Чем я шут? А впрочем, там, где немецкий конюх первым министром, – там русскому князю, чтобы не становиться с ним на одну доску, пожалуй, остаётся одно уж…

Бирон не дал ему договорить, он вскочил. Но императрица тоже вскочила и, умоляюще отстраняя графа, громко вскрикнула:

– Ах, только не при мне! Завтра я всё велю…

И она выбежала из комнаты.

Бирон бросился за нею.

Князь Никита вдруг встал и, сам не зная как, точно его кто-то вёл, вышел на улицу. Через несколько минут его уже искали по всему дворцу.

Никита Фёдорович шёл по улицам Петербурга так же, как ходил в поле своей деревни – без цели, не зная расстояния и забыв время. Иногда прохожие сторонились от него и с удивлением смотрели вслед этому человеку, одетому в грубый нескладный кафтан деревенского покроя, без шапки и тёплого платья. Князь шёл, не замечая холода, напротив, его голова горела, и точно какой-то молот стучал в ней.

«Что она сказала, что сказала? В клетке железной… Господи, за что? – думал он. – Завтра утром, на рассвете, если даже и дурная погода… Но скоро ли этот рассвет?.. Когда он?»

И он снова шёл. Руки его костенели, и коленам было холодно.

«Странно, отчего это мне холодно? – рассуждал он. – Что это за длинная улица? И какая широкая… А! Это здесь повезут её… это – Невская першпектива».

Он остановился. Здесь нужно было ему быть, здесь остановиться.

Князь огляделся. Небо стемнело, должно быть, давно, потому что в нём горели яркие звёзды, и луна большим серебряным кругом светила со своей высоты.

Над Петербургом стояла ночь. Улицы затихли. И впервые в жизни князю Никите стала страшна луна, то есть не самая луна, а неровные тени, лежавшие на ней, когда он смотрел на неё, как будто это были какие таинственные, неразгаданные знаки, страшные, непонятные. Князь хотел оторваться от них, но не мог. Он смотрел на месяц, хотя это было страшно, и месяц смотрел на него и говорил с ним своими знаками. Он вздрагивал иногда. Кто был этот он, кто вздрагивал – месяц ли или сам князь Никита, последний не знал; впрочем, ему казалось, что месяц. Знаки всё время двигались, медленно расплываясь и меняясь, опять повторяясь. В них была удивительная сила, но только понять их было нельзя.

И долго Волконский мучился так.

Наконец это мучительное состояние тревоги начало мало-помалу таять.

Перешедшая на другую сторону неба луна стала бледнеть, а звёзды начали застилаться светом зари и пропадать в нём одна за другою.

Где-то близко, сверху, почти над самым ухом князя Никиты, раздался удар колокола. Он поднял голову и увидел, что стоит у церкви.

Первая мысль, которая пришла ему в голову, была – войти в Божий храм.

«Рассвет! – остановился он. – Её повезут сейчас! В груди моей скорпионы, и змеи в сердце моём, и черви разъедают мозг мой! – чувствовал он в себе. – Ожидание, ожидание, ожидание… Вот её повезут сейчас».

Князь, закостенелый, холодный, прижался к холодной стене церкви и безумными глазами смотрел на дорогу.

Народа было ещё мало; улица казалась пустынной. Лишь несколько богомольцев прошли в церковь.

«Не скоро ещё!» – подумал князь Никита и вздохнул.

Какая-то старушка с очень умилённым, слезливым лицом и склонённою набок головою, проходя мимо, набожно сунула ему грошик в руку и прошла, часто закрестясь. Никита Фёдорович бессознательно зажал в кулак этот зачем-то поданный ему грошик.

На дороге в это время показалась вдали лошадь, которая везла за собою что-то. Там и народ шёл.

«Она», – мелькнуло у князя Никиты, и он свободною рукою схватился за стену, однако рука скользнула, он едва удержался на ногах.

Лошадь, тряся головою, придвигалась. За нею шла другая, потом третья и ещё. Это был просто обоз. Чухонцы, привозившие провизию на рынок, шли тут же в своих особенных шапках с наушниками.

«Господи, поскорей бы!» – думал Никита Фёдорович.

Мало-помалу улица оживлялась. Никого не везли и никакой клетки не было, да и не могло быть: рассказ Анны Иоанновны о клетке был только шуткою.

IX
В МОНАСТЫРЕ

В первое время трудно было Аграфене Петровне Волконской в монастыре. Раннее вставанье, долгое стоянье в церкви, мало питательная и однообразная пища, размеренная и строго определённая жизнь, требовавшая ежеминутного подчинения, – тяготили её. Несмотря на то что она не была пострижена, но только жила в монастыре под «строгим надзором» игуменьи, она должна была вследствие этого строгого надзора безусловно подчиняться всем монастырским порядкам.

Ей не позволяли никому писать и не допускали до неё никаких писем, так что она даже не знала, были ли на её имя письма. Таким образом, ни о муже, ни о сыне, ни о ком из своих она не имела известий.

Политические события доходили до монастыря в рассказах, почти всегда преувеличенных, сбивчивых, в которых трудно было разобраться. Однако из них Аграфена Петровна могла узнать, что великая княжна Наталья Алексеевна скончалась в Москве, затем умер молодой император, и на престол взошла Анна Иоанновна, которую стали поминать на ектениях.

О Меншикове рассказывали, что он после своей ссылки показал удивительный пример смирения и стал совсем другим человеком. Однако он вскоре тоже умер[15].

«Да, ему легко теперь, – думала Аграфена Петровна. – Если б и мне!.. Всё равно! Разве это – жизнь, как я живу теперь?»

Но сейчас же наряду с этой мыслью у неё являлась почти безумная надежда, что вдруг каким-нибудь непонятным, чудесным образом наступит её освобождение, кто-нибудь явится и выведет её. И она задумывалась об этом невозможном счастье и, поняв его невозможность, снова впадала в уныние.

Дни тянулись одни похожие на другие. Время шло, казалось, очень долго и вместе с тем скоро. Оно было слишком однообразно, не давало никаких событий, которые выделялись бы из ряда вон, и потому всё давно прошедшее казалось свежим и недавним.

В особенности в первое время Аграфена Петровна не могла принять никакого участия в монастырской жизни. Так прошло около двух лет, и она попривыкла, наконец, освоилась.

При своём уме и уменье жить она сумела поставить себя в монастыре и с матерью-игуменьей, и со старыми монахинями.

Мало-помалу игуменья стала менее строго относиться к ней, разрешала не так часто ходить в церковь, звала к себе, любя её беседу, трапезовать.

Наконец Волконской было передано письмо от брата Михаила Петровича, который прислал в монастырь вклад и обещался не оставлять и впредь денежными высылками.

Игуменья поставила для переписки Аграфены Петровны ограничения, но согласилась на то, чтобы она получала известия от своих близких. Ограничения состояли в том, что письма должны быть непременно на русском языке, не затрагивать никаких других дел, кроме семейных, и главное – получаться как можно реже. Игуменья прочитывала все письма и, если бы условия эти не были соблюдаемы, прямо могла уничтожить письмо.

Самой Аграфене Петровне было запрещено писать. О ней сообщала сведения родным сама игуменья.

Как бы то ни было, для Аграфены Петровны и это было уже немалое облегчение.

О болезни своего мужа она узнала от Михаила Петровича, который со всякими

---

15 Меншиков умер в берёзовской ссылке 12 ноября 1729 года.

осторожностями сообщал ей, что Никита Фёдорович впал в слабоумие, и что он, Михаил Петрович, взял Мишу к себе.

За сына теперь Аграфена Петровна была спокойна.

Но вскоре последовали невесёлые вести.

С воцарением Анны Иоанновны отец Аграфены Петровны, Пётр Михайлович Бестужев был назначен губернатором в Нижний Новгород[16]. Это назначение равнялось ссылке. Михаил Петрович должен был жить у себя в Белозёрском имении. Один брат Алексей уцелел у себя в Копенгагене.

Избрание Анны Иоанновны было для Волконской, находившейся вдали от двора и всех его интриг и хитросплетений, такою неожиданностью, какою ей показалось бы только её собственное освобождение. Но она знала, что теперь более чем когда-либо немыслимо это освобождение.

Вместе с тем она понимала, что теперешняя её ссылка в монастырь спасла её от многого гораздо худшего.

Теперь у Анны Иоанновны руки были связаны. Что она могла сделать с ней? А что она желала бы сделать? Желала бы, припомнив Митаву и, может быть, Петербург, отомстить ей – в этом Аграфена Петровна не сомневалась.

«Но неужели она, она стала самодержавною правительницей Русского царства? – спрашивала себя Аграфена Петровна. – Господи, если бы знать раньше!.. Но кто же мог подумать?.. Нет, это просто невозможно, это – неправда!»

Однако каждый день, слушая, как в церкви поминали благочестивейшую, самодержавнейшую императрицу Анну Иоанновну, она могла убедиться, что это правда.

Близилась четвёртая уже весна, с тех пор как княгиня Волконская поселилась в монастыре.

Аграфена Петровна сидела в своей «комнате», как всё-таки по-мирскому называла она отведённую ей келью, и расчёсывала свои длинные волосы, которые стали и гуще и шелковистее, с тех пор как она перестала завивать их и прятать под фальшивые букли. Сегодня утром она мыла голову, и ей нужно было расчесать волосы.

Она смотрела в стоявшее пред нею зеркальце и почти машинально проводила гребнем по длинной пряди, которую прихватила левой рукой. Она смотрела на то лицо, которое было теперь в зеркале, – её и вместе с тем не её лицо. Оно сильно изменилось после того, каким помнила его Аграфена Петровна в Петербурге. Маленькие, но заметные уже морщинки легли у углов глаз, веки были красны от частых слёз, губы потеряли свою свежесть, и под ними, от носа, легли тенью две складки. Щёки обтянулись, и на них показалась матовая желтизна. Правда, слюдовое оконце мало пропускало света и как бы особенно подчёркивало эти морщинки и складки, но всё-таки они были.

«Да, не такая я была!» – подумала Волконская.

И ей невольно вспомнилось, как она, бывало, сидела пред большим трюмо, и Роза со служанками суетились вокруг неё.

«А где-то теперь Роза?» – мелькнуло у неё.

Она ещё раза два провела гребнем по волосам и опустила руку, оглядев свою чёрную полурясу.

«Нет, вздор – всё! – вдруг решила она. – Не то… Всё бы отдала, если бы только увидеть их – Мишутку моего и его… Что он теперь, бедный?.. В деревне, верно… Лаврентий с ним»…

Она тяжело вздохнула, и глаза её наполнились слезами.

Княгиня отбросила гребень и, положив локти на стол, опустила голову на руки. Она

---

[16] Произошло это в 1730 году. Через год императрица сослала графа в дальние деревни, где ему пришлось жить до 29 августа 1737 года, когда последовало разрешение «за верную службу сыновей» жить свободно в Москве или в деревнях.

чувствовала, как слёзы смачивают ей ладони, но не хотела вытереть их.

– Во имя Отца! – послышался тоненький голосок за дверью.

Аграфена Петровна поспешно провела руками по глазам и, моргая глазами, чтобы не было заметно, что плакала, ответила:

– Войдите!

В комнату вошла девочка-служка с чёрненькими, как вишенки, глазками и быстро заговорила своим тоненьким голоском:

– Матушка прислала меня спросить, как здоровьице вашей сиятельности, и ещё письмецо вам, и ещё приказать изволили, если вам неможется, то чтобы к вечерне не ходили.

Из всего этого Аграфена Петровна услышала и поняла только слово «письмецо», поглотившее для неё всё остальное.

– Где письмецо?.. Давай! – и она нетерпеливо протянула дрогнувшую от волнения руку.

Девочка взглянула на неё своими вишенками и подала письмо.

Аграфена Петровна схватила его и, быстро повернувшись, стала распечатывать, подойдя к окну.

Служка, подождав немного, скользнула в дверь, видя, что «княгинюшка» так занялась письмом, что забыла даже приказать благодарить «матушку».

Аграфена Петровна распечатала письмо с радостью, но едва увидела первые строчки, как удивлённо наклонилась, чтобы ближе и лучше рассмотреть написанное. Этот неправильный, ломанный, писанный почти по складам почерк совершенно не был знаком ей. Она перевернула страницу и посмотрела на подпись. Там стояло: «Авдотья Чернышёва».

«Какая Чернышёва?» – удивилась Аграфена Петровна и опять взглянула на начало письма:

«Аграфена Петровна! – так начиналось письмо. – Живите щастлива на приказе. А пишу вам по приказу Осударыне Царице. Велено вам мине штатс-даме Её Величества и сделать отписку сию штоб вы не беспокоитца изволили насшот мужинька свово князи Никиты, понеже он здрав и не вридим. И Осударыня Царица по неизречённой милости своей пожаловала ево ко двору в Питербурх перевести. И тут он вельми забавен кажет. Место ему определино завидное, поставлен он всемилостивейши смотрэть за собачкой Её Императорского Величества»…

В глазах Аграфены Петровны потемнело. Она с трудом пробегла ещё несколько строк и трясущимися руками разорвала письмо на мелкие клочки.

– Господи, что они сделали с ним! – с лицом, искажённым ужасом и страданием, воскликнула она, всплеснув руками и сжав их, подняла кверху.

«Больного, слабоумного, несчастного не пожалели! – мучилась она. – Из-за меня не пожалели… Нашла, нашла, чем доконать меня!.. Господи! Но он-то, он, бедный, за что страдает? Впрочем, что ж ему – он не может понять, он уже не от мира сего… Нет, но ведь я, я его имя ношу! Ох, лучше бы меня сослали в Сибирь, в каторгу, лучше голову долой – только не это!.. Только не это!»

– О-ох! – застонала княгиня, схватившись за сердце, а затем, тяжело ступая, отрывистыми шагами подошла к постели и упала на неё.

Она долго лежала неподвижно, с уставленными в потолок глазами, потом поднялась, села на постель, опять сложила руки, стиснула их, прошептав: «Господи, Господи!» – и снова легла.

Несколько минут княгиня лежала так, как каменная, только подбородок её сильно дрожал; потом она вскочила на ноги.

По коридору в это время послышались шаги.

«Знаю, – решила вдруг в один миг Волконская, – знаю, сюда идут. Игуменье написано, чтобы она дала знать, как будет принято мною письмо. Ну что ж, пусть, я выдержу».

Дверь действительно отворилась, и на пороге показалась игуменья.

Аграфена Петровна стояла посреди своей кельи, гордая, наружно спокойная, холодная,

спиною к окну, чтобы не было видно её лица, и заслонила собою брошенные на пол клочки разорванного письма.

Игуменья сделала какой-то вопрос и ушла.

И едва ушла она, Аграфена Петровна снова без сил упала на кровать.

Анна Иоанновна отомстила ей.

X
КОНЕЦ

Долго напрасно искали придворные слуги князя Никиту, после того как он, ответив Бирону, ушёл из дворца.

Дали знать генерал-полицмейстеру, и наконец на другой день утром генерал-полицмейстер нашёл Волконского, совсем закостенелого, у церковной стены.

Никиту Фёдоровича привезли во дворец без чувств, недвижного, с крепко зажатым грошиком в левой руке.

Оскорблённый Бирон сказался больным и не прибежал в этот день к государыне.

Анна Иоанновна быстро ходила по своей опочивальне, ожидая результатов розыска, когда ей доложили, что князя Никиту привезли без чувств.

– Привести в чувство! – приказал она.

Но это приказание не могло быть исполнено.

Когда через несколько времени Анна Иоанновна осведомилась через Чернышёву, что с князем Никитой; ей доложили, что он «кончается».

Государыня вздрогнула и набожно перекрестилась. Она не ожидала этого.

– Что с ним? – спросила она.

Оказалось, что Никита Фёдорович, как его привезли, не открывал уже глаз и всё время лежал без движения, а теперь уже «обирать себя начал» и по лицу его «тень прошла».

– Доктора! – проговорила Анна Иоанновна. – То есть нет, священника – причастить его.

Князь Никита открыл глаза, когда его причастили. Он спокойно проглотил Святые Дары, сделал медленный, большой крест над собою и потом затих.

Никто не видел, как и когда он скончался, но во всяком случае эта кончина была тихая и светлая. Мёртвое лицо князя с застывшею, ясною и кроткою улыбкою говорило об этом.

Волконский был так торжественно спокоен, как будто с радостью, с полным сознанием своего «освобождения», о котором думал всю жизнь и которого только и ждал от жизни, встретил свою последнюю минуту здешней, земной, давно тяготившей его суеты. Он нашёл наконец, чего искал, и успокоился, постигнув таинство смерти. Тут не было ничего ужасного, ничего страшного – жизнь была гораздо ужаснее и страшнее. Томление духа князя Никиты прекратилось, он был свободен теперь.

К вечеру Анна Иоанновна послала Чернышёву узнать, что с Волконским.

Чернышёва застала его на столе. Его уже «убрали», и маленькая комнатка его перестала быть жилою; в ней было холодно, пахло ладаном, свечами.

Авдотья Ивановна боялась мертвецов, но при взгляде на этого, лежавшего со сложенными руками на столе, спокойного, кроткого, точно заснувшего, человека, или, вернее, того, что было человеком, ей нисколько не стало страшно, и она совсем без всякой робости положила земной поклон, а затем поцеловала закостенелую, уже безжизненную руку.

Она вернулась к Анне Иоанновне, растроганная, взволнованная и старающаяся скрыть своё волнение, и, чтобы не пугать государыни присутствием мёртвого во дворце, решила не говорить ей о случившемся. Но Анна Иоанновна догадалась.

– Кончился? – спросила она.

Чернышёва молчала.

– Кончился, спрашиваю я?! – грозно переспросила государыня, и статс-дама должна

была ответить:

– Да!

Анна Иоанновна опять заходила по комнате.

Наконец она подошла к большому киоту с образами и грузно опустилась своим большим, тяжёлым телом на колена. Перекрестившись, она сложила руки и начала молиться, кладя земные поклоны.

Чернышёва прислонилась к печке и, боясь шелохнуться, притаила дыхание.

Анна Иоанновна, поклонившись в последний раз, не без труда встала с колен и, оглянувшись, как бы спросила глазами Чернышёву:

«Ах, ты ещё здесь? Да, ты мне нужна».

– Вели, чтобы там, у него, всё хорошо было! – сказала она ей. – Да вели заложить карету и приготовить в летнем дворце несколько покоев: я сегодня там ночую.

Она ни разу в продолжение дня, с тех пор как ей сказали, что князь Никита «кончается», не спросила про Бирона.

На другой же день императрицею был послан нарочный в Белозёрское имение Бестужева с приказанием привезти сына Никиты Фёдоровича.

Анна Иоанновна определила Мишу в только что учреждённый ею кадетский корпус и отнеслась к нему весьма милостиво.

Впоследствии князь Михаил Никитич Волконский – генерал-аншеф и всех российских и польских орденов кавалер, был известный главнокомандующий Москвы времён императрицы Екатерины II. Он отличился в войне с турками и затем был послан в Польшу полномочным министром. Потом он участвовал в походе против Пруссии. Екатерина II назначила его сенатором и своим генерал-адъютантом. Во время междуцарствия в Польше князь Михаил Никитич, по высочайшему повелению, вступил в эту землю со вверенным ему корпусом и помог избранию в короли Станислава Понятовского. В 1811 году он был назначен главнокомандующим Москвы.

Один из современников так отзывается о нём:

«Князь Михаил Никитич, одарённый от природы необыкновенным умом, любил благодетельствовать, был великий хлебосол, обходителен с низшими, но горд с временщиками. Императрица Екатерина два раза мирила его с Потёмкиным».

Первая мысль о разделе Польши принадлежит Михаилу Никитичу. Он же составил проект о лучшем учреждении судебных мест и разделении империи на губернии.

Аграфена Петровна кончила свои дни в Тихвине.

Князь Никита Фёдорович Волконский похоронен рядом со своими родичами в Боровском-Рождественском-Пафнутиевом монастыре, при защите которого родной прадед его, Михаил Константинович, пал у самого гроба св. Пафнутия.

П. В. Полежаев
БИРОН И ВОЛЫНСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН ВРЕМЁН АННЫ ИОАННОВНЫ

I

Печальная драма беспощадной борьбы двух партий, немецкой и русской, волновала русский двор полтора века назад, во всё продолжение царствования императрицы Анны Ивановны. Высоко поднявшиеся было при Петре II и при избрании, по смерти его, Анны Ивановны, вожаки русской партии, всесильные члены Верховного тайного совета, после минутного торжества, принуждены были дорого поплатиться: кто головою, кто ссылкою, уступив первенствующие места вожакам немецкой партии, к которым избранная

императрица выказывала безграничную симпатию. Да иначе и быть не могло! Как дочь слабоумного и безвлиятельного Ивана Алексеевича, она никогда не видала от русских вельмож ничего для себя доброго; и в Петербурге, в своём девичестве, и в Курляндии, во время своего герцогства, она постоянно встречала от русской придворной партии всегда одну и ту же холодность, одно и то же пренебрежение.

Русские казались избранной государыне грубыми, вечно замышляющими козни, а немцы, наоборот, людьми мягкими, благодарными, благодушными и преданными. Наконец, самый выбор её в императрицы со стороны русской партии Анна Иоановна не могла объяснить иначе, как честолюбивою интригою, далеко для себя не лестною. Совсем иное видела она в немцах, оказавших ей, действительно, немало услуг.

Из всех немцев, преданных герцогине курляндской, на первое место выдвинулся прибывший с нею из Курляндии её советник, друг, секретарь и камер-юнкер Бирон. Имя Бирона резко вписалось в нашу историю, до того резко, что, несмотря на непродолжительность фаворитизма, эта эпоха в народной памяти навсегда окрестилась особым прозвищем – Бироновщины.

Происхождение Бирона негромкое. Дед его служил простым конюхом при Якове III, герцоге курляндском, а отец дослужился до чина капитана и звания шталмейстера при младшем сыне Якова III, Александре. В этом звании он провожал принца Александра в Венгрию, откуда, по смерти принца, воротился в 1686 году на родину, где и получил должность не бездоходную, давшую ему возможность приобрести дворянское имение Калнцеем. Поместье это, однако же, не давало хорошего дохода и не могло обеспечить всего семейства господина егерсгауптмана, состоявшего, кроме отца, из трёх сыновей: старшего Карла, среднего – нашего знаменитого Эрнста-Иоганна и младшего Густава, разъехавшихся по разным странам в качестве искателей приключений, а впоследствии приютившихся в тёплом гнёздышке на Руси.

Средний из братьев, Эрнст-Иоганн, первоначальное образование получил в местной митавской школе, а потом в кенигсбергском университете. Не отличаясь умом, дарованием и усердием к книжной премудрости, юный курляндец отличался зато усердием к разным увеселительным забавам, в которых и преуспел до того, что принуждён был бежать из Кенигсберга, не окончив курса, ради сохранения своей личности от позора. По возвращении на родину он должен был наняться дворецким к одному из местных баронов, где, впрочем, прослужил недолго. Предприимчивый и находчивый, как вообще немцы, он удостоил обратить внимание на наше отечество, в котором отогревались тогда выходцы из всех этих стран. Эрнст явился в Петербург, но на этот раз не повезло даже и немцу – может быть, потому, что он за свою роль просветителя слепотствующих московитов вдруг захотел уж слишком многого, заявив претензию на место камер-юнкера при дворе царевича Алексея Петровича.

Как ни был благосклонен двор при Петре Великом, в 1714 году, к немецким выходцам, но, при всей этой благосклонности, дерзость курляндского птенца раздражила бояр, и он получил самый презрительный отказ. У другого такой отказ отбил бы охоту на все будущие попытки подобного рода, но Эрнст-Иоганн был не простой человек, а привилегированный, то есть немецкий. Воротившись снова под отеческий кров, опозоренный кандидат наконец достиг своей цели. При помощи различных обходных путей, отец, старый егерсгауптман, успел-таки представить сынка бывшему тогда при герцогине курляндской в должности обер-гофмейстера Петру Михайловичу Бестужеву, пользовавшемуся благосклонностью вдовствующей Анны Ивановны и выручавшему её иногда из нужды капиталами.

Бестужеву понравился Эрнст-Иоганн, а в то время благосклонность милостивца у нас значила очень многое. Обер-гофмейстер представил юнца государыне и выхлопотал ему звание камер-юнкера при её дворе. Это было в 1718 году. Таким образом, главный, самый трудный шаг сделан, а на дальнейшие шаги находчивый ум сумеет найтись, и Эрнст-Иоганн действительно нашёлся: он сумел из своих природных даров извлечь всевозможную пользу.

Строго говоря, он никак не мог назваться красавцем и даже особенно видным

мужчиною. Фигура его, скорее среднего роста, не отличалась крепостью, плотностью, грациозностью и гармоническою соразмерностью членов. Обыкновенные серые глаза не светились глубиною мысли, горбатый нос слишком выдавался вперёд, тонкие губы никогда не складывались в симпатичную усмешку, общее выражение лица и манер говорило о дерзости, нахальстве и грубости, но при всём том наружность выделялась выразительностью недюжинною, тою холодною энергией, которая владеет подавляющей силою.

Оглядевшись на новом месте, Иоганн, разумеется, не замедлил пустить в ход свои прирождённые дары и употребить все средства обратить на себя внимание государыни. Успех оказался полным. Почувствовав свою силу, новый камер-юнкер прежде всего, как и следовало ожидать, направил всё своё влияние против благодетеля и постарался лягнуть его посильнее. Вскоре Бестужев не только был удалён от двора герцогини, но даже, вследствие её просьбы, через нарочно посланного к русскому двору барона Корфа был окончательно отозван в Петербург, а затем молодой Бирон был определён домашним секретарём.

Не всегда, однако же, счастье обливало Эрнста полным светом, бывали и тёмные тучки.

Гордые бароны, потомки кичливых рыцарей, не разделяли взгляда своей государыни и смотрели на Иоганна не только свысока, но даже с видимым презрением, строго относясь к его поступкам, а эти поступки не всегда отличались рыцарским достоинством. Раз, например, был он послан Анною Ивановною для закупок в Кенигсберг с довольно значительною суммою. Конечно, он исполнил бы поручение, но, к несчастью, подвернулись кутилы, с которыми камер-юнкер повеселился, потом набуянил, подрался на улице, взят был полициею и посажен в тюрьму, откуда освободился только уплатой значительного штрафа. Милосердная государыня смотрела снисходительно на подобные поступки, объясняя их избытком юношеских сил, но иначе смотрело дворянство, оскорблённое слишком явным предпочтением внуку конюха, – предпочтением, выразившемся даже в дипломатическом поручении. В 1725 году герцогиня назначила его для принесения поздравления Екатерине II, по случаю вступления ею на престол после смерти Петра Великого.

Новый камер-юнкер заискивал расположения дворян, льстил, силился приравняться к ним, но все его усилия не удавались. Чтобы попасть в число курляндских дворян, он женился на фрейлине Анны Ивановны, дочери Вильгельма Тротта-фон-Трейден, девице Бенигне Готлиб, впрочем, без согласия родителей, но и эта мера не привела ни к чему. А между тем положение его при герцогском дворе упрочивалось всё больше и больше, расположение к нему государыни пускало корни всё глубже, прочнее; это было известно и в Курляндии и при московском дворе.

За Бироном из немецкой партии выделялись братья Левенвольды, на преданность которых императрица вполне могла положиться и которые эту преданность доказали во время избрания её на престол. И, наконец, к числу самых влиятельных вожаков немецкой партии принадлежал бывший сподвижник петровского времени, обрусевший Андрей Иванович Остерман, имевший такое же влияние на ум Анны Ивановны, какое на сердце имел Бирон.

Вся предварительная власть сосредоточилась в руках немцев: дела внутренние и политические у Остермана, придворные у Левенвольда, военные у Миниха, а общее решающее внимание на вся и всё у Бирона. Понятно, что такое положение возбуждало в русских родовитых фамилиях, оскорблённых и отстранённых, раздражение, разраставшееся от них всё шире и дальше. Поводов к взаимным столкновениям представлялось немало, почти на каждом шагу, но в особенности выдвинулся на общее внимание, в первое же время, случай с Румянцевым, одним из любимых птенцов Петра Великого.

Сильно замешанный в дело царевича Алексея Петровича, Румянцев находился в опале во всё продолжение царствования сына царевича, Петра II, и был лишён тех имений, принадлежащих роду Лопухиных, которые были пожалованы ему Петром Великим после немилости лопухинских родственников. В расчёте на неудовольствие Румянцева на русскую партию любимцев Петра II, Долгоруковых и Голицыных и из желания привлечь на свою сторону такого видного деятеля и сподвижника дяди Анна Ивановна вызвала его ко двору,

назначила сенатором, подполковником гвардии и пожаловала двадцать тысяч рублей в вознаграждение за отобранные имения. Расчёт оказался ошибочным. Румянцев, прежде всего, был человеком русским и потому, конечно, никаким образом не мог помириться с принижением русских и преобладанием немцев. Вскоре по приезде, в одном из столкновений с братом Эрнста Бирона, он не удержался и отделал того как следовало. Сторону брата, разумеется, принял всесильный фаворит, не замедливший представить императрице Румянцева как человека опасного и враждебного направления.

Анна Ивановна призвала буяна для личного вразумления, но при том подготовленном раздражении, которое кипело у обеих сторон, вразумление неизбежно должно было кончиться грозовою бурею.

– Вызвала я тебя из ничтожества, возвеличила, назначила сенатором, одарила, а чем ты отплатил мне? – говорила Анна Ивановна призванному в её апартаменты Румянцеву тем сдержанным тоном, которым обыкновенно говорят люди предубеждённые, но желающие показать вид спокойствия и беспристрастия.

Упрёк в неблагодарности за благодеяния чувствительно кольнул гордого и упрямого старика, считавшего все эти благодеяния только возвращением ему по праву.

– Ваше императорское величество милостиво соизволили взыскать меня, и я готов нелицемерно служить…

– Кто служит мне нелицемерно, тот не оскорбляет моих верных и достойных слуг, – перебила его императрица, казавшаяся несколько успокоенною смиреньем старого ветерана.

Но ветеран увидел в словах государыни приказание, унижающее русского, заставляющее его быть как будто подначальным у немца.

– Не могут считаться верными и достойными слугами вашего императорского величества всякие глупые авантюрьеры, – твёрдо отвечал старик, смело смотря в глаза императрице.

Нужна была вся сила её воли сдержать порыв вспыхнувшего гнева.

– Не твоё, а моё дело судить о заслугах моих рабов! – с большим усилием оборвала она его глухим голосом. Потом, несколько овладев собою, прибавила: – Вижу ясно, что не могу оставить тебя подполковником моей верной гвардии… взамен назначаю тебя президентом финансовой коллегии…

Никакой упрёк не мог быть более оскорбительным для старого воина, как сомнение в его верности; никакое наказание – суровее отозвания от воинского поля, на котором протекла вся его жизнь.

– Как угодно вашему величеству, но я не гожусь в финансовую коллегию, да если бы и искусен был в денежных делах, то не захотел бы прислуживать беспутному придворному мотовству.

Смелый ответ окончательно вывел императрицу из себя. Побледнев и дрожа, она привстала с места и, указывая рукою на дверь, могла только проговорить задыхающимся голосом:

– Вон!.. арестовать его!

Румянцева увели. Подоспевшие из соседнего покоя Бирон и Остерман с трудом могли успокоить императрицу, от которой тотчас же последовало повеление о предании дерзкого преступника суду сената за оскорбление величества. Суд начался, и дело кончилось тем, что послушный сенат признал Румянцева виновным и достойным смертной казни. Между тем Андрей Иванович, понимая, что подобная строгая кара только ещё более усилит неудовольствие русских, не принеся никакой пользы, старался постепенно и осторожно умилостивить государыню и достигнул того, что приговор был заменён императрицею высылкою виновного в казанские деревни, с отобраньем от него пожалованных двадцати тысяч рублей и Александровской ленты.

В случае с Румянцевым русская партия сознала полное преобладание немцев, до решительного национального уничижения. Глухой ропот стал разливаться по всей Москве и делаться всё более и более явным.

– Как бы русские не сделали с немцами теперь точно так же, как они расправились с поляками во время самозванца, хотя поляки далеко не возбуждали такого неудовольствия, как теперь немцы, – говорил секретарю французского посольства Маньяну польский посланник Потоцкий.

– Не бойтесь, – успокаивал тот, – у двора теперь преданная гвардия, а у русских нет вожаков.

И действительно, у русских вожака не оказывалось. В конце 1730 года умер фельдмаршал Михаил Голицын, а в следующем году другой русский фельдмаршал, князь Василий Владимирович Долгоруков, был заключён в шлиссельбургскую крепость. В манифесте о вине Василия Владимировича говорится, что он не только должным образом не оценял благодеяний правительства, клонящихся к пользе государства, но даже, «презрев нашу к себе многую милость и свою присяжную должность, дерзнул не токмо наши государству полезные учреждения непристойным образом толковать, но и собственную нашу императорскую персону поносительными словами оскорблять».

В сознании своей немощности русские люди срывали своё неудовольствие едкими насмешками над немцами и ропотом, чем, разумеется, возбуждали ещё большую подозрительность и более строгие репрессивные меры. Через месяц по вступлении на престол императрица, по поводу объяснения силы первых двух пунктов, издала было указ, которым запрещалось принимать доносы от воров и разбойников, из опасения, чтобы от затей их не могли пострадать невинные, но не прошло и года, как этот указ потерял всякую силу и организовалось новое учреждение, известное под названием канцелярии тайных розыскных дел, с лихвою заменившее бывший Преображенский приказ. Эту канцелярию вверили великому знатоку и ревнителю тайных дел, славному генералу Андрею Ивановичу Ушакову.

Другой мерою, ограждающею правительство, было учреждение Кабинета «для лучшего и порядочнейшего отправления дел государственных». После уничтожения Верховного тайного совета возвысилось значение сената как высшего государственного учреждения, но так как в сенат вошли члены, по необходимости, в большинстве из русской партии, то такое значение увеличивало влияние недовольных членов, что, конечно, не соответствовало видам немцев. К умалению значения сената и изобретено было хитроумным бароном Остерманом учреждение кабинета, в который сенат, синод, коллегии, приказы и разные канцелярии обращались с рапортами. В кабинет назначены были: одряхлевший канцлер, и в молодости не отличавшийся твёрдостью, граф Головкин, вице-канцлер Остерман и действительный тайный советник князь Алексей Михайлович Черкасский, выдвинувшийся в агитации по восстановлению самодержавия, но никогда не выказывавший самостоятельности. Следовательно, хотя кабинет состоял из трёх членов, но в сущности – из одного Андрея Ивановича.

Третьей ограждающею мерою было учреждение нового гвардейского Измайловского полка[17], командиром которого назначен был граф Левенвольд, а офицерами из преданных фамилий, по преимуществу немецких.

Но всех этих мер: увеличения гвардии, восстановления канцелярии розыскных дел и учреждения кабинета – всё ещё казалось недостаточно. Дальновидный Андрей Иванович не уставал внушать императрице о необходимости переезда из Москвы в Петербург. Только в этой новой петровской резиденции, твердил он, искусственно созданной и искусственно вскормленной, может окрепнуть самодержавие и обезопасить себя стальною силою от всяких покушений партий. Настояния Остермана поддерживал и Бирон, не любивший Москвы, считавший её гнездом старинного русского боярства, правда, теперь раболепного…

Таково было положение придворных партий в первые два года царствования

[17] Лейб-гвардии Измайловский полк сформирован в Москве 22 сентября 1730 года. Полковником и шефом нового гвардейского полка был назначен генерал-адъютант, обер-шталмейстер граф Карл Левенвольде.

императрицы Анны Ивановны.

II

Для переезда двора из Петербурга в Москву или обратно в прошедшем столетии обыкновенно выбиралось зимнее время, когда снежный покров, уничтоживши все неудобства неровной и топкой местности, представлял более удобств для грузного и бесконечного поезда. В начале 1732 года наконец состоялся, после многих назначенных сроков и откладываний, переезд в Петербург императорского двора. Эти постоянные отсрочивания бывали у Анны Ивановны не потому чтобы она не доверяла настойчивым доводам Андрея Ивановича, – нет, она верила ему, как оракулу, чем он по опытности и дальновидности действительно и был для России первой половины XVIII века, – но в характере её была черта, перешедшая ей от отца и матери: нежелание перемены, ничего нового. Освоившись с известною обстановкою, она держалась её упорно и не покидала её до тех пор, пока не перевешивало другое, более сильное побуждение.

По приезде в Петербург, императрица заняла дом, подаренный по завещанию [18] генерал-адмиралом Фёдором Матвеевичем Апраксиным императору Петру II. Дом этот находился на месте нынешнего Зимнего дворца и с тех пор получил название Зимнего, оставшееся за ним до наших дней. Подле этого дома находился ещё другой дом, принадлежавший также к дворцу и носивший название Кикиных палат, но этот дом императрица по приезде своём тотчас же велела сломать и на его месте поручила обер-архитектору графу де Растрелли выстроить новый. Закладка нового дворца происходила 27 мая 1732 года, но постройка производилась медленно и крайне неудовлетворительно, так что императрица Елизавета Петровна, по вступлении своём на престол, велела сломать всю постройку Анны Ивановны и на месте обоих дворцов велела тому же де Растрелли построить новый дворец, по новому плану[19].

Императорские покои, в особенности парадные, с приездом государыни, по желанию Бирона, любившего роскошь, убраны были с небывалым для того времени великолепием. Да и вообще, с Анны Ивановны вся дворцовая внешность совершенно изменилась. Вместо грубой простоты всей домашней обиходности и одежды императора Петра I явилась утончённая, дорогостоящая иностранная обстановка. Пример разорительного мотовства давало семейство любимца, не жалевшего на костюм и вообще своё содержание никаких расходов. Известно например, что жена Бирона незадолго до падения мужа заказала платье, унизанное жемчугом, ценою в сто тысяч рублей, что гардероб её ценился в полмиллиона, а бриллианты, обыкновенно носимые, в два миллиона рублей. Если сообразить ценность рубля того времени, то эти цифры не могут не поразить русского человека. Не менее жены любил наряжаться и сам обер-камергер. Эрнст-Иоганн, носивший роскошные штофные и бархатные кафтаны ярких цветов – он вообще не любил тёмных. Следуя за ним, и наши предки тоже стали наряжаться в бархатные розовые, светло-жёлтые, лиловые и светло-зелёные кафтаны. Что же касается до самой императрицы, то она употребляла роскошные платья из лионской парчи и бархатов только в торжественные дни, в будни же носила платья простые, но всегда ярких цветов.

Роскошь в одеждах доходила до таких размеров, что придворный, издерживавший на

---

[18] 26 октября 1728 г. (Здесь и далее примечания автора.)

[19] В 1755 году императрица Елизавета Петровна переехала во временно выстроенный для неё деревянный дворец, находившийся у нынешнего Полицейского моста, на месте, занимаемом ныне домом Елисеевых. Постройка же Зимнего дворца, под дирекцией Ивана Ивановича Бецкого, продолжалась десять лет и кончилась уже при императрице Екатерине II. Всего постройка Зимнего дворца продолжалась около тридцати семи лет и обошлась более двух половиною миллионов рублей тогдашней ценности.

свой туалет по две и по три тысячи рублей ежегодно, не отличался ещё изысканностью наряда. Разумеется, на удовлетворение этой расточительности не могло доставать доходов с имений, тем более что в то время самые большие и доходные поместья доставляли своим владельцам только обильную и разнообразную провизию и домашние ткани, в которые облекалась домашняя челядь. За недостатком же доходов с имений раздавались жалование и так называемые служебные доходы, которыми грязнились и самые образованные, передовые люди того времени.

При всём великолепии, однако же, придворная обстановка не отличалась гармонией и вкусом. Вместе с выпискою от иностранцев нарядов и галантерейных вещей нельзя было выписывать и вкус. Поэтому весьма нередко встречались великолепные кафтаны с безобразною причёскою, дорогие штофные материи уродливого покроя или рядом с тканью домашнего изделия, утончённый туалет при скаредном выезде. Точно так же и в убранстве домов: рядом с обилием золота и серебра господствовала самая грязная нечистоплотность, в особенности в комнатах непарадных. Впрочем, подобные уродливости, встречающиеся сплошь в начале царствования Анны Ивановны, потом постепенно исчезали, по мере развития вкуса у представителей фешенебельного света, с которого брали пример и другие.

В Зимнем дворце – обыкновенный приёмный вечер, но залы облиты блеском и светом. Массы огня с люстр и кенкет играют, переливаясь разноцветными искрами, на драгоценных камнях украшений, как женских, так и мужских От ярких всевозможных цветов кафтанов и женских роб рябит в глазах. Гости толпятся группами, но заметно преобладание мужчин, может быть, потому, что на этих вечерах не танцевали. Да и вообще, императрица не отличалась особенною любезностью к молоденьким кокетливым дамам, находя свободное обращение распутным.

Женский персонал составляли дамы или солидных лет, или не отличающиеся красотою, или же отличающиеся безукоризненной нравственностью, в числе которых находилась почтенная супруга Андрея Ивановича Остермана Марфа Ивановна, собиравшая все сведения не хуже своего мужа; Фёкла Яковлевна Салтыкова, приехавшая на несколько дней из Москвы, где пребывал её супруг, Семён Андреевич, в качестве главнокомандующего; воспитательница племянницы императрицы, Анны Леопольдовны, госпожа Адеркас; леди Рондо и ещё несколько дам из иностранного посольского ведомства. Из молоденьких были только две: племянница государыни Анна Леопольдовна, которой было не более шестнадцати лет, и цесаревна Елизавета, которой красота сияла ещё полной свежестью. Из мужского же персонала выделялись довольно заметной наружностью, непринуждённостью обращения и главное – богатством туалета сам обер-камергер Бирон, только что приехавший саксонский посланник, красивый, умный и ловкий граф Линар, спокойный и наблюдательный граф Карл-Густав Левенвольд, величавый и кокетливый в обращении с женщинами граф Миних. Кроме них, в числе других гостей были: Куракин, Алексей Михайлович Черкасский и недавно появившийся при дворе и уже замеченный, по благородству манер и симпатичности, Артемий Петрович Волынский.

Гости не особенно веселились; у всех проглядывали сдержанность и осторожность, хотя на лице каждого играла стереотипная любезная и искательная улыбка. Мужчины разговаривали большей частью отдельно, а только некоторые, особенно ловкие, как, например, Миних и Линар, присоединялись к женскому кружку, обращаясь то к молоденькой принцессе, то к цесаревне Елизавете. При таких оказиях взоры почтенных дам упирались в говоруна, а уши прилеплялись к каждому его слову. Общую монотонность нарушала толпа шутов. Одетые в разноцветные паяцные платья, они кувыркались, бегали друг за другом, дрались, наделяли друг друга щипками, плюхами и зуботычинами, пели петухами, куковали, острили друг над другом, иногда задевая кого-нибудь из вельмож, но всегда прислушиваясь к разговорам, в особенности, когда кто-нибудь из гостей отделялся. Все они старались друг перед другом выставиться и заслужить улыбку императрицы. Шутов

было много[20], но из них особенно выделялись Балакирев и Лакоста, португальский жид – оба наследие петровского времени – и итальянец, отставной придворный скрипач Педрилло. В число шутов попали и из старинных дворянских фамилий: граф Апраксин, князья Волконский и Голицын.

Государыня Анна Ивановна любила и жаловала шутов и рассказчиков. Вскоре после вступления своего на престол она писала в Переяславль: «Поищи в Переяславле из бедных дворянских девок или из посадских, которые были бы похожи на Татьяну Новокщёнову, а она, как мы чаем, что скоро уже умрёт, то чтобы годны были ей на перемену: ты знаешь наш нрав, что мы таких жалуем, которые бы были лет по сороку и так же были говорливы, как та Новокщёнова или как были княжны Настасья и Анисья».

В зале раскинуто несколько ломберных столов, около которых толпились игроки; любимыми карточными играми в то время были: марьяж, ломбер, ламуш, гравиас, а в особенности квинтич и банк. За одним из столов понтировал обер-камергер Бирон, окружённый дипломатами и русскими сановниками, за другим играла сама императрица и граф Карл-Густав Левенвольд. Около императрицы и графа никого не было; как-то без всякого распоряжения установилось, что когда государыня играла с Левенвольдом или Бироном, то никто не подходил до тех пор, пока она сама не подзывала кого-нибудь к столу или не обращалась с общим вопросом.

– Ну, ты, Карл Густавыч, проигрался в пух! Да жаль тебя: возьми уж свои марки назад, а свой выигрыш сосчитай, – говорила Анна Ивановна, отодвигая к Левенвольду свой выигрыш.

Государыня любила выигрывать, но выигранных денег почти никогда не брала; её же проигрыш аккуратно выплачивался бывшим в той же зале казначеем по предъявлении марок.

– Ваше величество осыпаете меня милостями выше всяких заслуг, – отвечал Карл Густавович спокойным, уверенным голосом, каким говорят люди, твёрдо упрочившие своё положение.

– Выше заслуг тебя, милый граф, наградить нельзя. Чаю, и сам знаешь, сколько я тебе обязана… В одном тебе я уверена, как в себе самой… И слушать не хочу, что говорят другие…

Императрица не высказывала, кто были эти другие и о чём именно они говорили… да Карлу Густавовичу и не нужно было; он знал это очень хорошо.

– Другим внятно так говорить, государыня.

– Да… да… внятно, – повторила Анна Ивановна задумчиво, – а вот ты не изменился. Таким же остался, каким был тогда…

Она, не договорив протянула ему с благосклонностью руку, которую он тотчас поцеловал.

– Андрея Иваныча опять не вижу! Марфа Ивановна говорила, будто неможет ногами. Только правда ли? – заговорила снова государыня, видимо желая окончить прежний разговор.

– Я навещал его, государыня, Болен, подняться не в силах.

– Так недужит? Жаль его, а то *говорят* , будто всё притворничает. Скрытен больно…

– Притворен он пред другими, государыня, когда надобно, без этого ему и нельзя… а вашему величеству предани верный слуга. На него можно положиться…

– Я и так спрашиваю его совета во всех государственных делах.

– Ваше величество, по прозорливости своей знаете, что искуснее, опытнее и преданнее его не найти…

---

[20] При дворе императрицы Анны Иоанновны было шесть постоянных шутов: Иван Александрович Балакирев, кн. Михаил Алексеевич Голицын, гр. Алексей Петрович Апраксин, кн. Никита Фёдорович Волконский, неаполитанец Пьетро Мира (Педрилло) и португалец Ян д'Акоста (Лакоста). Двое из них – Балакирев и Лакоста – были придворными шутами ещё при Петре I.

– О чём-то ещё я хотела с тобой переговорить, Карл Густавович. Да, вот что… В Кабинете у меня после смерти Гаврилы Иваныча Головкина место пустое. Надо кого-нибудь выбрать…

– Кого угодно выбрать вашему величеству?

– Сдаётся мне выбрать Павла Иваныча… Оно и кстати: зять покойному.

Карл Густавович сообразил, что в назначении Ягужинского была особая цель подставить ногу его приятелю Андрею Ивановичу Остерману, догадывался и от кого шёл этот подвох, но, чтобы убедиться в том, спросил с обыкновенным простодушием:

– Верно, ваше величество, обещали покойному устроить зятя?

– Нет, не просил покойный и я не обещала… да так уж решила.

Левенвольд понял, что так было угодно Эрнсту-Иоганну, и замолчал.

Надеясь на своё влияние и бывшую, хотя непродолжительную, благосклонность, пробовал было он прежде противодействовать обер-камергеру, но из этого ничего не выходило. Только императрица делалась на несколько дней тревожною, печальною и беспокойною, являлись размолвки с любимцем Эрнстом, но всё это продолжалось недолго и в конце концов исполнялось так, как желалось Иоганну, а к нему, испытанному другу и слуге Карлу Густавовичу, показывались на некоторое время сдержанность от государыни и явная холодность от фаворита. Как умный человек, граф Левенвольд оценил силу и повёл свои отношения осторожно.

Императрица встала, желая пройтись по зале. Проходя мимо стола, за которым играл Бирон, она остановилась и спросила:

– Что, господин обер-камергер, проигрываешь?

– Проигрываю, ваше величество, – отвечал Бирон не оборачиваясь, с досадой завзятого игрока в проигрыше.

Досада мелькнула на лице императрицы, но она тотчас же приняла прежнюю любезную ласковость хозяйки и отправилась к другим группам.

– Реши, Ивановна, наш спор! – пискливо пропищал подбежавший вприпрыжку шут Лакоста.

– В чём, дурак, решить?

– Да вот, спорил с Василием Кириллычем. Я говорю ему, что он дурак, а он меня называет дураком: ты, дескать, не умеешь писать виршей, не знаешь регул элоквенции, а я говорю ему, что он дурак-то потому, что пишет вирши.

Государыня улыбнулась и посмотрела в ту сторону, куда показывал шут и где у стенки стоял знаменитый пиита и профессор элоквенции Василий Кириллович Тредьяковский, с подобострастием отвешивавший чуть не земные поклоны государыне.

– Изволили ли слышать, ваше величество, новые вирши нашего знаменитого владыки Феофана? – спросил, подходя к Анне Ивановне, меценат того времени Александр Борисович Куракин.

– Нет, Александр Борисыч, не слыхала.

– Превеликой занимательности стихи. Я выучил их наизусть.

– Скажи, а мы послушаем.

Александр Борисович встал в театральную позу и несколько нараспев продекламировал:

Прочь, уступай прочь, печальная ночь!
Солнце восходит, свет возводит, радость родит.
Прочь, уступай прочь, печальная ночь!
Коликий у нас мрак был и ужас!
Солнце Анна воссияла, светлый нам день даровала.
Богом венчана, августа Анна!
Ты нам ясный свет, ты нам красный цвет,
Ты красота, ты доброта,

Ты веселие, велие, твоя держава наша то слава!
Да вознесёт Бог силы твоей рог!
Враги твои побеждая, тебя в бедах заступая.
Рцыте все люди! О буди! буди!

Императрица осталась очень довольною виршами и, разумеется, все, не занятые игрою, поспешили выразить одобрение; один только Василий Кириллович не разделял общего мнения и ворчал про себя:

– Боже, что за вирши, что за незнание регул!

Заметила ли Анна Ивановна неудовольствие пииты или, поддаваясь влечению, появлявшемуся у неё нередко, посмеяться на счёт ближнего, только, обратясь к Куракину, она громко и очень серьёзно высказала:

– А сколь много мы обязаны нашему славному пиите Василию Кирилловичу, того и выразить мы не можем. Великий он нам приносит авантаж и в нашей болезни облегчение. Страдаем мы по временам бессонницей, отменно изнурительною и весьма мешающей нашему здоровью. Что ни давал мне дохтур, ничего не помогает, а помог профессор элоквенции. Раз, обретаясь в такой бессоннице, я приказала моей рассказчице, в наказание за её провинность, читать мне вслух творение Василия Кирилловича «Телемахиду». И что же? Не успела она прочитать и страницы, как я уже спала мёртвым сном. Каков же авантаж! Виновная наказана и болезнь излечена. Спасибо ему!

Придворные хохотали, а профессор элоквенции кланялся и благодарил, весь сияя неподдельной радостью.

Анна Ивановна продолжала обходить залу, милостиво обращаясь то к тому, то к другому из гостей, и наконец подошла к племяннице, принцессе Анне Леопольдовне, сидевшей между цесаревной Елизаветою и воспитательницею своею, госпожой Адеркас.

Анна Леопольдовна далеко не могла назваться красавицею, но зато ей нельзя было отказать в миловидности и симпатичности. Она только что пережила тот неблагодарный возраст, когда не сложившийся ещё организм покидает нежные черты детства, не выработав ещё определённой женственной формы. Черты лица её не были правильны и не бросались в глаза, но, вместе с тем, нельзя было не заметить этих роскошных каштановых волос, этого белоснежного цвета лица и в особенности этих глубоких, постоянно задумчивых глаз. Говорили, будто улыбка никогда не играла на её личике, – было ли это следствием безотрадно проведённого детства или таинственным предвидением будущего? И теперь принцесса, с выражением какого-то печального утомления, лениво обводила глазами всегда одних и тех же форменных гостей, останавливаясь только дольше и с большим вниманием на мужественной и красивой наружности новоприезжего саксонского посланника графа Линара.

От соседства с принцессою ещё более выигрывала и без того замечательная красота цесаревны Елизаветы. Она была тип вполне развившейся русской красавицы (Елизавете было в то время лет двадцать пять), но без того вялого, ленивого выражения, которым обыкновенно отличаются типы русских женщин. Напротив, большие глаза её, все черты лица, каждый нерв, кажется, так и бил игривостью, живостью и жаждой жизни.

Императрица любила родную племянницу и, как ходил слух в придворном кружке, взяла её на своё попечение после смерти сестры, герцогини Катерины Ивановны, недавно умершей, с целью сделать её себе наследницею.

Подойдя к принцессе, Анна Ивановна остановилась, погладила ей волосы и, приподняв за подбородок её головку, ласково спросила:

– Здорова ль, красотка? Ты как будто печальна?

– Я, государыня-тётя, здорова.

– То-то здорова! Вид-то у тебя печальный, не то что у твоей кузины, – и Анна Ивановна обратилась к цесаревне Елизавете со сдержанным, но всё-таки заметным раздражением в голосе:

– А вот вы так всё расцветаете! Пора бы вам, сестрица, и пристроиться!

Яркая краска облила всё лицо цесаревны до корня волос, забежала за маленькие уши и розовою волною сбежала за полненькую шейку. От неожиданности такого замечания цесаревна смутилась и могла только пробормотать:

– Ваше величество милостивы… Я не желала бы…

– Чего не желать-то? Известно, всякой девке нужно выходить замуж. Лучше, чем… На днях докладывали мне, будто сгинул куда-то какой-то офицер Шубин, сосед, что ли, твой по Покровскому. Не слыхала?

Елизавета Петровна между тем успела оправиться и с достоинством, даже с тою смелостью, которая является у самых спокойных натур от резкости оскорбления, отвечала:

– Куда девался Шубин[21], я не знаю, не слыхала, да и до меня это не касается. Его я только несколько раз видела на охоте, по смежности наших мест.

Императрица с неудовольствием отвернулась и молча направилась к внутренним апартаментам; било одиннадцать часов, время, когда она обыкновенно садилась в своих покоях ужинать.

По уходе её гости поспешили к столам, приготовленным к ужину. Игроки кончили. Бирон остался в проигрыше около двух тысяч рублей, но такой проигрыш был ещё не из значительных, иногда ставка простиралась до двадцати тысяч рублей[22].

Сервировка стола отличалась великолепием, хотя вечер был не парадный. На всех столах богемский хрусталь, севрский фарфор и дорогие столовые приборы, выписанные из-за границы. Ровно в двенадцать часов гости разъехались, делясь замечаниями о расположении духа императрицы, Бирона, Левенвольда, о племяннице, о том, как немилостиво обошлась государыня с цесаревною. И эти замечания, передаваясь от одного к другому, спускаясь из одного кружка к другому, доходили до нижних слоёв с различными прибавлениями и комментариями.

III

Прошло несколько лет; несколько лиц сошло со сцены: умерла инокиня Евдокия Фёдоровна[23] и неизменный любимец государыни Анны Ивановны Карл-Густав Левенвольд. Правительство избранной императрицы успело определиться яснее и сделаться тягостным для народа. Фаворитизм, неприятный вообще народу, становился ещё более невыносимым, когда фавором стал пользоваться немец. Тогда все естественные общественные бедствия: неурожаи, пожары, повальные болезни и военные неудачи – обыкновенно объяснялись влиянием немца, искони враждебного русскому. До народа доходили слухи, с различными объяснениями о немилости и ссылках русских фельдмаршалов, русских вельмож и замене их Биронами, Минихами, Левенвольдами, Остерманами, и ему становились понятными беспрерывные войны, уносившие людей и деньги.

К несчастью, эти толки действительно подходили к истине. От предшествовавших

---

[21] Шубин, которого отличала цесаревна в пору своей молодости, по распоряжению канцелярии розыскных дел, исполнявшей желание Бирона, был неожиданно схвачен в своём поместье и отправлен в Сибирь. Его не расспрашивали ни о чём, и он не обвинялся ни в каком преступлении. Всё это совершилось до такой степени секретно, что впоследствии, по вступлении на престол Елизаветы Петровны, два года отыскивали Шубина по всей Сибири и наконец-то отыскали в самых отдалённых местах около Камчатки.

[22] В это время указ Петра Великого, запрещавший проигрывать более одного рубля, совершенно потерял своё действие.

[23] По вступлении на престол своего внука, Петра II, инокиня Евдокия Фёдоровна жила в Кремлёвском Вознесенском монастыре в Москве, имела свой штат и на содержание получала ежегодно 60 тысяч рублей. Скончалась в 1731 году.

царствований оставалась по государственным доходам податная недоимка в довольно значительном размере, около семи миллионов рублей, на что обратил внимание господин обер-камергер Бирон. Специально для взыскания этой недоимки в первые же годы царствования Анны Ивановны учредился особый доимочный приказ под непосредственным ведением Бирона. Так как поступающие сборы в этот приказ шли в особую секретную казну, находящуюся в безотчётном его распоряжении, то к взысканию принимались беспощадные, бесчеловечные меры. Из столицы отправлялись отдельные команды к тем воеводам, в ведомстве которых считалась недоимка, с решительным наказом во что бы то ни стало взыскать недоимку. И действительно, недоимка взыскивалась. Отправленные офицеры с командами арестовывали воевод, сажали в тюрьмы, морили голодом и такими мерами понуждали их к беспощадным мерам в отношении плательщиков. Если где от пожаров, неурожая или повальных болезней народ не мог платить, там по селениям ходили команды, захватывали последние остатки имуществ неплательщиков и продавали их по какой бы то ни было цене. Когда же случалось, что никакого имущества не оказывалось, тогда неплательщиков секли, били, заковывали, мучили. Недоимка собиралась, но с уплатою за прошедшее время, накоплялся снова срочный платёж, а следовательно, взыскание всё-таки оставалось в ведении страшного доимочного приказа. По всему государству, описывают современники, раздавались звуки цепей, барабанный бой и палочные удары. Люди разбегались, скрывались по лесам, убегали за рубеж, за границу, а из внутренних губерний – в степи, к вольным людям, в шайки голытьбы.

Народ стонал, но терпел, не видя себе ни в ком защиты. Да и в ком он же мог бы искать её? В начальстве? У своих владельцев? Но и те и другие жили благостынями своих петербургских милостивцев, пресмыкавшихся, в свою очередь, перед всесильным любимцем из наград и подачек, без которых нельзя было им жить и тратиться на забавы и увеселения.

Читая известия того времени, можно было бы составить понятие о Бироне как о каком-то адском чудовище, злодее и вампире, но это неверно. Эрнст-Иоганн Бирон не был злодеем и адским чудовищем, он был только иностранец-немец, любивший пожить в своё удовольствие, с положительным пренебрежением относившийся ко всему русскому, не подозревавший возможности мучительных оскорблений в отношении к русскому, считавший русских лгунами, людьми подлыми, животными, способными и достойными только упитывать драгоценную плоть иностранцев. До него не доходили народные стоны, а когда и доносились отдалённым эхо, то тотчас объяснялись обманом, крамолою и неблагодарностью к учителям.

Презирая русских и постоянно не доверяя им, Бирон, естественно, должен был всеми возможными средствами обеспечить свою власть и своё существование. Влияние его на императрицу установилось прочно и до такой степени сильно, что даже тяготило и его самого; оставалось, следовательно, только оградить себя от всяких зловредных покушений со стороны неблагодарных русских, зорко наблюдатьза ними и пресекать в корне всякое вольномыслие, всякое суждение, омрачавшие величие заслуг его в особенности и иностранцев вообще. Для этой цели явилась необходимость в шпионах и в усиленной деятельности канцелярий тайных розыскных дел. И то и другое развилось до крайних размеров.

На всех гульбищах, постоялых дворах, питейных кружалах, улицах, случайных и не случайных сходках шныряли шпионы фаворита, обязанные доносить о каждом неосторожном, неодобрительном о нём отзыве. Во все дома проникали доносчики. В Зимнем дворце службу доносчиков ревностно исполняли камер-медхены, камер-фрау, а в особенности шуты и шутихи. Каждое слово императрицы передавалось во всей точности. Доносилось обстоятельно, кто бывал у молодой принцессы, когда, зачем и о чём были конверсации; в особенности сторожились дома подозрительных вельмож и дворец цесаревны Елизаветы Петровны, возле которой постоянно сновалась паутинная сеть лазутчиков. Недосягаемым оказывался только дом вице-канцлера Андрея Ивановича, но не потому, что тот был сам иностранец – взгляды и интересы вице-канцлера и обер-камергера расходились

во многом, – но потому, что, при острой бдительности и всевидящем оке Марфы Ивановны, ни один нескромный глаз не мог проникнуть в её дом.

Добытые или придуманные доносы складывались в общем казнохранилище – канцелярии тайных розыскных дел, помещавшейся в одном из деревянных строений за Летним садом, позади бироновских покоев, под крылышком неутомимого генерала Андрея Ивановича Ушакова. Эти доносы рассматривались, иногда оставлялись, что случалось редко, без последствий, но вообще же отдавалось распоряжение о посылке за обвиняемым, в сопровождении воинской команды, самого доносчика, который получал техническое название *языка* .

Язык – это народный бич, который, со *словом и делом* , составляет позорное клеймо в нашей истории XVIII столетия. На доносчика надевали чёрный мешок, охватывавший его во весь рост, с отверстиями только для глаз и рта, и в таком наряде его отправляли с командой за жертвою. При появлении на улице языка ужас охватывал мирных обывателей; все прятались, лавки запирались, разговаривающие разбегались в разные стороны. Приблизясь к жертве, язык выговаривал *«Слово и дело»* , и тогда команда схватывала обвиняемого и вела его в канцелярию.

Не один серый люд попадался в когти тайной канцелярии, не церемонились и с лицами, занимавшими видное положение в обществе, и с женщинами. Одним из жарких сторонников верховников считался князь Григорий Дмитриевич Юсупов, горячо преданный Дмитрию Михайловичу Голицыну и разделявший все его убеждения. Когда попытка ограничения самодержавия не удалась, Григорий Дмитриевич стал сохнуть, болеть и, наконец, умер, как говорили, с горя. По смерти его сирота-дочь Прасковья Григорьевна, не надеясь, по участию отца в замыслах верховников, на милость императрицы, обратилась к чародейству для привлечения к себе расположения государыни. Об этом злом ухищрении было донесено, и княжну сослали в Тихвинский женский монастырь. Такое наказание возмутило девушку, сознававшую себя невиновною, и она, разумеется, стала высказывать в кругу своих близких людей жалобы на императрицу, называть её просто Ивановною, говорить об её пристрастии к любимцу, бранить Бирона. Об этом новом преступлении донесла служанка, и княжну вызвали в канцелярию, где галантный генерал Ушаков не затруднился высечь её кошками. Но этого чувствительного наказания показалось мало, виновную постригли в монашество под именем Проклы и сослали в Сибирь, в Введенский девичий монастырь, близ Далматова. Княжна и там не только не усмирилась, а, напротив, стала вести себя бесчинно, сбросив с себя монашеское платье и имя Проклы. Её высекли шелепами[24].

Утро. В присутственной камере канцелярии тайных розыскных дел под председательствованием самого Андрея Ивановича Ушакова – заседание особой комиссии, составленной из лиц, преданных обер-камергеру Бирону: гофкомиссара Липмана, секретаря Бирона Эйхлера и секретаря тайной канцелярии Хрущова. Не отличается изысканностью присутственная камера: простая топорная тёмно-красная мебель с беловатыми, обтёртыми по краям ручками расставлена кругом стола, покрытого красным сукном. На столе зеркало, окутанное обыкновенно холщовым мешком, а теперь, ради торжественности, открытое для

[24] Как часто были розыски, можно видеть из дел тайной канцелярии, хранящихся в архивах. Поводом к пыткам служили каждое неосторожное слово, иногда нетрезвого человека, всякая сплетня домашней прислуги. Для примера приведём следующий случай: какая-то неизвестная женщина Мете Вестенгардт объявила тайной канцелярии, что раз при ней бывшая на службе у цесаревны Елизаветы мадам Ягана Петрова дурно отзывалась о Бироне, называя его с женою нефамильными людьми; говорила, что, когда он сделается герцогом курляндским, императрица выйдет за него замуж, а герцогиню сошлют в монастырь. После производства розыска по этому извету состоялась резолюция, подписанная собственноручно императрицею. «Вместо кнута бить плетьми, а в прочем быть по вашему мнению. Анна», то есть Ягане Петровой учинить жестокое наказание плетьми и сослать в Сибирь, в дальний монастырь, где и содержать неисходно. Замечательно одно место в показаниях о том, что при разговоре была какая-то служанка Елизабет, которая упрашивала говорить тише, так как окна низки. За новость Вестенгардт получила в награду 200 рублей.

вразумления кого следует в нелицемерности правосудия. Сырые стены покрыты слоями пыли, влетевшей бог знает откуда, так как оба окна в камере не открывались. Такой же слой покрывал и часы, повешенные на внутренней стене, с висячими на бечёвках гирьками, с циферблатом, на котором медленно двигается минутная, с отломанным концом стрелка, и с боем двумя часами более означаемого времени. Полы не крашеные и не метёные, со щелями чуть не в два пальца. Из камеры дверь во внутренней стене вела в комнату, где производились операции.

Неприглядна камера канцелярии, не заботился о внешней элегантности её хозяин, с утра до вечера занятый допросами да розысками с пристрастиями всех приводимых к нему виновных в недостаточном благоговении к его патрону. Трудился Андрей Иванович ежедневно, не жалея своих сил, из желания угодить благодатному милостивцу. Но на этот раз не он один в работе, а целая комиссия – дело выходило из ряда обыкновенных: обвинялся русский человек из высокого ранга, смоленский губернатор, да вдобавок ещё родной племянник кабинет-министра, князь Александр Черкасский. Обвинение казалось до того важным, что для предварительного разведывания, для ареста подсудимого и перевозки его в Петербург ездил в Смоленск сам генерал Андрей Иванович.

Следователи-судьи ожидают привода доносчика. Через несколько минут в сопровождении трёх конвойных вошёл молодой, довольно красивый мужчина в щеголеватом, но измятом и потёртом дорогом кафтане, в изорванных и грязных манжетах. Андрей Иванович указал ему стать на правой стороне стола.

– Как твоё имя и звание? – спросил Андрей Иванович, с лицом, сияющим от удовольствия. Его желудок, уже пресытившийся обильною, но малопитательною пищею – разбором мелочных дрязг, сплетен, доносов горничных и слуг, требовал более возбуждающих пряностей. Таким-то возбуждающим и служило настоящее дело.

– Фёдор Красный-Милашевич, прежний камер-паж двора Катерины Ивановны, герцогини мекленбургской.

Затем следовали обычные вопросы о вероисповедании, летах и, наконец, вопрос о сути дела.

Из рассказа доносчика, сбивчивого, неясного, местами повторяющегося, как встречается всегда в заученном заранее, обнаружилось, что в бытность доносчика в Смоленске он сошёлся с тамошним губернатором, князем Александром Черкасским, с которым и входил по часу в откровенные конверсации. В таких откровенных беседах князь высказывал ему жалобы на правительство Анны Ивановны, что ныне-де честным людям в России жить нельзя, и всякий, кто лучше, пропадает; будто к нему, князю Черкасскому, сама императрица жаловала благосклонность, но фаворит на то разгневался и послал его в Смоленск; будто князь Александр признавал настоящим-то наследником престола внука Петра Великого, сына Анны Петровны, герцогини голштинской, к которому уже и склонил многих смольнян. В заключение доносчик рассказывал, что губернатор послал его в Голштинию с двумя письмами, но, помня святость своей присяги, он, доносчик, к голштинскому двору не поехал, а явился в Гамбург к Алексею Петровичу Бестужеву-Рюмину, с которым и приехал сюда в Петербург. В рассказе доносчик передавал между прочим множество сплетен, – так, например, и о том, что князь Александр уверял его о посещениях цесаревною в мужском платье польского посла Потоцкого.

Выслушав внимательно этот рассказ, опытный Александр Иванович задумался. Имея постоянно дело с тёмною стороною человеческих дел и вскрывая их анатомическим ножом, он не мог ошибиться, на сколько в этом рассказе истины и лжи, не мог забыть и того, что, при личных его расспросах смольнян, он встречал только полное опровержение показаний доносчика, полное их неведение о правах голштинца и о замыслах своего губернатора – но в то же время он не мог забыть и разных практических соображений.

Отдавая ему дело, милостивец и фаворит нисколько *не сомневался в справедливости доноса* , пробовать же разубедить его значило бы только возбудить против себя неудовольствие, а, пожалуй, и подозрение. Какой же он начальник тайной канцелярии, когда

прикрывает недоброжелателей своего патрона, ищет средств к их оправданию? Из чего же навлекать на себя опалу? Черкасские все гордецы, и не приходилось ли ему самому, Андрею Ивановичу, не раз выслушивать насмешки и грубости от дядюшки подсудимого, господина кабинет-министра? И вот в силу таких соображений Андрей Иванович воздержался от дальнейших расспросов доносчика с целью разъяснения тёмных и сбивчивых показаний, молчал и товарищ обер-гофкомиссар Липман; хотел было что-то заметить третий следователь, секретарь Эйхлер, но, взглянув в лицо президента, запнулся на первом же слове.

– Можешь ты, Фёдор, подтвердить свой извет перед князем Александром и готов ли подкрепить его розыском? – спросил доносчика Андрей Иванович.

– Могу и готов, – как-то странно бойко отвечал Красный-Милашевич.

– Ввести князя Александра! – приказал президент.

Конвойные ввели князя Александра Черкасского. Содержание при тайной канцелярии, как видно, подействовало на подсудимого. В этом оборванном, грязном, с искажённым от страха лицом невозможно было узнать элегантного и надменного с просителями смоленского губернатора. Слезливые глаза смотрели тупо, уснащаемые прежде мылами ланиты осунулись и сделались заскорузлыми, волнистые волосы торчали в беспорядке, космами.

– Признаёшь ли ты этого человека? – спросил подсудимого президент, указывая на доносчика, когда князя поставили на левой стороне, напротив, очи на очи, с Милашевичем.

– Признаю.

– Говаривал ли ты с ним в Смоленске и о чём говаривал?

– Говаривал, а о чём, не упомню…

Андрей Иванович приказал доносчику повторить своё показание.

– Виновен ль в сих зловредных акциях?

– Не виновен.

– От кого ты слыхивал, что принцесса Елизавета ходила в мужском платье к Потоцкому?

– Не помню, от кого.

– Стало быть, говорил об этом с изветчиком?

– Может, и говорил, как о слухе дерзновенном.

– Говорил ли такие речи, что-де ныне честным людям жить нельзя?

– Никогда не говорил.

– Говорил ли о голштинском принце и посылал ли письмо с изветчиком?

– Не говорил и не посылал.

– Запираешься?

Подсудимый молчал.

– Запираешься? У меня найдутся средства развязать твой язык! – внушительно проговорил Андрей Иванович, подходя к подсудимому и упорно смотря на него. Удивительно подвижное лицо его могло принимать, по произволу, вдруг, без переходов, какое угодно выражение. И теперь обыкновенно ласковые, мягкие, улыбающиеся глаза его приняли то выражение, какое бывает у кошки, когда она смотрит на птицу в клетке.

– Молчишь?

Подсудимый опустил голову и молчал.

Андрей Иванович молча указал конвойным на дверь в соседнюю комнату. Привычные служивые взяли под руки князя Александра и повели туда.

Обстановка соседней комнаты внушала ужас. Это была пыточная камера, в которой в то тяжёлое время упражнялся генерал Ушаков. Посередине с потолка спускалась толстая верёвка, перекинутая через блок, а внизу под нею лежали толстая плаха и доска, та и другая облитые кровью, которую не смывали, да и зачем было смывать? Ведь каждый день грязнится!.. По стенам висели плети: кнуты, кошки, шелепы, валялись железные листы, какие-то странного вида кольца… клещи…

У князя Александра потемнело в глазах. Он увидел кровь, увидел ужасные орудия

пытки… Чем-то ледяным охватило сердце, окаменели члены, и он стал терять сознание.

Как опытный знаток человеческого сердца, Андрей Иванович понял, что теперь жертва вполне в его руках.

– Сознаёшься, князь Александр? Если будешь запираться и теперь, то вот… – и он указал на дыбу.

– Сознаюсь… – Чуть слышно пропустили побелевшие губы князя.

– Давно бы так, – самодовольно и весело сказал президент и приказал секретарю записать сознание подсудимого.

Князя Александра увели.

Его присудили к смертной казни, но императрица заменила приговор вечной ссылкою.

Прошло пять лет. О сосланном давно уже успели забыть, но дело о нём, к счастью, снова выплыло. Награждённый как следует, доносчик Красный-Милашевич продолжал свои подвиги, но был схвачен, обвинён в преступлении и приговорён к смертной казни. При следствии он сознался, а заодно признался и в ложном донесении на князя Черкасского. Оказалось, что сосланный в Сибирь князь Александр никогда не говорил ему ни о правительстве, ни о правах принца голштинского, а действительно советовал ему ехать в Голштинию, но советовал единственно из желания поскорее сбыть его скорее из Смоленска по ревности, как опасного соперника в любви к одной девушке.

Таково было состояние общества в Петербурге, где находился двор, правительство, центральная бюрократия – одним словом, население более или менее интеллигентное, живущее трудами провинциального люда. Каково же должно быть положение общества областного, потом и кровью кормившего петербургских милостивцев? Записки того времени рисуют это положение непривлекательными красками. Выставляя материал для войны людьми и деньгами, уплачивая последним достоянием недоимки и подати, вынося произвол местных правителей, народ, лишаясь крова и всяких средств пропитания, разбегался куда глаза глядят. Увеличивались разбои, образовались из беглецов шайки, которые жгли и грабили всё, что можно. Такое состояние общества тщательно скрывалось фаворитами от самой императрицы. Она постоянно окружалась блеском, сияющими лицами, она видела народные эффектные встречи, декорируемые благоденствующим народом. Не видели или не хотели видеть, до какого крайнего разорения дошёл русский народ, высокие персоны из немцев, чуждые всякой органической связи с благоденствуемым ими народом; не видели также, вслед за ними, и русские высокие персоны, жаждущие идти по стопам своих благодетелей. Конечно, не все русские люди были одинаковой пробы, были и тогда, как и во все времена, деятели достойные, видевшие ясно все общественные язвы, готовые принять на себя грехи мира сего, а если нужно, то и пожертвовать собою. К числу таких лиц принадлежал плотный, хотя и небольшой кружок, во главе которого стоял даровитый и страстный человек, хотя далеко не чуждый упрёков, Артемий Петрович Волынский.

IV

Генеалогия дома Волынского неизвестна; сам же Артемий Петрович родоначальником своим признавал южнорусского выходца, воеводу Дмитрия Михайлович Волынского-Боброка, сподвижника Дмитрия Донского, отличившегося на Куликовом поле. От двух сыновей этого родоначальника, женатого на родной сестре московского князя Дмитрия Донского, Анне Ивановне, произошли две ветви: от старшего сына Бориса – Волынские, а от младшего Давида – Вороные. Впрочем, из предков Волынских никого особенно выделяющегося не было и никто до XVIII столетия не состоял в крупных служебных чинах. Отец Артемия Петровича, Пётр Артемьевич, считался стольником и был женат два раза.

Артемий Петрович родился в 1692 году, но где, в Москве ль или в вотчине Пензенского уезда, – неизвестно. О первых годах жизни его не сохранилось никаких положительных сведений, но можно судить по сварливому и неприятному характеру мачехи, что эти годы

были далеко не радостны. Отец Артемия Петровича умер в 1712 году, и опекуншею после него осталась мачеха. Управление хозяйством этой сварливой женщины было до того разорительно, что из 82 крестьянских дворов из имений при ней осталось в наличности только 12, за побегами остальных. Вероятно, вследствие такого злого характера мачехи мальчик Артюша и был отдан отцом на воспитание к своему придворному родственнику, Семёну Андреевичу Салтыкову, хотя в то время и не пользовавшемуся большим влиянием, но, тем не менее, всё-таки имевшему значение по родству с царём Иваном Алексеевичем.

Первые отроческие годы, когда впечатления особенно живы и когда они ложатся основными чертами в последующем развитии, были проведены Артюшею в высшем аристократическом кругу, сохранившем, в сущности, тип прежнего боярства, но уже заражённом язвами мнимой цивилизации. Воспитание боярских детей того времени покоилось на двух началах: на Домострое и уроках западной цивилизации. По Домострою, как известно, всё основано на палочном вразумлении: «Казни сына своего от юности его, и покоит тя на старость твою и даст красоту души своей. И не ослабляй бия младенца: аще бо жезлом биеши его, не умрёт, но здравие будет; ты бо, бия его по телу, а душу его избавляеш от смерти». С другой же стороны, и вводимые Петром новшества ещё успели только привить к русскому обществу дурную сторону западной цивилизации, не внеся никаких нравственных начал. Вследствие такого-то воспитания, по Домострою и цивилизованной среде, Артемий Петрович, при всём своём громадном уме и начитанности, никогда и впоследствии не мог отделиться от своих современников, он был так же, как все они, корыстолюбив, груб в обращении с низшими и низок с высшими.

По общему, существовавшему тогда и на Западе обычаю начинать службу в шляхетских родах в пелёнках, Артемий Петрович на двенадцатом году был зачислен в солдатский драгунский полк и продолжал свою карьеру быстро. На девятнадцатом году он состоял уже ротмистром и находился при Шафирове, постоянно обращаясь в кругу лиц, приближённых к преобразователю-государю. В 1712 году, после неудачного прусского похода, Волынский, вместе с Шафировым, содержался пленником в Константинополе и возвратился оттуда курьером в следующем году с мирным Адрианопольским трактатом.

Бойкий и находчивый ротмистр не мог не обратить на себя внимания преобразователя, искавшего способных людей для проведения своих бесчисленных государственных прожектов. И вот через три года Артемий Петрович является уже подполковником и назначается аккредитованным посланником в Персию – так высоко ставил двадцатитрёхлетнего молодого человека Пётр Великий, знаток в распознавании людей.

В это время Петра занимала идея открытия торгового пути в Индию через Персию, а для этого необходимо было основательное изучение состояния Персии человеком ловким, развитым и притом способным уживаться с восточною подозрительностью. Три года прожил Волынский в Персии, и прожил не бесполезно. Письма его оттуда и дневник, ведённый его медиком Джоном Бель-д'Аншермони, ставят его в уровень с важностью поручения, выказывают его очень ловким дипломатом и проницательным наблюдателем.

В 1718 году Артемий Петрович воротился с выгодным для русских торговым договором и с подробными сведениями о состоянии персидского государства. Пётр остался доволен деятельностью своего нового дипломата, хотя доставленные им сведения разрушали его проект о торговле с Индией. Но, взамен того, по тем же сведениям предоставлялась возможность овладеть некоторыми персидскими областями, что обеспечило бы наши юго-восточные границы, нашу торговлю восточную и наше политическое положение. За удовлетворительное исполнение поручения Артемий Петрович получил чин полковника, генерал-адъютанта [25] и назначение губернатором в новообразованную Астраханскую

[25] При Петре Великом должность генерал-адъютантов имела весьма важное значение и обыкновенно давалась людям доверенным, представляющим собою око государя. Они были почти постоянно в поездках по поручению государя, то для исследования какого-нибудь важного события, то для наблюдения за действиями губернаторов. При Петре генерал-адъютантов было только пять: Волынскии, Ягужинский, Девьер, Александр

губернию.

Назначая Волынского астраханским губернатором, Пётр имел в виду подготовление средств для задуманной им войны с Персией, а ещё более для выполнения проектов об установлении порядка и развитии промышленности в том крае. Прежде чем ответить на вопрос, как выполнил задачу преобразователя Артемий Петрович, необходимо взглянуть, каковы были правители того времени.

Вскормленные и повитые сферою злоупотреблений и низкопоклонничества областные правители не отделялись в нравственном отношении от общей массы и, не понимая никаких государственных вопросов, видели в должности своей только источник дохода. Предместник Артемия Петровича по управлению Астраханью, старый обер-комендант Чириков – тип тогдашних воевод – правил областью, как своею вотчиною: торговал, утаивал государственные подати, продавал русских людей на восток, брал взятки с откупов и с частных лиц при всяком удобном и неудобном случае. А как смотрели областные правители на государственное значение своей обязанности, видим из характерного распоряжения казанского губернатора, Петра Матвеевича Апраксина, в 1711 году. Отправляясь в поход за Кубань, губернатор на пути уже, в Царицыне, задался вопросом: кто же будет управлять Казанью во время его отсутствия? И вот, нисколько не задумываясь, он отсылает указ о передаче своей должности четырёхмесячному сыну, под опекунством старых домашних слуг. Указ был прочтён в Казани в публичном месте, в присутствии казанских обывателей и самого правителя, которого кормилица держала на руках под одеяльцем. Правитель оказался не хуже родителя, так что губернатор по возвращении из похода нашёл необходимым публично в палате, в присутствии обывателей благодарить за мудрое правление сына, которого и теперь, как при приёме должности, мамка держала спелёнатым. Ребёнок, вероятно от умиления, ревел.

– Видите, какое умное у меня дитя! обрадовался мне и плакать начал, – проговорил губернатор, обращаясь к обывателям.

– Весь, государь-батюшка, в тебя! – отвечали умилённые жители.

И Артемий Петрович не отделялся от товарищей, и он подчас бывал самодуром и взяточником.

По приезде в Астрахань Артемий Петрович добросовестно занялся изучением края, входил во всё и составил множество проектов реформ, о которых лично докладывал во всей подробности самому государю во время поездки своей в следующем году в Петербург, где прожил около года, и потом, сопровождая Петра на олонецкие минеральные воды. Конечно, петербургское пребывание Артемий Петрович провёл для себя не без пользы: кредит его у Петра ещё более утвердился, укрепились связи с ближними к царю людьми, канцлером Гаврилою Ивановичем Головкиным и кабинет-секретарём А. В. Макаровым, а главное – успел заручиться благоволением Екатерины, сойдясь с её любимцем, Виллимом Ивановичем Монсом, перед которым заискивали не только Шафировы и Головкины, Черкасские и Трубецкие, но даже сам светлейший Александр Данилович Меншиков. Как краснобай и человек симпатичный, Артемий Петрович понравился красавцу Монсу, но ещё более понравились его богатые астраханские подарки.

В эту же счастливую поездку Волынскому удалось наконец сосватать себе невесту, дочь боярина Льва Кирилловича Нарышкина, родного брата покойной Натальи Кирилловны, матери Петра Великого. Сватовство началось уже три года назад, когда невесте Александре Львовне было ещё невступно пятнадцать лет, но тянулось, по несогласию на брак Ульяны Львовны, жены Михаила Григорьевича Нарышкина, дяди невесты, у которого в вотчине она большей частию и проживала. Может быть, сватовство и теперь не состоялось бы, если бы не явилась свахою со стороны Артемия Петровича сама императрица Екатерина, по желанию Монса.

Румянцев и Семён Нарышкин.

Любил ли Артемий Петрович свою невесту или этот брак был только делом расчёта, – определить трудно. Из современных же этому времени писем жениха, его рапортов и ношений по этому делу не видно особой страсти. Может быть, и даже более вероятно, невеста нравилась жениху, но ещё более нравилось её общественное положение. Родство с государем, связи с первыми значительными и влиятельными фамилиями не могли не щекотать чувствительного тщеславия и самолюбия Волынского.

Жених торопил свадьбою, но, несмотря на его настояния, свадьба была отложена по возникшим неурядицам у инородцев Астраханской губернии, потребовавших личного присутствия губернатора.

30 августа 1721 года состоялся Нейштадтский мир, окончивший в пользу России распрю её со Швециею за балтийское побережье. Государь торжествовал, выполнив главную свою заветную мечту. Приняв титул императора, он торжество своё выразил рядом маскарадов и самых разнообразных общественных увеселений, но природа его не могла успокоиться, и среди забав его не покидал проект о войне с Персией. В последних же месяцах 1721 года государь послал указ астраханскому губернатору с подробным распоряжением о всех приготовительных мерах к началу кампании.

Между тем астраханское губернаторство тяжёлым камнем давило Артемия Петровича. Его не удовлетворяла провинциальная жизнь, он рвался к центру власти, в столицу, к той широкой государственной деятельности, к которой он считал себя способным. Под влиянием этих неотвязных стремлений, а может быть и вследствие вполне естественного влечения к молодой девушке-невесте, Артемий Петрович настоятельно просил у государя отпуска в Москву и в то же время о том же писал Екатерине и Монсу.

Наконец разрешение было дано. Артемий Петрович представлялся своему родственнику-государю и был принят им милостиво. Пётр остался доволен всеми распоряжениями Волынского, о которых тот сумел красноречиво представить с самой выгодной стороны.

Весною 1722 года, тотчас же после великого поста, отпраздновалась свадьба Артемия Петровича и Александры Львовны, но молодые недолго наслаждались свободно своим счастьем. Неугомонный царь, торопясь персидским походом, отправил их в Астрахань, не дожидаясь окончания медового месяца, а вслед за ними, 13 мая, выехал и сам с Екатериною.

Начался персидский поход. До сих пор счастье улыбалось Артемию Петровичу и он быстро шёл в гору; супружество, родство с самим государем, казалось, обещали ему самую блестящую будущность, но в действительности, однако же, вышло наоборот. Со времени свадьбы, возбудившей зависть многих влиятельных лиц, и с этого несчастного похода начались все невзгоды Волынского.

19 июня государь приехал в Астрахань, где и прожил почти целый месяц, отпраздновав там день своей коронации, Полтавской битвы и своих именин. В этот месяц государь занимался обозрением укреплений Астраханской губернии и одобрил все распоряжения губернатора. Наконец, 17 июля, при попутном ветре, вышла в море флотилия, на одном из кораблей которой находился Пётр с императрицею и Волынским; другая же часть войска отправилась берегом, направляясь к Грузии и поселению Эндери.

Через одиннадцать дней флотилия подошла к персидскому берегу, где и высадилась. Здесь ожидало государя первое неприятное известие. Один из наших отрядов, под начальством бригадира Ветерани, был врасплох атакован жителями Эндери и наголову разбит, причём были убиты подполковник и 80 драгун. Оправдываясь в своей оплошности, Ветерани свалил свою вину на Волынского, доставившего будто бы неправильные известия о поселении Эндери. В пылу раздражения государь призвал к себе на корабль Артемия Петровича и здесь, с глазу на глаз, только в присутствии Екатерины, принялся поучать его своею увесистою, всем известною дубинкою. К счастью для губернатора, за него вступилась государыня, и только её предстательство «до больших побоев милостиво довести не изволило». На другой день государь, успокоившись, хладнокровно рассмотрел дело и, убедившись в невиновности Волынского, дружески сказал ему:

– Ну, брат, прости меня. Я теперь твой должник. Как заслужишь наказание, так напомни мне тогда, что у нас с тобой счёты.

После этого случая, по выражению самого Артемия Петровича, «государь вновь принял его в свою высокую милость».

Эта милость была, однако же, только проблеском прежнего фавора. Завистники, даже из выдающихся придворных и служебных чинов, не упускали случаев воспользоваться пошатнувшимся доверием государя к своему новому родственнику. Граф Апраксин, командир каспийской флотилии, и Толстой, сопровождавший государя, передали Петру рассказы о слухах, ходивших насчёт корыстных действий Артемия Петровича ещё в бытность персидским посланником, рассказывали, например, что будто бы тогда он взял в частную свою прибыль с купцов, торговавших в Персии, Евреинова и других, до двадцати тысяч рублей, под предлогом на государственные нужды. Далее передавали, что будто бы и от самого шаха персидского Волынский получил в подарок значительное количество гилянского шёлка, утаённого им от государя. Подобным рассказом, как основанным на одних только бездоказательных слухах, государь, конечно, не давал веры, но они, как и всякая, даже явная клевета, незаметно прокладывали дорогу к будущему нравственному принижению оклеветанного. К довершению несчастья для Волынского, эти рассказы как будто подкреплялись и обстоятельствами.

Транспортные суда с провиантом для войска, остановившегося в Дербенте, были на пути разбиты бурею и все погибли. В оплошном заготовлении непрочных судов точно так же не упустили случая обвинить губернатора. Хотя государем и сделаны были распоряжения о немедленном заготовлении в Казани и Нижнем новых транспортных судов, но, тем не менее, сделалось невозможным продолжение кампании этого года и часть войск должна была возвратиться в Астрахань.

Персидский поход кончился неудачно, и государь, отъезжая в Петербург, естественно, не мог быть особенно милостивым к Волынскому, непосредственному руководителю кампании. Правда, Пётр оставил Артемия Петровича астраханским губернатором, но значение последнего значительно понизилось. Сосредоточенная прежде власть в одном лице губернатора теперь была разделена.

Начальство над войсками, находящимися в занятых персидских областях, равно как и управление этими областями, вверено было генералу Матюшкину, стоявшему в иерархическом отношении выше Волынского. Затем, другой важный пост заведующего постройкою крепостей в Прикаспийском крае занимал генерал Кропотов, совершенно не зависящий от губернатора. Что же касается до дипломатической части, то ею, помимо Артемия Петровича, стал заведовать консул Арамов, живший в Испогани.

За отделением этих самостоятельных частей обязанности астраханского губернатора стали ограничиваться только внутренним административным управлением губернией как зауряд и прочих областных правителей, – мечты о самовластной роли, о роли первенствующей персоны в государстве разлетелись, оставив после себя одну накипь неудовлетворённого, раздражённого самолюбия.

Если вообще при разделении власти неизбежны недоразумения и столкновения даже и при положительно определённых обязанностях, то тем неизбежнее неудовольствие между лицами, обязанности которых не установлены и строго не разграничены. Естественно поэтому, что, почти вслед за отъездом государя в Петербург, начались жалобы. Матюшкин и Кропотов обвиняли Волынского в неисправности, а последний жаловался на несправедливую притязательность и на неимение у себя средств и способных людей.

Последствием этих жалоб был вызов осенью 1723 года в Петербург, для личных объяснений, Артемия Петровича и генерала Матюшкина. Благодаря ли заступничеству Екатерины или ловкому красноречию в оправданиях, только Артемий Петрович от личного разбора дела государем особенно не потерпел, за исключением наложенного на него штрафа и задержания в выдаче жалования. По крайней мере, в мае 1724 года Волынский, по обязанности генерал-адъютанта, вместе с родственниками Нарышкиными и камергерами

Монсом и Балком участвовал во всех торжествах, сопровождавших коронование императрицы Екатерины.

По окончании празднеств Артемий Петрович скоро воротился в Астрахань, где ожидали его ещё большие неприятности. Тотчас же по отъезде его из столицы недоброжелатели поспешили передать государю скандальную и в наше время непонятную историю князя Мещерского[26].

Может быть, государь не обратил бы внимания на эту историю, слишком тогда обыкновенную, но, к несчастью, стечение исключительных обстоятельств вызвало в нём тогда страшный взрыв гнева, разразившийся кровавым эпизодом. Все эти обстоятельства касались до лиц сердечных и близких Петру: с одной стороны обнаруживалось воровство Меншикова, обманувшего царское доверие, а с другой – измена дорогой Екатеринушки, слишком благоволившей к красавцу Монсу.

Беспощадною смертью казнён был красивый Виллим Иванович, такая же участь угрожала и Волынскому, которого близость к Монсу была известна Петру, но… на этот раз судьба спасла Артемия Петровича… 28 января 1725 года скончался Пётр и на престол вступила Екатерина.

Императрица Екатерина считала Волынского преданным себе человеком, помнила его короткие отношения к Виллиму, а потому одним из первых её распоряжений было снятие с бывшего астраханского губернатора опалы. Не далее как месяцев через пять Артемий Петрович получил новое назначение: быть казанским губернатором и заведующим калмыцкими делами; вместе с тем сложен был с него штраф и последовало распоряжение о возвращении удержанного жалования.

В иерархическом отношении это назначение не было шагом вперёд, но оно приближало к административному центру, ко двору, к которому стремились тогда все искавшие милостей. По принятому обыкновению, в Казань назначались губернаторами всегда из более родовитых фамилий, более близких ко двору и более влиятельных.

Новое назначение ещё более возбудило прежних врагов Волынского. Императрице не раз докучали докладами, в особенности генерал-прокурор Ягужинский, о неудобстве совместного управления обширной губернией и заведовании калмыцкими делами, о неизбежных, вследствие этого, упущениях и необходимости подчинения калмыцких дел надзору главного начальника войск, находившихся на Волге и на Дону, фельдмаршала князя Голицына. Несмотря на представления тайного совета, императрица отстаивала Артемия Петровича, оставила его при обеих должностях, а для устранения неудобства совместного заведывания делами в разных местностях велела назначить в помощь ему вице-губернатора, который управлял бы губерниею во время его отсутствия.

Враги, однако же, не унимались, а, напротив, становились всё настойчивее и упорнее. По их настояниям военная коллегия передала Артемия Петровича суду за дерзкое обращение с мичманом Мещерским, удержанное жалованье не выдавалось, а все его распоряжения по калмыцким делам представлялись с самой чёрной стороны. Чувствуя на себе постоянные уколы врагов, Волынский, почти тотчас же по приезде в Казань, стал проситься в отпуск в Петербург, для личных объяснений с императрицею. Этот отпуск он получил в июне 1726 года.

Личные объяснения с императрицей увенчались полным успехом: Артемия Петровича наградили чином генерал-майора и оставили при обеих должностях, но ненадолго. Через несколько же месяцев, в начале 1727 года, он был удалён от этих должностей, вследствие

---

[26] Князь Мещерский, служивший мичманом при Каспийском порте и бывший домашним шутом у генерала Матюшкина, нередко своими дерзостями возбуждал неудовольствие губернатора. Раз, взбешённый какой-то дерзостью, Артемий Петрович приказал вымазать князю лицо сажей, посадить его на кобылу и привязать к каждой ноге по пудовой гире с живой собакой… Затем, продержав таким образом два часа, по распоряжению же губернатора князя Мещерского сняли с кобылы и посадили голым телом на лёд, посыпанный солью, и в таком положении продержали князя ещё час.

каких именно причин – неизвестно, можно только догадываться, что этой немилостью он был обязан донесениям фельдмаршала князя Михаила Михайловича Голицына по калмыцким делам.

Кончина императрицы Екатерины и воцарение Петра II застали Артемия Петровича в Петербурге, в звании шталмейстера, но без всякого официального значения. Правда, недоброжелатели, стараясь оттереть его от двора, назначали ему командировки то в Голландию, то в Персию и Украину, но Артемий Петрович не торопился исполнением поручений и оставался в Петербурге, укрепляясь связями с милостивцами. И милостивцы ему помогли: в мае 1728 года он был снова назначен казанским губернатором, без заведования, впрочем, калмыцкими делами.

Казань в то время могла назваться безопасным притоном всякого рода преступников, воров и разбойников. Целые шайки беглых и беспаспортных скитальцев свободно прогуливали там свои легко приобретённые деньги в кабаках и домах разгульных женщин.

Артемий Петрович ревностно принялся за дело и скоро энергическими мерами очистил город и окрестные слободы от шаек бродяг; притоны и дома разгульных женщин закрылись, а постоянными караулами и обходами полицейских команд водворились тишина и безопасность.

Власть губернатора в то время имела иной, широкий характер. Ещё императрица Екатерина, находя введённые покойным мужем областные коллегиальные учреждения тягостными для народа, уничтожила их почти все, возложив их права по управлению и суду единолично на губернаторов. Таким образом, губернаторы сделались самовластными и бесконтрольными администраторами и судьями, отчего ещё больше развился хищнический взгляд на управление.

И Артемий Петрович не был совершенно чист от общественной порчи, и он дышал тем же заражённым воздухом, и он, как его товарищи, самодурствовал, был груб и дерзок низшими, и он пользовался незаконными доходами, нередко вымогаемыми смертными побоями. Кроме незаконно наложенной подати на податных «подлых людей» по четыре и пять копеек с души, на содержание губернаторского управления, обильный доход доставляли инородцы: то за освобождение от корабельных работ, от которых, впрочем, они освобождались законом, то за освобождение от толмачёвской обязанности; точно так же и купцы приносили свои даяния, то в виде займа, то в виде благодарности. Получением таких доходов, сборов и поборов заведовал обыкновенно доверенный губернатора, слуга его Кубанец.

Пользование доходами, по взгляду того времени, не считалось особенно бесчестным, и Артемий Петрович, в полном сознании своей безгрешности, не краснея, называл свою жизнь безупречно честной. Замаранный грязью взяток, он в то же время считал себя благородным, незапятнанным дворянином, с отвращением отворачивался от обязанности политического доносчика, когда раз потребовали этого обстоятельства, и даже сам с энергией преследовал злоупотребления.

Во время его губернаторства, казанскую митрополичью кафедру занимал Сильвестр, человек большого ума, ловкости и с сильной поддержкой в синоде. Сначала митрополит и губернатор жили большими друзьями; мир между ними казался прочным, управление духовным ведомством совершенно не зависело от гражданского, но скоро добрые отношения изменились.

Преследуя злоупотребления по своему ведомству, Артемий Петрович нередко наталкивался на злоупотребления, совершавшиеся в духовном ведомстве, и не только не обходил их, как сделали бы его товарищи, более осторожные, но, напротив, выводил наружу и доводил до сведения синода. Вследствие этих открытий над митрополитом назначено было формальное следствие. С своей стороны и Сильвестр не остался в долгу. Он отвечал градом доносов, составленных ловко и вызвавших точно такое же следствие над губернатором. Таким образом, в Казани, к общему скандалу, явилось два следствия: о злоупотреблениях митрополита и о злоупотреблениях губернатора. К несчастью для Артемия Петровича,

борьба оказалась неравной: на стороне его противника был значительный перевес от изворотливости митрополита, а главное – от тайной и явной помощи вице-губернатора, связанного с Сильвестром общностью интересов и родственными отношениями.

В таких раздорах прошёл 1729 год. В следующем году вступила на престол Анна Ивановна, с воцарением которой выдвинулись вперёд её родственники Салтыковы, главные милостивцы Артемия Петровича.

Рассчитывая на всемогущую защиту милостивцев, он посылает просительские письма, одно за другим, к Семёну Андреевичу Салтыкову, к Алексею Михайловичу Черкасскому, к жене Алексея Михайловича, к Михаилу Гавриловичу Головкину, бойко отвечает сенату на все пункты доносов Сильвестра и отправляет всеподданнейшие доношения самой императрице. Милостивцы делали, что могли или хотели, прошение к императрице было ей прочтено самим обер-камергером Бироном, но всё-таки дело кончилось тем, что Артемий Петрович в ноябре 1730 года был уволен от должности казанского губернатора, с назначением в Персию, в команду генерала Левашёва. Эта немилость поразила его тем чувствительнее, что легла на свежую рану: с небольшим за месяц умерла его жена Александра Львовна.

Для характеристики Артемия Петровича необходимо упомянуть ещё об одном обстоятельстве. Вскоре после смерти Александры Львовны его доброжелатели стали настойчиво советовать ему новою женитьбою упрочить связи с сильными мира сего и указывали на дочерей Семёна Андреевича, но, к чести Артемия Петровича, он решительно отказался от этого предложения, не желая такой ценой покупать себе милости. «По мне, – писал он к покровительнице своей, княгине Черкасской, – душа моя и честь милее, чем весь свет».

В январе 1731 года Артемий Петрович, вместо Персии, самовольно переехал в Москву, где тогда находился двор.

Трудное время переживалось Артемием Петровичем в Москве. После опалы каждого гордо стоявшего и сильного человека всегда являются люди, желающие потешиться над упавшим, отвести на нём накипевшую прежде злобу, а у Артемия Петровича таких людей было немало. Вскоре после переезда Волынского в Москву явились взыскания купцов по займам его ещё в Персии. Этим взысканиям услужливые люди постарались придать вид лихоимства, объясняя все отношения наши в Персии при Петре Великом корыстными целями Волынского. Не успел он ещё оправдаться от этих обвинений, как поступили новые жалобы на беззаконные сборы бывшего губернатора от инородцев Казанской губернии, подстрекаемых вице-губернатором Кудрявцевым. Ввиду сложности и важности обвинения назначена была «инквизиция», то есть особая следственная комиссия, а сам Волынский был арестован.

Красноречиво и ловко Артемий Петрович опровергнул все возводимые на него обвинения, но враги не унимались. Казанский вице-губернатор обратился в сенат с представлением о присылке из сената особых чиновников для строгого расследования злоупотреблений, совершённых при бывшем губернаторе. Такое строгое исследование, направляемое местными врагами, грозило уже не одною опалою, и Артемий Петрович, по совету милостивцев, для предупреждения дальнейших преследований и прекращения начатых, решился на отчаянную меру: он повинился императрице во всех своих винах и обратился к её милосердию.

Как скоро дело перешло от кляузной инквизиции в руки высшей власти, спасение представилось более чем возможным. И действительно, хлопотами высоких покровителей, вызвавших к Волынскому участие самого Бирона, он, 28 сентября 1731 года, был помилован, причём повелено было закрыть инквизицию и прекратить все дальнейшие исследования. За этой милостью следовала другая: в ноябре того же года Артемий Петрович назначен был воинским инспектором.

С прошлым было покончено и доносам врагов подведён окончательный итог. Теперь Артемий Петрович получил возможность свободно оглянуться кругом, внимательно

всмотреться в окружающую сферу, взвесить хладнокровно роли различных партий и верно наметить свою будущую дорогу. Богатые способности, обширный ум, ловкость и замечательный дар слова обещали ему полный успех… Он быстро стал подниматься всё выше и выше, переходя от одного назначения к другому. В половине 1732 года он получил место помощника начальника графа Карла Левенвольда – место, приблизившее его к самым сильным мира сего, чем, разумеется, он и воспользовался. Последствием этого назначения был ряд наград: в 1734 году он получил чин генерал-лейтенанта и снова знание генерал-адъютанта; в 1735-м, по смерти графа Левенвольда, – его место по конюшенной части, а в 1736 году – должность обер-егермейстера, поставившую его на вид императрице.

Говорят, что почести изменяют нравы, но с Артемием Петровичем случилось наоборот. Чем выше продвигался он, тем шире становился его кругозор, тем чище убеждения, и наконец, когда в 1738 году он достиг высокого поста кабинет-министра, то совершенно отдался святому делу служения родине.

Назначение на пост кабинет-министра, доставленное ему Бироном, возбудило зависть в высокопоставленных лицах. Нашлись из них такие, которые прямо высказывали всемогущему фавориту своё удивление, напомнив прежнюю небеспорочную службу Волынского.

– Я знаю, что он имеет пороки и недостатки, – серьёзно отвечал герцог, – но где найти между русскими лучшего и способнейшего? Все они так мало на что-нибудь годны, что выбирать из них невозможно.

В сущности же герцог поступил с дальновидным расчётом, надеясь, что новым благодеянием, после избавления от инквизиции, он сделает из Волынского преданное себе орудие, покорный противовес Остерману.

Артемий Петрович – не рыцарь без страха и упрёка, не идеальный герой, а человек по плоти и по крови, ошибающийся и увлекающийся, страстный и восприимчивый, но по природе честный и благородный. Находясь в среде до костей испорченного, эгоистического придворного круга, он не увлёкся его узкими интересами, напротив, он сблизился с кружком скромных тружеников, честных и образованных, стал сам, уже в немолодых летах, заниматься философскою литературою, изучать политические вопросы о мерах общественного развития и явился первым русским земским деятелем.

V

– Имею честь и величайшее счастье принести вашей великогерцогской светлости усерднейшее поздравление со вступлением на владельческий престол Курляндии и представить на ваше благоустроение мою всенижайшую преданность…

– Благодарю… Благодарю очень. Императрица довольна вами… и я также.

Поздравлял русский обер-егермейстер Артемий Петрович Волынский графа Бирона по случаю избрания графа и русского обер-камергера в достоинство владетельного герцога Курляндии.

Прекрасное раннее утро половины июня 1737 года. Ласкающий воздух, напитанный запахом распустившихся цветов лип, растворённый влажностью моря, вливался в открытое окно кабинета графа на его петергофской даче, ютившейся рядом с императорским дворцом.

Эрнст-Иоганн ощущал особенно приятное расположение духа и от этого живительного ароматного воздуха, и ещё более от полученного накануне известия о своём избрании, ставившем его наряду с коронованными главами Европы. Сидя в глубоком кресле перед своим роскошным письменным столом, он благосклонно оглядывал сидевшего напротив его в полунаклонном почтительном положении обер-егермейстера.

– Нельзя не завидовать курляндцам за такой выбор, впрочем, нельзя было и сомневаться, – продолжал Волынский полупросительным и полуутвердительным тоном.

– Да… выбор единодушный. Не удивительно! Мои верные курляндцы знают меня давно, во время ещё заведования моего делами… когда я был в Митаве…

– Конечно, конечно, ваша светлость… Хотя, как я слышал, домогались выбора принц прусский и Мориц саксонский?

– Они интриговали, но курляндцы очень хорошо понимают, что никто не сможет и не сумеет их защитить при случае так, как я!.. Притом же наша фамилия Бирон, как вот пишет мне наш посол в Париже Антиох Дмитриевич Кантемир[27], из самых древних в Европе, происходит от французских…

Новый герцог сказал правду об единодушии, но не высказался о причинах этого единодушия. Курляндское рыцарство, с презрением относившееся к Бирону, когда он был секретарём вдовствующей герцогини, конечно, не могло воспылать к нему особенною любовью тем более, что система его действий в Курляндии проводилась совершенно та же, какая была и в России. Его шпионы там так же проникали повсюду, и имевшие несчастье заслужить нерасположение или подозрение русского обер-камергера точно так же странно исчезали с лица земли; заподозренного схватывали замаскированные люди и увозили в отдалённые русские провинции. Избрание произошло под сильным внешним давление двух дворов, польского и русского. Польский двор не мог желать избрания прусского принца да и вообще любого самостоятельного соседственного владельца из опасения усиления его значения; в его интересах было избрание курляндца, но желающих вступить на престол курляндский из местных дворов никого не оказывалось, по крайней скудости герцогского двора. Все дворцовые митавские имения были разорены и до того обременены долгами, что не было никакой возможности существовать без больших субсидий от соседственного двора. Но такими субсидиями мог пользоваться только Бирон. Давление русского двора в пользу Эрнста-Иоганна было ещё значительно. Тотчас же после смерти старого Фердинанда, последнего герцога курляндского из дома Кетлера, в Данциге, русский посланник при польском дворе Кайзерлинг отправился в Митаву и там не жалел ни слов, ни денег на убеждения. Независимо от того, русскому коменданту, генералу Бисмарку (родственнику Бирона) приказано было двинуть войско в Курляндию. Русские отряды заняли Митаву и находились наготове в ограде, кругом собора, где производилось избрание. Вследствие таких-то одновременно действующих влияний и состоялось единодушие, о котором теперь так внушительно говорил Бирон Волынскому.

– Государыня довольна вашими акциями, господин обер-егермейстер, и намерена послать вас на немировский конгресс, – продолжал между тем граф, заботливо очищая пылинки, засевшие под ногти его пальцев, украшенных драгоценными перстнями высокой ценности.

– Я не пожалею живота своего, ваша великогерцогская светлость, дабы угодить всемилостивейшей государыне, но крайне опасаюсь, будет ли благосклонен господин вице-канцлер.

– О, не бойтесь… любезнейший Артемий Петрович! государыня, конечно, отдаёт справедливость опытности и дарованиям господина вице-канцлера, но она руководится своими рассуждениями.

– Весьма многие трудности, ваша светлость, предстоит преодолеть на конгрессе… Политические комбинации…

– Я не мешаюсь в государственные дела, любезнейший, – перебил герцог, не желая портить своего приятного расположения духа скучными политическими соображениями.

– Это весьма сожалительно и огорчительно, что ваша великогерцогская светлость удаляется от рассмотрения политических конъюнктур, тем паче, что ваш всеобъемлющий разум мог бы более достойным образом…

– По моей глубочайшей преданности к императрице я стараюсь быть ей полезным моими советами, но принимать официи не намерен. Русские так подозрительны и

---

[27] А. Д. Кантемир был русским послом в Лондоне с 1732 по 1738 год. С 1738 года до конца жизни (31 марта 1744 года) Кантемир был послом в Париже.

неблагодарны.

– Не все, ваша светлость, далеко не все… – поспешил оправдаться Волынский.

– Конечно, не все, мой любезнейший, есть и между русскими люди, умеющие ценить и быть благодарными за те благодеяния, которые оказывают им иностранцы, но большинство, громадное большинство – народ невежественный, которому ещё нужно телесное вразумление, который не умеет понять, что сделали для него мы, его учителя и наставники.

В это время вошёл паж и доложил, что её величество государыня императрица изволит собираться на охоту и ожидает к себе его великогерцогскую светлость.

Тень неудовольствия пробежала по лицу фаворита, которую он даже не дал себе труда скрыть. Махнув рукою пажу в знак отпуска, он обратился к Волынскому, протягивая ему с покровительственным достоинством руку:

– Прощайте, господин обер-егермейстер, вы должны тоже сопровождать государыню на охоту. Между тем, я могу вас порадовать своим известием: государыня предполагает, и я тоже разделяю её мнение, назначить вас, по вашем возвращении, на место Павла Ивановича Ягужинского, кабинет-министром. Но помните… до тех пор, пока вам не объявит этого её величество, вы не должны знать…

С низкими поклонами, почтительно прикоснувшись к руке фаворита, Артемий Петрович спешил удалиться для личного осмотра всех приготовлений к охоте.

«Наконец-то я буду там, где и должен быть по своим и дарованиям… Глупец! Он думает меня облагодетельствовать и сделать из меня покорное орудие… Наглец!» – думал про себя Артемий Петрович.

Лето 1737 года Анна Ивановна, по обыкновению, провела в Петергофе.

Это было самое очаровательное место из всего финского побережья, бывшее и в то время почти таким же, как и в настоящее, за исключением только некоторых деталей. Правда, нагорный петергофский дворец, начатый постройкою в 1715 году, был ещё не отделан, не было знаменитой статуи Самсона, раздирающего льва[28], но в общих чертах было то же, что и ныне, те же бассейны, фонтаны, гроты, статуи. Немало Пётр Великий положил своего мозольного труда на петергофскую почву.

Заботясь об обеспечении за собою новоприобретённого поморья и лично наблюдая за укреплением Кронштадта на острове Котлин, Пётр Великий распорядился постройкою, на том месте берега, откуда отправлялся на остров, двух светлиц и съезжего двора, а рабочие и окрестные жители построили деревянную крепость во имя Благовещения, в которой государь нередко читал апостола. Местоположение полюбилось Петру: прямо за его любимым морем точно выходили из воды новые твердыни, за которыми, в неясной дали, очерчивались берега Финляндии, а вправо – в лесной зелени – вырезались постройки нового города, его создания; всё чаще и чаще стал наезжать сюда Пётр, и скоро на самом берегу моря построилась «попутная палатка» – Монплезир.

Пётр, по натуре своей, не мог отдавать делу только половину себя. Задумав сделать из выбранной местности свою летнюю резиденцию, он принялся за работу с обыкновенною энергией. На пустынном берегу неугомонно застучали топоры и молоты, завизжали пилы. Петергоф сделался его излюбленным местом. Здесь часто пировал он со своими птенцами и с иностранными посланниками; часто после сытного обеда и отдыха он, как и гости, одевался в фартук и отправлялся в сад работать вплоть до вечера: кто копал заступом, кто чистил скребком или киркою, кто подстригал ножницами – для всех была работа. Не довольствуясь местною флорою, Пётр выписывал растения для предполагаемого парка из дальних мест: в

[28] Постройка каменного дворца, задуманного Петром Великим после своей свадьбы с Екатеринушкою, поручена была первоначально архитектору Леблану, после которого постройкою заведовал граф Растрелли-отец, но окончательная отделка последовала уже в царствование Елизаветы Петровны. Что же касается до фонтана Самсона, то этот фонтан, поставленный при Екатерине, имеет символический смысл. Самсон, раздирающий пасть льва, указывает на полтавскую победу в день св. Самсония, причём лев знаменует Швецию, в государственном гербе которой, действительно, изображается лев.

Амстердаме были куплены липовые деревья, из Ревеля и Данцига были привезены барбарисы, розовые кусты и вётлы, из Швеции яблони, сорок тысяч ильмовых деревьев, из Москвы клёны, из Ростова шесть тысяч буковых деревьев. По мере того, как хорошел Петергоф, росли и развивались затеи новатора. Явились прожекты различных прешпектов, аллей и фонтанов. Пётр поручил русским, находившимся за границею для обучения, прилежно собирать планы и фасады замечательных заграничных парков, сам занимался проектами и писал инструкции. Большая часть его проектов тогда была приведена в исполнение. «Доделать кашкаду другую, – писал он в одной из своих инструкций, – грот и в оном стол с брызганием и орган, буде можно, так же в бассейне фонтанку; по уступам у обеих кашкад статуи и горшки, грот маленький вверху, на одной стороне прохода, а в другой что иное, по рассуждению архитектора; у сих двух мест, также у большого грота, сделать водотечение, когда понадобится, чтобы входы закрыла вода. Перед большою кашкадою, на верху, сделать историю Еркулову (Геркулесову), который дерётся с гадом семиглавым, называемым гидрою, из которых будет идти вода по кашкадам. На верху, у малой марлинской кашкады, делать телегу Нептунову, с четырьмя морскими лошадями, у которых изо рта пойдёт вода и будет литься по кашкадам».

Хотя история Еркулова и не осуществилась, а вместо неё явилась статуя Самсона, но, тем не менее, всё это почти исключительно труды Петра. Тысячи народа работали без устали над водопроводами кашкад, и к августу 1721 года вся система кашкад была уже готова, а через пятнадцать лет, при Анне Ивановне, Петергоф мог казаться чем-то волшебным.

VI

Шум, крик и беготня со всех сторон. Оживился обыкновенно пустынный лес, примыкавший к петергофскому парку, где находился зверинец для летней забавы скучающей императрицы. Впрочем, не ради своей забавы, не от скуки она устраивала при дворе своём дорогие разорительные праздники и увеселения, вечера и собрания[29]. Полюбив глубоко, всем существом своим, она только и жила этим чувством, сделавшимся для неё источником постоянной сердечной тревоги. Она сознавала свои недостатки, свои немолодые годы, не выдающуюся красотою наружность, понимала, насколько теряла она в присутствии молодых красивых женщин и естественно, всеми средствами старалась отдалить от них любимого человека. С какой мучительною ревнивою подозрительностью смотрела она, когда он подходил к цесаревне и говорил с нею, сколько страдания вытерпело её бедное сердце, как оно то заливалось широкою волной и билось, то холодело при каждой улыбке его, при каждом приветствии его цесаревне. А между тем необходимо было закрывать себя, не давать проникать в свой внутренний мир всем этим тысячам глаз, жадно следящим за нею, подмечающим каждое её движение. И она насиловала себя, заставляя лицо нервно передёргиваться улыбкою, когда ей хотелось бы рыдать; из головы выжимать благосклонные приветствия, когда ей хотелось так избавиться от этого беспощадного надзора. Да, в сущности, и напрасны были её труды, бесплодна постоянная ломка себя, постоянное принуждение, подтачивающее жизненные силы, – её тайны давно уже все знали, все подглядели, до самого тайного уголка. Напрасно одевалась она набожностью, строгими принципами нравственности, называла распутством свободное обращение женщин на празднествах своих придворных, куда не допускала своего Эрнста-Иоганна, – все понимали лучше её самой, откуда, почему и зачем такие строгости.

На большой прогалине петергофского леса выстроен был киоск с остроконечною крышей, обнесённый кругом решёткой. Сюда собрались: императрица, цесаревна Елизавета, приглашённая как любительница охоты, племянница государыни, уже восемнадцатилетняя

[29] При Анне Ивановне выписаны были итальянские певцы и основалась итальянская опера, на которую были потрачены значительные суммы.

принцесса Анна Леопольдовна, недавно приехавший племянник императора австрийского, принц Антон Брауншвейгский, намеченный жених принцессы, герцог курляндский с супругою, обер-егермейстер Волынский и весь придворный штат, живший в Петергофе.

Императрица казалась в хорошем расположении духа. Сидя у решётки, она, подозвав к себе обер-егермейстера Волынского, благосклонно сообщила ему о назначении его на немировский конгресс и добавила:

– Я думаю, Артемий Петрович, ты привезёшь к нам молодую жену. Польки, говорят, умеют кружить головы таким молодцам, как ты.

– Образ персоны вашего величества будет ограждать меня от искушений и поощрять к непосильным трудам по службе, – нашёлся Артемий Петрович, вообще не ходивший в карман за словом.

– Служба твоя и преданность нам, – приветливо улыбаясь, говорила Анна Ивановна, – мне известны и… – но в это время взгляд её упал на оживлённо разговаривавших и стоявших поодаль, у самой решётки, цесаревну и Эрнста-Иоганна. Неудовольствие пробежало по лицу императрицы, она вдруг замолчала и начатая мысль осталась не высказанною. Как ловкий придворный, Артемий Петрович, разумеется, не заметил смущения государыни, занявшись с серьёзным вниманием разбором превосходной отделки любимого ружья Анны Ивановны, выписанного ею из-за границы.

– Как ты находишь моё ружьё, Артемий Петрович? – снова обратилась к нему государыня, успевшая оправиться и по-прежнему ласковая.

– Магнифично, ваше величество, но желалось бы, чтобы наши отечественные изделия достигли такой перфекции.

– Вот будешь охотиться, Артемий Петрович, с польскими панами, – снова переменила разговор императрица, как бывает всегда, когда мысль занята совершенно другим, когда поддерживаемый разговор только скрывает другой, невысказываемый вопрос, когда бессознательно и даются вопросы и выслушиваются ответы.

Не успел ещё приготовить какого-нибудь кудреватого ответа находчивый говорун Артемий Петрович, как императрица уже предупредила его вопросом, высказанным вполголоса:

– Видишь вон там принца? – и она взглядом указала на стоявшего подле принцессы Антона Брауншвейгского. – Как его находишь?

Несмотря на находчивость, Артемий Петрович затруднился отвечать на неожиданный вопрос.

– Я не знаю принца, ваше величество, и… судить…

– И судить-то нечего, он весь тут… – перебила государыня с заметным раздражением и сдвигая брови. – Нечего сказать, удружил граф Рейнгольд! выискал женишка!

– Но если ваше величество не желаете… то…

– Мало ли чего я не желаю… да и не всё так делаешь, как желаешь. Вон Андрей Иваныч говорит о разных конъюнктурах.

Между тем встревоживший государыню разговор цесаревны с герцогом курляндским был в действительности самого невинного характера.

– Государыня желала доставить удовольствие вашему высочеству, зная, как вы жалуете охоту, – говорил герцог, подходя к цесаревне, стоявшей в стороне и задумчиво облокотившейся на решётку.

– Её величество по доброте своей не забывает меня, но я люблю не такую охоту.

– Почему же вам не нравится наша охота?

– Я не могу убивать беззащитных зверей, герцог, – с воодушевлением проговорила цесаревна.

– О, ваше высочество изволите любить опасности, борьбу…

– Нет, совсем не то, герцог, – спохватившись, заторопилась объясниться цесаревна. – Я не люблю и не желаю никаких опасностей, никакой борьбы ни для себя, ни для других. Но, видите ли… мне жалко убивать беззащитное животное. Раз, тоже на охоте, я случайно

увидела последний взгляд… в нём было столько покорности, столько мольбы… до сих пор не могу забыть!

– Однако же, ваше высочество, вы сами же убиваете на охоте?

– Случается, герцог, но то совсем другое дело. Животное не беззащитно, оно тоже борется своими средствами, бежит, старается обмануть, увёртывается. Да притом как-то увлекаешься сама, невольно забываешься…

Цесаревна вспомнила свои охоты в Покровском и оживилась. Всегда красивая и привлекательная, в моменты воодушевления, с этим живым румянцем, проступавшим сквозь нежную атласистую кожу, с правильно очерченными, несколько пухлыми губками и в особенности с этими большими выразительными глазами, которые обдавали избытком жизни, в эти моменты она казалась очаровательною. Герцог невольно поддался обаянию этой красоты и жадно осматривал весь роскошный бюст её, освещённый красными лучами солнца.

Невольно смутившись от этого взгляда, девушка инстинктивно оглянулась на императрицу и угадала её неудовольствие.

– Однако, герцог, мы отдалились от других и точно сочиняем какие-то заговоры. Пойду утешать бедную кузину принцессу. Посмотрите, как она убита, точно будто бы её кто-нибудь преследует, а как было она похорошела!

Теперь, в свою очередь, смутился незастенчивый Эрнст-Иоганн. Слова цесаревны, сказанные без умысла, он понял намёком на ту систему паутинного шпионства над цесаревной и принцессою, которой он окружил их. С оскорблённым самолюбием воротился он к императрице.

Принцесса Анна Леопольдовна в последнее время значительно похорошела. Из худенькой, бледненькой, забитой девочки, какой она была при приезде тётки в Москву, теперь вполне сформировалась миловидная девушка. В организме каждой девушки замечается такая быстрая перемена; казалось бы, никаких видимых изменений нет: те же черты, иногда даже неправильные, без всякой внешней перемены, вдруг становятся совсем другими, вдруг принимают особое выражение, привлекательное и необыкновенно симпатичное; те же глаза, но другое выражение, заставляющее забывать и неправильность очертаний и странный цвет их; те же губы, но другая улыбка. Иная жизнь разлита по всему трепещущему телу и магнетическим током переливается по всем нервам. Эта странная метаморфоза наступает, когда девушка глупо полюбит.

Молоденькая, восемнадцатилетняя Анна Леопольдовна полюбила, и полюбила глубоко – Линара, саксонского посланника при дворе Анны Ивановны, несмотря на значительную разницу лет. Линару в то время было за сорок, но это был мужчина сохранившийся, красивой наружности, любезный и ловкий, выделявшийся в среде русских, ещё не достигших европейской элегантности. Мудрено ли было увлечься ей, девушке, до сих пор никем не замечаемой, вниманием такого видного сердцееда того времени, и притом в пору, когда природа сама окрыляет новое чувство, когда любить становится насущной потребностью.

Но любил ли её Линар, как она любила его беззаветно, – неизвестно. Вероятно, и он увлёкся, конечно, не безумною страстью юности, а подогретым чувством, на закваске удовлетворённого тщеславия внушить любовь девушке такого высокого общественного положения, будущей наследнице престола, и притом так бережно охраняемой. Может быть, и сам он невольно поддался обаянию свежести и неиспорченности первого девственного чувства. Когда и в каких формах пустило в обоих их взаимное чувство, они оба не могли бы определить себе, даже он сам, при всей своей опытности в таких делах, так это чувство было чисто и естественно. Весь обмен их объяснений ограничивался тайными пожатиями рук да несколькими словами, высказанными урывками и украдкою от сотни глаз и ушей, без устали наблюдавших за ними.

Вскоре они нашли новое средство для передачи чувства. Подкупленная ли любовью к своей воспитаннице или просто считая возникшие отношения невинными и бесследными, как обыкновенная шалость молодости, воспитательница принцессы, госпожа Адеркас, сама

стала посредницею в передаче писем. До нас не дошла эта переписка, и нам невозможно заглянуть в душу молодой девушки, но и сохранившихся данных её печальной судьбы слишком довольно для безусловной и полной к ней симпатии. Расцветшее счастье продолжалось недолго. Домашние шпионы подстерегли тайну, донесли обо всём герцогу, а тот императрице. Гроза разразилась и убила улыбнувшееся будущее. Графа Линара отослали к аккредитовавшему его правительству с хитрою и замысловатой нотою, произведением находчивого ума Андрея Ивановича; госпожу Адеркас выслали в Германию, со строгим запрещением въезда, а над принцессою удвоился караул шпионов. Наконец, для довершения несчастья, страдающей девушке объявили, что она должна смотреть на принца Антона как на будущего мужа.

Принц Антон-Ульрих Брауншвейгский обладал наружностью, лишённой всякой возможности нравиться женщинам. Малорослый и тщедушный, с реденькими светлыми волосами, незначащими светло-серыми глазами, с чертами, не оставляющими в памяти тех, с кем встречался, решительно никакого следа; он, к несчастью, и своими душевными качествами, робостью и трусливостью не мог произвести выгодное впечатление на женское воображение. Понятно поэтому, что должна была чувствовать к нему девушка, которой воображение ещё так живо ласкал образ дорогого человека, смелого, умного и в сравнении с принцем идеально-прекрасного.

В юности, не испорченной преждевременным развратом, нервы восприимчивее, ощущение живее и всякое горе кажется таким бесконечным, безысходным несчастьем. Девушке опротивело всё окружающее, ей хотелось бы бежать от всего, от себя самой, выплакать свою жгучую скорбь, а между тем ей приказывают быть довольной, весёлой и любезной с ненавистным женихом.

Позади невесты стоит этот жених с видимым желанием разговориться, в бесплодной пытке ума выжать какой-нибудь общий, интересный для них сюжет, но такого сюжета не выискивается, да притом же прямо обратиться конфузно. Только чаще обыкновенного моргает он глазами, краснеет и переминается.

«Что за трусливый выродок из мужского рода», – мелькнуло в голове цесаревны, подошедшей к принцессе.

Испытавшая и пережившая первые весенние впечатления распускающейся жизни, цесаревна Елизавета сочувственно относилась к горю кузины. Всю историю любви принцессы и Линара она знала во всей подробности. Если у герцога курляндского были шпионы и подкупленные слуги, то и у цесаревны были люди, не менее, если не более деятельные, только не из корысти, а из преданности. Домашний медик её Лесток выказывал удивительную сметливость. Толкаясь во всех слоях общества, он ловко и из верных рук получал сведения о всех сокровенных тайнах двора и приближённых к нему лиц. А преданные гвардейцы?! Они видели в ней матушку свою, дочь Петра, память о котором свято ими чтилась. Постоянно забегая к ней в домик за разными нуждишками: кто с просьбою дитя окрестить, кто с благословением на брак – они высказали перед нею весь запас своих знаний, а знать они могли многое, содержа караулы во дворце, от прислуги дворцовой, от разных знакомцев, по собственным наблюдениям, так как от них обыкновенно никто не таился.

Цесаревна, конечно, не имела особенных причин любить принцессу Анну, уже по одним натянутым отношениям к её тётке, наследницею которой считали принцессу, но у неё было мягкое сердце. Притом же страдания от любви с испокон веков более всех других видов страданий вызывают сочувствие женщин. И ей теперь так захотелось ободрить принцессу, утешить её хотя бы добрым словом.

– Кузина, вы верно больны? у вас такой болезненный вид? – спросила она тем мягким, участливым тоном, которому женщины умеют придать особенную симпатичность.

– У меня голова болит, – отозвалась принцесса, не оборачиваясь, чтобы не встретить лица принца Антона, и не отрываясь от неопределённого выражения взгляда, как будто остановившегося на каком-то отдалённом, невидимом для Других предмете.

Елизавету забирала злость на девушку, та злость, которая выливается тысячами булавочных уколов.

– А вы, принц, верно, никогда не страдаете головою? – вдруг спросила она, обращаясь к Антону-Ульриху.

Принц сконфузился, побагровел до белков глаз, хотел что-то сказать, заикнулся и едва-едва с усилием собрался выговорить:

– О, да… ваше высочество, никогда… решительно никогда…

– Я в этом уверена! – и цесаревна осталась очень довольна хотя таким ничтожным уколом. – Вам не нужно было приезжать сюда, – снова она обратилась к кузине.

– А разве меня спрашивают когда-нибудь? Приказано… и я должна… О, как я завидую вам! – отвечала Анна Леопольдовна отчаянным голосом, в котором слышались едва подавленные слёзы.

– Не могу ли я вам быть чем-нибудь полезною?

– Вы? нет, цесаревна, ничем… Помолитесь обо мне… Да сами берегите себя… Вы сами можете быть в таком же положении…

– Я? Никогда, – гордо отвечала цесаревна. – Я дорожу своей свободою и сумею её защитить… да если бы и вы, кузина…

В это время подле них раздался ружейный выстрел. Молодые девушки вздрогнули.

– О, не беспокойтесь, ваши высочества, это ничего… это выстрел… её величество изволила… – поспешил успокоить их принц Антон, довольный собою, что, наконец, успел-таки высказать такую длинную речь.

Началась охота. Вспугнутые животные выбегали на прогалину, где и встречали смерть. Императрица, стоя у решётки с ружьём в руках, ожидала первого появления жертвы. Позади её стоял обер-егермейстер Артемий Петрович, осматривая предварительно приготовленные, заряженные ружья и подавая новое после каждого выстрела. Первый выбежавший заяц не успел добежать до половины прогалины, как был убит. Императрица, по справедливости, могла назваться хорошим стрелком, попадая в птиц на лету или убивая зверей, определяя заранее место своей цели. Она пристрастилась к стрельбе с первых же лет своего пребывания в Митаве, охотясь в привольных для охоты лесистых местностях Курляндии, и эта страсть не покидала её до самой смерти. В комнате её, во дворце, как в Петербурге, так и в Петергофе, всегда стояло несколько заряженных ружей, из которых она стреляла в пролетающих птиц. Это бывало летом, в зимние же месяцы часто приготовлялась другого рода забава. В галерее Зимнего дворца устраивалась мишень для стрельбы стрелами из лука, в чём упражнялись, следуя примеру императрицы, и многие из придворных дам. Разумеется, чаще всех дам и мужчин попадала в цель сама императрица, и это было справедливо. Она отличалась верным взглядом. Играя, например, на биллиарде, что было тоже одной из любимых её забав, она почти всегда выигрывала партию, даже без всяких подставок и угождений со стороны партнёра.

Конечно, случались, хотя и редко, промахи, но в этих случаях всегда являлись удовлетворительные объяснения и в конце концов государыня всё-таки выходила победительницею. Такой неудачный выстрел был по второму выбежавшему зайцу. Анна Ивановна с уверенностью объявила, что заряд попадёт в голову, а между тем вышло далеко не так. Заяц, сделав по прогалине в одном направлении несколько прыжков, вдруг повернул в сторону, а потому и размеренный на дальнейший прыжок выстрел, разумеется, пролетел мимо. Несмотря, однако же, на очевидность, Артемий Петрович стал положительно уверять, что выстрел был верен и животное только успело добежать до опушки, где и лежит убитым.

Стреляла почти только одна императрица, за исключением нескольких, впрочем неудачных выстрелов герцога курляндского и Артемия Петровича. Однако же было убито довольное количество лосей и зайцев.

К полудню погода стала изменяться. На чистом и безоблачном небе, с юго-западной стороны, подвигалась синяя туча, поднимавшаяся всё выше и выше, зной сделался удушливым; по временам порывы вихря пробегали по лесу, крутя деревья; раза два

послышались отдалённые раскаты грома. Почувствовалась та томящая тяжесть, которая предшествует большим грозам и которая знакома людям нервным.

– Пора и закончить, – объявила императрица, особенно довольная последним удачным выстрелом, – уж полдень, и гроза близко. Ты, Артемий Петрович, прикажи собираться домой, а сам поезжай с нами, вместе пообедаем.

Приглашение польстило самолюбивому обер-егермейстеру. В последнее время парадные большие обеды бывали редко, а чести обедать в домашнем быту государыни, то есть в семействе герцога, удостаивались очень не многие, считавшиеся тогда уже самыми приближёнными и влиятельными людьми. Фавор Артемия Петровича начался.

Садясь в экипаж, императрица заметила убитый вид племянницы, но не сказала ни слова.

– Заботит и печалит меня Аннушка, – уже дорогою проговорила она герцогу. – Не видать, видно, ей счастья, как покойной сестре… Не жених ей Антон, вижу сама, да помочь не могу. Андрей Иваныч советовал было мне выдать её за чёртушку, сынка Петровны, для совокупления, говорит, на единой главе обеих царственных отраслей, да дело неподходящее. Она в поре, как есть замуж, а он ребёнок, какой же будет муж! Богу противно.

– В политических конъюнктурах лета не должны приниматься в расчёт, – глубокомысленно заметил герцог, повторяя слова Андрея Ивановича, и потом задумался.

– Знаю, что не должны, а жаль бедную! да и с голштинцами нам, дщерям царя Ивана, связываться не приходится. Аннушку надо выдавать замуж так, чтобы дети её заняли российский престол, а где отыщем такого жениха? Из царственных домов надо бы.

– Разве необходимо из старых царственных?.. Можно просто из владетельных домов… – как будто без намерения заметил герцог.

– Можно… да где они?

– Поискать… может быть, и найдутся.

Поняла ли Анна Ивановна мысль своего фаворита – неизвестно, но всю остальную дорогу она молчала и казалась расстроенною.

Новые честолюбивые идеи зародились в это утро в двух головах. Идея немца – стать твёрдой ногою у русского престола, занятого то обольстительной фигурой цесаревны, то скромным обликом принцессы, и идея русского – устранить немца от православной Руси.

VII

Изо всех деревянных строений обоих берегов Мойки дом Артемия Петровича Волынского, в котором он постоянно жил сам, отличался величиною размеров, приятною архитектурою и затейливой окраскою. Не менее выдавался изящный вкус хозяина и в отделке внутренних комнат, в особенности парадных, занимавших собою весь лицевой фасад. Стены всех этих обширных зал, гостиных и диванных были обиты красным атласом, с травами и шёлковыми персидскими канавашами, из фона которых эффективно выходили, в золотых рамах, картины масляными красками, изображавшие различные ландшафты и аллегорические сюжеты, а по простенкам огромные зеркала, тоже в золотых рамах. Расставленная кругом стен ореховая мебель с золочёными спинками и триковою обойкою не щеголяла, как у других русских вельмож, грязною неряшливостью. В главной гостиной, над канапе, на почётном месте висели три портрета: Петра Великого в середине, Анны Ивановны и Бирона по бокам. Не так роскошны внутренние, так называемые жилые комнаты, в которых вместо атласа – цветная камка и шёлковые шпалеры, вместо золотых рам зеркал – ореховые и вместо триковых – кожаные подушки, но везде чистота и опрятность. В прямую противоположность немцу Андрею Ивановичу Остерману, злейшему врагу чистоплотности, коренной русский Артемий Петрович тщеславился чистотой, и его многочисленной, состоявшей из шестидесяти человек дворне всё-таки была работа. Домашняя челядь дома Волынского была различных национальностей: шведской, польской, калмыцкой, бухарской и даже индийской; ливрейные лакеи были одеты в песочного цвета кафтаны и красные

камзолы. Артемий Петрович работал в своём кабинете, напоминавшем собою, по солидной библиотеке и астрономическим инструментам, кабинет учёного.

– Кубанец!

Вошёл человек средних лет, с тою свободою, какую видим у прислуги, пользующейся особою доверенностью и расположением господ.

– Кубанец! прибудут мои знакомцы, близкие… понимаешь кто? зови сюда, а если другие кто, то говори: занят-де государственными делами и принять никак не могут, – приказал кабинет-министр Артемий Петрович, сидевший у своего письменного стола, заваленного бумагами и разбросанными книгами.

Артемий Петрович снова принялся за работу. Бойко скользило перо по синеватой бумаге в уверенной руке знаменитого начётчика и оратора того времени. По временам он останавливался, прочитывал с самодовольною улыбкою громко и несколько нараспев последние фразы и нова принимался за перо. Заметно было, что работа была из таких, в которых содержание выливается прямо из сердца автора.

Скоро в прихожей послышался шум и затем в кабинет вошли двое гостей. Первый из вошедших – мужчина уже пожилых лет, грузный, с ожиревшим телом, с опухшим лицом, на котором, в массе самодовольствия и тупости, только глубокий знаток человеческого сердца мог подметить немалую дозу лукавства, князь Алексей Михайлович Черкасский, кабинет-министр, товарищ Волынского и Остермана. Когда после смерти Ягужинского кабинет остался только при двух членах, то придворные остряки говорили, что «ныне-де в кабинете полная консилия души (Остермана) с телом (Черкасским)». Второй гость составлял совершенную противоположность: это был сухопарый, вертлявый француз, с длинным носом, с умными живыми глазами, смышлённо выглядывающими через очки – де ла Суда, секретарь иностранной коллегии, развитый далеко выше уровня русского образования того времени, аккуратный поставщик переводов замечательных трудов иностранных литератур для Артемия Петровича, не знавшего иностранных языков. И теперь под мышкою он держал переведённую им главу из знаменитого политического трактата «Il principe» Маккиавели.

– Добро пожаловать, сиятельный коллега, – приветствовал товарища хозяин, любивший щегольнуть иностранным словцом, любезно пожимая руку князя. – Рад видеть, – продолжал он, обращаясь к секретарю с оттенком некоторой покровительственной короткости, принимая от того свёрток. – Весьма рад!

Гости уселись: князь спокойно на диван, де ла Суда на стул у письменного стола.

Вскоре прибыли новые гости: председатель коммерц-коллегии граф Платон Иванович Мусин-Пушкин, суровый старик с наружностью дикобраза, с резким словом, но с глубоко любящим сердцем ко всем, кто имел возможность подойти к нему ближе; обер-штер-кригс-комиссар Фёдор Андреевич Соймонов, скромный и застенчивый, сохранивший почти до старости лет привычку краснеть и смущаться от каждого женского взгляда; советник Андрей Фёдорович Хрущов, делец и человек образованный, но непримиримый ненавистник всего немецкого, и, наконец, благодушный, симпатичный архитектор Пётр Михайлович Еропкин.

Беседа, начавшаяся вяло, с погоды, как и в нынешнее время, скоро оживилась и непринуждённо полилась о всех занимавших тогда мелких, но весьма влиятельных придворных акциденциях и конъюнктурах. Всех занимали одни и те же вопросы: как и к кому оказывала благоволение императрица, в каком расположении духа был в такое-то время его великогерцогская светлость и что бы такое могли означать тёмные и странные слова оракула Остермана. По мере оживления разговор принимал характер острого неудовольствия.

– Какое наше житьё – собачье! Всего боишься… – говорил по обыкновению с воодушевлением хозяин. – Не так живут польские сенаторы – ни на что не смотрят и всё им даром! Да что сенаторы!.. Там и простому шляхтичу сам король не смеет ничего сделать!

– Что за житьё! – жалобно вторил князь Алексей Михайлович. – Как ни служи, а награды не жди… Я ли не служил государыне, не по моему ли усердию она и на престол-то

взошла, а что получил? Говорила тогда: «Не оставлю тебя, пока жива буду», чем не оставила! Как-то пожаловала нам трём: Головкину, Остерману да мне – китайские товары поровну, а потом, после смерти Головкина, его часть обещала разделить между нами двоими, а вышло, что только посулила. Из головкинской части выбрала себе тысяч на тридцать рублей… Да что товары! недоимку с моих крестьян не простила. А всё немцы…

– Немцы… – с горечью заговорил Волынский, которого одно упоминание о немцах приводило в злобу. – Да мы, русские, кто? рабы их. Где наши лучшие родовитые фамилии? Голицыны?.. Волконские? или понаделаны шутами, или…

– Нечего нам жаловаться, коли сами виноваты, – перебил Волынского молчавший до сих пор Мусин-Пушкин. – Сами себя делаем шутами да едим друг друга. Кто выдал Голицыных?.. сами. Кто теперь губит Долгоруких?.. Не ты ли, Артемий Петрович, направляешь дело…

– Не я, а Остерман, да и Долгоруковы совсем иное дело. Всем известно, как они поступали, когда были в фаворе… – несколько смутившись, спешил оправдаться Артемий Петрович. – Долгоруковы и ныне крамольничают: задумали государственный переворот совершить, иноземное войско призвать в отечество, женить цесаревну Елизавету с Нарышкиным и возвести её на престол…

– Враки одни, придумали с ветра: надо ведь Долгоруковых стереть, а на их место, самим… – проворчал Мусин-Пушкин.

Намёк, сказанный резко и очевидно указывающий на личную неприязнь Волынского к Долгоруковым, вызвал бы серьёзную ссору, если бы не вмешался находчивый француз. Заметив раздражение хозяина и опасаясь с его стороны горячей вспышки, де ла Суда поторопился смягчить резкие упрёки графа.

– Долгоруковы горды и завистливы, сделали много зла, это известно, а насколько правды в речах о заговоре, мы не знаем и со стороны судить трудно. Разбирает их дело комиссия, в которой достойнейший Артемий Петрович, несомненно, окажет наивысшую справедливость и беспристрастие.

Волынский несколько успокоился и уже отвечал более спокойным тоном:

– Всенепременно постараюсь, да сделать тут ничего не могу. Допросами руководит сам Ушаков, он же ходит с докладами к государыне и к герцогу. Вся сила в Остермане.

Артемий Петрович говорил неискренно. Ни императрице, ни Бирону окончательная гибель фамилии Долгоруковых не казалась необходимою. Попытка верховников, Голицыных и Долгоруковых, ограничить самодержавие и запрещение приезда Бирона давно уже успели стереться из памяти, точно так же забылась и история о подложном составлении завещания Петра II[30]. Не мог особенно бояться фамилии Долгоруковых и оракул Остерман, сильно укрепившийся своею опытностью в благосклонном внимании императрицы. Совсем другое положение Волынского, правда, умного и даровитого человека, но всё же новичка, не пустившего ещё глубоких корней в придворной почве. Для него могло быть опасным появление фамилий опальных князей, стоявших высоко в общественном положении и не благоволивших к нему, как к выскочке. Его не могло не встревожить назначение Сергея Григорьевича Долгорукова, одного из главных виновников подложной духовной, на пост посланника в Берлин, ясно указывавшее на близость окончания опалы.

---

[30] 19 января 1730 года, когда Пётр II уже был при смерти, князь Алексей Григорьевич Долгоруков предложил своим ближайшим родственникам составить подложное завещание от имени императора Петра II о назначении преемницей престола государыни-невесты. Было заготовлено два экземпляра завещания: первый хотели поднести императору для подписи, а на втором кн. А. Г. Долгоруков собственноручно подделал подпись Петра II на тот случай, если император будет не в состоянии подписать первый экземпляр. Пётр II не приходил в сознание, и подписать подложный документ не удалось. После кончины императора оба экземпляра были сожжены. Почти через 10 лет дело раскрылось, и главные его участники (Иван Алексеевич, Сергей Григорьевич и Василий Лукич Долгоруковы) после проведения дознания были казнены в Новгороде 8 ноября 1739 года.

Каждый из гостей хорошо понимал это, но не решался признаться даже самому себе, ставя высоко способности и ум хозяина, сам граф Мусин-Пушкин только круто мотнул головою. Разговор замялся. Все невольно почувствовали неловкость положения и все были рады, когда де ла Суда снова навёл внимание на занимавшую всех политическую сторону.

– Правда ли, Артемий Петрович, будто у нас скоро откроется компания со Швецией, – отнёсся де ла Суда к хозяину. – Вам это должно быть известно, как кабинет-министру. В народе толкуют.

– Знаю я столько же, сколько и всякий в народе, – отвечал Артемий Петрович, задетый за больное место. – У нас, в кабинете, дела не разграничены, и мы бы должны были обо всём действовать рассудливо и совокупно, да не так выходит. Все политические дела с иностранными державами Андрей Иваныч забрал в свои руки и вертит ими, как хочет, а мы вот, с Алексеем Михайлычем, только моргаем. А известно… он немец, дорога ли ему наша русская честь и наши интересы? Думает вот он, в пример, что мы и жить можем только с австрийским альянсом, а этот альянс впрок одному немцу, разоряет нас войнами, авантажными только для австрияка, и приводит нас в суспицию с другими государствами. Франция хотя и показывает нам добрый решпект в яви, а в тайне ведёт вредительные для нас негоции со Швецию и подговаривает идти с нами на войну.

– Слышал я, – вмешался в разговор Соймонов, – будто Франция хлопочет в Турции в нашу пользу, уговаривает к миру.

– Пустяки, один лишь отвод, – перебил Артемий Петрович, – посол наш Михаил Петрович Бестужев доносит секретно, что французский посланник в Швеции сильно хлопочет против нас, обещает на войну субсидии и возврат им наших петровских прибытков[31]. А беда, если новая война… и с Турцией-то разоряемся немало, а кому выгода? Одному австрияку, да Остермана ублажаем.

– Ты ведь вхож, Артемий Петрович, к государыне с докладами, – заметил: граф Пушкин, – что же не представишь ей своих резонов?

– Пробовал не раз, да толку не выходило, только себе поруха. Выскажешь ей все свои резоны, поймёт, согласится и ласково обойдётся, а смотришь, спустя несколько дней у государыни гневное лицо к тебе… Андрей Иваныч в стороне, а сделается всё по его…

– Андрей Иваныч издавна занимается делами иностранной политики, – заметил де ла Суда, – и знает до тонкости все европейские конъюнктуры… вот если бы Артемий Петрович, сойтись с ним…

– Сойтись с Андреем Иванычем! – вспылил хозяин. – Да разве только один чёрт, которому известны все его помышления, может с ним сойтись, а не русский человек. Два года с ним служу, а сказал ли он хоть раз о чем-нибудь своё мнение? Говорит и так, и эдак, а как сам-то он думает, не разберёшь. Ну, добро с нами, русскими, а то он таков и с немцами… Сам герцог курляндский в душе его терпеть не может.

– Не верю, – буркнул Мусин-Пушкин, – завидуют, а друг друга не выдадут. Немец всегда за немца; свои собаки грызутся, чужая не приставай. Нет, по-моему, пока у нас не будет коренного русского правительства мужской персоны, до тех пор немцы всё будут над нами властвовать.

– Коренного русского правительства, – тихо повторил Артемий Петрович, – коренного… да… А до тех пор, – заговорил он громко и как бы очнувшись, – нам необходимо каждому стараться по мере сил своих служить на пользу отечества, которое

---

[31] По донесениям нашего посла Бестужева-Рюмина, в это время отношения русского двора к шведскому находились в самом натянутом положении. По происках французских послов Костежа и Северина, в Стокгольме было решено заключить с Турцией наступательный союз против России, в котором Франция обещала принять участие доставлением, в продолжение трёх лет, Швеции субсидий по триста тысяч ефимков в год. Союз этот был расстроен удачными действиями Миниха, вследствие которых заключён был мир с Турцией. Необходимо при этом добавить, что политическая борьба партий в Швеции обходилась и нам недёшево: на одни подарки шведским министрам расходовалось тысяч по пятьдесят ефимков единовременно.

гибнет и гибнет от немцев… Посмотрите на наши селения – это ядро государственной силы, и что вы увидите? страшную нищету… каких-то ободранных, полуживых скелетов, с которых курляндский конюх, для удовлетворения своих прихотей, снимает и последнюю рубашку…

– Все нестроения наши, все беды от неимения у нас общего регламента, которым бы обуздывались и руководились как высшие, так и провинциальные власти и которым бы ограждалось достояние каждого. Вот бы вам, Артемий Петрович, – обратился Соймонов к хозяину, – как человеку государственному и образованному, следовало бы сочинить подобный регламент.

– Сочинил я немалый прожект и думаю, что труд мой, если не теперь, то будет полезен для потомства. Прожект носит название «Генеральное рассуждение об исправлении внутренних государственных дел» и заключается в шести главах: об укреплении границ и об армии, о церковных чинах, о шляхетстве, о правосудии и об экономии.

Гости – друзья и единомышленники – стали просить Артемия Петровича, прежде представления регламента императрице, прочитать его им. Польщённый общим вниманием, хозяин не заставил себя долго упрашивать и, развернув лежавшую на письменном столе объёмистую рукопись, начал читать.

Организаторский ум автора кабинет-министра пробивался в каждой строке проекта. Многие из его положений далеко опережали современное ему общество и могли быть применены только впоследствии. С примерным беспристрастием анализировал он и свои обязанности – обязанности министров. «Мы, министры, – говорилось в проекте, – хотим всю верность на себя принять и будто мы одни дела делаем и верно служим. Напрасно нам о себе так много думать… мы только что пишем и в конфиденции приводим, тем ревность и других пресекаем, *и натащили мы на себя много дел и не надлежащих нам, а что делать, и сами не знаем»* . Между прочим, в проекте отведено довольно значительное место на изложение мер к развитию народного образования, в чём автор видел главное условие народного преуспеяния. Чтение продолжалось до полуночи. С неистощимым вниманием друзья следили за смелым полётом автора в области развития государственного благосостояния. Горячее сочувствие, вроде какого-то благоговения, выражалось на всех лицах в различных формах проявления. Граф Платон ещё ниже спустил густые щетинистые брови, ещё тяжелее сопел, а полуоткрытый рот, казалось, собирался проглотить в объёмистый желудок и автора, и его проект. Хрущов весь ушёл в себя, будто прислушиваясь к ответным звукам в самом себе. Соймонов моргал нахальную слезу, назойливо повисшую на ресницах, а маленький де ла Суда как в начале вытянул шею, так и остался застывшим.

– Подай, братец, государыне… самой государыне… в руки… – говорил граф Мусин-Пушкин, по-медвежьи сжимая руку Артемия Петровича.

– Что за государственный ум! Что за стиль! Что за творение! Выше Телемакова! – повторял Соймонов, обнимая автора.

– Да это что ещё! это только начало… я не остановлюсь… Мало писать, надобно же кому и исполнять… Я опишу государыне картину обо всех её окружающих, дабы она сама увидала, каковы они… могут ли быть добрыми сынами отечества, – говорил Волынский, не чувствуя земли под собой от похвал друзей.

Общего увлечения, казалось, не разделял только один князь Алексей Михайлович. Всплывший сквозь жировую оболочку природный ум в прищуренных заплывших глазках светился каким-то сожалением, какой-то насмешкою, и, едва заметно покачивая головой, он как будто хотел сказать: «Этого, брат, нам не нужно, не это требуется… пропадёшь ты со своими прожектами, да, пожалуй, и нас ещё потащишь за собой».

Гости разъехались.

VIII

В этот вечер, против обыкновения, у Артемия Петровича не было ни карт, ни шумных

приятельских споров – гости уехали ранее под тяжёлым впечатлением. Все они любили хозяина, каждый по своему ценил его ум, благородные стремления, выделявшие его далеко выше всех тогдашних русских людей; понимали всю пользу, какую могли принести его государственные способности, но вместе с тем каждый из них видел и его недостатки, каждый из них чувствовал, когда испарялось увлечение от красноречивых речей хозяина, что борьба его с сильным фаворитом и немцами – борьба неравная, что его страстная, легко увлекающаяся натура, бросающаяся без оглядки в крайности, неосторожная и податливая, погубит его самого, погубит всех их, и в конце концов погубит дело их, только что зарождающееся, осознанное очень немногими, дикое и странное для массы.

Проводив гостей, Артемий Петрович воротился в кабинет, где в ожидании его де ла Суда пересматривал на столе бумаги.

– Ну, что, почтеннейший, читал моё доношение на эту пасквильную жалобу к государыне от Кинкеля и Людвига? – спросил Артемий Петрович секретаря иностранной коллегии. – Мерзавцы вздумали обвинять меня в каких-то злоупотреблениях по конским заводам!

– Объяснения ваши, Артемий Петрович, – де ла Суда, когда оставался наедине, всегда обращался без прибавления превосходительного титула, – объяснения ваши красноречивы, убедительны и, без сомнения, возымеют своё действие, но мне кажется, главное тут не в жалобе Кинкеля и Людвига, а в подстрекателях…

– Знаю, знаю, – перебил Артемий Петрович, – мерзавцев подстрекнул Куракин, враг мой, шут и пьяница, на которого не стоит обращать внимания.

– Нет, стоит, Артемий Петрович. Шутовством своим он вредит вам в глазах императрицы. Вот на днях, рассказывал мне Эйхлер, он злобно надсмеялся над вами.

– Надо мной? Интересно бы знать, как?

Де ла Суда несколько колебался: передавать или нет; ему не хотелось огорчать, но вместе с тем и считал необходимым доказать, до какой степени доходит дерзость Куракина.

– За обедом у государыни Куракин похвалился, что будто бы изучил все ваши движения до тонкости. Если, говорит, Артемий Петрович отставит ногу вперёд – это значит, он станет лгать, если отставит назад – значит, хочет воровать, если сморщит лоб – так это самый верный признак, что будет клеветать.

– Всякий знает, как он спьяну лжёт на всех, а на меня по злобе вдвое. Что же государыня?

– Смеялась, как смеётся каждому шутовству, но важности не в глупой остроте, а в безнаказанной дерзости. В виду этого-то мне кажутся излишними приложенные к доношению особые примечания, в которых каждый увидит обвинения самого себя, а это ещё более раздражит против вас влиятельных персон.

– Знаю, любезный, но я пойду теперь напролом. Довольно низкопоклонничать, льстить, унижаться и интриговать, пора заговорить громко и смело. Либо пан, либо пропал. Ты знаешь, что делается у нас и можно ли дальше терпеть? Всё зло от немцев, от нашего знатного дворянства. Моя цель – освободиться от немцев, устранить это загнившее боярство, выдвинуть здоровое шляхетство и с помощью его повести народ вперёд. Если мне удастся свернуть нахала-фаворита, этого бича, терзающего всё наше государство, и потом этого хитреца и лицемера Остермана, тогда государыня будет слушаться только моих советов, и тогда я выполню свой план.

Это были мечты, которые могли отуманить только такую увлекающуюся самолюбивую голову, какую имел Артемий Петрович, но рассеять их не было никакой возможности. Осторожный де ла Суда сознавал это и не пытался настаивать. Нельзя же пересоздать природу человека, вдруг вырвать с корнем то, что в продолжение стольких лет лелеялось, растилось и так крепко засело в сердце. Де ла Суда отлично понимал, что все прожекты Артемия Петровича основаны не на твёрдой почве, что они, как болезненный цветок, взращённый не при естественных условиях, захирели бы сами собой, не дождавшись даже житейской бури, а между тем он и сам был один из тех, которые растили этот цветок. Как

человек дальновидный, он предвидел, как пойдёт кабинет-министр, предвидел, что гроза обрушится и на него самого, а всё-таки шёл по той же дороге. Известно, что под влиянием всецело овладевшей идеи человек лишается свободности самоопределения и часто делает вопреки своей воле. Влияния и разума у де ла Суда доставало только на то, чтобы по возможности оберечь себя, не выставлять напоказ своего участия и отделаться меньшими потерями, когда придёт день итога.

Бывали минуты сомнения и у самого Артемия Петровича, в особенности после моментов увлечения.

– А может быть, мне и не удастся, – тихо продолжал он, – может быть, придётся поплатиться головою… Так что же? Все мы должны умереть, но моя смерть, по крайней мере, будет не бесследною, она укажет потомкам путь, по которому должно идти, и имя моё не забудется… Не говорил ли ещё чего-нибудь Эйхлер? – снова начал Артемий Петрович, вдруг переменяя разговор.

– Да ничего особенного, советовал вам быть осторожным; говорил, что Бирон начинает на вас коситься за ваши частые посещения принцессы.

– Пусть его косится! Чёрт с ним! Мне принцесса нужна. На днях Фишер, под великим секретом, мне сказывал, что здоровье государыни ненадёжно и вряд ли она долго протянет, а кроме принцессы, у неё никого нет…

– Сказывал ещё Эйхлер, будто герцог начал в последнее время сильно ухаживать за Анною Леопольдовною.

– С какой целью?

– Положительно не знает, а догадывается: не затеял ли выдать принцессу замуж?

– За кого?

– Не знает, только уж очень сильно ухаживает за принцессой.

– Не за кого бы, кажется. Разве за Петра? Что-то герцог стал нахваливать преждевременную развитость сынка… Если так, то надо помешать, а то всем моим прожектам конец, и будет у нас второй Годунов.

– Приказаний, Артемий Петрович, никаких не будет? – спросил де ла Суда, собираясь уходить.

– Никаких. Взял ту статью из Липсия?

– Взял.

Де ла Суда простился, но, сделав несколько шагов, снова воротился назад.

– Главное-то и забыл передать вам, Артемий Петрович. Эйхлер поручил мне сказать, чтобы вы не очень-то доверяли вашему секретарю Яковлеву, будто бы тот всё передаёт Остерману.

– Спасибо. Я сам подозревал и хотел уволить.

Вслед за выходом де ла Суда, появился Кубанец. Указав пальцем на комнату подле кабинета, он с многозначительным видом предупредил: «Варвара Дмитриевна».

– Хорошо, ступай; когда понадобится – позову.

По обыкновению, никогда не нарушавшемуся, Артемий Петрович пошёл в женское отделение благословлять детей.

В спальне дочерей давно всё покоилось безмятежным сном, кроме восьмидесятилетней мамки Фоминишны, стоявшей на коленях перед иконами и шамкавшей беззубым ртом всегда одни и те же молитвы. Красноватый огонёк неугасимой лампады в углу перед большими, в серебряных окладах образами, осветив всё изрытое глубокими землистыми морщинами заскорузлое лицо старухи, её седые косички волос, выбившиеся из-под тёмной головной повязки от земных поклонов, терялся, дрожа и замирая, по отдалённым углам спальни. Подле образницы, у стены, под кисейчатым пологом стояла постель старшей дочери Анны Артемьевны, девушки лет семнадцати. Артемий Петрович, отдёрнув полог, наклонился и долго любовался на свою «чистую голубицу», как он всегда выражался о старшей дочери.

Молодая девушка спала тихим, ровным сном, положив под головку изящную руку и

полураскрыв полные губки. Как наяву, так и во сне, не волновали мятежные помыслы этой только что распускающейся жизни, не знавшей ни лукавства, ни интриг и волнений, только что начинавшей вглядываться в действительность и отличать её от легендарных сказаний мамки о давно минувших временах. Перекрестив девушку и тихо поцеловав её чистый лоб, Артемий Петрович, точно так же, почти с неменьшей нежностью, благословил и другую дочь, двенадцатилетнюю Марию, спавшую на той же постели, рядом со старшей сестрой.

Дольше оставался отец у постельки единственного сына Петра, десятилетнего бойкого мальчика. Отец любил его едва ли не больше дочерей, хотя на него беспрерывно слышались жалобы: то на какую-нибудь шалость, вроде разорения птичьих гнёзд, то за гусара, пущенного в нос сонливому лакею, то на неугомонную резвость, в виде изорванного платья или шишки, вскочившей на лбу. В мальчике Артемий Петрович видел живой портрет покойной жены, а вместе с тем и себя самого. Мать напоминал ребёнок личиком, миндалевидными продолговатыми разрезами глаз тёмно-серого цвета, глубоким загадочным выражением, наклоном лба, немного вздёрнутым носиком, пухлыми отдувшимися губками, но походкою и манерами он более всех детей походил на отца.

– Капелька, вот, в капельку родимый, – шамкала мамка, глядя на общего любимца Петю своими подслеповатыми, слезящимися глазами, на слабость которых она постоянно жаловалась, удивляясь, отчего это вот всё будто мельтешит.

Для старухи Петя был тот же бойкий Артюша, сорок лет назад. Поразительное сходство с собою находил и сам Артемий Петрович, мечтавший видеть в сыне полного наследника имени и дел, верного исполнителя своих планов. Долго любовался отец на свободно раскинувшегося сына, и во сне почти такого же неугомонного, как и наяву.

«По следам моим пойдёшь ты и кончишь моё дело», – с наслажденьем думал Артемий Петрович и потом добавил вслух:

– Счастлив ты, что имеешь такого отца!..

Думал ли тогда самодовольный отец, что и эти самолюбивые слова, сказанные самому себе, будут переданы во всеобщее услышание, будут толковаться выводимые из них заключения и послужат тоже одним из обвинительных пунктов!

Благословив детей, а кстати мимоходом перекрестив и спавшую тут же болезненную девочку, троюродную племянницу, воспитывавшуюся в его доме для компании с дочерями, Артемий Петрович пошёл к себе в спальню, находившуюся подле кабинета.

Здесь его ждала в порывистом волнении гостья – миловидная бойкая девушка Варвара Дмитриевна, фрейлина принцессы Анны Леопольдовны.

Не успел Артемий Петрович притворить за собою дверей, как около его шеи обвились две полные ручки, горячо прижались к его губам свежие губки, с шёпотом укоризны: «Как долго ждала я тебя, милый!»

Артемий Петрович, несмотря на свои за сорок лет, считался ещё красавцем и немало кружил головки незастенчивым фрейлинам, в особенности малого двора, двора принцессы, не испытавшего на себе непосредственного строгого надзора суровой императрицы. Все почти фрейлины не без волнения засматривались на его глаза, искрящиеся ещё огнём, и не без трепета вслушивались в его увлекательные речи, но более всех поддалась очарованию одна из любимых и приближённых к принцессе фрейлин Варвара Дмитриевна. Без всяких корыстных видов полюбила она, без расчёта на то что он вдовец, а следовательно, с полнейшей возможностью отдать ей сердце самым законным образом, – она отдалась ему просто потому, что он ей казался выше, благороднее и красивее всех и что не любить его ей казалось делом невозможным. Под порывами страсти отбросив свой девичий стыд, хорошенькая фрейлина, не довольствуясь урывочными свиданиями при посещениях кабинет-министром принцессы, выбрала удобное время по ночам, тайно прибегала в его дом и, незаметно проведённая секретным посредником Кубанцем в спальню, до самозабвения упивалась там страстными ласками. Безграничная любовь девушки льстила самолюбию Артемия Петровича, и он платил ей если не такою же любовью, на какую и не способно было его отжившее и изношенное по разным мытарствам сердце, то порывами чувственной

страсти. Неопытная молодая девушка обманывалась этими ласками, принимая их за ту любовь, какой жаждало её неспокойное сердце.

В обольщении красивым кабинет-министром молодой фрейлины немалою долею входили и политические расчёты. У каждого вожака политической партии в то время имелись собственные свои шайки шпионов. Самый большой контингент их, конечно, находился у самого владетельного герцога курляндского, располагавшего громадными денежными и другими средствами для закупки, но зато лишённого способности делать удачные выборы, затем были достойные и расторопные лазутчики у Остермана, Миниха, цесаревны Елизаветы, владевших тою или иною заманчивой стороною, но у Артемия Петровича не оказывалось ни капитальных средств в деньгах, ни особенно влиятельных связей. Несмотря, однако же, на скудное, бессильное положение своё, Артемий Петрович сравнительно располагал более деятельною партией шпионов в тех востроглазых резвых фрейлинах и комнатных девушках, которые, чтобы угодить очаровательному министру, готовы были на всевозможные хитрости и увёртки. Одна Варвара Дмитриевна могла заменить собою целый легион подкупных шпионов. Зоркие глаза её, не уставая, следили за герцогом, императрицею и за другими нужными людьми, и не могло укрыться ни одного секретного разговора, где бы её маленькое ушко не участвовало в работе. И как счастлива она была, когда её вести интересовали милого, когда он награждал за них огненными поцелуями.

От неё-то и узнал Артемий Петрович о ненадёжном состоянии здоровья императрицы, о чём он передавал секретарю иностранной коллегии, сославшись, будто слышал о том от самого лекаря Фишера. Справедливо, Фишер действительно говорил, но только не ему, а Бирону, что и было подслушано Варварой Дмитриевною.

– Заждалась я тебя, милый, – продолжала между тем девушка, не отнимая рук от шеи дорогого человека и не сводя с него глаз, – как долго!

– Что делать, Варя, люди были близкие мне, нужные, я и так их не удерживал, а отпустил раньше обыкновенного. Да и виделись мы недавно, вчера, у принцессы Анны.

– Да что это за свидание! – надула губки девушка, – слова нельзя перемолвить, взглянуть лишний раз опасно.

Девушка затараторила, так ей хотелось выложить вдруг всё, что было на сердце и что во всё это время делалось во дворце интересного. Быстро сыпались слова с розовых губ, вперемешку с поцелуями, перескакивая с одного предмета на другой. То говорилось о строгой императрице и страшном герцоге, о том, что в последнее время между ними стали часто случаться досадливые речи, как будто ссоры, продолжавшиеся дольше прежних, то слышалось имя Анны Леопольдовны, которую фрейлина искренне любила. Она только на вид такая, а в душе добрая, постоянно возвращалась в рассказах Варвара Дмитриевна к своей принцессе, никому выговора не скажет, да чего не скажет, и сама вовсе не заметит ничего. Весь день только что читает, если бы не ходить к тётке, так и оставалась бы за книжкой неодетою. На вопрос Артемия Петровича: по-прежнему ли тётка Анна Ивановна любит племянницу и не случалось ли между ними чего? – Варвара Дмитриевна сначала сказала, что ничего не заметила, но потом, подумав, добавила:

– Вот только в самое последнее время, как начались размолвки-то с герцогом, тётка стала похолоднее с принцессою. Иной раз, как даёт ей целовать свою руку, заметно, с неудовольствием отвернётся.

– А не знаешь, Варя, отчего? – допытывался Артемий Петрович.

– Не знаю… – протянула девушка, – а сдаётся мне, что задумал что-нибудь герцог: больно он лебезит около принцессы.

– Не хочет ли он сына женить на Анне Леопольдовне?

– Всё это так, верно, мой милый, какой ты умный, а мне бы век не догадаться, пока не услыхать от них самих. Теперь я понимаю, почему герцог, как ни придёт, всё твердит одно, всё нахваливает, что его Петруша, хотя по шестнадцатому году, а мужем может быть настоящим… – лукаво улыбаясь и несколько конфузясь, передавала Варвара Дмитриевна.

– Если это правда, моя дорогая, так сослужи мне большую службу: уговори всеми средствами, сама или через Юлиану, принцессу отказать Петру Бирону.

– Хорошо, дело не трудное; принцесса боится, да и не любит Бирона.

– Ну, а обо мне, Варя, ни герцог, ни государыня ничего не говорили? Никаких разговоров не было?

– При мне ничего не говорили, а Юшкова рассказывала, будто государыня тебя очень хвалила: и умный-то ты какой, и говоришь красно.

– А другие не говорили?

– Другие-то говорили, да об этом не стоит рассказывать… так, гадость какая-то…

– Что говорили?

– Право, милый, не стоит рассказывать… я и забыла…

– Скажи, кто говорил-то?

– Известно, кто у нас шут гороховой? Куракин.

– Нет, ты мне скажи, Варя, всё расскажи. Я это хочу непременно, требую.

– Да зачем тебе знать? Ты такой недотрога, сейчас рассердишься… а Куракину, известно, только бы ругаться.

– Не буду сердиться, Варя, ты только расскажи, мне нужно, – продолжал настаивать Артемий Петрович.

– Вечером это было вчера. Герцог говорил про Анну Ивановну, какая она мудрая монархиня, что все предначертания покойного дяди привела в исполнение, а Куракин вдруг говорит:»Нет, не все». А какие же? – спрашивает герцог. «А вот, – говорит Куракин, – Пётр накинул на Волынского петлю, да не успел затянуть, а государыня не токмо не затянула, а, напротив, сделала кабинет-министром». Анна Ивановна изволила улыбнуться и пригрозить пальцем. Ведь скоморох!

И, чтобы загладить неприятное впечатление от рассказа, Варвара Дмитриевна ещё теснее прижалась к Артемию Петровичу и ещё страстнее целовала его.

– А знаешь ещё, что рассказывают при дворе? Кто говорит, что ты будто скоро женишься на Салтыковой, кто – на сестре Еропкина, – переменила разговор Варвара Дмитриевна, желая отвлечь внимание от гадкой политики, – но я не верю… ведь ты любишь меня? не бросишь? – ласкалась девушка.

Часы шли, а увлечённые наслаждениями Артемий Петрович и фрейлина не замечали, как проходило время, как дневной свет пробивался всё яснее и настойчивее сквозь опущенную занавеску окна и как светлая, длинная полоска, пробравшись от окна, прорезала всю комнату и ярко нарисовалась на противоположной стене.

Варвара Дмитриевна очнулась и засуетилась собираться во дворец, подбирая все принадлежности своего туалета, разбросанные в беспорядке, где ни попало, на кровати, стульях, столах или просто на полу.

– Пора, пора, мой милый, скоро у нас там все поднимутся, – торопилась она.

И, поцеловав на прощанье лежавшего в постели кабинет-министра, она убежала.

– Да, не забудь определить к себе на службу моего племянника! – послышался голос из соседней комнаты.

Артемий Петрович нежился и мечтал.

Картины, одна другой обольстительнее, рисовались в его воображении… отец отечества… бессмертная слава… один он выше всех и все ему поклоняются… Кто это?.. Наш бессмертный, славный Артемий Петрович! И его имя будут с почтением повторять из рода в род отдалённые потомки.

Волынский, прежде всего, был характера общительного, человек слова, не способный закрываться внутри себя. У таких людей всегда конфиденты из людей домашних, которым они передают всё насевшее внутри, все свои надежды, радости и мечты. И у Артемия Петровича был такой конфидент – Кубанец.

И долго ещё кабинет-министр и Кубанец говорили между собой. В их отуманенные будущим величием головы ни разу не прокралось сомнение, ни разу не навернулся вопрос о

собственной силе и силе тех, с которыми предстояло бороться. А между тем люди практические не дремали, не убаюкивали себя мечтами, а рылись и прочно укрепляли под собою почву.

Утром этого же дня оба Андрея Ивановича, Ушаков и Остерман, во всей подробности знали, что за собрание было у кабинет-министра, кто именно был и о чём шли речи.

IX

– Ваше высочество… ваше высочество… полноте… милая Анна… перестань… ваше высочество, не плачьте… – уговаривала фрейлина Юлиана Менгден неутешно плакавшую Анну Леопольдовну.

Принцесса рыдала с той едкостью, в которой выливаются вместе оскорблённая гордость и обманувшаяся любовь. Любимая фрейлина, от которой принцесса не имела ни одной тайной мысли, старалась утешить её, целуя щёки, шею, руки, обнимая и смешивая свои слёзы с её слезами.

– Ах, Юля, Юля… Ты всё знаешь… Знаешь, каково мне… Что за жизнь! Полюбила было я всей душою, услали его… – проговорила принцесса, несколько успокаиваясь.

– Жизнь моя! Аннушка-голубушка! Успокойся… Ну, отказала, вот и всё тут… Государыня любит тебя…

– Любит? иной раз и мне кажется, что любит, а иной раз такою суровою посмотрит! Теперь, ты подумай только, отказать в руке любимому сынку герцога, Петруше… да за это и в Сибири места не найду… А выйти за него? Нет… уж лучше утоплюсь… Лучше голодной смертью умру.

И Анна Леопольдовна снова зарыдала.

– Дорогая моя, милая принцесса, мне кажется, ты боишься по-пустому. В душе государыня не желает твоего брака с Петром, а согласилась только на просьбу герцога. Она ведь христианка… Да и что сказали бы за границею! Какой муж, пятнадцатилетний мальчик! Стыд только… Разве государыня не видит сама…

– Видит, Юля, всё видит, да ничего не сможет сделать против воли герцога.

– А знаешь что, Аннушка, – и фрейлина заговорила, понизив голос и посмотрев прежде за дверью, не подслушивает ли кто. – Замечаю я, что государыня в последнее время как будто не так уже благоволит к герцогу, как прежде… Да и не я одна, а вот и Варвара Дмитриевна тоже замечает. Поднимается Артемий Петрович. Государыня выслушивает его доклады благосклонно, и говорят…

– Мало ли что говорят, Юля, пустяки. Не чаю такого счастья. Артемий Петрович красно говорит, да не умеет приноравливаться. Тётушку я знаю, даром, что меня считают какой-то несмысленною, а я всё вижу и за всеми наблюдаю. Одно время думала, что Корф осилит, так и то не смог.

Анна Леопольдовна начала, видимо, успокаиваться. Рыдания стихли, слёзы реже набегали на глаза, и принцесса, сквозь слёзы, стала улыбаться на горячие ласки своей любимицы и на комические передразнивания смешной физиономии свахи Чернышёвой, когда та услыхала от Анны Леопольдовны неожиданный отказ от такой завидной партии с сыном самого герцога. Девушки принялись за обычную болтовню, в которой не раз упоминалось имя красивого саксонского посланника, как вдруг дверь отворилась и вошла любимая горничная императрицы, Авдотья Семёнова, с приказанием к Анне Леопольдовне: немедленно явиться к государыне.

Принцесса встревожилась неожиданным призывом в такое необычное время. Зачем? Верно, уже успел нажаловаться герцог? Иль не новая ли сплетня от шпионов?

В последнее время герцога Бирона видели особенно озабоченным. Влияние и власть у императрицы обеспечились временем, и обеспечились до такой степени, что он позволял себе даже относиться к своей благодетельнице иногда с видимым пренебрежением, но долго ли проживёт императрица? Года не великие, но припадки болезни стали появляться

настойчивее, лица медиков день ото дня становились серьёзнее, а что будет с ним в случае её смерти? При всей своей хвастливой самонадеянности и презрении к русским он не чувствовал под собой твёрдой почвы. На кого ему опереться? Русской партии, хотя её в действительности и не было, он за собой иметь не мог. Думал было на Волынского, рассчитывал на его благодарность, но, как видно ошибся. На партию немцев тоже надеяться трудно. Видные вожаки этой партии, Остерман и Миних, заботятся только для себя и работать для него не станут. К счастью, положение русского царствующего дома благоприятно. Из мужских представителей был один «чёртушка», но его претензии не могли иметь и тени надежды, так как голштинский двор сумел внушить императрице какое-то отвращение. Из женских же представительниц, имевших некоторые шансы на успех, состояли налицо две: Анна Леопольдовна, дочь любимой родной сестры Анны Ивановны, воспитанная ею самою, и цесаревна Елизавета Петровна, дочь Петра, дяди императрицы, но не любимая ею.

Вопрос, за кого выйдут замуж принцессы, стал занимать герцога неотвязно. Нельзя ли ему, Бирону, владетельному герцогу Курляндии, породниться и встать, сколько возможно, поближе к престолу? Выгоднее искать в Анне Леопольдовне, любимой государынею и настолько запуганной, что нельзя предполагать малейшего сопротивления с её стороны. Но каким образом породниться? Жениться самому было бы всего удобнее, но, как человеку женатому – невозможно. Конечно, бывали примеры нередких разводов из политических расчётов, но это, при существующих отношениях, при направлении и образе мыслей Анны Ивановны – дело немыслимое. Оставалось одно: женить старшего сына Петра, и за эту меру герцог схватился с энергией. Что за важность, если мужу 15 лет, а жене 22 года! Бывали примеры и не такие в истории, да если бы и не бывали, так всё-таки выгоды его великогерцогской светлости не могут же стесняться какими-нибудь историческими примерами…

Решив таким образом судьбу сына с Анною Леопольдовною и получив согласие государыни, герцог отправил сделать предложение принцессе сваху Екатерину Андреевну, дочку знаменитого Андрея Ивановича Ушакова и супругу камергера Петра Григорьевича Чернышёва, обдумывая заранее, какими торжествами было бы приличнее обставить государственное событие. Каково же было его удивление, когда Чернышёва воротилась с положительным отказом ему, герцогу!!

Его светлость вскипел справедливым гневом и поспешил тотчас же пожаловаться императрице за такое неслыханное оскорбление. Последствием жалобы и был призыв Анны Леопольдовны к государыне.

– Тебе сделал честь просить твоей руки сын герцога курляндского и ты отказала? – обратилась тётка к принцессе, когда та вошла в комнату и со слезами припала к её руке.

Государыня была одета в простую шерстяную красную кофту, с повязанным платком на голове, как всегда одеваются простонародные русские женщины. В этом костюме Анна Ивановна обыкновенно ходила в те дни, когда никуда не предполагала выезжать и поэтому скучала. В тоне вопроса государыни слышалась суровость, которая в последнее время стала выказываться в ней всё чаще и чаще.

– Тётушка! не могу… не могу! – бессвязно бормотала принцесса. – Я не пойду замуж… ни за кого не пойду! – почти с отчаянием выкрикнула она.

– Каждая девушка должна выходить, – внушительно заметила императрица, – а в твоём положении, как принцессы, тем больше.

– Только, дорогая тётушка, не за него… лучше помереть…

– Дурочка, – уже с некоторою нежностью проговорила государыня, – за кого же? Если не хочешь идти за Петра, так должна идти за Антона…

– Лучше уж за него…

– Тебе больше нравится Антон?

– Нет, тётушка, не больше… но он, по крайней мере, не ребёнок… совершеннолетний… Из старого владетельного дома.

– Если так, то о твоём согласии передам принцу и буду готовиться к свадьбе.

В душе отказ принцессы в руке сыну герцога нисколько не огорчил императрицу. Её болезненному религиозному настроению эта свадьба казалась грехом, а если она согласилась на сватовство, то только по усиленному настоянию герцога.

Убитая, с ноющим сердцем, воротилась Анна Леопольдовна к ждавшей её подруге, Юлиане Менгден. Машинально прошла она коридор от апартамента государыни к своим комнатам, не заметив суетившуюся в коридоре, у дверей, фрейлину Варвару Дмитриевну; в голове её всё спуталось, смешалось, точно что-то живое отделилось от неё, оставив только автоматически движущееся тело. Когда же она вошла в свою комнату и верные руки друга обняли, а доброе лицо прижалось к её лицу, принцесса потеряла сознание. Юлиана растирала виски спиртом, прыскала в лицо водою, перемешивая с горячими поцелуями и объятиями. Наконец её усилия увенчались успехом: с Анной Леопольдовной сделался истерический припадок.

– Всё кончено, Юля, решилось… я выхожу замуж, – едва слышно высказала несчастная девушка.

– За Петра?

– Нет, нет… слава Богу, хоть не за него… Государыня потребовала выбора из двух… Я предпочла принца Антона.

– Когда свадьба?

– Не знаю… верно, скоро. Тётушка будет торопить.

– И лучше. Ведь рано или поздно, а должно же; теперь от герцога, после отказа, житья не будет. Да и принц вовсе не дурень.

– Не лги, Юля. Принц не человек, а кукла… хуже куклы.

– А разве ты не читала, каким героем выставил его фельдмаршал?

– Не верю я Миниху! В угоду государыне он из каждой курицы готов сделать героя.

Дежурная камеристка доложила о приезде Артемия Петровича Волынского. Приезд кабинет-министра Волынского не был неожиданностью; в последнее время его посещения к принцессе заметно стали чаще и искательнее, о чём, конечно, своевременно было известно и герцогу. Уменье говорить красно, видная, симпатичная наружность, благородство и ловкость выделяли его из круга придворных кавалеров и вполне оправдывали успех у женщин.

Наскоро оправившись, принцесса, хоть с ясными следами недавних слёз, встретила кабинет-министра любезно.

– Ваше высочество, – приветствовал Артемий Петрович, целуя руку принцессы несколько горячо, но с оттенком почтительности, – вы расцветаете с каждым днём.

– Благодарю за комплимент, Артемий Петрович, невесте и должно цвести! – с горькою иронией отвечала Анна Леопольдовна. – Поздравьте меня… я дала слово принцу Антону.

Мимолётное выражение удовольствия быстро пробежало по лицу кабинет-министра.

В то время вся придворная жизнь была окутана интригами, сплетнями, шпионством и наушничеством; но если герцог знал всё бывшее и не бывшее, то, наоборот, был известен и в противоположном лагере каждый его шаг. Герцог думал, что предположение просить руки Анны Леопольдовны было известно только его жене и Чернышёвой, а между тем оно было известно Остерману и Волынскому. Эта новость произвела эффект: Андрей Иванович глубже запустил пальцы в табакерку и громадною щепотью наградил свой нос, а Артемий Петрович, в тот же день, явился во дворец, чтобы лично убедиться в результате.

– Ваше высочество наконец-то осчастливите российскую державу… Позвольте поздравить…

Радостный тон поздравления резко кольнул в свежую рану, раздражил чуткие и восприимчивые нервы.

– Это вы, проклятые министры, наделали, что я выхожу за противного мне человека! – с необыкновенною запальчивостью проговорила принцесса, порывисто вскочив с кресла.

– Изволите ошибаться, ваше высочество. Во-первых, ни я, ни князь Алексей Михайлович, в качестве кабинет-министров, никакого участия не принимали в этом деле,

один Остерман ведёт все дипломатические комбинации; а во-вторых…

– Ну, что же во-вторых?

– Во-вторых, ваше высочество, сей альянс имеет в себе многие счастливые комплекции.

– Интересно знать, какие?

– Позвольте, прежде всего, узнать, ваше высочество, почему именно не нравится вам Антон-Ульрих?

– Почему? Почему? вы хотите знать? – раздражительно говорила принцесса. – Потому что принц не человек, а мокрая курица, потому что боится и дрожит перед герцогом, потому что у него нет ни капли самостоятельности, нет твёрдости, потому, одним словом, что я не могу его уважать…

– Во всём, что вы, ваше высочество, изволили поименовать, я вижу, напротив, только достоинства принца. Если он не самостоятелен, то, при дарованиях, твёрдости и других высоких ваших квалитетах, это может только служить к вящему благу, как для вас лично, так и для Российского царства. Если же он опасается герцога, то не опасаетесь ли вы сами, да и кто же не опасается его?

– И вы, кабинет-министр, не стыдитесь так говорить, не стыдитесь сравниться с женщиной, беспомощной девушкой, окружённою врагами и шпионами! О! Если бы я была мужчиною, я показала бы, на что способен человек благородный, любящий правду и ближних!

В эти минуты принцесса была неузнаваема. Густая краска негодования залила ей ярким румянцем щёки, обыкновенно бледные, лоб и шею; глаза, обыкновенно опущенные и скрытые под густыми ресницами, сверкали блеском, смотрели прямо и неуступчиво. Но возбуждение продолжалось недолго. Как вызванное особыми, исключительными, слишком живыми для неё обстоятельствами, но в то же время не сродное с общим складом её характера, оно быстро сменилось совершенным упадком сил. Свежесть сбежала с лица, глаза подёрнулись и почти закрылись. Анна Леопольдовна, по-прежнему беспомощная и слабая, почти упала в кресло, закрыв лицо руками.

Возбуждение отразилось и на Артемии Петровиче, как будто выросшем, как будто сделавшемся другим человеком. Гордо поднялась голова, на щеках проступили багровые пятна, а в придворном мягком почтительном тоне зазвучал твёрдый и резкий голос.

– Всенижайше благодарю, ваше высочество, за урок, но он несправедлив. Придёт время, и, может быть, скоро, когда узнают, что русская доблесть не вымерла, что русские люди останутся русскими, сколько их ни казни… Теперь же я явился к вашему высочеству, – продолжал Артемий Петрович, понизив голос, – не как придворный искатель фортуны, а как друг достойной девушки, доброй принцессы и угнетённой женщины. Будьте осторожны. Раз вы изволили предостеречь меня на рауте императрицы по поводу сказанных на мой счёт клеветных слов Александра Куракина, а теперь я дозволяю себе то же самое повторить и вашему высочеству: будьте осторожны… вы окружены шпионами!

– Я это знаю, Артемий Петрович, – отвечала Анна Леопольдовна, грустно улыбаясь, – но не боюсь… У меня только один друг, перед которым я ничего не скрываю, в котором я больше уверена, чем в самой себе, – и она указала на Юлиану Менгден, – впрочем, мне и скрывать нечего…

– Но это ещё не всё, ваше высочество, – продолжал Артемий Петрович. – Теперь, когда вы отказали в руке своей сыну Бирона и выходите за принца Антона, это шпионство ещё усилится и каждое ваше слово может быть объяснено совершенно иначе. Я должен вам доложить, что герцог получил извещение из-за границы, кажется, от бывшего здесь саксонского посланника графа Линара, предупреждавшее его быть осторожным насчёт принца Антона в каких-то злых умыслах того…

– От графа Линара? – с заметным оживлением переспросила принцесса. – Какое ему дело предупреждать герцога? Как странно, как смешно, герцогу бояться принца Антона! Если бы говорили не вы, я бы не поверила.

Артемий Петрович встал, откланялся и при прощании несколько раз поцеловал руку Анны Леопольдовны.

Бывают в жизни моменты, когда, по-видимому, ничтожное само по себе обстоятельство делается важным, решающим событием, точно так, как долго назревавшая боль вдруг вскрывается в смертельную язву от случайных укола или ушиба. Таким решающим событием для Артемия Петровича было это свидание с Анной Леопольдовной. Резкий упрёк, вылившийся бессознательно из отчаянно бьющегося девичьего сердца, послужил именно тем вскрытием, от которого последующие события получили определённое направление – к печальному исходу для самого больного.

X

Получив согласие, Анна Ивановна заторопилась с приготовлениями к свадьбе племянницы. Хотя к этому событию готовились уже несколько лет, многое выписывалось из-за границы, многое скроилось и приготовилось дома, но всё-таки оказывались то недостаток, то неисправность, то запамятование чего-нибудь или для нового хозяйства или для приличного туалета высокой невесты. Императрица желала с особой пышностью отпраздновать свадьбу любимой племянницы. Может быть, она желала этим великолепием показать народу свой выбор преемницы престола.

Все засуетились и захлопотали. В придворных рукодельных вороха материй и кружев резались и обращались в робы разных фасонов и форм. Одна только невеста не выказывала никакой деятельности и волнения. Напротив, она стала как будто ещё сдержаннее, ещё задумчивее; чаще уединялась она со своей Юлианою, а о чём болтали девушки, знали только они.

Засуетился и вице-канцлер Андрей Иванович, в беспрерывных спорах, посылках и пересылках с императорским посольством. Для достоинства русского двора казалось недостаточным вести такое важное дело с обыкновенным аккредитованным послом, и вот, вследствие настояний Андрея Ивановича, имперский посланник, маркиз Ботто ди Адорно, принял на это время звание чрезвычайного посла, с особым поручением просить руки племянницы русской императрицы для племянника, по жене, римского императора, Антона-Ульриха Брауншвейг-Люнебургского. Но возведение на пост чрезвычайного посла в дипломатических переговорах казалось ещё недостаточным, требовалось показать народу до очевидности важность этой перемены. Находчивый ум Андрея Ивановича сделал небывалое – превратил обыкновенного посла, постоянно жившего в Петербурге, в чрезвычайного посла, нарочно приехавшего из Вены.

Вечером 29 июня 1739 года, что приходилось в субботу, маркиз Ботто ди Адорно выехал из Петербурга в Александро-Невскую лавру, где и ночевал, а на другой день совершил торжественный въезд в столицу, в качестве официального свата.

В понедельник, в торжественном собрании всего двора, состоялся приём чрезвычайного посла. Маркиз Ботто ди Адорно в кудреватой и напыщенной речи передал императрице предложение своего двора, по окончании которой введена была в залу сама невеста графом Головкиным и князем Черкасским-Сухим, и торжественным голосом объявила государыня племяннице о предложении принца Антона-Ульриха и, вместе с тем, о данном ею согласии на брак. Как бы ни была подготовлена к этой сцене Анна Леопольдовна, как бы ни была она от природы застенчива, но в эту минуту она не в силах была удержаться и с плачем бросилась целовать руку императрицы. Этот детски-беспомощный порыв тронул государыню, и она, прижав головку племянницы к своей груди, долго и с нежностью целовала её голову и лицо.

По окончании церемонии сватовства начался обряд обручения, после которого следовали торжественные поздравления. Подле невесты стоял жених её, в шёлковом светлом, вышитом золотом кафтане и с обычным своим овечьим выражением глаз, искавших поймать взгляд отворотившейся от него невесты. Первою поздравить обручённых подошла

цесаревна Елизавета. Зная идиллическую историю любви обручённой, её постоянно тяжёлую, неприглядную жизнь и отвращение к жениху, цесаревна громко зарыдала. Холодно и важно императрица взяла её за руку и отвела в сторону.

Затем, по окончании поздравлений, государыня ушла в свои апартаменты, а присутствующие разъехались.

Через день после обручения, с раннего утра, в обыкновенно таинственном и молчаливом Петербурге началось движение. По повестке пушечными выстрелами с Петропавловской крепости и с валов адмиралтейства народные массы двинулись по разным направлениям: одни к пути следования свадебного поезда, другие к Казанскому собору, который был тогда придворною церковью.

По заранее утверждённому церемониалу шествие должно было следовать от Зимнего дворца к Летнему, по набережной, откуда, по Большой улице, до Невской перспективы. По всему этому пути были расставлены шпалерами гвардейские и напольные полки с постоянно игравшей музыкой. Около собора также стояли ряды войск и несколько пушек.

К удовольствию зрителей, день выдался нежаркий; воздух, освежённый накануне вечернею грозой, веял приятной теплотой, солнце покрывало всё ярким колоритом.

– Дяденька, а дяденька! Чаво смотреть-то… привезли, што ль, кого? – теребил пожилого мастерового подросток парнишка из той же мастерской.

– Дурень! Племянницу государынину, значит, будут покрывать венцом, – объяснил мастеровой.

– Во-о-о! Вишь, для того и день-то вышел такой красный, – заметил подросток.

– Красный?! Нет, паря, дело это плохо. Старые люди говорят примету верную: коли молодым жить долго и во всём удовольствии, так уж беспременно в свадьбу будет дождь аль гроза, а уж коли день такой красный, так уж маяться им, горемычным, весь век.

Между тем от Зимнего дворца началась церемониальная процессия. Впереди ехали, одна за другою, кареты сановников, предшествуемые ливрейными лакеями, гайдуками, скороходами, ряженными в костюмы испанские, турецкие и т п. За каретами сановников следовала карета младшего сына герцога Бирона, принца Карла. Число лакеев и скороходов соответствовало важности ехавшего: так, перед каретами сановников шло по десяти лакеев, а перед каретами Карла и принца Петра, ехавшего позади брата, шло уже по двенадцати лакеев, по четыре гайдука и по двое дворян верхами. За каретами сыновей показалась раззолоченная карета самого герцога Курляндского. Величаво развалившись, сидел герцог, не отвечая на поклоны зрителей, боязливо поднимавших глаза на его великогерцогскую светлость и с особенным любопытством рассматривавших крупно нарисованные на дверцах кареты гербы[32]. Лицо герцога было сурово: сквозь отчеканенные самодовольствие и презрение ко всему окружающему ясно сквозило неудовольствие. Его костюм, осыпанный алмазами и другими драгоценными камнями, вышитый золотом, блестел ослепительным великолепием. Ему предшествовало уже двадцать четыре лакея, восемь скороходов, четыре гайдука и четыре пажа; непосредственно же перед его каретою ехали верхами особый его придворный штат, маршал и два камергера в сопровождении лакеев За каретою герцога следовал интервал.

Главный императорский свадебный поезд начался при громе пушечных выстрелов. Ему предшествовало сорок восемь лакеев, двадцать четыре пажа, за ними верхами камергеры, обер-шталмейстер, егермейстер, унтер-маршал, обер-гофмаршал; каждого из них сопровождали скороходы и слуги с подручными лошадьми.

---

[32] Герб герцога Бирона составляли два щита – большой и малый, из которых в первом изображались гербы Курляндии – золотые львы – и гербы Семигалии – серебряные олени, в малом же, разделённом на две части, изображались: внизу герб Биронов – чёрный ворон с зелёной веткою, вверху же, с правой стороны, половина русского государственного герба – двуглавого орла, а с левой – буква А (короля Августа), под королевскою короною, с продетым сквозь букву камергерским ключом. Щиты с княжескою короною окружала герцогская мантия.

Золотую карету императрицы везли восемь белых лошадей в золотой сбруе и украшенных страусовыми перьями. В глубине, на первом месте, сидела сама императрица, а против неё – невеста, принцесса Анна Леопольдовна. На этот раз наряд государыни не отличался великолепием и не блестел никакими украшениями, кроме нитки жемчуга и золотого шитья на робе. Не радовало подданных и выражение лица императрицы, сумрачного, важного и холодного, изредка величаво наклонявшегося на обе стороны при криках толпы. В противоположность государыне, наряд принцессы блистал изумительной роскошью. Её незапудренные чёрные волосы, увенчанные бриллиантовою короною, перевивались множеством бриллиантовых ниток; кроме того, множество драгоценных камней блестело на её робе из серебряной ткани. Но этот блеск ещё более выдавал печальную фигуру юной невесты. В полуопущенных глазах, в изгибе низко склонённой головки каждый мог без труда прочитать грустную повесть ещё не жившего, но уже разбитого сердца. Свадебный поезд замыкался каретами цесаревны Елизаветы, блиставшей своею красотой и богатой малиновой робою, вышитой серебром и убранною множеством бриллиантов, и затем каретами герцогини курляндской и супруг сановников, но на них уже не обращалось внимание толпы, хлынувшей теперь к собору.

По прибытии в собор, где давно ожидал жених, приехавший туда незаметно, без всякой пышности, архиепископ вологодский Амвросий совершил обряд бракосочетания, по окончании которого грянули пушечные выстрелы с крепости, адмиралтейства и с соборной площади; в то же время затрещали залпы ружейного огня расставленных войск.

На обратном пути в Зимний дворец, где отведены были для молодой четы особые апартаменты в южной стороне дворца, процессия следовала в том же порядке, с тем только изменением, что в карете императрицы, вместе с новобрачною, сидел и супруг её, принц Антон. Во дворце ожидал всех участвующих роскошно сервированный обед. Государыня сидела, вместе с новобрачными и цесаревною Елизаветою, за особым столом.

Затем, вечером, в десять часов, начался бал, окончившийся только около полуночи. Когда все приглашённые разъехались, государыня, в сопровождении герцогини курляндской, жён самых знатных особ и уполномоченных иностранных дворов, состоящих в родственных отношениях, отвели молодую в её покои, где герцогиня курляндская, вместе с леди Рондо, сняли с новобрачной парадное платье и надели белый атласный капот с брюссельскими кружевами. Их же, герцогиню курляндскую и леди Рондо, государыня послала пригласить в покои принцессы мужа, который тотчас же явился в домашнем платье, в сопровождении герцога курляндского. Простившись с ними нежно и высказав на прощание несколько советов, назидательных для вступающих в новую жизнь, Анна Ивановна отправилась в Летний дворец.

За брачным торжеством следовал ряд праздников и увеселений, то в Зимнем, то в Летнем дворцах. Через день после свадьбы состоялся знаменитый маскарад. Императрица, прискучившая обыкновенными удовольствиями, пожелала устроить что-нибудь оригинальное. И вот в залах Зимнего дворца пятого июля, в пятницу, устроился сельский праздник с маскарадом. В длинных дворцовых галереях явились луга с полевыми цветочками, выросли деревья с устроенными под тенью их деревянными скамейками. На этом сельском празднике должны были танцевать четыре кадрили замаскированных лиц; каждая кадриль из двенадцати пар, одетых по кадрили совершенно одинаково.

Участвующие в первой кадрили были одеты в домино оранжевого цвета, в шапочках такого же цвета с серебряными кокардами, небольшие кружевные воротнички были перевязаны лентою, вышитою серебром. В этой кадрили примировали точно так же замаскированные молодые, а участниками – иностранные уполномоченные, с супругами, тех дворов, которые считались в родстве с кем-нибудь из молодых. Вторая кадриль отличалась зелёным домино с золотыми кокардами. В этой кадрили примировали принцесса Елизавета и старший сын Бирона, принц Пётр. Третья кадриль состояла из голубых домино с розовыми кокардами, во главе которой стояли герцогиня курляндская и Салтыков. Четвёртую кадриль, под предводительством детей Бирона, принцессы Гедвиги и принца Карла, составляли

красные домино с серебряными с зеленью кокардами. Сама же императрица не была замаскирована; она прохаживалась между гостями, обращаясь то к тому, то к другому с благосклонным приветом.

Не забывался и народ. Для него устраивались фонтаны с белым и красным вином, жарились быки, пеклись калачи и пироги. Императрица, для собственной потехи, бросала в народ пригоршнями серебряные и медные деньги.

Однако же, всматриваясь внимательно в эти придворные и народные увеселения, нельзя было не заметить в них только одной декоративной стороны. Духа беззаботного и широкого веселия, в котором вся душа нараспашку, – не было. Народ пил, ел калачи, но смотрел дико, исподлобья, прикрывал лохматым кафтанишком голое тело, дрожал, боязливо озираясь, нет ли где поблизости или языка, или ненадёжного человека. Рассказы о тайной канцелярии, несмотря на отбираемые подписки от всех побывавших там молчать замертво обо всём, там виденном, ходили в народе с различными прикрасами и дополнениями. Не больше радовался и высший класс, с той только разницей, что он язвы свои прикрывал мишурным блеском. Под французскими кафтанами и напудренными париками – та же боязнь, те же опасения, та же неуверенность за завтрашний день. В раболепстве и низкопоклонстве считалось спасение, и все, наперерыв друг перед другом, старались пониже поклониться, пораболепнее принизиться.

После свадьбы образовался новый, молодой двор, но без всякого официального значения. Правда, общественное положение принца Антона-Ульриха значительно возвысилось. Кроме того, что он теперь стал племянником императрицы, венский двор стал энергически настаивать, чтобы после свадьбы принцу Антону, в уважении родства и огромных способностей принца, предоставлено было право заседания в кабинете и в военной коллегии.

Императрица по совету вице-канцлера Андрея Ивановича, постоянного сторонника австрийского альянса, уважила требования венского двора, но это ещё более раздражило самолюбие герцога, уязвлённое недавним отказом Анны Леопольдовны. Он нигде и ни перед кем не скрывал самого грубого пренебрежения к принцу. Встретив случайно секретаря саксонского посольства Петцольда на гулянье, герцог заговорил с запальчивостью:

– С чего взял венский двор управлять делами в Петербурге? Если там находят громадные способности в принце Антоне, то я берусь уговорить императрицу отослать его туда. Всем известен, – продолжал он, – принц за человека самого ограниченного ума. Если он женился на принцессе, то единственно с целью родить детей, да и на это-то, – заключил герцог, – оказывается неспособным, и принцесса до сих пор его к себе не допускает.

XI

Вторая турецкая война Анны Ивановны кончилась, не доставив существенных, благоприятных результатов ни государству, истратившему на неё немало денег и не менее ста тысяч здоровых человеческих сил, ни главному виновнику наших побед фельдмаршалу Миниху, увенчанному славою ставучанского победителя. Конечно, при заключении мирного трактата придворные и приближённые люди получили разнообразные награды, по преимуществу денежные, получил награду и сам Миних, хотя далеко не такую, как желало его честолюбие[33], но тем не менее общий результат обманул ожидания всех.

Рассказывали при дворе слух, пущенный в ход самим Бироном, вероятно, из зависти к Миниху, что будто бы фельдмаршал настаивал на продолжении последней войны с Турцией и после отделения от нас Австрии, из личных видов сделаться господарем Молдавии. Кроме того, ходил слух и о том, будто бы Миних домогался управления Малороссиею, с титулом герцога украинского, и что будто бы об этом ходатайстве докладывал императрице сам

[33] За турецкую войну Миниху было пожаловано только звание подполковника Преображенского полка.

герцог Бирон без всякого результата; на докладе императрица не изволила сделать никакой резолюции, высказав только одно замечание: «Миних ещё очень скромен; я думала, что он будет просить у меня титула великого князя московского».

Не удалось Миниху сделаться ни господарем Молдавии, ни гетманом Малороссии, и воротился он с несбывшимися надеждами в Петербург, где жило общество, мало интересовавшееся его воинскими подвигами.

По приезде в Петербург ему необходимо было ближе ознакомиться с положением придворных партий, с их взаимными отношениями друг к другу, прочностью каждой, но прежде всего, разумеется, лично явиться к императрице. На другой же день приезда, одевшись в новую парадную форму подполковника преображенцев, фельдмаршал поехал в Зимний дворец, где жила императрица, в час обыкновенного её приёма. К немалому его удивлению, ему объявили, что государыня уже изволит быть в манеже, где и принимает не терпящие отлагательства доклады.

«Нововведение, достойное Бирона», – подумал фельдмаршал и поехал в манеж.

Герцог, страстный любитель и знаток лошадей, любил проводить утренние часы в манеже, в тщательном осмотре своих четвероногих любимцев. По поводу этой-то страсти герцога австрийский посланник граф Остейн и выразился, что когда светлейший герцог говорил с лошадьми или о лошадях, то говорил как человек, а когда говорил с людьми или о людях, то говорил как лошадь.

Не желая проводить утра без общества фаворита, Анна Ивановна изменила порядок, которого она вообще любила придерживаться, и утреннее время посвятила учению в верховой езде, под руководством герцога, в манеже.

При входе фельдмаршала императрица объезжала манеж галопом на своей любимой лошади, а герцог, стоя в середине, высказывал или одобрение, или замечание относительно посадки и искусства управлять лошадью.

– Здравствуй, фельдмаршал! – ласково обратилась она к вошедшему Миниху, кивнув ему головою, – Поди сюда и подай мне руку.

Грациозно, несмотря на свои уже немолодые годы, подбежал Миних и ловко помог императрице сойти с седла.

– Спасибо тебе. Спасибо, что поколотил турку, – добавила императрица, вспомнив, что видела фельдмаршала в первый раз по окончании войны. – Поздравляю, господин подполковник!

– Если бы не изменил австрияк, то я привёл бы султана к ногам вашего императорского величества, – хвастнул новый подполковник, благоговейно целуя протянутую ему руку государыни и в то же время думая: «Не велика ещё милость быть подполковником. Видно, уметь кланяться выгоднее, чем бить турка… а впрочем, увидим…»

– Что делать, фельдмаршал! Не так живи, как хочется, а как Бог велит, – задумчиво проговорила государыня, гладя шею любимой лошади.

Анна Ивановна тяжело дышала, казалась утомлённою и вообще далеко не такою, какою оставил её фельдмаршал, отправляясь в поход. Смуглый цвет лица её от пробивающейся желтизны сделался буроватым, на лбу, кругом глаз и по углам рта легли постоянные морщины от всё более и более усиливающихся болезненных страданий и от тяжёлых дум развивающейся подозрительности.

Между тем герцог и фельдмаршал обменивались приветствиями.

– Отчего, фельдмаршал, не приехал на свадьбу? – обратилась государыня к Миниху. – А впрочем, скоро будет другая, тогда прошу пожаловать.

– Насчёт первой я имею счастье принести всенижайшее поздравление вашему величеству, а о второй не удостоился слышать.

– Это вот герцог с Артемием Петровичем выдумали меня потешить и сыграть свадьбу моего Михаила Алексеевича, квасника.

– Оригинальная выдумка, ваше величество.

– Да? Я много благодарна герцогу. Покоит он меня.

– Кто же не отдал бы с радостью жизни своей за единый миг утешения вашего величества, мы все в том единомышленники.

– За всех не ручайся, фельдмаршал, и около меня много таких, у которых на языке одно, а замышляют другое… да об этом после переговорим, а теперь прощай. Да, вот забыла спросить тебя: был ли ты у графа Андрея Иваныча?

– Нет ещё, ваше величество.

– Так побывай у него да поговори с ним о кондициях нашего мира с Турциею… А потом и доложите мне.

Государыня милостиво кивнула ему головою в знак прощания и, в сопровождении герцога, пошла из манежа.

Такому проницательному наблюдателю, каким был фельдмаршал Миних, нетрудно было подметить ясные признаки расстройства здоровья императрицы.

«Кажется, скоро надобно будет преемника, – подумал он, – а кого? кто знает? Разве один Андрей Иваныч? Пойду к нему, попытаю выведать что-нибудь от оракула».

Дом, занимаемый Андреем Ивановичем Остерманом, был в Петербурге того времени одним из самых видных, с двумя этажами, выступом в середине, пятнадцатью окнами по фасаду и широким подъездом на улицу. Поднявшись по полукруглой лестнице во второй этаж, фельдмаршал послал вперёд доложить о себе вице-канцлеру, а сам прошёл в обширную приёмную. Убранство комнат можно было бы назвать роскошным, если бы всё не носило на себе характер хозяев. Всё было неряшливо и неопрятно. Пыль, стиравшаяся только в дни приёмные, следовательно, очень редко, лежала слоями на лакированной мебели, дорогая обивка, местами облитая, местами порванная, так и оставалась неремонтированною и, вероятно, останется такою ещё на долгие годы.

По приглашению лакея, такого же неряхи, как и хозяева, фельдмаршал вошёл в кабинет. Здесь всё было в том же живописном беспорядке, как и десять лет назад. Тот же письменный стол, только ещё более облитый чернилами и салом, с теми же валяющимися ворохами бумаг; то же глубокое кресло с выдвижною скамейкою и тот же, наконец, хозяин, в том же вытертом беличьем халате, только уже не красного, а какого-то пегого цвета. Как и десять лет назад, вице-канцлер так же сидел перед письменным столом с протянутыми на скамейке ногами и с зелёным тафтяным зонтиком на лбу. Постарел и более сморщился вице-канцлер – бледное лицо более пожелтело да изрезалось более глубокими морщинами.

– Приветствую героя Хотина и Ставучан, увенчанного лаврами. – говорил вице-канцлер, силясь приподняться с кресла.

– И терниями, почтеннейший Андрей Иванович, и терниями довольно колючими, – отвечал фельдмаршал, дружески обнимая Остермана и ещё глубже усаживая его в кресла.

По-видимому встреча была весьма дружеская. Да и действительно, это были два равносильных представителя государственного значения тогдашней России. Если слава русского оружия, благодаря дарованиям фельдмаршала, поставила государство твёрдо на европейскую почву, то не менее острое и кудреватое перо вице-канцлера укрепило за Россиею достоинство европейской державы. Это были два бойца, умные, талантливые, с одинаковой мощью, но, к несчастью, бойцы-иностранцы, принёсшие России свои труды, но не жившие с нею плотью и кровью. Это были два бойца, понимающие друг друга, уважающие друг друга, но сознающие, что им, двум медведям, в одной берлоге не жить.

– Российское отечество обязано вам, фельдмаршал, не одною военною славою. Если бы не наши победы, то война со Швецией была бы неизбежна, а вести две войны, на севере и на юге, при настоящих обстоятельствах, очевидно, затруднительно. Всё это я не преминул докладывать нашей государыне императрице.

– Последствием чего были зловредящие мне слухи? – вставил с иронией фельдмаршал.

– И её величество вполне ценит ваши заслуги, – продолжал вице-канцлер, как будто не расслышав иронии фельдмаршала, хотя в этих слухах в немалой доле принимал участие и сам Андрей Иванович.

Не раз подобные слухи вырабатывались в этом кабинете и разносились по

придворному кружку развязным язычком усердной помощницы вице-канцлера, дорогой для него Марфы Ивановны.

Пошли рассказы о военных событиях, но фельдмаршал поспешил навести разговор на тему более интересную.

– Имел счастье сейчас представляться императрице в манеже, – сообщил он.

– Изволила кататься верхом?

– Да, под руководством светлейшаго герцога.

– Его светлость отличный ездок!

– Отличный, отличный, но знаете ли что, дорогой граф, я заметил… – при этом фельдмаршал ещё ближе придвинулся к вице-канцлеру и ещё тише проговорил последние слова, – государыня изменилась…

– Изменилась?

– Здоровье изменилось, граф, а если верить слухам, то…

– А вообразите, фельдмаршал, я ничего не знаю… Сижу калекою… с больными ногами, никуда не выхожу… никого не вижу.

– Повторяю вам, граф, – продолжал Миних, улыбнувшись чересчур мнительной осторожности министра, – здоровье государыни очень шатко. Вам, как вице-канцлеру, необходимо подумать о будущем…

– О будущем?

– О будущем преемнике…

– Что вы, фельдмаршал! я и подумать-то не осмелюсь. Да и зачем? По закону Петра Великого, царствующая власть сама назначает себе преемника. Это же подтвердила в 1783 году и царствующая императрица… помните, присягали?

– А разве вам, граф, государыня не высказывала своей воли?

– Нет… то есть… да, почти нет…

– Почти, значит, говорила же?

– Мне известно только отрицательное, нежелание её величества иметь своим преемником племянника голштинского и цесаревну.

– Кстати, о цесаревне, граф, в каких она отношениях к государыне? Я ведь теперь совершенный новичок в придворной жизни.

– В каких отношениях? Гм! В каких отношениях! Право, не могу вам доложить обстоятельно, фельдмаршал, сижу дома… никуда не выхожу… Слышал я, будто цесаревна окружена молодёжью, что неспроста… Говорят об иностранной инфлюэнции… да я не верю…

Слова вице-канцлера заставили задуматься фельдмаршала. Правда, прежде он и сам видел, как просто обращается цесаревна, как обожают солдаты дочку Петрову, да не видел в том никакой задуманной цели. Бывало, и сам он, любуясь красивою девушкою, её голубыми выразительными глазами, грациозным станом и простым симпатичным обращением, не раз задавался вопросом, какое бы влияние могла иметь эта девушка, если бы пожелала власти, если бы не дорожила так простотой и независимостью. А выходит, дело-то и не так, и девушка проводит… уж если говорит Андрей Иванович. Вероятно, русская доморощенная демократическая партия, в которой не будет места иностранцам, ни Остерману, ни Минихам, каковы бы заслуги их ни были… «Надо принять свои меры», – подумал он и решился…

– Мне кажется, для успокоения государыни, – раздумчиво, как будто говоря сам с собою, высказал фельдмаршал, – необходимо иметь строгое наблюдение за действиями цесаревны.

Андрей Иванович от удовольствия даже поперхнулся и глубже запустил пальцы в табакерку.

– Конечно, конечно, любезнейший фельдмаршал, да людей способных нет… Вы ведь знаете нашего светлейшего герцога… работа в его тайной канцелярии великая, а толку немного, хватают всех без разбора, только страх навели…

– Такое важное дело вам бы взять на себя, Андрей Иваныч.

– Мне? Что вы! куда мне! С больными ногами и слепому! Да меня каждый ребёнок проведёт… Вот если бы вы оказали такую великую услугу государыне…

– Я, граф, плохой дипломат… но у меня есть такой человек… способный. Его можно бы послать к цесаревне[34].

– Пошлите, фельдмаршал, пошлите. Государыня будет очень благодарна.

Переходя от одного предмета к другому, разговор коснулся свежих новостей о процессе над князьями Долгорукими. Андрей Иванович заторопился отстранить от себя всякое участие в этом процессе.

– Не моих сил дела такие, – говорил он, – у нас теперь знатные персоны, прожекты сочиняются, новые порядки заводятся…

– Слышал… новый кабинет-министр Артемий Петрович? Знаю его… Был он у меня в команде, ума немалого и самомнения чрезмерного. Но в каком резоне ему гнать Долгоруких?

– Может быть, старые счёты, фельдмаршал, по казанскому губернаторству, а впрочем, Артемий Петрович ведь русский человек, а русские люди не могут не грызться между собою.

Получив нужные сведения, фельдмаршал Миних уехал. Друзья-соперники расстались совершенно довольные друг другом.

– Куда ехать? – спросил сам себя Миних, сходя на широкий подъезд, – к Анне Леопольдовне или к Елизавете? Интереснее к Елизавете…

Если бы такой вопрос представился бы лет десять назад, то ответ, конечно, не был бы сомнителен, но теперь – дело другое: как ни свеж, ловок был фельдмаршал, но соперничать с молодыми горячими силами казалось рискованным. Гораздо безопаснее и вернее было искать у Анны Леопольдовны. Не избалованная вниманием, она будет более признательна за преданность.

– В Зимний дворец! – крикнул фельдмаршал кучеру, садясь в карету.

Домашняя жизнь молодых супругов началась не медовым месяцем. Не оправдывалась пословица Анны Ивановны: «стерпится – слюбится». Напротив, чем более проходило времени, тем рознь между супругами становилась яснее и глубже. С пренебрежением, даже с какой-то ненавистью постоянно относилась молодая супруга к своему мужу; за каждым неловким словом или движением, в чём он оказывался виноватым ежеминутно, с её стороны следовали вспышки и ссоры. Императрица принимала участие в этих ссорах и, разумеется, тем ещё более портила дело.

Советы и усовещевания оказывались недействительными. Наконец императрица объяснила эту постоянную раздражительность новым её положением: Анна Леопольдовна сделалась беременною. Как скоро найдена была причина, понятны стали и все новые явления в наружности и характере принцессы – эти тошноты, эта начинающаяся полнота, какой-то серый цвет лица с проступившими жёлтыми пятнами, эти быстрые перемены от нервной деятельности к полному упадку сил, а главное – эта необыкновенная сварливость в женщине, до сих пор сдержанной, и особенная нетерпимость мужа.

Но если бы кто мог заглянуть в душу молодой женщины, тот увидел бы там много иного. Рядом с физическими страданиями, естественными последствиями изменений в организме, работали явления психического мира. Как прежде ни казался жалок принц Антон в качестве искателя руки и жениха, но отдалённость, светские формы и выгодность общественного высокого положения скрашивали многое – во всяком случае, делали его человеком сносным, но когда брачные отношения объединили их жизни в одну, когда глаза стали ежеминутно наталкиваться на все прежде скрывавшиеся недостатки, холодность и равнодушие женщины перешли в отвращение и озлобление. Вместе с тем, чем настойчивее и упорнее в душе её укреплялись эти чувства, тем чаще стал возникать в воображении другой

---

[34] Из допросов, данных Миниху в 1742 году, видно полное сознание фельдмаршала в том, что к цесаревне Елизавете был приставлен от него для шпионства урядник (бывший в 1742 году уже капитаном) Щегловатов («Русский Архив» 1864 г., вып. 5 и 6, стр. 511).

образ, одетый всеми поэтическими красками, – образ красавца Линара, начинавший было уже стираться. К ещё большему несчастью, жизнь и обстоятельства сделали Анну Леопольдовну ещё более замкнутою, более способною держаться за свои внутренние образы, а следовательно, и более страдающею, более нервною и странною во внешних проявлениях.

Страдала молодая жена, страдал и муж. Добрый, невозмутимо мягкий, напуганный в детстве, неспособный задаваться внутренними вопросами и смотрящий на всё по указке, он терпеливо переносил беспрерывные вспышки жены, объясняя их, по примеру тётки, её новым положением. И терпел он долго, терпел всю свою страдальческую жизнь, без ропота, без пытливого вопроса, за чей же грех ему осудилась вечная жертва, вечно быть козлищем отпущения.

После одной из постоянных вспышек по ничтожному поводу какой-то разбитой по неловкости принца чашки, заставившей мужа удалиться из комнаты, а жену нервно расплакаться, доложили о приезде фельдмаршала Миниха. Так как непреложный придворный этикет заставлял принять такого высокого гостя, то молодая принцесса поспешила отереть слёзы и осушить глаза платком, нагретым от дыхания.

– Вы приехали, фельдмаршал, пожинать плоды ваших подвигов в Турции, – встретила принцесса Миниха, в душе сердившаяся на него за прекрасные отзывы о принце Антоне.

– Напротив, ваше высочество, я приехал предложить вам себя на службу и заслужить лавры на этом поприще, – отвечал находчивый фельдмаршал.

– Впрочем, в лаврах и не могло быть никакого сомнения, когда у вас были такие помощники, как принц Антон, – с едкою ироniею продолжала Анна Леопольдовна.

– Я старался только отдавать должное по заслугам в аттенции к его высокому положению, – отозвался фельдмаршал и, заметя слёзы, навернувшиеся на глазах принцессы, и нервное подёргивание губ, поспешил откланяться.

«Супружество не по страсти, – решил Миних, уезжая, – тем лучше! Решительно становлюсь на сторону принцессы».

XII

Роскошью и изяществом, не усвоенными ещё нашими высокими персонами, убран дом и в особенности рабочий кабинет французского аккредитованного посланника при русском дворе, маркиза де ла Шетарди, недавно приехавшего в Петербург для упрочения, как он говорил, на будущее время дружественных отношений России и Франции. Элегантный вкус маркиза был виден во всём, во всей обстановке кабинета, в мебели, в обоях, в каждой мелочи. За большим письменным столом с тонкою редкою резьбою, стоявшим посередине комнаты, работает теперь сам посланник, наклонившись над кипою бумаг. Свет двух восковых свечей падает из-за абажура светлым кругом на рукописи, на безделушки, кинутые у чернильницы, перья, ножницы и ножички, перерезывает надвое наклонённую голову маркиза и оставляет в приятном полумраке дорогие обои, ковры, книжные шкафы, статуи и бюсты. Посланник, как видно, занят; он озабочен и встревожен. Тонкие, подвижные и ещё приятные черты лица живо передают несдерживаемые впечатления острого неудовольствия.

В сотый раз маркиз перечитывает переданные ему Амелотом в министерстве иностралных дел в Париже записки бывшего французского агента в Петербурге Лалли о состоянии русского общества. «Россия может быть подвержена быстрым и частым переворотам», – почти вслух прочитывает маркиз и с досадою отбрасывает от себя записку Лалли. Подумав немного, он снова принимается читать следующую бумагу, в которой заключалась инструкция, идея и цель его посольства. В инструкции говорилось о необходимости оторвать Россию от тесного союза с Австрией, для чего указывалось, как на крайнее средство, на возможность переворота, на перемену правительства. В инструкции рекомендовались послу неусыпная наблюдательность, сметливость и осторожность, требовалось от него немедленного доставления самых подробных и точных сведений о положении политических партий в Петербурге, о партиях цесаревны Елизаветы и

голштинской, о намерениях недовольных и о направлении умов в войсках.

– Хорошо писать им инструкции за тысячи вёрст, в министерском кабинете, а каково их выполнять! Политические партии! Да где они? Могут ли они быть в этих снежных сугробах, в каких-то берлогах, где за каждое неосторожное слово секут да рубят. Звери дикие! – ворчал посланник.

– Пришёл какой-то мастеровой от ювелира Граверо, господин маркиз, и просит вас видеть, – доложил вошедший француз-слуга.

– Мастеровой… от ювелира Граверо? – протягивая слова, переспросил маркиз, пытаясь вспомнить, не было ли действительна от него какого-нибудь поручения ювелиру. – Верно он ошибся, я ничего не заказывал.

– Он, господин маркиз, настоятельно просил, говорил, будто вы именно приказывали ему прийти.

– Я? Приказывал Граверо? Странно! Позови его сюда.

Вошёл мастеровой, одетый, как одевались в то время мастеровые иностранцы, начинавшие русеть. Длинный сюртук со сборками назади свободно, даже неуклюже сидел на довольно полном корпусе, из-под камзола какой-то поношенной чёрной материи выступала ситцевая рубашка, а широкие шаровары входили в сапожные голенища.

Низко кланяясь, мастеровой выждал ухода камердинера и по его уходе плотно затворил дверь.

«Странно, – подумал маркиз, следивший за ловкими движениями мастерового, – манеры не мастерового, и как будто где-то я видел этого господина. Если бы не чёрные волосы, не бледность и не полнота, то… кажется… Удивительное сходство, особенно эти живые, умные глаза».

– Вы не знаете или не узнаёте меня, маркиз? – спросил мастеровой на чистейшем французском языке, свободно подходя к посланнику.

– Не знаю… я удивляюсь… Кто вы? По какому случаю?

– Вот видите ли, маркиз, вы меня не знаете, а я вас знаю – преимущество на моей стороне. Знаю каждый ваш шаг, знаю, например, какие бумаги на столе вы читали до моего прихода.

Маркиз машинально протянул руку, чтобы собрать и закрыть бумаги.

– Не трудитесь, маркиз, не прячьте, это совершенно бесполезно. Мне они не нужны, я и так знаю каждое слово из записок Лалли и данных вам инструкций.

– Каких инструкций? Их знает только король, Амелот и я.

– Ошибаетесь, их знаю и я… Мало того, я даже знаю, о чём вы думали, когда я вошёл.

– Попробуйте угадать.

– Ругали русских, ругали своё глупое положение, ругали своих недоброжелателей, которые, как вы думаете, нарочно устроили вам это поручение-ловушку, с целью сломать вам голову, из зависти к вашей карьере… но вы не правы… в главном… Ваши недоброжелатели действительно с умыслом вам навязали это поручение, которое вы не можете выполнить хотя бы уже и потому, что не знаете совсем русского языка, а здесь, даже и при дворе, почти никто не говорит по-французски. Как же вы можете собирать сведения о направлении умов и устраивать перевороты?

– Перевороты! – растерянно и с испугом почти крикнул дипломат. – Отчего вы знаете? Кто же вы?

– Попробуйте всмотреться. Не видали ли вы меня где-нибудь на этих днях… ну, хотя, например, вчера?

– Вчера? Вчера я был только у её высочества цесаревны Елизаветы… Да… Теперь вспомнил… Точно, те же глаза… но тот выше и сухощавее, не так бледен и волосы с сильною проседью.

– А разве нельзя помолодеть и пополнеть по произволу? Теперь вы догадались и

скрываться нечего. Рекомендуюсь вам ещё раз: медик цесаревны Арман Лесток[35], – тихо проговорил мастеровой, протягивая руку маркизу и усаживаясь подле него в кресло.

– Бесконечно рад с вами познакомиться и сойтись. Скажу откровенно, я особенно дорожу этим, но прежде всего я просил бы вас сказать мне, каким образом вы узнали содержание моих секретных бумаг? Вы очень хорошо понимаете, что для дипломата, с таким поручением, как моё… нельзя иметь подле себя людей, способных продать.

– Успокойтесь, маркиз, ваши люди вам преданы и вас не продавали, а если я познакомился с вашими бумагами, то обязан вашему испорченному столу. Помните ли вы русского слесаря, такого ещё глупого, которому вы едва-едва могли растолковать знаками своё требование исправить замок? Так этот-то слесарь был я. Поняли?

– О, совершенно. Однако я не могу достаточно надивиться беспримерному искусству…

– Практика, любезный маркиз, привычка, кое-какие знания… и больше ничего, об этом и не стоит говорить. Я пришёл переговорить с вами и условиться о многом.

– Слушаю вас, доктор, и заранее повинуюсь всем вашим предписаниям.

– Прежде всего, нам должно выяснить главный вопрос и наши отношения… Вам поручено всеми силами добиться разрыва союза России и Австрии, но при настоящем составе русского правительства это решительно невозможно.

– Я тоже опасаюсь, и это приводит меня в отчаяние.

– Отчаиваться нет повода, маркиз. Когда болезнь узнана, что самое главное, так средства найдутся, а иначе, не имея средства, я и не пришёл бы к вам. Но, повторяю опять, при настоящем правительстве невозможно: Остерман, как вы сами знаете, сторонник австрийского союза, а его перетянуть на свою сторону – средства нет. Вдобавок ещё эта свадьба племянницы с племянником Брауншвейгским укрепит союз на долгое будущее.

– Так скажите же, что делать?

– Нужно сделать переворот.

– Опять-таки переворот? да разве это возможно?

– Возможно и нет, смотря по тому, какие средства. Впрочем, можно обойтись и без насильственного переворота. Императрица больна серьёзно: у неё подагра и каменная болезнь. Я наблюдаю её уже несколько месяцев и, как врач, могу положительно определить, что она проживёт несколько месяцев и никак не больше года. Если ей наследуют Брауншвейгские, то, конечно, тогда союз с Австриею окрепнет и «весь запад будет в опасности от нашествия варваров», как сказано в ваших инструкциях, любезный маркиз, – говорил Лесток, лукаво улыбаясь.

– Этого не нужно допускать, доктор, но как?

– Очень просто: предъявлением более веских прав моей государыни и пациентки цесаревны.

– Но достанет ли у неё сил?

– У неё силы больше, чем вообще думают, и даже больше, чем думает она сама. Вся гвардия, а в ней главная сила, обожает память её отца, помнит цесаревну ещё ребёнком в его руках, помнит, как он выходил к ней со своею ненаглядною любимою дочкою, как ласкал её, и вот гвардия своё обожание отца перенесла теперь на дочь. Она много напоминает отца.

---

[35] Лесток, впоследствии граф, из французских протестантских дворян, родился в городе Целле, в 1692 году, и, прослужив недолго во Франции полковым лекарем, в 1713 году приехал в Россию, где и был определён придворным медиком. Несколько раз сопровождал Петра и Екатерину за границу и пользовался их покровительством, в особенности последней. Через пять лет, однако же, он был сослан в Казань, будто бы вследствие жалобы придворного шута Лакосты за обольщение его жены и четырёх дочерей. По вступлении на престол Екатерины I Лесток был возвращён и определён лейб-медиком к цесаревне Елизавете, при которой и состоял во всё время царствования Екатерины I, Петра II и правительства Анны Леопольдовны. Лесток считался самым доверенным лицом Елизаветы и имел большое влияние при её дворе. Это был тип авантюриста умного, изворотливого, приятного и никогда не забывавшего своих интересов.

Кроме гвардии, весь народ её любит и слепо верит астрологу Ламберта [36], предсказывающему, что она будет императрицею. Я даже уверен, что если бы она предъявила свои права тотчас после смерти племянника Петра II, так герцогини курляндской не было бы здесь и следа.

– Зачем же она тогда уклонилась?

Лесток пожал плечами.

– Зачем? Вопрос трудный. Зачем в молодости мы часто делаем глупости, о которых жалеем впоследствии? Как только умер покойный император, я в ту же минуту ночью разбудил цесаревну и умолял её одеться и показаться войску… и всё было бы кончено. Как бы вы думали, что мне она тогда отвечала? «Ах, добрый Лесток, так холодно вставать…» Повернулась на другой бок и заснула.

– Может быть, доктор, она и теперь так же… так же… как бы вам сказать… беспечна?

– Не думаю. Десять лет много прибавили опытности, много накипело неудовольствий от тётки. Недаром же ведь и я в продолжение десяти лет работаю. Притом необходимо вам сказать, что цесаревна Елизавета прежде всего женщина, а женщины чувствительны к уколам женского самолюбия… и если вовремя суметь раздражить женскую гордость… Впрочем, вы как тонкий дипломат знаете это лучше меня.

– Хорошо, но всё-таки, как велика её политическая партия?

– Как видно, что вы, маркиз, только что приехали сюда и совсем не знаете России. Совершенно верно Лалли в записках своих назвал её ребёнком, родившимся слишком поздно, физически совершенно развившимся, но без всякого сознания своей духовной силы. Вы не обратили особенного внимания на это место, может быть, сочли его желанием блеснуть остроумием, а между тем оно верно. Какие могут быть политические партии в России? Я даже сомневаюсь, могут ли они быть когда-нибудь впоследствии. В политической партии основа – общественная идея, осознанная всеми членами известного кружка и к выполнению которой стремится кружок, а в России таких объединяющих и осознанных политических идей совершенно нет.

Лесток задумался, понюхал в несколько приёмов табаку и продолжил, как будто невольно опоражнивая весь накопившийся запас своих практических наблюдений:

– Русский народ – странный народ! Он добродушен, податлив, терпелив, а вместе с тем недоверчив и глубоко эгоистичен. Нередко встретишь людей с громадными дарованиями, высоким умом, способных быть вожаками в государственных переворотах, а между тем такие люди стоят одиноко, около них нет партии, а только сподручники. Каждый стремится к своей личной выгоде и занят только своим интересом. Жизнь, что ли, их так сложилась…

– Однако же, доктор, у них есть ведь свои национальные партии? Что вы скажете, например, о кабинет-министре Волынском?

– О Волынском? То же, что и о других. Он человек с большими способностями, но… и с теми же недостатками. У него слово и дело расходятся. На словах он человек государственный, с прочно сложившимися убеждениями, с бескорыстным служением обществу, а на деле – такой же придворный. От этого разлада около него не партия, а несколько лиц, преданных ему лично. Этот кружок невелик, бессилен и может показаться опасным только самонадеянному и, вместе с тем, такому трусливому нахалу, каков наш светлейший герцог. Этот кружок рухнет при первом столкновении, и вы из него ничего не выработаете. Неужели же вы думаете, маркиз, что мы упустили бы случай и не притянули бы к себе Волынского, с которым я прожил семь лет в Казани, с которым дружен и теперь?

– Всё, что вы мне говорите, доктор, для меня совершенно ново, и я так вам благодарен!

– Благодарить вам меня не за что. Вы, маркиз, хорошо понимаете, что я служу не вашим интересам, а той, которой предан душою и телом. Наши интересы совпали, вот и всё.

---

[36] Ламберта, учёный садовник в Царском Селе, которое тогда ещё не было городком, а было приписано с 1728 года, как собственность, к «комнате» её высочества Елизаветы Петровны.

– Но скажу вам откровенно, вы выручаете меня из самого глупого затруднительного положения.

– Совершенно верно. Теперь вы можете сообщать правительству свои наблюдения о состоянии умов в России, и эти наблюдения будут, поверьте, самые остроумные и верные. Я хорошо владею русским языком, люблю толкаться в народе, как видите, в разных костюмах, а по званию своему придворного медика цесаревны имею возможность изучать и придворный круг. Притом же мне, как доктору, понимаете, может быть открыто многое, что по обыкновению скрывается от других смертных.

– И особенно такому доктору, как вы! Но позвольте мне сделать ещё один вопрос: какая будет политика царевны, когда она сядет на престол?

– На этот вопрос отвечать черезвычайно трудно. Во-первых, даже самому проницательному человеку невозможно предвидеть в будущем всех чрезвычайных обстоятельств – не знает же ведь сам оракул Андрей Иванович нашего настоящего разговора, – а во-вторых, здесь всё зависит от личного взгляда, а за взгляд женщины кто может ручаться? В одном я только совершенно уверен: в удалении всех лиц, гнетущих теперь цесаревну, а с удалением их тайный австрийский союз будет невозможен.

– Для меня этого пока достаточно, а дальше будет уже не моё дело. Цесаревна умна и сумеет оценить все выгоды союза с Францией, которая всегда готова оказать ей добрые услуги, и все тяжёлые последствия союза с Австриею… Итак, любезный доктор, мы с вами согласны во всём главном… Мы, стало быть, естественные союзники. Скажите же мне, в чём и я могу быть вам полезен?

– В самом существенном, маркиз, в деньгах. Вы не можете представить, какие у нас громадные расходы. Всякий гвардейский солдат бежит к нам во всякой своей нужде: кого нужно лечить даром, кому помочь в свадьбе, в приданом, кому положить на зубок, кому помочь в похоронах, после пожара. Цесаревна ко всем ласкова, никому не отказывает, а денег часто у самих ни копейки. Приходится унижаться, просить герцога и иной раз получать отказ.

– О, доктор, в этом отношении прошу вас нисколько не стесняться, берите из моей шкатулки сколько хотите. Я даже прошу вас быть как можно щедрее… в этом и ваш и мой интерес. Ещё не могу быть в чём-нибудь полезен?

– Пока нет, а дальше укажут обстоятельства. Может быть, потребуется поддержка иностранных кабинетов… Однако же мы проговорили дольше, чем следовало бы для простого заказа мастеровому. Ваши люди…

– За скромность моих людей я ручаюсь. Когда же и где мы свидимся?

– Приезжайте к цесаревне, но предупреждаю, бывайте у неё нечасто, иначе возбудите подозрения. За нею и за всеми ей близкими и так наблюдают сотни глаз. Впрочем, когда появится надобность, я и сам побываю у вас, только не удивитесь, если в каком-нибудь ином виде.

Новые союзники искренно пожали друг другу руки.

При выходе, у дверей, мастеровой снова оказался в своей роли. С низкими поклонами и подобающим раболепием изгибаясь перед маркизом, он ломаным французским языком твердил:

– Ах, ваше сиятельство… ваше сиятельство… господин маркиз… не извольте беспокоиться, всё будет как есть доставлено в точности, как изволили приказать.

– Торопись, любезный! смотри не забудь, мне к сроку!

– Слушаюсь, ваше сиятельство. Работа сложная.

Мастеровой вышел на улицу, вздохнул полною грудью и бодро зашагал вдоль по улице. Тихо, прохожих не видно было, только в ночном мраке кое-где светились фонари. Выйдя знакомою дорогою на Невскую перспективу и пройдя ею несколько десятков сажен, не доходя деревянного гостиного двора, который стоял на том же месте, на котором стоит и нынешний гостиный двор, мастеровой обогнул деревянный дом голландской архитектуры с остроконечною крышею, ювелира Граверо. Здесь он ощупал в заборе подле дома низенькую

калитку, неслышно отпер дверь её ключом и, заботливо оглянувшись кругом, быстро юркнул на двор.

Через несколько минут с крыльца лицевого фасада выходил Лесток осторожною походкою усталого человека, провозившегося несколько часов в тяжёлой работе. Под мышкою левой руки нёс он довольно объёмистый ящик с хирургическими инструментами и небольшою походною аптечкою. Не успел пройти лейб-медик вверх по Невской перспективе и десяти шагов, как сбоку вывернулась какая-то человеческая фигура в полувоенной форме. Оглянув при свете фонаря прохожего, Лесток узнал недавно поступившего на службу к цесаревне урядника Щегловатова.

«Знаю, голубчик, зачем ты здесь, да опоздал», – подумал лейб-медик и потом, вдруг обернувшись, строго окликнул:

– Зачем ты здесь?

– Это я… ваша милость… господин лекарь… я…

– Зачем, говори, шатаешься по ночам?

– Я… ваша милость… был дома… сестра захворала… как смерть лежит…

– Больна? Так веди меня… Хотя устал от работы, а всё ещё смогу.

– Нет, господин лекарь, она… мне… я… только испугалась, а в самом-то деле не больна… Теперь ничего, оправилась… спит.

– Ну, пускай её спит, а мы пойдём теперь вместе домой. Кстати, понеси-ка вот мой хирургический ящик.

XIII

Холода стоят из ряду вон, и никто из петербургских старожилов не запомнит такой суровой зимы, какая была в конце 1739-го и в начале 1740 года. Бессменный, трескучий тридцатиградусный мороз охватывал ледяною бронёю всё вступавшее в его сферу без надёжной защиты, разрисовывал толстыми слоями, в затейливых узорах, узенькие оконца петербургских домов и домишек, назойливо пробирался непрошеным гостем, заставляя хозяев ёжиться и тесниться у накалённых печей; птицы от мороза падали мёртвыми, а выплеснутая вода ударялась о землю ледяными хрусталиками.

Этим кстати подоспевшим даровым фактором поспешили воспользоваться для устройства новой, нигде ещё не виданной потехи, придуманной для развлечения начинавшей прихварывать государыни. Придумали [37] устроить ледяной дворец, с причудливыми украшениями, со всеми аксессуарами жилого здания, в котором бы можно было отпраздновать курьёзную свадьбу шута квасника Голицына и шутихи калмычки Бужениновой. Организовалась для проектирования и исполнения особая «машкарадная комиссия», президентом которой выбран был, как самый изобретательный и находчивый придворный, сам кабинет-министр и обер-егермейстер Артемий Петрович Волынский.

И Артемий Петрович не ударил лицом в грязь. Всё, что мог придумать хитрый человеческий ум, не стесняемый недостатком средств, всё было приведено в движение. По составленному придворным архитектором плану неустанно стали воздвигаться на Адмиралтейской площади, близ Зимнего дворца, из ледяных глыб Невы и из нарочно отлитых форм отдельные части холодного дворца; закишели толпы рабочих над приготовлениями к парадной свадьбе и стали наезжать приглашённые гости к торжеству из всех концов широкой Руси. Сборным пунктом всех распоряжений служил так называемый Слоновый двор[38], где содержался слон, присланный императрице в подарок от персидского

[37] Первая мысль принадлежала камергеру Алексею Даниловичу Татищеву.

[38] Этот двор находился на Фонтанке, недалеко от Летнего сада, и был построен в 1736 году специально для помещения слона.

шаха.

Артемий Петрович придавал своим занятиям по «машкарадной комиссии» особенное значение и занимался этим делом с усиленною энергиею. Да и действительно, это назначение для него было важнее всех государственных дел. Если государыня останется довольною, если она подарит его ласковою улыбкою – партия его будет выиграна, политическое влияние вырастет и враги принуждены будут перед ним преклониться, а в настоящее время в таком знаке благоволения чувствовалась крайняя нужда. Как ни был самонадеян и самолюбив Артемий Петрович, но он инстинктивно ощущал под собою нетвёрдость почвы. Злые остроты Куракина и глубокие раны от когтей Остермана незаметно, но, тем не менее, существенно вредили ему во мнении императрицы. Государыня не раз уже встречала его с недовольным видом, правда, скоро исчезавшим от его обаятельного красноречия, но всё-таки оставлявшим, как и клевета, после себя осадок. Доношения его с объяснением по доносу Кинкеля и Людвига, а главное, приложенные к доношению особые примечания, персонально направленные на злохитрых политиков, против ожиданий автора, приняты были государынею весьма неблагосклонно, а между тем в будущем предстояла борьба с могучим противником, за которым фавор упрочился не одною давностью. Конечно, до сих пор этот противник лично не вредил ему, даже как будто сам очищал ему дорогу, но игра стала изменяться и в последнее время их отношения были далеко не прежние. Бирон нередко выказывал ему полное неудовольствие, хмурился при докладах его государыне и милостивее обращался к тем, кто явно и тайно подыскивался под Волынского.

Необходимо стало во что бы то ни было заслужить полную благосклонность, отвоевать себе прочное местечко в привязанности государыни, одним словом – сделать себя для неё необходимым. Артемий Петрович очень хорошо понимал, что вернейшим путём к сердцу женщины служат не заслуги, не государственные доблести, а искусная игра в чувство, ловкое потворство эгоистическому женскому самолюбию. И он шёл по этому пути неуклонно, с полной надеждой на успех. Помимо его красноречивых объяснений в личных докладах, в каждом его «доношении» государыне между строк читалась его преданность лично ей как государыне и как женщине.

С горячею готовностью ухватился Артемий Петрович за представившийся в курьёзной свадьбе случай выставить перед Анной Ивановной самоотвержение и преданность, не щадившую себя для её даже минутного удовольствия. Он изощрил всю свою и без того острую изобретательную способность в придумывании разнообразных деталей праздника – и потеха вышла, действительно, грандиозною, поразительною по изобретению и по искусству исполнения.

В первых числах февраля предполагалось торжество бракосочетания квасника с Буженинoвою[39], и оставалось только несколько дней. Впрочем, всё было готово, и теперь в Слоновом дворе неутомимый обер-егермейстер делал окончательный осмотр приехавших свадебных гостей. Закутавшись в медвежью шубу и в бобровой шапке, Артемий Петрович, сидя на высоком кресле, внимательно осматривал подводимые к нему гайдуками пары из мужчин и женщин всех русских народностей, оглядывал с заботливостью их лица и одежды, заставлял плясать и играть на их нехитрых инструментах.

– Всё ли наконец, господин адъютант? – с нетерпением обратился Артемий Петрович к адъютанту Гладкову, почтительно стоявшему позади его кресла.

– Всё, ваше превосходительство.

– Кажется, всё идёт хорошо. Принёс ли дурак Тредьяковский поздравительные вирши?

– Нет ещё, ваше превосходительство.

– Нет? Так не откладывать же праздника по милости его глупых песен, того и гляди погода переменится. Когда приказано ему принести? – с раздражением спросил Артемий

---

39 .Михаил Алексеевич Голицын, став придворным шутом, получил прозвище Квасник. Это прозвище при дворе стало и его фамилией – Кваснин (из-за того, вероятно, что мать его была из рода Квашниных).

Петрович.

– Ваше превосходительство изволили сами поручить Петру Михайлычу Еропкину приказать пиите принести стихи уже с неделю.

– И не принёс?

– Не принёс, ваше превосходительство.

– Послать за ним сейчас и привести его ко мне сюда, пока я буду осматривать слона и клетку! – сердито крикнул кабинет-министр.

Гладков вышел распорядиться посылкою, а Артемий Петрович пошёл в помещение слона.

Артемий Петрович был не в духе. От утомления ли, от неисправности ли будущего профессора элоквенции, которого он не любил, как преданного слугу Куракина, своего врага, – только при осмотре всё сердило его и раздражало Напрасно вожак-персиянин из кожи лез выставить перед знатным вельможею послушание, понятливость и искусство своего питомца[40], Артемий Петрович на всё глядел придирчивыми глазами, во всём находил что-нибудь неисправное. Осмотрев затем других животных: оленей, собак, свиней и верблюдов, тоже предназначенных участвовать в процессе и давно уже достаточно вымуштрованных, он воротился в главный корпус в полном нервном возбуждении.

У дверей, в раболепно согнутом положении, торчала улыбающаяся фигура знаменитого в то время пииты Василия Кирилловича Тредьяковского.

– Вирши? – закричал Артемий Петрович, как только увидел пииту.

– Всегда готовы для прославления величия вашего превосходительства…

– Свадебные вирши, говорят тебе, негодный писака?

– Пребываю в полной игнорации и в великом трепетании, ибо посланный вашего превосходительства, захватив меня, яко виновного, повлёк усильно, будто бы в императорский кабинет…

Василий Кириллович не докончил своей речи.

«Вот они, козни-то, интриги Куракина… подыскиваются помешать успеху в глазах государыни…» – мелькнуло в голове обер-егермейстера, и вдруг вспомнились ему стихи, написанные на него пинтой по желанию Куракина. Кровь бросилась в голову, потом отхлынула к сердцу, и Артемий Петрович, не помня себя от ярости, быстро подскочил и со всего размаха правою рукою нанёс сильнейший удар по левой ланите творца пиитических хитростей. Василий Кириллович покачнулся и непременно упал бы, если бы и с другой стороны его не подхватил такой же полновесный удар. За этими ударами следовали другие, то с правой, то с левой стороны, заставившие несчастного писателя качаться как маятник.

Артемий Петрович бил как исступлённый. Налившиеся кровью глаза горели электрическим блеском, мёртвенно-бледное лицо исказилось зверскою улыбкою, на губах показалась пена. Он не мог выговаривать слов и только едва-едва, среди хриплых звуков, можно было расслышать слова:

– Бездельники… смеяться надо мною… подыскиваться… Вот тебе за патрона… будешь вирши писать… Бей его! – приказал Артемий Петрович стоявшему в отдалении кадету, отходя в полном изнеможении от нервного напряжения.

Экзекуция началась снова, хотя далеко не с тою же энергиею.

---

[40] Весьма интересны сведения, во что обходилось казне содержание этого слона. На одну его пищу отпускалось: пшеничной муки 365 пуд., сорочинского пшена 136 пуд. 35 ф., сахару 2 пуда 15 ф., перцу 38 фунт. 2 зол., имбирю 38 фунт. 2 зол., зардачи 1 пуд 36 ф., из пряностей: гвоздики, кардамона, корицы и мускатных орехов по 7 фунтов 58 зол., шафрана 1 фунт 68 зол., соли 45 пуд. 25 ф., виноградного белого вина на полгода 21 ведро, водки на зимнее полугодие 32 ведра, тростника сырого 230 пуд. и сухого 682 пуда 10 ф., травы 230 пуд. и сена 682 пуда 20 ф. На случай болезни отпускалось на лекарства тоже ежегодно от 50 до 100 рублей. По существовавшим же тогда ценам, всего расходовалось в год 2369 р., которые и выдавались обер-егермейстерским делам из дворцовой конторы частью натурой, частью деньгами. Кроме того, на освещение помещения слона отпускалось в год до 4000 свечей (документы арх. минист юстиции).

– Помни, негодяй, если завтра не принесёшь виршей к курьёзной свадьбе, так будешь бит ещё больше! – крикнул кабинет-министр, выходя из комнаты.

Тут только в первый раз Василий Кириллович узнал, чего от него требовали. Еропкин, которому Волынский поручил передать своё приказание пиите, забыл о нём, и несчастный на этот раз вынес побои совершенно безвинно.

Оглушённый, весь покрытый синяками, побрёл Василий Кириллович домой, утирая платком выступавшие слёзы; смоченные ресницы леденели, слипались и застилали глаза. Но не чувство оскорблённого человеческого достоинства заставляло его плакать, нет! Он смиренно сознавал право вельможи на побои такой мелкой сошки, как он; его мучила не физическая боль, а горькое чувство непризнанного пииты, которым должно бы гордиться отечество. В душе Василия Кирилловича зародилась месть и решимость жаловаться на вельможу – но кому? Конечно, тому, который стоит выше всех этих вельмож, который ближе всех к государыне – Бирону.

Нервный припадок миновал, и Артемий Петрович забыл о знаменитом творце «Телемахиды». Да и что значили какие-нибудь несколько пощёчин писаке, когда потомки знаменитых родов, поступая в шуты, с благодарностью принимали подачки даже не от кабинет-министра, а от каких-нибудь выскочек, выдвинутых только нахальством. Для Артемия Петровича эпизод с Василием Кирилловичем был ничтожным случаем, пустяком, на который не стоило обращать внимания, но в будничной жизни пустяки играют свою роль, из них создаются события великие, на которые потом, через много лет, историк смотрит с изумлением и причины которых отыскивает в пыли отдалённых времён.

На другой день Артемий Петрович снова принялся за работу по устройству курьёзной свадьбы. Все приготовления были закончены, всё было разучено, прилажено, оставалось только выбрать самый день. Назначение дня, конечно, зависело от самой виновницы праздника, но обратиться к государыне прямо, не предупредив Бирона, значило бы наверное потерпеть фиаско. Зная это, Артемий Петрович решился этим же утром ехать к светлейшему герцогу для личных переговоров о сроке свадьбы.

Приёмные покои герцога курляндского с раннего утра наполняли толпы ищущих движения воды. Скороходы и гайдуки в пёстрых, блестящих турецких, испанских и арабских костюмах сновали через приёмную к кабинету герцога. Ряд придворных и просителей тянулся вдоль стен; на всех лицах отражалось ожидание, у всех глаза были обращены к дверям кабинета, откуда должен был появиться его великогерцогская светлость.

С гордо поднятой головою прошёл Артемий Петрович в кабинет герцога мимо этого ряда наклонившихся перед ним придворных.

Курляндский герцог в это время только что отпустил своего секретаря с докладом о новых известиях, добытых неутомимым трудом председателя тайной канцелярии. Доклад говорил о вредных собраниях в доме кабинет-министра Волынского, о том, что Артемий Петрович и его конфиденты замышляют что-то зловредное для герцога или даже для самой государыни; что там переводятся и читаются какие-то статьи с поносительными примечаниями для чести милосердной императрицы. В чём именно заключались эти замыслы, герцогские агенты не смогли выяснить. Всю суть можно было узнать только от самих конфидентов, но эти неподатливые люди так плотно прильнули к своему патрону, что вытянуть от них сознание отказывался даже сам заплечный мастер Андрей Иванович. Притом же прибегать к обыкновенным мерам тайной канцелярии представлялось несколько опасным: арест многих видных лиц без основательных причин мог возбудить против герцога если не общественное мнение, которого тогда не было или на которое герцог не обращал внимания, а его же собратьев-иноземцев, которые не пропустили бы случая подставить ему ногу и самим занять его место. Герцог знал, что все эти Минихи, Остерманы, Левенвольды и Корфы втайне ненавидят его и ждут только воспользоваться промахом, а борьба с ними не то что борьба *с русскими баранами* .

«Однако надобно же выйти из глупого положения и совершенно обезопасить себя от бунтовщицких попыток, – думал Бирон, – необходимо показать на этом неблагодарном

Волынском пример, как наказываю я своих недоброжелателей. И можно ли было ожидать такой дерзости от этого висельника, которого я же, по великодушию своему, освободил из петли».

В это время арап доложил о приезде кабинет-министра Волынского, а вслед за тем вошёл и сам Артемий Петрович.

Враги встретились по-видимому приветливо.

– А, редкий гость! Давно не видал вас у себя, – протягивая руку, говорил Бирон.

– Вашей светлости известно… дела… обязанности… решительно нет минуты…

– Знаю… знаю… государственные прожекты о народном благе… как будто народ может быть несчастлив под управлением такой милосердной государыни…

По духу того времени, пропитанному идеей абсолютизма власти, всякое отрешение от абсолютизма считалось ересью и тяжким преступлением; для герцога же курляндского идея о народе и его благе отдельно от правительства была немыслима. Поэтому резкий намёк герцога, в сущности, прямо обвинял кабинет-министра чуть ли не в измене.

– Всему миру известны высокие милости её величества, – спешил оправдаться Артемий Петрович, – а мы, как покорные и преданные её слуги, рабски должны осуществлять её благотворные препозиции.

– О, конечно… конечно, и мы… государыня высоко ценит труды своих министров, их усердие и заслуги.

– Её величество всегда очень милостива… и ваше высочество…

– О, обо мне не может быть ни слова, господин обер-егермейстер, я только преданный слуга государыни и больше ничего. Ни в какие государственные дела не вмешиваюсь… Вот, не дальше как вчера я получил от короля Августа письмо, просит моего ходатайства перед императрицею о вознаграждении тех поляков, владения которых потерпели при проходе через Польшу русских войск. Требование вполне законно и справедливо. Можно представить, сколько потерпели несчастные от варварства русских, но и в этом случае я не беспокоил государыню, а предоставил обсудить дело господам кабинет-министрам, в полной уверенности на их правосудие.

Артемий Петрович слышал уже об этом требовании польского правительства и находил его до крайности дерзким, но высказываться в настоящее время было более чем неудобно, а потому он поспешил отклониться от прямого ответа, ссылаясь на своих товарищей.

Брови герцога насупились, и он не продолжал разговора.

– Я к вашей светлости с извещением, – начал Артемий Петрович, – насчёт курьёзной свадьбы.

– Что же?

– Постройка ледяного дворца совершенно кончена, и там всё готово для приёма молодой четы. Точно так же всё готово к свадебному поезду, и остаётся только назначить день.

– День? Когда будет угодно государыне. Мне кажется, торопиться незачем, – холодно заметил Бирон.

– Напротив, ваша светлость, погода стоит теперь самая благоприятная, а между тем, по естественному течению атмосферы, можно ожидать вскорости значительные оттепели. Тогда все наши усилия пропадут даром и остроумная препозиция вашей светлости касательно увеселения её величества не достигнет своей цели.

Герцог начинал смягчаться и, подумав минуту, проговорил уже более ласково:

– Да, конечно, жаль было бы не осуществить моей мысли и потерять напрасно столько усилий… Мне кажется, можно назначить торжество послезавтра, это будет шестое февраля. Когда вы, господин обер-егермейстер, поедете с докладом к государыне, так передайте её величеству, что я полагал бы назначить этот день.

Артемий Петрович, в сущности, достиг своей цели. Он знал, что назначение герцога действительнее назначения самой государыни, которая нередко отменяла собственные

приказания, если они не одобрялись фаворитом, но на сердце у него не было светло. Мысль, что ему, Волынскому, кабинет-министру, государственному человеку, потомку древнего рода, стоять в зависимости от какого-то выходца, немецкого конюха – волновала его кровь и колола нервы.

Под влиянием затаённого, но тем ещё более сильного раздражения выходил Артемий Петрович из кабинета Бирона в приёмную, где на пороге в антикамеру взгляд его встретил бледную, обвязанную фигуру творца пиитических хитростей. Зачем здесь жалкий пиита? Не жаловаться ли? верно, подбил Куракин!

Чёрные дни переживал Василий Кириллович. С яростью, несмотря на присутствие придворных, подбежал Волынский к Тредьяковскому, и вчерашняя сцена повторилась ещё в более резких чертах. Досыта натешившись пощёчинами, Артемий Петрович приказал столпившейся челяди и караульным отвести пииту в «машкарадную комиссию» и злобно добавил: «Рвите его». Разумеется, солдаты не заставили повторить приказания и толпою накинулись на жертву. В минуту платье его, даже рубашка, были изорваны, а тело покрыто тёмными пятнами.

– Впредь не будешь на меня жаловаться! Не станешь сочинять на меня песенок! – проворчал Волынский вслед уходившему Василию Кирилловичу.

Песенка, за которую в другой уже раз упрекнул Волынский пииту, – известное стихотворение «Самохвал», написанное Тредьяковским на кабинет-министра по заказу Куракина. Когда это стихотворение было прочитано на рауте императрицы, все, конечно, поняли намёк, а оскорблённые надменностью Волынского или недовольные его проектами не упустили случая проехаться на его счёт, направляя стрелы, будто, на самохвального грека. Об этом тогда же, с различными прибавлениями, было пересказано Артемию Петровичу, которому, впрочем, сама императрица и даже герцог Бирон советовали остерегаться Куракина.

Самые чувствительные оскорбления, не прощаемые и оставляющие по себе неисцеляемые раны, составляют уколы самолюбию, в особенности развитому до крайности. Волынский ненавидел Куракина, искал случая с ним расплатиться, но это было трудно по положению Куракина и личному его характеру. Искупительною жертвою представился Василий Кириллович, и на него вылилась вся накипевшая желчь.

От герцога курляндского Артемий Петрович поехал в Летний дворец, к императрице, а пиитический мастер под караулом, подгоняемый солдатами, побрёл в арестантскую машкарадной комиссии, где и принялся работать над виршами в честь торжественного празднования шутовской свадьбы.

XIV

Настало и шестое февраля – день торжества. С утра необыкновенное оживление в мёртвом и запуганном Петербурге. Народные толпы, закутанные в шубки, тулупы и разного рода чуйки, стремятся со всех концов города к центральным местам: к луговой линии адмиралтейства или к манежу герцога курляндского. Всех манит даровое зрелище, всем интересно видеть небывалую курьёзную свадьбу царского шута, о которой ходило так много слухов и приготовления к которой казались такими чудными.

К счастью, как нарочно, и погода в этот день оказалась благоприятною. Морозный, безветренный воздух к полудню заметно смягчился солнечными лучами, обливавшими снежный покров ярким блеском, резавшим глаза до боли. В этом лёгком светлом воздухе ни один звук не мог пропасть даром, на этом чистом белом фоне ни одна черта оригинальной картины не могла не выделяться рельефно или остаться незамеченною. Кругом всей луговой линии сгустились плотные ряды народа, образующие живое кольцо около сцены, оставленной для торжественного свадебного поезда. Толстый канат ограждал эту сцену, а ещё действительнее ограждали толстые палки слободских десятских и сотских, усердно действовавших всякий раз, когда вновь прибывшие напирали сзади и выдвигали передовых.

Зрители перекидывались между собою замечаниями, остротами и тем весёлым добродушным говором, от которого отучало их подозрительное начальство.

Наконец, по окончании обедни и церковной церемонии, странный, нигде не мыслимый, кроме Руси, свадебный поезд двинулся по определённому церемониалу. Ещё задолго до его приближения слышались не музыка, не человеческие голоса, а какие-то дикие звуки нестройных сочетаний всех возможных и невозможных тонов. Показался и самый поезд. Впереди, медленно переваливаясь, шагал, обутый в тёплые коты, великолепный слон, управляемый сидевшим на его хребте персиянином. На спине этого великана мерно покачивалась из железных прутьев беседка, утверждённая к спине широкими подпругами. Эта-то беседка и составляла главный фокус торжества. В ней, на двух больших креслах, обитых штофом и стоявших друг против друга, сидели новобрачные, разодетые в шёлк и бархат, Михаил Алексеевич Голицын, квасник, и Авдотья Ивановна Буженинова. Громкими криками приветствовала толпа молодых, важно и с достоинством отвечавших на этот привет. За слоном, в первой паре поезжан, двигалась пара остяков, мужчина и женщина, в санях, запряжённых оленями. За первою парою следовали кто в санях, кто в салазках, новгородцы на козлах, чухонцы на ослах, хохлы на волах, татары на свиньях, камчадалы на собаках, калмыки на верблюдах и все образчики племенных разновидностей Руси в их своеобразных костюмах. Гул и шум невообразимые: с криками животных и песнями седоков сливаются барабанный бой, звуки труб, литавр и приветствия тысячеголосой толпы. И, несмотря на этот адский гул, весь поезд подвигается правильным рядом, вымуштрованные животные не бросаются в сторону и не производят бесчинного беспорядка. Видно, много труда положил тут Артемий Петрович как главный распорядитель, – больше, может быть, чем в свои генеральные прожекты.

Поезд, обогнув луговую линию два раза, направился к манежу герцога курляндского, где был приготовлен для всех гостей обед. В манеже на обеде, на особом возвышенном месте, под балдахином, присутствовала сама императрица, окружённая многочисленною блестящей свитою дам и кавалеров.

Государыня была в приятном расположении духа. Часто с особенною благосклонностью обращалась она к стоявшему позади её Артемию Петровичу, когда тот объяснял ей с обычным своим увлекательным красноречием. Государыня иногда улыбалась, но в этой приветливой улыбке сквозила сдержанность, а в глазах, окидывающих придворный штат, замечалось затаённое тревожное чувство. В нескольких шагах позади герцог курляндский казался очень занятым разговором с какой-то миловидною придворною дамою, но, как видно, разговор не мешал ему по временам, хотя и не очень часто, осматривать с иронией императрицу и Волынского. Далее, около молодой Анны Леопольдовны рисовался статный Миних, очевидно, старавшийся занять молодую женщину, болезненную и бледную, едва переносившую этот терзающий уши шум и эту быстро меняющуюся пестроту. Причина болезненного состояния принцессы Брауншвейгской, впрочем, не беспокоила, а скорее радовала тётку-императрицу, надеявшуюся в будущем ребёнке видеть себе преемника. В последнее время этой новостью занимался двор, а в особенности интересовалась цесаревна Елизавета, хотя теперь этого нельзя было заметить на её весёлом лице, ещё более беззаботном, когда смотрела на неё государыня.

Музыка из труб, литавр и гобоев встретила прибытие поезда на манеж. Здесь поезжан ожидал на триста три куверта обеденный стол, за которым, разумеется, первые места занимались молодыми. За ними пары размещались в порядке, сохранявшемся в поезде. Каждой паре подавалось её национальное кушанье.

Когда все части разместились по назначенным местам, знаменитый пиита Василий Кириллович, по знаку, данному Артемием Петровичем, выступил вперёд в маске, закрывавшей его синяки, и нараспев продекламировал приветствие:

Здравствуйте, женившись, дурак и дура,
Ещё… тота и фигура!

Теперь-то самое время вам повеселиться,
Теперь-то всячески поезжанам должно беситься
Квасник-дурак и Буженинова…
Сошлись любовью, но любовь их гадка.
Ну, мордва! ну, чуваша! ну, самоеды!
Начните, веселье, молодые, деды!
Балалайки, гудки, рожки и волынки!
Сберите и вы бурлацки рынки.
– –
Ах, вижу, как вы теперь рады!
Гремите, гудите, бренчите, скачите,
Шалите, кричите, пляшите!
Свищи, весна, свищи, красна!
Невозможно вам иметь лучшее время:
Спрягся ханский сын, взял ханское племя,
Ханский сын квасник, Буженинова ханка.
Кому того не видно, кажет их осанка.
О, пара! о, не стара!
Не жить они станут, но зоблить сахар.
– –
Итак, надлежит новобрачных приветствовать ныне,
Дабы они во всё своё время жили во благостыне:
Спалось бы им да вралось, пилось бы да елось.
Здравствуйте ж, женившись, дурак и дурка,
Ещё… тота и фигурка!

Гром рукоплесканий, по почину самой императрицы, раздался по окончании виршей.

– Спасибо, Василий Кириллыч, – проговорила Анна Ивановна, досыта нахохотавшись, – спасибо, голубчик, за дурака и дурку, удружил. Жалую тебя за твои вирши своим придворным пиитою.

Со всех сторон посыпались на Василия Кириллыча поздравления с новою высочайшею милостью и наградою. Но этого мало. Новые почести ожидали пииту: два пажа, по распоряжению Артемия Петровича, берут его под руки и сажают за свадебный стол, напротив молодых, под балдахин, убранный вениками, по недостатку лавр; за столом прислуживают ему те же пажи.

Обед кончился, начались национальные пляски. Одни пары сменялись другими в живом калейдоскопе. Русского трепака сменил цыганский танец, а там следовали уродливые кривляния полудиких инородцев.

Наконец, когда навеселились вдосталь и пары достаточно утомились, поезд в том же определённом порядке отправился провожать новобрачных в их княжеский дворец – ледяной дом.

Только на суровом севере, в таком государстве, какова Россия, и только в царствование Анны Ивановны могла возникнуть и осуществиться идея о ледяном доме. На берегу Невы, между адмиралтейством и Зимним дворцом, в несколько недель выстроилось небывалое здание, занимавшее пространство до восьми сажён длины, две с половиной сажени ширины и в три сажени вышины. Фундамент, стены, косяки, двери и окна – одним словом, все составные части были срублены, сложены, вылиты и вырезаны из чистого льда. Для кладки стен употреблялись правильные глыбы, вырубленные в Неве, которые настилались рядами, одни над другими, со спайкою, вместо цемента, водою, проникавшей во все скважины и замерзавшей от сильной стужи в однородную плотную массу. Из этих же глыб выпиливались более или менее тонкие доски, служившие косяками, дверями, окнами и кровлею.

Всё здание разделялось парадными сенями на две половины, освещаемые каждая пятью

окнами. Правую половину составлял покой с уборною и спальною, левую половину – приёмная. В уборной находился обыкновенный уборный стол с принадлежностями, зеркалом и шандалами, в которых горели свечи, намазанные нефтью, а на другой стороне помещалась двуспальная кровать с занавесом и тоже со всеми принадлежностями спального туалета: подушками, одеялом, туфлями и двумя ночными колпаками. В этой же комнате находился и камин, в котором горели ледяные дрова нефтяным светом. В приёмной, украшенной несколькими статуями, стоял стол с игральными картами и столовыми часами, а по обеим сторонам стола – высокие стулья. Все принадлежности и украшения сделаны были из льда.

Но ещё большая заботливость была видна в отделке внешней стороны. Кругом всего здания обходила галерея с точёными ледяными перилами, с промежуточными четырёхугольными столбиками, на которых помещались горшки с деревьями и цветами; над главным входом возвышался фронтиспис, украшенный статуями. Затем с каждой стороны здания находились на пьедестале с фронтисписом четырёхугольные пирамиды, с круглыми окнами на передней стороне. В каждой пирамиде, внутри пустой, горел большой светящийся фонарь из бумаги, разрисованный картинами юмористического содержания. Так как человек, находящийся внутри пирамиды, постоянно оборачивал фонарь, то для зрителей вид беспрерывно меняющихся картин представлялся очень эффектным.

К наружным украшениям можно также отнести поставленные перед фасадом шесть пушек с колёсами и станками из льда же и две мортиры. По временам из пушек, величиною и размером соответствующих трехфунтовым медным, производили стрельбу, а из мортир бросали бомбы, соответствующие двухпудовым. В одном ряду с пушками по обеим сторонам ворот лежали дельфины, выбрасывающие нефтяной огонь. Но самое любопытное зрелище для народа представляла фигура слона с сидевшим на нём вожаком и стоявшими возле него персиянами в натуральную величину. Днём из хобота этого слона выбрасывался водяной фонтан высотою в восемь сажен, а ночью – нефтяное пламя. Кроме того, слон, в полное подражание живому, очень искусно кричал, что производилось посредством хитро устроенной трубы человеком, спрятанным внутри. Наконец, позади дома устроена была баня из ледяных глыб, обсечённых под вид простых брёвен. Баню эту пробовали топить, и охотники парились.

Императрица, желая предварительно осмотреть ледяной дворец, назначенный для приёма на первую ночь новобрачных и, как хозяйка, встретить там чету, удалилась со всею свитою из манежа прежде окончания национальных плясок; но ещё прежде государыни уехал туда для встречи сам счастливый распорядитель, Артемий Петрович. Длинной вереницей потянулись к адмиралтейству придворные экипажи с эскадроном гусар впереди.

Густой туман окутывал город, и волшебное зрелище представляло собой это новое здание, залитое огнём, пробивающимся сквозь прозрачные ледяные стёкла и отражающимся на детальных украшениях разноцветным и серебристым блеском. При приближении кареты государыни в доме и около него всё заволновалось. Слон закричал как-то радостнее, массы огня из дельфинов и слонового хобота полились более широкими волнами, а народ, этот ребёнок, забывающий при игрушке своё давящее горе, встретил государыню громкими криками.

Артемий Петрович впереди придворных, участвующих в устройстве праздника, поспешил встретить государыню и помочь ей выйти из кареты.

Анна Ивановна остановилась перед домом, осматривала его и осталась очень довольною.

– Мастер же ты, Артемий Петрович! Большое спасибо тебе за утеху.

– Меня воодушевляло сердечное желание доставить удовольствие вашему величеству.

– И доставил, истинно доставил. А что смотрит народ вон там? – спрашивала императрица, указывая на одну из пирамид.

– Это, ваше величество, картинка, выставленная для потехи народа.

– Весьма остро придумано и знатные картинки. А что это изображает? – спросила опять государыня, когда яркий фонарь обратил к ней одну из картин, выделяющуюся густыми

красками.

– Этот сухопарый оборванец, в треугольной шляпе, со скребницею и щёткою, изображает, ваше величество, немца, когда он голодный бредёт в Россию, а следующая картина – того же немца, только уже на коне и разжиревшего от русского хлеба. От сытости и благодушия, видите, ваше величество, как он колотит народ дубиною по головам? – объяснял Артемий Петрович несколько упавшим голосом.

Лёгкая тень неудовольствия пробежала по лицу Анны Ивановны. Она ничего не сказала, закусила нижнюю губу и задумалась.

Очнувшись от нового резкого крика слона, государыня снова обратила внимание на ледяной дворец.

– Эти пушки, Артемий Петрович, тоже ледяные? – допрашивала она, по особому пристрастию к стрельбе.

– Я делал опыты, ваше величество, и они удались. Не угодно ли приказать теперь же произвести пробу?

– Пожалуйста, Артемий Петрович, прикажи стрельнуть. Очень любопытно.

По распоряжению Артемия Петровича зарядили пушку зарядом из четырнадцати фунтов пороха и железного ядра, в шестидесяти шагах поставили доску в виде мишени в два дюйма толщиною. Раздался выстрел и ядро пробило доску насквозь. Пушка осталось неповреждённою.

– Жаль, вот кампания кончилась, – высказала государыня, улыбаясь, – а то бы ты, Артемий Петрович, пошёл бы на турку со своею артиллериею.

Артемий Петрович хотел было блеснуть приличною экспликациею, но его перебил Александр Борисович Куракин, высказавший громко и ядовито:

– Турецкая луна хоть и вовсе не греет, а всё бы растопила игрушки господина кабинет-министра.

Анна Ивановна показала вид, что не обратила внимания на замечание Куракина, а чтобы не дать вспыхнуть ссоре, которую всегда можно было ожидать от вспыльчивого характера кабинет-министра, обратилась к нему с удвоенною любезностью:

– Ну, теперь покажи нам, Артемий Петрович, комнаты; всё ли приготовлено там для молодых? – и Анна Ивановна, опираясь на руку счастливого кабинет-министра, вошла через парадные сени в дом.

Государыня была в полном восторге. Она восхищалась каждой вещью: и искусно сделанными статуями, и игральными картами, и пылавшим камином, и двуспальной кроватью, на которой представляла себе положение молодых, и столовыми часами, сквозь ледяные стенки которых можно было видеть весь внутренний механизм.

– Отменно, отменно хорошо. Вижу, что постарался для меня… – часто повторяла она вполголоса, сильнее опираясь на руку Волынского, при своей тяжёлой поступи.

По примеру императрицы и все придворные, заметившие её особенную благосклонность к кабинет-министру, стали рассыпаться в приветствиях. Один герцог курляндский оставался недовольным. Сердито шагал он вслед за государынею, почти не отвечая на вопросы, да, впрочем, и вопросов-то обращалось немного. Государыня, по-видимому, забывала его.

Музыка, шум, визг и гам снаружи объявили о прибытии свадебного поезда. Государыня, по русскому обычаю, встретила чету, осыпала её хмелем и затем удалилась, пожелав ей доброй ночи.

Опустело около ледяного дома – минутной потехи императрицы. Перестал кричать слон, перестали выбрасываться обильные языки пламени, потухли фонари, только снаружи застучали мерные шаги часового, сторожившего запертые двери ледяного дворца.

По уходе почётных посетителей новобрачные с любопытством и удовольствием осматривали свои новые владения. Они были спокойны. Им, взысканным милостью государыни-госпожи, и в голову не приходило, что их оставят тут на всю длинную долгую зимнюю ночь. Государыня жалует их и верно сейчас, сию минуту, пришлёт за ними гонца

звать к себе во дворец, но минуты и часы проходили, а гонцы не являлись. Холод начинал проникать сквозь одежду, нефтяной огонь не грел, да и тот потух. Отогревая зябнувшие члены, квасник и Буженинова бегали из комнаты в комнату, притоптывали, махали руками, дрались между собою, кричали, стучали в дверь, умоляли часового выпустить их, обещая за это золотые горы, но снаружи ничего не отзывалось, кроме шагов караульного. Наступила энергичная борьба жизни со смертью, усталые члены начинали двигаться медленнее, начинали постепенно костенеть… Стало клонить ко сну…

С рассветом, по заранее отданному распоряжению, явились к новобрачным все придворные шуты и шутихи, в полном комплекте, с поздравлениями и нашли их почти замёрзшими. Только с большим трудом удалось лейб-медику императрицы возвратить молодую чету к жизни… шутов.

Таковы были забавы Анны Ивановны, утешавшейся при каждом удобном случае, то при заключении мира[41], то по случаю родов козы, супруги шута Педриллы. О последнем торжестве, происходившем незадолго до свадьбы квасника, стоит упомянуть, так как оно совершалось с выдающеюся комическою парадностью. Тогда к роженице, одетой в чепчик и лежавшей на роскошной постели, являлись весь придворный штат и все высшие сановники государства с императрицею впереди, торжественно поздравляли, по примеру самой государыни отсыпали на подушку несколько червонцев на зубок и спрашивали о состоянии здоровья, на что родильница-коза, вероятно вовремя ущипываемая, всякий раз отвечала благодарным блеяньем.

Современный человек, несомненно, осудит такие забавы, но пусть он спросит себя: не осудит ли так же и его потомок многое из нашего современного?

XV

На другой день после курьёзной свадьбы происходило заседание кабинета по вопросу о вознаграждении поляков, будто бы потерпевших от похода русских в последнюю турецкую войну. Обыкновенно кабинет состоял из трёх членов-министров, но с поступлением в кабинет-министры Артемия Петровича Волынского состав его фактически изменился. Под влиянием ли мысли о шляхетском представительстве, о чём так сладко напевал Василий Никитич Татищев; по воспоминанию ли о золотой свободе Речи Посполитой или под более эгоистическим желанием подобрать к себе более конфидентов и усилить свою партию, только в последние годы, для обсуждения государственных вопросов, стали призываться в кабинет выдающиеся из членов сената, президентов коллегий и других влиятельных сановников. В этих случаях кабинет принимал особое название «генерального собрания». Вероятно, этой мерою Волынский надеялся найти себе опору в борьбе с немецкою партиею и достигнуть более широкого обсуждения.

Вопрос о вознаграждении не представлял собою ничего важного, но он получал особенное значение по отношениям тогдашнего политического кружка. Герцог курляндский, обязанный польскому королю лично и по вассальным отношениям своего герцогства, находил требования Польши совершенно законными и справедливыми. Этот взгляд разделял граф Остерман и почти все влиятельные лица, может быть, под влиянием ловких убеждений

---

41 В «Кратком описании торжества, с которым славный мир в Санкт-Петербурге празднован» (Примечания на «С. – Петербургские ведомости» 1740 г.), с пунктуальною подробностью изложен весь порядок празднеств и увеселений, сопровождавшихся различными наградами. Из числа последних нельзя не упомянуть доставшихся на долю семейства Бирона: самому владетельному герцогу курляндскому преподнесён был собственноручно императрицею Анною Ивановною великий золотой бокал, весь осыпанный крупными бриллиантами, и, кроме того, пожаловано 500 тысяч руб.; обоим его сыновьям, Петру и Карлу, ордена св. Андрея Первозванного с бриллиантовыми крестами и звёздами; дочери Гедвиге – портрет императрицы, осыпанный бриллиантами; брату герцога Карлу Бирону – портрет императрицы, осыпанный бриллиантами, и шпага, осыпанная тоже бриллиантами. Что же касается до Артемия Петровича Волынского, то он получил двадцать тысяч рублей.

приехавшего в Петербург именно с этим поручением польского посла Огинского. Противного мнения держался только один кабинет-министр Волынский, без всякой поддержки. Гордый и самолюбивый, он не искал заранее голосов, он верил в себя, в силу своего слова… но дело доказало, что не в одном слове решающая сила.

Прения о вознаграждении продолжались недолго; тотчас же по прочтении секретарём кабинета ходатайства польского посла стали высказываться единогласные мнения о справедливости требования и необходимости его удовлетворить. Артемий Петрович вспыхнул. В пылкой импровизации он сказал блестящую речь, в которой изобразил рельефную картину отношений России и Польши, постоянного недоброжелательства последней, двуличного её положения во всё время войны с Турциею, доказывал громадное преувеличение требований, в чём сослался и на показания комиссаров, исследовавших на месте убытки, и, наконец, заключил воззванием к патриотическому чувству своих коллег. Как ни искусна была речь, но она не могла изменить заранее подготовленного решения.

Составился протокол об исполнении требования Польши, за подписью всех членов, кроме Волынского, написавшего тут же своё особое мнение, с резким заключением: *«Один только вассал Польши может согласиться на вознаграждение, но никто из русских, для которых дороги честь и польза своего отечества, не даст на это своего согласия»* . Оставалось только утвердить протокол подписью императрицы, к которой с докладом поручено было идти кабинет-секретарю Эйхлеру.

Выбрав докладчиком Эйхлера. заведомого приверженца Бирона и бывшего его секретаря, кабинет был уверен в несомненном успехе.

Эйхлер встретил императрицу в том крайнем упадке сил, который почти всегда следует или за сильным нервным возбуждением, или за чрезмерным физическим усилием. Государыня, несмотря на усталость прошедшего дня, а может быть, именно вследствие этой усталости, не могла заснуть ночью. Не только она не освежилась укрепляющим сном, а напротив, ещё более изнемогла от беспрерывно обрывающейся тяжёлой дремоты, полной туманных, быстро меняющихся образов. С тупою головою и вся разбитая, встала она в обыкновенный свой утренний час, машинально исполнила утренние занятия, прочла обыкновенные молитвы и теперь, в определённый час доклада, бессознательно ждала прихода своего кабинет-секретаря. В наружности её ясно проступили такие резкие черты, которые могли бы внушить тревогу в близких ей людях, если бы эти люди способны были видеть что-нибудь, кроме своих личных маленьких интересов. В смуглый, но прежде свежий и здоровый цвет лица проник неопределённый серо-бурый оттенок, щёки отвисли, обострившийся нос принял ещё большие размеры, опустившиеся углы рта, от глубоко прорезавшихся по сторонам его морщин, выдавали тяжёлое страдание; глаза почти постоянно меняли своё выражение, то блестя лихорадочным огнём, то тускнея и как будто уходя внутрь за какою-то затаённою мыслью.

Запрокинув голову и закрыв глаза, полулежала императрица в глубоком кресле перед письменным столом, беспомощно опустив руки на колени и протянув ноги на толстую бархатную подушку. На полу с одной стороны сидела любимая шутиха и тихонько тёрла ей ноги, а с другой – лежала любимая собачка императрицы Цытринька.

Дежурный камер-паж доложил о приходе кабинет-секретаря. Государыня подняла голову, лениво протянув Эйхлеру руку для всеподданнейшего лобзания.

– Заседание кончилось, ваше величество, – доложил Эйхлер, заметив немой вопрос в глазах императрицы.

– Чем решили?

– Решено удовлетворить требование Польши. Имею честь представить вашему величеству протокол для утверждения.

– Прочти.

Кабинет-секретарь прочитал весь доклад и затем, с особенным ударением, мнение кабинет-министра Волынского.

Государыня, безучастно выслушавшая весь доклад, видимо оживилась при резких

словах протеста.

– Артемий Петрович высказался слишком резко, – заговорила императрица, – но я сочувствую ему. Меня удивляет, почему прочие господа члены так благосклонны к польскому королю?

– На это есть особые резоны, ваше величество…

– Какие же?

Эйхлер как будто и не решался говорить.

– Какие же резоны? – повторила государыня несколько раздражительно, – говори мне всё… всё… да только одну правду.

Тогда Эйхлер откровенно высказал, почему герцог курляндский принимает участие в делах вознаграждения, высказал о всём вредном влиянии герцога в управлении, хотя он, не имея никакого официального положения, по-видимому, не вмешивался в государственные дела, и рассказал, до какой степени все члены покорны голосу герцога. Затем, перейдя к характеристике Волынского, Эйхлер крупными чертами представил его блестящие способности, высокий государственный ум и горячую преданность интересам отечества.

Государыня не прерывала кабинет-секретаря, но казалась удивлённою. С недоверчивостью вглядывалась она в это, теперь оживлённое лицо Эйхлера, обыкновенно холодное и сдержанное.

– Оставь доклад у меня, а сам будь покоен… я тебя не выдам. Спасибо за правду, – проговорила императрица громко и потом чуть слышно прошептала: – Обман… Обман… везде обман… Да, позови ко мне эту ветреницу Дуньку, куда это она убежала, – приказала Анна Ивановна вслед уходившему кабинет-секретарю.

А между тем эта ветреница Дунька, внимательно выслушав весь разговор, успела незаметно выскользнуть из кабинета и передать мужу Педрилле обо всём, для передачи его светлости.

Как бы ни был самонадеян и уверен в своей силе герцог Бирон, но изменившиеся его отношения к государыне за последнее время начали его сильно беспокоить. Бывали и прежде размолвки, выражались иногда и прежде неудовольствия, но эти размолвки обыкновенно продолжались недолго и оканчивались ещё большим подчинением его влиянию, с ещё сильнейшим самоуничижением. Но теперь не простая размолвка, теперь место его занимается другим, и если этот другой укрепится, тогда дело его светлости будет бесповоротно проиграно. Герцог понимал, что без милости государыни он лично – ничто, что его герцогство – миф, мыльный пузырь, не защита ни от далёкого путешествия, ни от плахи. Назойливые мысли, одна другой непривлекательнее, не давали ему покоя ни днём, ни ночью и заметно помяли его благодушное чело. Одно ещё ободряло его – это уверенность в неспособности русских пользоваться обстоятельствами. «Русский, – рассуждал он, – варвар и глуп до такой степени, что не может сообразить своей выгоды. Волынский чисто русский – глуп, как и все. Он не способен вести дела тихо, мирно, шаг за шагом, постепенно водворяться в расположение государыни и осторожно укрепляться в новой позиции. Нет, как русский, он взбалмошно, очертя голову, лезет вперёд, ворвётся, а потом, когда нужно тонко вычислить свою игру, сложит руки и не заметит, как другой тихонько возьмёт у него карты из рук и воспользуется его выигрышем. Простой русский и умеет только жаловаться на судьбу».

Не лично Волынский страшен герцогу, а страшно то, что может явиться мысль о непрочности его влияния и о возможности найтись новым искателем, конечно, не из русских.

– Пора уничтожить Волынского, стереть его с лица земли, – повторял герцог, бегая по своему роскошному кабинету и обкусывая ногти в то утро, когда происходило собрание кабинета. – Но как? где способы и средства? Слухи о бунтовщичьих ночных сборищах конфидентов в доме Волынского так и остались только слухами, распущенными моими же усердными агентами тайной канцелярии… Э, чёрт возьми, не стоит и думать, причину всегда найдёшь, лишь бы помириться с императрицею, – высказал он громко.

– Ваше высочество ожидают в приёмной, – доложил, входя, дежурный камер-паж.

– К чёрту их! – накинулся герцог на пажа, – не сметь о них докладывать! Пусть ждут.

Вслед за уходом дежурного из внутренних дверей вошёл домашний секретарь герцога с карликом.

– К вашему высочеству Педрилла, с весьма важным известием.

И шут подробно рассказал всё, что передала шутиха императрицы о докладе Эйхлера по делу о вознаграждении поляков.

Руки опустились у герцога, и он тихо, как-то беспомощно упал в кресло.

– Во-о-т как! – только и проговорил он упавшим голосом, махнув рукою секретарю и шуту на дверь. – Что же теперь будет? Опала? Пожалуй, казнят? Ведь и не посмотрят на владетельного герцога и на мои заслуги? А? – спрашивал себя герцог.

Переход от надежды, почти уверенности, к полному отчаянию был крут, как и вообще у людей, не одушевлённых богатой внутренней силою, а герцог, пробивавшийся изо дня в день одним самоуслаждением, одними эгоистическими вопросами дня, не хотел, да и не мог понимать никакой другой мысли, кроме мысли о себе.

И долго просидел бы он с неподвижным взглядом на блестящую выпуклую поверхность золотого глобуса, исправляющего должность хранителя чернил, в состоянии, близком к столбняку, в котором человек живёт физическою силою, но не владеет сознанием и не в силах выжать никакой мысли, если бы снова вошедший камер-паж не доложил о приезде Александра Борисовича Куракина.

Герцог не особенно благоволил к Куракину, считал его почти шутом, но теперь неожиданный приезд придворного бонмотиста, заведомого врага кабинет-министра Волынского, показался ему помощью, ниспосланною свыше. Наскоро сделав усилие придать своей физиономии приличное спокойствие, он, с вежливостью, небывалою при прежних визитах, встал с кресла и с особенною приветливостью встретил гостя.

Вошёл Александр Борисович, улыбаясь до ушей, во всю ширину своих жирных губ, как улыбался он всегда и как, вероятно, улыбался бы, если бы ему дали подписывать смертный приговор родному брату или сестре.

– Рад видеть вас, любезнейший Александр Борисович, здоровым после вчерашнего праздника. Понравилось вам?

– Помилуйте, ваше высочество, может ли понравиться! какой-то дьявольский шабаш… грязь… вонь… никакой грации и изящества. Чуть нас всех не переморозили.

– Однако нашлись же, которым и понравилось. Сама императрица благосклонно…

– Удалось вовремя угодить вкусу государыни, ваше высочество, и больше ничего. Её величество изволила отнестись милостливо, это поощрит и погубит его. Если он осмеливается бить людей в покоях владетельных особ, то теперь, пожалуй, доберётся и до самих …

– Как бить? – растерянно спросил герцог.

– Несколько дней назад он в покоях вашего высочества собственноручно палкою избил до полусмерти, и кого же? человека благородного, адъюнкта академии наук, с которым удостаивает говорить сама императрица. Ведь это оскорбление величества, ваше высочество, ведь за это во всех образованных государствах назначается смертная казнь. Я сейчас был у графа вице-канцлера, и он совершенно согласен со мною…

– Да… да… конечно, смертная казнь, – одобрительно повторял герцог.

– Да и остановится ли он на этом, при своей непомерной дерзости? Разве не сошло ему с рук доношение его императрице, его ругательства и клеветы на нашего достойного вице-канцлера и других высоких особ, которых все почитают? Разве не оскорбление величества учить государыню, как малого, несмышлёного ребёнка? Что же ему остаётся после этого, как не бить нас всех, безнаказанно, как простой подлый народ…

– О, нет, поверьте, это не пройдёт ему даром. Я открою глаза государыне, и мы посмотрим ещё…

Герцог курляндский ободрился и повеселел. Средство найдено и самое действительное, так как оно уязвляет самолюбие верховной власти, щекотливое тем более, что с ним

соединено и самолюбие женщины.

Куракин уехал, а герцог занялся более обыкновенного тщательно своим туалетом, собираясь к императрице. «Посмотрим, – повторял он про себя, – не затянется ли теперь верёвка, которую накинул, на господина обер-егермейстера покойный государь».

Озлобленным выходил Артемий Петрович из залы заседания кабинета после своего фиаско. Желчь душила его, поднималась к горлу и оседала на язык противной горечью. Действительно, ужасное положение министра, у которого не нашлось на поддержку ни одного голоса, и притом такого министра, которого красноречие считалось увлекательным, которого государственный ум признавался всеми. «Подкупные… негодяи… хороши государственные советники… гнилое дерево… сволочь… Нет, не в них, а в здоровых соках нужно искать спасительного лекарства…» – ворчал он чуть не вслух, размахивая рукою.

Ругая беспощадно других, почтенный Артемий Петрович забывал, что и сам он несколько лет назад тоже стоял в уровне с этою, как он выражался, сволочью, и что если взгляд его стал шире, разностороннее, цель чище и благороднее, то этим он обязан был близкому знакомству с Татищевыми, Хрущовыми и Соймоновыми, а ещё более с видными произведениями иностранной политической литературы.

По естественному желанию развлечься от неприятного впечатления, а может быть и просто по привычке, сделанной в последнее время, Артемий Петрович прямо из совета отправился к принцессе Анне Леопольдовне, у которой всегда находил радушный приём и свежие новости.

Принц и принцесса Брауншвейгские – неистощимый источник для придворных сплетен и злоречий – жили своей особой, неприглядной жизнью, наполненной по-прежнему ежедневными домашними ссорами. Около них сновалась паутина шпионства и доносов, но сами они оставались чужды интригам. Не в природе их было строить козни. Горячих приверженцев и конфидентов у них не было, всякий сторонился, зная, как подозрительно смотрит на молодую чету всемогущий герцог курляндский. Решались выказывать им подобающее уважение только фельдмаршал Миних, ещё не решивший окончательно, к какой партии ему примкнуть, да кабинет-министр Волынский.

– Довольны ли, ваше высочество, вчерашнею курьёзной свадьбою? – спросил Артемий Петрович Анну Леопольдовну» целуя, сообразно с этикетом, протянутую ему ручку и уже без этикета задерживая эту ручку в своей.

– Никогда не любила я, Артемий Петрович, и теперь не люблю большого общества. Оно всегда меня расстраивает, – краснея и осторожно высвобождая свою руку, отвечала принцесса, простодушно не догадываясь вызова кабинет-министра на комплимент.

– Что делать, ваше высочество, я и сам не большой охотник до многочисленных собраний, но такова была воля государыни. Как её здоровье?

– В последние дни она всё грустила и жаловалась.

– Как находит доктор?

– Ничего… обнадёживает, но говорит, что серьёзно… даёт лекарства… да не помогают.

– Зачем государыня не призовёт других?

– Пробовали, да всё то же.

– Однако же вчера она была свежа?

– О, вчера она была так весела, как её давно уже не видали.

– Это добрый знак, милая принцесса, может быть, мы все скоро избавимся от нашего общего кошмара.

– Вы думаете? Нет, Артемий Петрович, отнять у женщины то, чем она живёт, – невозможно, – с грустью проговорила Анна Леопольдовна, – но, впрочем, может быть, ошибаюсь… я такая неопытная, а вы такой великий чародей и сделали так много… только не забудьте, что женщина всегда остаётся женщиною, какое бы светское положение она ни занимала и каких бы лет ни была, – добавила принцесса улыбаясь.

Артемий Петрович, считавший себя знатоком женского сердца, усмехнулся.

– А как, я думаю, вы вчера утомились, – снова начала принцесса, переменяя разговор, –

у вас и теперь такой усталый вид!

– Расстроен я, ваше высочество, но не от вчерашней курьёзной свадьбы, а от сегодняшнего заседания кабинета.

И Артемий Петрович живо рассказал всю суть польского вопроса и своё фиаско.

С женской мягкостью, к которой так способны глубоко чувствующие женские натуры, Анна Леопольдовна, эта женщина дико не разговорчивая, но симпатично общительная с теми, с кем освоилась, сумела успокоить раздражение кабинет-министра.

Расспросив обо всём, что нужно было узнать об отношениях герцога курляндского, Артемий Петрович, уже собиравшийся откланяться, вспомнил о принце.

– Он ушёл со своим адъютантом не знаю куда, – и молодая женщина отмахнула рукою.

У подъезда дворца Волынского встретил сияющий Эйхлер.

– Поздравляю с победою, полною победою! – весело говорил тот.

– С победою? Докладывал государыне?

– Докладывал, и она полностью согласна с вами.

– Что? Как? Почему? – заторопил Волынский.

– Так-таки просто и сказала: «Согласна с Артемием Петровичем». О подробностях доклада Эйхлер умолчал.

– А герцог?

– Не при чём. Положение его пошатнулось, сумейте только воспользоваться… А вы опять были у Брауншвейгских?

– Был. Мне необходимо для будущего…

Эйхлер покачал головою.

– Да… но это будущее когда-то будет… а между тем в настоящем вы ставите себя в опасное положение. Фаворит, если удержится, увидит в вас такого врага, с которым необходимо разделаться решительно…

– Не боюсь я теперь фаворита… – и кабинет-министр самодовольно поднял голову.

XVI

Известно, что во всём обширном русском государстве невозможно встретить ни одного аптекаря из русских; много Шмитов, Эгерсов, разных Гауеров и Бауеров, но ни одного Попова, Алексеева или Иванова. А если спросить каждого, даже добросовестного или, что ещё реже, добродушно расположенного к русским немца-аптекаря, отчего между его учениками не имеется ни одного русского – что было бы даже для него и выгоднее, – то каждый такой бюргер только закивает от ужаса головою, с полнейшим убеждением в невозможности такого скандального факта. Странно, но бюргер прав, русская природа лишена отметин и мерок. Русский человек совершенно не может всю жизнь разделять граны, драхмы, скрупулы и унции, он или смешает все эти аптекарские единицы, или перепутает все склянки со специями. Всё взвешивать и всё измерять не роднится с русским авось и с широким русским пошибом.

Артемий Петрович после курьёзной свадьбы поднял голову высоко и гордо. Ему представлялось, что Бирон уничтожен, пал, а лежачего бить не приходится. И он забыл совершенно о нём. Не считая нужным далее обеспечивать своё придворное положение, постоянно поддерживать милостивое расположение государыни, он страстно отдался своим любимым занятиям, к которым его тянули просветившийся ум и отзывчивое сердце. Работы было много. Русское общество, включая в него и простой «подлый» народ, болело и скорбело; из его глубоких язв неустанно сочилась кровь.

Артемий Петрович, усердно занимаясь текущими делами, в то же время мечтал всё исцелить, всё умиротворить своим генеральным проектом. Он работал, не жалея здоровья. Его генеральный проект постепенно полнел новыми вставками, остроумными примечаниями, сближениями и объяснениями. Кстати и время подошло к тому самое удобное. После празднеств по случаю курьёзной свадьбы, заключения мира с Турцией и

русской масленицы наступил великий пост – время тихое, назначенное к покаянному самосозерцанию, когда, как бывало прежде всегда на Руси, закрывались все общественные увеселения. При дворе не назначалось ни машкарадов, ни раутов: императрица, как истинная православная, строго сохраняла всю обрядовую сторону.

При общем затишье, не развлекаемом никем и ничем, конфиденты Артемия Петровича, после стояния на молитвенных церковных служениях, стали чаще ездить по вечерам в его дом, где занимались вопросами о благе ближнего. Всех интересовал генеральный проект, от которого ожидали громадной государственной пользы. Друзья менялись мыслями, разбирали, спорили и чувствовали себя безмятежно счастливыми. Даже чуткий к положению политической сферы Эйхлер старался подавить в себе тревожные сомнения и не так часто надоедал Артемию Петровичу напоминаниями.

А между тем туча надвигалась всё ближе и ближе…

Анна Ивановна великим постом почти вовсе не принимала докладов от своих кабинет-министров, но, согласно установившемуся обычаю, продолжала принимать своего обер-камергера Бирона, посещения которого во время празднеств бывали отрывисты и холодны. Однако же вскоре после курьёзной свадьбы общий тон отношений государыни и фаворита постепенно стали изменяться, как изменился и сам герцог. Вместо прежнего резкого, придирчивого, с оттенком грубого пренебрежения обращения Бирона явились деликатность и желание, даже в самых мелочах, быть угодливым; он опять сделался прежним старым другом, таким же, каким бывал в Митаве, во дворце герцогини курляндской. В самой наружности герцога замечалась перемена: туалет сделался более тщателен, выбор цветов и материй кафтанов бывал именно тот, который прежде удостаивался одобрения государыни; снова появились те неуловимые оттенки выражения чувства, которые так ценятся и так дороги. В сущности, глубокое чувство Анны Ивановны к своему обер-камергеру всё ещё длилось, помимо воли её самой. В тех годах, которые переживались теперь императрицею, засевшие чувства гнездятся прочно, а новые впечатления не могут быть живы и восприимчивы. Кроме того, весь характер государыни, весь внутренний склад её духа всегда был проникнут какой-то особенной цепкостью к прошлому. Правда, нестерпимые для женщины оскорбления, раны, наносимые её самолюбию, заставлявшие её страдать до физической боли, как казалось даже ей самой, окончательно отвратили её от старого любимца и совершенно исцелили её. Под влиянием оскорблений Анна Ивановна и стала прислушиваться к новым речам, стала вглядываться в новый образ с привлекательною наружностью и с блестящим дарованием, способный возбудить воображение, готовое к восприятию новых впечатлений. При таких условиях она, конечно, не могла не оценить преданности к себе пылкого и гордого кабинет-министра, резко выделяющегося из всех её окружающих. Новый образ, по-видимому, всецело стал занимать внимание женщины.

Бирон заметил опасность и, как практичный немец, принял своевременные меры. Зная подозрительный и упрямый характер Анны Ивановны, и отлично понимая, что прямая и открытая борьба вдруг, без всякой предварительной подготовки, со своими упавшими шансами, против соперника, более его сильного, была бы для него крайне невыгодна, он стал действовать медленно, скрытно, но верно. При первом своём свидании с государынею, на другой день шутовского праздника, он был внимателен, угодлив, но именно настолько, насколько бывал и прежде при хорошем расположении духа: ни одного слова против Артемия Петровича, ни одной дерзкой выходки, ни одного ругательства, в чём, бывало, так не стеснялся прежде. Напротив того, он даже отдал должную справедливость умению и искусству машкарадной комиссии, хотя, в сущности, выходило так, что исключительная честь отнеслась к членам, а не к самому распорядителю. Государыня осталась очень довольною и благодарною. Она ожидала упрёков, оскорбительных сцен, готовилась к ним, была заранее возбуждена против фаворита, и вдруг вместо всего этого увидела такое спокойное, такое благородное отношение к человеку, который не мог быть ему приятным. Ценность такого отношения в её глазах казалась тем более вескою, что в душе своей она

сознавала себя не особенно правою.

На третий и в следующие дни повторилось то же самое. Государыня совсем успокоилась, поздоровела и почувствовала себя бодрее.

С наступлением великого поста заседания кабинета стали реже, а вместе с тем реже и доклады государыне. По большей части с докладами ходил кабинет-секретарь или кто-нибудь из господ кабинет-министров, но в последнее время всегда как-то случалось так, что очередь личного доклада не приходилась на долю Волынского. Артемий Петрович, занятый весь своим проектом и убаюканный самомнением о прочности милости государыни и своей необходимости для государства, не обращал на это внимания.

Прошло пять недель поста, и государыня переставала интересоваться им так живо, как прежде. Замкнутый кружок около неё составляли всё те же лица, к которым она привыкла и которых она любила по привычке. Герцог почти не упоминал о Волынском, поводов к неприятностям не было, и она проводила день за днём, ничего не желая и не гадая о будущем. По-прежнему она забавлялась шутами, шутихами, карлами и карлицами, не замечая, как в песенках их появилось разнообразие прибаутки, остроты и намёки получили особенный тон, с одним направлением. Постепенно, незаметно, всё чаще и чаще, слышались то карикатурная сплетня о Волынском, то остроты об его самохвальстве, то намёки на его бунтовщичьи намерения. Государыня не придавала значения этому повторяющемуся наушничеству, но всё-таки в голове её бессознательно оставались следы. Со своей стороны и Бирон в последнее время, передавая ей ходившие по городу сплетни и слухи, уже несколько раз, с ловкою маскировкою, успел сообщить о каких-то стремлениях кабинет-министра, клонившихся к явному мятежу. Мало того, даже сам вице-канцлер Андрей Иванович, это олицетворение терпения и незлобия, раза два, тоже во время доклада, высказался о неспокойном характере Волынского и о своём несчастном положении, принуждавшем его постоянно выносить грубости и дерзости коллеги.

Незаметно расстилались тенета, которыми ловко опутывалась жертва.

На шестой неделе поста Артемий Петрович, наконец, вспомнил, как долго он не был у государыни, и решил после заседания кабинета проведать её величество.

Имея дозволение входить в кабинет императрицы без предварительного доклада, Артемий Петрович прошёл антикамеру, в которой обыкновенно играли шуты, и подходил уже к дверям кабинета, как здесь дежурный камер-паж сообщил о распоряжении будто бы государыни докладывать о всех желающих ей представиться. «Странно, – подумал кабинет-министр, – новые порядки завелись», но остановился ожидать возвращения камер-пажа.

По антикамере бегали и скакали кавалеры ордена Бенедетто[42], кто с лаем, кто с кваканьем, кто распевая петухом. Оборотившись к ним, Артемий Петрович презрительно осматривал это разношёрстное сборище тунеядцев, которые, увидя его, хором запели: «Волынка! Волынка!» В это же время один из шутов, отделившись из кружка, заблеяв по-козлиному и опустив голову, вдруг бросился на него. Разбежавшись и на бегу прыгнув раза два, шут ударился головою в нижнюю часть камзола Волынского. Артемий Петрович, не ожидавший такой выходки, покачнулся и едва не упал, а на камзоле его появилось жирное широкое пятно с кусками пудры. Взбешённый дерзостью до самозабвения, Артемий Петрович схватил стоявшую подле двери трость и со всего размаха ударил ею шута по лицу. Удар был силён; шут упал с разбитым виском, облитый потоками крови.

– Убил! убил! – завизжала толпа. Поднялся нестерпимый шум и вой, забегали по всем комнатам.

На этот гам из кабинета государыни вышел герцог Бирон с дежурным камер-пажом.

---

42 Орден Сан-Бенедетто (сб. Бенедикта) был специально учреждён императрицей для придворных шутов. Он носился в петлице на красной ленте и был очень похож на уменьшенный орден св. Александра Невского. Кавалерами ордена Сан-Бенедетто были Педрилло и Лакоста.

Узнав о случившемся, герцог передал приказание пажу, и тот, подойдя к Артемию Петровичу, доложил, что её величество не желает принимать его у себя.

Так и ушёл Артемий Петрович, не видав государыни, но почувствовав первое подёргивание затягиваемой петли.

– Что случилось? – спросила Анна Ивановна входившего в кабинет герцога, встревоженная не только доносившимся шумом, сколько его озабоченным и испуганным лицом.

– Случилось то, ваше величество, что заставляет опасаться за безопасность всех нас и в особенности вас, государыня, даже у себя дома, в своих покоях.

– Да говори же скорей, герцог, что такое? – не на шутку уж беспокоилась императрица.

– Там, в антикамере, у дверей собственного вашего кабинета, господин кабинет-министр и обер-егермейстер Волынский убил одного из ваших слуг, – с иронией высказал, наконец, герцог, подчёркивая каждое слово.

– У-би-л? Кого убил? За что?

– Любимого вашего шута Педриллу, а за что, про то может сказать только сам господин кабинет-министр… Мне говорили, будто Педрилла бежал мимо господина Волынского и нечаянно задел его, а тот в бешенстве накинулся и палкою раздробил голову шуту. Бедный лежит теперь без чувств, весь в крови. Не знаю, поднимется ли?

– Господи, какой ужас! И у меня подле кабинета! Да правда ли это? Не обманули ли тебя, герцог?

Государыня сделала было усилие подняться на ноги, но сильный припадок подагры заставил её снова опуститься.

– В каком положении Педрилла, я видел сам, а на что способен господин Волынский – это мы скоро испытаем сами на себе.

– Мы? Ты, Эрнст, не любишь Артемия Петровича…

– За что мне его любить? Не я ли просил вас за него, когда он был уличён во взятках и грабительствах, не я ли рекомендовал его вам в кабинет-министры? Но он не оправдал моих ожиданий, и я, как верный ваш друг и преданный слуга, считаю обязанностью предостеречь теперь…

– Как кабинет-министр не обманул надежд, Эрнст, его работы по государственным делам… его проекты…

– Его проекты! его проекты! – горячился Бирон. – Есть ли какой-нибудь толк от его проектов? Наговорит он много, закидает словами, а на деле – ничего. Меньше ли крадут они все и он из первых?

– Чего же ты хочешь, Эрнст?

– Я хочу, ваше величество, лично для пользы нашей, чтобы был положен конец его дерзостям, чтоб его судили…

– Да за что же?

– Разве не преступление убивать во дворце, перед глазами государыни?

– Да, может, он был рассержен и вынужден ударить?

– Об этом я не знаю. Да, впрочем, это не первым случай. Недавно, не уважая моего владетельного сана, он точно так же избил адъюнкта академии Тредьяковского ни за что ни про что. Тредьяковского вы сами знаете, государыня, способен ли он вызвать дерзость у кого-нибудь.

– Не знала этого, Эрнст, отчего мне тогда не сказали?

– Вы были так благосклонны к обер-егермейстеру, и я думал… полагал… что всякое моё выражение объяснилось бы иначе…

Государыня, казалось, не слыхала объяснения, обратив всё своё внимание на беспорядок, вдруг оказавшийся на её столе. Она позаботилась переставить чернильницу, подвинуть ближе бумагу и симметричнее уставить свечи по сторонам чернильницы.

– Я понимаю, – начала государыня, как будто на что-то решившись, – понимаю, что за неосторожную вспыльчивость можно и должно показать виновному холодность, запретить,

например, являться ко мне, о чём я сделаю распоряжение, но мне странно отдавать суду человека государственного высокого ума за побои шуту!

Бирон пожал плечами.

– Да разве шут не человек, ваше величество? Разве Тредьяковский шут?

– Всё равно, Эрнст, такой же… ты сам не раз говорил.

– Положим, так, но важность не в них, а в том, где это было сделано. Ведь это было в вашем дворце и моём! Ведь это оскорбление величества, государыня! За это во всех образованных государствах назначается смертная казнь, – отчётливо повторил Бирон буквально слова Куракина.

Государыня замолчала, вперив неподвижный взгляд на струю солнечного света, в которой кишели мириады пылинок. Зная до тонкостей все её привычки, Бирон понял, что продолжать теперь настояния было бы не только бесполезно, но даже вредно, что эти настояния только вызвали бы более сильное упорство, более укрепили бы его, а может быть, даже побудили бы на противоположное решение. Он тоже замолчал и скоро удалился.

Через два дня, совершенно нежданно, привезли самого вице-канцлера, графа Остермана, в государственный кабинет, после заседания которого графа перенесли для доклада в кабинет императрицы. Государыня, любившая старика и считавшая его за мудрого оракула, обрадовалась его приходу; точно так же обрадовался и удивился герцог курляндский, бывший в то время в кабинете, как будто бы случайно.

– Здравствуй, Андрей Иваныч, рада тебя видеть, – радушно приветствовала его Анна Ивановна.

Остерман хотел было опуститься на колени, но государыня дружески удержала старика, приложив руку к его губам.

– Садись, Андрей Иваныч, вот сюда, ближе,. – Анна Ивановна указала Остерману на кресло возле себя, – оба мы с тобой немощны.

– Между нами великая дифференция есть. Мои годы, исполненные злоключениями, на склоне течения своего пребывают, ваше же императорское величество только ещё расцвели и с обильным благоуханием только ещё в мужественные кондиции входить изволите, – отвечал вице-канцлер с обычною своею кудреватостью.

Государыня грустно покачала головою.

– Как хотелось бы, Андрей Иваныч, последние-то свои годы провести мирно и спокойно, а вот тут, на днях, случился пассаж… Слышал, чай?

– Ни о чём не известен, ваше величество.

– Артемий Петрович в антикамере моего Педриллу побил (верно, тот раздразнил!), а вот герцог просит судить его за это, говорит, будто он побил ещё пииту у него в комнатах… Неужто это такое уж важное дело?

– Преотменной важности, ваше величество. Сия преступная акция почитается сугубым криминалом во всей цивилизованной Европе и наказуется смертью, ибо что же может остановить дерзновенного, если нет должного почитания земной власти? – и Андрей Иванович с ужасом поднял глаза к небу.

Герцог курляндский значительно взглянул на императрицу, как будто говоря: «Вот видите, не говорил ли я».

– Странно для меня… Жаль бедного… – раздумчиво проговорила государыня.

– При сей оказии осмеливаюсь и я всенижайше просить ваше императорское величество. В доношении своём оный кабинет-министр Волынский начертал на меня, преданнейшего раба вашего, превеликие хулы и диффамации. Но огорчительна не сия его акция против меня, преданнейшего раба вашего, но непомерное дерзновение возомнить о себе превыше всему свету известной мудрости вашего величества и осмелиться давать советы вам, яко немысленному ребёнку, и когда ещё? когда ваше величество удручены заботами государственной важности.

– Так и быть… я согласна… отдайте его суду… Но скажи мне, Андрей Иваныч, ведь он может же оправдаться, ведь суд увидит, насколько он виновен, и не присудит правого?

– Всеконечно, ваше императорское величество. Не единая голова будет иметь рассуждение, а целая комиссия персон непричастных.

Несколько успокоенная, государыня приказала изготовить указ о назначении комиссии для суда над Артемием Петровичем, предоставив вице-канцлеру и герцогу выбор беспристрастных членов.

XVII

На страстной неделе Артемий Петрович, по издавна установившемуся в его доме обычаю, говел со всем своим семейством. Полтораста лет назад предки наши смотрели на говение далеко не так, как смотрим мы. Начинающий говеть обыкновенно уединялся, переставал принимать знакомых и неуклонно бывал на всех церковных службах от начала до конца. Судьба как будто готовила Артемия Петровича к его скорбной участи напоминаниями и высокоторжественными песнями великих страстей человеческой немощи перед таинственным примирением в вечности.

Мрачный колорит упал на всю семейную жизнь кабинет-министра по получении указа императрицы, запрещавшего ему приезд ко двору. По природе своей Артемий Петрович быстро, без всяких срединных ступеней, переходил от заносчивой самонадеянности к глубокому унынию. У него вдруг опустились руки, повязка из тягучих нитей, сотканная самолюбием, спала с глаз, и горькая истина явилась ему без всяких прикрас. «Отказ от двора не означает ли удаление от государственных дел! Что будет за этим удалением? Не будет ли новой инквизиции?» – спрашивал себя в сотый раз Артемий Петрович, тревожно перебегая из комнаты в комнату своего обширного дома, и нигде не находил покоя. С нестерпимою горечью ему представлялось, до какой степени он жалок, ничтожен, что вся его сила была не в нём самом, а в случайных милостях и прихотях. Нежданно дунул неблагоприятный ветер – и рухнуло всё это здание, казавшееся ему таким прочным, которым он так гордился и за которое с таким самонаслаждением считал себя великим учителем потомства. Он строил здание без почвы.

Потом, за приступом отчаяния, началась реакция самосохранения, реакция борьбы. И с этой стороны он чувствовал себя совершенно беспомощным. Его великая идея, просвещающая народ, обеспечивающая его благо от внешних случайностей, оказалась только идеею его самого да ещё незначительного, бессильного кружка его задушевных конфидентов. Мало того, высокая благородная идея могла погубить его самого, выставить его опасным новатором и врагом существующего порядка. Необходимо бороться, но для борьбы нет силы, и остаётся одно средство, к которому прибегает и всякий преступник: истребить самому все следы своего дела; остаётся собственными руками разрушать то, что так лелеялось, что так гордо создавалось для будущего величия.

И вот, в промежутках между церковными службами, Артемий Петрович занялся самоуничтожением. С нервною торопливостью он разбирает бумаги, откладывая некоторые в сторону, как нисколько не компрометирующие, и бросая другие в камин. Ему помогают доверенный Кубанец, от которого нет секретов, и старшая дочь, восемнадцатилетняя симпатичная Анна Артемьевна. Грустные тени лежат на лице молодой девушки, подавленной ожиданием чего-то грозного, которое неминуемо должно погубить любимого отца и всех их. Взмостившись на стул, она подаёт отцу книги и рукописи, лежавшие на верхних полках шкафов, и с наивным любопытством сквозь навернувшиеся слёзы смотрит на встревоженное лицо отца и на широкое пламя.

В камине роскошного кабинета то ярко горит огонь от легко охватываемых пламенем свёртков бумаг, то тухнет, скрываясь внизу, когда в жертву попадается объёмистая книжица в кожаном переплёте. Летят в огонь заветные думы, положенные в основание генерального проекта, летит увесистый перевод – добросовестный труд де ла Суда, знаменитый трактат

Юста Липсия[43], глубокого политического мыслителя, открывшего новый мир Артемию Петровичу.

Покончив работу в кабинете, Анна Артемьевна, по примеру отца, занялась переборкою и у себя. Без сожаления она сжигала свои тетради и тетрадки, свои упражнения и переводы, хозяйственные записки и счёты, не сознавая, почему именно и чем могут повредить ей эти невинные классные бумаги. Усердно перебирая в столах, ящичках и комодах, она, наконец, нашла тщательно хранившиеся ею письма отца из Немирова. Неужели и их уничтожить, эти дорогие строки, в которых так полно высказывается бесконечная любовь отца? Кому они нужны, кроме нас? Неужели не оставить ничего, что впоследствии напомнит о нём? Нет, эти письма сохранит она, скроет в самом дальнем уголке, куда не проникнет ничей нескромный глаз. И она их спрятала на дне своей рабочей шкатулки, под ворохом лоскутьев, ниток, шёлка и разных швейных принадлежностей.

Два дня продолжалось это аутодафе; сожжено было всё, что могло показаться подозрительным для хитрого ума прожорливой инквизиции, – остались только спрятанные Анною Артемьевною немировские письма да старые бумаги в двух запертых сундуках, ключи от которого сохранялись Кубанцем. Эти сундуки стояли у всех на виду, в задних комнатах, и стояли так давно, так привык к ним глаз, что никому и в голову не приходило полюбопытствовать, что в них лежит. Они лежали никуда не годным домашним скарбом.

В среду разборка прекратилась, и после всенощной, отслуженной на дому, Артемий Петрович с детьми исповедались. Сильный удар, повернувший Артемия Петровича от дороги, по которой он шёл, заставил его теперь оглянуться и спросить себя: та ли это дорога, по которой должно идти, и исполнил ли он сам свой долг как человек? Прежде звучавшие бесследно, но теперь осознанные и прочувствованные им вечные истины вечного слова строго и неумолимо потребовали отчёта в данных ему талантах… И как гадок, как мерзок показался он себе. Всё, чем он так возносился, за что он считал себя достойным боготворения от современников и потомства, всё это показалось ему таким безобразным исчадием чудовищного себялюбия, таким мелким, ничтожным, таким недостойным такой чистой любви, которая только одна в силах создать в человеке человека. Артемий Петрович плакал и молился…

На другой день после обедни, за которою причащалось семейство Волынских, приехали проведать и поздравить те из знакомых, которых не испугали опала императрицы и ходившие по городу сплетни. Агенты тайной канцелярии, а вместе с тем и герцога Бирона, искусно пустили слух о тайных собраниях в доме Волынского, и слух этот, сплетаясь, перевиваясь и наматываясь, скоро обратился в громовую весть об открытии громадного заговора, имевшего целью низложение императрицы и возведение на престол самого Артемия Петровича. Досужие фантазии разыгрывались в различных объяснениях и догадках; стало ясно, отчего и бунты, и пожары и все народные бедствия: всё это интриги, чтобы возбудить народ против правительства и низвергнуть его. Недаром же в кабинете Волынского разрисовано родословное древо, не уступавшее будто бы в знатности и древности царственному роду!

Приветливо встретил Артемий Петрович знакомых, не покинувших его в несчастии, но этот приём не прежний, да и гости казались не прежними. У иных только и достало мужества настолько, чтобы явно не покинуть врага герцога, у других таилась ещё надежда на возвращение к опальному кабинет-министру милостей государыни, что случалось нередко, а следовательно, и отвёртываться при первом же удобном случае оказалось бы невыгодным. Мало насчитывалось людей истинно преданных.

Говорили общими местами о злобе дня того времени, утешали хозяина. Эйхлер

---

[43] Голландский филолог, живший в XVI веке, родился в 1547 году близ Левена. Сначала он был секретарём у кардинала Гранвеллы, а потом профессором в Иене, Лейдене и Левене; умер в Левене в 1606 году. Сочинения его по вольномыслию считались самыми опасными.

рассказывал, как государыня лестно отозвалась об уме Артемия Петровича, об его красноречии и умении толково докладывать, генерал Брюс предсказывал близкое возвращение фавора, но сам хозяин не верил в будущее.

– Верно, Бог хочет наказать меня за прежние грехи, – грустно отвечал он на утешения, – а это дело (побои Тредьяковскому) служит только претекстом[44].

Однако же утешительные речи произвели впечатление на Артемия Петровича, заронили мысль, что, может быть, ещё не всё потеряно, что может случиться поворот в его сторону, могут воротиться милости государыни и… до чего не может доиграться воображение, когда стимулом необузданное самолюбие. Христианское смирение, самоуничижение, покаятельное созерцание грехов улетели быстро, как навеянные временным упадком духа и бессильные перед влиянием более владычного деятеля. Весь остальной этот день Артемий Петрович соображал, как действовать, и кончилось тем, что спасение показалось не только возможным, но несомненным и совершенно верным: стоило только разъяснить историю с шутом, извиниться перед герцогом за увлечение относительно пииты и объяснить, что слова «вассал Польши» нисколько не могут относиться к герцогу курляндскому. Лишь бы увидеться с Бироном, а там… Артемий Петрович сильно надеялся на своё красноречие.

На следующий день, ранним утром, когда, как известно, его светлость обыкновенно ещё не изволил выходить из своих покоев, Артемий Петрович в приёмной герцога просил дежурного пажа доложить о себе. Ответ не заставил себя долго ждать: «Его светлость не изволили приказать принимать», – передал паж с нахальною усмешкою и тем тоном, которым обыкновенно говорят холопы знатных особ, с некогда сильными, но окончательно упавшими властями. Несколько дней назад такой ответ взбесил бы кабинет-министра, но теперь не то, теперь не заговорила оскорблённая гордость, не разлилась яркою краскою негодования, а только выдавила едкие слёзы от скорбного принижения и горечи от неудачи.

«Нельзя же отказываться и складывать руки от первого толчка, в виду несомненного успеха в будущем», – подумал Артемий Петрович и решился, при невозможности личных объяснений, действовать через посредников. Но через кого? Вернее всего было бы через Остермана, но неприятные отношения сложились между ними так давно и так остро, что сам утопающий не мог бы принять графа за спасительную соломинку. За исключением Остермана, более всех влиятельным лицом в придворном кружке считался фельдмаршал Миних, и Артемий Петрович решил сейчас же ехать к нему. Правда, его отношения к фельдмаршалу никогда не отличались особенною дружбою, но не были, однако же, и открыто враждебными, а что когда-то в польскую войну Артемий Петрович интриговал против Миниха и писал на него доношения герцогу, то это было так давно и притом же, вероятно, так и осталось тайною.

Миних принял Артемия Петровича спокойно, с обыкновенного своею любезностью, как будто перед ним был не опальный кабинет-министр и не проситель, только в серых глазах его можно было подметить удивление и как будто насмешку. В бессвязном рассказе, далеко не напоминавшем прежнего блестящего оратора, Артемий Петрович высказал фельдмаршалу всё случившееся и просил представить герцогу те объяснения, которые он желал бы, но не мог передать лично.

Миних давно уже знал историю не хуже, а лучше самого Волынского, но не прерывал рассказа, обдумывая в то же время вопрос – будет ли выгодно и в какой мере исполнить просьбу? Решив предварительно, что ходатайством своим ни в каком случае не вредит себе, ни при успехе, ни при неудаче, он даже верно оценил, что в случае успеха он приобрёл бы в лице Волынского преданного друга, а это было необходимо как противовес влиянию герцога

---

[44] Волынский и кадет Криницын избивали Тредиаковского 4 февраля 1740 года. На следующий день, 5 февраля, избиение повторилось дважды (во дворце Бирона и в Маскарадной комиссии), а 7 февраля Тредиаковский был избит ещё раз, теперь уже в доме Волынского.

на императрицу.

– В точности исполню ваше поручение, почтеннейший Артемий Петрович, и сделаю со своей стороны всё, что смогу, но за успех не ручаюсь, – обещал фельдмаршал, провожая Волынского с тою же почтительною вежливостью, с какою делал в дни фавора Артемия Петровича.

Действительно, фельдмаршал исполнил в точности обещание; он не только передал герцогу в тот же день все объяснения кабинет-министра, но и от себя подкрепил их живым ходатайством.

Артемий Петрович прежде всего был русский, а следовательно, человек безрасчётливый, что и доказал своим обращением к Миниху. Да, впрочем, жизнь иногда складывается в такую неизбежную, роковую, заранее определённую форму, что никакая человеческая мудрость не может изменить ни малейшей йоты в раскладе обстоятельств, когда самый глубоко обдуманный шаг только вредит и ускоряет развязку. Таким шагом был и визит к Миниху. Может быть, раздражение герцога смягчилось бы и дело ограничилось бы более или менее продолжительною опалою и отсылкою на какой-нибудь пост в отдалённом крае, но заступничество Миниха окончательно погубило Волынского. После приезда Миниха герцог вполне убедился в существовании если не совершенно организованного заговора, то в определённо сложившемся намерении и даже попытке подкопаться под него, в чём, конечно, кабинет-министр был только орудием, а настоящими деятелями немцы. Для него ещё более очевидной стала необходимость употребить решительные меры, уничтожить с корнем и спешить, спешить сколько возможно.

Герцог заторопился. Имея у себя согласие императрицы о предании Волынского суду особой комиссии, ему оставалось только начать осуществление, но и на это не был способен герцог. За советом и руководством он тотчас же, проводив фельдмаршала, отправился к оракулу.

В общем совещании Остермана и Бирона была определена вся формальная сторона, выбраны в комиссию члены – все люди надёжные, решено начать инквизицию немедленно, довольствуясь для начала теми данными к обвинению, которые имелись под руками: побоями шуту, Тредьяковскому, доношением да делом, законченным в 1737 году, о 500 рублях, взятых Кубанцем из конюшенной канцелярии на нужды Волынского. Если же этого окажется недостаточным, то можно поднять и старые казанские грехи.

Настал первый день Пасхи, и в доме Волынского та же обычная суета; окраска яиц, приготовления к разговению на время подавили общую тревогу, и все, казалось, успокоились. Сам хозяин, веруя в успех миссии фельдмаршала, стал бодрее и веселее. Окружённый милыми и дорогими ему детскими личиками, он как будто забыл, как встречал прежде праздник; всё прошедшее, такое ещё недавнее, вдруг отошло от него далеко, в какой-то серый, непроглядный туман. Там, при дворе, интриги, сплетни и злоба на льстивом языке, под золотым кафтаном, а здесь так хорошо, ласково и задушевно. С беспредельною любовью следят искрящиеся чистою радостью глазки Анны Артемьевны за каждым движением отца. Она не может ещё осознать вполне его горя, но инстинктивно чувствует, а младшие брат и сестра болтают без умолку, – рады, что папа наконец дома и никуда не выходит.

Приехали близкие конфиденты, сотрудники политических стремлений, но невесёлые и с нерадостными известиями. Как ни таили герцог Бирон и граф Остерман решение императрицы и свои планы, но вести о них никому не ведомыми путями проникли в общество. Все были уверены в гибели Волынского, за исключением только его самого. Вероятно, участь Артемия Петровича постигнет и его конфидентов, но кого именно и насколько – никто не знал, а эта-то таинственность и томила всех.

Привезённые новости снова взволновали Артемия Петровича, возбудив чувство, испытываемое при приближении чего-то неминуемого, грозного и разрушительного. Весь день он провёл в нервном возбуждении, то успокаивая себя на время, то снова попадая под гнёт.

На другой день, утром, почувствовались первые удары.

– Изволили приехать генерал Андрей Иваныч, – с ужасом и заикаясь, доложил Кубанец.

– Какой Андрей Иваныч?

– Генерал-с Андрей Иванович Ушаков, а с ним много… людей… и солдат… спросили моё имя и сказали: познакомимся…

Казалось бы, приезд знаменитого начальника тайной канцелярии не мог удивить ни Кубанца, ни самого хозяина; Андрей Иваныч, как бывший сослуживец по военной службе и по разным комиссиям, считался знакомцем, и бывал, хотя нечасто, в доме Волынского, но, тем не менее, одно появление его наводило ужас везде и на всех.

– Ну что же… проси, – растерянно проговорил Артемий Петрович упавшим голосом.

Но в это время гость, как видно, не любивший церемоний, вошёл в кабинет, не дожидаясь возвращения слуги, и прямо, не здороваясь, как будто не замечая протянутой руки Волынского, обратился к нему официальным тоном:

– Её императорское величество соизволила приказать мне поставить к вашему дому, господин кабинет-министр, арест, а ваши бумаги и всё находящееся у вас рассмотреть и описать.

Артемий Петрович струсил, да и кто бы не струсил от официального визита Андрея Ивановича?

– Берите… берите… всё, – едва выговорил он, указывая на письменный стол и стоявшие у стен шкафы.

Опытною рукою, набитою практикою в делах подобного рода, принялся Андрей Иванович искать себе поживы. Не утаилось ни одного ящичка в столах, ни одной полки в шкафах, ни одной скважинки или утайного местечка, куда бы не проник его зоркий глаз. Всё было перебрано, пересмотрено с изумительною быстротою наметавшейся ищейки, кое-что было отобрано и отложено в сторону, а остальное положено на место. Наконец, не укрылись и два сундука, забытые и самим хозяином; по настоятельному требованию были отобраны ключи у Кубанца, сундуки отперты и хранившиеся там бумаги отобраны в сторону. Это были бумаги, относившиеся к кляузному делу инквизиции, законченному милосердием государыни, но Андрей Иванович далеко предвидел и угадывал, что и в них может встретиться надобность.

Покончив с покоями, занимаемыми Артемием Петровичем, генерал Ушаков перешёл в детские комнаты. Как бы, казалось, не спутаться в этих массах белья, платьев, платьиц, рубашек и тому подобных вещей, но неутомимый генерал не унывал, опытность говорила ему, что нередко скрываются следы преступления там, где всего менее можно было бы ожидать их. Труды увенчались, наконец, некоторым успехом: на дне ящичка Анны Артемьевны отыскались письма из Немирова. Положив их с торжеством, как драгоценность, себе в карман, Андрей Иванович продолжил поиски, но более ничего замечательного не отыскалось.

С весёлою наивностью смотрели на всё это дети; их очень забавлял господин, который везде роется, и в нянюшкином скарбе и в сестрицыных шкатулках, всё перебирает, даже не оставил без внимания и их игрушек. Понимала, хотя и смутно, только одна Анна Артемьевна и горько теперь упрекала себя за ослушание отцу, за сохранение его немировских писем. «Да в чём же виноват папа? Да разве вина любить детей своих»? – с недоумением спрашивала она себя, а слёзы, одна за другою, не переставая, скатывались с нависших ресниц.

К вечеру работа кончилась. Утомившись, но со спокойною совестью отчётливо исполненной обязанности, Андрей Иванович сделал окончательные распоряжения о расстановке караульных солдат и об укладке отобранных книг и рукописей. Собираясь домой, он вспомнил о новом знакомце своём, новокрещенце Василии Кубанце.

– А ты, любезный мой, собирайся со мною… Понравился ты мне, и желаю познакомиться с тобою покороче…

Генерал был невесел. В самом деле, проработать целый день и в результате не получить

почти ничего фундаментально-основательного. Найденные бумаги, даже и при быстром просмотре, оказались слишком недостаточными для подозрения, не говоря уже об обвинении. Впрочем, Андрей Иванович находчив и сумеет дело поправить. Он хорошо понимал, что ценнее и ядовитее всех доказательств язык человеческий и в особенности рассказы слуг доверенных, которых можно заставить говорить как угодно, о чём угодно и речи которых всегда могут служить богатым материалом.

XVIII

Замечательно хитро составилась следственная комиссия над Артемием Петровичем. В числе следователей все люди русские, сановитые: Чернышёв, Ушаков, Румянцев, князья Никита Трубецкой и Василий Репнин, Хрущов, Неплюев, Шипов и – ни одного немца. Исполняя, по-видимому, волю государыни и гарантируя как будто полное беспристрастное отношение к обвиняемому, русскому кабинет-министру, ловкий вице-канцлер с редким искусством подготовил своему сопернику смертельный удар. Странно, но совершенно верно, что самыми неумолимыми врагами бывают свои люди, домашние, что от своего ближнего вообще не бывает пощады, а тем более от русских, у которых при въевшемся рабском уничижении и развращённости высших классов не могло быть ни добросовестности, ни гражданского мужества. Все эти избранные члены ясно сознавали, что они призваны не для изыскания истины, а для преследования всеми возможными и невозможными средствами обвиняемого, понимали, что, только действуй таким образом, они спасали себя и могли рассчитывать на милости и подачки. Будь в комиссии немцы: Левенвольд, Миних или Ласси, тогда, без сомнения, заговорило бы чувство собственного достоинства, не убитого ещё гнётом, и опасение нравственной ответственности, если не перед современниками, то перед потомством, и заставило бы их отнестись к своим обязанностям справедливее и беспристрастнее.

Не так думал, однако же, сам Артемий Петрович. Узнав, что в состав комиссии вошли некоторые из его бывших товарищей по службе: Румянцев, Ушаков и вообще люди высокопоставленные, он ободрился и стал верить в хороший для себя исход. «Да и где же, в самом деле, внешние доказательства к обвинению в тяжком преступлении? – спрашивал он себя чуть ли не каждую минуту. – А о внутренних побуждениях может судить только один Бог».

Утром, в восемь часов, пятнадцатого апреля состоялся первый допрос обвиняемого следственной комиссиею, открывшею свои заседания в Италианском дворце[45]. Артемий Петрович вошёл в заседание гордо и самоуверенно, не пугаясь важных и холодных лиц следователей. Прочитали вопросные пункты, которые все относились к двум обвинениям – в оскорблении величества побоями пиите и в известном «доношении» государыне. По последнему поводу спрашивалось, кого он именно разумел под именем хитроумных политиков, вводящих в заблуждение государыню. Артемий Петрович не нашёл эти обвинения важными, повеселел и, вместо прямого ответа на пункты, стал говорить, с обычным своим красноречием, о своих заслугах, о своей многотрудной деятельности и побуждениях. Он говорил долго, убедительно и в заключение обратился к следователям кончить дело поскорее.

– Мы заседанию своему время и без вас знаем, а вам надо совесть свою во всём очистить, и для того, придя в чувство, ответствуйте обо всём обстоятельно, – холодно отвечал Румянцев.

Вероятно, генерал Румянцев не забыл ещё затаённой ревности к любимцу Петра Великого до персидского похода, а может быть, считал обвиняемого одним из недостойных

---

45 Этот дворец, названный Италианским по внешнему виду и внутреннему убранству, выстроен был в 1712 году на левом берегу Фонтанки, на том месте, где ныне Екатерининский институт.

фаворитов, погубивших заслуженных ветеранов Голицыных и Долгоруковых. Такое внушение от старого сослуживца, от человека, на сочувствие которого можно было рассчитывать, значительно охолодило самоуверенность Артемия Петровича и ясно показало, чего он мог ожидать от своих бывших товарищей. Обвиняемый оставил камеру уже далеко не с тою надменностью, с какою входил.

На другой день допрос Волынского комиссиею начался объявлением ему именного указа императрицы о том, чтобы с ним на будущее время поступать без всякого послабления. Между строк этого указа не трудно было видеть желание склонить членов к обвинению, помимо оправдательных доводов. И действительно, члены стали относиться к нему ещё суровее, строже и придирчивее. Они требовали теперь на свои вопросы только одних ясных и положительных ответов, без отклонений, имевших целью выставить себя в более выгодном свете. Придирки вызывали и со стороны Артемия Петровича желчное раздражение. На вопрос, кто подразумевался под хитрыми политиками, он упрямо указал на графа Остермана, причём добавил:

– Это такой человек, что без закрытия никому, даже и жене своей, ничего не скажет.

– О чём обращается к жене своей граф Остерман, о том нам и ведать неприлично, – строго заметил ему Неплюев.

– Пожалуйста, оставьте, я ведь знаю, что вы креатура Остермана и со мною были в ссоре, – с раздражением ответил Волынский.

К концу допроса гордость, поддерживавшая до сих пор силы Артемия Петровича, стала ослабевать под влиянием возникшего опасения за будущность своего процесса и невольного ощущения своей беспомощности. С едкою горечью бессилия он закончил свои показания словами:

– Прошу у её императорского величества себе другое назначение, которое готов выполнить с усердием, а в настоящей должности не гожусь.

И потом добавил:

– Писал же я всё от ревности, а теперь вижу в том одно враньё…

С этими словами кончилась его политическая миссия. Кабинет-министр и реформатор умер… остался только Артемий Петрович как человек частный, без значения и политического смысла. Человеку трудно отрешиться от своей мечты, от своей заветной идеи – для этого ему нужно или всеразрушающее время, или неизмеримая доля страдания. И Артемий Петрович много выстрадал в эти последние часы; несмотря на громадное самомнение, он сознал свою политическую немощь, что он один в поле не воин… Дальнейшая судьба его имеет интерес судьбы человека, которого травят, рвут в клочки и, наконец, убивают, натешившись.

Трусливый тон слышится во всех показаниях, данных Волынским на допросах 17 и 18 апреля. В них не было и следа прежней самоуверенности, ни тени гордой речи о своих заслугах; напротив, Артемий Петрович унижается, кланяется, старается заискать расположение, увёртывается, часто повторяется, путается и старается, в то же время, затянуть в своё дело самих следователей, сделать из них как будто своих бывших соучастников. Унижение доходит до того, что он становится на колени и умоляет о милости.

– Делал я по горячности, от злобы и высокоумия, – каялся он и в то же время, отвергая свои прежние показания, говорил: – Беда моя, сам на себя наврал, надеялся на перо, что писать горазд.

Более всего Артемий Петрович старался заискать в Андрее Ивановиче Ушакове, Которого с глубоким принижением спрашивал: «Не прогневал ли чем-нибудь»? Это немудрено. Артемий Петрович знал силу Андрея Ивановича как самого искусного заплечного мастера.

Увёртливость и старание притянуть к ответственности самих следователей, конечно, не могли их на раздражать.

– Всё говоришь плутовски, – резко высказал старший из следователей, генерал Чернышёв, – как и наперёд, по прежним своим делам также не ответствовал и беспамятством

отговаривался, но как в плутовстве был изобличён, то и винился.

Эта грубость теперь не раздражала Артемия Петровича и не вызывала с его стороны резкого отпора. Напротив того.

– Не поступай со мной сурово, – молил Волынский, – знаю я, что ты такой же горячий, как и я. Деток имеешь, воздаст Господь детям твоим!

После допроса 18 апреля изменилась система ареста в доме Волынского. По полученному в это число повелению императрицы на имя караульного офицера гвардейского подпоручика Каковинского предписывалось, под угрозою смертной казни, стеснить до крайних пределов свободу Волынского, запрещался доступ к нему не только посторонним, но даже и всем домашним, не исключая и детей; самого арестованного предписывалось запереть в одной комнате, в которой поставить бессменно двух солдат с ружьями, двери в другие половины дома запереть, оконные рамы заколотить, отобрать бумагу, никого посторонних не допускать к нему, за исключением только одного камердинера, с которым, однако же, не дозволять никаких разговоров. Кроме обвиняемого, такой же караул приставлен был к его детям и ко всем домашним людям.

Строгое содержание вызвано было новым оборотом дела. До сих пор все обвинения и допросы по ним касались только оклеветания хитроумных политиков, заключающегося в примечаниях к доношению, и побоях пиите – следовательно, таких преступлений, за которые не могло быть высшего уголовного наказания, но с 18 апреля тактика обвинения приняла более широкие размеры. Началось с того, что всё дело исследования было передано из особой комиссии в тайную канцелярию, на руки Андрея Ивановича, которому придали в помощь тайного советника Неплюева.

Конечно, Андрей Иванович не мог удовлетвориться цветочками, когда его желудок требовал более питательной пищи. Ещё тогда же, тотчас по окончании обыска в доме Волынского, он принялся за допросы советного слуги Василия Кубанца, зная, что с этого поля всегда можно снять какую угодно жатву. На первом допросе, произведённом легко, в виде опыта, Кубанец указал на участие конфидентов Волынского, а в особенности на Хрущова, обращавшегося с доверенным слугою грубо и с пренебрежением. Об этом показании немедленно же было доведено до сведения герцога Бирона, а через два дня состоялось от имени государыни распоряжение насчёт допроса Кубанца о других, сверх известных, преступлениях и противных поступках кабинет-министра и его взяточничестве по службе.

Андрей Иванович вполне обладал искусством пользоваться обстоятельствами и действовать на душу человека именно с той стороны, с какой она была доступна. К Кубанцу он отнёсся иначе, чем к большей части своих клиентов: он не запугивал его с первого же раза угрозами и пытками; напротив того, он ласково доказывал всю невыгоду держаться за бывшего кабинет-министра, которого песенка окончательно спета, и постепенно рисовал награды за показания против бывшего господина. Эта тактика имела полный успех. С 15 апреля начался ряд доносов крещёного татарина, безграмотных, бестолковых, но, тем не менее и именно по этим-то обстоятельствам, особенно важных. Кубанец доносил о ночных собраниях в доме благодетеля, о разных разговорах, об оскорбительных выражениях насчёт императрицы и Бирона, об отношениях господина к фрейлинам Анны Леопольдовны и о его проектах.

Для вящего поощрения Кубанца через несколько дней ему было объявлено от государыни полное прощение, с тем только условием, если им будут высказаны все вины Волынского. Поощрённый этим, Кубанец принялся писать доносы с какою-то лихорадочною деятельностью. Он беспрерывно припоминает новые обстоятельства, рассказывает целые разговоры и отдельные выражения и, наконец, в усердии своём дошёл до того, что объявил готовность рассказать то, о чём только возможно передать лично государыне наедине. Разумеется, от аудиенции с крещёным татарином она уклонилась, но приказала ему написать письмо, запечатать и прислать к ней.

Андрей Иванович очень хорошо понимал, насколько можно верить рассказам татарина,

сколько в этих воспоминаниях лжи и клеветы, но ему не правда нужна была, а нужно было придать преступлениям кабинет-министра политический характер.

На основании доносов Кубанца Андрей Иванович начал говорить с Артемием Петровичем суровее, вопросные пункты не ограничиваются, как прежде, «доношением» или побоями пиите, а забираются гораздо далее: спрашивают, с какою целью сочинена родословная дома Волынского, о чём и с каким намерением велись переговоры с фрейлинами Анны Леопольдовны. В конце вопросных пунктов звучит тоже новая струна, грозно указывающая на будущее: «Если по сим пунктам ты именно о всём не покажешь, то с тобою поступлено будет, как с сущим злодеем».

С Артемием Петровичем начинают говорить тем языком, в тоне которого слышится полная безнадёжность на счастливый исход. Да и могло ли быть спасение с того момента, как дело перешло исключительно в руки Андрея Иваныча и когда допросы стали производиться в тайной канцелярии. 23 апреля Артемия Петровича перевезли для заключения в Адмиралтейскую крепость. Тяжело отозвался в нём этот подневольный переезд. Невесело было ему и в своём доме сидеть запертым в одном кабинете, грустные мысли не покидали и там болезненно возбуждённого мозга, но всё-таки этот кабинет с двумя солдатами и вся эта обстановка были для него невыразимо дороги. Жизнью веяло от стен, от мебели, жизнью доносился до его слуха домашний шум, хотя и подавленный. Измученный и нравственно истерзанный, он жадно прислушивался, не отзовётся ли где-нибудь голос его милых детей, и как рад, счастлив он бывал, когда услышит шелест платья старшей дочери, урвавшейся под каким-нибудь предлогом пройти мимо кабинета и обронить ему милое слово.

Описать мучительное чувство, с каким он отрывался от своего дома и переходил в отдельную арестантскую камеру Адмиралтейской крепости, – невозможно. Голые замасленные стены нового помещения, убогая мебель и каменный пол дышали мертвящею форменностью.

Какое значение имело переселение, Артемий Петрович понимал, но это его теперь не пугало. Им овладело отчаяние, какое-то отвращение к жизни, страстное желание как-нибудь скорее с собою покончить. «Но как и где найти средства»? – спрашивал он себя, обводя глазами своё тесное новое помещение. И вот он увидел в углу, в мусорной куче, гвоздь. Не сознавая отчётливо, как и на что пригодится ему этот гвоздь, Артемий Петрович, как кошка, бросился в угол, отыскал гвоздь и спрятал в карман, но и это не удалось. Его порывистое движение обратило на себя внимание стоявшего у двери караульного офицера, и тот тотчас отобрал находку. Душа Артемия Петровича, по собственному его выражению, мутилась.

Два дня только просидел Артемий Петрович в адмиралтействе; в последних числах апреля его перевезли на содержание в Петропавловскую крепость как государственного преступника. В новых допросах, данных ему в петропавловских казематах, ясно выражается обвинение в злодейских замыслах, в намерении изменить существующий порядок правления в государстве; требуются подробности, как возникли, каким образом развивались эти клятвопреступные замыслы, кто именно и в какой мере принимал в них участие, кто составлял проекты и распространял их в широкой публике для привлечения разного чина людей гражданских и военных, с каким намерением сочинилась родословная картина, с каким намерением произносились обвиняемым предерзостные и клятвопреступнические нарекания на персону её величества, какие именно рукописи и книги были уничтожены, когда ему был запрещён приезд ко двору?

На все эти вопросы Артемий Петрович отвечал сбивчиво и спутанно; под ловкими изворотами опытного Андрея Иваныча он то сознавался, то отрекался в одном и том же вопросе. Только в одном он постоянно и настойчиво утверждал – это именно в отрицании злодейских замыслов о ниспровержении существовавшего правления в государстве. В сочинении проектов оправдывался обязанностями своими как кабинет-министра и указал на соучастников в сочинении – Хрущова, Еропкина, Соймонова, Эйхлера и де ла Суда, но отрицал намерение распространять их в публике с укоризною правления для императрицы.

Сознался также в предерзостных выражениях лично против Анны Ивановны, но объяснял их своею глупостью, раздражением или горестью, когда замечал в ней к себе немилость. Сознался также в осуждении пристрастия императрицы к иностранцам. Относительно книг и рукописей показал, что сожжено им было во время запрещения приезда ко двору только то, в чём не было нужды; сочинения Макиавелли, Докаллини и Юста Липсия взяты были из библиотеки Дмитрия Михайловича Голицына и что читали их не он один и конфиденты, но и люди посторонние: молодой князь Черкасский, генерал-прокурор князь Никита Трубецкой и сенатор князь Василий Урусов. Что же касается до сочинения родословной картины, то в этом он отрицал всякое злодейское умышление, объяснив тем, что действительно считал род свой весьма древним, по честолюбию «забрав паче меры ума своего».

Настал май. Весеннее солнце оживило природу, тёплые, ласкающие лучи его заиграли на синих струях быстро катившейся Невы, забирались за железную решётку каземата Артемия Петровича, освещали его истомлённое лицо, но не оживляли надеждою. Напротив, чем ярче становились лучи, чем шумнее журчали воды, разбиваясь о стены тюрьмы, чем чаще и обильнее проникали струи мягкого воздуха в затхлую духоту его каморки, тем досадливее становилось у него на душе. Не жизнь и не радость ему приносила с собою весна, а какое-то озлобление, испытываемое почти всегда теми, у которых на сердце глубокое, непоправимое горе. В моменты воскресения, общего ликования природы, яркие краски режут ещё глубже, ещё сильнее растравляют болезненные раны.

А между тем дни шли за днями, и Андрей Иванович, наблюдавший зорко за нравственным состоянием арестанта, систематически располагал свои допросы. В половине мая он допытывался с новыми вариациями, с какой целью в предисловии генерального проекта, в статье об истории великих государей российских, Иоанн Грозный назван тираном и не упоминались в числе государей Фёдор Алексеевич, Екатерина I и Пётр II? К кому были найденные в бумагах анонимные письма? О чём были разговоры с фрейлиною Анны Леопольдовны? Давал ли неодобрительные отзывы о герцоге курляндском и что разумел он, сравнивая императрицу Анну Ивановну с неаполитанскою королевою Иоанною? В допросах обращались к Волынскому как к клятвопреступнику.

На эти вопросы Артемий Петрович отвечал, что Иоанна розного тираном не называл, а о Фёдоре Алексеевиче, Екатерине I и Петре II не упоминал ради сокращения, без всякого злого умысла, что были ли писаны анонимные письма к кому-нибудь – не помнит; что разговоры с фрейлиною принцессы Анны Леопольдовны, с Варварою Дмитриевною, касались партикулярных дел, именно определения её родственника; что герцога курляндского считал опасным для государства, о чём не раз разговаривал с товарищем своим князем Алексеем Михайловичем Черкасским и с графом Платоном Мусиным-Пушкиным, и что, по предерзости своей, действительно, сравнивал императрицу Анну Ивановну с королевою Иоанною – в чём и винился.

Но Андрей Иванович не унимался и снова через несколько дней спрашивал: с каким намерением Артемий Петрович называл Иоанна Грозного тираном и при этом добавил некоторые новые вопросы о том, какие разговоры были у обвиняемого с конфидентами, в особенности с Еропкиным, о цесаревне Елизавете Петровне и голштинском принце; с каким намерением составил найденную в бумагах Артемия Петровича родословную дома Романовых; с каким намерением говорил с графом Головкиным о престолонаследии после Анны Ивановны; зачем старался распространить сведения о своей родословной и, наконец, имел ли намерение сделаться, посредством возмущения, русским государем?

На этот раз Артемий Петрович сознался в обозвании Иоанна Грозного тираном, но объяснил это тем, что так «противники пишут, а вовсе не для поношения, чего и в мыслях не содержал», сознался в разговорах о престолонаследии после императрицы, но отрицал всякие разговоры с Еропкиным об Елизавете Петровне и голштинском принце, отрицал намерение распространить свою родословную и положительно отрёкся от всякого намерения сделаться государем. Только относительно сочинения родословной дома Романовых ответы Волынского носят на себе тот характер, какой желал им придать Андрей Иванович.

Родословная Романовых была сочинена, по сознанию обвиняемого, в виду родства дома Волынского с великою княжною московскою Анною и в виду того, что так как дом Волынского не плоше Романовых, то, по свойству своему, преемниками российского престола могли быть правнуки обвиняемого, в случае пресечения фамилии императорского величества, так же как возведён был на престол Михаил Фёдорович.

21 мая получилось в тайной канцелярии повеление императрицы о пытке Волынского, а на другой день в розыскном застенке состоялась и сама пытка. Перед дыбою Артемия Петровича вновь допросили. На этих допросах он подтвердил прежние свои показания, по-прежнему отрицая разговоры об Елизавете Петровне и голштинском принце, а также и намерение сделаться государем посредством возмущения.

– Однако же это показывают на тебя твои же конфиденты единогласно: Хрущов, Еропкин и Соймонов? – допытывался Андрей Иванович.

– Пускай они при мне о том скажут, – говорил Артемий Петрович и просил поставить их перед ним очи на очи.

Артемия Петровича подняли на дыбу и дали восемь ударов. Пытка продолжалась полчаса, но до того умышленно утягчилась, что, по окончании её, правая рука Волынского оказалась неспособною к движению.

И после пытки он не изменил прежних показаний.

Между тем, одновременно с розыском над Артемием Петровичем, в тайной канцелярии на основании поданных Кубанцем доносов производились допросы конфидентам. Андрей Иванович ликовал, так как следствию было придано столь желаемое им направление: Волынский и его конфиденты сделались государственными преступниками. А доказательства? – в этом отношении он был спокоен… не могут же не найтись среди конфидентов такие, которые под пыткою, если не просто угрозою, не показали бы на себя и на других сколько угодно преступлений!

Вслед за арестом Артемия Петровича начались аресты и конфидентов, сначала только одного Хрущова, на которого главным образом указывал Кубанец, потом Еропкина и Соймонова, и, наконец, Эйхлера, де ла Суда, Гладкова и графа Мусина-Пушкина. Главных конфидентов прежде посадили в Адмиралтейскую крепость, а потом уже перевезли в Петропавловскую; к семействам их поставили караул.

Первым, ещё 18 апреля, допросили Хрущова, но его показания совершенно не удовлетворили Андрея Ивановича. Хрущов рассказал, что он действительно, по знакомству и по родству, часто бывал у Волынского, встречал там по вечерам разнообразную компанию, которая или приятно проводила время за картами, или за разговорами о партикулярных делах и деревенских нуждах. Но потом, на следующих допросах или под пыткою, он дал показания, вполне успокоившие Андрея Ивановича. Он положительно приписал Волынскому намерение через возмущение сделаться государем после смерти Анны Ивановны, а составление картины родословной и распространение в публике сведений о ней называл подготовительной работою.

Соймонов и Еропкин показали, что намерения сделаться государем Волынский не высказывал, но что такое намерение могло быть у него; что если бы он успел в том, то они были бы его сторонниками; что в собраниях читались проекты Волынского и высказывались предерзостные слова об императрице. Кроме того, Еропкин сознался в своём участии по составлению родословной картины, как он выразился, по глупости. На дальнейших допросах Еропкин говорил то же самое, с тем только добавлением, что вспомнил о разговорах с Артемием Петровичем, бывших ещё в Москве, о правах Елизаветы Петровны.

На основании этих-то показаний и состоялся допрос Волынского с пыткою.

После пыточного розыска поставлены были очи на очи: обвиняемый, Хрущов, Еропкин. На этой очной ставке все остались на своих показаниях; только Еропкин упрямо уличал Волынского в московских разговорах насчёт прав Елизаветы Петровны.

– Не помню, – уклонялся Артемий Петрович, – о ком я говорил тогда, но верно не о цесаревне, так как всегда считал её ветреницею.

Полученными результатами Андрей Иванович и помощник его Неплюев остались довольны. Они считали достаточно основательным указание на намерение Волынского совершить государственный переворот в свою пользу, и принялись за исследование вопроса – когда и какими средствами предполагалось провести это преступное намерение в исполнение.

На вопросы следователей по этому поводу все прежде арестованные: Хрущов, Еропкин и Соймонов – отозвались полным незнанием; точно так же показали впоследствии арестованные Эйхлер и де ла Суда.

Эйхлер сознался в посещениях Волынского, в разговорах с ним о герцоге Бироне, в чтении его проектов, в своих предостережениях относительно посещений бывшим кабинет-министром Анны Леопольдовны, чтобы не навлечь суспиций герцога, но о существовании намерения совершить государственный переворот не высказал ни слова. Ещё меньшего результата достигли следователи из допросов де ла Суда, который показал только то, что читал, с разрешения своего начальника, проект Волынского и посещал его семейство.

Следствие росло, принимая солидные размеры и захватывая собою всё больше лиц.

Следователи обратились было и к другим особам, посещавшим Волынского, но из этих лиц некоторые высокопоставленные: Румянцев, князь Урусов, Головкин – избавились вовсе от допросов, по повелению императрицы, а другие – князь Трубецкой, князь Черкасский и Новосильцев – ограничились одними показаниями, кто у себя дома, кто у императрицы. Но зато с особенным усердием следователи налегли на графа Платона Ивановича Мусина-Пушкина[46], человека резкого, честного, прямого, грубого и лично им неприятного.

Граф Платон Мусин-Пушкин лежал больной, в припадке подагры, когда явились к нему Андрей Иванович и Неплюев. Граф любил и уважал Волынского, хотя видел все его недостатки, разделял с ним ненависть к иностранцам-фаворитам, слышал подробно о производстве следствия и безошибочно предвидел, к чему оно должно привести. Он понимал, что, при неприязненных его отношениях к главному следователю, личное его спасение зависело от смысла его показаний, но правдивая душа не могла помириться ни с какими компромиссами, ни с какими отговорками эгоизма.

С суровою важностью встретив следователей, граф холодно спросил о причине посещения; его щетинистые брови спустились ещё ниже, и резче обрисовалась складка во лбу, между бровями. Сам Андрей Иванович, обыкновенно такой находчивый и развязный там, где чувствовал себя дома, смутился от упорного взгляда графа; в его объяснениях и чтении вопросительных пунктов невольно, через напускную наглую заносчивость, сквозило стеснение.

– Ближним согласником кабинет-министра Артемия Петровича я не бывал, – отвечал граф, следуя порядку вопросов, – но слышал от него о желании Бирона женить сына на принцессе Анне Леопольдовне; слышал также мнение, которое и сам разделяю, об опасности для государства от пристрастия императрицы к фавориту, в ком видел второго Годунова.

В дальнейших показаниях граф объяснил, что «доношение» Артемия Петровича он читал, но не одобрял примечаний, почему и советовал подать простую челобитную. Относительно же генерального проекта граф высказал, что всего проекта не читал, а слышал только отрывки и думал, что, по должности кабинет-министра, Волынский должен был заботиться об исправлении государственных дел, которых настоящее положение невозможно одобрять.

Последствием таких показаний было то, что графа заключили в Петропавловскую крепость, а к жене и детям его приставили караул.

Как ни усердно работал Андрей Иванович и как ни обманывал он себя, а в результат

---

[46] Сын сенатора, графа Ивана Алексеевича Мусина-Пушкина. Граф Платон Иванович долго жил за границею и считался одним из образованных людей своего времени, в молодости любил кутить, но всегда отличался прямизною характера.

всё-таки далеко не удовлетворял его ожиданиям. Самый главный факт – преступное намерение совершить государственный переворот – не подтверждался ни одним из многочисленных показаний свидетелей, за исключением пыточных речей Хрущова да неясного, бестолкового доноса Кубанца; о времени же и способах совершения вовсе не поступило никакого указания.

Андрей Иванович снова прибегнул к обыкновенному своему средству – пытке, и в первых числах июня все конфиденты Волынского подвергнуты были розыску, с дыбою, беспощадно: Еропкину, как главному конфиденту, дано было пятнадцать ударов, графу Мусину-Пушкину – четырнадцать, хотя он ни в чём не обвинялся и собственно не был конфидентом, Соймонову – двенадцать и Эйхлеру – десять ударов, но, несмотря на жестокость истязания, все эти лица, сознаваясь в конфиденстве с Волынским, совершенно отказались от обвинения в замысле ниспровержения государственного порядка. Почему же не донесли они своевременно о винах Волынского? Все оправдывались боязнью навлечь на себя гнев кабинет-министра. И здесь граф Платон выделился от других, буркнув поывисто и грозно: «А не донёс потому, что не хотелось быть доносчиком».

Обманувшись в расчётах на податливость и слабость конфидентов, следователи принялись снова за Артемия Петровича. 7 июня ему производили новую пытку, прежде и после которой отбирали показания. Основою служил всё тот же излюбленный пункт – государственный переворот, с некоторыми только добавочными, второстепенными вопросами по новому поступившему допросу Кубанца о восхвалении Волынским польских порядков, о справках в календаре о летах герцога Бирона и о найденных в бумагах Артемия Петровича копиях с кондиций верховников. Как прежде дыбы, так и после неё, обвиняемый показал одинаково, что не виновен в злоумышлении на государственный порядок, а что польские порядки похвалял и что, действительно, имел у себя кондиции верховников. При этом допросе Артемию Петровичу дано было восемнадцать ударов…

Нетрудно было видеть, даже и не такому опытному сыщику, как Андрей Иванович, что новым битьём, новыми истязаниями, хотя бы и до смерти, невозможно было добраться до ложного самообвинения в главном пункте, а входить в исследование дел по казанским и астраханским злоупотреблениям, по мнению генерала Ушакова, не стоило труда. О бесполезности дальнейших розысков Андрей Иванович поспешил донести своему патрону, герцогу Бирону, и не далее как в тот же день получилось всемилостивейшее повеление о прекращении следствия и о докладе «в обстоятельном изображении всего того, что открыто».

Теперь началась канцелярская работа, но и в ней генерал Андрей Иванович не ударил лицом в грязь. Требовалось из ничего сделать многое, из мыльного пузыря воздвигнуть капитальное здание – и он сделал это. Его «Изображение о государственных тяжких преступлениях и злодейских воровских замыслах Артемия Волынского и союзников его графа Платона Мусина-Пушкина, Фёдора Соймонова, Андрея Хрущова, Петра Еропкина, Ивана Эйхлера, також о Иване Суде» может служить беспримерным образцом ловкой изворотливости.

Сочинённое им «изображение» разделено на две части: в первой говорилось о предерзостном и плутовском письме, поданном императрице в самое нужное военное время, о побоях Тредьяковскому и о служебных злоупотреблениях; во второй же части излагались преступления собственно государственные. Эта последняя часть и обратила на себя всё внимание следователей и здесь-то, в полном блеске выказался хитроумный генерал-сыщик. Вся сила обвинений составляет массу, в которой, при всём усердии, невозможно разобраться свежему человеку. Почти все обвинения выражаются неясно, неточно, туманно, какими-то полусловами, многие повторяются по нескольку раз, только одетые в другие формы, и все они изложены языком до крайности неясным. Во всём «изображении» видно усилие следователей затуманить дело до того, чтобы оно из мыльного пузыря представлялось чем-то веским. И действительно, в этом отношении они достигли своей цели. По их «изображению», преступления Волынского могли показаться современникам, в особенности

женскому воображению, имеющими громадное и опасное значение. Обвинительных пунктов множество, но из этой массы можно формулировать следующие виды преступлений: осуждение существующих государственных порядков, объясняемых обвиняемыми неспособностью императрицы и пристрастием её к иностранцам; попытки к изменению этих порядков сочинением различных рассуждений и проектов; руководство вредными, противными самодержавию сочинениями Юста Липсия; желание поселить раздор в императорской фамилии, выраженное в тайных сношениях с двором Анны Леопольдовны; осмеяние высокопоставленных особ в частной переписке; приравнение своего дома с домом Романовых; привлечение к себе конфидентов и союзников для совершения государственного переворота, чему служило распространение сведений о проектах и картине родословной и, наконец, выраженное очень сбивчиво желание Волынского, что его потомки могут быть на российском престоле. К этим главным пунктам присоединялись второстепенные: имение кондиций верховников и денежные злоупотребления, которым, впрочем, и сами следователи не придавали особенного значения.

Обвинения Хрущова, Соймонова, Еропкина, графа Мусина-Пушкина и Эйхлера состояли в конфиденциях с преступником Волынским и в участии по составлению проектов, а де ла Суда – в чтении генерального проекта и в посещениях дома Волынского, даже в то время, когда поставлен был домашний арест. В таком виде было представлено «изображение» на рассмотрение императрицы.

В докладе не упоминалось ни слова о тайном конфиденте, истинном виновнике перерождения Артемия Петровича, влияние которого просветило взгляды кабинет-министра и направило его в высшие сферы, – Василии Никитиче Татищеве. Такого влияния не понимал генерал-сыщик, да и исследование этого вопроса, с точки зрения Андрея Ивановича, было бы совершенно бесполезно: Василий Никитич сам в это время сидел в крепости, хотя по другому делу.

XIX

– Так вы думаете, почтенный граф? – спрашивал герцог Бирон, когда граф Остерман прочитал с должным вниманием и как будто в первый раз изображение вин Артемия Петровича.

Накануне это «изображение» было представлено генералом Ушаковым герцогу для представления императрице, но, прежде чем доложить государыне, герцог нашёл необходимым приехать из Петергофа, где проводили это лето императрица и двор, в Петербург, чтобы посоветоваться с оракулом.

– Всенепременно препозирую, ваше высочество.

– Суд… это, знаете, опасно… Можно и другими средствами избавиться от опасного человека…

– Какими же другими средствами, ваше высочество?

– Какими?! вы очень хорошо знаете, какими… – с досадою заметил Бирон, понимавший источник недогадливости осторожного вице-канцлера.

– Инаковых средств, ваше высочество, я не вижу, приводя в соображение ваше высокое положение и официальные обязанности преступника… – отвечал граф тем же равнодушным голосом, с кряхтением и оханьем, являвшимся у него при разговоре о важных материях. – Притом же, и законные средства приведут к такому же результату, – добавил он, спустив голос чуть не до шёпота.

– И суд должен быть из русских?

– Всенепременно из русских.

– А если оправдают?

Засмеялись ли глаза Андрея Ивановича, не было видно под опущенным тафтяным зонтом, но по губам почти незаметно промелькнула усмешка.

– Опасности никакой, ваше высочество. Русские глубоко понимают свои интересы… я

хотел сказать, что они слишком справедливы… а между тем на иностранцев не падёт никакого нарекания, да и императрица будет довольна.

– Да… посмотрю… я почти согласен с вами, граф. Разумеется, суд должен состоять из лиц надёжных… я помещу Ушакова.

– Ни под каким претекстом, ваше высочество. Для меня это всё равно… лично до меня дело Артемия Петровича не касается, но… ваше высочество… иностранные правительства…

– Какое же тут дело иностранным правительствам? – с недоумением спросил герцог.

– Во всех иностранных землях принято регулом, для пользы обвиняемого, не назначать в суд то лицо, которое производило над ним инквизицию, и если этот регул нарушится, то… могут подумать, что гибель подсудимого была в интересе вашего высочества.

– Так, по-вашему, граф, суд должно предоставить одним русским, а самим сложить руки?

– По моему бедному разумению, ваше высочество, совершенно так. Конечно, если желаете иметь своевременные сведения о различных расположениях господ членов, то можно назначить в суд человека полезного…

Герцог задумался. Наконец, его голову осветила мысль, продиктованная вице-канцлером, которую он тотчас же, не стесняясь, признал за своё творение.

– Я придумал, граф, отличную меру. Назначу туда, – герцог в последнее время почти постоянно, в особенности в разговоре с близкими людьми, говорил от себя, когда приходилось говорить от имени императрицы, – назначу туда тайного советника Неплюева, который, собственно, не следователь, а, так сказать, депутат. Он будет проводить мои мысли и если заметит в ком противодействие, то не замедлит мне донести.

– У вашего высочества и нам, старикам, приходится поучиться мудрым соображениям.

– Да… да… так… так… – продолжал герцог, не слушая Остермана, – мысль, право, не дурна. А кого назначить членами?

– Если вашему высочеству угодно обратить внимание на моё ничтожное мнение, то не позволите ли мне сообразиться и составить списочек, который буду иметь честь доставить к вам сегодня же с нарочным?

– Хорошо, хорошо. Да что, вы всё больны? – теперь только удостоил вспомнить герцог. – Государыня о вас спрашивала.

– Премногими милостями осчастливлен и, как только поправлюсь, не премину явиться.

Герцог ушёл, вполне довольный своею гениальностью и с явным пренебрежением к вице-канцлеру.

«Не понимаю, почему считают его умным и хитрым, – думал он, – по моему мнению, человек не из весьма далёких. Конечно, опытен, двадцать лет занимается одним делом, без сомнения полезен, но не богат высшими соображениями».

Тем же вечером нарочный привёз к герцогу курляндскому от вице-канцлера списочек, а на следующее утро, двадцатого июня, последовало и повеление императрицы о назначении генерального собрания для обсуждения преступлений бывшего кабинет-министра. В члены собрания были назначены: генерал-фельдмаршал князь Трубецкой, кабинет-министр князь Алексей Черкасский, генерал-прокурор князь Трубецкой, тайные советники Наумов и Неплюев, обер-штер-кригскомиссар Микулин, от гвардии майоры Стрешнев, Пётр Черкасский и Ченцов, от военной коллегии генерал-лейтенант Игнатьев и генерал-майор Измайлов, от адмиралтейской коллегии советник Мишуков, от юстиц-коллегии вице-президент князь Трубецкой и советник Самарин, от полиции бригадир Унковский.

Генеральное собрание, покорное приказаниям свыше, выслушало «изображение» и, не входя в излишние рассуждения о преступлениях Артемия Петровича и представленных доказательствах, единогласно, в одно заседание двадцатого июня, на основании уложения царя Алексея Михайловича и воинского артикула Петра Великого, приговорило Волынского и всех его конфидентов к смертной казни, с разнобразием только её видов. Самого Волынского, как главного мятежника и вожака, присудило посадить живого на кол, предварительно вырезав язык, Соймонова, Хрущова, Еропкина, Мусина-Пушкина –

четвертовать и потом отрубить головы, Эйхлера – колесовать и отрубить голову, точно так же отрубить голову и де ла Суде, без предварительных, впрочем, истязаний; детей Волынского сослать в вечную ссылку и, наконец, имения всех виновных конфисковать.

Сентенция вполне удовлетворила ожиданиям герцога; даже, в порыве великодушия, он нашёл её немножко жестокою. Русские оказались ретивее немцев в битье самих себя.

На другой день Анна Ивановна в присутствии своего обер-камергера Бирона слушала доклад генерального собрания об изображении вин Артемия Петровича и о сентенции суда. С напряжением вслушивалась она в доклад «изображения», силясь понять, что такое в этом цветистом слоге, и – не могла. В ушах её постоянно раздавались слова: предерзостный, злодейственный, клятвопреступнический, но в чём именно заключалось злодейство и действительно ли оно было, никак не могла убедиться. Отпуская секретаря, она приказала оставить доклад у неё.

– Не могу понять, в чём злодейство Артемия Петровича? – обратилась императрица к обер-камергеру.

– Кажется, ясно изложено в «изображении».

– Ясно-то ясно, да я всё в толк не возьму, как это человек, который был таким преданным («и у которого такие хорошие глаза», – вставила про себя государыня) – вдруг ни с того, ни с сего сделался злодеем.

– Да, по моему мнению, вашему величеству и рассуждать-то не должно. Целое собрание беспристрастных сановников, умных судей, товарищей же виноватого, рассматривало, обсуждало; кажется, положиться можно.

– Наказание-то ужасно, – проговорила императрица задумавшись. – Каждый человек, – начала она снова, – может ошибиться. Могли и они слишком уж строго посмотреть…

– Что же вам угодно? Сами, ваше величество, говорите, что не понимаете, вице-канцлеру не верите и, наконец, мне…

– Тебе не верю, Эрнст? Бога ты не боишься, – испугалась государыня.

– Так чего же вы хотите?

– Вот что я придумала… Покажи этот доклад ещё некоторым. Если и они то же скажут…

– Тогда утвердите?

– Да… посмотрю…

– Кому же прикажете показать?

– Покажи моему гофмаршалу Шепелеву, Салтыкову Василию да ещё Степану Лопухину.

– Так вы им больше верите, чем всем нам?

– Совсем не то, что больше верю, а всё же свежие люди.

Желание государыни озадачило и напугало герцога. Ну а если эти свежие люди не согласятся или поведут дело в оттяжку, мало ли что может случиться… здоровье государыни так ненадёжно… Да и подозрительны эти свежие люди, особенно этот Лопухин… К счастью, советы вице-канцлера не пропали даром и голову герцога снова озарила счастливая мысль.

– Если ваше величество желаете узнать мнение приближённых к себе лиц, то нельзя обойти обер-шталмейстера Куракина.

– Всем известно, как он не любит Артемия Петровича… – нерешительно заговорила императрица.

– Это-то и заставит его быть больше других беспристрастным, а обойти его значит обидеть.

– Пожалуй, покажи ему.

Большего удовлетворительного результата так на этот раз и не добился Эрнст-Иоганн от Анны Ивановны.

Немедленно избранным Куракину, Шепелеву, Салтыкову и Лопухину было прочитано «изображение» и приговор. Выслушав то и другое, они, разумеется, нашли подсудимых достойными смертного мучения и мнение своё тотчас же изложили государыне в отдельной

записке: «Помянутый Волынский и сообщники его все показанным в том приговоре казням весьма достойны и никакого помилования им, яко сие дело государственное, учинить не можно, дабы такие жестокие казни впредь другим экземпляр были, и в том, тако же и в прочем, как в том приговоре написано, во всём они согласны».

Боясь дальнейшего отлагательства в развязке дела Волынского, герцог курляндский в следующее же утро решил доложить о мнении приближённых. Да и время к тому оказывалось самое благоприятное. Расстроенное здоровье императрицы в последнее время сделалось чрезвычайно чутким ко всем атмосферическим изменениям. В тихий, солнечный день она чувствовала себя бодрее и веселее, каталась, ходила пешком, хотя со значительною отдышкою, временами даже занималась делами и любимою охотою, но когда выпадали ненастные, сырые и туманные дни, а это в петербургском климате не редкость, тогда императрица становилась беспокойною, раздражительною, жестокою, охала и жаловалась на ломоту в ногах.

Утро двадцать третьего июня отличалось такою скверною погодою. Довольно резкий северный ветер нагонял чуть не сплошные группы серых облаков, быстро бегущих, спускавшихся к земле и разрешавшихся не дождевыми каплями, а плотным тягучим туманом, пронизывающим холодом и сыростью. Ветер свободно ходил сквозь неплотно пригнанные и от времени ещё более расшатавшиеся ветхие рамы Летнего дворца в Петергофе, безбоязненно прогуливался по всем апартаментам, нагоняя тоску на лица даже подневольных весельчаков, шутов и карлов. В такую погоду императрица обыкновенно замыкалась в своём кабинете, на своём любимом глубоком кресле, с опущенными на пуховую подушку и спелёнутыми в заячий мех ногами. И теперь это серое и сырое утро застало императрицу в этом же кабинете, за письменным столом, закутанную в тёплую шубку с гагачьего опушкою. Анна Ивановна испытывала припадки подагры, в приступах которой она не терпела никакого шума и никакого движения, раздражавших её нервы. Тогда замолкали рассказчицы и шутихи, только не терял полной свободы попугай государыни, сидевший в углу в золотой клетке. Государыня то вдруг вытягивалась, запрокидывая голову и вскрикивая, когда припадок усиливался острым колотьём, то наклонялась над столом, машинально чертя пером по бумаге, когда утихла боль.

– Куку! Федора, поди сюда! – кричал попугай, и готическими буквами государыня выводила эти слова на бумаге. – Хозяйка Варвара! Катюшка! – продолжал выкрикивать попугай, и то же повторялось под пером. Попугай замолчал, но императрица всё продолжала выводить буквы каких-то странных отрывистых слов, без значения и смысла: «Иван Иваныч, кукла, Ивановна, Анна, собака лает»[47].

Дверь размахнулась, и вошёл герцог курляндский с бумагой в руке. Оживившееся было лицо императрицы при входе герцога снова затуманилось, когда она заметила в руках бумагу.

– Здравствуй, Эрнст, какая тоска!

– Скверная погода, государыня, у вас опять припадок?

– Да, ужасный, я так страдаю.

– Не позвать ли доктора?

– Не нужно, никакой нет от него помоги.

– По вашему приказанию, ваше величество, – начал герцог снова, после непродолжительного молчания, – я вчера передавал избранным вами лицам «изображение» и приговор над Волынским, и они представили мне нынче своё мнение.

– Ну, что они?

– Как и следовало ожидать, совершенно согласны с приговором генерального собрания.

Герцог прочитал мнение Куракина и его товарищей.

---

[47] Одна из подобных записок найдена Авраамом Полубояриновым в черновых бумагах императрицы и герцога Бирона. «Русская старина», окт. 1879 г.

– Теперь угодно будет вашему величеству утвердить приговор?

– Нет, Эрнст, не могу, не могу и не могу, – решилась высказать императрица.

– В таком случае, я имею честь представить вашему величеству моё всенижайшее прошение, – и герцог вынул из кармана сложенную вчетверо бумагу.

– Что это такое, Эрнст?

– Моё прошение, ваше величество, меня судить и казнить.

– За что, Эрнст? Ты с ума сошёл?

– Кого угодно выбрать вашему величеству: или меня, или Волынского, но обоим вместе нам быть невозможно.

– Да разве я могу без тебя? – с тоскою проговорила Анна Ивановна.

Герцог полунасмешливо и полунагло пожал плечами.

Но он тотчас заметил, что зашёл слишком далеко. По складу характера Анна Ивановна была способна, при малейшем даже подозрении оскорбления, быстро переходить от самоунижения к крайней надменности, в которой, быть может, впоследствии горько раскаялась бы. Голова её выпрямилась, брови сдвинулись, и губы сложились в неприятную жёсткую улыбку. Заметив это, герцог переменил роль. Дерзкое и наглое выражение лица быстро сменилось мягким и заискивающим. Герцог покорно опустился на колени, горячо прижал к губам руку императрицы и заговорил умоляющим тоном:

– Поверьте, государыня, мною руководит не личная неприязнь к Волынскому, а глубокая преданность вам. Я охотно простил бы ему злобу против меня и против всех тех, которые вас окружают, но я не в силах терпеть его горячего осмеяния своей благодетельницы, которая спасла его от казни, вывела из ничтожества и осыпала милостями. Да и дерзкими оскорблениями он не ограничился, он замыслил изменнические планы погубить достойную монархиню и самому занять её место со своими сообщниками. Не конечная ли была бы гибель всему государству? Отсеките, умоляю вас, заражённый член и спасите народ – этой жертвы требует Бог и отечество! Но если вы не согласны, государыня, то, умоляю вас, отпустите меня навсегда… Я уеду в Курляндию… Германию или куда-нибудь; но здесь оставаться не могу…

Лицо Анны Ивановны прояснело.

– Хорошо, Эрнст, я согласна, но не хочу лишних мучений. Пусть Волынского казнят, отсекут ему голову, пожалуй, вырежут язык, может, он это и заслужил, но не хочу медленных мучений, пусть отсекут головы его главным сообщникам. Хрущову и Еропкину, но других от смертной казни прощаю… Прикажи изготовить указ.

Императрица задумалась, опустив голову, а в углу попугай снова начал выкрикивать: «Куку, Ивановна!»

Довольный успехом, Бирон поспешил распорядиться исполнением, и в тот же вечер состоялся приговор императрицы, в котором определялось значительное смягчение наказаний, назначенных генеральным собранием. Волынскому назначалось, после вырезания языка, отсечь правую руку и голову, Хрущову и Еропкину – отсечь головы, Соймонову, Мусину-Пушкину и Эйхлеру сказать смертную казнь, но потом объявить милосердие императрицы и помилование, взамен же казни Соймонова и Эйхлера бить кнутом и сослать в Сибирь на вечные работы в отдалённые места, а Мусина-Пушкина, по урезании языка, заключить в Соловецкий монастырь, где и содержать в наикрепчайшей тюрьме «под крепким караулом». Ивану Суде назначалось нещадное битьё плетьми и потом ссылка на вечное житьё в Камчатку. Далее в указе излагались распоряжения о высылке детей Волынского в дальние места Сибири и о конфискации имуществ, принадлежащих осуждённым. Тем же вечером арестантам объявили смертный приговор.

Артемий Петрович выслушал его спокойно и почти равнодушно. Казалось, что после пыточного розыска жизнь потеряла для него всякое значение и все житейские бури отошли от него далеко, он только изъявил желание видеть духовника. По объявлении смертного приговора ему даже стало легче, как будто спала с души давящая тяжесть, и он заснул глубоким сном, почти в первый раз после своего заключения. Спал он часов шесть, и

приснился ему странный сон. Видит он, будто входит во храм, которого прежде никогда не видал, идёт по храму всё дальше, входит в алтарь, будто в церкви никого и темнота такая, что с трудом можно различать предметы. «Отчего свечей не зажжено?» – спрашивает он. «Ужо засветят», – отвечает священник, вышедший к нему из алтаря. Лицо и одежда священника живо остались в памяти.

Встал на другой день Артемий Петрович освежившимся и рассказал свой сон приставленному к нему караульному офицеру Каковинскому, с которым во время содержания сошёлся и беседовал нередко и подолгу. Подивились оба они ему, но ещё более удивились, когда вошёл в камеру духовник отец Фёдор. Да, это бледное исхудалое, симпатичное лицо, которое он видел во сне; те же кроткие, синие и полуопущенные глаза, из которых, когда они поднимались, волною лилось прямо в душу всеусмиряющее прощение; то же смирение в наклоне седой головы; тот же тихий, едва слышный говор и, мало того, тот же истёртый подрясник. Артемий Петрович обрадовался ему, как давно ожидаемому другу, о котором тосковала душа.

Разговор начался о молитве[48].

– Вот в молитве Господней сказано, – говорил Артемий Петрович, – «оставь нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим», так, стало быть, если я не оставляю должникам своим, то и не могу просить об оставлении своих?

– Не может сердце, ещё наполненное злобою, сын мой, всецело открыться Богу, неиссякаемому источнику милосердия, прощения и любви.

– А грешил ли я, – продолжал Волынский, – когда, бывало, молился: «и даждь, Господи, оставить должником моим».

– Не грех, а благодать Божия молиться о даровании нам духа милосердия. Грех в неисполнении Его завета.

– А кто же исполняет завет Господа? – с горечью спросил Волынский. – Вот и отцы духовные много говорят проповедей, а сами что делают? Знаю я, как один духовник на исповеди вздумал целовать девушку.

– Мало ли чего не бывает, – кротко улыбнулся отец Фёдор, – но осуждать мы не должны: внешнее нам видно, а раскаяние от нас скрыто.

Беседа продолжалась долго и кончилась исповедью. По уходе священника мятежные мысли обступили Артемия Петровича, и в душе поднимались упрёки и ропот.

– Просил я себе смерти, – передавал он Каковинскому, – а как смерть объявлена, так и не хочется умирать.

По временам возмущала его и самая обрядность позорной смерти.

– Если бы знал я, – продолжал он тому же Каковинскому, – так я ещё в своём доме сумел бы умертвить себя… а то пробовал в адмиралтействе, да не удалось.

Два дня оставалось жить Артемию Петровичу, и чем далее шло время, тем мятежнее становился дух его. То у него всплывало негодование на бывших сослуживцев, от которых не было ни поддержки, ни сочувствия.

– Будем судиться на оном свете, – высказывал он, жалуясь на Гаврилу Ивановича Головкина.

То его тревожила безотрадная будущность детей. Желая хотя сколько-нибудь успокоиться на этот счёт, он просил генерала Ушакова и Неплюева посетить его каземат, а когда они пришли, то умолял их о неоставлении и поддержании детей. Их же просил он о разделе оставшегося у него скудного имущества, о передаче после его смерти креста с мощами сыну Петру, образа дочерям, а одежды духовному отцу[49].

– Виноват я перед Богом и её императорским величеством много в мерзких словах, в

---

[48] Разговор Волынского с отцом Фёдором Листьевым исторически верен.

[49] Одежда действительно была передана священнику, но крест и образ исчезли неизвестно куда.

предерзостных, непорядочных и противных поступках, сочинениях и прегрешениях, – обратился он к Ушакову и Неплюеву с последнею просьбою, – но прошу её императорское величество, чтобы за такие мои тяжкие вины не четвертовать.

Теперь в нём не было ни той приниженности, с какой он обращался в начале процесса к своим следователям, ни той лукавой изворотливости, которая спасла его в начале царствования Анны Ивановны; напротив того, самую просьбу свою о смягчении казни он высказывал без унижения, как будто говоря не о себе самом.

Канун смерти Артемий Петрович провёл в полнейшем отрешении от внешнего мира, и часто караульные видели его стоящим на коленях перед образом, с шевелящимися губами. Раза три посетил его отец Фёдор, говорил с ним тихо и долго, а о чём, о том знал только один Бог, но каждый раз по его уходе становилось светлее лицо страдальца. Многое пережилось им в эти последние часы, едва ли не более, чем во всю прошедшую жизнь. Ясно представилось ему, сколько нечистоты, личного эгоизма, несправедливости и жестокости внёс он в своё святое дело, в дело о благе родины; понял, как немилосердно поступал он со своими политическими соперниками; молил о прощении у казнённых по его настояниям Жолобова, Долгоруковых и Голицыных; понял, что судьба народа зависит не от воли эгоизма, а от руки Бога, ведущего по определённому, неизменному пути; припомнились ему и другие, оставшиеся незримыми для общества, не показанными им тяжёлые грехи, грехи человеческой похоти, унижающей и уничтожающей человеческое достоинство ради минутного удовлетворения – и благодарил Бога за искупление смертью стольких преступлений.

Между тем, по распоряжению неугомонного генерала Ушакова, производились спешные приготовления. К Сытному рынку на Петербургской стороне подвозились различные орудия, плахи и доски, а рабочие, перекидываясь шутками, усердно трудились над постройкой эшафота. Одновременно по всему городу проходили полицейские команды, объявлявшие на всех площадях и перекрёстках с барабанным боем о казни некоторых важных (не называя имён) злодеев, назначенной на следующий день, 27 июня, в 8 часов утра.

Ранним утром 27 июня Ушаков и Неплюев в сопровождении команды обходили казематы осуждённых, торопя к последним сборам. К камере Артемия Петровича они подошли после других, предположив оттуда отправиться сразу на площадь. Но ещё гораздо ранее их предупредил отец Фёдор. Отслужив заутреню и успев до прихода Ушакова обойти со святыми дарами всех конфидентов, он вошёл к Волынскому.

Артемий Петрович спал безмятежным сном. Жаль было отцу Фёдору будить этот последний сладкий сон, но время шло вперёд неумолимо. Тихо дотронулся он до плеча. Артемий Петрович вздрогнул, как от электрической искры, и широко раскрыл глаза. Быстро вскочив со скамьи, он машинально обдёрнулся, пригладил рукою волосы и протянул руку под благословение.

Началась последняя исповедь. Вся душа вылилась в этой чистой беседе с Богом человека, очищенного от земной тлетворности, в присутствии живого посредника. После исповеди Артемий Петрович причастился святых даров.

Пробило семь часов, и с последним звуком боя вошли генерал Ушаков и Неплюев с командою. Как ни был подготовлен Волынский, но при входе палачей сердце порывисто сжалось и смертная бледность покрыла спокойное лицо.

– Молись, сын мой, и помни, что Господь ожидает тебя в вечной жизни, – ободрял отец Фёдор.

Артемий Петрович перекрестился и, не сводя глаз с распятия в руках священника, коротко проговорил:

– Готов.

Двое от команды отделились и подошли к нему. Один взял в обе руки голову несчастного, а другой с ножом в руке приготовился к операции. Впрочем, Артемий Петрович не только не сопротивлялся, но, напротив, сам раскрыл рот и вытянул язык. От неискусства ли специалиста, от притупленности ли ножа или от невольного смущения, но операция

совершилась медленно, в несколько приёмов, с несколькими лишними порезами. Кровь хлынула потоком, залила горло от запрокинутого положения головы оперируемого и едва не задушила его. Требовалось немедленно остановить кровь, но стоит ли?

«Ну, а если истечёт кровью и зрелище нарушит?» – испугался было генерал, но, обстоятельно обдумав, совершенно успокоился. Всего до отсечения головы оставалось не более четверти или половины часа, стало быть, не могло произойти значительной потери крови. Андрей Иванович знал эти дела хорошо. Притом же и хлопотать из-за таких пустяков было некогда, только и успели завязать назад руки осуждённого да подвязать ему кожаный подбородник, плотно закрывший нижнюю часть лица от носа, и завязать этот мешок позади головы. Кровь, стекавшая в кожаный мешочек, не проступала наружу и не производила неприятного впечатления. Этот подбородник, изобретением которого гордился сам Андрей Иванович, разом исполнял две службы: охранял приличие и в то же время безобразил преступника.

Андрей Иванович махнул рукою, и осуждённый со священником в сопровождении команды направился к выходу в коридор, где присоединились к нему остальные арестанты. Сытный рынок наполняла народная масса, теснившаяся к центру, где возвышался эшафот, окружённый густою цепью гвардейских солдат. Мерно и тихо, под звуки барабана, подвигалось шествие по площади, и к исходу восьмого часа все были у эшафота.

Прекрасным, ликующим днём провожал Артемия Петровича земной мир. Всё казалось радостным и оживляющим, за исключением, разумеется, человека и тёмных дел его. Солнышко весело перебегало, отражаясь яркими лучами от шпица Петропавловской крепости, от штыков гвардейцев и от лезвия топора, заботливо вычищенного на этот случай. Светлый колорит лежал и на группах деревьев, окаймлявших крепость, и на пёстрой толпе народа. Так хорошо и ласково всё; ласкал мягкий воздух, освежающий лёгкими порывами ветра, ласкали и синие невские струи, журчавшие последнюю песенку осуждённым, но не видел и не чувствовал радости Артемий Петрович. От большой потери крови силы значительно ослабели и нервы притупились. Бессознательно шёл он, окружённый хранителями, не слыша боя барабанов от неправильных ударов собственного сердца и шума в ушах, не видя толпы и не распознавая почти ничего от тумана, застилавшего глаза. Машинально исполняя приказания, он взошёл на эшафот впереди товарищей, слышал, но не понимал, как асессор тайной канцелярии громогласно читал указ императрицы, смягчающий наказания, и как подошёл к нему какой-то человек с широким угреватым лицом, с засученными рукавами.

Заплечный мастер без труда привёл Артемия Петровича в положение, наиболее удобное для последней операции, и начал работу. От первого удара топора отделилась правая рука, от второго скатилось бледное лицо с подбородником. Вслед за головой мятежного Волынского скатились головы его ближайших конфидентов Еропкина и Хрущова.

По окончании этой работы началась другая, более сложная и более мучительная. К особого рода скамье (кобыле) со специальными приспособлениями привязали по оконечностям обнажённые тела Эйхлера, Соймонова и де ла Суда таким образом, что сделалось невозможным всякое движение. На их обнажённые спины заплечный мастер, с изощрённым искусством от частых опытов, стал наносить правильные удары – Эйхлеру и Соймонову кнутом, а де ла Суде плетью. Били их нещадно.

Церемония кончилась, и толпа стала расходиться. Во время совершения казни народ молчал и как-то боязливо ёжился. Несмотря на многотысячное сборище, мёртвая тишина позволяла отчётливо слышать каждый свист кнута, каждое карканье вороны, усевшейся на крепостной стене. Да и нельзя было разговаривать, когда всякий знал, что за спиной у него может очутиться шпион, что за каждое неосторожное слово, подобранное лихим человеком, может и сам подвергнуться такой же операции. Разве уж самому верному человечку иной приятель шепнёт на ухо: «А что, братина, а зачем намордник-то надели на вожака?» – «Эх, брат, знамо зачем, – тоже на ухо ответит приятель, – гвоздём забили рот, чтоб не болтал в

народе всячины».

Истерзанных, окровавленных Эйхлера, Соймонова и де ла Суду сняли со скамьи и отнесли в крепость, для рассылки по отдалённым краям Сибири: в Охотск, за Якутск и на Камчатку, а обезглавленные тела оставили валяться на эшафоте более часа, пока не удосужились прислать за ними телегу, в которой и перевезли на Выборгскую сторону, для погребения у церкви святого Самсония Страннопримца.

Детей Артемия Петровича, как лиц опасных, упрятали по надёжным местам: Анну Артемьевну постригли в Знаменском монастыре в Иркутске под именем Анисьи; Марью Артемьевну постригли в Рождественском монастыре в Енисейске, а десятилетнего Петра сослали в Селенгинск, со строгим наказом содержать его как можно строже и с запрещением посторонним лицам вступать с ним в разговоры.

В числе обвинённых, понёсших публичную казнь, не было графа Мусина-Пушкина. Относительно его генералом Ушаковым приняты были приличные меры в самом месте его заключения, тотчас после окончания церемонии на эшафоте.

Сидя в своём каземате, граф Платон слышал с раннего утра особенное движение в смежных камерах, где находились его товарищи; слышал, как выводили их и потом вели мимо его камеры по коридору, для казни, и в нём забурлила желчь, готовая вскипать при всяком удобном и неудобном случае. «За что обошли меня, графа Пушкина, когда всех нас генеральное собрание одинаково присудило четвертовать… Подлые скоты! Негодяи! Не хотят ли задавить меня здесь, как мышь в мышеловке», – ворчал он, отряхивая от глаз нависшие жёсткие космы волос.

Через два часа посетил графа Платона аккуратный Андрей Иванович, и посетил не один, а с тою же командою, с какою был у Волынского, и с теми же специалистами. Прочитав указ императрицы о смягчении приговора собрания, Ушаков приступил к исполнению. Не обрадовался такому смягчению граф, напротив, ему стало горько и обидно. Урезать язык графу Пушкину, как какой-нибудь болтливой бабе!

После операции графа Платона отослали в Соловки, в известную Головленскую тюрьму, на берегу озера, не отапливаемую и не освещаемую, но зато вдосталь насыщенную сыростью. Строгое заключение ещё более подорвало сильно расстроенное здоровье графа, и он, тотчас же по прибытии туда, начал кашлять кровью. К счастью, такое содержание продолжалось недолго: через месяц после прибытия, по распоряжению герцога, граф Платон выехал из Соловецкого монастыря в Симбирскую губернию к своей жене, где и прожил всю остальную жизнь.

Кроме главных конфидентов было захвачено ещё множество других, менее важных, об участи которых тоже позаботился Андрей Иванович; они тоже были разосланы по отдалённым квартирам.

Кружок Артемия Петровича окончательно рассеялся, но не исчезла идея, воспринятая им, тогда ещё не осознанная, способная к жизни и отразившаяся потом в иной форме, при иных обстоятельствах.

Опозоренный прах нашего первого земца мирно покоится на кладбище Сампсониевской церкви и ждёт своего чествования. На могиле его лежит почти вросшая в землю плита, на которой поставлен четырёхсторонний гранитный пьедестал, увенчанный небольшою мраморною урною. На плите уцелела следующая надпись:

ВО ИМЯ В ТРИЕХ ЛИЦАХ
ЕДИНАГО БОГА
ЗД ЛЕЖИТ АРТЕМЕЙ ПЕТРОВИЧ ВОЛЫНСКОЙ
КОТОРЫ ЖИЗНИ СВОЕЙ ИМЕЛ 51 ГОД.

Такая же надпись имеется и на урне, с добавлением и о других погребённых:

ПРЕСТАВИЛСЯ ІЮНЯ В 27 ДЕНЬ 1740 ГОДА.

Тут же погребены Андрей Фёдорович Хрущов и Пётр Еропкин.

XX

Гул официального извещения несётся по всему Петербургу; деревянные дома и домишки, из которых большею частью и состояла столица, плохо утверждённые в болотистой почве, трясутся от грохота беспрерывных пушечных выстрелов; радостный трезвон колоколов во все закоулки рассказывает о новом важном событии – рождении сына у принцессы Анны Леопольдовны. Пригодился-таки Антон-Ульрих, блистательно опровергнув клевету владетельного герцога курляндского об его будто бы ни к чему неспособности. Во всех церквах служат торжественные благодарственные молебны за благополучное разрешение, с молитвами о будущем многолетии и благоденствии новорожденного Иоанна, которого жизнь и кончина сделались такими трагическими и такими таинственно-загадочными.

Несмотря, однако же, на официальные торжества народ оставался равнодушным к новому событию: он не видел никакой радости, не предчувствовал никакого проблеска лучшего будущего. Да и могло ли быть иначе? Народ и двор жили особняком. Двор и вся правительственная среда были для народа совершенно чуждою сферою, незримой и не связанной с ним никакими жизненными интересами. Выпадали, конечно, случаи, когда народ удостоивался видеть императрицу, но её суровое и несимпатичное лицо не шевелило в душе его радостного восторга; видел двор её, принца Антона, о котором и до него доходили отзывы с пренебрежением; принцессу Анну, виновницу наступившего торжества, которой задумчивый и постоянно грустный вид не мог привлечь горячих симпатий; видел владетельного герцога курляндского, надменного и презрительного, не удостоивавшего взглянуть на него по-человечески; видел блестящее созвездие немцев и позади их тянувшихся русских, в раззолоченных кафтанах, жадно ловивших милостивую улыбку немецких учителей; видел, но не чувствовал… или, вернее сказать, чувствовал палку, которою выколачивали из него средства для поддержания блеска дворцового созвездия.

Не было поводов радоваться и дворянству средней руки, так называемому шляхетству, для которого новорожденный не мог служить признаком улучшения. Да и само шляхетство в то время не могло похвастаться высоким уровнем развития: большинство оставались безграмотными. Меры к распространению просвещения, на которые указывал Артемий Петрович, не только не прививались, а, напротив, признавались вредными и послужили к обвинению автора в политической злонамеренности.

Зато рождение принца Иоанна произвело истинный переполох в высших сферах. Там возник для всех важный вопрос: составит ли новорожденный политический центр, к которому должны тяготеть неизбежные спутники? Над разрешением этого вопроса и над составлением различных комбинаций заработали политические вожаки.

Непритворно был рад новому событию старый вице-канцлер Андрей Иванович, сильно заботившийся о судьбах русского престолонаследия. В последнее время оракул, казалось, сам потерял под собой почву. Сгубив Волынского не из простого соперничества и национальной вражды, а из глубокого убеждения в неизбежном вреде политических замыслов его, он теперь, по достижении преступного успеха, начинал сомневаться в своей непогрешимости, сомневаться в том, что та цель, к которой стремился его казнённый кабинетский товарищ, не была ли, хотя и мечтательна, но во всяком случае высока и благородна. Сомнение в самом себе доводило его до болезненной раздражительности, увеличивавшейся ещё более от физического недуга. Притворная болезнь у него обратилась в действительное страдание, лишившее его употребления ног, хотя и теперь, сидя прикованным параличом к креслу, он продолжал по-прежнему управлять судьбами русского государства. В сущности, Андрей Иванович Остерман был честный немец, один из тех немцев, которых на Руси появлялось немного. Во всех действиях его, даже в тех, которые

кажутся на наш взгляд преступными, проводились иногда ложные, ошибочные, но, тем не менее, всегда честные убеждения, без своекорыстных расчётов. Нельзя же винить его, что, по немецкой натуре своей, он считал единственными спасителями России немцев. В рождении сына у Анны Леопольдовны вице-канцлер видел обеспечение будущности престола и отстранение крамол.

Радовался появлению на свет божий принца Иоанна и другой вожак из немцев – фельдмаршал Миних. Строго, говоря, фельдмаршал не был вожаком политической партии, но, по месту своему во главе войска, он владел решающей силой и очень хорошо понимал своё положение. В сознании своего превосходства во всех отношениях над ничтожеством обер-камергера – фаворита он не мог не завидовать ему, но, вместе с тем, не мог не видеть, что, при благосклонности императрицы, всякая попытка против любимца будет иметь одинаковую участь с попыткой Волынского. Он ожидал удобного случая, и рождение принца казалось ему именно этим-то благоприятным обстоятельством. Притом же сама судьба, сгубив Артемия Петровича, очищала ему свободное место при дворе принцессы, которая, по личному характеру своему, не могла обойтись без руководства. Но как человек немецкий, следовательно, осторожный, он не выдавал до времени своих видов, упрочивая себе место подле принцессы и не возбуждая близостью отношений подозрительности фаворита.

Совсем в другом положении находился владетельный герцог курляндский. Рождение принца было для него неизмеримым горем, окончательно разрушавшим все его надежды. Обыкновенно, чем ограниченнее человек, тем более он высокого о себе мнения. Герцог Бирон, под обаянием власти и окружающего раболепия, постепенно убеждался и, наконец, убедился вполне в таких своих высоких квалитетах, которые, бесспорно, давали ему право на самое высокое положение в Российской империи. Для достижения этого положения он пытался породниться то с Анною Леопольдовною, то с Елизаветою Петровною, но и у той и у другой попытки оказались совершенно неудавшимися. Создать же какую-нибудь замысловатую комбинацию, для очистки дороги у него недоставало ума. Рассчитывал было он, что с казнью Волынского и с назначением на вакантное место кабинет-министра покорного орудия, Алексея Петровича Бестужева, очистил было путь… а тут явилось ещё новое препятствие в лице ребёнка, и от кого же? – от принца Антона… Понятно, сколько накипало желчи и как тяжело отзывалась на всех окружающих раздражительность его светлости. В первые дни к нему решительно не было доступа; ни один паж, скороход или гайдук не уходил без синяков; немало слёз пришлось пролить даже высокородной супруге его, урождённой Тротта-фон-Трейден, хотя вообще герцог относился к ней с особенным почтением; немало пришлось вынести упрёков, едких замечаний и императрице.

Радостней всех встретила появление принца государыня Анна Ивановна, едва ли не радостнее самой матери. Действительно, было много причин радоваться императрице. Она любила племянницу, и её немало тревожила несогласная жизнь молодых супругов. Как ни старалась она умирить их, как ни журила молодую женщину, как ни толковала ей о необходимости уступать, обращаться ласково и приветливо, Анна Леопольдовна упорно держалась в своём отвращении к мужу. «Теперь, – думала императрица, – ребёнок свяжет отца и мать и из общей любви возникнут дружеские отношения». В ослеплении радостью она видела в ребёнке какой-то общий залог любви, мира, согласия, и ей казалось, что теперь непременно должны исчезнуть и враждебные отношения между племянницею и фаворитом, обострившиеся со времени отказа принцессы в руке Петру Бирону и с тех пор всё более развивавшиеся.

Анна Ивановна рождена была быть не императрицею громадной империи, а заурядной хозяйкою, преданною любви и домашнему очагу. С неизмеримою любовью встретила она внучка, хлопотала о приёме его из рук акушерки и о помещении его подле своей спальни. С неутомимою заботливостью и предупредительностью входила она в каждую мелочь ухода за новорожденным. Пеленать и распелёнывать ребёнка поручено было самой герцогине курляндской, опытной в этих делах, и то не иначе, как в присутствии государыни. При каждом крике и плаче ребёнка, было ли то днём или ночью, Анна Ивановна постоянно

являлась у постельки с тревогою – отчего ребёнок беспокоится, не голоден ли, не болен ли? Это время было самым лучшим во всей многострадальной жизни императора Иоанна, к которому судьба обернулась потом злою мачехою.

В избытке восторга, открывая в ребёнке не видимые ни для кого другого прелести, императрица, указывая на него всем близким лицам, приговаривала: «Вот мой преемник, будущий император российский!» И слова эти скоро разнеслись во все стороны.

Но этот император ещё ребёнок, умевший только кричать до синевы лица да болтать ножонками и ручонками, – кто же будет до его совершеннолетия, если что случится с императрицею? Этого никто не знал, не знала даже сама государыня, вся погружённая в хлопоты о ребёнке и старавшаяся не думать об этом неприятном вопросе, напоминавшем ей о собственной смерти. У всех, однако же, создавалось убеждение, что более всех, конечно, имеет право мать императора, принцесса Анна Леопольдовна.

Скоро пришлось подумать о преемнике поневоле. От хорошей ли погоды, которою отличалась вторая половина августа 1740 года, или от возбуждённой деятельности по случаю рождения принца, только Анна Ивановна во всё это время чувствовала себя хорошо. Она как будто забыла о своих недугах, но наступивший сентябрь заставил её вспомнить о них с сугубою силою. Начались нескончаемые сырые холодные дни, с непроглядным туманом по целым дням и ночам, с безумолчно воющим ветром, и императрица снова стала жаловаться на боль и ломоту. К прежним немощам присоединились новые: чаще стали появляться нестерпимые боли в пояснице, тошноты, головокружения и бессонницы, которыми она хотя страдала и прежде, но значительно реже и периодически. Придворные доктора Фишер и потом португалец Синхец, определившие недуг осложнением каменной болезни и подагры, выбивались из сил в усердии, но положение не улучшалось, а, напротив, со дня на день становилось всё хуже и хуже; наконец доктора должны были сознаться, что состояние здоровья опасно.

Государыня вдруг как-то опустилась и похудела. По целым дням сидела она неподвижно в своём кресле, не отпуская от себя своего обер-камергера, хотя владетельный герцог курляндский менее чем кто-либо мог доставить развлечение. Его постоянно недовольное, озабоченное лицо, раздражительность и придирчивость к каждой мелочи одни были бы в состоянии нагнать уныние и тоску на самого здорового человека. Проводя в таком положении дни, императрица не успокаивалась и по долгим ночам, не смыкая глаз. До крайности возбуждённые нервы работали усиленною неестественною деятельностью, доводя до галлюцинаций. Картины одна другой мрачнее сменялись в воображении, то наполняясь неопределёнными, страшными образами, то формулируясь в яркие краски кровавых казней невинных жертв, между которыми чаще других являлись: молодой красавец Иван Долгоруков и в особенности живо – красивый облик кабинет-министра, бледный, обезображенный, упрекающий в неблагодарности и громко зовущий на суд.

Под лад с настроением государыни разнуздывалось воображение и у окружающих её женщин, разных рассказчиц сказок и преданий. С полною уверенностью в истине передали они императрице о страшном видении, бывшем в одну из предшествовавших ночей. Рассказывали, что будто бы в глубокую полночь, в непроницаемую темь, когда страшная буря ревела с яростью, а сильные порывы морского ветра, разливавшие воды Невы, не сдерживаемой, как ныне, гранитною набережною, залили почти весь город, яркий свет вдруг озарил всю Адмиралтейскую площадь. В арке, находящейся против города, отворились ворота, и из них показалось несметное множество факельщиков, сопровождавших похоронную процессию, которая, пройдя всю площадь, вошла в ворота Зимнего дворца, прошла двором, вышла в ворота, расположенные на Неву, повернула налево вдоль набережной и затем исчезла. Утверждали, что будто бы странное явление это видели все обыватели этой местности, угрожаемые наводнением, что были даже смельчаки, которые желали узнать, кого хоронят в такое неурочное время, бегали спрашивать, но никто не мог достигнуть, удержанный какою-то неестественною силою в виде страшных порывов ветра и воды, доходившей до колен; что будто бы, по мере того, как смельчаки достигали, процессия

удалялась всё далее и далее, не останавливаемая ни ветром, ни водою.

«Это мои похороны!» – подумала Анна Ивановна.

За этим первым случаем скоро следовал другой, ещё более странный, в котором очевидицею была сама императрица и о котором сохранилось несколько письменных свидетельств очевидцев. Доложили государыне, что по ночам видно освещение окон тронной залы, которая бывала постоянно запертою. Императрица пожелала удостовериться лично, и вот, в следующую же полночь, она сама, в сопровождении своих близких и взвода гвардейцев с заряженными ружьями, отправилась в залу. Отперли дверь и вошли. Зала действительно оказалась освещённой, как обыкновенно бывало в дни торжественных приёмов, а подле трона стоял двойник императрицы в парадном костюме. Побледневшая, широко раскрытыми глазами посмотрела Анна Ивановна на своего двойника и приказала солдатам стрелять. Раздался выстрел всего взвода, задребезжали разбитые зеркала, и густой дым на время закрыл трон и видение. Когда же рассеялся пороховой дым, присутствующие увидели, как двойник государыни сошёл с возвышения, прошёл мимо Анны Ивановны и, проходя мимо неё, молча погрозил пальцем.

Государыня упала в обморок.

И этот случай императрица объяснила предзнаменованием своей близкой кончины.

О положении больной государыни в точности было известно только самым приближённым, хотя слухи об усиливающейся болезни проникали в общество теми неизвестными путями, о которых не доищется и самая деятельная тайная полиция. Высокопоставленные особы и члены дипломатического корпуса продолжали приезжать в обыкновенные приёмные дни и вечера во дворец с целью получить более подробные сведения о состоянии больной, но получали только самые неопределённые извещения. Такого же результата достиг французский посланник де ла Шетарди, приехавший раз на куртаг с твёрдым намерением самому проверить рассказы Лестока, но вместо того ограничившийся партией в карты с принцем Антоном.

Между тем болезнь скоро приняла оборот, угрожавший скорым и неизбежным концом.

XXI

Пятого октября государыня, садясь за обед, по обыкновению, с семейством герцога, вдруг почувствовала тошноту, головокружение и затем упала в обморок. Её перенесли в опочивальню где, усилиями докторов, она была приведена в чувство и затем уложена в постель; появилось обильное кровохарканье, которое доктора сочли одним из самых опасных признаков.

Растерявшийся герцог не знал, что делать. Найдя в соседней с опочивальнею комнате дворца случайно бывшего там президента коммерц-коллегии барона Менгдена, он распорядился послать его за обер-гофмаршалом графом Левенвольдом, который, вероятно, находился поблизости во дворце, а потом и за фельдмаршалом Минихом. Первым явился обер-гофмаршал.

– Государыне дурно, – встретил его Бирон, в волнении перебегавший от одного окна к другому, – что делать?

– Я не знаю, – отвечал ошеломлённый обер-гофмаршал, заключивший по волнению герцога о близости кончины государыни, – надо послать за министрами.

– Пошлите за Бестужевым и Черкасским, а сами поезжайте к графу Остерману и узнайте обо всём от него подробно.

На подъезде Левенвольд встретил возвращающегося барона Менгдена и с ним фельдмаршала.

– Отправляйтесь скорее к кабинет-министрам князю Черкасскому и Бестужеву, – на бегу передал приказание Левенвольд Менгдену, – а я еду к вице-канцлеру.

Андрей Иванович не был застигнут врасплох. Зная через свою Марфу Ивановну истинное положение больной государыни, он, не вставая с кресел, успел всё обдумать и

приготовиться.

Граф Левенвольд наскоро передал о случившемся и о недоумении герцога, что теперь должно предпринять.

– Первее всего, – отвечал оракул, выказывая крайнее смущение от неожиданного известия, – первее всего надлежит озаботиться о наследии престола, о преемстве императора Иоанна, о чём императрица изволила заявлять неоднократно.

– Но император в пелёнках, кто же будет править? – с нетерпением перебил Левенвольд.

– Править? – с недоумением переспросил Остерман, как будто этот естественный вопрос никогда не приходил ему в голову, – править могла бы и мать его величества, при помощи совета из тех же лиц, которые теперь занимаются управлением.

Этот ответ передал Левенвольд герцогу на ухо по возвращении во дворец.

– Что за совет! сколько голов, столько и разных мыслей будет! – сердито проворчал герцог, уходя в опочивальню государыни.

В это время вошли кабинет-министры Бестужев и князь Черкасский, предуведомлённые и настроенные как следует. Услужливый барон, сообщая Бестужеву о трудном положении государыни, не преминул высказать напрямик необходимость поддержания Бирона.

– Если герцог не будет правителем, – говорил он, – то мы, немцы, тогда пропадём. Нельзя ли как-нибудь стороною попросить об этом императрицу, а то самому герцогу за себя просить неловко.

Бестужев обещал, сознавая, что и сам он, хотя и не немец, а без покровительства герцога пропадёт.

Собравшиеся Левенвольд, Миних, Бестужев и Черкасский, сгруппировавшись в кружок, тревожно перекидывались между собою отрывистыми фразами, не сводя глаз с двери, откуда должен был прийти герцог с вестями о государыне.

Через несколько минут вошёл герцог.

– Императрица пребывает в страшном беспокойстве от своей болезни, – начал он и потом, подумав, продолжал, перебиваясь и путаясь: – Я предлагал её величеству объявить наследницею принцессу Анну Леопольдовну, но государыня решительно отказала, говорит, что не только наследницею, но и правительницею её не назначит… Наследником своим она желает иметь внука, а о том, кому быть правителем, надобно подумать нам…

Наступило молчание. Положение присутствующих было затруднительно: герцог молчал, так как предлагать себя, как бы ни был он бесцеремонен, всё-таки считал неуместным. Миних молчал, выжидая, какой ход примут обстоятельства, молчал так же и Левенвольд. Обязанность первого голоса должна была лежать на кабинет-министрах, но они без головы своей, вице-канцлера, не могли высказывать свого мнения.

Наконец было решено обоим министрам ехать к вице-канцлеру и посоветоваться у него на дому. Дорогою, сидя в одной карете, министры, естественно, начали разговор о злобе дня.

– Кому быть регентом? – первый спросил Бестужев, желая выведать мнение своего коллеги.

– Кому же, как не его светлости курляндскому герцогу, – отозвался князь Черкасский, зная, что каждое его слово будет передано герцогу, и желая заранее заискать расположение его светлости, – он и теперь всеми делами правит.

Бестужев, разумеется, согласился.

Оба кабинет-министра передали вице-канцлеру поручение герцога.

– Дело о наследии требует великого поспешения, – решил оракул, передавая коллегам заранее написанный им манифест о назначении преемником принца Иоанна Антоновича, – в интересах пользительности для всех подданных необходимо подписание его её величеством немедленно же. Соболезнуя, что не могу сделать ничего персонально, я прошу передать его светлости, чтобы по подписании тотчас же было сделано распоряжение о приводе к присяге всей армии и народа.

Окончив одну часть поручения, министры перешли к другой и завели речь о том, кому правительствовать в малолетстве государя, но об этом сюжете оракул не желал высказывать своего суждения. Заключив из поспешности присылки от герцога таких посредников, каковы были министры, что его предложение о правительстве принцессы Анны Леопольдовны и назначении подле неё совета не нравилось его светлости, вице-канцлер не хотел больше вмешиваться в это опасное, как он выражался, приключение, а потому и стал отклоняться обыкновенными своими отговорками относительно своего иностранного происхождения и своей готовности согласиться с мнением большинства.

– Это дело не другое что, – порешил он, – торопиться незачем… Надобно подумать… Да и её величество здравствует и, может, ещё не скоро покинет нас, сирых.

Как ни бились кабинет-министры, а никакого другого ответа не получили – с тем и воротились во дворец.

По приезде их в прежнем апартаменте снова началось совещание тех же лиц: герцога, Левенвольда, Бестужева и князя Черкасского, – только фельдмаршал, не желая участвовать лично, отошёл от кружка к окну, как будто наблюдая за проходившим по улице военным караулом. Герцог, понимая, что его дело может выиграть только при жизни императрицы, продолжал настаивать на необходимости немедленного решения вопроса о регентстве, а потому тотчас же предложил на общее обсуждение мнение вице-канцлера относительно правительства принцессы и назначения при ней совета.

– Принцессу, – добавил он, – её величество решительно не желает, да и совет, по моему мнению, дело невозможное.

С этим мнением, конечно, согласились все.

– Слышите, граф, какого мнения господа министры о правительстве? – обратился герцог к фельдмаршалу, желая непременно притянуть его к своей стороне.

– Нет, не слыхал, – ответил Миних, подходя к кружку и невольно принимая участие в совещании.

– Они не желают учинить так, как делается в Польше, чтобы в совете сидели многие персоны.

Миних не высказал ни слова.

– Да кому же и быть регентом, кроме вашей светлости! – буркнул вдруг Бестужев и сам испугался, сам тотчас стал оговариваться и находить затруднения, продолжая говорить уже по-немецки: – Конечно, покажется странным в других государствах, скажут, что обошли отца и мать императора…

– Пожалуй, что в других государствах будет не без ненависти, – заметил со своей стороны герцог, стараясь всеми силами принять равнодушный вид, тогда как сердце его судорожно сжималось.

Князь Черкасский стал шептать на ухо Левенвольду.

– Да что вы шепчете, говорите вслух, – оборвал тот, и князь поневоле начал, в не совсем связных словах, высказывать своё мнение о необходимости предоставить правительство герцогу.

Очередь оставалась за фельдмаршалом Минихом. Ясно сознавая, что долее уклоняться от подачи своего голоса было бы слишком опасно, ввиду неизвестности будущего положения здоровья императрицы, фельдмаршал согласился с мнением товарищей, развив это мнение и подкрепив его практическими доказательствами с обыкновенной своей ясностью.

– Её величество не желает назначить регентшею племянницу свою, – развивал он, – по очень естественной причине. Она знает, что отец принцессы, герцог мекленбургский, вступит в дела дочери и непременно поссорит Россию с венским двором. Характер отца её высочества, герцога Карла-Леопольда, всем известен… не перерубит ли он всем головы, когда приедет сюда? Что же касается до мужа принцессы, то я был с ним в двух кампаниях, а до сих пор не знаю: рыба ли он или мясо?

На этом и кончилось совещание, так как время было позднее и все слишком утомились.

Назначили час, когда собраться на другой день для поднесения императрице к подписи манифеста и окончательного решения вопроса о регентстве.

– Потрудитесь, – обратился к Бестужеву герцог Бирон, прощаясь, – пригласить к совещанию на завтра и других знаменитых особ, дабы никто потом не роптал и не оскорблялся удалением его от этого важного дела.

Давая это поручение, Бирон был уверен, что будут приглашены только те лица, от которых не могло быть никакого противодействия.

На другой день в определённое время съехались все прежние советники, а через час и вновь приглашённые: генерал Андрей Иванович Ушаков, генерал-прокурор князь Трубецкой, обер-шталмейстер князь Куракин, адмирал граф Головин, генерал-поручик Салтыков и обер-гофмаршал Шепелев. Не было герцога Бирона, который, как объясняли, находился при постели больной императрицы, а в действительности у дверей совещательной камеры.

Вновь прибывшим объявили о назначении императрицею себе преемника в лице новорожденного принца, прочли манифест о том, и затем на общее совещание предложили вопрос о назначении регента, решительно формулированный и обставленный доказательствами невозможности избрания принцессы Анны и необходимости избрания герцога Бирона. Вновь прибывшие, если бы даже и не были того же мнения, то, во всяком случае, ошеломлённые неожиданностью и неподготовленные, должны были согласиться – и они поспешили выразить полнейшее своё согласие. О мнении вице-канцлера упомянуто не было.

В это время кстати вышел из опочивальни герцог с новым подтверждением решительного отклонения государынею от регентства принцессы Анны. Тогда все обступили герцога и стали униженно просить о согласии на принятие на себя обязанностей правителя. Как и следовало из приличия, герцог отказывался, ссылаясь на иностранное происхождение и на слабость своих сил, но, наконец, после усиленных молений, согласился, в надежде, как он выразился на помощь их, знаменитых персон, в трудных делах правления.

После этого все присутствующие отправились к императрице с манифестом о наследнике престола.

Анна Ивановна, слабая и истомлённая почти непрерывающимися страданиями, лежала в своей опочивальне, сохраняя, однако же, полное обладание умственными способностями. Она, милостиво улыбаясь, приветствовала каждого, когда они поочерёдно подходили целовать руку. Ей подали манифест. Подозрительная и ревнивая к своей власти, отклонявшая до сих пор всякий разговор о преемнике из опасения, как она сама высказывалась, чтобы при новом преемнике не стали бы небрежить о ней самой, на этот раз она безоговорочно согласилась. Ею руководило, вероятно, то убеждение, что малолетство наследника не может быть ей соперничеством.

После подписи манифеста присутствующие удалились тем же церемониальным порядком, стараясь ни единым звуком не обеспокоить раздражительный слух больной. Только уходивший последним фельдмаршал приостановился у дверей и высказал в неопределённых выражениях общее желание о назначении на время малолетства императора регентом герцога Бирона. Императрица показала вид, что не расслышала, и отворотилась в противоположную сторону.

– Что он говорил, Эрнст? – спросила она, когда фельдмаршал вышел.

– Не расслыхал, – уклонился и Бирон, не считая в этот момент удобным возобновлять разговор о регентстве.

По выходе от императрицы подписанный ею манифест отнесли в церковь, где, по прочтении во всеуслышание перед многочисленным собранием, стали приводить к присяге в верности Иоанну как наследнику Российского престола. Одновременно с этим на площади приводились к присяге гвардейские полки, а жители столицы в приходских церквах.

Дело о наследстве кончилось, но дело о регентстве только ещё начиналось. Много пришлось креатуре герцога, кабинет-министру Бестужеву хлопотать за своего патрона, но он

достиг-таки цели: все согласились подписать всенижайший доклад императрице об избрании Бирона. Доклад передали герцогу для поднесения государыне. В то же время убедили и графа Андрея Ивановича написать духовное завещание императрицы о регентстве герцога. Андрей Иванович, совершенно основательно рассчитав, что дальнейшие настояния его насчёт совета только приведут к гибели его самого, что в конце концов сторона герцога всё-таки выиграет, исполнил общее желание, написал распоряжение, но обусловил представление его императрице лично им самим.

Тяжелы были последние дни императрицы Анны Ивановны. К физическим страданиям присоединялась острая боль видеть себя заживо похороняемою лицами близкими и любимыми, видеть борьбу за раздел своей власти. Да и в ней самой совершалась ожесточённая борьба: она искренно любила племянницу, считала её своею дочерью, желала ей счастья, хотела бы обеспечить её будущность, вполне соглашалась с проектом своего Андрея Иваныча, о котором успела-таки сообщить неугомонная Марфа Ивановна, а между тем жалела и дорогого Эрнста, сознавая, что после неё ему будет трудно, хотела бы и его обеспечить. Сколько ни думала она, но исполнить то и другое, помирить между собой интересы дорогих лиц не представлялось никакой возможности.

Полученный от Бестужева доклад герцог тотчас же передал императрице, умоляя её согласиться на общее желание будто бы всех первенствующих членов государства, красноречиво, насколько он мог, убеждая, что одно регентство только может отвратить от него гибель, неизбежную по кончине государыни. Герцог напоминал ей о прекрасных днях исчезающего счастья, о своей глубокой преданности, о своём отчаянии, от которого могут исцелить, – нет, его горе неисцелимое, но, по крайней мере, спасти постоянные, непрерывные труды о благе народа. Высказано было всё, на что оказалось способным изощрённое честолюбие фаворита.

Государыня выслушала его, взяла доклад, покачала сомнительно головой и, не читая, молча, отложила на стоявший подле неё столик. Большего на этот раз герцог не мог добиться.

Прошли три дня, самые мучительные дни в жизни владетельного герцога курляндского. Возобновлять свои просьбы, зная её характер, он не решался, но не переставал различными косвенными путями напоминать о необходимости скорейшего разрешения доклада. Наконец государыня приказала принести к себе своего обычного советника, неизменного Андрея Ивановича. Ухудшающееся с каждым днём здоровье начинало и ей самой напоминать о неотложности той или другой развязки.

Принесли Андрея Ивановича на носилках и усадили на кресло, по указанию государыни, подле её изголовья.

– Потревожили тебя… Аддрей Иванович… по нужному делу… – с обычной фразою обратилась к нему Анна Ивановна. – Просят меня все назначить… правителем Эрнста… видно, чуют близкую смерть мою…

– Ни единый из верных рабов, всемилостивейшая государыня, не дерзает помышлять о таковом злоключении. Все мы пребываем в крепком уповании на милость Божию, что она продлит драгоценную жизнь вашего величества ещё на многие и многие годы, для счастья всех нас, но политические комбинации вынуждают иногда постановлять ордеры и на такие случаи, кои потом и не осуществятся…

– Ты бы изготовил мне завещание, Андрей Иванович, – перебила государыня красноречивые излияния вице-канцлера.

– Проект изложения воли вашего величества мною уже сочинён пунктуально, как требует обычай, – доложил Андрей Иванович, вынимая из кармана бумагу.

Замечательно, что имя герцога не было упомянуто ни государынею, ни её вице-канцлером, но оба понимали, о ком должно быть распоряжение.

– Скоро же… – заметила императрица, – а кто писал завещание?

– Я, нижайший раб вашего величества…

– Хорошо… я рассмотрю… – закончила государыня, засовывая завещание, не прочитав

его, под подушку.

Андрея Ивановича унесли, а императрица, во всё время полусидевшая в постели, опираясь спиною на подушки, спустилась с них и улеглась, как будто желая заснуть.

Больную навещали по нескольку раз в день принцесса Анна Леопольдовна с мужем и почти каждый день цесаревна Елизавета Петровна. Обыкновенно они, боясь утомить, не засиживались долго, особенно цесаревна, с которою государыня вообще обращалась сдержанно; заметно было, что прежнее нерасположение и подозрительность в их отношениях не исчезли.

С племянницею и племянником больная разговаривала приветливо, а в последние дни в обращении её с ними даже замечалась особая нежность. Из приближённых же один герцог Эрнст бывал постоянно при ней, почти не отходя от постели. Государыня любила принимать лекарства из его рук и каждый раз посылала за ним, когда он хотя на короткое время уходил в свои апартаменты. Она охотно разговаривала с ним, насколько позволяли силы, но разговора о завещании не начинала. Боясь, как бы завещание так и не осталось неподписанным, и объясняя уклончивость императрицы нежною её привязанностью к племяннице, герцог решился войти с принцессою в компромисс. С этой целью он поручил барону Менгдену переговорить с принцессою, обещать ей всё, что она пожелает, и внушить, что из собственных выгод она должна просить тётку о назначении регентом его. Молодая женщина благородно отклонилась от странного предложения:

– Я никогда не вмешивалась в государственные дела и не позволю себе этого при настоящих обстоятельствах. Жизнь императрицы, конечно, находится в большой опасности, но я надеюсь, что, при помощи Божией, она ещё оправится. По моей любви к ней я не желаю думать о близости её смерти. Впрочем, имея совершенно свободный доступ к императрице, герцог может и сам достигнуть исполнения своих желаний, как достигнул он назначения наследника престола. Я же, со своей стороны, – закончила принцесса, – беспрекословно покорюсь воле государыни и буду повиноваться всему, что ей угодно будет постановить.

Точно такой же ответ дала принцесса и на просьбу об её ходатайстве депутации, будто бы от собрания государственных чинов, а в действительности устроенной тем же услужливым бароном с неутомимым Бестужевым.

Между тем силы государыни заметно с каждым днём истощались; она начинала чувствовать крайнее изнеможение даже от самого непродолжительного разговора. Кровохарканье усилилось, несмотря на все предпринимаемые мединские меры, а боли в пояснице исчезали только на редкие и короткие промежутки.

В одну из таких спокойных минут государыня, лежавшая с закрытыми глазами, вдруг приподнялась и спросила герцога:

– Эрнст… ты хочешь быть регентом?

Герцог, вместо ответа, целовал её руки.

– Я не советую… тебя погубят… возьми деньги и поезжай в Курляндию… где нам было так хорошо…

– Нет, государыня, я никогда не оставлю место, где будете вы… Курляндия спасти меня не может: разве не достигнут туда мои враги?

– Хочешь?.. так позови Андрея Иваныча…

Пока герцог уходил для распоряжения о посылке за вице-канцлером и о сборе в соседней комнате высших государственных чинов, в опочивальню вошли принцесса Анна и принц Антон. Увидя их, Анна Ивановна сделала лёгкое движение рукой и закрыла глаза. Принцесса опустилась на колени, целуя руки тётки, а принц Антон остановился на другой стороне, обдумывая, какое же следует принять положение при таких странных обстоятельствах.

Досада выразилась на лице герцога, когда он, воротившись, увидел новых гостей, присутствие которых могло опять остановить государыню. С нескрываемою грубостью он оттолкнул принца и встал на его место.

Скоро послышались тяжёлые шаги гренадёров-носильщиков. По знаку герцога принц

пошёл отворить двери, и Андрея Ивановича, как и в первый раз, опустили на кресло подле постели.

– Императрица желает говорить с вице-канцлером, и потому не угодно ли вашим высочествам удалиться, – проговорил герцог, обращаясь к принцу и принцессе.

Принц Антон покорно исполнил приказания, удаляясь с озабоченным видом, как бы не наделать стука, но принцесса не слыхала или не обратила внимания на слова Бирона.

– Так как её величеству благоугодно отдать мне приказание по государственным делам, то не соизволите ли вы временно удалиться, ваше высочество, – обратился к принцессе Андрей Иванович.

Анна Леопольдовна, горячо прижавши лицо к руке тётки, как будто отдавая себя её покровительству, встала и гордо вышла.

По её уходу Анна Ивановна обратилась к графу:

– Я решилась… – высказала она едва слышно, – прочитай… Андрей Иваныч… духовную…

Неизвестно, поняла ли императрица содержание своего государственного акта, вероятно, она даже не слыхала его, по крайнему упадку сил, но, по окончании чтения, изъявила желание подписать его. Придвинули стоящий подле её изголовья столик, на котором, с помощью герцога, поддерживавшего пуку, императрица нетвёрдою рукою подписала своё имя[50]. Подписанный акт, по указанию её, положили в шкаф с драгоценными вещами, стоявший недалеко от постели.

В это время в соседнем апартаменте собравшиеся кабинет-министры с первейшими сановниками государства с нетерпением ожидали окончания аудиенции, и как только показались носилки графа, все окружили их с одним вопросом: назначен ли правитель?

– Государыня соизволила избрать регентом его высочество владеющего герцога курляндского и семигальского, – сообщил вице-канцлер.

Вслед за тем вышел и сам герцог с гордым и сияющим лицом.

– Её величество императрица, – обратился он к государственным чинам, – поручила мне благодарить вас за ваше усердие к пользам отечества и обещала каждому оказать знаки своего благоволения, как только получит облегчение от болезни. А я, господа, – с особенной торжественностью добавил он, – с признательностью говорю вам: вы поступили, как римляне!

Болезнь Анны Ивановны входила в свой последний период, предшествующий агонии. 17 октября государыня лишилась движения левой ногою и свободного владения языком, но сохранила во всё время, до самой смерти, сознание. После полудня к ней пришли принцесса Анна с Антоном-Ульрихом; государыня с любовью благословила обоих и просила молиться о себе. Около девяти часов вечера она почувствовала сильные судороги, ослабившие её до того, что она только знаком могла приказать привести своего духовника, придворных священнослужителей и певчих для совершения последнего религиозного обряда.

По исполнении отходной молитвы государыня подала знак, что желает проститься со всеми приближёнными, находившимися в то время во дворце. Вошли фельдмаршал Миних, граф Левенвольд, Никита Юрьевич Трубецкой и несколько придворных. Когда подошёл к

---

[50] Этим актом Эрнст-Иоганн Бирон, герцог Курляндии и Семигалии, был назначен регентом до совершеннолетия императора, то есть до семнадцатилетнего его возраста, с полной властью управлять как внутренними, так и внешними делами империи, заключать договоры и союзы, распоряжаться содержанием войск и жаловать награды за государственные заслуги; на герцога же возлагалось попечение о воспитании малолетнего государя. В случае смерти назначенного наследника до совершеннолетия или бездетным престол должен был переходить к его братьям, рождённым от принцессы Анны Леопольдовны, по старшинству лет, но если бы все эти братья скончались бездетными, то тогда предоставлялось регенту с первейшими сановниками государства избрать наследника по их усмотрению. Содержание императорской фамилии предоставлялось назначению герцога. Таким образом, цесаревна Елизавета Петровна, на основании этого акта, совершенно устранялась от престола.

императрице Миних, она узнала его, слабо улыбнулась и едва слышно, дрожащим голосом проговорила: «Прощай, фельдмаршал, – прочих лиц, кажется, не узнала, но всем вообще сказала: – Прощайте, прощайте…» Начались снова судороги, с жестокими острыми болями, в продолжение которых государыня страдала, находясь уже в бессознательном состоянии. Её соборовали маслом и кропили святой водою до последнего вздоха. Государыне было сорок шесть лет.

XXII

Как только скончалась государыня, отворили двери из опочивальни в смежный апартамент, где находились придворные крупные чины, которым и объявил о кончине обер-гофмаршал Левенвольд дрожащим от волнения голосом. Все двинулись к постели, кто для отдания последнего прощания, кто для выполнения посмертных обрядов. Около постели, стоя на коленях и прижав лицо к ногам покойницы, рыдал герцог курляндский, а подле него выла и визжала его высокородная супруга Бенигна. Принцессу Анну вынесли из спальни в глубоком обмороке в соседнюю комнату, где около неё хлопотали фрейлина Юлиана и принц Антон. Едва ли не более всех поразила смерть императрицы принцессу Анну, которая более всех имела бы право жаловаться на покойную. Взятая тёткою с детства, слывшая её любимицею и наследницею, принцесса, несмотря на своё высокое положение, а вернее, именно вследствие этого-то высокого положения, и была глубоко несчастлива. Печально протекало её детство, под побоями сварливой матери, бесцветно – первое развитие юности под постоянным надзором и шпионством подозрительного герцога, и, наконец, нескончаемою цепью неприятных сцен тянулась её супружеская жизнь с нелюбимым человеком. А между тем она всё-таки любила тётку, жадно подмечая сквозь холодную суровость, напущенную под влиянием фаворита, непритворную к себе любовь, на которую и отзывалось её чуткое сердце.

Огорчён был и герцог, но его горе не выходило из сердца. Его природа не могла любить глубоко и беззаветно женщину, подавлявшую его требовательностью полноты, которой у него не было. Он чувствовал себя при ней постоянно под гнётом, возмущавшим свободную волю и неминуемо губившим развитие нежной привязанности. Он ощущал благодарность, понимал, что с потерею её исчезла твёрдая опора, но не чувствовал самоуничтожения. Его ощущения походили на горе раба, освободившегося от доброго, но требовательного господина; такое горе громко высказывается, но не надрывает души.

Отдав по приличию должную дань благодарности достаточным количеством слёз, Бирон, без насилия над собою, перешёл к самому себе, к своему высокому положению, которое необходимо было обеспечить, утвердить и заставить уважать всех, а в особенности лиц, имеющих прав более его. Под влиянием этой мысли он счёл необходимым, не дожидаясь официального объявления на другой день, теперь же, у холодеющего тела своей благодетельницы, поручить обер-гофмаршалу прочитать во всеуслышание завещание, в назидание принцессе, которую прежде считали преемницею престола, а по выборе наследника – имеющей неоспоримое право, как мать государя, на правление. Для придания же большей вескости удару он присоединил к нему оскорбление, с грубостью пригласив принца к должному вниманию при чтении. Бедный принц безропотно повиновался: как пойманный в шалости школьник, он покорно отошёл от жены, оправился и упёр неподвижный взгляд на чтеца.

По окончании чтения герцог удалился в свои внутренние покои отдохнуть, успокоиться, приготовиться к завтрашнему дню и обсудить меры, необходимые для обеспечения спокойствия. В эту ночь караулы, пикеты и разъезды по улицам были усилены, а кабаки и бани заперты.

С рассветом дня вся высшая знать, сановники и духовенство собрались в Летнем дворце, где скончалась императрица, а войско из напольных и гвардейских полков окружило дворцовую площадь. По выслушании последнего распоряжения государыни, прочитанного

вице-канцлером, всё знатное собрание совершило присягу в дворцовой церкви, а войско на площади.

Для приближённых ко двору завещание усопшей не было поразительной новостью; все они, более или менее, боялись и ожидали этого, но народ и войско оно ошеломило неожиданностью. Народ и войско считали право на правление во время малолетства государя принадлежностью матери и отца, надеялись на разные облегчения, а тут, вместо прирождённой царской семьи, у престола всё тот же немец, давящий и презирающий всё русское, ещё более грозный, с ещё большими правами.

По окончании присяги всё высшее сословие направилось в покой регента для принесения поздравлений. Наконец-то настала минута, к которой готовился герцог не одну только последнюю ночь, осуществившую его надежды, а задолго, за несколько лет, когда в одной только его голове могло необузданное воображение рисовать золотую шапку Мономаха.

И вот он, приняв позу театральных королей, торжественно произносит следующую речь:

– Не считаю за нужное напоминать вам о сохранении усердия, какое вы всегда оказывали ко благу государства. Одно уважение к юному, нежному возрасту императора достаточно для побуждения к трудам. Что же касается до меня, то каждый час, каждая минута моей жизни посвящена будет занятию государственным управлением. Вы не можете явить лучшего доказательства доверенности вашей к чистоте моих намерений, как обращаясь прямо ко мне во всяком случае, когда встретится надобность в новом законоположении. Наперсников никогда не буду иметь, и двери мои всегда будут открыты для людей благонамеренных.

Кончив речь, новый правитель величественным жестом отпустил собрание, за исключением графа Миниха, графа Остермана, князя Черкасского и тайного советника Бестужева, которых заранее пригласил к себе в кабинет. Здесь он, хотя и с сохранением должного величия, но уже более дружески, благодарил их за преданность, обещал достойные награды, уверял в своём благоволении и просил содействия на будущее время.

Регент ревностно принялся за государственные дела или, по самообольщению своему, думал, что занимался ими. Каждый день он присутствовал в кабинете и чуть ли не каждый день в сенате, в членах которого он старался заискать. Со своей стороны, и сенат не остался неблагодарным к такому высокому вниманию; в одно из первых же заседаний своих он ассигновал на содержание двора регента по пятисот тысяч рублей ежегодно. Вместе с тем сенат торжественно поднёс ему титул высочества, находя, что титул светлости слишком унизителен для природного конюха. По примеру сената и герцог выказал щедрость, назначив из доходов государственного двора на ежегодное содержание императорской фамилии по двести тысяч и по пятидесяти тысяч рублей Елизавете Петровне. Более ценных памятников своей государственной деятельности он не оставил для потомства, да и не мог оставить: большая часть драгоценного времени уходила на хлопоты по декоративному устройству выставки набальзамированного тела усопшей императрицы, а ещё более на наблюдение за воображаемыми кознями против него отца и матери императора.

Пышность и эффектность декоративной выставки неоспоримо доказали немалые специальные способности по этой части герцога-регента. В дворцовой зале, под золотым балдахином на катафалке, возвышающемся несколькими обитыми малиновым бархатом с золотым позументом ступенями, в золотом гробу с серебряными скобами и ножками, покоились бренные останки усопшей. На голове государыни была императорская корона, а на груди сверкал дорогой бриллиантовый убор. На стене, позади гроба, расстилалась широкая императорская мантия из золотой парчи, вышитая изображениями орлов и подбитая горностаем; золотые шнуры от мантии держали с обеих сторон фигуры в человеческий рост, изображающие крылатую фаму. Стены залы эффектно казались сделанными из чёрного мрамора с жёлтыми жилками, из фона которых рельефно выступали двойные колонны из серого мрамора на мраморных же пьедесталах тёмно-жёлтого цвета. Окна и двери залы

закрывались чёрным сукном, окаймлённым горностаевыми полосами; точно так же чёрным сукном были обиты пол и потолок залы. Карнизом вокруг стен обвивалась полоса из золотой парчи и белой кисеи, над которою видны были вышитые по золотому полю двуглавые орлы, а ещё выше, под самым потолком, находились гербы провинций и областей, поддерживаемые каждый двумя младенцами.

Нет надобности входить в подробные описания деталей различных статуй и медальонов, долженствующих изображать достохвальные качества и добродетели усопшей; кажется, и приведённое достаточно знакомит с искусством и вкусом главного декоратора, высокопочтенного регента. Кроме этих художественных занятий немало времени употреблялось на расследование доставляемых сведений о замыслах недоброжелателей. С установлением регентства число шпионов значительно увеличилось и деятельность их принимала всё более широкие размеры. В тайную канцелярию ежедневно приводили несчастных, виновных в каком-нибудь неодобрительном выражении об его высочестве. Недовольство носилось в воздухе; регент сам чувствовал это, но объяснял интригами брауншвейгцев, хотя, несмотря на все пытки и истязания, доказательств не являлось, улик не было и почти все обвинения сводились к простой болтовне. А между тем недовольство крепло и разрасталось всё больше и больше. Преимущественно волновались офицеры гвардии, полков Преображенского и Семёновского. Молодёжь чутка и отзывчива к несчастьям, а особенно когда несчастье выносит молодая симпатичная женщина. Для них не было тайною, сколько вытерпела принцесса от герцога ещё при жизни тётки и сколько она выносит теперь, когда этот герцог сделался всемогущим регентом.

Во всех офицерских кружках, сходках, пирушках, во всех разговорах многолюдных собраний любимою темою сделались рассказы об обидах принцессы.

– До чего мы дожили, – передавали они друг другу, – как мы допустили до такого сраму… Какой-нибудь немецкий конюх, выскочивший из грязи известно чем, помыкает нами как собаками, казнит русские знаменитые фамилии, угнетает отца и мать самого императора.

Об этих сходках и недовольных речах, проникавших от офицеров в общество и народ, регент узнавал от своих шпионов и принимал свои обычные меры. Нередко после дружеской пирушки неосторожные на другой день попадали к добродушному Андрею Ивановичу в застенок, где их пытали нещадно и истязали, допытываясь: откуда нашёптывались возмутительные речи, кто их заводчик. Разумеется, пытками ничего не открывалось, так как недовольство возникало не от подстрекательств, а от честного, благородного чувства… Имена принца и невесты ни разу не упоминались в показаниях, добытых в тайной канцелярии. Таким бесчеловечным истязаниям были подвергнуты офицеры и сержанты Преображенского полка: Ханыков, Аргамаков, Анфимов и Акинфиев, но и от них допытаться ничего не смогли.

Объясняя все эти тёмные толки подстрекательствами принца и принцессы, регент злобился на них и, при всяком удобном случае, бесцеремонно, грубо и оскорбительно выказывал им своё неудовольствие. Обращение его с ними, тотчас же после кончины императрицы до такой степени сделалось сурово, что молодая женщина не могла без ужаса видеть его и начинала дрожать, как только он входил в комнату.

Кроме личного нерасположения, укоренившегося в нём с давнего времени, с того времени, как принцесса ещё девочкою разрушила все его планы отказом в руке его сыну, много было и других поводов к раздражению. По личному персоналу императорская фамилия из брауншвейгских не могла никаким образом содействовать к его возвышению, а между тем занимаемое им положение казалось ему теперь не довольно высоким, ему захотелось стать повыше. Его мечты начали рисовать ему вдали престол великой империи, если не лично для себя, то, по крайней мере, для потомства.

Почему бы не жениться Петру на цесаревне Елизавете? Правда, Петру только через два месяца будет семнадцать лет, а ей тридцать – но это вздор по государственным соображениям. Да, наконец, почему бы самому не жениться на ней? Правда, ему под

пятьдесят, но он так свеж, бодр и на свои глаза так красив. Правда, он женат, но разве Бенигна достойная его персона? Ввиду высших государственных комбинаций духовные иерархи, без сомнения, не затруднятся совершить развод, а он, как супруг цесаревны, мог бы… да мало ли до чего мог бы достигнуть он, если бы опереться на законное право… Немало искушала регента и красивая наружность цесаревны. Жадно заглядывался он и прежде на обольстительные, стройные формы русской красавицы, но тогда это было запрещённым плодом под стражею неусыпного ревнивого взгляда покойной…

Безмятежно покоится набальзамированное тело императрицы в золотом гробу, среди мрачной роскошной обстановки, оплакиваемое только статуями-фамами да младенцами, поддерживающими гербы Российской империи, забытое всеми и прежде всех другом, для которого так горячо билось её сердце при жизни. Редко показывался в траурный зал его высочество регент, но зато часто, чуть ли не каждый день, бывал в домике цесаревны и просиживал там чуть ли не по нескольку часов. Красавица цесаревна ласково принимала его, участливо выслушивала его нескончаемые жалобы на брауншвейгцев, но никакой короткости не допускала.

– Если будут они идти против воли моей, – открылся цесаревне герцог, – то я прикажу их выслать всех, и принца, и принцессу с сыном, назад в Германию, и тогда…

Регент приостановился, слишком ясно дополняя мысль свою взглядом, но цесаревна, казалось, ничего не понимала, продолжая невинно и добродушно улыбаться.

– …И тогда, – продолжал регент с оттенком досады, – выпишу голштинского принца, который ведь больше всех имеет право на престол…

В последние дни, не получая никакого поощрения на свои ухаживания от цесаревны, герцог составил новую комбинацию, по которой, если не удастся самому занять престол, то удастся занять его дочери, как жене Карла-Людвига, сына герцога голштинского и старшей дочери Петра I. Кстати, пара оказывалась подходящею по летам: принцу считалось около тринадцати лет, и в таком же возрасте была его Гедвига.

Цесаревна очень хорошо понимала намёки регента о русском престоле, становилось острее его раздражение против брауншвейгцев. Притом же скоро представился и действительный повод к неудовольствию.

Из гвардейских офицеров более других волновались офицеры Семёновского полка, подполковником которого считался принц Антон-Ульрих. Всякое оскорбление командиру отражалось на них ещё больнее, как оскорбление, наносимое чести всего полка. В кружках и сходках этого полка говорились речи более дерзкие, высказывалось более твёрдое намерение покончить с регентом, свергнуть его и доставить правительство отцу и матери императора; придумывались меры: как, когда и какими средствами выполнить решение.

Кроме сходок в своём полковом кружке, семёновцы любили собираться в доме славившегося в то время гостеприимством сенатора, действительного тайного советника Михаила Гавриловича Головкина[51], сына бывшего канцлера Гаврилы Ивановича. По родству с императрицею, граф Михаил Гаврилович, в первые годы её царствования, пользовался большим весом, но потом, по неприятным отношениям с фаворитом, впал в немилость, отдалился от двора и подвергался опасности быть высланным за границу. Впрочем, кроме стойкости в нерасположении к герцогу, Михаил Гаврилович не отличался твёрдостью характера и, как его отец, любил прибегать к полумерам.

Граф и графиня Екатерина Ивановна, как радушные хозяева, ласкали молодёжь, которая, не стесняясь, высказывала перед ними все свои заветные желания. Чаще всего, разумеется, разговоры касались дворцовых событий, молодые офицеры откровенно и громко

---

[51] Михаил Гаврилович Головкин был женат на Екатерине Ивановне, дочери Ивана Фёдоровича Ромодановского, женатого на Наталье Фёдоровне Салтыковой, родной сестре царицы Прасковьи Фёдоровны (жены царя Ивана Алексеевича). Следовательно, графиня Екатерина Ивановна считалась двоюродною сестрою императрицы Анны Ивановны и тёткою Анны Леопольдовны.

заявляли своё неудовольствие к герцогу, свою горячую преданность принцу и принцессе и готовность доставить правление государством им. В числе этих офицеров находился и капитан Грамматин, адъютант принца Антона-Ульриха, тайно любивший Анну Леопольдовну, не подозревавшую, впрочем, в молодом человеке этой страсти.

– Нет у нас руководителя, – жаловались они, – и не знаем, как поступать, а то Бирону не бывать бы регентом. Разве что идти всем полком да захватить его.

– Поступите так, как сделали десять лет назад, – отвечал на эти жалобы граф, – соберитесь обществом и в назначенный день все отправьтесь к принцессе Анне Леопольдовне с челобитною: принять на себя правление во время малолетства сына, как просили покойную государыню о самодержавии.

– Без руководителя не сможем, – уныло замечала молодёжь, – не устроить нам, по неопытности, всего, как следует. Вот, если бы ваше графское сиятельство…

– С радостью бы готов с вами, да не могу, – отнекивался Михаил Гаврилович, – здоровьем плох, да и при дворе давно в немилости, на примете… А лучше всего бы вам, – продолжал граф, подумав, – обратиться к князю Алексею Михайловичу Черкасскому. Человек он надёжный и опытный… и в тридцатом году он всё дело устраивал.

На другой день молодёжь всем обществом отправилась, по указанию графа, к Алексею Михайловичу, чтобы просить его быть руководителем.

Алексей Михайлович ласково встретил молодых людей, выслушал их просьбу и, обнадёжив своим содействием, отпустил их весёлыми и радостными, а сам, между тем, тотчас же по их выходе собрался и поехал к герцогу передать о заговоре семёновцев. Князь не затруднился даже и указать на некоторых лиц, в том числе и на Грамматина, адъютанта принца Антона.

Через какие-нибудь часа два всех приходивших к князю арестовали, представили к допросу в тайную канцелярию и пытали со всевозможным пристрастием, но никто из них не выдал участия ни графа Михаила Гавриловича, ни принцессы. Только один Грамматин под жестокою пыткою указал на принца Антона-Ульриха в том, что тот знал о замышляемом заговоре и позволил ему участвовать в нём.

Узнав из этого показания об участии принца, хотя и пассивном, регент обрадовался случаю выместить на беззащитном принце всю накипевшую желчь. Он тотчас же послал за ним и нарочно, для большего оскорбления, удержал у себя бывших у него многих знатных особ.

– Знаете ли, ваше высочество, где ваш адъютант и правитель канцелярии? – со злою иронией спросил герцог, когда к нему явился принц.

– Я не знаю… – начал принц, заикаясь и бледнея.

– Так я вам скажу: он в моей тайной канцелярии, на допросе, в котором открыл все козни.

– Но, ваше высочество, я ничего не знаю и ни за кого не отвечаю… это до меня не касается.

– Нет, касается, – уже с запальчивостью стал кричать регент, – я теперь знаю, что вы замышляете… Вы хотите учинить массакр… рубить нам головы… Вы человек неблагодарный… человек кровавый… Вы только кажетесь тихим, а если бы вам дать власть, вы погубили бы всех нас, и сына своего, и государство.

Регент разгорячался всё больше и больше и всё ближе подступал к растерявшемуся Антону-Ульриху. Отступая от регента, принц левою рукою коснулся эфеса своей шпаги, и это неловкое движение ещё более раздражило Бирона.

– Что-о! – почти заревел он. – Вы смеете угрожать мне, вы вызываете меня на поединок! Так я же вам говорю, что я не трус и могу с вами справиться… Ступайте и ждите моих приказаний.

Бедный принц, воротившись в Зимний дворец, прямо, не заходя к принцессе, прошёл к себе в апартамент, усиливаясь сколько-нибудь собраться с мыслями, но он опять ни до чего не додумался, кроме того, что надобно всё скрыть от жены. Однако же и это намерение не

удалось – Анна Леопольдовна должна была скоро всё узнать и с ещё большим оскорблением.

На другой день, утром, приехал новый посланник от регента, барон Миних, брат фельдмаршала, с предложением и уже подготовленным прошением от имени принца об увольнении его от всех занимаемых им должностей. Принц безоговорочно согласился, подписал прошение, но регент этим не ограничился. Он имел дерзость передать принцу совет никуда не показываться в общество ради личной безопасности, из опасения того, что будто бы народ, раздражённый множеством заключённых в тюрьмы и пытанных по поводу замыслов принца, может нанести ему оскорбление.

Известие об отставке отца государя, сопровождавшееся таким унизительным с ним обращением, раздражило всех, и в особенности семёновцев, которые любили принца, находя у него всегда ласку и привет в случае нужды.

XXIII

Герцог Эрнст-Иоганн никогда не отличался избытком проницательности, но бесспорно обладал достаточною дозою находчивости, осторожности и здравого смысла. Теперь же, когда прихотливая судьба довела его до такой высоты, естественно, что у него закружилась голова и обычная немецкая усмотрительность утонула в безбрежном созерцании собственного величия. Он не видел, что делалось у него глазах, не замечал нечто странное, указывающее на иное течение. Он не обращал внимания на то, что в действиях оракула Андрея Ивановича появляется какая-то уклончивость от сотрудничества с ним, немалая доля самостоятельности, проявившаяся, например, в том, что ни с того ни с сего была отправлена нота, приглашавшая бывшего саксонского посланника Линара воротиться к своему посту в Петербурге. Не замечал он странных действий и другого немца-вожака, фельдмаршала Миниха.

В последнее время фельдмаршал стал бывать у принцессы Анны Леопольдовны чаще и засиживаться долее, а сын его, женатый на баронессе Менгден, сестре Юлианы, по собственному его желанию даже был назначен гофмейстером при дворе принцессы с сохранением и прежней его должности камергера при ребёнке-императоре; все эти недобрые признаки ускользали от внимания Бирона, тогда как прежде он сам не доверял гофмаршалу, зная его безмерное честолюбие, уживавшееся бок о бок с рыцарским поклонением дамам.

Через три недели после кончины императрицы, именно седьмого ноября, фельдмаршал, по обыкновению, перед полуднем заехал к принцессе и застал её с заплаканными глазами.

– Вы не жалеете своих прекрасных глаз, – любезно проговорил фельдмаршал, поцеловав руку принцессы и грациозно усаживаясь подле неё.

Анна Леопольдовна не отвечала, боясь разрыдаться.

– Мне, как самому преданному поклоннику вашего высочества, вы не откажетесь сказать, что вас так огорчает? – продолжал Миних симпатичным голосом, вызывающим на откровенность.

– Ах, фельдмаршал, да разве вы не знаете сами.

– Догадываюсь, ваше величество, но не знаю. Вероятно, новое оскорбление от регента?

– Что за жизнь моя за несчастная! – с отчаянием почти вскрикнула Анна Леопольдовна, уже не сдерживаясь и рыдая. Её, постоянно замкнутую и нелюдимую, сначала смутили любезные приветствия фельдмаршала, но потом, под влиянием тёплого участия, сдержанность её вдруг прорвалась и она перешла к полной откровенности. – Вы слышали, фельдмаршал, нас герцог хочет выслать в Германию?

– Слышал, ваше высочество.

– И, верите ли, я рада этому… столько обид и оскорблений!

– Боже вас оборони от этого! Тогда вы и, главное, ваш сын потеряете будущность.

– Так научите же, что делать?

– Что делать? Предупредите регента, низвергнуть его и выслать…

– Его? регента? да вы шутите, граф! Разве можно?

– Можно.

– Да кто же посмеет?

– Я, ваше высочество, если позволите мне быть вашим преданнейшим слугою, – несколько торжественно проговорил фельдмаршал, опускаясь на одно колено.

– Вы?! Да, вы мужественны… вы можете… но не муж, – с горечью добавила молодая женщина, протягивая руку фельдмаршалу. – Когда же? – продолжала она, доверчиво улыбаясь сквозь слёзы.

– Этого я и сам не знаю… может быть, сегодня, может быть, завтра, когда встретится благоприятный случай. Но я прошу, ваше величество, исполнить два условия.

– Какие?

– Первое – сохранять об этом тайну. Ни слова не говорите его высочеству и решительно никому.

– Мужу и постороннему никому не скажу, но разве нельзя сказать Юлиане?

– Нельзя.

– Она такая скромная… так мне предана…

– Она болтлива, может проговориться своей сестре, та мужу, моему сыну, а я не хочу говорить даже и сыну.

– Хорошо, а другое условие, граф?

– Прежде ответа я прошу, ваше высочество, откровенно сказать: верите ли вы мне безусловно?

– Верю, – решительным голосом ответила Анна Леопольдовна после минутного колебания.

– В таком случае, принцесса, отдайте распоряжение по караулу вашего дворца пропускать меня свободно, в какое бы время я ни приехал, хотя бы ночью. Затем прошу вас безусловно следовать моим советам.

– Но скажите, граф, каким образом вы думаете исполнить?

– Определённо я не знаю, но могу сказать только то, что в нынешнюю ночь или в будущую я буду иметь честь передать в ваше распоряжение регента арестованным.

Простившись с принцессою, фельдмаршал отправился к регенту на обед, к которому был приглашён накануне в числе немногих близких лиц. Во время обеда герцог казался озабоченным и беспокойным, говорил мало, часто отвечал невпопад, и зорко наблюдавший за ним Миних начинал уже тревожиться: не подозревает ли его герцог? Опасение это ещё более усилилось, когда после обеда регент, прощаясь с ним, вдруг обратился со странным вопросом:

– Часто вам случалось, граф, приводить в исполнение свои планы ночью?

– Не помню, ваше высочество, – отвечал фельдмаршал, стараясь принять на себя самый спокойный вид, – но я всегда следую правилу пользоваться всеми благоприятными обстоятельствами.

Вечером приехала к Бирону молодая графиня Миних, не знавшая ничего о планах свёкра, ужинала и уехала около полуночи. Дурное расположение духа герцога вечером несколько изгладилось, и он с любезностью крикнул вслед уходившей графине Миних:

– Передайте фельдмаршалу, что скоро, тотчас же после похорон императрицы, он получит от меня такой подарок, который с избытком покроет все его долги.

В два часа этой же ночи фельдмаршал Миних вместе с адъютантом своим, подполковником Манштейном, в одной карете приехали в Зимний дворец. Пройдя ворота, оставленные нарочно, по предварительному распоряжению, не запертыми, фельдмаршал и Манштейн вошли боковым входом во внутренние покои принцессы, где помещалась её гардеробная и спала горничная. Осторожно разбудив спавшую, фельдмаршал велел ей немедленно вызвать к нему фрейлину Юлиану. Приказание не особенно удивило горничную, видевшую часто фельдмаршала и знавшую близкое родство его с баронессою Менгден.

Хорошенькая Юлиана не заставила себя долго ждать. В ночном костюме, с растрёпанными волосами, с заспанными глазами, прикрывая рукою расстёгнутую вверху

кофточку, она казалась очень обольстительною. Фельдмаршал всегда, при всех трудных и нетрудных житейских обстоятельствах, усердный поклонник красоты, не без удовольствия поцеловал пухленькую щёчку девушки.

– Вы ли это, граф? Как вы здесь очутились… Верно, ошиблись… попали вместо Катерины Львовны[52]… – пробормотала фрейлина, задорно смотря на старика.

– Ну хорошо, плутовка, в другой раз ты мне заплатишь, – отвечал Миних, ущипнув бойкую девушку, – а теперь, милая Юлиана, потрудись разбудить принцессу и вызвать её к нам.

– И принца? – лукаво спросила фрейлина.

– Ну, принца можно и после, а теперь скорее вызови принцессу.

Через несколько минут вышла Анна Леопольдовна, полуодетая и встревоженная.

– Ваше высочество, настал час… – с особенною выразительностью проговорил фельдмаршал, не упуская случая порисоваться, горячо и несколько раз целуя руку принцессы.

– Теперь, так скоро… не лучше ли после… – тревожилась молодая женщина.

– Теперь самое благоприятное время. В карауле, как у вас во дворце, так и там, в Летнем, мои преображенцы. Если мы упустим случай, тогда я не знаю, наступит ли он когда-нибудь… Потрудитесь, ваше высочество скорее одеться и идти с нами.

– Мне одеться! идти теперь? Я не могу…

– Это необходимо, ваше высочество.

– Одной… идти с солдатами… ночью… Нет, фельдмаршал, что хотите, а я не могу.

– В таком случаю, ваше высочество, позвольте мне, по крайней мере, представить вам трёх офицеров, которые пойдут со мною. Им вы лично объявите свою волю, и тогда они без колебаний будут исполнять мои приказания.

– На это я согласна, но вы научите меня, граф, как и что я должна говорить.

Фельдмаршал послал Манштейна за офицерами, находящимися в карауле, а сам между тем подучал принцессу, передавая содержание импровизации.

Со слов его, краснея и запинаясь, Анна Леопольдовна обратилась к вошедшим трём офицерам:

– Вам известны оскорбления, наносимые регентом вашему государю, мне и моему мужу. Терпение моё истощилось, и я твёрдо решилась его наказать. Надеюсь, господа, что вы не откажетесь оказать важную услугу своему государю и мне: взять под стражу герцога, которого жестокости и насилия терзают так давно наше отечество. Итак, прошу вас следовать за фельдмаршалом и исполнять все его приказания. Верность и усердие ваше получат достойную награду.

Высказав конец речи уже более твёрдым голосом и с большим воодушевлением, принцесса дала поцеловать руку каждому офицеру, сама каждого целовала в щёку, а потом обняла фельдмаршала. Офицеры в восторге изъявили полную готовность идти за неё, куда ни поведут, и, выходя вслед за Минихом и Манштейном, весело говорили о предстоящем подвиге.

Сойдя в караульную, Миних объявил солдатам волю принцессы об арестовании Бирона и, уверившись в их полном усердии, приказал всему караулу зарядить ружья, а потом разделил на две части, в сорок и восемьдесят человек. Первая часть, при одном офицере, была оставлена при Зимнем дворце, а второй отряд, с тремя офицерами, должен был сопровождать фельдмаршала.

Гулко отбивая шаги на замёрзшей мостовой, подвигается незначительный отряд от

---

[52] Катерина Львовна, жена генерала Трубецкого (шурина князя Алексея Михайловича Черкасского), известная красавица, была, как говорили злые языки, в близких отношениях с фельдмаршалом Минихом. Этому обстоятельству приписывали быстрое повышение по службе мужа, не отличившегося в турецкой войне никакими подвигами.

Зимнего дворца к Летнему по безлюдным улицам, освещённым синеватым цветом луны; в солдатских рядах тихо, не слышно говора, обычных острот и шуток, у каждого перебирается мысль, что идут они не в простую караульную службу, что дело непростое и что от удачи или неудачи зависит судьба их самих и судьба всего государства. Но какие бы картины ни рисовались в иной голове – ничего не выходит наружу, ни на загорелых лицах, ни в мерной однообразной выправке, разве что звякнет какое-нибудь ружьё о медную пуговицу. Впереди отряда, бодро, будто на обыкновенном учении, идёт сам фельдмаршал, без шинели, в полном парадном мундире, несмотря на ноябрьскую свежесть, с голубою лентою через плечо; за ним, тоже в парадном мундире, его адъютант Манштейн, далее ряды солдат, с офицерами по сторонам, а ещё далее, позади всех, цепляясь за последние ряды, бегут странные, уродливые тени, протягиваясь и кривляясь через всю улицу; наконец, шествие замыкает карета Миниха, едущая за регентом.

Не доходя двухсот шагов до Летнего дворца, фельдмаршал остановился и приказал одному из своих офицеров идти вперёд и вызвать начальника караула, занимавшего в Летнем дворце посты в числе трёхсот человек. Когда явился командовавший караулом офицер, Миних хладнокровно, как командир, отдающий обычные приказы, объявил о цели своего визита, о воле принцессы и приказал всему караулу оставаться на своих постах, сохраняя совершеннейшую тишину. Начальник передал приказ офицерам, а последние по постам. Повиновение было полное.

Затем, подойдя к дворцовым воротам, фельдмаршал отрядил Манштейна с одним офицером и двадцатью рядовыми во дворец – захватить регента живого или мёртвого. Во дворце была полная тишина; все спали глубоким сном. Манштейн приказал своему отряду, не производя ни малейшего шума, идти за собою на некотором расстоянии, вошёл во внутренние комнаты без всякой остановки со стороны часовых, но здесь неожиданно встретил весьма важное затруднение: он не знал расположения комнат и где находилась спальня регента, а обратиться за сведением к служителям, бывшим в передней, не решался из опасения возбудить тревогу. В надежде, что, продвигаясь вперёд, должен же отыскать и спальню, он шёл далее и, наконец, действительно через две комнаты очутился перед запертой дверью. К счастью, дверь, хотя и была заперта ключом, но отворилась легко, так как случайно не были опущены задвижки.

Без шума войдя в спальню, Манштейн увидел при свете лампады большую кровать, на которой спали регент с женою.

– Вставайте, ваше высочество! – громко позвал Манштейн, отдёргивая занавесь.

Оба супруга проснулись и в испуге закричали, а регент бросился с постели, вероятно, с намерением бежать, и может быть, успел бы, если бы Манштейн, находившийся с той стороны кровати, где спала герцогиня, быстро не обежал кругом и не схватил герцога за руки. В это время подоспели солдаты. Завязалась отчаянная борьба: солдаты наносили удары ружейными прикладами, а герцог отбивался кулаками, кусался, рвался и метался, пока солдаты не успели повалить его на пол, связать офицерским шарфом руки сунуть в рот свёрнутый платок. Потом, накинув на герцога солдатский плащ, свели его во двор, где и посадили в ожидавшую карету фельдмаршала.

Вслед за мужем выбежала во двор Бенигна в одной рубашке. Увидя её, один из солдат грубо схватил её за руку и, подтащив к Манштейну, спросил, что с нею делать. Манштейн распорядился воротить её назад, но солдат, не желая обременять себя таким трудом, толкнул бедную женщину в снег, где она и провалялась без чувств до тех пор, пока караульный офицер не заметил её в таком положении. По приказанию уже этого офицера её подняли, одели и заперли в комнату, к которой приставили часового.

Счастливо окончив главный арест, фельдмаршал приказал Манштейну с его отрядом арестовать младшего брата регента, Густава Бирона, бывшего в то время в Петербурге, а другому адъютанту Кенигсфельду, – кабинет-министра Бестужева, сам же отправился в Зимний дворец, куда повезли и регента. Оба поручения были исполнены точно так же удачно, хотя при аресте Густава Бирона пост из двадцати часовых от Измайловского полка

пытался оказать сопротивление.

К утру все пленники были в Зимнем дворце, – герцог в офицерской караульной, а брат его и Бестужев в соседних комнатах.

XXIV

Ожил Петербург утром 9 ноября: как будто каким чудом исцелился от тяжкого, гнетущего десятилетнего недуга. Весть о падении немца-регента с изумительною быстротою облетела весь город, радуя старого и малого, богатого и бедного. «Не будут больше мучить в застенках, резать спины кнутом и потом разглаживать горячими утюгами, не будут чистить ногтей, не нужно будет хорониться с каждым словом», – думалось всем, и весело становилось на душе серого русского человека, радостно встречавшего даже самую незначительную льготу в своей потовой жизни, однообразной и тупой, расцвечиваемой только стаканами зелена вина, от которых чаще всего и попадал в застенок. Точно пьяные, бежали необозримые толпы к Зимнему дворцу справиться: правда ли, что нет больше немца, что на его месте сидит молоденькая женщина, печальный облик которой запечатлелся у каждого в памяти? Ликует народ на дворцовой площади, обнимается, не наговорится – точно десять лет молчал; говор такой, что за ним едва слышны барабанный бой, музыка гвардейских полков и выстрелы крепостной артиллерии.

Гул доносится и до офицерской караульной, где сидит на простом некрашеном стуле бывший регент. Он одет в обыкновенное своё платье, доставленное ему кем-то из караульных, но только вместо бархатной епанчи с плеч спускается суровая сермяга. Да оно и лучше, грязной обстановке не под стать бархат и не согреет он в нетопленой караульной. Слышит герцог весёлые крики, гул выстрелов, но чему радуется эта русская сволочь, едва ли сознаёт. Избитый, весь покрытый синяками, истомлённый физически и ошеломлённый нравственно, в полном бессилии после страшного нервного напряжения, сидя неподвижно, не шевелясь, точно будто по-прежнему со скрученными накрепко руками, регент, казалось, ничего не чувствовал. Странный блуждающий его взгляд обводил кругом комнаты, скользя по некогда выбеленным, а теперь посеревшим и замасленным стенам, останавливаясь упорно то на запылённой фуражке служивого, висевшей на гвоздике, то на обгрызенных клочках серо-синеватой бумаги, брошенных на столе. Из уважения к павшему величию в караульной никого не было, только у запертой двери прохаживался часовой; да, впрочем, и бежать-то было некуда: у окон железные решётки, а под ними, вместо сторожевого поста, целые массы народа. Выбирались смельчаки, которые, взобравшись на плечи соседей, прилеплялись к окну посмотреть на регента, как на дикого зверя в клетке.

О регенте, казалось, забыли в этой суматохе, кипевшей и бурлившей там, наверху, в Зимнем дворце. Залы быстро наполнялись приезжавшими сановниками с такими сияющими преданными лицами у всех, а в особенности у тех, у которых такая же преданность была и накануне к владетельному герцогу курляндскому. К двум центрам притягивались высокопоставленные особы – к фельдмаршалу, около которого толпилось большое количество спутников, и к вице-канцлеру Андрею Ивановичу, оракулу, около которого толпа была менее густа, но зато более плотна и цепка к своему патрону. Героем общего праздника, конечно, выставлялся фельдмаршал, переживающий теперь самые лучшие минуты вполне удовлетворённого тщеславия. На все лады кругом распевались хвалебные гимны его неустрашимости, мужеству, его уму, как будто бы была работа целой армии против многочисленного врага, – этой-то минуты и жаждал фельдмаршал. Он понимал, что, при общей ненависти к регенту, не нужно было особенного мужества арестовать его, что это гораздо легче сделать днём, в один из приездов регента в Зимний дворец, посредством того же караула из преображенцев или семёновцев, и тогда исполнивших бы свято его приказ, но тогда не было бы таинственности, ночного похода, тех густых красок, которыми так любил рисоваться Миних.

Из внутренних покоев вынесли императора-ребёнка на руках, за ним следовала новая

правительница Анна Леопольдовна в сопровождении мужа. Иною женщиною глядела теперь правительница, в блестящем костюме, с загоревшимися глазами, с румянцем, густо проступившим на бледных щеках, с гордою поступью, наэлектризованная блеском, восторгом, массою речей, расточаемых человеческой слабостью. Первою подошла к правительнице цесаревна Елизавета Петровна с искренними, по-видимому, поздравлениями; тётка и племянница поцеловались.

При входе Анны Леопольдовны в залу оракул прочёл манифест о свержении регента и о принятии правительства принцессою на себя, а вслед за тем и сама принцесса высказала твёрдым голосом коротенькую речь, общий смысл которой напоминал её импровизацию офицерам. Оглушительный, восторжённый крик закончил приветствие правительницы, и этот восторг, эти изъявления преданности в этот момент были не лицемерны. Обаяние минуты и обстановки вообще громадно для человека, восприимчивого к заражению, как физически, так и нравственно. Долго ли продолжится заражение – это другой вопрос…

По приглашению обер-гофмаршала всё собрание вслед за правительницей перешло в придворную церковь, где совершена была обычная присяга, после которой сановники стали уезжать. Внизу между тем волновалось человеческое море, из нестройного гула которого по временам выделялись отдельные крики, требовавшие взглянуть на императора и правительницу. Дикий рёв встретил появление ребёнка. Для успокоения народа правительница, накинув на себя соболью шубку, вышла на балкон. Рёв, от которого задрожали стёкла, приветствовал правительницу.

Оглядев толпу с высоты балкона, вышедший за принцессой фельдмаршал вспомнил о невольном жильце солдатской караульни и тотчас же распорядился на ухо своему адъютанту.

– Ваше высочество не сделали никакого распоряжения о регенте. Не находите ли вы неудобным содержать его здесь? – спросил он правительницу.

– Что же с ним делать, граф?

– Об этом, ваше высочество, вероятно, спросите совета у своих министров сегодня же, а между тем не удобнее ли теперь перевести герцога к семье его в Александро-Невскую лавру?

– Если вы считаете это нужным, то прикажите, – разрешила принцесса.

Анна Леопольдовна подошла к окну. В это время к крыльцу караульной подъехала карета, сопровождаемая полицейскими служителями. Из караульни вышел регент, окружённый гренадёрами с примкнутыми штыками. Народ двинулся, несколько сот рук потянулось к нему, и только значительный отряд солдат и полицейских служителей спас его от ярости народа. Герцога поспешили усадить в карету, по бокам его сели два офицера, а на козлы – полицейский служитель.

– Не так бы я поступила с ним, если бы он не принудил меня к тому сам, – тихо проговорила правительница, провожая карету глазами, полными слёз.

В келье настоятеля Александро-Невской лавры собралась семья Бирона: его жена Бенигна-Готлиб, дочь Гедвига-Елизавета и его младший сын Карл; недоставало только старшего сына Петра, недавно воротившегося вместе с фельдмаршалом Минихом из объезда крепостей и лежавшего теперь дома больным. Из всей семьи бодрее всех относилась к несчастью сама супруга Бенигна. Казалось бы, что ей, хронически больной, вечно жалующейся на здоровье, невозможно было и перенести страшные сцены минувшей ночи, но вышло совершенно наоборот – потрясение от ареста мужа и снежная ванна как будто освежили её, заставили забыть о хронических недугах и поставили на той нравственной высоте, на которой стоит всегда любящая жена и мать. С мелочною заботливостью, так чуждой ей прежде, она вспомнила о привычках мужа, которых, бывало, не замечала, и забрала с собою в монастырь все те вещи мужа, которые он любил употреблять, не забыла ни его шлафрока, ни его ножичка для чистки ногтей.

Поместившись в келье настоятеля, герцогиня деятельно захлопотала о таком, по возможности, устройстве обстановки, которое соответствовало бы привычкам мужа. Сердце

говорило ей, что здесь, в этой келье монаха, она увидит мужа, и сердце не обмануло её. У окна, выходившего в монастырский сад, прислонившись лбом к стеклу, сидела Гедвига, облокотясь на подоконник и опустив голову на руки. Но перед её глазами не печальная осенняя картина, она не видит ни обнажённых, торчащих в разные стороны, почерневших сучьев с примёрзшими кое-где стебельками, ни разбросанных толстыми слоями облетевших бурых, красных и пожелтевших листьев, ни клумб с жёсткими иглами вместо роскошных цветков; напротив, ей живо рисуется вчерашний бал у князя Алексея Михайловича, ей слышится неумолкающий оркестр, она видит рады танцующих, видит себя окружённою блестящими молодыми людьми, искавшими её внимания, там она чувствовала свою силу ума, блиставшего находчивостью и остротами, заставлявшими забывать её некрасивую фигурку. Подле девушки хныкал и капризничал её погодок брат, для которого совершившаяся перемена имела значение только лишения поводов и возможности надоедать и мучить других.

По приезде к семье, под заботливым уходом жены, герцог сделался прежним самовластным Эрнстом-Иоганном и, чем более ухаживала жена, тем придирчивее и заносчивее становился он ко всем.

Бенигна сообщила мужу обо всём, что случилось у них после его ареста. Умолчав почему-то о своей снеговой ванне, она рассказала, как на рассвете приехал к ним придворный чиновник, он отобрал у неё ключи от всех сундуков, ящиков и комодов, как, наконец, распорядился о перевозке их в лавру.

– Со мною сыграли злую комедию, – ворчал регент, – и за это дорого поплатятся. Арестовывать и наносить оскорбления владетельному лицу не может пройти даром. Моё герцогство, да и все европейские владетели сочтут это оскорблением себе и потребуют удовлетворения. Посмотрим, что будет делать принцесса со своим супругом!

От правительства он переходит к дочери, которую в сущности никогда не любил. Правда, в пору своего могущества, когда, несмотря на некрасивость девушки, за ней ухаживала вся молодёжь из первых фамилий, когда все кричали об её уме и любезности, когда государыня стала особенно благоволить к ней, тогда и он, по отцовской гордости, относился к ней благосклонно, строил планы о будущем её величии, но теперь это время миновало и дочь опять стала прежнею горбуньею, годною только быть вечною жертвою отеческого гнева. Гедвига делалась виновною во всём, во всех неудачах, во всех несчастьях. Со своей стороны и дочь платила отцу полной отчуждённостью. Как умная девушка, она видела недальность отца, и в её тринадцатилетней головке зародилась мысль избавиться от ига и сделаться самостоятельною.

– Всем злосчастьем мы обязаны вот милой дочке нашей, – пилил он Гедвигу, – если бы вышла замуж за голштинца, то давно бы я выгнал брауншвейгских.

Гедвига, привыкшая к выходкам, ничего не отвечала, даже не обернулась, не отняла лица от окна. Да и стоило ли отвечать на такие нелепые обвинения! Разве она виновата, что ей только тринадцать с половиною лет и что она ни разу не видела своего предполагаемого жениха.

«О, если бы я только его увидела, – думала девочка, – я сумела бы заставить его покориться себе». И действительно, впоследствии она доказала, чего могла достигнуть при сколько-нибудь благоприятных обстоятельствах[53].

С ночи на 8 ноября политическое значение Бирона и его участие в общественных делах кончилось совершенно и навсегда, так что дальнейшая его, впрочем, продолжительная жизнь имеет только один биографический интерес.

После полудня к пленникам явился капитан-поручик гвардии Измайловского полка

---

[53] Устроившись при дворе императрицы Елизаветы Петровны, в 50-х годах, Гедвига завлекла великого князя Петра Фёдоровича до такой степени, что тот приходил в отчаяние, когда она чувствовала себя больною, на придворных вечерах не отходил от неё и говорил только с нею.

Викентьев, с объявлениями решения правительницы о перевозе всего семейства регента в Шлиссельбургскую крепость до окончания дела.

Это известие поразило герцога. Одно имя Шлиссельбургской крепости навело на него ужас. Он вспомнил, что туда заточались те политические преступники, которым не предполагалось возврата к жизни, вспомнил судьбу Голицыных и Долгоруковых. Мысль, не ожидает ли и его такая судьба, оледенила все его умственные способности, и от угроз он быстро перешёл к полному отчаянию.

Дорожные сборы продолжались недолго: через час закрытый дормез с семьёю регента, конвоируемый конвойным отрядом, уже катился по укатанной дороге. Впрочем, всё семейство герцога в крепости поместили довольно удобно, далеко не так, как помещали русских политических преступников. Сам герцог, а тем более его семейные, даже пользовались значительною свободою, конечно, под постоянным надзором караульных. Это обстоятельство ободрило Бенигну. «Не стали бы заботиться, если было бы решено совсем покончить», – сообразила она и своею надеждою старалась поддержать мужа, которого нравственные силы совершенно покинули. Несмотря на усилия любящей жены, Эрнст-Иоганн впал в какое-то полубессознательное состояние: он то приходил в оцепенение на несколько часов, ничего не понимал, то начинал плакать и молиться.

Начались допросы особо организованною следственною комиссиею. Герцог, в минуты ясного сознания, не уклонялся от показаний, винился в своих поступках и просил прощения, только относительно переговоров с иностранными державами заметна была в его ответах некоторая сдержанность. Между прочим, в одном из своих показаний он объявил, что сам собою он никогда не решился бы домогаться регентств, что его к тому упросил фельдмаршал, чуть не на коленях, и что он советует правительнице как можно более остерегаться фельдмаршала как самого опасного человека в государстве, от которого она не будет в безопасности при первом отказе его просьбе. Вообще же производство следствия продвигалось чрезвычайно медленно. В иные дни герцог отказывался вовсе давать показания, читал молитвы, Библию и считал себя близким к смерти. Мрачное настроение его всё более и более увеличивалось и, наконец, достигло таких пределов, что должны были прибегнуть к медицинскому исследованию. Приглашённые врачи единогласно констатировали серьёзную болезнь, угрожавшую даже жизни обвиняемого.

Известие о болезни Бирона смягчило неудовольствие правительницы против него, но ещё более имело влияние на впечатлительную душу её письмо к ней бывшего регента из Шлиссельбурга, во время производства следствия.

«В горестном положении, – писал он, – в которое я сам себя ввергнул, беспрестанно помышляю о поступках моих с кончины императрицы. Я не понимаю, каким образом мог я иметь несчастие навлечь на себя неудовольствие вашего императорского высочества, так как я всегда помнил о том уважении, которое обязан иметь к вам и супругу вашему. Если же я в чём проступился, то прошу ваше императорское высочество быть уверенною, что это сделано по недоразумению и потому, что трудное управление государством совершенно занимало мои мысли. Я пишу это всепокорнейшее письмо не с тем, чтобы просить помилования. Непостоянство человеческого величия испытал я такой суровостью, что всё лично до меня касающееся меня не трогает. Я готов принять наказание, которое мне определят, об одной милости прошу только, чтобы вы обратили взор сострадания на моё несчастное семейство, тем более, что оно не имело участия в моих проступках. Если мне будет это оказано, то единственным занятием моим будет молитва к Богу о прощении грехов моих и о сохранении в здравии священной особы его императорского величества и также вашего императорского высочества и супруга вашего».

Ввиду болезненного состояния герцога следственная комиссия поспешила кончить тянувшееся более полугода производство следствия и представить его в сенат. Главное обвинение заключалось в безбожных и зломышленных поступках, заключавших оскорбление величества, а, следовательно, в таком преступлении, которое вело к самому тяжкому уголовному наказанию. Сенат приговорил герцога к смертной казни, но

правительница смягчила приговор, заменив казнь лишением имущества, чинов, знаков отличия, и ссылкою с семейством в Пелым[54], город Тобольской губернии, лежащий от Петербурга в трёх тысячах вёрст. Заступничества со стороны европейских держав, на что так рассчитывал герцог, вовсе не было заявлено, только курляндское герцогство присылало в Петербург депутацию с просьбой об освобождении своего герцога, но депутация действовала вяло, нерешительно и поспешила уехать с положительным отказом.

В июне повезли герцога и всё его семейство к месту ссылки, под конвоем двенадцати солдат из разных полков и двух офицеров – Викентьева и Дурново. Переезд совершался медленно, с частыми отдыхами, необходимыми по болезни герцога; притом же и самый размер обоза не мог не вызывать затруднений, особенно в рабочую пору. Семейству Бирона позволено было взять несколько человек из мужской и женской прислуги, поваров, лакеев и горничных; кроме того, в поезде находились пастор и доктор Вотхлер.

Бирон, добравшись до Пелыма только в начале ноября, поместился в нарочно построенном для него и его семейства доме, со службами, обнесёнными кругом высоким палисадом. Дом этот был выстроен по плану, составленному самим фельдмаршалом, не подозревавшим тогда, что трудится для двадцатилетнего своего помещения.

Жизнь ссыльных потекла совершенно скитническая. Правда, они не нуждались, как Меншиковы и Долгоруковы, в житейских средствах, так как на содержание их предназначено было отпускать около пяти тысяч пятисот рублей, на содержание пастора полтораста да на содержание прислуги по сто рублей, что, по тогдашней ценности, составляло значительную сумму, но зато они были более стеснены в личной свободе. Караульным офицерам приказано было содержать пленников «под крепким и осторожным караулом неисходно и всегдашнее смотрение иметь, чтобы никто из них никаким образом уйти не мог и в тамошнюю их бытность никого к ним не допускать, бумаги и чернил не давать». Впрочем, и без такого строгого наказа семейству Бирона невозможно было пользоваться свободою. Сам герцог, выехавший больным и в дороге ещё расхворавшийся, по приезде совершенно слёг в постель и стал готовиться к смерти. Около постели бессменно дежурили жена и дочь.

Скоро, однако же, однообразие жизни нарушилось непредвиденным несчастьем. В конце декабря, в полночь, случился пожар, начавшийся с потолка спальни больного герцога, от треснувшей печной трубы, и распространившийся потом почти на всё здание. Солдаты успели спасти только арестантов да очень незначительное количество пожитков. После пожара арестантов перевели в дом пелымского воеводы, где ссыльные и прожили около месяца, до времени, когда в Петербурге, на политической сцене, совершилась новая перемена.

Удача фельдмаршала Миниха, принятая всеми с таким восторгом, вместе обнаружила и опасную сторону, выказав возможность лёгкого переворота смелостью одного или нескольких лиц.

Правление принцессы Анны Леопольдовны, по-видимому, всех успокоило и не давало повода жаловаться. По выражению одного из современников, никогда Россия не управлялась с большей кротостью, как при этой правительнице, любившей оказывать милости и бывшей врагом всякой строгости; все вздохнули легко, освободившись от шпионства и пыточных допросов. Но, к нечастью, принцесса, при всех прекрасных качествах женственной натуры, совершенно была лишена правительственных способностей. Занятия государственными делами казались ей бременем, от которого она по возможности старалась уклониться, даже не давая себе труда входить в оценку действий лиц, которым она вверила управление. Образовались партии, с вечными интригами и раздорами. Во главе стояли два немца: Миних, в качестве первого министра, и Остерман – в качестве министра иностранных дел, оба не допускавшие равенства. Борьба между ними кончилась удалением от дел фельдмаршала, но

[54] Брат Эрнста, Густав Бирон, и зять Бисмарк тоже приговорены были к ссылке в разные места Сибири.

на место его Андрею Ивановичу явился новый враг в лице вице-канцлера графа Михаила Гавриловича Головкина.

В то же время семейные споры и раздоры между мужем и женою доходили до крайних размеров. Отвращение, которое чувствовала принцесса к мужу, начинавшее было сглаживаться, развилось в ней ещё в большей степени, когда она сделалась самостоятельною и в особенности когда возвратился в Петербург вызванный Остерманом граф Линар. Принцесса почти не могла равнодушно говорить с мужем; запретила заходить к ней в спальню и вся отдалась вспыхнувшему в ней чувству. Увлёкшись страстью, молодая женщина не замечала и даже не хотела замечать, как возникали около неё интриги и как росли неудовольствия. Сближение с Линаром не могло не возбудить опасения вторичного фаворитизма немца. Этими-то неудовольствиями и воспользовалась цесаревна Елизавета Петровна.

Пример смелой удачи был дан, и подражание не замедлилось.

Успех «матушке» преображенцев вполне обеспечили любовь гвардейцев и интрига Лестока, повсюду, во всех слоях неутомимо сеявшего самые неблагоприятные слухи о правительнице, и наоборот – самые обольстительные о цесаревне. И вот, когда неприятные отношения между правительницею и цесаревною приняли самый острый характер, когда со всех сторон стали доходить до принцессы настойчивые предостережения о замыслах цесаревны и когда, наконец, преданные правительнице успели её убедить в необходимости для обеспечения своей власти объявить себя императрицею, – почти накануне этого события, цесаревна нанесла правительнице решительный удар. В ночь с 24 на 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна, в сопровождении Алексея Разумовского, князя Михаила Воронцова, Петра Шувалова и Лестока, отправляется в казармы Преображенского полка, объявляет о своих правах на престол и, встретив восторженную поддержку, во главе трёхсот солдат, не считая присоединившихся впоследствии, идёт к Зимнему дворцу, где арестовывает без всякого сопротивления правительницу, её мужа, императора, а потом и всех, считавшихся недоброжелательными к ней и преданными принцессе: Миниха, Остермана, Левенвольда, графа Головкина и президента коммерц-коллегии барона Менгдена.

Таким образом, через год совершился новый переворот, вызвавший новые партии и новых лиц. С рассветом снова спешат толпы на дворцовую площадь, к новой присяге, но уже в народных массах не заметно того общего единодушного восторга, которым было приветствовано падение владетельного герцога курляндского. Шумно радовались только гренадёры, доставившие своей «матушке» престол и надеявшиеся, что при новом царствовании не житьё будет немцам. Действительно, переворот выдвинул русских людей, но были ли эти люди представителями русской земли?

Первою заботою нового правления было, конечно, для обеспечения своего существования покончить с людьми, преданными правительству Анны Ивановны и потом Анны Леопольдовны. Тотчас же по арестовании Остермана, Миниха, Левенвольда, Головкина и Менгдена назначена была для исследования вин их особая комиссия, заседавшая во дворце и допрашивавшая арестантов в невидимом присутствии самой Елизаветы, сидевшей за перегородкою. Основной обвинительный пункт составляло стремление обвиняемых к возведению на императорский престол брауншвейгской принцессы и, следовательно, к отстранению навсегда от престола цесаревны Елизаветы. Следствие по заранее определённому ходу и с заранее намеченной целью продолжалось не более месяца, так что в январе уже экстракт из следственного дела был передан из тайной канцелярии в сенат, которому последовало распоряжение императрицы: судить по «государственным правам и указам».

Податливый сенат, согласно с желанием императрицы, не затруднился присудить: Остермана к колесованию, Миниха, Головкина, Левенвольда и Менгдена к отсечению головы, по предварительном изломании членов. Приговор этот был смягчён императрицею, заменившею смертную казнь ссылками по отдалённым местам: Остермана в Берёзов, где он находился до самой своей смерти; Миниха в Пелым, откуда он, прожив там всё царствование

Елизаветы, был возвращён Петром III в 1762 году (умер в 1767-м, восьмидесяти пяти лет, уже в царствование Екатерины II); Левенвольда в Соликамск, где он умер в 1758-м; Головкина в Собачий острог, где он погиб в 1755 году.

Арестантам, впрочем, объявили только один приговор сената, дарованное же смягчение оставалось для них тайною до самого последнего момента. Несмотря на то, все они входили на эшафот бестрепетно, а графы Остерман и Миних выказали себя истинными героями из древнего Рима. Со спокойным, совершенно равнодушным видом, как будто дело касалось незначительного обстоятельства постороннего человека, Андрей Иванович сам приготовился к исполнению казни, расстёгивал рубашку, укладывал голову свою на плаху и, с таким же равнодушным видом выслушав смягчение, потребовал свою шапку и парик! Ещё более геройского мужества выказал фельдмаршал Миних. Элегантный по обыкновению, он гордо и величаво шёл в кругу военных, как будто в былое время командования армиями, весело разговаривая и шутя с солдатами, твёрдым шагом вошёл на эшафот и с холодным беспристрастием выслушал свой приговор.

Не менее опасливо отнеслась императрица к бывшей своей сопернице, принцессе Анне, некогда любимой и симпатичной подруге при дворе Анны Ивановны. Сначала обещав низверженному семейству брауншвейгцев свободный выезд за границу с назначением ему содержания по сто тысяч рублей в год, Елизавета вскоре, вероятно вследствие наговоров и убеждения своих приближённых и иностранных посланников, изменила решение и, продержав несчастную семью несколько лет под крепким караулом в крепостях Дюнамюндской и Раненбургской, наконец, заключила в самое строгое заточение в бывшем архиерейском доме, близ Холмогор, преобразованном в тюрьму.

Здесь умерла несчастная женщина, искупившая долгими годами тяжёлого страдания мимолётные проблески счастья. Сын её, император Иоанн, весь свой век просидевший в одиночном заключении, погиб при безумной попытке Мировича к его освобождению.

Этими сведениями очерчивается судьба всех главных действующих лиц Бирона времени; для окончания рассказа остаётся привести несколько слов о самом герцоге.

Освободившись от недругов, императрица вспомнила о Бироне. Лично против него она ничего не имела, напротив она помнила его угодливость, искательство и то нежное чувство, над которым она в то время смеялась, но которое всё-таки ей, как женщине, нравилось. И вот. рядом с немилостями, появилась и милость к изгнанникам. В Пелым послан приказ, с почётным паспортом о возвращении герцога с семейством.

До Пелыма это распоряжение достигло 20 января и немало обрадовало арестантов, если не всех, то по крайней мере некоторых, а в особенности Гедвигу, скучавшую в четырёх стенах, вечно у постели отчасти больного, отчасти хандрившего отца, никогда не упускавшего случая к ней придраться. По получении приказа, несмотря на болезнь герцога, тотчас же собрались в дорогу и направились в Курляндию, с прежними отдыхами и остановками. Один современник рассказывает, будто на одной станции, при перемене лошадей, встретились два поезда: один, направлявшийся в Пелым, с фельдмаршалом Минихом, другой – возвращающийся, с герцогом Бироном. Молча посмотрели друг на друга фельдмаршал и герцог.

На дороге Бирона встретил курьер, с новым распоряжением императрицы о назначении Ярославля местом для постоянною жительства герцога, куда и должен был направиться дальнейший путь. Не понравилось это распоряжение Бирону, как напоминавшее ссылку, хотя льготную и почётную, но всё-таки ссылку, и не без причины он объяснял эту перемену интригами бывших товарищей и недругов, Алексея Михайловича Черкасского и Никиты Юрьевича Трубецкого, о деятельности которых он мог бы порассказать, по возвращении, многое не совсем-то приглядное. По новому маршруту герцог и сопровождавшие его офицеры, Викентьев и Дурново, миновали Москву и на другой день после Благовещения прибыли в Ярославль, где был приготовлен для помещения их большой каменный дом на

берегу Волги, с большим садом[55].

Жизнь в Ярославле устроилась далеко лучше пелымской; но герцог по-прежнему хандрил и оставался недовольным. Его придирчивый характер беспрерывно наводил его на ссоры то с домашними, то с караульными офицерами. От этого ли постоянного раздражения или от дальнего пути по неудобной дороге, но действительно здоровье его пострадало и уложило его снова в постель. Узнав об этом, императрица прислала в Ярославль своего лейб-медика Лестока, который радикально помог больному, вероятно, не столько искусством, сколько обнадёживаниями милостей государыни. По совету Лестока, Бирон отправил с ним письмо к императрице, в котором, оправдываясь по-прежнему в действиях своих при Анне Ивановне, всю вину сваливал на подстрекательства Остермана, Миниха и Левенвольда. Письмо, а ещё более ходатайство Лестока, имело последствием то, что, по возвращении медика ко двору благоволение Елизаветы Петровны к опальному семейству выразилось рядом более или менее значительных льгот. Ему разрешено было принимать гостей, выезжать, охотиться в окрестностях Ярославля не далее двадцати вёрст, под присмотром, однако же, караульного офицера. Вместе с тем улучшилось и материальное содержание возвращением в собственность Виртембергского поместья[56] и доставлением многих житейских удобств: мебели, посуды, лошадей и охотничьих ружей.

Странное дело, улучшение жизни не успокаивало, а ещё более раздражало герцога, как будто напоминание прежнего величия делало невыносимее даже самое незначительное стеснение. Герцог бурлил и придирался, герцогиня молчала и терпела, но в умной головке Гедвиги-Елизаветы стали создаваться различные планы, как бы избавиться от отцовского гнёта и снова попасть в ту сферу, которую её воображение рисовало такими блестящими красками. Два её плана не удались, но третий увенчался полным успехом. Узнав о пребывании императрицы в Москве, в апреле 1749 года, молодая авантюристка, подговорив жену ярославского воеводы Бобрищева-Пушкина, убежала с нею ночью в Москву, где явилась к государыне, умоляя о защите от притеснений, наносимых будто бы её отцом, вследствие её желания принять православие. Императрица приняла в ней живое участие.

Между тем побег дочери отразился более всего на загнанной и без того Бенигне, на которую всецело шла теперь вся масса упрёков и нескончаемых придирок. Такая жизнь продолжалась во всё время царствования Елизаветы Петровны. Император Пётр III, вступив на престол, прежде всего выказал милость ко всем пострадавшим в предшествующие царствования и в числе прочих вызвал в Петербург Эрнста-Иоганна Бирона. Но эта милость не воротила герцогу прежнего положения, занятого другими лицами, с другими стремлениями. Екатерина II в 1763 году возвратила ему достоинство герцога курляндского, но при петербургском дворе он постоянно оставался не у дел, через шесть лет он сам отказался от управления своим герцогством в пользу старшего сына Петра. Эрнст-Иоганн Бирон умер 28 декабря 1772 года. Набальзамированное тело его лежит в склепе флигеля митавского дворца и показывается всем, желающим видеть труп знаменитого фаворита.

XXV

В кабинете Зимнего дворца, за большим письменным столом, работает молодая женщина, проводя на листе бумаги своеобразным почерком одну строку за другою. Молодая женщина – императрица Екатерина II. По временам, она оставляет работу, укладывает перо на поддонник чернильницы, с вниманием перечитывает, вдумывается и потом снова принимается за работу. Глубокою мыслью горят её задумчивые, выразительные глаза,

[55] Дом этот в настоящее время не существует. Ещё тогда же, по отъезде герцога из Ярославля, он был переделан в острог.

[56] Это поместье, находящееся в Шлезинге, было подарено Бирону в 1731 году прусским королём.

полуопущенные над бумагою, живые краски пробегают по всему лицу, вызванные заданными ею самой себе вопросами. Окончив работу, императрица опустила перо в чернильницу и снова перечитала всё написанное с самого начала.

В это время отворилась дверь и без доклада в кабинет ввалилась тяжеловесная фигура мужчины пожилых лет, с добрыми глазами, симпатично смотревшими из-под густых бровей.

– А… это ты, Никита Иваныч, садись. Я позвала поговорить с тобою, – сказала государыня вошедшему Никите Ивановичу Панину.

Никита Иванович грузно опустился на стоявшее против Екатерины кресло.

– Читал ты дело Артемия Петровича Волынского?

– Читал, матушка ваше величество, и чуть жизни не лишился.

– Что так?

– В бесчувствие пришёл, читая об истязаниях; самого чуть паралич не хватил.

– А говорил об этом деле с Павлом?

– Говорил и объяснял ему оное всё в подробности. Говорил, что Артемий Петрович, как и всякий человек, имел свои слабости, но такие, за которые никогда жизни не лишают…

– Я желала бы, Никита Иваныч, чтобы наследник престола знал, до чего может довести немецкое бесправие, чтобы он воспитан был в духе национальном. Хотя сама я по рождению и немка, но в душе русская и весьма чуждаюсь немецкого.

Вместо ответа Никита Иванович только ободрительно мотнул головою.

– Мысли мои по поводу дела Артемия Петровича я изложила вот в завещании сыну моему и всем моим потомкам. Послушай-ка.

И Екатерина Алексеевна стала читать вслух написанное на листе бумаги о том, как несправедливо был обвинён кабинет-министр покойной Анны Ивановны и как несправедливо основываться вообще на пыточных показаниях. Чем далее читала государыня, тем голос её становился твёрже и звучал более глубокими тонами внутреннего убеждения.

«Волынский был горд и дерзостен в своих поступках, – читала она в конце завещания, – однако не изменник, но, напротив того, добрый и усердный патриот и ревнитель к полезным направлениям своего отечества. И так, смертную казнь терпел, быв невинен. И хотя бы он и заподлинно произносил те слова в нарекание императрицы Анны Ивановны, о которых в деле упомянуто, то бы она, быв государыня целомудрая, имела случай показать, сколь должно уничтожить подобныя малости, которые у ней не отнимали ни своего величества и не убавили ни в чём её персонального качества. Всякий государь имеет неисчисленные короткие способы к удержанию в почтении своих подданных. Если бы Волынский при мне был и я бы усмотрела его способность в делах государственных и некоторое непочтение ко мне, я бы старалась всякими для него неогорчительными способами его привести на путь истинный, а если бы я увидела, что он не способен к делам, я бы ему сказала или дала разуметь, не огорчая же его: «Будь счастлив и доволен, а мне ты не надобен». Всегда государь виноват, если подданные против него огорчены. Изволь мериться на сей аршин. А если из вас кто, мои дражайшие потомки, сии наставления прочтёт в уничтожении, так ему более в свете и особливо в российском, счастья желать, нежели пророчествовать можно. *Екатерина* ».

И. И. Лажечников
ЛЕДЯНОЙ ДОМ
РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I

СМОТР

Какая смесь одежд и лиц,
Племён, наречий, состояний!

Пушкин

…поник задумчивой главой.
Пора весны его с любовию, тоской
Промчалась перед ним. Красавиц томны очи,
И песни, и пиры, и пламенные ночи,
Всё вместе ожило; и сердце понеслось
Далече…

Он же

Боже мой! Что за шум, что за веселье на дворе у кабинет-министра и обер-егермейстера Волынского? Бывало, при блаженной памяти Петре Великом не сделали бы такого вопроса, потому что веселье не считалось диковинкой. Грозен был царь только для порока, да и то зла долго не помнил. Тогда при дворе и в народе тешились без оглядки. А ныне, хоть мы только и в четвёртом дне святок (заметьте, 1739 года), ныне весь Петербург молчит тишиною келий, где осуждённый на затворничество читает и молитвы свои шёпотом. После того как не спросить, что за разгулье в одном доме Волынского?

Только что умолкли языки в колоколах, возвестившие конец обедни, все богомольцы, по одиночке, много по двое, идут домой молча, поникнув головою. Разговаривать на улицах не смеют: сейчас налетит подслушник, переведёт беседу по-своему, прибавит, убавит, и, того гляди, собеседники отправятся в полицию, оттуда и подалее, соболей ловить или в школу заплечного мастера. Вот, сказали мы, идёт народ домой из церквей, грустный, скучный, как с похорон; а в одном углу Петербурга тешатся себе нараспашку и шумят до того, что в ушах трещит. Вскипает и переливается пёстрая толпа на дворе. Каких одежд и наречий тут нет? Конечно, все народы, обитающие в России, прислали сюда по чете своих представителей. Чу! да вот и белорусец усердно надувает волынку, жид смычком разогревает цимбалы, казак пощипывает кобзу; вот и пляшут и поют, несмотря что мороз захватывает дыхание и костенит пальцы. Ужасный медведь, ходя на привязи кругом столба и роя снег от досады, рёвом своим вторит музыкантам. Настоящий шабаш сатаны!

Православные, идущие мимо этой бесовской потехи, плюньте и перекреститесь! Но мы, грешные, войдём на двор к Волынскому, продерёмся сквозь толпу и узнаем в самом доме причину такого разгульного смешения языков.

– Мордвы! чухонцы! татары! камчадалы! и так далее… – выкликает из толпы по чете представителей народных великий-превеликий, или, лучше сказать, превысокий кто-то. Этот кто-то, которого за рост можно бы показывать на масленице в балагане, – гайдук его превосходительства. Он поместился в сенях, танцуя невольно под щипок мороза и частенько надувая себе в пальцы песню проклятия всем барским затеям. Голос великана подобен звуку морской трубы; на зов его с трепетом является по порядку требуемая чета. Долой с неё овчинные тулупы, и национальность показывается во всей красоте своей. Тут, не слишком учтиво, оттирает он сукном рукава своего иному или иной побелевшую от мороза щёку или нос и, отряхнув каждого, сдаёт двум скороходам. Эти ожидают своих жертв на первой ступени лестницы, приставив серебряные булавы свои к каменным узорочным перилам. Лёгкие, как Меркурии, они подхватывают чету и с нею то мчатся вверх по лестнице, так что едва можно успеть за красивым панашом, веющим на их голове, и за лоснящимся отливом их

шёлковых чулок, то пинком указывают дорогу неуклюжим восприемышам своим. Говоря о скороходах, не могу не вспомнить слов моей няньки, которая некогда, при рассказе о золотой старине, изъявляла сожаление, что мода на бегунов-людей заменялась модою на рысаков и иноходцев. «Подлинно чудо были эти скороходы, – говорила старушка, – не знали одышки оттого-де, что лёгкие у них вытравлены были зелиями. А одёжа, одёжа, моё дитятко, вся как жар горела; на голове шапочка, золотом шитая, словно с крыльями; в руке волшебная тросточка с серебряным набалдашником: махнёт ею раз, другой, и версты не бывало!» Но я с старушкой заговорился. Возвратимся в верхние сени Волынского. Здесь *маршалок* [57] рассматривает чету, как близорукий мелкую печать, оправляет её, двумя пальцами легонько снимает с неё пушок, снежинку – одним словом, всё, что лишнее в барских палатах, и, наконец, провозглашает ставленников из разных народов. Дверь настежь, и возглас его повторяется в передней! Боже мой! Опять смотр. Да будет ли конец? Сейчас. Вот кастелян и кастелянша, оглядев набело пару и объявив ей словами и движениями, что она должна делать, ведёт её в ближнюю комнату. Фаланга слуг, напудренных, в ливрейных кафтанах, в шёлковых полосатых чулках, в башмаках с огромными пряжками, даёт ей место. И вот бедная чета, волшебным жезлом могучей прихоти перенесённая из глуши России от богов и семейства своего, из хаты или юрты в Петербург, в круг полутораста пар, из которых нет одной совершенно похожей на другую одеждою и едва ли языком; перенесённая в новый мир через разные роды мытарств, не зная, для чего всё это делается, засуеченная, обезумленная, является наконец в зале вельможи перед суд его.

Пара входит на лестницу, другая пара опускается, и в этом беспрестанном приливе и отливе редкая волна, встав упрямо на дыбы, противится на миг силе ветра, её стремящей; в этом стаде, которое гонит бич прихоти, редко кто обнаруживает в себе человека.

Было б чему и нашим современникам подивиться в зале вельможи! Глубокие окна, наподобие камеры-обскуры, обделанные затейливыми барельефами разных цветов, колонны по стенам, увитые виноградными кистями, огромные печи из пёстрых изразцов, с китайскою живописью и столбиками, с вазами, с фарфоровыми пастушками, похожими на маркизов, и маркизами, похожими на пастушков, с китайскими куклами, узорочные выводы штукатуркою на потолке, и посреди его огромные стеклянные люстры, в которых грань разыгрывается необыкновенным блеском: на всё это и нам можно бы полюбоваться. Бедные дикари не знают, где стать, чтобы не ступить на собственную фигуру, отражающуюся в налощённом штучном полу. Смешно видеть, как и наши простодушные предки, входя в залу вельможи, принимают картины в золотых рамах за иконы и творят пред ними набожно крёстные знамения.

Посреди залы, в богатых креслах, сидит статный мужчина, привлекательной наружности, в шёлковом светло-фиолетовом кафтане французского покроя. Это хозяин дома, Артемий Петрович Волынский. Он слывёт при дворе и в народе одним из красивейших мужчин. По наружности можно дать ему лет тридцать с небольшим, хотя он гораздо старее. Огонь чёрных глаз его имеет такую силу, что тот, на ком он их останавливает, невольно потупляет свои. Даже замужние, бойкие женщины приходят от них в смущение; пригожим девицам мамки, отпуская их с крёстным знамением на куртаги [58], строго наказывают беречься пуще огня глаза Волынского, от которого, говорят они, погибла не одна их сестра.

Из-за высокой спинки кресел видна чёрная, лоснящаяся голова, обвитая белоснежною чалмою как будто для того, чтобы придать ещё более достоинства её редкой черноте. Можно бы почесть её за голову куклы, так она неподвижна, если бы в физиономии арапа не выливалась душа возвышенно-добрая и глаза не блистали то негодованием, то жалостью при виде страданий или неволи ближнего.

---

[57] Дворецкий. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

[58] Куртаги – приёмные дни во дворце.

В нескольких шагах от Волынского, по правую его сторону, сидит за письменным столом человек, которого всего можно бы спрятать в медвежью муфту. Лицо его в кулак стянуто, как у старой обезьяны; на нём видно и лукавство этого рода животных. Он ужимист в своих движениях, уступчив или увёртлив в речах, глаза и уши его всегда на страже. Ни одна исправная гауптвахта не успевает так скоро отдавать честь, как он готов на всё ответы. Эта маленькая каракулька, учёная, мудрёная и уродливая, как гиероглиф, – секретарь кабинет-министра, Зуда. Он записывает имена и прозвания лиц, являющихся на смотр, замечания, долетающие к нему, с высоты кресел, и собственные свои. Чего Волынский не договаривает, то он дополняет.

В отдалении, почти у двери передней, стоит молодой человек. По одежде он не солдат, не офицер, хотя и в мундире; наружность его, пошлую, оклеймённую с ног до головы штемпелями нижайшего раба, вы не согласились бы взять за все богатства мира. Чего в ней нет? И глупость, и разврат, и низость. Один свинцовый нос – достаточный изъяснитель подвигов, совершённых его обладателем, и указатель пути, по коему он идёт. Это Ферапонт Подачкин, вольноотпущенный Волынского и в должности пристава. Ему-то поручено было доставить в Петербург из Твери сто разноплемённых пар, собранных там с разных мест России, – доставить живьём и не запятнанных морозом. По какой же *протекции* получил он столь важный пост? Мать его – *барская барыня* в доме кабинет-министра. Она спала и видела, чтобы произвесть своего сынка в офицеры, то есть в такие люди, которые могут иметь своих людей: высшая степень честолюбия подобного класса и образования женщин! Волынский, хотя человек умный и благородный, имел слабость не отказать в просьбе Подачкиной, помня старые заслуги мужа её, бывшего его дядьки: за исправное, честное и усердное исполнение порученного Ферапонту дела обещан ему первый офицерский чин. А там кто ведает, на какую высоту полез бы он, открыв себе ключом четырнадцатого класса врата в капище почестей! Надо заметить, что в тогдашнее время не нуждались в аттестате на чин коллежского асессора, – о-ох! этот уже аттестат! И вот Ферапонт, по батюшке Авксентиевич, близок уже к своей цели. Ещё один шаг, одно барское спасибо – и новое ваше благородие в России. Участь его должна решиться на сегодняшнем смотру: или дворянское достоинство, или палки на спину. Он теперь необыкновенно низко повесил голову – признак, что дух его встревожен и он ожидает невзгоды за какую-либо неудачу или промах.

Сравните белое лицо кандидата в благородия и чёрное лицо невольника: кажется, они поменялись своими назначениями. Где ж маменька ужасного честолюбца? – Видите ли направо, у дверей буфета, эту пиковую даму, эту мумию, повязанную тёмно-коричневым платочком, в кофте и исподнице такого же цвета? Она неподвижна своим туловищем, вытянутым как жердь, хотя голова её трясётся, вероятно от употребления в давнопрошедшие времена сильного притирания; морщиноватые кисти рук её, убежавшие на четверть от рукавов, сложены крестообразно, как у покойника; веками она беспрестанно хлопает и мигает, и если их останавливает, то для того, чтобы взглянуть на своё создание, на своё сокровище, на свою славу. Прошу хорошенько заметить: это она, дражайшая родительница драгоценного дитятки.

Мы сказали уже, что Подачкина (по имени и отчеству Акулина Саввишна) – *барская барыня* . Это звание в старину было весьма важное: в него избирались обыкновенно жёны заслуженного камердинера, дворецкого, дядьки и тому подобной почётной дворни. Она присутствовала при туалете госпожи своей, заведовала её гардеробом, служила ей домашнею газетою, нередко докладчицею по тайным делам мужниной половины и играла во дворе *своём* посредническую роль между властителями и слугами. Заметьте, она – *барыня* , но только *барская* !.. Придумать это звание могла лишь феодальная спесь наших вельмож тогдашнего времени. Впоследствии и мелкие дворяне завели у себя такое должностное лицо. Ещё и ныне в степной глуши звучит иногда имя барской барыни, но потеряло уже своё сильное значение.

Ни одного шута, ни одной дуры и дурочки в зале! Уж по этому можно судить, что Волынский, смело пренебрегая обычаями своего времени, опередил его.

– Как думаешь, Зуда? – сказал кабинет-министр, обращаясь с приметным уважением к секретарю своему. – Славный и смешной праздник дадим мы государыне?

– Об нём только и говорят в Петербурге, – отвечал секретарь, привстав немного со стула. – Думаю, что он долгое время занимать будет стоустую молву и захватит себе несколько страниц в истории.

Кабинет-министр дал знак головою, чтобы секретарь садился, и продолжал, усмехаясь:

– Разве наш господин Тредьяковский удостоит сохранить его в своих виршах…

– О которых все столько кричат.

– Потому что их никто не понимает.

– Известно, однако же, что ваше превосходительство с некоторого времени сделались самыми ревностными поклонниками нашего Феба и очень частенько изволите черпать в тайнике его.

– Ты хочешь сказать, с того времени, как милая молдаванская княжна стала учиться русскому языку. Да, бывший надутый школьник Тредьяковский, ныне Василий Кириллович, в глазах моих великий, неоценённый человек; я осыпал бы его золотом: не он ли выучил Мариорицу первому слову, которое она сказала по-русски?.. И если бы ты знал, какое слово!.. В нём заключается красноречие всех твоих Демосфенов и Цицеронов, вся поэзия избранной братьи по Аполлону. Василия Кирилловича за него непременно в профессоры элоквенции! Я ему это обещал и настою на своём слове.

Волынский говорил с особенным жаром; только слова: *молдавская княжна, Мариорица* – старался он произнести так тихо, что, казалось ему, слышал их только секретарь. Этот, заметив, что лицо барской барыни, может быть поймавшей на лету несколько двусмысленных слов, подёрнуло кошачьей радостью, старался обратить разговор на другое.

– Слышно, что господин Тредьяковский, – сказал он, – действительно собирается описать подробно, в нескольких томах, праздник, который вам поручено устроить.

– Потянемся и мы с тобою, любезный, к потомству в веренице скоморохов. Завидная слава!.. Расхохочутся же наши внуки, а может быть, и пожмут плечами, читая в высокопарном слоге, что кабинет-министр занимался шутовским праздником с таким же вниманием и страхом, как если бы дело шло об устройстве государства.

– Разве, утешая этим больную владычицу севера, которая столько жалует вас, вы не творите полезного…

– Для одного курляндца… Посмотри, он ещё затеет какие-нибудь торжества, игрища, всё под видом неограниченной преданности государыне; но для того только, чтобы меня занять и между действиями сыграть ловче свои штуки…

Барская барыня сделала опять лёгкую гримасу; сын её вытянул шею и силился что-то настигнуть в словах Волынского, но, за недостатком дара Божьего, остался при своём недоумении, как глупый щенок хочет поймать на лету проворную муху, но щёлкает только зубами. Зуда спешил наклониться к своему начальнику и шепнул ему:

– Осмотритесь! Вы забыли уроки Махиавеля[59]…

Последнее слово, казалось, было условным паролем между кабинет-министром и секретарём. Первый замолчал; другой свёл свои замечания на проходящих, которых разнообразие одежд, лиц и наречий имело такую занимательность, что действительно могло оковать всякое прихотливое внимание.

Вот статная, красивая девушка из Торжка, с жемчужным *венцом* , наподобие отсечённой сахарной головы; он слегка прикрыт платком из тончайшей кисеи, которого концы, подвязав шею, прячутся на груди. На лоб опускаются, как три виноградные кисти,

---

[59] Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527) – знаменитый флорентийский политический деятель и писатель. В течение четырнадцати лет занимал должность государственного секретаря республики. Уроки Махиавеля – оправдание неразборчивости в средствах для достижения намеченной цели – принцип, который отстаивал Макиавелли в своём трактате «Государь» («Il principe»).

рязки из крупного жемчуга [60], переливающего свою млечно-розовую белизну по каштановым волосам, слегка обрисованным; искусно заплетённая коса, роскошь русской девы[61], с блестящим бантом и лентою из золотой бити, едва не касается до земли. Ловко накинула девушка на плеча свой парчовый полушубок, от которого левый рукав, по туместной моде, висит небрежно; из-под него выказывается круглое зеркальце, неотъемлемая принадлежность *новоторжской* красоты. Богатая *ферезь* её, как жар, горит. Легко ступает она в цветных сафьяновых черевичках, шитых золотом. Рядом с нею её чичисбей[62] – вы смеётесь? Да, таки чичисбей[63]: горе тамошней девушке, если она его не имеет! Это знак, что она очень дурна: мать сгонит её с белого света, подруги засмеют. Раз избранный, он неотлучен от неё на вечерних и ночных прогулках. Какой молодец! Удальство кипит в его глазах: зато он и слывёт первым кулачным бойцом на поголовном новоторжском побоище. За ними – дородная мордовка в рубашке, испещрённой по плечам, рукавам и подолу красною шерстью, как будто она исписана кровью; грудь её отягчена серебряными монетами разной величины в несколько рядов; в ушах её по шару из лебединого пуха, а под ним бренчат монеты, как бляхи на узде лошадиной. Вот человеческий лик, намалёванный белилами и румянами, с насурьмлёнными дугою бровями, под огромным кокошником в виде лопаты, вышитым жемчугом, изумрудами и яхонтами. Этот лик носит сорокаведёрная бочка в штофном, с золотыми выводами, сарафане; пышные рукава из тончайшего батиста окрыляют её. Голубые шерстяные чулки выказывают её пухлые ноги, а башмаки, без задников, на высоких каблуках, изменяют её осторожной походке. Рекомендую в ней мою землячку, коломенскую пастильницу. Далее миловидная, стройная казачка держится так, что хочет, кажется, пристукнуть медными подковами свою национальную пляску. Вот и калмык разевает свои кротовые глазки, чтобы взглянуть на чудеса русские; с ним всё житьё-бытьё его – колчан со стрелами и божки его, которых он из своих рук может казнить и награждать. Вот… Но всех занимательных лиц не перечтёшь на сцене.

Пары являлись и уходили попеременно, говорим мы. Распорядитель праздника с вниманием модистки рассматривал одеяния (заметьте) пригожих женщин, какого бы они племени ни были, и некоторых из них пригласил даже остаться в зале, чтобы погреться. Ласковое внимание знатного барина, которого наши прадеды почитали за полубога, и к тому же барина пригожего, зажигало приветливый огонь в глазах русских девушек и, как сказали бы тогдашние старушки, привораживало к нему. Мелькнуло ещё несколько пар. Вдруг хозяин дома глубоко задумался. Голова его опустилась на грудь; чёрные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное, разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть; в глазах начали толпиться думы; наконец облако печали приосенило их. Долго находился он в этом положении. Никто из домашних этому не удивился, ибо с ним такой припадок с недавнего времени случался нередко, даже на дружеских пиршествах и придворных куртагах; действительно ли это был болезненный припадок, или прихоть вельможи, или

---

[60] Рязка (ряска) – нитка бус.

[61] В Торжке есть поговорка:

Ты расти, расти, коса,
до шёлкова пояса;
вырастешь, коса,
будешь городу краса.

(Примеч. И. И. Лажечникова.)

[62] Чичисбей – спутник знатной итальянской дамы, постоянно сопровождавший её во время прогулок.

[63] Счаливан. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

срочная дань какому-то предчувствию, мы того сказать не можем. Всё молчало в зале, боясь пошевелиться; казалось, все в один миг окаменели, как жители Помпеи под лавою, на них набежавшею. Где были тогда думы Волынского? Куда перенёсся он? Не играл ли беззаботно на родном пепелище среди товарищей детства? не бил ли оземь на пирушке осушенную чашу, заручая навеки душу свою другу одного вечера? не принимал ли из рук милой жены резвое, улыбающееся ему дитя или, как тать, в ночной глуши, под дубинкой ревнивого мужа, перехватывал с уст красавицы поцелуй, раскалённый беснующими восторгами? Зачем также не полагать, что он заседал в Кабинете, где бросал громы красноречия на ябеду и притеснения, или в дружеском кругу замышлял падение временщика? Кто знает, может статься, он грозно смотрел в очи палачу, когда тот поднимал на него секиру! Где были тогда думы Волынского, неизвестно нам; но, судя по характеру его, они могли быть везде, где мы дали им место. В его душе страсти добрые и худые, буйные и благородные владычествовали попеременно; всё было в нём непостоянно, кроме чести и любви к отечеству.

Женатый лет с восемь на пригожей, милой женщине, он между тем искал, где только мог, любовных приключений, которые обращать в свою пользу был большой искусник. Впрочем, ничто не нарушало согласия четы. Сердце Волынского не знало постоянной страсти, а после мгновенной ветрености он возвращался всегда пламенным любовником к ногам супруги. Её душевные и наружные достоинства умел он лучше оценить после сравнения с другими предметами его волокитства. Сказывали также, или он говорил, что жена его смотрела будто бы довольно хладнокровно на его проказы. Он не имел детей, но всегда их желал. Лаская других, забывал, что они не его, и эта любовь к детям, соединяясь с мыслию, что судьба отказала ему быть отцом, делала его иногда особенно грустным. С некоторого времени жена его гостила у родных в Москве, где и занемогла опасно. Носились даже слухи, что она умерла. Может быть, старался подтвердить их и сам Волынский. В продолжение этой разлуки барская барыня составила порядочный входящий журнал его проказам для поднесения своей госпоже; особенно один новый нумер, по обыкновенной важности, требовал больших трудов для очистки.

Но ветреник в делах сердечных был совсем другой в делах государственных, и если б порывы пламенной души его не разрушали иногда созданий его ума, то Россия имела бы в нём одного из лучших своих министров. Природные дары старался он образовать чтением лучших иностранных писателей, особенно политических, для перевода которых держал у себя Зуду, учёного, хитрого, осторожного, служившего ему секретарём и переводчиком, ментором и поверенным. Любя своё отечество выше всего, он тем с большим негодованием смотрел, как Бирон полосовал его бичом своим, и искал удобного случая, открыв всё государыне, вырвать орудия казни из рук, которым она вверила только кормило своего государства. В то время, когда раболепная чернь падала перед общим кумиром и лобызала холодный помост капища, обрызганный кровью жертв; когда железный уровень беспрестанно наводился над Россиею, один Волынский с своими друзьями не склонил пред ним благородного чела. Возвышенному характеру его давали эту смелость и нужда в нём по делам государственным и милостивое внимание к нему государыни, знавшей его преданность к ней и любовь к отечеству. Трудно было разуверить в этом императрицу. Бирон же, добиваясь возможности погубить своего соперника, не только не показывал, что оскорблялся его гордостью, но, напротив, казался к нему особенно внимателен и при всяком случае старался обратить на него милости её величества. Впрочем, оба измеряли друг друга, чтобы вернее и ловче уронить. Один из них непременно должен был пасть.

Мы оставили нить нашей повести в зале Волынского, когда он задумался. Минуты эти канули в вечность – он встрепенулся, поднял голову, заложил за уши чёрные кудри свои и осмотрелся кругом. Перед ним стояли цыган и цыганка. Последняя, красавица в полном смысле этого слова, но красавица уже отцветшая, с орлиною проницательностью рассматривала вельможу с ног до головы. Казалось, она любовалась им. Если бы нас спросили, что она думала тогда, мы б сказали: такого бравого мужчину желала своей дочери! Можно ли поверить? – кабинет-министр устыдился, что был застигнут в своём припадке

взором цыганки, пристально на него устремлённым! Однако ж это было так: он смутился, как будто поражённый чем-то.

– Чудесная игра природы!.. – воскликнул он наконец, обращаясь к Зуде. – Замечаешь ли?

– Я видел… только раза три… и поражён необычным сходством, – отвечал секретарь, сощурив лукаво свой глазки.

Во время этого переговора на лице цыганки переливалось какое-то замешательство; однако ж, победив его, она своими смелыми взорами пошла навстречу пытливым взорам кабинет-министра и секретаря его.

– Как тебя зовут? – спросил её Волынский.

– Мариулой, – отвечала она.

– Даже имя!.. Диковина!.. Знаешь ли, Мариула, что лицо твоё самое счастливое?

– Таланливо[64] оно и тем, что полюбилось вашей милости.

– Останься здесь; я с тобою ещё поговорю.

Цыганка благодарила, приложив руку к сердцу и немного наклонившись, потом стала позади кресел вельможи в некотором отдалении.

– Кто далее? – спросил Волынский.

Явилась малороссиянка, одна.

– Где ж пара её? – был грозный вопрос Артемия Петровича. – Эй, Подачкин! Я тебя спрашиваю.

При этом вопросе свинцовый нос Подачкина побелел; матушка его необыкновенно дрогнула плечами и затрясла головой, как марионетка, которую сильно дёрнули за пружину. Этот вопрос поднял всю нечисть со дна их душ.

Правящий должность пристава сделал несколько шагов вперёд и, запинаясь, отвечал:

– Это пьяница, ваше превосходительство, презлой, и пресердитый, и преупрямый, ваше превосходительство…

– Так что ж? Ты не мог его усмирить?

– Дорогой я уломал было его. Да под Санкт-Питером он начал было огрызаться на меня, ваше превосходительство, мы уж и побаивались, что кусаться станет. Памятуя долг присяги и точный смысл данной мне инструкции, я поспешил набить на него колодки.

– Лжёшь! Тебе дана инструкция обходиться как можно лучше с людьми, которых тебе поручат: на это была собственная воля государыни.

– Божусь Богом, ваше превосходительство, чтоб мне в тартарары провалиться, колодки прелёгкие, и, коли позволите, я пройду в них целую версту, не вспотев. А он ехал в них, да ещё в крытой кибитке!

– Куда ж он теперь девался?

– Колодки с него сбили, когда вели его сюда на смотр, и он невесть как пропал…

– Бездельник! Знаю всё… Я хотел только испытать тебя… Ты продаёшь меня фавориту… Гм! Людей сбывают, как поганую кошку!.. Люди пропадают среди бела дня! Но я отыщу, хотя б мёртвого… хотя остатки вырву из волчьей пасти!.. Пора, пора и волка на псарню!

– Саввишна! – прибавил грозно Волынский, взглянув на барскую барыню. – Полюбуйся подвигами своего сынка. Как думаешь, мало его повесить за такое дело!

Саввишна поклонилась, сложа руки, и ответствовала голосом глубочайшего смирения:

– Буди твоя барская воля, батюшка! Ты над нами владыка, а мы твои рабы.

– Ты в этих делах не участница, – продолжал Волынский, смягчив голос, – я знаю, ты всегда была предана роду нашему. Но этому мошеннику стоило б набить колодки, такие же лёгонькие… кабы я не дал себе слова…

– Батюшка! Отец родной! – завопила барская барыня. – Помилуй за службу покойного

---

64 Таланливо – счастливо, удачливо.

мужа моего, а вашего дядьки. И я тебе, милостивец, служу сколько сил есть, готова за кроху твою умереть… Вот что ты, глупый, наделал, – прибавила она, обратясь к своему сыну и горько всхлипывая.

– С глаз моих долой, негодяй! Счастлив, что не по тебе отец и мать. Теперь оставьте меня, вы все, кроме тебя, мой дорогой Зуда, и тебя…

Здесь Артемий Петрович дал знак рукой цыганке, чтобы она не уходила.

– Смотр остальным завтра!

Глава II
ЦЫГАНКА

Я цыганка не простая…
Знаю ворожить.
Положи, барин, на ручку,
Всю правду скажу.

Опера «Русалка»

Волынский, цыганка, сделавшая на него какое-то чудное впечатление, и Зуда остались втроём. Тогда Артемий Петрович подозвал её к себе и ласково сказал ей:

– Смолоду ты была, верно, красавицей?

Цыганка, несмотря на свои лета, покраснела.

– Да, барин, – отвечала она, – в своё время много таких знатных господчиков, как ты, за мною увивалось; может статься, иной целовал эти руки, – ныне они чёрствые и просят милостыню! О! Тогда не выпустила бы я из глаз такого молодца. Но прошлого не воротишь; не соберёшь уже цвета облетевшего.

– Нет ли у тебя дочки? Мне любопытно было бы видеть её.

– Кабы имела, я сама привела бы её к тебе на колени. Народила я деток не для свету Божьего; да и кстати! не таскаются за мной, не пищат о хлебе. Уложила всех спать непробудным сном.

– Жаль, очень жаль, что у тебя нет взрослой дочки, а то б сличил… Чудесное сходство! Чем более всматриваюсь, тем удивляюсь более… Даже маленькая, едва заметная веснушка на левой щеке!.. Знаешь ли, Мариула, что ты походишь на одну мою знакомую княжну, как розан увядающий на розан, который только что распускается?

Во время этих замечаний на лице цыганки показались белые пятна, губы её побледнели; но она, силясь улыбнуться, отвечала:

– Покажи мне, желанный мой, когда-нибудь мою двойнюшку.

– Пожалуй, я доставлю тебе этот случай. Во дворце, как и везде, старые и молодые девки любят ворожить о суженых.

– Так эта княжна живёт во дворце? – спросила Мариула, и глаза её необыкновенно заблистали и румянец снова выступил на лицо.

– Под бочком у самой государыни. Государыня её очень жалует.

– Куда ж нам, воронам, в такие высокие хоромы! Чай, одышку схватишь, считая ступени вверх по лестнице, – каково ж, когда заставят считать вниз!

– Со мною сойдёшь и взойдёшь безопасно, только, чур, уговор, поворожить княжне на мою руку, понимаешь…

– Понимаю, понимаю, это наше дело!.. Видно, ты больно заразился ею?

– По уши!

– И… наверно, она… также тебя любит?

– Ты ворожея; отгадай сама!

– Изволь, господин таланливый, пригожий; да только и от меня будет уговор: теперь ты

должен положить мне золотой на ручку, а за первый поцелуй, который даст тебе твоя желанная, подарить мне богатую фату.

– Вот тебе рублёвик; золотую фату получишь, когда сбудется о чём говоришь. Чего б я не дал за такое сокровище!

– Побожись, что не обманешь!

– Глупенькая!.. Ну, да будет мне стыдно, коли я солгу.

– Давай же руку свою.

Волынской усмехнулся, посмотрел на Зуду, слегка покачавшего головой, и протянул ладонь своей руки. Цыганка схватила её, долго рассматривала на ней линии, долго над ней думала, наконец произнесла таинственным голосом:

– Давно пели вам с пригожей девицей подблюдные песни; были на ваших головах венцы из камени честна, много лобызаний дал ты ей; да недавно ей спели «упокой господи!», дал ты ей заочно последнее земное целование.

Волынский покачал печально головой в знак подтверждения.

– Как будто по-писаному рассказывает, – произнёс лукаво Зуда, едва не хлопая в ладоши.

– Деток у тебя нет; тебе их очень хочется.

– Ты вырезала моё сердце и прочла в нём, – сказал, вздохнув, Волынский. – Что же далее?

– Скоро, очень скоро опять золотой венец!.. Твоя суженая девица… рост высокий, чёрный глаз из ума выводит… бровь дугой… бела как кипень…

– Скажи лучше, с маленьким загарцем, как чёсаный лён; но что твои белянки перед ней!

– Статься может, и ошиблась, – сказала цыганка, покраснев. – Молвлю ещё тебе, что она не из земли русской, а из страны далёкой, откуда лебеди сюда прилетают…

– О! Да это слишком много; ты уж успела поразведать кое-что…

Секретарь пожал плечами и сделал ручками знак восклицания. Мариула, углубясь в рассматривание ладони, продолжала:

– Линии так выходят; не я их проводила! Смотри, береги сокровище; не расточи его своею ветреностию; береги и себя! В твоей суженой не рыбья кровь здешних русских женщин… Первое дитя будет у тебя мужеска пола… Далее черты путаются так, что не разберёшь! Довольно для руки сердечной; дай мне правую ручку. – Волынский передал ей другую руку. – Эта владеет мечом-кладенцом или… пёрышком, которое, говорят, режет исподтишка, что твоё железо! Правая ручка достаёт деньги, честь, славу!.. О! Для этих вещиц забываете вы и про любовь, а наша сестра горюй и сохни!

– Да какая же ты красноречивая!.. Где всему этому набралась? Видно, вспомнила старину!.. Вот теперь-то и запутаешься…

– Попытаемся!.. Слушай же! Ты в силе у матушки-царицы; но борешься или собираешься бороться с человеком, который ещё сильнее тебя. Брось свои затеи или укроти свой ретивый нрав, уложи своё сердце. Силою ничего не возьмёшь, разве возьмёшь лукавством. Выжидай всего от времени… Уступай шаг первому: довольно, если будешь вторым…

– Хоть десятым, – воскликнул Волынский вне себя, – но только за человеком, который этого бы стоил, который бы любил Россию и делал бы её счастливою.

– А то смотри, если эта вторая линия напрямик переступит эту первую, – беда тебе!

– В сторону нашего мёртвого Махиавеля! – сказал Зуда. – Примемся за живого, который, право, даёт советы не хуже хитрого секретаря Цесаря Боргия!

– Мариула! – произнёс ласково кабинет-министр, – ты умна как хорошая книга, видишь много впереди и назади, похожа на одну особу, которую… я уважаю, и потому мне очень полюбилась.

– Дорога мне твоя ласка, господин, дороже злата и серебра.

– Когда ж ты хочешь… видеть свою двойню?

«Хоть сейчас», – хотела сказать цыганка и удержалась.

– Ныне, завтра, – отвечала она, – мне всё равно, лишь бы твоей милости в угоду было.

– Ныне я никуда не выеду; но завтра поговорю о тебе, как о славной ворожее, придворным барышням, явись в полдень во дворец, спроси меня, – тебя позовут, я за это берусь.

– Во дворец?.. Меня заранее дрожь пронимает.

– Пустяки!.. Дом с людьми, как и мы!.. Только не забудь условия.

– Коли надо тебе будет приворотный корешок или заговоры…

– Скорей твоё лукавство и мастерство на некоторые дела. Смотри! – Волынский положил палец на свои губы.

– Не бойся, барин; ты напал не на такую дуру! Если б пытали меня, скорей откушу себе язык и проглочу его, чем проговорюсь. Прощай же, таланливый мой; не забудь про фату!

– У меня обещано – так сделано! Зуда, напиши от имени моего записку, чтобы её и цыгана, который с ней, полиция нигде не тревожила и что я за них отвечаю.

Записка была готова в одну минуту, подписана самим кабинет-министром и вручена чудесной Цивилле[65]. Он отправился с Зудой в другую комнату, а Мариула, произнеся вслед им вполголоса, но так, чтобы они слышали: «Зачем я не знатная госпожа? Зачем нет у меня дочери?» – спешила к товарищу своему.

Старый дородный цыган, дожидавшийся своей подруги на дворе, очень обрадовался её появлению. Жестокий, с лишком в двадцать градусов, мороз прохватывал его до того, что он, за неимением с кем погреться вручную, готов был побарахтаться с медведем. Но как Мариула, после милостивого обхождения с нею кабинет-министра, сделалась важной особой в доме его, то и доставила вход в кухню своему товарищу, едва не окостеневшему. Там его отогрели и обоих накормили, как свиней на убой. Во время их обеда сбегали не раз в кухню дворовые люди и перешёптывались о чём-то с поварами. И потому цыганка на вопросы свои, издали забегавшие о семейной жизни гостеприимного и доброго барина, получила только ответы, утвердившие её в мысли, что Волынский вдовец.

Выходя из дому, она делалась более и более задумчивою и что-то бормотала про себя.

– Какой мороз! – сказал её товарищ, нахлобучив плотнее свою шапку и подвязывая себе бороду платком. – Того и гляди, что оставишь нос и уши в этом чухонском городке, который ближе бы назвать городскими слободками. Там палаты, около них жмутся мазанки; здесь опять палаты и опять около них мазанки, словно ребятишки в лохмотьях связались в игру с богатым мужиком. А меж ними луга да площади, как будто нарочно, чтоб ветру ходить было разгульнее!

Цыганка молчала.

– Сильно же машут мельницы! Только они и нагреваются ныне. Уф!

Цыганка всё хранила угрюмое молчание.

– Ге, ге! Да у тебя щека побелела; оттирай скорей.

– Пускай белеет!.. Кабы мороз изрыл мне всё лицо так, чтобы признать меня нельзя было!

– Что с тобой, Мариуленька? Ты больно сердита.

– Лишь бы носа не откусил! – Цыганка закрыла его рукавом своим. – Без носу страшно было бы показаться к ней. Сердце петухом поёт во мне от одной мысли, что она меня испугается и велит выгнать. – Немного помолчав: – Завтра во дворец?.. Я погублю её сходством, я сниму с неё голову… На такой вышине, столько счастья, и вдруг… Нет, я не допущу до этого… Вырву себе скорее глаз, изуродую себя… Научи, Василий, как на себя не походить и не сделаться страшным уродом.

– Дай подумать в тепле; а то и мысли стынут.

– Придумай, голубчик; камень с груди свалишь. Меня не жалей, пожалей только моё

---

[65] Цивилла (сивилла, сибилла) – в греческой мифологии пророчица, прорицательница.

дитя, моё сокровище. Возьми всё, что у меня есть; мало, я пойду к тебе в кабалу.

– Я твой слуга, ты моя кукона и благодетельница; поишь, кормишь, одеваешь меня… Разве только убить себя велишь, тогда тебя не послушаю. Да из какой же беды хочешь себя исковеркать?

– Вот видишь, Вася, по соизволению Божью, моя Мариорица здесь… На что ж бы я пришла сюда, как не посмотреть на её житьё-бытьё? Мариорица в чести, в знати… за нею ухаживают как за княжной, за неё сватаются генералы… и вдруг узнают, что она… дочь цыганки!.. Каково мне тогда? Что станет с нею?.. Нет, не переживу этого! Скорей накину на себя петлю!.. На беду, она похожа на меня как две капли воды; вот уж и Волынский, и его приближённый признают это… Признают и другие!.. Господи, Господи! От одной мысли меня в полымя бросает!.. Из княжон в цыганки!.. Каково так упасть!.. Я её лелеяла, я берегла её от этого позора; она не знает, что я мать её, – пусть никогда не узнает!.. Мне сладко быть матерью, а не называться только ею; сладко видеть Мариорицу счастливою, богатою, знатною; не хочу ничем потревожить её счастия… Умру с тем, что я могла б одним словом… да! таки одним словом… и не сказала его. Видишь, мне одной обязана она всем. Бог это знает да я! Вот что меня утешает; вот, Васенька, что меня утешит, когда глаза мои станут навеки закрываться.

Мариула утёрла слёзы на щеках.

– Ну, Мариуленька, разогрела ты меня пуще водки, – сказал старый цыган, покряхтывая. – Я помогу как-нибудь твоему горю – вот тебе моё слово свято!

Оба замолчали.

Пусто было на улицах и площадях; лишь изредка мелькал курьер, сидя на облучке закрытой кибитки; по временам шныряли подозрительные лица или гремели мерным звуком цепи и раздавалась заунывная песнь колодников: «Будьте жалостливы, милостивы до нас, до бедных невольников, заключённых, Христа ради!» На всём пути наших цыган встретили они один экипаж: это был рыдван, облупленный временем; его тащили четыре клячи верёвочными постромками, а на запятках стояли три высоких лакея в порыжелых сапогах, в шубах из красной собаки и с полинялыми гербовыми тесьмами; из колымаги же проглядывал какой-то господин в бархатной шубе с золотыми кистями, причёсанный a la pigeon[66]. Окошки были опущены, вероятно потому, что не поднимались, и оттого-то грел он себе концы ушей, незакрытые пуклями, то правым, то левым рукавом шубы. Василий частенько озирался, стараясь, по приметам домов, не сбиться с пути.

– Что ты так посматриваешь по сторонам? – спросила цыганка. – Не сбились ли мы с дороги? Ведь я сказала тебе, ко дворцу.

– Не бойся: я Петров город знаю, как ты свои Яссы. Былому русскому матросу, да ещё матросу Петра Алексеевича, стыдно не знать этого корабельного притона. Нырну и вынырну здесь, где хочу. Пожалуй, я перечту тебе все дома. Вот эти каменные палаты, как сундук с высокой крышкою, Остермановы[67]. Неподалечку выходит на луг деревянный домик со столбиками; это подворье новгородского архиерея Прокоповича. Направо церковь каменная, огороженная деревянным забором, Исакия Далмацкого. Странно! Как ни приду в Питер, всё она строится. Диковинные были на ней часы с курантами! Тридцать пять тысяч стоили; как час, так и заиграют свои штуки. Года за четыре, говорят, разгневался батюшка Илья-пророк, что музыка над церковью, да и разбил громом часы. Вот, идём мы теперь мимо адмиралтейской крепостцы: небось не перемахнёшь чрез валики, даром что водица в канавах заморожена. Смотри-ко, купол-ат над башнею горит, будто славушка Петра Алексеевича. То-то был великий государь, хоть и больно бивал из своих рук! Зато при нём всё шло как по маслу, и житьё было привольное, весёлое, лишь своего дела не запускай. По этой Луговой

---

66 Причёсанный a la pigeon (букв.: как голубь) – со взбитым хохолком надо лбом.

67 Ныне дом сената. (Примеч. Я. И. Лажечникова.)

линии выступали здесь чинно из болот мазанки, да в мазанках слышны были с утра до ночи песни. А теперь, как очистил их пожар, встали наперекор ему высокие палаты – эки гордые, так и прут в небо! Мало высокой кровли, давай и на кровлю надеть шляпу или будку чванливую… Зато ни гугу! Молчат, как домовища, и скучны, как остроги.

Цыганка плохо слушала рассказы своего товарища и с нетерпением высматривала вперёд, не видать ли дворца. Вдруг кто-то, следовавший за ними так тихо, что скрал шум своих шагов, закричал:

– Стойте! Слово и дело!

– Батюшка! Голубчик! – завопила цыганка, поспешив сунуть в руку незнакомца мелкую серебряную монету. – Отпусти; мы идём по делу Артемия Петровича Волынского.

При этом имени незнакомец осмотрелся; видя, что поблизости их не было никого, взял деньги и примолвил:

– Ступайте! Хорошо, что на доброго человека напали, а то б не легко распутались.

И в самом деле, эта встреча могла бы повести цыган к *заплечному мастеру* . Молча шли они далее. Но скоро показался трёхъярусный дом с корабликом на каждых воротах по сторонам, а за ним Зимний дворец. При виде этих палат язык старика вновь развязался.

– Видишь ли, – сказал он, – этот дом с корабликами по бокам?

– Вижу, ну!

– Это дом Апраксина. А за ним палаты, вот что солнышко играет в окна незамороженны?

– Не дворец ли уж?

– Да, славное житьё в нём, а пуще всего, что там больно тепло. Чай, матушка-государыня ходит теперь спустя рукава или поваливается на пуховиках! Уф! Брр! Экой морозина, так и хватает за сердце!

Цыган, говоря это, проворно плечами переминал и частенько похлопывал рукавицами.

– Знаешь ли, – произнесла с восторгом Мариула, удвоив шаги и подняв выше голову, – знаешь ли, что моя Мариорица живёт вот тут, в этом дворце?

Старик покачал головою.

– Да, да, неверный, таки живёт в этих больших каменных палатах!.. Мариорица – княжна… её ласкает, любит сама государыня…

– Не морочит ли уж кто тебя?

– Поспорь, я тебе выцарапаю глаза! Сто человек мне это сказывали. Спроси любого прохожего. Все её хвалят, все её любят… О! Она и сызмала была такая добрая… А Волынский?.. Кабы это случилось?.. Почему ж и не так? Ведь она ему ровнюшка!.. Мариорица – княжна… Милая Мариорица!.. Вася, дурачок, миленький, друг мой, что ж ты не говоришь ничего, глухой?

И глаза цыганки прыгали от радости, и щёки её на морозе разгорались. Казалось, она готова была идти плясать на площади.

– Не с ума ли ты сошла, моя кукона[68]?

– Правда, есть с чего рехнуться! Погоди, остановимся-ка против дворца.

– Чтобы на нас опять закричали *слово и дело* и посадили в каменный мешок?

– Пускай кричат, пусть запрячут! Не боюсь никого. Видишь, видишь, у одного окна кто-то двигается… может быть, она смотрит… Она, она! Сердце её почуяло свою мать. Василий! Ведь она смотрит на меня? Василий! Говори же…

– Смотрит, – сказал старик, вздохнув и качая головой.

– Божье благословенье над тобой, дитя моё! Ты во дворце, милая Мариорица, в тепле, в довольстве, а я… бродяга, нищая, стоя на морозе, на площади… Да что мне нужды до того! Тебе хорошо, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик, и мне хорошо; ты счастлива, ты княжна, я счастлива вдвое, я не хочу быть и царицей. Как сердце бьётся от радости, так и

[68] По-молдавански: госпожа. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

хочет выпрыгнуть!.. Знаешь ли, милочка, дочка моя, дитя моё, что это всё я для тебя устроила…

– Вот к крыльцу подают две кареты золотые, все в стёклах, как жар горят. Экой осмеричок!.. А шоры, видно, из кована золота! Знать, сама государыня изволит ехать, а когда она едет, не велят стоять на дворцовой площади.

– Побежим к крыльцу!

– Воля твоя, наживём себе петлю, а пуще всего, как ты говоришь, погубишь свою…

– Погубить? Дурак! Разве я не мать? Может статься, Мариорица поедет… хоть одним глазком взгляну…

И цыганка в несколько прыжков у крыльца дворцового, и покорный товарищ за ней, ни жив ни мёртв. В другое время палки осыпали бы их, но было уже поздно…

Появилась государыня Анна Иоанновна среди толпы придворных. По лицу её, смуглому, рябоватому, но величавому, носилось облако уныния, которое, заметно было, силилась она прикрыть улыбкой. Она недомогала, и медики присоветовали ей как можно более рассеяния и движения на свежем воздухе. Теперь ехала она в манеж Бирона, где обыкновенно упражнялась с полчаса в верховой езде. Ей вздумалось быть там ныне, не предварив никого, и только едва успели придворные послать к герцогу нарочного – уведомить его об этом, и двух дежурных пажей в самый манеж приготовить там всё к приезду государыни. За нею шло несколько придворных кавалеров и дам в бархатных шубах светлых цветов.

Между этими дамами одна отличалась чудною красотою и собольею островерхою шапочкой наподобие сердца, посреди которой алмазная пряжка укрепляла три белых пёрышка неизвестной в России птицы. Чёрные локоны, выпадая из-под шапочки, мешались с соболем воротника. Если б в старину досталось описывать её красоту, наши деды молвили бы просто: она была так хороша, что ни в сказках сказать, ни пером написать. Это была молдаванская княжна Мариорица Лелемико.

Государыня села в первую карету с придворною дамою постарше; в другую карету вспрыгнула Мариорица, окружённая услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула её гомеопатическая ножка, обутая в красный сафьянный сапожок, – и за княжною полезла её подруга, озабоченная своим роброном. В это время надо было видеть в толпе два неподвижных чёрных глаза, устремлённых на молдаванскую княжну; они вонзились в неё, они её пожирали; в этих глазах был целый мир чувств, вся душа, вся жизнь того, кто ими смотрел; если б они находились среди тьмы лиц, вы тотчас заметили бы эти глаза; они врезались бы в ваше сердце, преследовали бы вас долго, днём и ночью. Это были два глаза матери… Оглянувшись из кареты, заметила их и княжна: она вздрогнула и невольно стиснула руку своей подруги. Кареты двинулись. Раздался в толпе крик, глухой, задушенный, скипевшийся в груди… В этой же толпе хохотали.

– Что такое? – спрашивали друг у друга.

– Упала какая-то цыганка, – отвечали голоса, – видно, сдавили в тесноте… Да палка не свой брат, сейчас поднимет и умирающего.

Глава III
ЛЕДЯНАЯ СТАТУЯ

И так погибну в цвете лет,
Истлею здесь без погребенья
И неоплакан от друзей!
И сим врагам не будет мщенья
Ни от богов, ни от людей.

«Ивиковы журавли». Жуковский

Летний дворец, Летний сад – сколько цветущих воспоминаний увиваются около этих двух имён! Там, говорите вы, в маленьких покоях Пётр I созидал дела великие, которых последствия осенят и наших потомков.

Там, под тенью дерев, им самим посаженных, любил государь, после заповеданных трудовых дней, тешиться, как добрый простой семьянин. Кому также не известно, что этот сад бывал сборным местом всего Петербурга, когда царь, от избытка удовольствия, спешил сообщить своим любезным подданным и детям весть об успехе важного подвига, совершённого им для блага России? Радость передавалась безусловно; все состояния в ней равно участвовали. Уж и наши прадеды не любили ломаться на зов надежды-государя и угощения матушки-царицы и великих княжон. Хмельные от вина, медов и торжества, они не чинилися, тем более что, по простому обычаю старины, и сам державный бывал иногда навеселе. Все говорили вслух о том, что было у них на душе, потому что в душе ничего не таилось против хозяина. Аллеи кипели и шумели; на скамьях обнимались; в гроте, убранном на диво заморскими раковинами, слышались поцелуи; водомёты плескали, и сами мраморные статуи, между перебегающими группами, казалось, двигались. На царицыном лугу народ роился; там деревянный лев, обременённый седоками, беспрестанно нырял в толпе и высоко возносился на воздух; покорные под всадником лошади и сани с обнимающимися парами кружились так, что глазам зрителей было больно. Тут же любопытных допускали смотреть в зверинце двух живых львов и слона. Только тёмная ночь разгоняла пирующих. Когда же государь, распрощавшись с гостями своими, уходил в двухэтажный домик, охраняемый любовью народной, он мог слышать, как провожали его виваты иностранцев и благословения русских.

И вдруг исчезает на время очарование этих воспоминаний. Порог этого храма переступает Бирон, поставив у входа секиру. В жилище державного и вместе великого святотатственно водворяется он, не прикрыв доблестями душевными рода своего, не скрасив славными подвигами своего властолюбия. Наружным величием старается он заменить истинное: к маленькому дому сделаны огромные пристройки; блестящий двор и гвардия герцога курляндского наполняют его. Видны везде власть, великолепие, фортуна; везде вытягивается временщик; но где сила народной любви? где человек народный, вековой? Дом переменил хозяина, и всё в нём и вокруг его изменилось: бывало, походил он на кордегардию, и его всё-таки величали дворцом; Бирон силится сделать его дворцом – и он смотрит кордегардией. Ужас царствует вокруг этого жилища; сад и в праздники и в будни молчалив; не нужно отгонять от него палкою, – и без неё его бегут, как лабиринта, куда попавшись, попадёшься к Минотавру на съедение; кому нужно идти мимо жилища Бирона, тот его дальними дорогами обходит.

Зимой – именно в то время, в которое происходит начало действия нашего романа, – зимой, говорю я, сад с окованными водами, с голыми деревьями, этикетно напудренными морозом, с пустыми дорожками, по которым жалобно гуляет ветер, с остовами статуй, беспорядочно окутанных тогами, как саванами, ещё живее представляет ужас, царящий около его владельца.

Благодарение Богу, нечистый дух выкурен из этого жилища с того времени, как посетил его добрый гений дщери Петровой; очарование воспоминаний снова окружает маленький домик в Летнем саду.

Но обратимся к зиме 1739/40 года.

Мы не взойдём теперь в жилище Бирона, а перенесёмся через Фонтанку в манеж его. Он расположен на берегу в длинной мазанке с несколькими осьмиугольными окнами по стенам и двумя огромными, из пёстрых изразцов, печами на концах. Подле одной печи сделано возвышение в виде амфитеатра с узорочными перильцами и балдахином из малинового сукна с золотой бахромой. Под балдахином стоят кресла с высокой спинкою, обитые малиновым бархатом. У ручек вытягиваются два пажика в высоких напудренных париках, с румяными щёчками, как два розана, уцелевшие под хлопками снега, в блестящих

французских кафтанах, которых полы достают почти до земли, в шёлковых чулках и в башмаках с огромными пряжками. По временам кладут они на перила свои детские головы в стариковских причёсках, как бы высматривая кого-то. Вот всё, что замечательно в манеже. За ним, через обширный двор, тянутся каменные великолепные конюшни, в которых красавицам лошадям, выписанным из Голстинии, Англии и Персии, тепло и привольно. Как их холят и нежат! Люди, ухаживающие за ними, завидуют их житью-бытью. От конюшен идёт каменная ограда до набережной; за оградою нечистый дворик и посреди его колодезь с насосом, ручкою для качки воды и жёлобом, проведённым в конюшню. Подле самого колодца дерево почти без сучьев. На главный двор два въезда – с Фонтанки и с Невы.

Вообразим, что мы пришли к манежу за полчаса до пажей, и посмотрим, что делается на заднем дворике.

К дереву крепко привязан под мышки мужчина, высокий, сутуловатый, желтоликий, с отчаянием в диких взорах; на нём одна рубашка; босые ноги оцеплены. Хохол на бритой голове изобличает род его. Это малороссиянин, которого недоставало на смотру Волынского. Жестокий мороз хватает жгучими когтями всё живое; людям тяжело дышать; полёт птиц замедляется, и самое солнце, как раскалённое ядро, с трудом выдирается из морозной мглы. Каково ж в одежде тропичных стран стоять в снегу под влиянием такой атмосферы? Однако ж малороссиянин ещё стоит – не стонет, а только скрежещет зубами. Сначала он дрожал, теперь окаменел; ноги его горели, как на раскалённом железе, теперь онемели. Против него храбрится офицер среднего роста, пузатый, с зверскою наружностью, в медвежьей шубе. Это адъютант герцога курляндского, Гроснот. По обеим сторонам малороссиянина человека с четыре конюхов.

– Обругать его светлость! Писать на него доносы! – кричал Гроснот ломаным русским языком и сиплым от досады голосом, остря кулаки на свою жертву. – Знаешь ли, с кем тягаешься?.. Мы всчешем тебе хохол курляндскою гребёночкой; мы собьём с тебя панскую спесь, поганый Мазепа!

Малороссиянин глубоко вздохнул и поднял глаза к небу.

– Что? Мороз не уговаривает ли тебя? Скажешь ли, где бумаги?

– Ни! – произнёс твёрдо малороссиянин.

– Посмотрим! Гей, ребята! Ушат с водою! – закричал адъютант.

Разом накачали конюхи воды в ушат. Лицо малороссиянина исковеркали судороги; потом глаза его налились кровью и впились в своего мучителя.

Гроснот тряхнул головой, как бы для того, чтобы избавиться от неподвижного взгляда своего мученика, и дал приказ двум конюхам стать на скамейку, приготовленную у дерева, и поднять туда ж ушат с водой.

– Скажешь ли, куда девал донос? – спросил он.

– Передал Богу, – был ответ.

– Окатите ж его!

И ушат воды вылит на голову несчастного.

Облако пара обхватило его, но скоро исчезло, подрезанное морозом. Хохол его унизался бусами, темя задымилось; рубашка стала на нём как бумага картонная.

– Го-го-го! – застонал малороссиянин в этом жёстком мешке, собрав последние силы. – Дойдёт бумага до императрицы, хоть сгину… Скажи своей, бесовой собаце Бог отплат… брр…

Здесь он захлебнулся.

– Ещё ушат и ещё! Удвоить порцию! – заревел адъютант.

Другой ушат воды обдал мученика с ног до головы. На этот раз рубашка покрылась чешуёй, и струи, превратись будто в битое стекло, рассыпались с треском по снегу.

После третьего ушата хохол повис назад, как ледяная сосулька, череп покрылся новым блестящим черепом, глаза слиплись, руки приросли к туловищу; вся фигура облачилась в серебряную мантию с пышными сборами; мало-помалу ноги пустили от себя ледяные корни по земле. Ещё жизнь вилась лёгким паром из уст несчастного, кое-где сеткою лопалась

ледяная епанча, особенно там, где было место сердца, но вновь ушат воды над головой – и малороссиянин стал одною неподвижною, мёртвою глыбою.

– Государыня будет скоро в манеж! – закричали на дворе – Вот и пажи приехали.

– Лей, лей проворнее! А то мне и вам беда! – командовал испуганный адъютант.

Ещё два-три ушата, и нельзя было признать человека под ледяною безобразною статуей. Она стала на страже колодца. Солнце, выплыв из морозной мглы, вспыхнуло на миг, как будто негодуя на совершённое злодеяние, и опять скрылось во мгле.

– Государыня едет! – закричали опять на дворе.

Гроснот возвратился в манеж будто ни в чём не бывало, а исполнители его подвига – в конюшню.

Государыня любила верховую езду и была в ней очень искусна. Нынешний же раз, чувствуя себя слабою, сделала только два-три вольта, сошла с лошади, села на кресла под балдахином, окружённая своею свитой, и с высоты любовалась мастерскою ездою Бирона, статного, довольно красивого, хотя жестокость его прокрадывалась по временам сквозь глаза и вырезывалсь неприятным сгибом на концах губ. Он был в светло-голубом бархатном кафтане. На лошади под ним, изабеллова цвета, блистал чепрак, облитый золотом и украшенный по местам шифром государыни из бирюзы, крупные бирюзовые же каменья вделаны были в уздечку. Герцог подъехал наконец к возвышению, где находилась императрица, и, скинув перед ней шляпу, поникнув несколько головой, ждал себе лестной награды. Государыня встала со своего места, подошла к перилам, приветствовала всадника улыбкой, ласкала рукою прекрасное животное, на котором сидел Бирон и которое положило свою голову на перила, как бы ожидая и себе внимания царицы. Разные нежные имена были даны любимице Бирона, названной им бриллиантом его конюшни; красавица, казалось, от удовольствия била землю копытом. Велено было принесть кусок хлеба, который и схватила она осторожно из нежных рук. Придворные дамы любовались этою сценою: вся душа пажиков была в глазах их, сверкающих от радости; одна Мариорица не заботилась о том, что делалось около неё, и часто обращалась взорами ко входу в манеж.

– Едем! – сказала наконец Анна Иоанновна, кивнув благосклонно Бирону, и он, соскочив с лошади, оставшейся как бы вкопанною на своём месте, свёл государыню с возвышения.

У входа в манеж тряслись на морозе Гроснот и *нечто* в розовом атласном кафтане, которое можно было б изобразить надутым шаром с двумя толстыми подставками в виде ног и с надставкою в виде толстой лысой головы, о которою разбилась бы черепаха, упав с высоты. В этой голове было пусто; не думаю, чтобы сыскалось сердце и в туловище, если бы анатомировали это *нечто* ; зато оно ежедневно начинялось яствами и питьями, которых достало бы для пятерых едоков. Это *нечто* была трещотка, ветошка, плевальный ящик Бирона. Во всякое время носилось оно, вблизи или вдали, за своим владыкою. Лишь только герцог продирал глаза, вы могли видеть это огромное *нечто* в приёмной зале его светлости смиренно сидящим у дверей прихожей на стуле; по временам оно вставало на цыпочки, пробиралось к двери ближайшей комнаты так тихо, что можно было в это время услышать падение булавки на пол, прикладывало ухо к замочной щели ближайшей комнаты и опять со страхом и трепетом возвращалось на цыпочках к своему дежурному стулу. Если герцог кашлял, то оно тряслось как осенний лист. Когда же на ночь камердинер герцога выносил из спальни платье, *нечто* вставало со своего стула, жало руку камердинеру и осторожно, неся всю тяжесть своего огромного туловища в груди своей, чтобы не сделать им шуму по паркету, выползало или выкатывалось из дому и нередко ещё на улице тосковало от сомнения, заснула ли его светлость и не потребовала бы к себе, чтобы над ним пошутить. Вы могли видеть *нечто* у входов верховного совета, сената, дворца и даже Тайной канцелярии, когда в них находилась его светлость; на всех церемониалах, ходах, пиршествах и особенно жирных обедах, где только обреталась его светлость. Этот кусок мяса, на котором творцу угодно было начертать человеческий образ, это существо именовалось Кульковским. Высочайшее его благо, высшая пища его духа или пара животного, заключалась в том, чтобы

находиться при первом человеке империи. В царствование Екатерины он находился *при* Меншикове, в царствование Петра II *при* Долгоруком, ныне же *при* Бироне. Так переходил он от одного первого человека в государстве к другому, не возбуждая ни в ком опасения на счёт свой и ненависти к себе, во всякое время, при всех переменах, счастливый, довольный своей судьбой. Где был временщик, там и Кульковский; привыкли говорить, что где Кульковский, там и временщик. Сделаться необходимою вещью, хоть плевательницею этого, – вот в чём заключалась цель его помышлений и венец его жизни. И он достиг этой цели: от привычки видеть каждый день то же бесстрастное, спокойное, покорное лицо, Бирон скучал, когда занемогал Кульковский. Всякое утро и вечер первый человек в империи приветствовал его улыбкой, иногда и гримасой, которая всегда принималась за многоценную монету; а если герцог в добрый час расшучивался, то удостаивал выщипать из немногих волос Кульковского два-три седых волоса, которых у него ещё не было. Знак этой милости, несмотря на боль, особенно радовал его. Для поощрения ж к дальнейшему ревностному служению иногда поручал ему первому оповестить о награде или немилости, ниспосылаемых герцогом. Кроме этого, во всю жизнь его давали ему, ещё при Екатерине, одно важное поручение в Италию; но он, исполнив его весьма дурно, возвратился оттуда католиком. И веру свою переменил он от желания угодить первому человеку в Риме, то есть папе, которого туфли удостоился поцеловать за этот подвиг. О ренегатстве его, скрываемом им в Петербурге, только недавно узнала государыня и искала случая наказать его за этот поступок не как члена благоустроенного общества, а как получеловека, как шута. Надо, однако ж, присовокупить, что он имел достоинство молчать обо всём, что делалось в глазах его и о чём не приказано ему было говорить, хотя б то было о прыщике, севшем на носу его светлости.

Когда государыня у входа в манеж заметила Кульковского, она улыбнулась; молдаванская княжна, взглянув на него, едва не захохотала. Сели в карету. Велено ехать на набережную Невы. Экипаж поравнялся с оградою дворика: тут Анна Иоанновна, по какому-то внутреннему побуждению, обернулась направо, и в глаза её блеснула под лучом полуденного солнца ледяная статуя. Государыня приказала остановить карету и, подозвав к себе герцога, ехавшего за нею в санях, спросила его, что за ледяная фигура видна на маленьком дворе.

Кликнули Гроснота.

– Что такое? – угрюмо спросил герцог своего адъютанта, указывая на дворик. В этом вопросе подразумевалось: «Дурак! Что ты сделал?»

Гроснот, не смутясь, отвечал:

– Конюхи вашей светлости вылили для забавы ледяную статую.

Ответ был услышан государынею.

– Этот случай, – сказала она ласково Бирону, – даёт мне мысль построить ледяной дворец с разными фигурами.

– Как то было при его величестве, блаженные памяти, – прервал герцог.

– С большими затеями, если можно. Да, кстати, мне хотелось проучить Кульковского, чтобы он вперёд не целовал у папы туфлей. Сколько ему лет?

– С прошлого месяца он начинает другой полвека.

– Мы женим его и сыграем свадьбу в ледяном дворце. Объявите ему также, что я жалую его в пажи к моему двору. Как это лучше устроить, мы поговорим в тепле.

С последним словом императрицы карета тронулась, облепленная по бокам дверец гайдуками, а сзади двумя турками. Пятидесятилетнему Кульковскому велено явиться ко двору в должности пажа и искать себе невесты: надо было нити его жизни пройти сквозь эту иголку, и он выслушал свой приговор с героическою твёрдостью, несмотря на поздравления насмешников пажей, просящих его, как товарища, не лишить их своей дружбы.

Скоро манеж и двор опустели, и под вечер ледяная статуя отвезена… куда – вы узнаете после.

Глава IV
ФАТАЛИЗМ

Восточной странностью речей,
Блистаньем зеркальных очей
И этой ножкою нескромной
Ты рождена для неги томной,
Для упоения страстей.

«Гречанке». Пушкин

Волынский лежал в своём кабинете на диване. Он решился целый день не выезжать и сказался больным, ожидая возвращения Зуды, которого послал отыскивать следы пропавшего малороссиянина. Этот малороссиянин был для него тяжёлая загадка.

Грудь его разрывалась от досады, когда он помышлял, что властолюбие Бирона, шагая по трупам своих жертв, заносило уже ногу на высшую ступень в России. Герцог имел свой двор, свою гвардию; иные, будто ошибкою, титуловали его высочеством, и он не сердился за эту ошибку; считали даже милостью допуск к его руке; императрица, хотя выезжала и занималась делами, приметно гасла день ото дня, и любимец её очищал уже себе место правителя.

«Жду случая свергнуть его, – думал Волынский, – жду перемены к нему государыни; а когда этот случай настанет?» К этим мучительным мыслям присоединилось и чувство, столько же, если не более, мучительное. Женатый, он любил…

Какая же несчастная была предметом этой любви?

Восемнадцати лет княжна Мариорица Лелемико испытала уже так много превратностей, что можно бы было наполнить ими долголетнюю романическую жизнь.

С малолетства лишившись отца и матери на пепелище дома, разграбленного и сожжённого янычарами, Мариорица досталась в удел хотинскому паше. Он готовил её для собственного гарема, но, пока пленница росла вместе с своими прелестями, старость предупредила его замыслы. Тогда честолюбие заменило в нём все прочие страсти, и хотя он с помощью скамейки садился на лошадь, но всё ещё метил в сераскиры или, по крайней мере, в трёхбунчужные. Мысль угодить повелителю правоверных, подарив ему диковинную красоту, блеснула в его голове, и с того времени смотрел он на княжну как на лучшее украшение султанского гарема, как на будущую свою владычицу и покровительницу. Он видел уже в ней любимую султаншу, а себя одним из первых сановников под луною. Дочь нельзя более нежить и утешать, как он нежил и утешал её. Пиастры сыпались иностранцам, чтобы развить в ней все дарования, способные обворожить падишаха. И старик мог рассчитывать верно, судя по наружным и душевным её прелестям. Когда Мариорица, разбросав чёрный шёлк своих кудрей по обнажённым плечам, летала с тамбурином в руках и вдруг бросала на своего опекуна молниеносные, сожигающие взоры или, усталая, останавливала на нём чёрные глаза свои, увлажнённые негою, избытком сердечным, как бы просящие, жаждущие ответа; когда полураскрытые уста её манили поцелуй – тогда и у старика поворачивалась вся внутренность. Он вздыхал, очень тяжело вздыхал, и готов бы был отдать свой Хотин, свою бороду и все прошедшие и будущие милости падишаха за несколько минут давно прошедшей молодости. Оканчивалось тем, что он обращался мысленно к пророку, а там снова к мечтам честолюбия. Иногда только, когда вкушал соку плода, запрещённого Кораном, он приходил к своей пленнице и осмеливался коснуться устами своими прекрасной ножки её, приложив наперёд, в знак почтительности, правую руку к чалме, а левою подобрав свою бороду. И шалунья из прихоти допускала его к этой милости; а куда не простирается прихоть женщины? Ей было весело, что борода паши, довольно пушистая, щекотала её нежную, пышную ножку. Случалось и то в подобных

изъявлениях особенного её благоволения, что шаловливая ножка, будто ненарочно сваливая чалму с головы старика, обнажала таким образом огромную сияющую лысину. Княжна при виде её смеялась до слёз и позволяла ему за это удовольствие подремать на её коленях. Впрочем, она любила пашу как благодетеля своего, как родственника и умела это изъяснять ему даже в своих детских шалостях.

Мариорице даны были учителя, каких она только вздумала иметь. Она танцевала, как мы уж сказали, с такою ловкостью, что приводила в исступление и старика, и играла на гитаре с большою приятностью. А как её учительница танцевания и музыки была француженка, то она в скором времени выучилась говорить и писать на этом языке с большою легкостию. От христианской веры, в которой она родилась, остались у ней тайные понятия и золотой крест на груди. Каким образом этот крест попал к ней, она не помнила; только не забыла, что женщина, которая вынесла её из пожарища, когда горел отцовский дом, строго наказывала ей никогда не покидать святого знамения Христа и, как она говорила, благословения отцовского. Эта самая женщина продала её хотинскому паше. Француженка, узнав, что Мариорица родилась христианкою, старалась беседами на языке, непонятном для чёрных стражей, ознакомить ученицу свою с главными догматами своей веры. От этого учения и гаремного воспитания её сочетались в душе Мариорицы, пламенной, мечтательной, и фатализм магометанский, и мистицизм христианский, так что в небе, созданном ею, обитали и чистейшие духи, и обольстительные девы пророка, а на земле все действия человека подчинялись предопределению.

Старый паша любил её сначала как будущий предмет своих удовольствий, потом как средство достигнуть честей и, наконец, как дочь. Он избавлял её от делания щербета, конфет и от других трудов домашних, сносил её прихоти и капризы, лелеял её и берёг, как дорогую жемчужину, на которую обладатель её боится дышать, чтобы не потемнить её красоты. Прислуга, стоокая от боязни наказания, стерегла её денно и нощно. Ни один взгляд молодого мужчины не перелистывал ещё её девственных прелестей, этой роскошной поэмы, которой мог бы зачитаться и сам небожитель, как некогда пустынник заслушался пеночки на целое столетие. Пришла пора везти Мариорицу ко дворцу верховного владыки, и паша задумывался и откладывал отъезд. Самые мечты честолюбия не радовали его. Настало, однако ж, время им расстаться, но, по воле судьбы или предопределения – так называла её Мариорица, – загорелась война между Турцией и Россией, и в губернаторы хотинские назначен сын опекуна, известный под именем знаменитого Калчак-паши. С того времени старик возненавидел тайно султана и явно своего преемника, хотя единокровного, и поклялся скорей передать свои сокровища, в том числе и воспитанницу, неверным, собакам-христианам, нежели тем, которые так жестоко оскорбили его старость и долголетнюю службу. Тут грянула ставучинская битва, столь славная для русского оружия, как будто нарочно для того, чтоб выполнить клятву старика; ибо вслед за тем Хотин был сдан русским, а прекрасная Мариорица, с богатствами двух пашей, отца и сына, в числе с лишком двух тысяч человек обоего пола, досталась в добычу победителям. Её воспитатель сам представил её Миниху как молдаванскую княжну и поручил милостям государыни. Участь княжны, попавшей к неверным псам-магометанам, тронула военачальника. Он взял её под особое своё покровительство и с офицером (старым, израненным) послал, отдельно от других пленников, в Петербург, описав её чудесную историю, как сам слышал, государыне.

При дворе и знати была тогда мода на калмыков и калмычек, не менее бешеная, как на дураков, шутов и сказочников обоего пола и разного состояния, начиная от крепостных до князей. С жадностью доставали детей азиатской породы, как дорогую собачку или лошадь – и не один супруг пострадал от холодности своей половины, если не мог подарить ей в годовой праздник восточного уродца. Калмыков этих приводили в *веру крещёную* , лелеяли, клали спать с собою в одной спальне и выводили в люди, то есть в офицеры, или выдавали замуж за офицеров с богатым приданым, часто на счёт и к невыгоде родных детей. Судите после этого, какую же суматоху должен был произвесть в Петербурге приезд Мариорицы. Романическая её жизнь, её красота, её род и отечество вскружили всем голову до того, что,

если б можно было, каждая знатная госпожа не пожалела бы дать половину своего имения, чтобы иметь при себе молдаванскую княжну. Ныне в исступлении говорят: «Ah! j'enrage, ma chere[69], что не могу иметь к вечеру NN райской птички». Тогда говорили, вздыхая: «Ах! Мать моя, каков этот иностранный немец Миних, прислал сюда только одну молдаванскую княжну, а, сказывают наши, полонили их тысячу, да отослал к своим, в немецкую землю, – ну съела бы его зубами!»

Сама государыня была в восхищении от Мариорицы, поместила её в ближайшей от себя комнате между своими гофдевицами, нарядила в полунациональную, полурусскую одежду, как можно богаче, и в учители русского языка выбрала для неё служащего при С. – Петербургской академии *де сиянс* Василия Кирилловича Тредьяковского. Этот вельми учёный муж каких языков не знал! На французском писал он стихи едва ли не лучше, нежели на русском; из Фенелонова «Телемака» воссоздал знаменитую «Телемахиду»[70], с цитатами греческими, латинскими и прочими, и в два приёма исчерпал весь гений Ролленя, своего учителя[71]. И потому он должен был служить Мариорице, посредством французского языка, проводником к познанию русского. Обладавшая способностями необыкновенными и побуждаемая к изучению его силою внутреннею, творящею чудеса, она в несколько месяцев могла свободно изъясняться и на этом языке.

Мариорица не успела ещё образумиться от зрелища новых и странных предметов, поразивших её при дворе русском, от новой своей жизни, ни в чём не сходной с той, которую вела в гареме хотинского паши, и успела уже под знамя своей красоты навербовать легион поклонников. Лесть мужчин, их услужливое внимание преследовали её до того, что стали ей приторны; старухи, у которых не было дочек, называли её ненаглядною; молодые говорили, что они от неё без ума, наружно ласкали её, как любимую игрушку, как любимицу государыни, но втайне ей завидовали. Так ведётся со времён двух первых братьев!

Года, кажется, за два до приезда её в Петербург, когда русские уполномоченные в Немирове[72] вели переговоры с турками, старый паша, её воспитатель, в шутку говорил, что, если Мариорица не любит его, он уступит её русскому послу Волынскому, о котором слава прошла тогда до Хотина. «А молод ли он? Хорош ли он?» – шутя спрашивала Мариорица своего воспитателя. И что ж? По странному стечению обстоятельств, этот самый Волынский, когда она, по приезде в Петербург, остановилась в отведённой ей квартире, был первый из придворных, который её встретил и от имени государыни поздравил с благополучным прибытием. Увидеть мужчину ловкого, статного, красивого, с глазами, проницающими насквозь сердца, с чёрными кудрями, свободно падающими на плеча (Волынский редко пудрился), и сделать сравнение с ним и турецким длиннобородым козлом или чёрным евнухом значило с первого приступа склонить оружие. При кабинет-министре, не знавшем иностранных языков, находился тогда переводчик, вовсе не любезный и непривлекательный. Лицо круглое, как мапемонда[73], синеватое, задавленное масленым галстуком, на котором покоился тучный, двумя ступенями, подбородок; бородавка на левой щеке, умильно-важная физиономия, крутой сияющий лоб, вделанный в мучной насаленный оклад с двумя мучными

---

69 Ах! Я в бешенстве, моя дорогая (франц.).

70 Тредиаковский перевёл роман французского писателя Франсуа Фенелона (1651—1715) «Похождения Телемака». Русский перевод вышел под названием «Телемахида».

71 Роллень (Роллен), Шарль (1661—1741) – известный французский историк и педагог. Тредиаковский переводил историю античного мира Шарля Роллена.

72 Польском местечке, пограничном с турецкими владениями. (Примеч. И И. Лажечникова.)

73 Мапемонда – карта полушарий.

же мортирами по бокам и чёрным кошельком назади – одним словом, это всё был *сам* Василий Кириллович Тредьяковский. «Жаль, – думала Мариорица, – что этот дурной, а не этот пригожий мужчина должен со мною объясняться». Волынскому некогда было думать: увлечённый красотою молдаванки, он спешил выражаться красноречивым подлинником взоров и словами через своего толмача. Слова эти дышали теплотою Востока и, благодаря верности перевода, щекотали сердце неопытной девушки, приводили её в какое-то смущение, ей доселе неведомое. Мариорица хотела знать фамилию посланного к ней от императрицы.

При имени Волынского княжна затрепетала. Фатализм, которым она с малолетства была напитана, сказал ей, что это самый *тот* , неизбежимый ею, суженный ей роком, что она ведена с пепелища отцовского дома в Хотин и оттуда в страну, о которой и не мыслила никогда, потому единственно, что ещё при рождении назначено ей любить русского, именно Волынского.

Прибавьте к этому пламенное воображение и кипучую кровь, весь этот человеческий вулканизм, с одной стороны, с другой – примешайте вкрадчивую любезность, ум, страсть в каждом движении и звуке голоса – и рецепт любви готов. Маленький доктор, в блондиновом паричке и с двумя крылышками за плечами, попав раз к таким пациентам, то и дело посещает их и каждый раз, очинив исправно своё перо, пишет на сигнатурке[74]: repetatur[75], *прибавить того, усилить сего* .

Волынский вышел от молдаванской княжны в каком-то чаду сердечном, видел только по дороге своей два глаза, блестящих, как отточенный гранат, как две чёрные вишни; видел розовые губки – о! для них хотел бы он превратиться в пчелу, чтобы впиться в них, – видел только их, отвечал невпопад своему переводчику или вовсе не отвечал, грезил, мечтал, забывал политику, двор, Бирона, друзей, жену… В его голове и сердце всё было эдем, восторги, райские минуты, за которые не взял бы веков; всё было *я* и *она* ! А препятствия? Их не существовало, их не могло существовать: девушка так неопытна, воспитана в гареме, готовлена для гарема; по глазам её видно, что у ней в жилах не кровь, а огонь… жена ещё не скоро приедет из Москвы; можно найти и средства задержать её… кабы умерла? (Да, и эта преступная мысль приходила ему в голову!..) Остальное докончит искусство, притворная и, может статься, истинная страсть.

И вот княжна Лелемико во дворце.

Сама государыня заботится доставить ей покой, приятности всякого рода, показывает ей свой Петербург, своё войско, учреждает для неё игры, праздники, балы и, привыкшая видеть около себя притворство и лесть, утешается, видя, как чистосердечно, простодушно, чувствительно дитя полуденной природы, как всё новое занимает её и радует. И Мариорица почти везде за государыней и везде видит Волынского и скоро едва ли не одного неизбежного Волынского. Все молодые мужчины кажутся ей куклами, попугаями, существами бездушными. Сначала он не может говорить ей о своей любви; но при каждом свидании взорами своими волнует её душу, так что её душа, кажется, бежит вон из тела. Нередко танцует он с нею (она выучилась уже европейским танцам). Пожатие руки его проникнуло тонким ядом всё её существо; она смущена новым для неё ощущением, хочет отнять руку и не отнимает… В другой день, на другое пожатие она отвечает ему тем же… и ей кажется в эту минуту, что земля и небо готовы перед ней и над ней раскрыться. Эпоха сладостная для влюблённых! Они не забывают её ни в будущих сильнейших восторгах, ни в муках любви. Возвратясь в свою спальню, она горела вся в огне и заснула в обворожительных мечтах.

К учителю русского языка летали от Волынского перстеньки, табакерки, и подвигалась

---

74 Сигнатура – часть рецепта с указаниями к приёму лекарства.

75 Повторить (лат.).

кафедра элоквенции в академии *де сиянс* , и потому можно судить, что он действовал по точной инструкции кабинет-министра. Первые слова, которые ученица затвердила, были: *милый друг! люблю тебя!* Как сладко, как обворожительно выговаривала она эти слова! В слово *милый* она вставляла р, отчего произносила *мирлый* ; но эта ошибка придавала ему какую-то особенную прелесть в устах её. И сам Василий Кириллович, слушая первый выученный урок, почёсывал своё темя, как будто у него под черепом что-то жгло. Ни при ком не произносила Мариорица этих слов, как при Тредьяковском, догадываясь, что он перенесёт их на крыльях своего усердия Артемию Петровичу. Лекции русского языка проходили часто между учителем и ученицей в разговорах о кабинет-министре, которого благородство, щедрость, чувствительность превозносились до небес. Разумеется, учителю строго запрещено было упоминать о том, что Артемий Петрович женат: это выполнялось свято. А девушке и не приходила в голову мысль, что тот, кто её любит, мог иметь неразрывные связи с другой, что любовь его преступна. Разумеется, и княжна умоляла Василия Кирилловича не сказывать Волынскому, что она иногда говорит о нём: учитель обещал, но был верен своему слову только до первой встречи с покровителем. Вскоре могла она сама понимать по-русски вкрадчиво-нежные выражения Артемия Петровича, выражения тем более опасные, что они были новы для неё, как сама любовь.

Можно догадаться, что при таких обстоятельствах любовь бежит огнём по пороховой дорожке. И что ж? Во всём этом, как вы видите, был виноват фатализм.

Далее… Не всё же вдруг сказывается: дайте мне, как жаворонку, завести мою песнь от земли.

Глава V
ТАИНСТВЕННОЕ ПОСЛАНИЕ

Скажи, в чём тут есть главное уменье?
– В том, – отвечал сосед, –
Чего в тебе, кум, вовсе нет:
В терпенье.

Крылов

Победа, смерть ли? будь что будет,
Лишь бы не стыд!
Языков

Итак, Волынский лежал вечером на диване в своём кабинете, волнуемый двумя чувствами: любовью к Мариорице и ненавистью к Бирону. Мечты его нарушены приходом арапа, который и подал ему пакет от герцога. Кабинет-министр несколько встревожился, ибо такого рода посылки сопровождались или чрезвычайной милостью, или какою-нибудь грозой. Он сорвал печать и, к удивлению своему, нашёл в пакете ещё другой, запечатанный, с надписью руки самого Бирона, и бумагу в лист, просто сложенную. Полагая, что это какой-нибудь документ, он поспешил распечатать письмо и прочесть его прежде.

Герцог дружески сожалел о нездоровье Артемия Петровича, присовокуплял, что он без него как без рук; что её величество изволила об нём с большим участием проведывать и, в доказательство своей к нему милости, назначила ему в награду двадцать тысяч рублей по случаю мира, заключённого с турками.

– А, – сказал про себя Волынский, оставив на минуту чтение письма, – временщик думает купить меня этим известием; но ошибается! Что бы ни было, не продам выгод своего отечества ни за какие награды и милости!

Спрашивали также в письме, как идут приготовления к известному празднику, и

уведомляли, что государыне угодно сделать прибавление к нему построением ледяного дворца, где будет праздноваться и свадьба Кульковского, для которого уже и невесту ищут. Её величеству желательно, чтобы и устройством ледяного дома занялся также Артемий Петрович. Рисунок обещано прислать завтра чем свет.

Волынского, знакомого с махиавелизмом Бирона, не удивило ни дружеское содержание письма, ни предложение новых занятий, – последнее он уже наперёд отгадывал, – но изумило его то, что в послании его светлости – ни слова о приложенной бумаге.

«Вам угодно было знать, – писали в ней рукой незнакомой и почерком весьма поспешным, – куда девался малороссиянин, не явившийся ныне к вам на смотр. Исполняю не только это желание, но и обнаруживаю вам обстоятельства, скрытые для вас доныне. Плачу тем дань не званию и богатству вашему, не видам каким-либо, но высокому достоинству человека, которое в вас нашёл. Давно уже благородная ваша душа привязала меня к вам. Не старайтесь узнавать, кто я: вы, может быть, погубите меня тем, а себя лишите важного помощника в борьбе с сильным временщиком. Его шпионы окружают вас везде; вы имеете их у себя дома. Они следят все ваши слова, поступки, движения, доставляют обер-гофкомиссару Липману, главному шпиону, сведения обо всём, что у вас делается, говорится, и о всех, кто у вас бывает. Ваши друзья уже на замечании. Известно, что вы составляете заговор против его светлости. Я не мог ещё добраться, кто именно из ваших домашних передаёт эти сведения.

По содержанию моего письма вы догадываетесь, что я очень близок к его светлости. Повторяю, не старайтесь доискиваться меня. Настанет время, сам откроюсь. Знайте только, что я иностранец; но, ущедрённый Россиею, я нашёл в ней своё второе отечество и хочу служить ей, как истинный сын её. Мне больно видеть каждый день, что все мысли, все чувства и поступки Бирона вертятся кругом одной его особы, что он живёт только для своего лица, а не для славы и блага России. Страна эта потому только не совсем ему чужда, что он считает её своей оброчницей! Боже! Как он трактует русских!.. Чуждаясь их языка и обычаев, не желая их любви и в презрении к ним не соблюдая даже наружного приличия, он властвует над ними, как над рабами».

При этих словах глаза Артемия Петровича налились негодованием; руки его дрожали.

«Наступает важный случай открыть государыне его своекорыстие: дело об удовлетворении поляков за переход войск чрез их владение, дело, на котором вы столь справедливо основываете свои надежды (вот как нам всё известно!), скоро представится на рассмотрение Кабинета. При первой возможности доставлю вам нужные заметки и тут же напишу три слова: *теперь или никогда* ! О! тогда скорей, богатырски опрокиньте стену, пред которою даёт он фейерверки и за которою душит и режет народ русский; откройте всё сердцу государыни… Вы, с вашею благородною смелостью и красноречием, с вашим патриотизмом, с вашим пламенным усердием к пользе и благу императрицы, одни можете совершить этот подвиг. Если вы падёте в этом деле, то падёте со славою. Тогда-то я откроюсь вам и разделю с вами участь вашу, какова бы она ни была: клянусь вам в этом своею честию. Когда бы вы знали, как горит душа моя быть участником вашим в этой славе! Может статься, чрез сотню лет напишут, поставив моё имя подле вашего: «Россия гордится ими!..» Жить в истории, – как это приятно!..

Пишу много; сердце моё имело нужду излиться пред благороднейшим из людей. Давно я не беседую с ними. Случай первый! Герцог, отдав мне письмо к вам, уехал во дворец, куда был неожиданно позван, только что из него приехавши.

Теперь исполняю желание ваше узнать о малороссиянине. Это дворянин из черниговской провинции, по прозванью Горденко. Он занимал должность хорунжего в стародубовском повете[76] и умел обратить уже на себя неприятное внимание доимочного

[76] Повет – единица тогдашнего административно-территориального деления в Малороссии, соответствовавшая уезду. До 1831 года уезды в западной России по традиции называли поветами.

приказа тем, что противился повелению герцога ставить за недоимки крестьян разутых в снег и обливать их холодною водою. Услышав однажды об оскорбительных словах, сказанных герцогом одному русскому вельможе, он имел неосторожность произнести: «Побачив бы я, як бы мне то выбрехал бисов батька Бирон». Слова эти доведены до ушей его светлости. Малороссиянин потребован к допросу воеводой, приехавшим нарочно для исследования этого преступления. О! когда дела касаются до личной обиды герцога, они скоро решаются. Оговорённый был в это время очень болен. Он принесён пред судью на простынях и, в наказание за свою неосторожность, должен был услышать от воеводы ругательства, которые не хотел вынести от самого Бирона. Когда же он, собрав силы, отвечал, как требовала оскорблённая честь дворянина, его пощекотали батогами. Этот способ лечить и жажда мщения возвратили ему вскоре здоровье. Он покинул семейство своё, составил прошение к императрице, в котором описывал жестокости временщика и корыстолюбивые связи его с поляками, ездил по Малороссии собирать к этому прошению подписи важных лиц, успел в своём намерении и пробрался до Твери, где удачно обменил собою простого малороссиянина, которого, в числе других, везли сюда на известный праздник. Но ищейные клевреты Бирона уследили его тотчас по прибытии в Петербург. Здесь, в манеже герцогском, когда делали перекличку всем разноплемённым парам, его не оказалось. Подачкин объявил, что он, вероятно, бежал во время суматохи, случившейся в то время, как их вели в манеж. Прибывших гостей к вам отправили. В самом же деле несчастный был задержан. Расправа была с ним короткая: его свели на задний, нечистый дворик за конюшни. Там, раздев его до рубашки и привязав к дереву, пытали о бумаге, но Горденко успел, видно, сбросить её или передать. Благородного мученика, окатив десятком ушатов воды, заморозили среди белого дня. Мой приятель Гроснот совершил этот подвиг, как будто выпил стакан пуншу. Впрочем, Липману шепнули, чтоб он спрятал, как знает, концы в воду. Это будет легко ему сделать с помощью силы, грозы и денег.

Ответ герцогу привезите завтра лично, по обыкновению в приёмные часы. Будьте осторожны, не проговоритесь не только словами, но и наружностью. Скрывайте себя до времени, а то всё испортите.

В случае нужды во мне для объяснений, вложите вашу записку в расселину среднего камня, на левом углу ограды Летнего сада к Неве».

Прочтя это таинственное послание, в истине которого нельзя было сомневаться, Волынский то предавался радостной мысли, что приобретает новые важные права для обвинения Бирона и освобождения России от ига его, ходил скорыми шагами по комнате, обхватив эту надежду, нянча её, как любимое дитя своё; то путался в мыслях, отыскивая своего тайного доброжелателя.

Иностранец?.. Их так много окружает курляндского герцога, и ни в одном из них Артемий Петрович не видал особенного к себе участия. Этот?.. Злодей! Из одной улыбки его светлости вызовется вместо меха своим дыханием разогреть жаровню и изжарить на ней мелким огнём человека, невинного как младенец. Другой? Глупец! Готов стащить на своей спине, не оглядываясь, вьюк чужих злодейств. Третий? Подлец! Доставляет за фальшивые определения жене Бирона бриллианты и серебряные сервизы. Четвёртый? Родственник клеврета его, Лимпана, и ненавидит кабинет-министра. И так далее перебрал он всех и ни на ком не мог остановиться. Каким образом постиг тайный друг желание его узнать, куда девался малороссиянин?.. Загадка! Тайна!.. Голова его пылала, сердце ходило ходуном. Он забыл даже о посланном герцога; но, вспомнив и спросив, узнал, что податель, не дожидаясь ответа, скрылся.

Когда же Волынский хотел доискаться, кто бы мог быть шпионом Лимпана в его собственном доме, он, казалось, блуждал, как странник в диком бору, где боишься на каждом шагу наступить на ядовитого гада. Что б могло заставить дворовых людей идти в его оговорители? Он считался, по-тогдашнему, милостивым господином. О стульях, бессудной помощи палача, кошках, разделках на конюшне, столь обыкновенных в его время, не было помину в доме. Наказания его, и то за важный проступок, ограничивались удалением от

барского лица. Челядинцы, от большого до малого, были одеты исправно, накормлены досыта, получали сверх того в каждый годовой праздник по медной гривне и по калачу; их заслуги предкам Волынского ценились как должно; старики были в почтении у младших и нередко удостаивались подачек со стола господского; немощных не отсылали с хлеба долой на собственное пропитание, призирали не в богадельнях, а в их семействах. Добрыми нравами строго дорожили. Сам Артемий Петрович хотя славился волокитством, но в ограде дома целомудрие так уважалось, что раз подслеповатый *маршалок* , увидев издали девушку на коленях мужчины, поднял весь дом как будто на пожар: к счастью, объяснилось, что отец ласкал свою дочь. «Не барин, а отец родной – говорили служители об Артемии Петровиче, мы живём за ним, как у Христа за пазухой». Что ж, в самом деле, могло бы заставить кого из них решиться в оговоры? Они сочли бы того Иудою-предателем. Не барская ли барыня?.. Чем же она может быть недовольна? Гардероба её станет и на приданое внучатам; деньги пускает она в рост, ласками господ не менее богата.

Впрочем, её порядочно коверкало, когда дело шло о малороссиянине… может статься, нетерпение видеть сынка офицером?.. Зуда намекал не раз, что эта женщина опасная… Да опять, как проведать ей тайны господские, которые только в кабинете, между самыми близкими друзьями. Зуда?.. Этот мог бы всех скорее!.. При этом слове, мысленно произнесённом, сердце Артемия Петровича облилось кровью. «Нет, – прибавил он, рассуждая сам с собою, то ходя быстрыми шагами по комнате, то садясь на канапе, – сердце отталкивает малейшее на него подозрение. Он лукав, но благороден. Ни денег, ни честей не любит; настоящий Козьма-бессребреник[77]. Из чего ж станет кривить душой и подличать пред фаворитом? Хотел бы он денег? я давно б озолотил его. Чинов? Сколько раз предлагал я вывесть его в чины, но он всегда отказывался от них, считая их за тягость. Он слишком любит спокойствие, чтобы затеять доносы. Это не в его характере. Да к тому ж не могу расстаться с мыслию видеть в нём человека мне преданного. Десять лет в моём доме! Десять лет раскрывал я ему грудь свою, и в ней читал он до последней тайной буквы!.. Друг мой!.. Нет, нет, лучше погубить себя, чем его подозревать. Не он, не он, не может быть! Но… диавол-дух или человек-диавол, кто бы он ни был, мой домашний шпион, я отыщу его!»

Волынский позвал своего арапа.

– Николай! – сказал он ему с особенным чувством. – Любишь ли ты меня?

– Когда вы говорите мне слово ласковое, – отвечал тронутый арап, – мне кажется, что со мною говорит старик отец, зарезанный в глазах моих. Вы мне вместо отца, и матери, и родины.

– Ты меня никогда не продавал?

– Я, сударь?.. Да я готов отдать за вас жизнь свою, Никола свидетель!

– Слушай же: у нас дома есть недобрый человек, который выносит сор из избы, оговаривает своего барина.

– Знаю!

– Знаешь? – спросил изумлённый Волынский. – Кто ж это?

Арап приложил палец к толстым губам своим и покачал головой.

– Говори, я тебе приказываю.

– Не могу, мне Зуда не приказал.

Волынский вспыхнул.

– Так ныне Зуда ваш господин, так он более меня значит! Зуда командует моими людьми против меня!. Вот каков Зуда!.. Скоро сделается он моим барином; скоро мне воли не будет в своём доме!

Арап бросился в ноги к Артемию Петровичу и сказал:

---

[77] Св. мученики Козьма и Дамиан – два брата, жившие близ Рима во второй половине III века. За свою помощь они не требовали другого вознаграждения, кроме веры в Иисуса Христа, за что и получили прозвание бессребреников.

– Не могу, я поклялся Николою!.. Он говорит, что это для вашего же добра…

«Что за тайна?.. – подумал Артемий Петрович. – Посмотрим, к чему это всё ведёт!»

– Хорошо! – прибавил он вслух, – Встань! Делай, что приказал тебе Зуда, молчи о том, что я тебе говорил, и всегда, непременно, становись на карауле у дверей моего кабинета, как скоро будут в нём двое. Да вот и Зуда, лёгок на помине!

В самом деле, арап только что успел встать, как вошёл секретарь кабинет-министра. Смущение на лице господина и слуги встретило его; но он сделал вид, что ничего не примечает, скорчил свою обыкновенную гримасу и, съёжившись, ожидал вызова Артемия Петровича начать разговор.

– Выдь вон, – сказал Волынский арапу, потом, обратившись к своему секретарю, произнёс ласково: – Ну, что слышно о малороссиянине?

– Он пойман и содержится в канцелярии полицеймейстера.

– Пойман?

– Да, ваше превосходительство; что ж тут удивительного?

– От кого ты знаешь эту весть?

– Я сам видел его.

– Видел?.. Какое плутовство!

– Позвольте спросить, о чьём плутовстве вы говорите?

– На, прочти лучше сам это длинное послание, упавшее ко мне с неба, и объясни, как мёртвые воскресают в наше время, богатое чудесами.

Волынский подал письмо неизвестного, рассказал, как оно принесено, прилёг на диван, всматриваясь, какое впечатление сделает на секретаря чтение бумаги, и, когда увидел, что тот развернул её и начал рассматривать, спросил, не знаком ли ему почерк руки.

Сощурился Зуда, покачал головой, отвечал твёрдо:

– Нет, в первый раз вижу, – и начал чтение. В продолжение его он часто пожимал плечами, потирал себе средину лба пальцем; на лице его то выступала радость, как у обезьяны, поймавшей лакомый кусок, то хмурилось оно, как у обезьяны, когда горячие каштаны обжигают ей лапы. Наконец Зуда опустил руку с письмом и опять уныло покачал головой.

– Что? Прочёл ли? – спросил Волынский.

– Прочёл.

– Что ж ты думаешь после этого?

– То, что вас и ещё кое-кого знаю, что победа будет на стороне силы, коварства и счастия. Это я думаю, это я вам всегда говорил и советую, как и всегда советовал, уступить временщику. Да! Таки уступить!.. Послушайте, какая слава о нём в народе.

– Любопытен знать.

– Он такой фаворит, что нельзя об нём и говорить: как же вы хотите против него действовать?

– Как действовали во все времена против утеснителей своего отечества истинные сыны его; как указывает мне сердце и тайный, но благородный советник!

– Который вас и обстоятельств хорошо не знает, который губит вас и себя, вспомните моё слово. Дайте грозной туче пройти самой. Поберегите себя, друзей, супругу…

– Как? Из того, что я могу навлечь на себя немилости, пожалуй – ссылку, казнь, что я могу себя погубить, смотреть мне равнодушно на раны моего отечества; слышать без боли крик русского сердца, раздающийся от края России до другого! Рассказывать ли тебе, как будто ты не знаешь, неистовства, совершающиеся каждый день около нас, не говорю уж о дальних местах? Стоит только раскрыть Петербург. Архипастырь[78], измученный пытками за веру в истину, которую любит, с которою свыкся ещё с детства, оканчивает жизнь в смрадной темнице; иноки, вытащенные из келий и привезённые сюда, чтоб отречься от

[78] Тверской, Феофилакт Лопатинский. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

святого обета, данного Богу, и солгать пред Ним из угождения немецкому властолюбию; система доносов и шпионства, утончённая до того, что взгляд и движения имеют своих учёных толмачей, сделавшая из каждого дома Тайную канцелярию, из каждого человека – движущийся гроб, где заколочены его чувства, его помыслы; расторгнутые узы приязни, родства, до того, что брат видит в брате подслушника, отец боится встретить в сыне оговорителя; народность, каждый день поруганная; Россия Петрова, широкая, державная, могучая – Россия, о Боже мой! угнетённая ныне выходцем, – этого ли мало, чтоб стать ходатаем за неё пред престолом её государыни и хотя бы самой судьбы?

Здесь Артемий Петрович остановился, посмотрев зорко на секретаря. Тот не думал отвечать. Всё, что говорил кабинет-министр, была, к несчастию, горькая существенность, но существенность, которую, при настоящих обстоятельствах и с таким пылким, неосторожным характером, каков был характер Волынского, нельзя было переменить. Зуда пожал только плечами и покачал опять головой.

Две свечи на бюро тускло горели; огромная тень кабинет-министра быстро двигалась по стене. Он продолжал:

– Как? Выступая на битву против врагов отечества, вы оробеете, когда вам скажут ваши нежные, заботливые приятели, что вы можете потерять ручку, ножку, что вы, статься может, оставите по себе неутешную вдовушку, плачущих ребят!.. Пускай неприятели топчут жатвы, жгут хижины, насилуют жён и девиц – не ваши поля и домы, не ваша жена и дочь! До них скоро ли ещё доберутся! А ты покуда успеешь належаться на тёплой печке, в объятиях своей любезной… Так ли думают истинные патриоты? Так ли я должен мыслить?

– Позвольте…

– Нет, сударь, не слушаю вас, не хочу слушать ваших вялых, своекорыстных советов. Я лучше прочту ещё раз, что пишет мой тайный друг. – Волынский взял бумагу, развернул её и прочёл вслух: – «Он властвует над русскими, как над рабами». Слышите ли, сударь, над рабами?.. И вот что говорит в благородном негодовании своём иноземец!.. – Это слово залито было такою иронией, что захватило на миг его дыхание. Покачав головой, он опять с жаром продолжал: – А мы, русские, мы протянули свои воловьи шеи под ярмо недостойного пришельца, мы любуемся, как он, вогнав нас в смрадную топь, взбивает нам кровь ремнями, вырезанными из наших спин. Простой народ не выдерживает жестокостей его и бежит целыми селениями в Польшу, в Бессарабию. А русские дворяне, забыв и род свой, и заслуги предков, истлив свой стыд, как трут, которым он зажигает свою трубку, лазят, ползают пред конюхом, подходят уже к его ручке! Князья, люди первых фамилий русских, которых отцы стяжали себе славу на ратном поле, рядом с бессмертным Петром, или в сенате, бесстрашно говоря ему правду, спешат наперерыв записаться в скоморохи, в шуты… Не посоветуете ли мне пойти вприсядку для потехи его конюшенной светлости? Не прикажете ли мне приложиться к его ручке?.. Нет, сударь, не дождётесь этого от меня с вашим выходцем: скорей сожру я руку, которую он протянет мне, хотя бы этим поганым куском подавиться!.. Пляшите, господа, под его дудочку, вертитесь кубарем под его кнутик; лобзайте секиру, омытую кровью ваших братьев; деритесь в драку за пригоршни золота и разнокалиберных игрушек, которые бросает он вам из окон своих высоких палат… Моё назначение другое. – Тут Волынской поднял голову и произнёс с особенною твёрдостию: – Я русский боярин, не скоморох. Ты сам знаешь, что я друзьям и себе дал слово идти против чужеземного нашествия и предводителя его. В этом я поклялся пред образом Спасителя, – мне достался крест по жеребью, – я опоясался им, как мечом; я крестоносец и, если изменю клятве своей, наступлю на распятие Сына Божия!

– Всё ли вы сказали? – прервал Зуда Артемия Петровича.

– Всё, что должен был сказать и что исполню.

– Позвольте мне, в свою очередь, сделать вам вопрос, один только.

– Будем слушать и отвечать.

– Может быть, не с такою твёрдостию, как доселе говорили.

– Увидим, увидим! Ну, к делу, господин грозный противник!

– Противник всегда, в чём вижу вашу гибель. Прекрасно, благородно, возвышенно ваше рвение к пользе отечества, кто с этим не согласится? Но при этом подвиге необходимо условие, и весьма важное: собираясь в свой крестовый поход, вы, как твёрдый рыцарь, должны отложиться от всех пагубных страстей. То ли вы делаете? Ваша благородная дама забыта, и волшебница под именем Мариорица опутывает вас своими цветочными цепями. Надо избрать одно что-нибудь: или великий, трудный подвиг, или…

– Или волокитство, хочешь ты сказать, – прервал Волынский, несколько смутившись и покраснев. – О! Эта шалость, из тысячи подобных, не опасна!.. Ты знаешь, холодный проповедник, что я не в состоянии пристраститься ни к одной женщине. Мариорица мила, прелестна… это правда; но один поцелуй – и страсть промелькнёт вместе с ним, как потешный огонёк.

– Он сожжёт это полуденное растение и отуманит вас, сына севера, крестоносца, запаянного в броню железную! Что станется тогда с вашею доброй, любезной супругой, которая вас так любит?

– О! Она женщина холодная, на эти вещи смотрит очень равнодушно.

– Пока они не опасны! Что станется тогда с вашим предприятием, с вашими друзьями, которых вовлекли в него, с вами самими?..

– Ну, полно, честный иерей Зуда! Твоих проповедей до утра не переслушаешь. Скажи-ка мне лучше, что ты думаешь о домашних моих шпионах?

– То, что главный почти в руках моих.

– Я тебя не понимаю.

– Не могу более объясниться; на днях всё узнаете. Но до вашего похода, – прибавил Зуда, вздыхая, – не угодно ли будет запастись орудиями Махиавеля; они вам очень нужны.

– Ты хочешь сказать, лукавством и осторожностию, которых во мне недостаёт…

– Так же, как в вас слишком много благородства для борьбы с Бироном.

– О, что касается до этого, то я с тобой опять не согласен. Но обратимся к нашему учителю Махиавелю. Ввернул ли ты в перевод выражение насчёт нашего курляндского Боргио?

– Исполнил скрепя сердце, хотя со всею осторожностию, – сказал печально секретарь, как бы давая знать, что это ни к чему не послужит. – Не угодно ли вам будет прослушать последнюю главу?

Волынский дал знак согласия, и скоро принесена была огромная тетрадь, прекрасным почерком написанная. Зуда сел и начал читать вслух главу из Макиавелева «Il principe»[79], которого он, по назначению кабинет-министра, перевёл для поднесения государыне. Но едва успел пробежать две-три страницы, прерываемый по временам замечаниями Волынского, присовокупляя к ним свои собственные или делая возражения, как вошёл арап и доложил о прибытии Тредьяковского.

– Вели впустить его, – сказал Волынский, приметно обрадованный этим посещением, – Махиавеля и политику в сторону!..

Он вошёл…

Глава VI
ПОСРЕДНИК

Пыщутся горы родить, а
смешной родился мышонок

Вступление к «Телемахиде»

[79] «О государе» (итал.).

О! По самодовольству, глубоко прорезавшему на лице слово: *педант* ! – по этой бандероле, развевающейся на лбу каждого бездарного труженика учёности, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции Василия Кирилловича Тредьяковского. Он нёс огромный фолиант под мышкою. И тут разгадать не трудно, что он нёс – то, что составляло с ним *я и он, он и я* Монтаня, своё имя, свою славу, шумящую над вами совиными крыльями, как скоро это имя произносишь, власяницу бездарности, вериги для терпения, орудие насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом, он нёс «Телемахиду», это высокое произведение, которое почти целый век, то есть до появления «Александроиды», не имело ничего себе равного.

– А! Дорогой гость, добро пожаловать! – сказал Волынский, кинув ему и взглянув мельком на чудовищную книгу такими глазами, как если бы несли камень задавить его.

Гость отвесил глубокий поклон у двери, так что туловище его с нижнею частию фигуры составляло острый угол, – два шага вперёд, другой поклон, ещё ниже – третий. Лицо его утучнялось радостью; желая говорить, он задыхался, вероятно, от того ж чувства; наконец, собравшись с силами, произнёс высокоторжественным тоном:

– Великий муж! Как дань моего глубочайшего высокопочитания пришёл я положить к подножию вашему энтузиасмус моего счастия.

– Поведай, поведай, что такое, – сказал с усмешкой хозяин, – но с уговором, чтобы ты сидел. Я буду мечтать, что беседую с Омиром, повествующим мне о прекрасной Елене.

– Помилуйте, я и постою пред лицом вашим.

– Да, Боже мой, садись, я тебе приказываю.

Тредьяковский сел и возглагольствовал, помогая словам согласной мимикой.

– Человеческого духа такое, конечно, есть свойство, когда он сильно встревожен, что долго он как будто перстами ощущает, прежде нежели прямо огорстит слова для выражения своих чувств. В таком и я обретаюсь состоянии. Но дух, как Ираклий, чего не возможет! Он совершил во мне седьмой подвиг, и я приступаю. Я сей момент из собрания богов, с Олимпа и… и помыслите, ваше превосходительство, вообразите, возомните, какое бы благополучие меня ныне постигло.

– Что ж, ты видел государыню?

– Насладился её божественным лицезрением, но этого не довольно.

– Она говорила с тобою?

– Ещё выше и гораздо выше.

– Да не томи же нас!

– Итак, познайте, ваше превосходительство, я призван был в царские чертоги для чтения моего творения… Весь знаменитый двор стёкся внимать мне. Не знал я, какую позицию принять, чтобы соблюсти достодолжное благоговение пред богоподобною Анною… рассудил за благо стать на колени… Сама государыня благоволила подняться со своего места, подошла ко мне и от всещедрой своей десницы пожаловала меня всемилостивейшею оплеухою.

Тут Волынский едва не лопнул от смеха; Зуда закусил себе губы.

– Не помыслите, великий господин, чтобы сия оплеуха была тяжка, каковые дают простые смертные своими руками: нет! она была сладостна, легка, пушиста, возбуждала преутаённые душевные пружины и подвижность, как подобает сие произойти от десницы небожителя. Она едва-едва коснулась моей ланиты, и рой блаженства облепил всё моё естество. Не памятую, что со мною тогда свершилось, памятую только, что сия оплеуха была нечто между трепанием руки и тёплым дуновением шестикрылого серафима. Проникнутое, пронзённое благодарностью сердце бьёт кастальским ключом, чтобы воспеть толикое благоденствие, ниспосланное на меня вознесённою превыше всех смертных.

– Поздравляем тебя от чистого сердца, – сказал Волынский. Не зная, как освободиться от энтузиасмуса своего гостя, и между тем боясь оскорбить его крутым переходом к тому предмету, который лежал у него на сердце, он спросил будущего профессора элоквенции,

что у него за книга под мышкою.

– А именно эта книжица есть вина предшедшего и вечно незабвенного события. Её велено (вы понимаете, кто велел)… показать вам… Я имею довольно свободного времени, чтобы повествовать вашему превосходительству сие происшествие в достодолжном порядке.

– Много чести; зачем беспокоиться!

– Сие беспокойство есть для меня репетиция моего благополучия.

Кабинет-министр внутренно досадовал; но, желая разобрать смысл намёка на знаменитую книжицу, потребовал её к себе и присовокупил, что он между тем будет слушать поэта внимательно, с тем, однако ж, уговором, чтобы он обрадовал его секретною весточкой. Василий Кириллович улыбнулся, показал таинственно на сердце, мигнул глупо-лукаво на Зуду, как бы считая его помехою, и поспешил обратиться к своему любезному предмету:

– Вот, извольте видеть, высокомощный господин, эта книжица есть…

Тут Василий Кириллович начал говорить, и говорил столько о Гомере, Вергилии, Камоэнсе, о богах и богинях, что утомил терпение простых смертных. Зуда незаметно ускользнул из кабинета; в слух Артемия Петровича ударяли одни звуки без слов – так мысли его были далеки от его собеседника. Перебирая листы «Телемахиды», он нашёл закладочку… На ней, в нескольких словах, заключалось для Волынского всё высокое, всё изящное, о чём оратор напрасно целые полчаса проповедовал; на ней было начертано: *Мариорица; твоя Мариорица – скучно Мариорице!* Слова эти горели в глазах влюблённого Волынского; он видел уж впереди, и очень близко, шифры, переплетённые огнём, пылающие алтари, потаённые беседки, всю фантасмагорию влюблённых. Чего не изъяснил он, не перевёл, не дополнил в этих словах! Любовь скорее всякого профессора научит анализу того, что говорит любовь.

«О Мариорица! милая Мариорица! – думал он. – Мы и заочно чувствуем одно; нам уже скучно друг без друга. Ты теперь между шутами, принуждена сносить плоскости этих двуногих животных; предо мною такой шут, которого терплю потому только, что он бывает у тебя, что он с тобою часто говорит, что он приносит от тебя частичку тебя, вещи, на которых покоилась прелестная твоя ручка, слова, которые произносили твои горящие уста, след твоей души».

В то самое время, когда Волынский, влюбчивый, как пылкий юноша, беседовал таким образом с своею страстью, портрет его жены, во всём цвете красоты и счастия, с улыбкою на устах, с венком на голове, бросился ему в глаза и, как бы отделясь от стены, выступил ему навстречу. Совесть заговорила в нём; но надолго ли?.. Взоры его обратились опять на магические слова: *твоя Мариорица* , и весь мир, кроме неё, был забыт.

И вот кабинет-министр, в восторге своего счастия, взглянул на небо, как бы прося исполнить скорей преступные его желания.

– О победа! О венец труда великого! – воскликнул с радостным лицом Василий Кириллович, полагая, что восторжённое движение Волынского относилось к одному месту из его поэмы. – Какое же место привело вас в такой энтузиасмус? Соблаговолите указать торжествующему родителю на его детище, чтоб он мог сам поласкать его.

Волынской смутился, как бы пойманный в преступлении, поспешил спрятать закладку в карман, бросил взоры наугад в книгу и, настроив свой голос на высокий лад, прочёл:

– Видят они [80] *весь шар земли, как блатную грудку;*
Всёже преобширны моря им кажутся водными капли,
Коими грязная кочечка та по местам окроплена.

– Это место превосходно! исполнено силы, великолепия! Я ничего подобного не знаю.

– Го, го, то, есть места ещё лучше. Если дозволите про честь вашему признательному

[80] Боги. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

пииту!.. Например, когда Калипса, воспалённая *паренком* любви и ревностью, даёт *окрик* на Телемаха и *дядьку* его.

Здесь Василий Кириллович встал и, сам воспалясь гневом, замахав руками, вскричал так, что по сердцу собеседника его пробежала дрожь:

– Прочь от меня, прочь далей, прочь, вертопрашный детина;
С ним же ты совокупно прочь, старичишка безмозглый:
Ты почувствуешь, мощен колико гнев есть богинин,
Ежели неотвлечёшьего ты вскоре отсюду.
Больше видеть его не хочу; и к тому не терплю я,
Чтоб которая из нимф слово спустила
Иль на него чтоб и невозбранно коя смотрела.

Чувствуете ли, ваше превосходительство, какую красоту причиняет слово *прочь* , четырежды повторённое. Это по-нашему называется: фигура усугубления.

«Дух-мучитель!» – подумал Волынский, истерзанный самолюбием сочинителя, и сказал вслух:

– Хорошего понемногу, Василий Кириллович! Дайте мне отдохнуть от красоты одного образцового места, великий муж!

– Ага, ваше превосходительство, вы истинный меценат, вы постигли меня, вы отдаёте мне справедливость. Но я поведаю вам анекдотец, как могут ошибаться и великие люди. Теперь, не краснея, смею предъявить его во услышание мира, ибо я на предмет своей знаменитости успокоен. Пускай букашки, цепляясь за былинки, топорщатся на Парнасус; пусть рыбачишка холмогорский в немецкой земле пищит и верещит на сопелке свою одишку на взятие Хотина, которую несмысленные ценители выхваляют до небес: моя труба зычит во все концы мира и заглушает её; песенка потонет в 22 205 стихах моей пиимы! 22 205 вернейшим счётом!.. Не легко сказать; возьмись-ка кто написать!.. Сколько ни обгложут из них мои зоилы, сиречь завистники, всё останется мне их довольно для существования в потомстве.

– Скорей к повествованию, Василий Кириллович, и потом жаждущему хоть каплю воды: одно слово о княжне. Когда ты скажешь мне его, я велю принесть подарочек…

Глаза будущего профессора элоквенции заблистали огнём. Он рассыпался в благодарности, окрылился и повествовал:

– Итак, я поведаю вашему превосходительству вкратце анекдотец о себе и Петре Великом. Извольте ведать, что я обучался элементам наук и древних языков в архангельской школе. Уже в летах младых я обещал в себе изобильные надежды. Единожды, когда соблаговолил посетить наш вертоград блаженные и вечно достойные памяти государь Пётр Первый, профессор подвёл меня к его императорскому величеству, яко вельми прилежного и даровитого студента по всем ветвиям наук, особенно в риторике и пиитике. Еле четырнадцатилетний паренище, я выучил наизусть главу об *изобретении* со всеми цитатами и эпиграфами, как «Помилуй мя, Боже», и сочинил стихословный акростих: «Како подобает чествовати богов земных?» Сей акростих был поднесён его императорскому величеству, и он, воззрев на него, соблаговолил изречь: *«Лучше б написал он мне о рыбной ловле здешнего края!»* Ге, ге, ге, о рыбной ловле: заметьте, ваше превосходительство! Осмелюсь присовокупить, впрочем не утруждая вашего драгоценного внимания: Пётр Алексеевич хотя и был государь премудрый, но в риторических извитиях не обращался, греческого и латинского языков не любил. Сожалительно весьма; чего бы он с познанием их не сотворил! Но обращаюсь к сущему повествованию. Потом всемилостивейший государь, блаженные и вечно достойные памяти, соблаговолил подойти ко мне, выведенному из ряду прочих школьников, поднял державною дланью волосы на голове моей и, взглянув пристально мне в очи, а скиптроносною ударив по челу моему, произнёс: *«О! этот малой труженик: он мастером никогда не будет»* . И я дерзаю днесь изрещи: *Пётр был государь*

великий; но во мне-то и ошибся! Приникни ныне, о тень божественная, на мою «Телемахиду», на Ролленя дважды в двадцати четырёх томах и сознайся пред ними в своей опрометчивости.

Волынский очень смеялся этому анекдоту; но чтобы разделаться с своим мучителем и разом прекратить его повествование о себе, которое могло бы вновь затянуться до бесконечности, если б только вздумалось оратору связать прерванное сказание о всемилостивейшей оплеухе, велел арапу принести обещанную пару. Между тем решительно приступил к Тредьяковскому, чтоб он без дальней благодарности и витийства дал ему весть о молдаванской княжне.

Василий Кириллович рассказал за тайну, что её сиятельство была очень скучна, узнав, что его превосходительство сделался нездоров, что она расспрашивала, все ли красавицы петербургские ездят ко двору и нет ли какой в городе, ей неизвестной; когда ж Василий Кириллович, как новый Парис, вручил ей золотое яблоко, она казалась очень довольною. Далее спрашивала об играх и затеях святочных, собиралась ныне же, когда месяц станет уклоняться к полуночи, выйти с подругами своими на крыльцо и погадать о суженом; наконец, во время урока принялась чертить своё имя и ещё кое-что… Но, несмотря на старания учителя взять эту записочку, Мариорица никак не согласилась отдать её, боясь, что она попадёт в руки Артемия Петровича. (Мы видели, однако ж, что эта самая записка очутилась в «Телемахиде», между листами, вместо закладки и дошла к кому следовала: так-то хитра любовь женщины! Верьте, что она, когда нужно, проведёт не только профессора красноречия, но и поседелого в дипломатии мужа.)

Утешенный Волынский, с новым запасом для своих волшебных замков, выпроводил от себя Тредьяковского, а тот, уложив в свой табачный носовой платок богатую пару платья, ему подаренную, и свою «Телемахиду», отправился с этим сокровищем домой. Вслед за его отбытием пришли доложить кабинет-министру, что какие-то святочные маски просят позволения явиться к нему. Велено пригласить.

Глава VII
ПЕРЕРЯЖЕННЫЕ

«Послушай, – говорит, – коль ты умней не будешь,
То дерзость не всегда легко тебе пройдёт.
На сей раз Бог простит: но берегись вперёд
И знай, с кем шутишь!»

Крылов

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали;
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали.

Жуковский

Ещё на лестнице послышались песни, хохот, писк, кваканье, говор на разные голоса. И какая беда с профессором элоквенции! Ему навстречу ватага переряженных. Его оглушили, засвистали: от парика его пошла пудра столбом. В этой суматохе он думал не о себе; нет, великий муж мыслил, подобно Камоэнсу, гибнущему в море, о спасении «Телемахиды» и праздничной пары. Жалея о своём детище, которое могло бы пострадать от приступа маскерадных героев, он повернул медвежьи стопы назад: его затёрли и увлекли. Как

огромный гремучий змей, втянулись они в зал, составили польский, сгибаясь в кольцы и разгибаясь в бесчисленных изворотах, но не выпуская из своего круга бедного, измученного кропателя стихов. Тут были инка, гранд и донна, испанцы только по женским мантильям, на них накинутым, и по перьям на шапочках с бриллиантовыми аграфами. Шлейф донны несли два карла. Сбитенщик с огромным подушечным брюхом давал руку турку, трубочист с знатным ариергардом на спине – великолепной Семирамиде в фижмах, чертёнок – капуцину. Тут выступал журавль, у которого туловище было из вывороченной шубы калмыцкого меха, шея из рукава, надетая на ручку половой щётки, нос из расщеплённой надвое лучины, а ноги – просто человеческие, в сапогах. Рядом ревел медведь: эту роль играл человек в медвежьей шубе вверх шерстью. Одним словом, тут был полный доморощенный маскерад, какой только младенческое искусство тогдашнего времени могло устроить. В затеях подобного рода наши предки не были изящны; зато они веселились не равнодушно, не жеманно. Один только рыцарь, запаянный с ног до головы в благородный и неблагородный металл, отличался приличием и богатством своей одежды; он один хранил угрюмое молчание. Заметно было по жилистым, полновесным ручкам донны и Семирамиды, что они способны управлять не иглой, а палашом.

Одна из масок остановилась в сенях; ей навстречу – барская барыня.

– Что нового? – спросила первая.

– Цыганка после смотра долго оставалась наедине с барином, – отвечала вторая на ухо переряженному, – допытайте её хорошенько… За мной строго присматривают…

Разговаривавшие послышали шум шагов внизу лестницы и бросились каждый в свою сторону.

Прервавший их тайную беседу был волшебник в высокой островерхой шапке и в долгополой мантии с иероглифами и зодиаками, с длинною тростью в одной руке и урной в другой.

Гости очень веселились, танцевали живо, как молодые, плясали уморительно по-стариковски, приводя в движение подушки, которыми обвязались; закидывали хозяина вопросами на разные чудные голоса, пускали шутихи остроумия и по временам намекали ему о некоторых тайнах его, известных только его друзьям. Это мучило Артемия Петровича; он не выдержал и приказал маршалку выведать от кучеров, стоявших у подъезда, кто были переодетые. Кучера сначала отговаривались, но гривна на водку всё открыла: они рассказали, что главные маски были гофинтендант Перокин и тайный советник Шурков, друзья Волынского, со своими близкими. Узнали ещё, что этот маскарад возвращался уже из дворца, где увеселял больную государыню. В самом деле, Артемий Петрович, сличая рост и ухватки своих друзей, уверился, что это точно они, да и карлы были те самые, которых он видал у Перокина и Шуркова. Вельможи эти были не молодых лет, но в тогдашнее, нещекотливое на приличия время старость и знать под весёлый час любили подобные затеи в кругу приятельском или по заказу государыни.

Турок требовал питья у сбитенщика, и тот налил ему из своей баклаги густого токая.

– В чужой монастырь с своим уставом не ходят, – вскричал Артемий Петрович, – стакан вдребезги, – и дал приказ расшевелить все углы домашнего погреба, заветного хранилища богатых заморских вин.

Пир поднялся горой; стопы и чары, постукивая, начали ходить кругом; разлилось море вина, хоть купайся в нём. Инка, турок, Семирамида пили по-русски. Капуцин, осушая стопу, ссылался, что соблазнил его нечистый, а бес приговаривал, что, попав в общество капуцина, поневоле научишься пить. Гости продолжали говорить не своими голосами, изредка обстреливая Бирона и его приверженцев: хозяин, увлекаясь живостью своего характера, не выдерживал и осыпал герцога посылками с убийственной начинкой. Только долговязый рыцарь молчал как немой, но пил за двоих. Надо оговориться, что Артемий Петрович, дав слово гостям не нарушать их маскерадной тайны, свято исполнил его; гостям же бумажные забрала позволяли, осушая стопы, сохранить своё инкогнито. Между тем Зуда с ужимочками, с улыбочками и приветствиями подходил то к одной, то к другой маске и

каждого ощупывал по роду его ответов.

– Ах! – возопил инка. – Из столицы солнца, где жгли меня и лучи его, и жаровни испанцев, я прибежал прохладиться в Россию.

– Ошиблись, ваше индейское величество! – подхватил Волынский. – Здесь научились жарить на морозе без огня и угольев.

Индеец посмотрел на беса, бес на индейца; а хозяина в это время дёрнул за полу кафтана волшебник.

– Кой чёрт его дёргает! – вскричал Волынский. – Да, братец, господин волшебник, эта наука не доморощенная, привезена к нам из-за моря не русским Вельзевулом.

– Не русским! Да из какой же земли? – спросил грозно турок.

– Пасую ответом! – закричал чертёнок.

– Из земли выходцев, где главные достоинства – счастие и отвага, – прервал Волынский, – жаль только, что он не наш выходец, и навеки!

– Хват! Перещеголял и меня! – воскликнул бес, хлопая в ладоши.

– Скажи мне, пожалуйста, братец, – спросил шёпотом сбитенщик Артемия Петровича, отведя его в угол залы, – кто этот волшебник?

– Да ведь он с вами приехал?

– Нет, он увязался за нами на лестнице! Не шпион ли герцога?

– А вот я скоро с ним разделаюсь, сдёрну с него фальшивую рожу.

– Постой, два слова…

– Боже! Он погубит себя, – шёпотом говорил Зуде волшебник, отведя его в сторону, – он, верно, принимает его за друга… Сердце замирает от мысли, что он проговорится… Он с бешенством на меня посмотрел, грозился на меня, показывал, что сдёрнет с меня маску… Я погиб тогда. Отведи его, ради Бога!

– А меня ты узнал скоро? – спросил сбитенщик хозяина.

– Разом.

– Кто ж я?

– Перокин.

– Плутище!

– В другой раз прячь получше свои толстые жабры, пышные губки и бородавку на ухе, а карлом своим не хвастайся.

– Есть ли новости, брат?

– О, важные! Малороссиянин…

– Ну что? Тише…

– И мёртв, и жив.

– Что за притча! Каким образом?

– До вас я только что получил…

– Сюда, Артемий Петрович! Время не терпит, – вскричал странным голосом Зуда, увлекая за собою упиравшегося волшебника, – плутоват, как Махиавель!

– Махиавель? – повторил Волынский. – Я разом к тебе буду, – прибавил он, обратясь к сбитенщику, и бросился в ту сторону, где Зуда возился с астрологом. Тот от Волынского, далее и далее, и в противный угол залы, где никого не было.

– Вы губите себя, – сказал он Артемию Петровичу, схватя его за руку и легонько пожав её.

Зуда присовокупил шёпотом:

– Слушайте его, а не то беда! – Потом сказал вслух: – Колдун вовсе не пьёт.

– Избавьте меня! – умолял жалобным голосом астролог, – зато я предскажу вам будущность вашу. Выньте из урны ваш жребий.

– Посмотрим, посмотрим!

Хозяин опустил в волшебный сосуд руку; между тем чародей протяжно запел непонятные слова, как муэдзин взывает на минарете к молитве.

– Эй, люди, сюда! – закричал Волынский. – Держите его! Беда колдуну, если он

напророчит мне худое: утоплю в вине.

Человека три ухватились за волшебника; из них и Зуды составилась порядочная группа, почти закрывавшая главные лица этой сцены. Молчаливый рыцарь встал со своего места и, не слыша, что они говорили между собою, впился в их душу глазами, сверкающими из-под маски, которую в это время коробило.

Волынский вынул из урны свёрнутую бумажку и прочёл: «Берегитесь! Все ваши гости – лазутчики Бирона, выучившие роль ваших друзей и приехавшие к вам под именами их. Они хотят втереться к вам в кабинет. Не оскорбляйте рыцаря: это брат герцога».

Рука записки была та же, которою писали длинное таинственное послание.

– Хитрая штука! – вскричал хозяин, стараясь не казаться озабоченным. – Предсказывать, что мне не будет более успеха в волокитстве!.. Качать его за то!.. Эй, качать колдуна! Осторожнее! – прибавил он потихоньку одному из своих слуг, взявшихся за волшебника.

И двадцать молодцов, исполняя свято приказ своего господина, под лад песни бросали гостя вверх, как мячик, и принимали его бережно на руки, будто на пуховики. Между тем Артемий Петрович шепнул под шумок одному из своих слуг, чтобы стерегли вход в кабинет, отослали домой сани приехавших гостей и запрягли три удалых тройки с собственной его конюшни; потом, возвратясь к мнимому Перокину, продолжал начатый с ним разговор.

– Вот видишь, любезный друг, – сказал он, – я только что пред вами получил прошение на имя государыни за подписью какого-то Горденки и ещё нескольких важных лиц. В нём описываются злодеяния Бирона. Но – слышишь? Просят вина! Не взыщи. Завтра в восемь часов утра приезжай ко мне с нашими задушевными – я вам расскажу всё подробно.

– Зачем откладывать?.. Завтра… что-нибудь помешает…

– Нас могут услышать.

– Войдём в кабинет…

– Не могу, право слово!.. Эй! Маршалок! Бокал сюда! – закричал грозно Волынский, пристав к шумящим гостям, и запел:

Чарочка моя
Серебряная,
Кому чару пить,
Кому выпивать…

Да какая же чара! – прибавил он, наливая бокал, – не только с хмельком, да и с зельицем…

– Выпить её
Артемию Петровичу, –

запели два-три голоса с коварною усмешкой.

– А я так думаю – всем гостям моим, – возразил с такою же усмешкою хозяин.

И чара обошла всех гостей, кроме волшебника, успевшего скрыться.

– Эй! Скорей ещё вина!

Чертёнок, воспользовавшись обращением Волынского к своему дворецкому, погрозил вслед пальцем и примолвил:

– Поболе таких вин, как твои, господин хозяин, и ты не увернёшься от наших когтей.

На эту шуточную угрозу, Волынским услышанную, он отвечал:

– У нас, по милости хозяина, во всякое время найдётся довольно вин, чтобы виноватым быть. Беда, беда сбитенщику! За ним, я вижу, опять недоимка. Зуда, не отходи от него, пока не очистит, а то в доимочный приказ, и на мороз босыми ногами.

– Что скажете вы на всё это, господин рыцарь? – спросил чертёнок молчаливого крестоносца.

Рыцарь ударил по эфесу меча своего.

– Ошиблись, господин! Вы вместо секиры привесили благородный меч, – сказал Волынский, горячась.

– Не миновать тебе и её! – был ответ рыцаря, как будто вышедший из могилы.

Хозяин вспыхнул, но старался скрыть своё негодование.

– Что-то помалкивает наша Семирамида? – лукаво спросил инка.

– Она горюет, – продолжал Волынский, – что ошиблась в выборе своего рыцаря. Но добрая Семирамида узнает когда-нибудь свою ошибку – к чёрту угрюмого конюшего, – при этих словах рыцарь нахохлился, – и блаженство польётся в её стране, как льётся теперь у нас вино. Друзья, за здоровье Семирамиды!

– За здоровье Семирамиды! – воскликнули гости, и стопы зазвучали.

– Виват! – возгласил турок.

– Ура! Родное ура! – закричал хозяин.

– Виватом у нас в Петербурге встречает войско свою государыню.

– Войску велят немцы-командиры, а нам кто указывает! Ура! Многие лета царице! Веки бесконечные её памяти!

– Слышишь? – сказал чертёнок шёпотом, толкнув монаха. – Память ей вечная!

– Да, да, я слышал, – отвечал капуцин, – слышал, верно, и благородный рыцарь. Мы все свидетели; от этого он не отопрётся.

Волынский подошёл к своим слугам и приказал, чтобы качали попеременно всех его гостей.

– Бойчее! – прибавил он мимоходом. – Разомните им кости!

Этот приказ развязал руки качальщиков. Надо было видеть, как летали турок, чертёнок, капуцин и прочие маски.

– Злодеи! Разбойники! Тише, родные, пощадите! – кричали они, посылаемые сильными руками к потолку.

При этом действии славили гостей под именами Перокина, Щурхова и других, за кого приказано было людям принять их. Едва унеся своё тело и душу из этой потехи, они ещё принуждены были щедро наградить за *славление* : так водилось у наших предков. Перокин более всего держался за свои уши, но бородавка на одном из них не уцелела. Волынской притворился, будто этого не заметил. Грозный рыцарь, по просьбе его товарищей, Семирамида, из уважения к её высокому сану и полу, и Тредьяковский, который уже храпел на стуле в углу комнаты, обняв крепко свою «Телемахиду», одни избавились от торжественного возношения под потолок.

– Умирать! – закричал Волынский, став на середину зала. И вся многочисленная дворня, бывшая в комнате, окружив своего владыку и преклонив голову, пала к нему в ноги, как морские волны, прибитые взмахом ветра к подножию колонны, стоящей посреди пристани. Несколько минут лежали слуги будто мёртвые, не смея пошевелиться; но вдруг, по одному мановению своего господина, встали, затянув ему громкую песню славы. Под лад её подняли его на руки и осторожно покачали. Когда ж эта русско-феодальная потеха кончилась, Волынский нарядился в богатый кучерский кафтан и предложил своим гостям прокатиться.

Согласились тем охотнее, что замашки хозяина грозили уж опасностью. Каково ж было их изумление и страх, когда они вместо своих экипажей нашли у подъезда сани с людьми, им вовсе не знакомыми? Три бойкие тройки, прибранные под масть, храпели и рыли снег от нетерпения.

– Извините, друзья, – сказал Волынский, – ваши сани отосланы. Размещайтесь смелее; я вас покатаю и развезу по домам.

Незваные гости не знали, как вырваться из западни: надобно было согласиться и на это предложение хозяина, который в подобных случаях не любил шуток, и постараться во время катания ускользнуть от него подобру-поздорову. Когда ж почти все маски разместились, продолжая своё инкогнито, Артемий Петрович приказал кучерам на двух санях, при которых

на облучках уселись ещё по двое дюжих лакеев, чтоб они умчали своих седоков на Волково поле и там их оставили.

– Слышите! На Волковом поле сбросить их! – произнёс он грозно; потом, обратясь к гостям, прибавил: – Шутка за шутку! Прощайте, господа! Теперь смейтесь на мой счёт сколько вам угодно! Катай!..

Несчастные жалобно возопили, но кучера гаркнули, свистнули, полозья засипели, бубенчики на лошадях залепетали, и в один миг сани, навьюченные жертвами шпионства, исчезли из виду.

– Теперь, – сказал Волынский, садясь кучером в третьи сани, где поместился рыцарь печального образа, довольно нагруженный вином, и обратясь к нему, – позвольте отвезть вашу светлость к Летнему дворцу. Вы уже довольно наказаны страхом и, прибавлю, стыдом, что попали в шайку подлых лазутчиков. Знайте, за час до вашего приезда меня известили о вашем посещении, и потому я приготовился вас встретить. Мои шпионы не хуже герцогских. Вы, думаю, поймёте, что шутками насчёт вашего брата хотел я только доставить вам и вашим товарищам пищу для доноса. Уверьте, однако ж, его светлость, что как я, так и друзья мои никогда не потерпим личного оскорбления, даже и от него. Мы спокойны: клевете и зависти не сделать белого чёрным. Преданность наша государыне всем известна; должного уважения нашего к герцогу мы никогда не нарушали. Но для всякой предосторожности, чтобы не перетолковали в худую сторону моих шуток, ныне ж донесу ему обо всём случившемся в моём доме и об оскорблениях, мне лично сделанных людьми, играющими роль его лазутчиков. Надеюсь, если вы не хотите, чтобы нынешняя история известна была государыне, и вы подтвердите моё донесение. Вот Летний дворец! Извольте сойти, целы и невредимы; благодарите за то родство ваше с герцогом курляндским. Покойной ночи, Густав Бирон!

Не отвечая ничего, со стыдом вышел рыцарь из саней и скрылся у входа в жилище герцога. Остававшаяся при нём свита выпрыгнула за ним, как лягушки, распуганные на берегу, опрометью бросаются в своё болото. Не так хорошо кончили своё ночное поприще их приятели. По буквальному тексту данного приказа, они выброшены были на Волковом поле, получившем своё название от волков, приходивших туда каждую ночь доканчивать тех, которые при своей жизни не были пощажены жестокостью собраний, а по смерти их пренебрежением.

Маски в лунную ночь на кладбище, – и ещё каком, Боже мой! – где трупы не зарывались: инка, Семирамида, капуцин, чертёнок, это разнородное собрание, борющееся с мертвецами, которые, казалось им, сжимали их в своих холодных объятиях, хватали когтями, вырастали до неба и преследовали их стопами медвежьими; стая волков, с вытьём отскочившая при появлении нежданных гостей и ставшая в чутком отдалении, чтобы не потерять добычи, – таков был дивертисмент, приготовленный догадливою местью героям, храбрым только на доносы. К довершению их горя, надо было им пройти до своих квартир несколько вёрст пешком и на морозе.

Торжествующий Волынский, обещаясь быть вперёд осторожнее (что он не раз уже обещал), отослал слуг домой и в кучерской одежде поехал шагом мимо Зимнего дворца.

Луна, полная и свежая, как дева, только что достигшая периода своей физической образованности, выказывала на голубом небе округлённые, роскошные формы свои, то едва закрывалась сквозной косынкой облачка, то шаловливый ветерок сдёргивал её. Ночь была так светла, что можно было читать. На улицах никого. Тишина и игра лунного света придавали этой ночи какую-то таинственность. По Луговой линии во всех домах огни были погашены: одетые к стороне дворца мраком, здания стояли, как угрюмые исполинские стражи его, и простёрли вперёд тень свою, будто огромные зазубренные щиты. Один дворец изукрашен был огнями, игравшими сквозь окна, как золотая фольга, и, затопленный светом луны, благоприятно обратившейся к нему лицом, блестел мириадою снежных бриллиантов. Воображая себя витязем наших сказок, катился Волынский по снежному полотну мимо этих волшебных палат, где жила его княжна. Словно духи, его преследовавшие, тени от коней его

то ровнялись со дворцом, то далеко убегали, ложась поперёк Невы.

Раз проехал мнимый ямщик под самыми окнами Мариорицы и мимо маленького дворцового подъезда. Какая досада! никого не видно. В другой, объехав две-три улицы и возвратись опять к крыльцу, как бы очарованному для него, он заметил издали мелькнувшие из саней головы. Ближе – нельзя сомневаться: это головы женские. На лестнице, сошедшей в улицу, захрустел снег под ножками; хрустнуло и сердце у Волынского. Сильною рукою замедляет он шаг коней.

Девушки смеялись, бросали свои башмачки, спрашивали служанку, ходившую поднимать их, в какую сторону легли они носком, резвились между собою, пололи снег, и наконец, увидев мимо ехавшего ямщика, начали спор:

– Спроси ты, – говорила одна.

– Нет, ты! Нет, ты! – слышалась перестрелка тоненьких, нежных голосов – голосов, заставляющих прыгать все струны вашего сердца, особенно когда раздаются в святочную ночь, в таинственной её тиши, когда и живописец-месяц очерчивает для вас пригожие личики говорящих. Наконец одна осмелилась и спросила мнимого ямщика:

– Как тебя зовут, дружок?

Волынский содрогнулся и невольно остановил лошадей: в этом вопросе он узнал звуки Мариорицына голоса.

– Артемием, сударыня! – отвечал он, скинув шапку.

– Артемий? – повторила, задумавшись, молдаванская княжна, и кровь её, поднявшись быстро от сердца в лицо, готова была брызнуть из щёк.

– Артемий? – закричали, смеясь, девушки. – Какое дурное имя!

– Неправда! Оно мне нравится, – подхватила княжна.

– Кто бы это был ваш суженый? – продолжали её подруги. – Все, кого мы знаем, не пара вам: или дурен, или женат.

«Я знаю моего суженого, моего неизбежного», – думала Мариорица и молчала, пылая от любви и чувства фатализма.

Девушки перешёптывались, а лихой ямщик всё ещё стоят на одном месте; наконец и он осмелился обратиться к ним с вопросом:

– Смею спросить: вас как зовут?

– Катериной! Дарьей! Надеждой! Марьей! – посыпались ответы.

– Неправда, неправда, – сказал гневно один голос. – Мариорицей!

И этот голос был покрыт хохотом подруг её. Ямщик вздохнул, надел шапку набекрень и тронул шагом лошадей, затянув приятным голосом:

Вдоль по улице метелица метёт;
За метелицей и милый друг идёт.
«Ты постой, постой, красавица моя!
Ещё дай ты насмотреться на себя,
На твою, радость, прекрасну красоту;
Красота твоя с ума меня свела:
Сокрушила добра молодца меня».

Возвратившись домой, Артемий Петрович застал воспитанника Ролленева спокойно спящим на том же стуле, на котором хмель приютил его. Влюблённому пришла мысль воспользоваться для своих замыслов положением стихотворца.

– Пора к делу! – сказал он сам про себя. – Она так неопытна; давно ли из гарема? Кровь её горит ещё жаром полудня: надо ковать железо, пока горячо! Светское приличие, которому скоро её научат, рассудок, долг, одно слово, что я женат… и мои мечты все в прах! Напишу ей записку и перешлю с господином Телемахом: этот молчаливый посланный гораздо вернее. Она найдёт её… будет отвечать, если меня любит… а там тайное свидание, и Мариорица, милая прелестная Мариорица – моя!

И Волынский пишет, исполненный адских замыслов, вскруживших ему голову до того, что он не видит ужасной будущности, которую готовит вдруг и своей супруге, и девушке, неопытной, как птичка, в первый раз вылетевшая из колыбельного гнезда своего на зов тёплого, летнего дыхания.

Вот что он пишет:

«Не выдержу долее!.. Нет, недостанет сил человеческих, чтобы видеть тебя, милая, прекрасная, божественная Мариорица, видеть тебя, любить и молчать. Куда бежать мне с моим сердцем, растерзанным мукою любви? Почему не могу вырвать его из груди своей, чтобы бросить псам на съедение?.. Мысли мои помутились, горячка пробегает по жилам, уста мои запеклись: одно слово, только одно слово, росинку надежды – и я блажен, как ангелы на небесах! Видишь, я у твоих ног, обнимаю их, целую их след, как невольник, который чтит в тебе и свою владычицу, и божество, которому ты свет, жизнь, воздух, всё, что для него только дорого на земле и в небе. О милая, бесценная Мариорица! Ужели жестокостью своей захочешь ввергнуть меня в бездну тартара? Ужели хочешь видеть труп мой под окнами твоими?.. Реши мою участь. Положи ответ в ту же книжку, которую к тебе посылаю, и возврати мне её на имя Тредьяковского завтра поутру, как можно ранее».

Волынский не затруднился сочинить это письмецо: любовь и опытность помогли ему. Не так легко было сочинителю пустить записку в ход. Узел в руках опьяневшего Тредьяковского развязан; но лишь только Артемий Петрович дотронулся до «Телемахиды», как творец её, по какому-то сочувствию, замычал во сне. Дано ему забыться опять сном, и новый Язон опять принялся за похищение золотого руна. Мычание повторилось, но в то самое время, как Волынский, со всею осторожностью, вытягивал из узла громоздкое творение, арап вкладывал на место его так же осторожно полновесный фолиант. Послышав тягость в своих руках, Тредьяковский захрапел.

Подрезана бумага под переплётом «Телемахиды», и письмецо вложено в него так, что, коснувшись нежными пальцами, сейчас можно было его ощупать. Затем велено арабу ехать во дворец, отдать книгу княжне Мариорице Лелемико от имени её учителя, Василия Кирилловича, который, дескать, ночует у господина Волынского и приказал-де ей выучить к завтрашнему дню, для произнесения пред государыней, первые десять стихов из этой книги, и приказал-де ещё переплёт поберечь, книги никому не давать и возвратить её рано поутру человеку, который за ней придёт. Арапу наказано было отдать посылку как можно осторожнее, или в собственные руки княжны, или горничной, однако ж так, чтобы он слышал, что книга отдана княжне. С сердцем, полным страха и надежды, как водится в таких случаях, Волынский отправил своего черномазого Меркурия.

Глава VIII
ЗАПАДНЯ

Кого кто лучше проведёт,
И кто хитрей кого обманет?

Крылов

С сырыми от снега башмаками возвратились гофдевицы домой из своего путешествия в волшебный мир гаданья. По каменным истёртым ступеням дворцовой лестницы прядали они, как серны. Все собрались в комнате Мариорицы.

– Наши русские барышни свычны со снегом, – сказала княжне её горничная, уговаривая переменить обувь, – им ничего! А вы у нас прилётная птичка из тёплых краёв!

– И я хочу быть русской! – отвечала Мариорица; однако ж послушалась, чувствуя, что ноги её очень мокры.

Усадили княжну в огромные президентские кресла, которых древность и истёртый

бархат чёрного порыжелого цвета ещё резче выказывали это юное, прелестное творение, разрумяненное морозом, в блестящей одежде, полураспахнувшейся как бы для того, чтобы обличить стройность и негу её форм. Это был розовый лист, павший на рясу чернеца, лебедь, покоящийся в тёмной осоке. Окружённая подругами, которые смотрели на неё, как бы желали себе: одна – её мягких волос, свивавшихся чёрными лентами около шеи и до пояса, другая – её румянца, третья – её стана, плеч и Бог знает чего ещё; замечая в их глазах невольную дань её превосходству и видя это превосходство в зеркале, осыпанная нежными заботами служанки, стоявшей на коленях у ног её, Мариорица казалась какою-то восточною царицей, окружённой своими подданными. Горничная проворно скинула с неё обувь, брала то одну, то другую ногу в руки, грела их своим дыханием, потом на груди своей; согревши, положила одну ножку на ладонь к себе, любовалась ею, показала её в каком-то восторге подругам княжны, как бы говоря: «Я такой ещё не видывала! Вы видали ли?» – и, поцеловав, спешила обуть. Мариорице, раскинувшейся на бархате кресел, которые, казалось, бережно отверзали ей свои древние ручки, как старец осторожно принимает в иссохшие объятия милое дитя своё, – Мариорице приятны были искренние ласки горничной. Однако ж она вздохнула. Кто из мужчин, видавших её, не желал бы быть предметом и живым истолкователем этого вздоха?

И вот фатализм опять взвился над нею как хищный орёл, чтобы вырвать и эту сокровенную жертву. Кто-то постучал у дверей. Служанка вышла и скоро возвратилась с огромною книжицей и поручением от господина Тредьяковского, переданным вполовину.

– Ох! Уж этот мне Василий Кириллович! – сказала княжна, топнув слегка ногой и с досады надув губки. – Легко ли?.. выучить наизусть эти стихи, в которых вязнет язык, будто едешь на ленивом осле по грязным улицам Хотина!.. Выучить наизусть! Мучитель! Безбожник!

– Велено ещё доложить вам, сударыня, – промолвила, торопясь, служанка, будто стараясь рассказать выученный урок, – что ваш учитель, дескать, остался опочивать у егарей-мастера Артемия Петровича Волынского, просит вас переплёт книжицы беречь, её самоё никому не давать, а возвратить человеку, который от него прислан будет завтра поутру, как можно ранее, потому-де, что книжица эта ему очень нужна.

При этом докладе мысль, что в посылке скрывается что-нибудь таинственное, пробежала, как огненная змейка, в голове сметливой и – нечего греха таить – влюблённой девушки. Угадчик-сердце шибко застучало. Мариорица призадумалась было, как математик над решением трудной задачи, но поспешила спрятать в душу свои догадки, раскрыла книгу с важностью президента и принялась за урок, читая её вслух. От первых стихов:

В крайней тоске завсегда уже пребывала Калипса…

и прочее, – гофдевицы были в восторге.

– Как это хорошо! Так и тянет за душу, – говорили они; но вдруг захохотали, смотря друг на друга, когда дошли до описания кораблекрушения:

Сё вдруг узрела она корабля разбитого доски,
Лавки гребецки почти на дщицы преломаны, вёсла
Также туда и сюда по пескуразмётаны, купно
Щеглу [81]*, кормило одно и верви при береге пловущи…*

– Не мешайте мне учиться, – сказала Мариорица, приняв гневный вид, и подруги её, смеясь, высыпали из комнаты.

---

81 Машта; N. B. Толкование г. Тредьяковского. В стихах соблюдено его право– или кривописание. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

С робостью осмотрелась кругом Мариорица. В комнате, кроме неё, никого. Она начала трудиться над книгой, перелистывая её, шарить в ней…

Могла ли она думать, что в перегородке, отделявшей её спальню от комнаты Груни, её горничной, была умышленно проверчена щель? Могла ли подозревать, что этой горничной строго приказано обергофкомиссаром Липманом неусыпно приглядывать за её поступками? Не будет ли наказов, посылок, записок – и именно из дому Волынского?.. Боже упаси Груню утаить что-нибудь! Домашний лазутчик кабинет-министра уж дал знать герцогу, чрез кого следовало, о склонности Артемия Петровича, проскочившей наружу в разговорах его с Тредьяковским и Зудою. О! этот случай золотой, чтобы очернить соперника и врага в глазах государыни, строгой насчёт нравственности, или запутать его в собственных сетях так, чтобы он не мог уж вредить фавориту.

Горничная искренно любила свою госпожу, и нельзя было не любить её. Обворожительная своею красотою и детскою добротою сердца, Мариорица казалась существом, похищенным из двух раев – магометова и христианского. Груне гораздо было бы приятнее повести любовное дело, в котором она могла бы показать всё своё мастерство и усердие, нежели шпионить против неё; но выступить из повеления Липмана, обергофкомиссара, любимца Бирона и крестника государынина, можно было только положа голову в петлю.

Родом жид, он остался жидом, хотя по наружности обновил себя водою и духом. Вывезенный герцогом, наг и нищ, из Курляндии и им обогащённый в России, он готов был, по одному только намёку его оклеветать, пытать, удавить и утопить кого бы ни попало. И потому Груня покорилась необходимости. Творя крёстные знамения и читая молитвы, она исполняла приказ грозного перекрещенца.

Случалось ли вам играть в отгадку под музыку или стук какой-нибудь вещицы? Так Мариорица искала чего-то в книге Тредьяковского под маятником своего сердца. То билось оно тихо, то шибче и вдруг затрепетало, как голубь в руках охотника; кровь пошла скоро, скоро, будто колёса в часах, когда порвалась цепочка: Мариорица нащупала роковую записку. Вынуть, прочесть её, упиваться страстными выражениями, отметить малейшие оттенки любви, слить эти оттенки в одну радугу надежды, погоревать, даже поплакать, поцеловать раз, ещё раз, нежно, страстно, роковое послание и потом спрятать его на груди, у сердца, – вот что делала Мариорица и что делает каждая влюблённая девушка, получив записку от предмета своей любви (пожалуй, если угодно, от жениха)!

Несмотря на эту оговорку, предчувствую, что грозное ополчение девушек поднимется на меня войной, копьями своих булавок исковыряет эту печатную страницу и везде встретит меня криком: «Неправда! Неправда! Стыд автору! Смерть политическая его сочинению!»

Виноват, виноват: я пошутил, и если вы находите, что Мариорица сделала очень дурно, приняв послание, то вспомните, что она воспитывалась в гареме.

«И он стоит у ног моих, как стояла Груня, обнимает, целует их! О, какой же он нежный, страстный!..» – говорила про себя Мариорица и, спрятав записочку под подушку, объявила горничной, что она хочет лечь спать.

Замечают испытатели природы, что такого рода записки обыкновенно клонят на подушку.

И милая восемнадцатилетняя княжна, сбросив с себя всю тягость одежд, ещё раз посмотрела в зеркало, как бы хотела сказать: «Да, я таки недурна!..» – вспрыгнула, как проворная кошечка, на пуховик, ещё раз поцеловала записку, обещаясь завтра поутру отвечать на неё, – а то, пожалуй, не мудрено и убиться бедненькому! – положила её под изголовье и, наконец, заснула, сладко-мучительно заснула.

Груня видела всё. Стало ей жаль барышни, и она решилась было не исполнить приказ Липмана; но мысль о заводах, куда сошлют её и где отдадут за какого-нибудь горбатого, кривого кузнеца, придавала ей жестокой твёрдости. Она сотворила крёстное знамение, как бы умывая себе руки в невольном преступлении, прочла молитву, подошла на цыпочках к постели барышни, не смея перевесть дыхание от страха, что делает худое дело, и от страха,

что Мариорица того и гляди может проснуться.

Как беззаботно раскидалось прелестное дитя! Щёки её горели, райская улыбка перепархивала по устам. Вот рука горничной под подушкой… Мариорица вздохнула… и Груне показалось, что рука у ней отнялась… «Открой она теперь глаза, – думала невольная сообщница шпионства, – меня как громом пришибёт». Но рука уж под изголовьем… мысль о заводах, как сильный проводник, дала ей движение… записка схвачена… рука на свободе.

Груня залилась горючими слезами; плакать, однако ж, было некогда: она обтёрла слёзы, вышла на цыпочках из отделения своей госпожи и явилась в ближнем коридоре. Тут чрез камер-лакея подозвала к себе одного из дежурных пажей: отдав ему роковую записку, сказала, как она досталась и чтобы он вручил её герцогу, когда тот будет проходить от государыни, и доложил бы ему, что бумажку нужно назад. На такие случаи в тогдашнее время пажи были намётаны. Горничная стала на часах у своего отделения, а проворный паж нырнул в извилинах дворцовых коридоров, слабо освещённых.

Герцог недолго заставил себя дожидаться. В дежурной комнате два пажа, увидев в замочную скважину, что он приближается, в одно мгновение ока растворили перед ним обе половины двери, важно вытянулись и в пояс ему поклонились. Герцог ласково кивнул им, вынул кошелёк и, оделя их по горсти мелкого серебра, примолвил:

– Заправна, плутишка! Люблю молодца! Вот вам на сладка!

Пажи поцеловали у него руку; один же из них, делая это, всунул в неё потихоньку известную записку.

– Твоя, помолодше, проводит меня! – сказал Бирон, махнув ему рукой.

В одной из ближайших комнат герцог остановился и спросил своего провожатого, погладив его по голове:

– От кого?

– Из отделения молдаванской княжны, – отвечал быстро паж, – записка принесена из дома Волынского, в книге русского учителя; горничная ждёт назад.

Бирон говорил плохо по-русски, но понимал лучше, нежели показывал. Он прочёл записку, и радость до того им овладела, что руки у него затряслись. «Развращать во дворце… любимицу государыни?.. Этого довольно, чтобы сгубить соперника!.. Но Бирон ли раскроет и пресечёт эту связь в самом начале?.. Нет, он не так прост. Ему нужно продлить её, усилить даже собственною помощью, запутать молодца и… тогда… Что будет тогда, увидим». Теперь же вынул он свою записную книжку и велел пажу на одном из листков её списать роковое послание. Когда ж это было исполнено, он сличил подлинник со списком и сказал своему маленькому секретарю тем же исковерканным языком, избегая затруднения в разговорах:

– Какой прекрасный почерк! Золотая ручка! Да где ты этому мастерству учился?

– У камер-лакея Исполатова, – отвечал торжествующий паж с самодовольным видом.

– Виват Исполатов! Только, вот видишь, дружок, надо быть аккуратным во всех делах. – При этом слове паж, видимо, опечалился: он думал, что исполнил своё дело как искуснейший мастер. – Впрочем, это безделица; я говорю для переду. Заметь своей рукой в моей книжке месяц, число и год получения письмеца; а как я вижу, у тебя нет часов, то я дарю тебе свои. – Разумеется, пажик поцеловал опять у Бирона руку за подарок и исполнил приказ его с быстротою стенографа. – Вперёд я поручаю тебе всякий день справляться о новостях в отделении молдаванской княжны. Это плутни, мой миленький! Негодные вещи, которых не любит государыня! Разврат не должен быть терпим. Мы должны показывать пример. Не учись этому, когда вырастешь.

(Не учись!.. Лукавец!.. А сам развращал дитя ремеслом шпионства и страстными выражениями, которые заставлял списывать.)

Когда этот урок кончился, Бирон отправил пажа к горничной с строгим наказом держать язык за зубами, а уши на макушке. Награды не посылалось: наградой можно б избаловать служанку – на неё должен был действовать один страх и гроза.

Горничная тряслась у дверей своих, будто прохваченная насквозь сырым, сквозным

ветром. Взяв от пажа роковое послание, она с этой тяжёлой ношей вошла в спальню своей барышни и тихо, украдкою положила записку под подушку.

«Бедная! Как сладко спишь ты! – подумала служанка. – Может статься, видишь своего полюбовника во сне и не ведаешь, что против тебя замышляют. И я, окаянная, попала к тебе на этот раз! Что ж? Кабы не я, сделала бы это и другая».

И с этими мыслями пошла Груня спать на своё жёсткое ложе, молилась, плакала, но не могла заснуть до зари. Поутру рано, пока барышня её спала, отослала она книгу к Тредьяковскому, решившись сказать, что за нею присылали. Ведь наказано было как можно ранее возвратить её. А то неравно бедная княжна вздумает отвечать на письмецо, ответ перехватят, и опять новое горе, новые заботы!

Глава IX
СЦЕНА НА НЕВЕ

И труп поглощён был глубокой рекой.
Жуковский

Была глухая полночь. Месяц, насупившись, бросал дремлющий свет на землю. Ни одной живой души по всем улицам Петербурга.

Только на берегу Невы, к Смоляному двору, прорывался конский топот. На дровнях неслись два мужика; один правил бойкою лошадью, другой сидел позади, свеся ноги. Бороды их густо заиневело. Между ними лежал рогожечный куль, порядочно вздутый. Вид этой поклажи в такое время не предвещал ничего доброго.

Начали спускаться на Неву. Правивший лошадью оглянулся, укоротив бег её, и спросил своего товарища, не видать ли кого.

– Тьфу, пропасть! – отвечал другой. – Во всю дорогу вертелось пред глазами чёрное пятно: то росло, то пропадало.

– А теперь?

– Пропало вовсе.

– Тебе померещилось; а может, и нечисть разыгралась за нами. Полночные часы!.. Едем с мертвецом!..

– Не впервинку возить; кажись, по нас в ходу и пословица: «В куль – да в воду!» Нет, братец, ныне времена жуткие. Курицы по всем частям поют петухом, петухи несутся; сказывают, и оборотень свиньёю бегает по городу: вчера у дворца хотел её часовой штыком, ан штык у него пополам.

– Уж и кликуши по церквам вызывают нечисть. Да чего доброго ждать? Нашу русскую землю затоптали немцы; и веру-то Христову хотят под пяту. Привезли сюда сотни две монахов и монахинь; собирается набольший их расстригать, дескать, не по его крещены. Вытьё такое, хоть беги вон из Питера!

– Немец немцу рознь: и из них бывают добрые люди. Вот, недалеко ходить, племянник комиссара, Густа Иванович… даром что креста не носит. То-то простота, то-то душа ангельская! Не забыть мне вовеки его милости.

– С того, со безвременья, как поласкали тебя кошками, а надглядывать за секуцией было приказано Густу Ивановичу? Помню. Только что ударил тебя раз заплечный, а у него, сердечушки, слёзы в два ручья. Видел я сам, сунул он живодёру серебряный…

– И по мне словно мушки стали летать. За то душу свою для него выворочу.

– А мы вот и крещёные, да что делаем! Сбываем людей, будто комаров, да и погребаем тела христианские без попа и молитвы.

– Ох, ох, неволя! Хоть раз запрёг бы в неё самого хаворита…

– И взмылил бы его, как давеча хохла.

– Что, братенька, был ли на обливанце нашем крест?

– Ещё и ладанка.

– Так он под ноготь диаволу не попадёт!

Один из мужиков, в которых мы узнаём конюхов Бирона, перекрестился и сказал:

– Помяни, Господи, раба твоего во царствие своём!

Другой сделал то же. После чего оба вздохнули и замолкли. Они уж съехали на Неву. Во многих местах по реке сделаны были проруби, которые от колыхания воды казались живыми пастями, движущимися, как бы готовясь поглотить жертвы, к ним привозимые.

– Экой погост! – произнёс один из конюхов, стараясь попасть духом на весёлый лад. – Не надобно копать могилок! Поделали добрые люди про всякий обиход на весь приход! Ну, матушка-Нева, кормишь ты нас добрыми сигами, да мы не уреживаем пускать в тебя долгопёрых ершей.

Тут правивший лошадью остановил её у ближнего проруба.

– Некстати тешиться, Агафоныч, – сказал другой, слезая сзади дровней. – Вот этак раз… Да что за чудо?.. Посмотри-ка по набережной… Сердце так и упало.

– Словно сани летят!

– Не погоня ли?

– Вот уж спускаются на реку. Эка небывальщина.

– Не послал ли сам приглядеть за нами?

– Поскорей бы концы в воду!

– У меня и руки отнялись.

– Трус! Подержи коня, а я спущу мертвеца с дровень да возьмусь за дубинку: нечего зевать!

Между тем как эти слова приводились в исполнение, сани въехали на Неву и стали шагах в пятидесяти от конюхов. Из этих саней выползло что-то маленькое, похожее на человека и обезьяну; но вдруг малютка вырос на несколько аршин. Гигант начал отмеривать реку огромными, саженными шагами. При этом появлении наши конюхи ни живы ни мертвы бросились на дровни, взвизгнули и были таковы.

Великан, потеряв их из виду, опять сделался крошкою. К нему присоединился кто-то, вышедший вслед за ним из саней. Свет месяца осветил лицо арапа Волынского. Малютка был Зуда. Ходули помогли ему исполински вырасти в один миг и испугать кого нужно было.

Они всю ночь караулили похоронный выезд из конюшен бироновских.

Куль распороли, и пред ними засияла ледяная безобразная глыба. Только всемогущая мысль могла проникнуть сквозь эту глубокую скорлупу и разобрать под ней человека, некогда серцевину живого мира. Этот кусок льду, облёкший былое «я», частицу Бога, поглотивший то, чему на земле даны были имена чести, благородства, любви к ближним; подле него зияющая могила, во льду ж для него иссечённая; над этим чудным гробом, который служил вместе и саваном, маленькое белое существо, полное духовности и жизни, называемое европейцем и сверх того русским и Зудою; тут же на замёрзлой реке чёрный невольник, сын жарких и свободных степей Африки, может быть, царь в душе своей; волшебный свет луны, говорящей о другой подсолнечной, такой же бедной и всё-таки драгоценной для тамошних жителей, как нам наша подсолнечная; тишина полуночи, и вдруг далеко, очень далеко – благовест, как будто голос неба, сходящий по лучу месяца, – если это не высокий момент для поэта и философа, так я не понимаю, что такое поэзия и философия.

Осмотрев ледяную статую, Зуда и арап похоронили её в снежном сугробе на берегу Невы.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I
ЯЗЫК

Но знаешь? эта чёрная телега
Имеет право всюду разъезжать:
Мы пропускать должны.

Пушкин

Утром вышли наши цыганы с *постоялых дворов* , где отведена им была квартира вместе с другими товарищами, привезёнными на игрище.

Дворец, государыня, золотые кареты, прекрасная, разряженная княжна – всё это ещё кружилось радужным вихрем пред глазами цыганки. Сердце её росло от восторга; она шла наравне с палатами; она мечтала, что с Мариорицей весь Петербург, весь народ русский принадлежит ей и что её слово, если она захочет, будет указом. Но как мало надобно, чтобы эти восторги, это счастие и величие уронить в прах! Для этого стоит ей только вспомнить слова камер-лакея: «*Не тронь её, братец! Видишь, как она похожа на молдаванскую княжну; точно мать её или старшая сестра!* »

«Вдруг из княжон в цыганки! Каково так упасть?» – повторяет про себя Мариула и просит вновь своего товарища, слугу и друга помочь её горю. Только ему одному поверила она частью свою тайну: душа его для тайны Мариулы как крыша гробовая – раз заколоченная, не открывается ни для кого.

Товарищ уж со вчерашнего дня думал, гадал, прилаживал мысленно, как бы исполнить слово и утешить свою благодетельницу; наконец придумал способ.

Надо знать, что Василий был некогда русским матросом. По цыганской своей породе, любя волю более всего, бежал из службы, таскался несколько лет по всем захолустьям России, по Бессарабии и Молдавии, коновалил, покупал, крал и продавал лошадей, обманывал кого и где мог и попал было под гвоздь хотинского кадия[82]. Случилась при этой беде Мариула, знававшая его прежде и бывшая в милости у хотинского паши, и Мариула спасла его. Обязанный ей своею волей и благосостоянием, он с тех пор не покидал её и с нею-то попал в Петербург. Возвратиться ему туда не было опасно: в тучном старике не могли узнать прежнего молодца…

Статистика низших рядов общества, от полатей до подклета, в городе и в округе, была ему известна как его карманы. Со времени его бегства она не могла много измениться, и потому в услуге, которую Василий хотел оказать своей куконе, метил он на пособие одной задушевной приятельницы. Это была крестьянка в Рыбачьей слободе, которой отец передал искусство врачевания. Выведав, что она ещё здравствует, он повёл к ней Мариулу.

Вот повернули цыганы на *большую прешпективу* . Такое громкое название дано было улице, которая тянулась, с перехватами пустырей, от Луговой линии к Аничковой слободе. Тогда Петров город переводился с острова этого имени большою частью на Адмиралтейскую сторону, и потому *прешпектива* застраивалась *нарочитыми* домами. А каковы были эти нарочитые дома, можно судить по лучшему из них, *комедиантскому театральному дому* , деревянному и с крышею из дёрну, воздвигнутому, как сказал древний описатель Петербурга, для *отправления трагедий, комедий и опер* . Образчик этого великолепного храма Талии, Мельпомены и прочих существовал ещё несколько лет тому назад в подмосковном селе Кускове. Другие дома, более скромной наружности, выбегали, однако ж, по вызову правительства на *большую прешпективу* и своими новенькими черепичными или гонтовыми крышами свидетельствовали, что и они достойны показаться в большом свете и стать в указанную линию. Деревянный Гостиный двор в два яруса, с бесчисленными мелкими арками, как стойлами, отстраивался на том месте, где стоит нынешний. Он примыкал ещё тогда к берёзовой роще, уступившей ему часть своего

[82] Кадий – судья.

достояния, но сохранившей другую, большую часть к стороне Аничковой слободы, как бы убегая от наступчивых, бойких горожан к жителям более спокойным. Но и тут людность столицы не дала долго отдыхать утеснённым гамадриадам, завела рынок посреди рощи и в скором времени святотатственно посягнула на последние, кое-где мелькавшие деревья, осенявшие хижину старого инвалида морских баталионов. Где теперь и Аничкова слобода, и гордый комедиантский дом, и домики, чопорно выходившие на большую прешпективу, чтобы похвастаться своими черепичными кровлями, как набелённые и разрумяненные купчихи выходят в праздничный день к своим воротам на людей посмотреть, а более себя показать? Где всё, о чём теперь говорили! Ряды огромных камней, классически вытянутых по шнуру, классически уравнённыхуравненных, стали на пепелище первобытного Петербурга, как холодные, великолепные памятники, воздвигнутые наследственною обязанностью над прахом любимых народных поэтов.

Люблю воображать себе этот первобытный Петербург, но только летом, когда закат солнечный набрасывает на него фантасмагорический отлив. Живописно красуется он со своими палатами, важно поглядывающими свысока, и толпою мазанок, постепенно пробивающихся в знать; со своими полуголландскими-полурусскими домиками, над которыми строители истощили независимые, безотчётные затеи, словно хотели ими сказать: *«Всякий молодец на свой образец»* . Одни кровли домов – уж богатая жатва для взора, любящего везде отыскивать поэзию. С какою негою раскидывается солнышко по мураве их, на которой время подобрало оттенки зелёного, жёлтого, ржавого и дикого цветов! Последние лучи как хорошо графят розовые черепичные крыши (кое-где в два-три этажа, словно две-три шляпы треугольные, одна на другую нахлобученные, кое-где стрельчатые, минаретные или наподобие голубятен)! Как поигрывает солнечный луч в яблоке адмиралтейского шпица, будто в золотом шарике, который вертится поверх скачущего водомёта! Как искрится в крестах Божиих храмов, большею частью деревянных, и выбивает огненный сноп о лужёное железо высоких палат! А крыльца разнохарактерные то прячутся на двор, то чванливо подбоченили здания или выступают на улицу; а кораблики с веющими флагами на воротах; а мельницы с вычурными колпаками и ходулями на берегу Васильевского острова, кивающие Зимнему дворцу и смотрящиеся вместе с ним и Меншиковыми палатами в одно зеркало Невы; а подле этих палат свита мазанок, ставшая в ранжир под именем Французской слободы; а Нева без мостов, по которой то и дело снуёт флотилия раскрашенных лодок или из которой вырастают мачты, как частый тростник на озере, и, наконец, рощи и луга посреди этого города – всё это разве не живопись, не поэзия?..

Но зимой, и особенно зимой 1739/40 года, не желал бы я быть в первобытном Петербурге. Это Голландия и Сибирь вместе, одна призванная, другая осёдлая, с изумлением сошедшиеся у Финского залива; они косятся друг на дружку и силятся выжить одна другую. Разумеется, что в морозы наша русачка берёт верх. Даже и на именитой *прешпективе* она является самовластною. Множество пустырей; дома, будто госпитальные жители, выглядывающие в белых колпаках и в белых халатах и ставшие один от другого в стрелковой дистанции, точно после пожара; улицы только именем и заборами, их означающими; каналы с деревянными срубами и перилами, снежные бугры, безлюдство, бироновские ужасы: незавидная картина!

Только к концу *большой прешпективы* , около Гостиного двора, русский торговый дух оживляет её. Бойкие сидельцы при появлении каждого прохожего, скинув шапку и вытянув руку, будто загоняют цыплят, отряхнув свою масленую головку, остриженную в кружок, клохчут, лают, выпевают, вычитывают длинный список товаров, вертят калейдоскоп своих приветствий, встречают и провожают этим гамом, как докучливые шавки, пока потеряют прохожего из виду. «Что вам угодно? Барыня, сударыня, пожалуйте сюда! Что покупаете? Господин честной, милости просим! Что потребно? Железо, мёд, бахта, платки, бархат, парча, дёготь, бумага!.. Образа променивать!.. Меха сибирские! Икра астраханская! Сафьян казанский! Ко мне, сударыня, у меня товар лучший! – Не слушайте, он врёт… у меня… – Ей-Богу, уступлю за бесценок… с убытком, только для почину… с лёгкой руки вашей…» И

готовы разорвать прохожего. А вздумай он войти в лавку, как продавец в убыток запросит с него в пять раз дороже, чем товар стоит. Жеманные барышни в разноцветных бархатных шубах, в платочках, обвязавших по-русски головы, причёсанные *по-немецки* , с большими муфтами, расхаживают по рядам, как павы, и бранятся с купцами, как матросы. Разрумяненные купчихи в парчовых кокошниках и полушубках чинно кивают, как глиняные кошечки, не шевеля своего туловица и едва процеживая сквозь губы свои требования. Кое-где важный господин в медвежьей шубе и, наперекор северной природе, в треугольной шляпе, венчающей парик, очищает себе *натуральною* тростью дорогу между стаей докучливых сидельцев, предоставляя последи нахалов-слуг разметать влево и вправо эту мещанскую челядь. *Воловьи и подъезжие* извозчики то и дело шныряют около Гостиного двора с отзывом татарских времён: пади! пади! Там кричат: «блины горячи!», «здесь сбитень!», «тут папушники!», бубенчики звонко говорят на лошадях; мерно гремят полосы железа, воркуют тысячи голубей, которых русское православие питает и лелеет как священную птицу; рукавицы похлопывают; мороз сипит под санями, скрипит под ногой. Везде движение, говор, гам, бряцанье.

Эти предметы, эта суета торговая новы для наших цыган; на всё они заглядываются, всего заслушиваются.

Вдруг откуда-то раздаётся сторожевой крик. Кажется, это вестовой голос, что наступает конец мира. Всё следом его молкнет, всякое движение замирает, пульс не бьётся, будто жизнь задохнулась в один миг под стопою гневного бога. Весы, аршины, ноги, руки, рты остановились в том самом положении, в каком застал их этот возглас. Один слух, напряжённый до возможного, заменил все чувства; он один обнаруживает в этих людях присутствие жизни: всё прислушивается…

Опять раздаётся возглас, волнуется, всходит будто со ступени на ступень, ближе и ближе; уж можно слышать в нём слово: «Язык!»

– Языка ведут! Языка!.. – повторяют с ужасом сотни голосов.

Слово «Язык» стонет в обоих этажах Гостиного двора, по улицам, слабеет, усиливается и сообщается, как зараза. Почти каждый человек – его отголосок. Бросают товар, деньги, запирают лавки, запираются в них, толкают друг друга, бегут опрометью, задыхаясь, кто куда попал, в свой, чужой дом, сквозь подворотни, ворота на запор, в погреб, на чердак, бросаются в свои экипажи, садятся, не торгуясь, на извозчиков; лошади летят, как будто в сражении, предчувствуя вместе с людьми опасность. И в несколько мгновений *большая прешпектива* , Гостиный двор, вся часть города пуста, словно вымершая.

Только на площадке против Гостиного двора видны два человека. Они как бы обезумленные, не понимая ничего, не зная, что делается около них и что им делать, ожидая чего-то ужасного, стоят на одном месте. Эти два человека наши цыганы.

Оборачиваются…

На них, прямо-таки на них, идёт, сопровождаемое пешим конвоем и полицейским чиновником на лошади, какое-то чудовищное существо. Так, по крайней мере, кажется издали.

Цыгане думают бежать, но куда? Уж поздно, их может тотчас настигнуть верховой. Да ещё их ли нужно? Они за собой ничего не знают. Не хотят ли спросить их о чём?.. В таких переговорах они стояли на одном месте, ожидая на себя конвоя.

Чудовищное существо ближе, ближе к ним; уже в нескольких шагах. Можно различить, что это человек, покрытый с головы до пят мешком из грубого холста, в котором оставлены только прорехи для глаз и для рта. О! этот человек – существо ужаснейшее. Недаром упреждает его бегство и опустошение. Он равнозначителен чуме, трусу, наводнению. Когда из маленькой холщовой прорехи слышится магическое *слово и дело* , оно ведёт к допросу, пытке и казни, оно мертвит прежде смерти: не менее ужасно, чем голос крокодила, раскрывающего пасть, чтобы поглотить свою жертву. Это одно из привилегированных зол, от которых освободила нас Екатерина Великая. Его звали: «Язык».

Что ж такое был Язык? – Уголовный преступник, которого водили по городу в наряде,

нами описанном, чтобы указать на участников в его преступлении. Разумеется, этим ужасным средством пользовались для исполнения своих видов корысть и властолюбие, месть или желание продлить и запутать суд.

Язык подошёл к испуганной цыганке и оговорил её роковым *«словом и делом»* . Её окружает конвой; полицейский чиновник грозно приказывает ей следовать за ним. Трясясь от страха, потеряв даже силу мыслить, так внезапно нахлынула на неё беда, она хочет что-то сказать, но губы её издают одни непонятные, дрожащие звуки. Покорясь беспрекословно, она следует за ужасным оговорителем.

– Возьмите и меня, – кричит её товарищ, которого с нею разлучали, – коли она в чём оступилась, так я с нею половинщик. Спросите её сами, я не отхожу от неё день и ночь; без меня она не зарежет цыплёнка.

– На тебя не показывает Язык, – сказал полицейский чиновник, – нам тебя не нужно.

– Вы должны и меня с нею взять; я на себя показываю.

Цыгану возразили убеждениями прикладов.

– Бейте меня, мучьте меня, – продолжал кричать Василий, – растерзайте моё тело по кусочку, выньте мою душу по частям, я не отстану от своей куконы.

И несмотря на угрозы и скорое исполнение их, он последовал за своей подругой и госпожой.

Глава II
ДОПРОС

А что, пытали? – Да! – Чем? кипятком, клещами?
– Словами!..
Но что пред ними зуб клещей, в огне смола
И всё, что выдумал ад в сердце человека!..

Страх заранее сметал людей с улицы, по которой шёл Язык, ведя свою жертву. Лишь изредка дерзала выехать ему навстречу вельможная карета.

Когда бедная цыганка пришла в себя, первая мысль её была о Мариорице.

«Милое дитя моё, – твердила она про себя, – не дадут мне злые люди насмотреться на твоё счастие… Ещё б только увидать тебя пристроенную за богатого, знатного Волынского, и тогда б я умерла спокойно, радостно, как в небе. Что ж? Я и теперь сделала всё, как мать, может быть, и то, чего б не сделала другая… Кабы ещё к этому хоть одно приветное слово от тебя, дочки моей!.. Хоть бы одну слезинку на лицо матери прежде, чем закрою очи!.. Нет, нет, страшно и подумать, что ты увидишь в цыганке мать свою, страшнее, чем смерть, на которую, может статься, меня теперь ведут! Я свила твоё благополучие высоко, высоко; не снесу его в грязь, не дам стоптать людям… Пускай казнят меня: на плахе прошепчу твоё дорогое имечко, буду молить Бога только о том, чтобы он при тебе заступил меня!..»

Цыганка посмотрела на небо, к стороне дворца, на свою стражу и шла спокойнее.

Мысли за мыслью, догадки за догадкой вязались в голове её; вдруг одно страшное сомнение мелькнуло пред ней и всю её обхватило… сердце её то кипело, как разожжённая сера, то стыло, будто под ледяной рукой мертвеца. Не узнали ли её тайну?.. Может быть, сходство? Ужасное сходство!.. Не ведут ли её к допросу об этой роковой тайне… О! Никакие пытки не заставят её проговориться. Что ей муки? лишь бы о Мариорице помину не было. Неизвестность колебала её душу из стороны в сторону; смерть, смерть в груди бедной матери. Она торопилась, она, кажется, хотела обогнать стражу, чтобы поскорей к развязке, и по временам молила Бога сохранить от беды только одну драгоценную голову.

Мариулу привели в один из мазанковых домиков, позади Летнего сада, принадлежащих к службам герцогским. При входе сдёрнули с неё шубу. Василия остановили у наружного

крыльца: здесь он решился дожидаться своей куконы, хоть бы замёрзнуть. Через огромную нечистую переднюю, где стояли дрова, скамейка в инвалидном состоянии и непокрытое ведро с водой, ввели Мариулу в другую большую комнату другого содержания, но не менее мрачную. Продолговатый стол занимал средину этой комнаты по наклону пола, столь эластического, что, ступив на один конец доски, можно было заставить прыгать всё на ней стоявшее. Окна, запушённые на вершок морозом, пропускали в это домовище синеватый цвет. Кое-где по потолку свисла паутина, будто крылья летучих мышей. Вдоль чёрных стен лежали кипы бумаг, которых годы существования мог бы исчислить разве архивный Кювье по слоям пыли, их покрывавшим. Одно, что с первого взгляда утешало в этой комнате, – так это зерцало, стоявшее на вощанке, посреди стола; но и этот памятник великой идеи великого царя-законодателя оскорбляли и смелый паук, завесивший его по местам своею тканью, и бесчеловечие, поместившее разные орудия пытки в боковой комнате, в которую дверь оставлена была, как бы с умыслом, полузакрытою. Это была полицейская канцелярия при доме герцога.

Смотря на эти предметы, цыганка ожидала ужасного допроса. Вид особ, представившихся её глазам, не более был утешителен. У стола на судейском месте сидел худощавый старик отвратительной наружности: рыжие космы падали беспорядочно на плечи, голова его, вытянутая, иссохшая, имела форму лошадиной, обтянутой человеческой кожей, с глазами гиены, с ушами и ртом орангутана, расположенными так близко одни от другого, что, когда сильно двигались челюсти, шевелились дружно и огромные уши и ёжились рыжие волосы. Глаза его то, останавливаясь неподвижно, принимали мёртвый цвет свинца, то сверкали ужасно, как пытливый зонд, или схватывали без пощады слабую душу и держали её над бездной. Он был одет весь в красно-коричневое, даже до шёлковых чулок; богатые кружевные манжеты, закрывая кисть его руки, возбуждали подозрения, что под ними скрываются ногти нечистого. Подле него, сбоку стола, сидел молодой человек лет двадцати пяти, белокурый, тщедушный. В лице его, казалось, не было ни кровинки: мутные, безжизненные глаза выражали сонливую или болезненную природу. Впрочем, в поступках и словах его можно было заметить какую-то изученную таинственность: он весь похож был на недоговорённый смысл, означенный несколькими точками. Он держал нехотя перо в руках и смотрел более на бумагу перед собой, нежели на живые предметы, его окружавшие. Первый был достойный клеврет Бирона, обер-гофкомиссар Липман, второй – домашний секретарь их обоих и племянник последнего, Эйхлер, которого он воспитывал как сына и любил – для себя. Едва умея подписывать своё имя, Липман употреблял это живое орудие по всем бумажным делам своим. Бездетный, не имея кому передать, кроме него, свои богатства и свою знать, он хотел не умереть на земле хотя в нём. И потому доставил ему завидный пост, приближавший его к герцогу; место кабинет-секретаря было у племянничка на мази.

Чудное это желание не умирать после себя на земле!.. Часто целое потомство, целый народ, человечество пожинает на том поле, которое засеяло самолюбивое или возвышенное чувство одного человека.

Под одну сторону зерцала поставили Мариулу, по другую – Языка: её, красивую, опрятную, в шёлковом наряде, по которому рассыпались золотые звёзды (мать княжны Лелемико унизилась бы в собственных глазах, если бы одевалась небогато), её, бледную, дрожащую от страха; его – в чёрном холщовом мешке, сквозь который проглядывали два серых глаза и губы, готовые раскрыться, чтобы произнести смертельный приговор.

Начался допрос. Прелюдий уж хорошо объяснял, каков будет самый концерт.

– Смотри, цыганка! – сказал грозным голосом рыжеватый судья. – Уговор лучше денег: говори правду, или косточки твои заговорят нам за тебя.

Он указал в боковую комнату. Глаза его при этом движении подрали по сердцу Мариулы, словно прошли по нём пилой.

– Не ведаю за собой ничего, – сказала она, собрав силы, – но о чём спросишь, господин, на всё готова отвечать.

(«Лишь бы не о Мариорице, – думала она, – о! об этой не заставит меня сказать

полслова и то, что вижу в боковой комнате».)

– Ещё прибавка к нашему условию, если сознаешься скоро, в чём тебя обвиняют, то мы держать тебя долго не станем. Теперь к делу!

– Слушаю, господин!

– Вот видишь этого урода в мешке: он погубил несколько душ и доказывает, что ты дорогою из Москвы сюда была в коротких связях с его атаманом, который под именем малороссиянина Горденки пробирался в Питер, чтобы ограбить казну.

«А, – подумала цыганка, догадываясь, к чему подбирались допросчики, – слава Богу! Дело не о моём детище; после этого всё пустяки, вздор!..»

Тяжёлый камень свалился с груди её; блистающие радостью глаза и улыбка на устах ей изменили.

– Только? – невольно спросила она своего судью.

– Разве этого мало? Дружба с атаманом! Это ведёт вместе с ним на плаху. Язык, твоя очередь! Говори ж, что ты доказывал на неё. Как её зовут? Какие были у ней плутовские замыслы с атаманом?

Человек в мешке начал свой донос, искусно сочинённый, но худо затверженный. Кто бы знал голос Ферапонта Подачкина, не обинуясь сказал бы, что это был он.

И действительно, это был сынок барской барыни. Его заставили играть роль Языка для того, чтобы оговорить цыганку, бывшую в коротких связях с тем, которого хотя и заморозили, но не могут докончить с его грозными замыслами, – цыганку, умевшую понравиться и Волынскому, с которым она после смотра оставалась долго наедине. Горденко не передал ли ей известного доноса? Не перешёл ли этот письменный доказчик в третьи руки, к врагу герцога?.. Личность его светлости с этой стороны не обезопасена; а кто не знает, что личность временщика идёт впереди всего? Не беда сделать цыганку преступницей, навалить ей на плечи два-три злодеяния!.. Скрутив её таким образом, можно её допытать и, смотря по обстоятельствам, наказать или помиловать: всё в воле герцога.

Повести это дело к желанной цели было поручено, как мы видели, хитрецу Липману.

– Правда, – отвечала с твёрдостью цыганка, – меня зовут Мариулой, правда и то, что малороссиянин – Бог знает, кто он такой, – полюбил меня за моё будто лукавство, часто говаривал со мною и…

– И передал тебе?.. – спросил, дрожа от нетерпения, Липман. – Ну, голубушка?

«Понимаю, – сказала про себя Мариула, – понимаю и всё открою. Что мне до чужих дел! У меня только одно дело на свете…»

– Велите выйти этому мешку, – примолвила она вслух, обратясь к судье, – я знаю, что вам надо.

Спокойствие и твёрдость, с которою она говорила, предвещали благоприятную и скорую развязку допросам. Гроза, собравшаяся на лице обер-гофкомиссара, начала расходиться. Он дал знак Языку рукою, тот понял и вышел. Тогда цыганка сказала с твёрдостью:

– Вам надобна бумага Горденки, так ли?

– Да, да, моя голубушка! Бума… га, которую… но ты… догадлива, ты всё знаешь…

– Нет, господин, я ничего не знаю.

– Как ничего?.. – вскричал грозно допросчик. – Проклятая цыганка! Не ты ли сама?..

– Я не знаю, что в бумаге; но она…

– Ну?

Липман при этом вопросе приподнялся невольно со стула; глаза его вцепились, как когти дьявола, в душу Мариулы, из которой, казалось, хотели исторгнуть её тайну.

– Где? – прибавил он нетерпеливо.

– У меня, и со мною теперь, – отвечала цыганка.

Если б она сказала другое, старичишка растерзал бы её по клочкам; обрадованный ответом, он готов был расцеловать её.

Не спрашивая позволения, Мариула подошла к окну, оборотилась к Липману спиной,

вынула из-за пазухи запечатанный пакет и потом передала его своему судье с вопросом:

– Она ли?

Заворотив свои манжеты, Липман схватил трепещущей рукой пакет, сломил на нём печать и, передав его секретарю, задыхаясь, спросил также лаконически:

– Она?..

Секретарь машинально взял бумагу, сонными глазами пробежал её, кивнул утвердительно и, зевая длинною зевотой, отвечал:

– Она! – а потом стал пристально читать её.

Пока роковое слово не дошло до ушей старика, он, казалось, готов был съесть племянника за медленность изъяснения; но ответ произнесён, и торжествующая душа его вся излилась в восклицании:

– А!..

Не иначе произнёс бы это восклицание алхимик, найдя философский камень; вероятно, не иначе произнёс его Колумб, увидя первый берег открытого им Нового Света.

Тут лукавая Мариула, посвящённая Горденкою в некоторые политические тайны, касающиеся до Бирона, умела, не путая в них кабинет-министра, осторожно рассказать, как досталась ей бумага, как Горденко – атаман, что ли, она не ведала, – умолял, в случае смерти его, подать эту бумагу матушке-царице.

– Я обещала, – говорила она, – между тем у меня было на уме: коли Бог приберёт его, так запечатанный лист в печь, а то, статься может, напляшешься с ним, что и чертям до слёз.

– Начинаю верить, что ты не причастна злодеяниям разбойника; а то жаль было мне славной бабёнки. Зато и голова у тебя цела, да ещё жди милостей от самого герцога. Барин большой, выше его нет в России – что я говорю, в России? – в подсолнечной! Барин добрый, щедрый, стоит только знать его.

– Как же, батюшка, – отвечала Мариула, – про него везде, даже и в турецкой земле, такая хорошая слава идёт…

Молодой человек едва-едва усмехнулся; но и эту усмешку прикрыл зевотой, положил бумагу на стол, протянул ноги во всю длину их и начал дремать.

– Теперь ещё два вопроса, – сказал Липман, – и если ты на них будешь так же скоро и верно отвечать, как доселе, так поздравляю: ты с богатою обновой.

– Спрашивайте, господин!

– Не видала ли ты на малороссиянине другой бумаги?

– Не видала.

– Не проговаривался ли он об ней?

– Никогда.

– Не рассказывал ли он тебе своих замыслов?

– Сказывал только, что ищет выместить на ком-то свою обиду, а на ком и как – не пояснил мне.

– Теперь последний вопрос: о чём говорила ты наедине с Артемием Петровичем Волынским вчера, у него в доме?

Дух занялся у цыганки; бледнея и запинаясь, она отвечала:

– Ничего, господин… право слово, ничего…

– Гм! Ничего! Но ты бледнеешь и дрожишь?.. Ничего?.. Ты должна мне сказать, что с ним говорила, или…

– Признаться, господин великий… божусь вам Богом, это нейдёт к вашему делу… пустячки…

– Если это пустячки, так зачем скрывать их?

– Я поклялась…

– Эй! Заплечный мастер! – закричал Липман.

Вошёл палач.

– О, когда дело дошло до этого, пытайте меня: не скажу!

При этом ответе, в котором выразилась вся сила души Мариулы, она подняла голову и

потом спросила, куда ей идти на пытку.

Молодой человек был исторгнут из своей дремоты восклицанием её; наклонившись к дяде, он сказал ему по-немецки:

– Не ожесточайте её! Когда она не утаила от вас бумаги, так рассказала бы и другие тайны свои, которые касаются до малороссиянина или заговора Волынского, если б их знала. Вероятно, какое-нибудь волокитство… просили её помощи… ведь вам уж сказывали… Любовное дело? Не так ли? – прибавил он по-русски, обратясь к цыганке и ободряя её голосом и взором.

– Да! Больше не ждите от меня словечка, – отвечала Мариула.

– Давно бы так, голубушка, – подхватил Липман, переменив свой грозный голос на ласковый и дав знак рукою палачу удалиться, – понимаю, понимаю… невеста хоть куда!.. ба, ба, ба, да она в тебя словно вылита!.. Не живала ли ты уж в Молдавии, у какого-нибудь господарчика?

– Полноте шутить, – отвечала с сердцем Мариула.

Она согласилась бы в это время провалиться сквозь землю.

– Что ж? Доброе дело? – продолжал иронически старичишка, – жених хоть куда! Богатый, знатный… свахе будут хорошие подарки…

Жених! Невеста! Слова эти стучали, как молот, в сердце бедной матери.

– В этом сватовстве мы вам мешать не будем, лишь бы остальное… смотри!.. – прибавил Липман значительно, погрозясь и показывая на губы.

– Умрёт в груди моей, – отвечала цыганка с твёрдостью, оправившись от своего испуга.

– Хорошо, я доволен! Да, да, ещё одно дельце?

– Приказывайте.

– Малороссиянин, атаман не атаман, назови его как хочешь, пропал…

– Так что ж, сударь?

– Малороссиянин, который был наряжен на игрище воеводой и подменён потом Горденкою, теперь налицо… Вот видишь, если узнают, что он пропадал, что разбойник подставил себя на место его и хотел насмеяться над властями, худо будет воеводе, начнутся допросы… пойдёт путаница, в которую – долго ли до греха? – и тебя втащут… Так лучше, смекаешь, разом кончить это дело… тем, что во всю дорогу знала ты одного хохла… теперь разумеешь…

– И что за Горденко такой, и не ведаю…

– Те, те, те! Эка разумница!

– А подруга малороссиянина?

– О ней не хлопочи. Она, пристав и другие, кто дорогою только знавал проклятого хохла, что нагородил нам столько дела, – всё под присягою сказали.

– И я тоже не прочь!

– Смотри!.. Знаешь, с кем будешь иметь дело!.. Живую зароем в землю…

– Тяните из меня по жилке клещами, если я проговорюсь. Что мне за неволя болтать на свою голову? Может, ещё и пригодитесь на чёрный день.

– О, как же! Как же!.. Экое сокровище!.. Ну, не останешься, милочка, без награды от *самого* .

И, подражая *самому* , Липман протянул в знак милости руку цыганке, улыбаясь огромными своими губами, так что в аду сонм зрителей, конечно, рукоплескал этой художнической архидиавольской улыбке, если только тамошние зрители могу любоваться игрою здешних собратов-актёров.

Этим кончился допрос. Мариула вместо ожиданной напасти понесла с собою лишний серебряный рублёвик да ещё уверение в покровительстве первого человека в империи. Можно догадаться, как обрадовался Василий, увидав её живою и весёлою.

Глава III
ЛЕКАРКА

– Вася, друг мой! Скорей обещанное, или я накину на себя петлю, – сказала цыганка. Сердце её разрывалось от досады, что в ней опять нашли сходство с княжной Лелемикой.

Не отвечая ничего, только поглядывая частенько на свою кукону, как бы удостоверяясь, что она жива, свободна и с ним, цыган повёл её в Рыбачью слободу, разумеется, они при этом случае избегали *большой прешпективы* и площади Гостиного двора, где всё пришло в прежнее суетливое состояние и где толковали во всех углах только о том, как Язык оговорил цыганку, которая будто была женою разбойничьего атамана и погубила несколько душ. Пустите какой хотите глупый слух в толпу – глупая толпа, не рассуждая, всему верит и всё повторяет.

Пришли в Рыбачью слободу. На конце улицы постучался Василий в избушку, закуренную дымом до того, что она казалась построенною из угля. Она земно била челом к стороне улицы; соломенная причёска её, густо напудренная снегом, была растрёпана непогодами. Вокруг – ни двора ни кола.

Из окна кто-то вынул внутрь рамочку, затянутую пузырём; пахнул пар, и вслед за ним из отверстия оконного высунулось обвитое этим паром, как облачком, жёлто-восковое, в густых сборах, лицо старушки. Она закашлялась, и тогда, казалось, вылетали изо рта её вспышки дыма. Ласковым голосом спросила она, что нужно цыганам.

– Нам до тебя приспело, родная, – сказал Василий, – впусти, не скаешься.

– Хоть и не вовремя пожаловали, добрые люди, – отвечала старуха, – не на улице же в мороз стоять вам: войдите с Богом.

По обледенелой лесенке, так же чёрно и уклончиво стоящей, как и всё здание, взошли наши странники на площадку её. Тут Василий дёрнул щеколду у огромной двери, и она, отворившись, увлекла бы его, конечно, за собой, если бы он не перевесил её своею тяжестью. Цыганы очутились в маленьких сенях, отделявших житьё от чулана, служившего, вероятно, аптекою, потому что из него несло благовонием майских трав. Сделав спрос у щеколды другой двери, вступили они в избу, хорошо *окутанную* и освещённую. Тепло, свет так и обдали наших путников, запушенных морозом. У *искоска* , убранного иссохшими цветами и вербою, прилеплены были три горящие восковые свечки и ярко озаряли икону с посеребрённым венчиком, увешанным разноцветными лентами, кольцами и крестиками, усердными приношениями болящих. На ней время и копоть дыма изгладили и потемнили изображение Матери Божией; но вера живописала чудными красками целый мир благодати. Головой к иконе на залавке лежала крестьянская девушка, бледная, страждущая. Глаза её излучали фосфорический блеск, грудь тяжело ходила; волосы, заплетённые в косу, падали на пол; руки и ноги были связаны верёвками. Возле неё школьник исполинского роста бормотал гнусавым голосом какое-то заклинание бесов. Старушка в синем сарафане, приземистая, горбатенькая, но такая опрятная, чистенькая, как ошелущенный орех, читая шёпотом молитву, дала знак рукою гостям, чтобы они сели на залавок. Девушка лет четырнадцати, свежая, румяная, будто умылась только снегом, стояла у шестка и сыпала на черепок какой-то смолы, от которой по избе неслись струи благоуханного дыма. Когда ж школьник произнёс громовым, протяжным голосом: «Изыди…» – больная застонала, заскрежетала зубами и страшно закликала на разные голоса. То слышался в ней лай собаки, то скрип телеги, то хрюканье свиньи. По временам изрыгала она богохульные слова. Её начало ломать; глаза её хотели выпрыгнуть изо лба. Верёвки на ней лопнули; она сгибалась в кольцо, волною, билась как рыба об лёд, цеплялась ногами за стену… казалось, всякая часть тела её имела притягательную силу… Живот её вздуло горой… гора эта упала, грудь расширилась необыкновенно, шея напружилась так, что жилы казались верёвками. Школьник и цыган схватили её за руки и за ноги, но сила их обоих была ребячья в сравнении с женскою – их отшатнуло. Коса больной, ударив по щеке школьника, провела по нём красный рубец. Ужас окаменил Мариулу, волосы встали на ней дыбом. Одна лекарка спокойно молилась. Вскоре кликуша начала утихать; изо рта у ней забила пена и вслед за тем повалил лёгкий пар. Когда ж он исчез, старушка подошла к больной, благоговейно

перекрестилась, перекрестила её, сотворила над нею молитву, стала шептать непонятные слова, поводить рукою по телу и очам страдалицы… долго, долго, тихо, таинственно, усыпительно поводила… Глаза лекарки заблистали; на желтоватых щеках выступило по бледно-розовому пятну… Больная пришла в спокойное состояние, взглянула светлыми благодарными глазами на старушку, на образ, пылающий от свечей, вздохнула, перекрестилась, смежила ресницы и заснула с улыбкою на устах. Лицо её покрыли белым платком. У ног присела девочка, держа их в руках своих. Утомлённая старушка сделала несколько шагов до залавка, прилегла на него и сама в один миг заснула крепким сном. Школьник, потушив свечки, дал знак цыганам рукою, чтобы они не шумели, и уплёлся потихоньку из избы. В ней сделалось тихо, так тихо, как будто гений сна накрыл её крылом своим. Теплота оранжерейная испаряла негу; дыхание сонных настраивало понемногу к дремоте. Не в силах одолеть её, Мариула и товарищ её прилегли на залавки – и в несколько мгновений всё в этой избушке спало глубоким сном под каким-то волшебным наитием.

Когда они проснулись, был уже вечер. На столе, покрытом скатертью с красною оторочкой, горела сальная свеча. Девочка, проворная как белка, ставила на него огромные ломти чёрного хлеба и огромную деревянную солоницу с узорочною резьбой. Хозяйки не видать было. Котёнок играл бумажкой, которую на нитке спускала с полатей трёхлетняя девочка. Из-под белых волос её, расправленных гребешком, словно волны молодого барашка, и свесившихся вместе с головой, можно было только видеть два голубых плутоватых глазка.

Пришла и хозяйка.

– Не погневись, родимая, – сказал ей Василий, кланяясь в пояс вместе с своей подругой, – мы уж у тебя и соснуть успели. А всё твоё тепло, так и парит с морозу…

– Пар костей не ломит, батюшка. А про Божий рай и поминать не к слову грех: тепло земное не для душки, – отвечала проворно старушка, засыпая словами. – Видно, поустали путём-дорогой; и то молвить, снег как месиво, так и путает ножонки. Теперь скажи-ка мне, отколь Бог вас несёт и за каким дельцем.

– Ты, кажись, Аграфена Парамоновна, не признала меня?

– Не взыщи, родной, не признаю, – сказала старушка, вглядываясь потухшими глазами в цыгана.

– Правда, много воды утекло с того времени, как мы с тобою виделись, а ещё более – как с тобой свели знакомство. Я из молодого, бравого парня стал брюхан, старичишка, а ты из красивой девки – горбатенькая старушка. Красоту твою рукой сняло, а мою жиром занесло.

Цыган вынул роговой гребень и причесал себе чёрные с проседью волосы на голове, остриженной в кружок, и подставил умильно пред глаза старушки лицо своё, густо опушенное бородою.

– Батюшки, как бы вспомнить! – Другая, на месте нашей лекарки, сказала бы, может быть: помоги Господи! Но она призывала имя Господне только в важных случаях.

– А помнишь, как ты шла от немца-лекаря, к которому посылал тебя отец, и тебя в поле обидеть хотели два солдата… а я проводил честно до дому, лишь поцеловал тебя, мою разлапушку, в щёчку, словно в аленький цветок.

Лицо старушки зарделось слегка и вместе заблистало радостью.

– Васенька, родной, василёчек ты мой, это ты? – воскликнула она и положила дружески иссохшую руку на плечо жирного цыгана. – Как мне забыть тебя!.. То ли ты для меня сделал? Вынес моего сожителя, хворого, безногого, из полымя, как случился у нас пожар…

– Да украл у вас же лошадь.

– Эх, эх! Ты всё такой же балагур, как бывало, – сказала, развеселясь, лекарка. – Много лет мы с тобой хлеб-соль водили. Кто ж эта молодица?

– Моя кукона, по-русски – госпожа моя.

– Так ты пошёл в кабалу?

– То есть в неволю?.. Нет, Парамоновна; разве ты меня не знаешь… Кто велел бы мне

оставить службу у доброго царя, кабы не сидел у меня царь в голове – проклятая цыганская волюшка. Мариула, вот видишь, сделала мне добро, ни мало ни много – от плахи избавила; и по этому-то хоботу я ей служу, называю её своею госпожой, а она меня своим братом, сватом и всякою околесицей. К тому ж она цыганка, наша сестра! Назови ж она меня не в шутку своим слугою, так я… ей кланяюсь, даром что люблю её пуще сестры родной. Эй! Мариула, поцелуй же старую мою знакомку.

И госпожа исполнила с удовольствием приказ своего товарища и слуги.

– Как же тебя в Питер принесло? Уж не на бесовское ли игрище, что твоя товарка так нарядна! Мы уж со внучками досыта налюбовались звёздочками на её одежде, точно с господнего неба сняла.

– Мариуле нужно было в Питер; мне везде хорошо, где со мною воля и насущный хлеб – бояться нечего за старые грехи мои: ты меня не признала, так никто не признает, – на игрище мы попали, потому что нас за это холят, да одевают, да кормят хорошо, а к тебе пришли за снадобьицем; вот и вся недолга.

– Чем богаты, тем и рады старому другу.

– Помнишь ли, приходила раз к отцу твоему бабёночка, сухотная, чахотная, что ли, всё покряхтывала да покашливала, словно у ней в горле что стояло? Вот дал он ей снадобья какого-то жгучего да и велел ей пить по капельке в воде на зарях. Смотри, говорил он ей, пузырька не разбей, а то наделаешь таких проказ, что свету Божьего не взвидишь.

– А она, глупенькая, тут же выронила бумажку, которою заткнут был пузырёк, и обожгла себе руку так, что и умерла с красными пятнами, словно давлёной клюквой кто её обрызгал.

– Эге! Видно, с этою шуткою шутить не надо, – сказал значительно цыган, посмотрев на свою подругу, у которой в это время сердце стучало как молот, а глаза умоляли Василия дополнить начатое. – Однако, – продолжал он, – мы не так глупы, как эта бабёнка… побережёмся…

– Для кого ж вам это снадобьице? Ты, кажись, не сухотен, – старушка плюнула и перекрестилась, – твоя названая госпожа хоть и грустна, а, Бог с ней, здоровёхонька.

– Вот видишь, родная, – подхватила Мариула, – одна богатая барыня в Питере просила меня лекарства от сухотки и обещала меня озолотить, коли ей помощь сделаю. Васе я это рассказала; он вспомнил, что родитель твой поднял кого-то на ноги точь-в-точь от такой хворости, и привёл меня сюда. Помоги, Парамоновна; барыши все пополам.

– Изволь, изволь, есть у меня, что вам потребно; только о барышах ни словечка; мы люди свои, а я ещё в долгу у твоего и моего Васеньки.

Тут лекарка подошла к коробу, подозвала старшую девочку, называя её своею внучкой, велела ей осторожно вынуть пузырёк, замеченный соломинкой в бумажной пробке; потом отдала его Мариуле с крепким наказом давать больной лекарство по одной капле, и то в воде.

– А передать, – продолжала она, – недолго принять на душу грех смертный: и ты и я пропадём навеки. Теперь поставь снадобье на полку, а завтра возьмёшь его с бережью, помолясь Богу. Чай, вы у меня отведаете хлеба-соли да переночуете? Мороз так и воротит лицо – долго ли до греха? Попадёшь и под снежную пелену.

Мариула и Василий благодарили и согласились переночевать. Первая с трепетом сердечным поставила пузырёк, куда ей указали.

Сели за скромную сельскую трапезу. Меньшая девочка, босая, слезла с полатей и заняла возле своей бабушки почётное место, выглядывая исподлобья плутоватыми глазками на гостей. Старшая внучка прислуживала за столом. После ужина занялись беседою, как водится, о тягостях настоящего времени и о блаженстве прошедшего. Этот предмет разговора – общее место у необразованного класса народа во все века; тогда оно было горькою истиной. Жаловались на временщика, на нужды народные и жалели о государыне, которой некому было молвить правду за её деток: скорбели также, что в нескольких деревнях, по соседству с Рыбачьей слободой, ходила какая-то немочь и валила малого и большого, но что благодаря Богу она миновала до сих пор слободу. Рассказывали также об

игрище, которое готовили в Питере, о диковинных людях, похожих на зверей, привезённых туда, о слонах, верблюдах, ослах и прочих разнородных животных, на которых будут возиться эти люди по городу, и даже о ледяном доме, о котором молва успела уже прокрасться в одни сутки из дворца в хижины. Так-то царь думает, а народ ведает. Между тем беседу прервали несколько раз болящие. Одна просила полечить её от зубов, другая – от жабы. И ту и другую маленькая добренькая старушка лечила молитвами, приговорами и осязанием, которое ныне назвали бы магнетизмом. К этим способам прибавляла она для одной деревянный гвоздик, для другой воду с солью. Визиты доставили медику в сарафане десяток яиц и крынку молока. Несмотря на скудость дара, услужливая лекарка, делавшая всё во имя Бога, довольна была наградой более, нежели иной врач, получавший за консультацию золотую табакерку. От горбатенькой старушки так и сияло святынею добра.

Молодую пациентку её пришли звать на посиделки в соседнюю избу. Когда она ушла, цыган и цыганка просили лекарку рассказать, отчего приключилась с несчастною девушкою такая немощь. Старушка охотно согласилась исполнить их желания.

Глава IV
РАССКАЗ СТАРУШКИ

Слово не мимо идёт.
Русская пословица

– Сотворим-ка знамение крёстное; всякое дело со крестом вернее, – сказала старушка и, когда исполнила свой завет, а за ней последовали её слушатель и слушательница, приступила к делу.

– Этому было ни мало ни много – тому назад десятка полтора лет, о святки, в часы ночные, как бы не обмолвиться, разве за часок до первых петухов. Православные в слободе улеглись все спать. Лишь в нашей избе горела лучина; мы с дочкою, покойницей, пощипывали и чесали лён да поджидали сожителя её из Питера. Разгуляйся вдруг погода такая, что носа нельзя высунуть на двор; метель сердито скребла окошко, ветер укал, будто просился к нам, инда жутко становилось. Вперемежку, только что он, поугомонившись, отдохнул крохотку, слышим: возле самого угла избы бранятся, да как? – прости Господи! – словно в кабаке. Плюнула я на этот грех – до молитвы ли? – отворила окошко, высунула голову и вижу: батюшки светы мои! метель сеет часто, часто, что твои нитки на моталке у проворной мотальщицы, вихорь крутит винтом снег вдоль загороды, воротишки в село занесены, и мужик возится в сугробе с клячонкой – у сердечной только что рыло да спина чернеются. Мужичку бы Христом да Богом покликать кого на помощь, а он, остервеневшись, такую несёт клятву на погоду, на слобожан, что не прочистили, вишь, про него сугробов, на себя, на жену, на своё детище.

– Да неужели есть такие родители? – сказала цыганка с ужасом. – Кровь свою проклинать!..

– Мало каких людей на свете нет! Не мешай же мне опросами, сизая голубка, а то на старости лет мудрено ли сбиться? Вот, слышу, голос-то знакомый, мужичка из соседней деревушки. «Ахти, Сидор! – молвила я ему. – В такую ли пору браниться? Перекрестись-ка лучше да призови Господа на помощь, а мы с дочкою придём к тебе да разгребём сугробец». – «Помоги, матушка, сударушка, разлапушка, и такая и сякая! – вопил мужик. – Хозяйка родила дочку, сама хворая, того и гляди протянется; взмолилась, поезжай-де к батьке, в Рыбачью, да привези ей и детищу молитву. Провал их возьми, когда вздумала родить!..» – «Экой грех, экой грех! Слово не мимо идёт! – молвили мы промеж себя с дочкой, – видно, хмельной! Погубит он свою и их душу». Ведомо нам было, рыльце-то он своё окунал частенько в зелено вино. Как придёт дурь в голову, решетом деньги мерит, проспится, не на что решета купить, бьёт хозяйку не на живот, а на смерть: давай денег в кабак, а нет, так холсты неси в заклад. Житьё, бедной, было такое, хоть живой в землю лечь.

Взяли мы с дочкой по лопате и ну размётывать сугроб. Работа далась лёгкая и скорая – снег был рыхлый, а мужичку покажись она тяжёлою – мудрёного нет, оттого что лошадёнка его завязла ногою в завор. Умён был, хотел, чтобы клячонка сломала грудью жерди. Спасибов наклал он нам с короб и помчался по селу.

Сказывала я вам до сих пор, други мои, что своими оченьками видела; теперь стану рассказывать слышанное. Вот подъехал Сидорка к поповскому дому. На стук его вышел священник и, выведав, за каким дельцем тот приехал, впустил его к себе. Спросил у мужичка шапку, прочёл в ней молитву новорожденному младенцу и родильнице и, перекрестя, надел на голову мужика со строгим наказом, крепко-де бы держал её на голове, а приедучи домой, вытряс бы из неё молитву на тех рабов Божиих, на чьё имя взята она. Денег у Сидорки за душой и полушки не было, а полез будто за кисой. «Ахти, батька! – молвил он будто в испуге. – Вёз тебе два алтына, да, знать, дорогой обронил». – «Бог простит! – сказал отец духовный. – Когда-нибудь сочтёмся».

Мы только что прилегли: слышим, катит наш Сидорка мимо избы словно буря, затянув песню с разными прибаутками.

Деревушка его от нашей слободы рукой подать, много-много с полверсты. Отъехал он вряд ли за околицу, чует, на голове шапка свинец свинцом, так и давит голову: то поправит её слегка, то крошечку приподымет. Он погонять лошадь, а шапка режет ему лоб, словно железный обруч. Вдруг отколе ни возьмись навстречу ему сани, вороной жеребец в запряжке, хрипит и мечется клячонку изгрызть. Сидит в санях мужичище рыжий, шапка саженная с двумя заломами, борода по колена, огневая, так и чешет её по сторонам ветер, как охапку льну. Видно, грех на грех наехал. «Свороти!» – грозно гаркнул он. Сидорке стоило бы смирнёхонько, с молитвою, отвесть свою лошадку в сторону; где ему, озорнику? кричит: «Я сам-ста не хуже тебя! Хаворит Меншиков, что ли, едет?.. Эка фря! Своротишь сам!..» Да к этому ругнул проезжего недобрыми словами. Не стерпел этих позорных слов рыжий мужик, скок с саней, клячонку за уздцы, втоптал её по уши в снег, Сидорку по рылу, инда у этого искры из глаз посыпались, а по шапке его не тронул. Осерчал наш Сидорка, хвать сам врага кулаком – мимо, ещё – опять мимо; а недобрый проезжий – с нами сила крёстная! – в сани и погнал шажком на вороном жеребце. Мужичишка наш и пуще прежнего разгорелся; схватился за шапку с молитвой и швырком её в нечистого – глядь, будто огонёк взвился к небу, а врага и след простыл; только поднялся по полю такой бесовский хохот, что твои лягушки, в болоте! Делать было Сидорке нечего; отыскал насилу шапку свою, вытащил клячонку из снегу – с бедной пар так и валил – и поехал домой с недобрыми мыслями: затаю, дескать, хозяйке, что молитву потерял. Шасть к себе на двор, вошёл в избу; только что хотел крёстное знамение сотворить, да не смог: из-за печки сверкнул кто-то очами и подразнил языком, пусто бы ему было! В избе вой и плач, хоть вон беги. «Поспешай, батюшка, – молвили ему соседки, – хозяюшка твоя на отходе». Снял тут Сидорка шапку и, словно добрый человек, потряс её над умирающей – слышит, за печкой кто-то захохотал, родильницу перевернуло к стене; взвизгнула бедная, замахала рукой и испустила душеньку. Он к младенцу с тем же благословением: у девчонки косило рот и живот дуло, пока отец держал над ней шапку.

«Будь проклята ты!» – вскричал он так, что на всех ужас навело, и посыпались соседки вон из избы. Шлёпнул он с сердцов шапку на пол и пошёл на полати спать; только худо ему спалось. Видит он – с нами крёстная сила! – и рассказывать, так мороз подирает, – бес с рожками нянчит младенца, а мёртвая в саване сидит и плачет и упрашивает его отдать ребёнка… С тех пор уж Сидорке всё грезился нечистый. Спит ли – душат его саженной шапкой с двумя заломами. Пьёт ли зелено вино – голосят ему в ухо: «Пропил ты и так молитву!» Осушил ли стклянку – на дне дразнят его языком; какая-то рыжая борода по губам вытирает, и кто-то шепчет ему: «Молитвой закуси!» Обезумел Сидорка: то бранится сам с собой, то упрашивает невидимо кого; в ину пору отмахивается попусту, в другую пору белугой вопит: «Батюшки! режут! душат!» С тем и пошёл ровнёхонько через год в могилу; лишь перед смертным часом покаялся отцу духовному, что пьяный бросил шапку с

молитвой, которую он дал ему.

– А девочка? – спросила цыганка с ужасом.

– Девочка что-то больно кричала, как стали её крестить, но потом росла себе пригожая и смышлёная, только смаленька всё задумывалась да образов боялась и ладану не любила. А как вошла в пору да в разум, порассказал ей неведомо кто, как отец потерял молитву её. С того дня ей попритчилось и стала она кликать на разные голоса. Вот её-то, бедную, видели вы. Кажись, теперь нечистому недолго в ней сидеть. Помощь Божья велика нам, грешным. А вы помните, други мои, слово дурное и хорошее не мимо идёт.

Чем начала старушка рассказ, тем и кончила, то есть крестом. Долго ещё после того мерещился в глазах слушателей пьяный безумный Сидорка, и нечистый с рыжею бородою на вороном жеребце, и как нянчил-то он младенца в полночь, и как упрашивала мать отдать его. Пуще всех задумывалась Мариула и собиралась узнать, носит ли дитя её на груди крест, благословение отцовское.

Глава V
РУСАЛКИ

Дитя её для неё не целое ли человечество?
Бальзак

К ночи всё прилегло в избе, но заснули крепко только бабушка да маленькая внучка, обе равно спокойные духом, обе с детскою непорочностью, готовые перелететь от земли в лоно Бога. Мариула не могла сомкнуть глаз; в голове её гнездились замыслы. Старшая внучка, повозившись немного на полатях, слезла с них осторожно, надела белый *сушун* и тихо, как тень, прокралась из избы. Цыгана подмывали тоже думы. Он видел, как пригожая девушка выплелась из общей их спальни. Любопытство сильно толкнуло его под бок, и Василий, почти вслед за ней, пробрался в сени и на крыльцо – надворное, хотел я сказать, забыв, что хижина стояла без двора и загороды, одна-одинёхонька, как бобыль без роду и племени.

Ночь была светлая, по-вчерашнему Серебряный месяц, казалось, весь растопился и разлился по белой скатерти равнины, далеко, очень далеко означался на ней малейший куст, который при каждом дуновении ветерка принимал вид движущегося человека или зверя. Деревни со своими снежными кровлями казались рядами огромных белых шатров. Где-где подслеповато мигал в них огонёк, утешая издали робкого путника. В одном Петербурге чаще проблескивали огни, будто плошки сквозь декорации, оставшиеся после великолепного освещения. Цыган сделал скачок глазами вдоль улицы, чтобы посмотреть, куда пойдёт бабушкина внучка, но след её уже простыл. Прислушиваясь, он потонул было в глубокой холодной тишине: вдруг обдали его точно кипятком мурлыканье и возня кошек над его головой.

– Чтоб вам подохнуть! – вскричал цыган, плюнув с досады – Напугали меня пуще Языка.

Не успел он ещё успокоиться, как слуху его сказался далёкий шум шагов. Прислушивается – это не походка одинокого путника. Скрип, скрип, скоро, скоро и много, очень много – должна быть целая толпа. А никого нигде не видно! Вот тянется гул из Петербурга: часы бьют полночь. Что-то, кроме мороза, подрало по сердцу Василия. Хотя и не твёрдый христианин, однако ж сотворил он крёстное знамение; собравшись с духом, сошёл с лестницы и – за угол избы. Первый предмет, бросившийся ему в глаза, – смоляная бочка, ярко пылавшая в поле. Ещё несколько шагов вперёд – и видит: вдали, за овинами, убегают русалки, с распущенными волосами, в одежде по моде русалок, какую они в подводном царстве употребляют. В один миг они и скрылись. Не обманули ли его глаза?.. Снег шуршит ещё под их ногами. Что ж тут? Уши обманывают?.. Это недобрым отзывается. Вот какие чудеса творятся в Рыбачьей слободе! Ге, ге, ге! Недаром говорят, рыбаки водят

дружбу с русалками! Видно, нынче шабаш их? Окаянные, и смоляную бочку зажгли для праздника, всё так же, по-нашему, по-человечьи!

В таком страшном раздумье, потирая себе частенько глаза и вертя пальцем в ухе, Василий возвратился на площадку лестницы; но лишь только стал на неё – слышит опять беглый скрип, всё ближе и ближе, яснее и громче. За несколько минут до того он видел русалок сзади; теперь они бегут, обратясь к нему лицом. Месяц обрисовывает их приятные и неприятные формы, разрумяненные морозом. Ведьмы водяные обошли слободу кругом. Василий присел на корточки и сотворил молитву, снизанную наскоро из нескольких молитв, худо выученных. Девки чем ближе к нему, тем более уходит дух его в пятки. Хоть бы дать стречка в избу, если б не боялся привстать и показаться. Чего доброго, защекочут. Толпа ж большая! Однако же мороз не шутит и с ними, гонит их порядком, едва не вскачь. Вот поравнялись с избушкой, в двух шагах от неё… Дух занялся у цыгана… Впереди идут рядом две толстые-претолстые, будто беременные, – должно быть, матки! За ними все молодые, и между ними, ахти! нельзя ошибиться – бабушкина пригожая внучка. В русалки завербовалась! Каково?.. А дома словно святая, воды не замутит, да и крест кладёт не хуже раскольника. Матки несут что-то в руках: у одной чёрный петух, у другой чёрный кот или кошка. Слышно клохтанье и мяуканье; только не разберёшь, кот ли клохчет и петух мяучит или наоборот. За ними одна молоденькая русалка – и провал её возьми! такая пригоженькая, что на старости поцеловал бы её, – несёт огромный клубок, который, словно живой, вертится в её руках. Потом бежит соха, запряжённая несколькими дюжими девками, и сильно вспахивает снег. Чем ватага далее, тем более храбрится цыган. Он слезает опять с лестницы, становится за углом избы и видит: остановилась нечисть у смоляной бочки. Русалки связали два противоположных конца какой-то нитки вместе, зарыли тут бедного петуха и кота, обежали несколько раз горящую бочку с какими-то бесовскими приговорками, зашли за неё в одежде русалок, а вышли из неё в одежде слободских девушек и женщин, закидали огонь снегом и бросились все врассыпную по слободе. Внучка лекарки прямо к себе на лестницу, и в избу. Шасть за нею и Василий. Вот он её поставит пред бабушкой и образом в допрос!..

Между тем в избе было не без дела. Мариула, как мы сказали, не могла сомкнуть глаз. Голова её пылала одною мыслью, что она погубит дочь сходством: как нарочно, та в неё вылита. Другим матерям это сходство служило бы утешением, для неё же оно – мука. Судьба зовёт её во дворец; Волынский назначил ей быть там на днях… А удовольствие смотреть на Мариорицу, говорить с ней?.. Можно ли отказаться? Но там увидят цыганку вельможи, статься может, государыня, увидят рядом с княжной Лелемикой, и довольно одного намёка, одного подозрения, чтобы уронить Мариорицу в общем мнении – милую её Мариорицу, которую она любит более своей жизни, более своей души. Мысль эта душит её и на будущее время нигде не даст ей покоя! Надо избавиться от этой муки.

Пузырёк с ядовитым веществом на полке. (Мариула хорошо заметила, где он стоит.) Старушка сказала, что если жидкость попадёт на тело, то выйдут на нём красные пятна, которые одна смерть может согнать. Чего ж, ближе к делу?.. Василий вышел, а то бы он помешал, может статься!.. Цыганка не рассуждает о последствиях, о собственной гибели: одна мысль, как пожар, охватила её. Раздумывай, береги себя другая, а не она!..

Дрожа, как преступница, и между тем вся пылая, Мариула встаёт с залавка… осматривается, прислушивается… всё спит. Слава Богу, что всё спит!.. Два-три шага, лёгкие, как шаги духа, – и она у полки… Рука её блуждает… наконец схватывает пузырёк… бумажная пробочка вон, и… Боже! что с нею?.. глаз её повреждён… кипящий свинец режет щёку… бьётся мозг в голове, будто череп сверлят… пред остальным глазом прыгают солнца… в груди тысячи ножей… И только один стон, один скрежет зубов в дань всем этим мукам; и посреди этих мук слабая, далёкая мысль о Мариорице! Эта мысль торжествует надо всем.

Что ей делать? Разбудить лекарку? Умереть на месте? Зачем нет с нею теперь Василия?.. «Господи, Господи, помоги!» – может она только сказать и, шатаясь, идёт искать своего товарища. Ей кажется с каждым шагом, что она наступает на ножи, на вилы. Дверь

сама собой отворяется; кто-то даёт ей место: это внучка лекарки, идущая с ночной прогулки, из беседы русалок. Цепляясь за стены, Мариула выходит на площадку лестницы, и Василий её окликает.

Мариула не в силах отвечать, только стонет; хватается за его рукав, крепко, судорожно сжимает его и, готовая упасть от нестерпимой боли, виснет на нём.

При свете месяца цыган всматривается в лицо своей куконы и каменеет от ужаса. Он не сомневается более: несчастная мать изуродовала себя *крепкою водкой* .[83]

– Мариула, Мариула! что ты сделала? – говорит Василий сквозь слёзы, схватывает её бережно в охапку и вносит в избу.

Он будит всех, он жалобно просит у всех помощи. Лекарка и старшая внучка опрометью бросаются, одна с залавки, другая с полатей; спрашивают, где пожар; высекают огонь, бегают и толкают друг дружку, маленькая внучка, испуганная тревогою, плачет. Суматоха, стоны, спросы, ответы; вся избушка вверх дном. Лекарка, узнав наконец, отчего кутерьма, и взглянув на одноглазое, изрытое лицо Мариулы, теряет голову; не знает, за что приняться, говорит, делает невпопад, но, вспомнив Бога и сотворив молитву, приходит в себя. Она употребляет все средства, какие только предлагают ей знания её и усердие, и только к рассвету всё опять затихает в избушке. Никогда ещё, со времени её существования, не тревожились так сильно её обитатели.

Поутру стучались в хижину; несли, по ежедневному обычаю, приношения лекарке: кто вязанку дров, кто горшок с похлёбкою только что из печи, кто пришёл с вызовом истопить избу. Долго не было ответа. Наконец вышла старшая внучка и извинилась, что к бабушке нельзя: она-де ночью возилась с одною больной и только к утру прилегла отдохнуть. Приношения осторожно приняты, услуги отложили до полдня.

И в самом деле, только что к полдню проснулись в избушке. Сделали новые перевязки больной и между тем спросили, как её угораздило, после строгого наказу, испытать лютого зелья. Цыганка рассказала, что она впросонках слышала, как на полке возился котёнок; она встала, хотела по нём ударить и зацепила рукавом за пузырёк… остального будто за жестокою болью не помнила.

– Не кручинься, бабушка, – примолвила цыганка, – мои грехи, видно, меня и попутали; захотела вдруг разбогатеть!.. В городе же скажем, что обварилась кипятком, вытаскивая горшок из печи…

Сильно упрекала себя старушка, зачем дала цыганке такое опасное снадобье; но Мариула оправдывала её так убедительно, так увёртливо сваливала на себя беду, что Парамоновна успокоилась. Она бескорыстно желала сделать добро другим; не её же вина, если её не послушались. Что тяжелей всего было для неё – надо было прибегнуть ко лжи, которую она считала тяжким грехом. Разгласив же истину, можно было на старости лет познакомиться с тюрьмою или с чем-нибудь худшим.

Несколько дней пробыли цыганы у лекарки, и когда раны на лице больной стали совсем заживать, ей подали кусочек зеркальца, чтобы она посмотрелась в него. Половина лица её от бровей до подбородка была изуродована красными пятнами и швами; она окривела, и в ней только по голосу признать можно было прежнюю Мариулу, которой любовались так много все, кто только видал её. Она посмотрелась в кусочек зеркала, сделала невольно гримасу и – потом улыбнулась. В этой улыбке заключалось счастие её милой Мариорицы.

Между тем во время курса лечения цыган, узнав, что его госпожа вне опасности и достигла чего желала, начал шутить по-прежнему. Раз, когда вышла из избы старшая внучка лекарки, он рассказал о шабаше русалок. Смеялась очень старушка рассказу, но разочаровала цыгана, объяснив, что не водяные ведьмы напугали его, а рыбацкие слобожанки.

– Вот видишь, родимый, – говорила она, – исстари ведут здесь этот обычай, коли

---

83 …несчастная мать изуродовала себя крепкою водкой… – то есть азотной кислотой.

заслышат по соседству повальные немочи. Девки запахивают нить кругом слободы; где сойдётся эта нитка, там зарывают чёрного петуха и чёрную кошку живых. Впереди идут две беременные бабы, одна, дескать, тяжела мальчиком, а другая – девочкою. Немочь будто не смеет пройти через нить. А коли спросишь, для какой потребы петух, и кошка, и смоляная бочка, не могу тебе в ясность растолковать. Старики ж наши про то знавали доточно; видно, умнее нас бывали[84].

Василий часто заставлял краснеть, как пунцовый мак, пригожую внучку лекарки, напоминая ей русалочную светлую ночь.

Глава VI
С ПЕРЕДНЕГО И С ЗАДНЕГО КРЫЛЬЦА

Недруга догнать, над ним занять ветр способный
И победу одержать, вступя в бой удобный,
Труд немалый.

Кантемир

Всегда за ним выборна таскалася свита,
Что ни день рано с утра крестова набита
Теми, которых теперь народ почитает
И от которых наш брат милость ожидает.
Сколько раз, не смея те приступать к нам сами,
Дворецкому кланялись с полными руками!
И когда батюшка к ним промолвит хоть слово,
Заторопев, онемев, слёзы у иного
Текли из глаз с радости, иной не спокоен,
Всем наскучил, хвастая, что был он достоин
С временщиком говорить…

Он же

Просим из бедной хижины Рыбачьей слободы несколькими днями назад в палаты герцогские. Однако ж прежде позвольте оговорку. Вы знаете, что без неё не обходился ни один рассказчик, начиная от дедушки нашего Вальтера Скотта.

У кого, кроме крестьянина, нет переднего и заднего крыльца! Эти два входа и выхода всего живущего, следственно мыслящего и чувствующего, в ином доме могли бы доставить новому Фонвизину материала на целую остроумную книгу. Не думаю, чтобы лестницы, особенно задняя, где-нибудь представили столько занимательных сцен, как у нас на Руси. Но об этом когда-нибудь после. Ограничусь изображением того, что в данное нами время стеклось у герцога курляндского с обоих крылец.

С пробуждением дня жизнь зашевелилась в палатах его; но только какая жизнь? караульная, украдчивая, боязненная. Сначала лениво ползла она с истопниками, конюхами и полотёрами по задним дворам, по коридорам и передним; но лишь раздалось слово: «*Проснулся!* » – всё в доме вытянулось в струну; шаги, движения, слова, взоры, дыхание выровнялись и пошли в меру; бесчисленные проводники от великого двигателя – *Бирон* –

84 Поверье, описанное в этой главе, существует ещё и поныне в некоторых великороссийских губерниях. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

навели в несколько минут весь Петербург на этот лад. Казалось, душе скомандовал кто-то: «Слушай!» – и душа каждого стала во фрунт, чтобы выкидывать свои однообразные темпы.

Огромные переходы вели к дому; в них и на лестнице расставлены были по местам, в виду один от другого, часовые из гвардии герцогской. Каждый из них, облитый с головы до ног золотом, казался горящим пуком, все они золотою цепью, к которой, увы! за порогом невидимо примыкала железная, опутавшая всю Россию. Огромную переднюю затемняли, как туча саранчи, павшая на маленькое пространство, множество скороходов, гайдуков, турок, гусар, егерей, курьеров и прочей барской челяди, богато одетой; между привычным нахальством её затёрты были ординарцы от полков гвардии. Смотря на косые взгляды слуг и грубые ответы их, смотря, как они зевали и ломались на залавке при входе не слишком значительного человека, вы сейчас отгадали бы, что господин – временщик.

В приёмной зале, подле двери самой передней, сидел уж Кульковский. Он пришёл в последний раз отдежурить на своём стуле и насладиться на нём закатом своей службы *при* первом человеке в империи с тем, чтобы он напутствовал его покровительским взглядом на новое служение. Заметно, что он несколько смутен, и как быть ему весёлым, беззаботным по-прежнему? Он прощается с приёмной комнатой герцога, как своею родиной. Здесь, у золотого карниза, где изображён сатир, выкидывающий козьими ногами затейливый скачок, улыбнулись ему тогда-то; тут, у мраморного стола, положили на плечо могущую и многомилостивую руку, которую он тогда ж поцеловал; далее светлейший, ущипнув его в пухлую, румяную щёку, подвёл к огромному зеркалу, только что привезённому из Венеции, чтобы он полюбовался на свою рожу и лысую голову, к которой сзади приклеены были ослиные уши. А стул, драгоценное седалище проходящего величия его? О! Его понесёт он в сердце своём сквозь все бури и превратности мира. В последний раз принёс он горяченькие новости искателям фортуны, именно, что любимая кобыла герцога ожеребилась; потом – надо же поставить себя рядом с чем-нибудь герцогским, – что у него готов уже пажеский кафтан, который изволил пожаловать ему его светлость, и, наконец, что Эйхлер сделан кабинет-секретарём, о чём ещё никто не ведал, кроме его, Кульковского, и самого герцога. Улыбка и пожатие руки знатных, просивших его не забыть их при дворе, пожатие мимоходом руки герцогского камердинера, всё это, увы! в последний раз осветило поприще его минувшей службы. Что ожидает его впереди? Роль шута! Это бы хорошо: он будет первый шут в империи по знатности рода. Но опасны плутоватые пажи; облепят его насмешками, как мякушками, не дадут ему и отсидеться на стуле! Новости не через него будут идти. Так-то изменчива фортуна!

Понемногу входили в приёмную залу должностные лица – со вздёрнутым носом, плюющие на небо за порогом Бирона жилища, а здесь сплюснутые, как пузырь без воздуха, сутуловатые, с поникшим, робким взором выжидающие рока из двери во внутренние покои. Слов между приходящими не слышно; заметно только шелест губ, движения рук, улыбка, сверенные по масштабу самого униженного страха. Все, однако ж, люди с весом! Они мерят бархат и парчу плечами и локтями, когда они стали в ранжир вдоль стены и окон, больно глазам смотреть на них, так блестят золото и яркость цветов на их одеждах. Не видно ни бедной вдовы с просьбою о пенсии по смерти мужа или о принятии сироты в учебное заведение, ни старика крестьянина с жалобою, что всё молодое семейство распродано поодиночке или отдано в рекруты в зачёт будущих наборов[85]; не видно ни торговца с предложениями новых промышленных видов, ни художника, вытребованного нежданно-негаданно к получению награды за великий труд, который он творил для потомства, а продавал наконец за кусок хлеба. Ни одного просителя между приходящими – все искатели. Золотое время! Ждут они час, два и более.

Довольно холодно, если не жутко, как вы видите, на передней половине. Что-то деется на задней?

---

[85] Не анахронизм ли эта отдача в рекруты? (Примеч. И. И. Лажечникова.)

Бросив мельком взгляд в уборную герцогини, куда и откуда суетливо и увёртливо шныряют факторы разного рода, народа и звания, ювелиры, купцы, портнихи, секретари-слуги и служанки-секретари, войдём в берлогу самого медведя, именно в кабинет герцога.

Герцог любил великолепие. Можно вообразить, как он облепил его затеями комнату, откуда дождил Россию жгучими лучами своего властолюбия. Покрытый батистовым пудрамантом и нежа одну стройную ногу, обутую в шёлковый чулок и в туфле, на пышном бархате скамейки, а другую спустив на персидский ковёр, сидел он в креслах с золотою герцогскою короною на спинке; осторожно, прямо вглядывался он по временам в зеркало, в котором видел всего себя. Туалетом своим он занимался до кокетства, подобно искуснейшему каллиграфу, желающему пленить знатока малейшею живописною чёрточкой в своём письме. Несмотря, что голове его доставалось от парикмахера, убиравшего его, он был терпелив, как бумажный болван, на котором обделывают причёски. Только один волосоубиратель его мог обходиться с ним так деспотически, не страшась мщения. За парикмахером пришёл камердинер и одел его с ног до головы. Кто увидел бы его, когда он, по окончании туалета, с торжествующей улыбкой любовался своей фигурой, мог подумать, что главная цель его жизни была пленять наружностью. Но лишь только камердинер вон из кабинета – на место его зверообразный Гроснот с пакетами. Распечатан один, другой – и щёголь, привлекательный мужчина, исчез. По тигру повели рукой против шерсти. Глаза его налились желчью, лицо искосилось; он кусал себе губы, кусал ногти – временщик воспрянул.

– Дурак!.. Мешается не в своё дело… – сказал он вполголоса, рванув и разорвав алансоновые манжеты на рукаве, которых клочки испестрили персидский ковёр.

Благозвучный эпитет, вырвавшийся у него, принадлежал его брату Густаву за то, что принимал глупое участие в маскарадном наезде против Волынского. Письмо об этой экспедиции лежало перед ним искомканное. Герцог был взбешён, а когда он находился в этом состоянии, ему нужна была жертва. Алансоновые манжеты пострадали, но кружева – вещество, а не существо, которое могло бы чувствовать свои страдания. Гроснот стоял пред ним; он бросился на Гроснота.

– И ты, – вскричал, он, запинаясь от злобы, – ду… ррак, скотина!

Адъютант, одушевлённый чугун, привыкший к таким взрывам, молчал. Ни одной тени страха или оскорблённого самолюбия на лице.

– Вы преступники, сударь, и я с вами говорю, как с преступником! – вскричал грозно Бирон.

Адъютант хранил молчание. Повелитель его всё более и более утихал.

– Прикажи ослу караулить огород, он все гряды перетопчет… Давай этим господам поручения!.. Ни догадки, ни сноровки! Ломят наповал, напрямик!.. Вчера велено тебе было пытать малороссиянина, а ты?..

– Заморозил его нечаянно одним лишним ушатом, – отвечал хладнокровно Гроснот, – одним бездельником на свете меньше!

– Знаю, что он был злодей, собака; но всё-таки следовало позаконнее… по крайней мере, не у меня на дворе… Да, да, где вздумали допытывать?.. Там, куда могла приехать моя всемилостивейшая государыня, которая всё примечает, всё видит… как это и случилось.

– Некогда было откладывать, ваша светлость; Липман приказал мне кончить скорей…

– Мне чёрт вас побери с Липманом! С ним и разделывайтесь, когда дело дойдёт до ответа. Я ничего не знаю, не знаю, не хочу ничего знать. У меня чтоб мёртвый был жив! Слышишь?..

– Слышу, ваша светлость!

– И если малороссиянина потребуют налицо к Волынскому, чтоб он был налицо, хоть обернись сам в него!.. Слышишь? А не то комендантом в рудокопную фортецию!

– Вина наша с господином обер-гофкомиссаром, на нас и падёт ответ. Но обстоятельства уж её исправили.

– Позвольте знать, чем и как?

– Могу только доложить, что от Горденки ни волкам, ни могильщикам поживиться будет нечем и что малороссиянин, наряженный к празднику и сменённый самозванцем, здесь налицо. Но как это сделалось – объяснит вашей светлости сам господин Липман. Я только знаю, что мне велено знать.

– Хорошо, что так, – сказал герцог, утихая, – я тебя люблю, к тебе привык; ты мне предан и исполнителен… и потому желал бы от души, чтобы ты выпутался здоров и цел из этой негодной истории. Но вот и гофкомиссар… Ступай к своему месту.

Адъютант Гроснот и обер-гофкомиссар Липман могли во всякий час дня и ночи входить без доклада к герцогу. Но степень доверия к этим двум лицам была различная. Каждый имел свой департамент. Первый был только строгий, безотговорочный исполнитель тайных приговоров, исправная хлопушка, которою колотил людей, как мух, не зная, однако ж, за что их душил, одним словом, немой, готовый по первому взгляду своего повелителя накинуть петлю; другой – ловкий, умный лазутчик, советник, фактор и допросчик по всем делам, где дух человека и гражданина выказывал себя в словах или даже намёках благородным противником властолюбивой личности временщика. Стоило Бирону тронуть эту струну, чтобы со всех концов России дали отзывы. Если б кто, как брадобрей Мидаса[86], зарыл свою тайну в земле и герцогу нужно было бы её знать, Липман вырастил бы на этой земле тростник, и ветер, шевеля его, рассказал бы тайну. Сам временщик, сколько ни изучал уловки и хитрости неблагонамеренного политика, сколько ни старался подражать лукавству тогдашнего вице-канцлера Остермана, образца в искусстве надевать на себя личину, смотря по обстоятельствам, однако ж никогда не мог достигнуть совершенства в этой науке, не имея ни довольно ума, ни довольно власти над собою, чтобы достигнуть своей цели. В случаях же, где необузданность характера его могла ему изменить или где лукавства его недоставало, работал Липман, как крот в норе, а тёмных проводов из его норы было довольно подо все места, начиная от дворца до нищенской лачуги.

Таким образом, каждый из двух соперников, герцог курляндский и Волынский, имел по советнику равно лукавому. Разница между ними была в том, что Зуда с возвышенною и благородною душой действовал из одной бескорыстной преданности и любви к своему доверителю и другу, во имя прекрасного и высокого, а Липман, готовый на все низости и злодейства, служил своему покровителю и единомышленнику из честей и злата.

Липман вошёл в кабинет, весело съёжившись, подобно коту, желающему приласкаться к своему хозяину. Но, взглянув на клочки манжет, рассеянных, как обломки корабля после бури, сбавил несколько своего удовольствия. Первое слово его было о малороссиянине…

– Всё об нём! Да дадут ли мне с ним покой!.. – сердито прервал герцог, желая некстати поиграть лукавством с своим советником. – Да неужели вы воображаете, что я так много хлопочу об этой дряни!.. Если б и вздумал кто… так одно слово…

– Ваша светлость, – отвечал Липман униженно и с усмешкой, расшевелившею его уши, – не желаете, конечно, заставлять меня приобретать вновь неоценённое доверие ваше, которое я почитал уже своею неотъемлемою наградой за столь многолетние опыты моего к вам усердия и преданности. И я думаю…

– Что забавляюсь. Да, да, любезный Липман, я пошутил, потому что на лице твоём заметил предвестие чего-то доброго. Знаю, как дело наше важно по связям его с польскими делами; но уверен также, что в особе нашего обер-гофкомиссара и друга мы имеем оберегателя, который не допустит до нас неприятностей.

– Вы отгадали. Дельце, несколько запутанное, которое Гроснот неосторожно хотел разрубить одним взмахом своего меча, кончено благополучно.

---

86 Мидас – в греческой мифологии царь Фригии, славившийся своим богатством и наделённый ослиными ушами, которые вынужден был прятать под фригийской шапочкой. Цирюльник, узнав тайну Мидаса и мучаясь невозможностью рассказать об этом, вырыл в земле ямку, шепнул туда: «У царя Мидаса ослиные уши!» – и засыпал ямку. На этом месте вырос тростник, который прошелестел о тайне всему свету.

– Да, да… – сказал герцог, запинаясь от удовольствия. – Гроснот погорячился; зато и объявил я ему, что в случае беды он один отвечать будет. Добрый, преданный малый, но ломит всегда, как медведь! Итак?..

– Я имел счастие вполне оправдать доверенность вашей светлости. Надо признаться, что помогла нам много расторопность людей, вам преданных.

– И тобою ж избранных, мой скромный друг!

Липман закинул назад свои рыжие космы, и лицо его открылось во всей полноте удовольствия. Он поклонился и продолжал чрезвычайно тихо, так, что за дверью никто не мог слышать его разговора:

– Воевода, подписавшийся для вида между прочими в доносе Горденки и давший мне знать обо всём, следил бездельника по горячим следам. В Твери проведал он о подмене малороссиянина, наряженного к празднику, и, догадавшись, что Горденко будет нужен на другое игрище, не дал беглецу далеко утечь и прислал его ко мне в самую пору. Горденки нет; настоящий малороссиянин налицо, и кто скажет противное, напутает на себя беду. В это дело замешалась было цыганка, умная и лукавая, как сам бес. Однако ж благодаря средствам, данным мне вашею светлостью, я справился с нею так успешно, как не ожидал.

Здесь Липман рассказал свои подозрения, допрос и успех своих действий. Подлинный донос был торжественно подан герцогу, и этот, прочитав его несколько раз, пожал столько же раз руку своему клеврету.

– Управься мне с доносчиками как хочешь, лишь бы концы в воду, – сказал герцог и вынул из бюро несколько листов, которые и отдал Липману вместе с подлинным доносом Горденки. – Вот тебе бланки на их судьбу! Выбрав нужное для себя, сожги бумагу. – Потом прибавил он благосклонно:– Ты сделал мне ныне подарок, и я у тебя в долгу. Твой племянник пожалован в кабинет-секретари: объяви ему это и прибавь, что на первое обзаведение в этом звании дарю ему пару коней с моей конюшни и приличный экипаж.

– Милости ваши велики; чувствовать их могу, но благодарить за них не имею слов, великий мой протектор! Позвольте моему племяннику самому… светлейший, едва я не сказал – ваше высочество[87]…

– О! с высочеством не так поспешно…

– На этот случай я буду пророком: много-много чрез полгода вся Россия поднесёт вам этот титул…

Бирон ласково погрозился пальцем.

– Льстец!.. Ну, где ж твой племянник?..

Тигр забавлялся с лисицей.

– Господин Эйхлер! – закричал обер-гофкомиссар, отворив дверь в ближнюю комнату на заднюю половину дома, – его светлость желает вас видеть…

На этот зов явился сонный долговязый Эйхлер, поклонился, как студент при первом дебюте своём в свет, наступил неосторожно на ногу своего дяди и стал в неподвижном положении, выставя свой бекасиный нос вперёд.

– Благодарите его светлость за новые милости, которые ниспосылает он на вас от высоких щедрот своих, – сказал ему Липман, показывая глазами, чтобы он подошёл к руке благодетеля, – вы пожалованы в кабинет-секретари.

Дядя не иначе обращался к своему племяннику, как местоимением вы.

– О, конечно… милости… ваша светлость… благодеяния вечно незабвенные… – сказал племянник, запинаясь и кланяясь; но, будто не понимая приказа дяди, не подошёл к руке герцога.

– Довольное довольно, – прервал, усмехаясь, Бирон. – Не бойкий оратор, ха, ха, ха! В Демосфены не попадёт! Да нам их и не надо. Зато строчит бумаги не хуже лучшего из наших

---

[87] Светлейший (ваша светлость) – обращение к светлейшему князю по пожалованию. Ваше высочество – обращение к князю императорской крови.

кабинет-министров. Остерман, – кажется, его отзывы можно во что-нибудь ставить! – именно Остерман предвещает в нём великого дипломата. – Эйхлер отвесил поклон. – Люблю, что подчинённый мыслит, когда велят, а не тогда, когда вздумается ему… Продолжай, продолжай, молодой человек, и помни, что скромность, скромность и скромность – первые добродетели и покровители кабинет-секретаря, и что первый враг – язык.

Тут Бирон кивнул Эйхлеру и, когда тот, догадавшись, что ему надо вон, вышел, отвесив такой неловкий поклон, что зацепил портупеей своей шпаги ручку кресел и потащил было их за собой, герцог, усмехнувшись, обратил речь к его дяде:

– Неотёсан ещё, хотя более года секретарствует при мне, но выполируется со временем в кабинете, при дворе… Теперь, – продолжал он, – с малороссиянином кончено, и я спокоен с этой стороны; но ты знаешь, что у нас есть дело гораздо важнее…

– Борьба с буйным, непокорным Волынским, угодно вам сказать?

– Да, этого человека ничем не удовлетворишь, ничем не задобришь и не испугаешь! Он везде, где только может, мне поперечит; он грезится мне и во сне, как шлагбаум, который, того и гляди, ударит меня по голове; он портит мне беспрестанно кровь… и пока голова на плечах его, я не твёрд, у меня связаны руки, а сам-друг властвую… ты понимаешь меня?

– Его смертное падение необходимо для вашего спокойствия. Он предводитель шайки, которая хочет всё сокрушить, что только нерусское.

– Мятежники! Я их в бараний рог!.. Мужики, от которых воняет луком!.. Не всем ли нам обязаны? и какова благодарность! О, как волка ни корми, он всё в лес глядит!.. Животные, созданные, чтобы пресмыкаться, хотят тоже в люди! Я их!.. Я им докажу, что водовозная кляча герцога курляндского дороже русского… Гм! Они не знают, с кем тягаются… не на Кульковского напали!

Говоря это, Бирон судорожно трясся, едва не скрежетал зубами. Немного успокоившись, он продолжал:

– Впрочем, мы, по твоему совету, нашли слабую сторону этого Ахиллеса…

Липман не читывал не только Гомера – и календаря, но догадался тотчас, о чём дело шло.

– Вы изволите намекать на интригу его с молдаванскою княжной: прекрасный способ! Я предрекал вашей светлости, что его опутать можно в этих тенетах, и как скоро вы изволите рассказать мне вашу удачу, я дополню её с своей стороны…

– Изволишь видеть, служанка её работает усердно… вчера паж доставил мне записку к княжне от благоприятеля. Начало удачно. Надо, однако ж, повести это дело ещё хитрее и сильнее; участить переписку… доставить свиданьице наедине… а там, чёрт возьми, если не поймаем птичку на зерне!.. Понимаешь, надо будет…

– Навести вас или самую государыню.

– Ты, дорогой мой, схватываешь мои мысли, как любовник взгляд своей любезной. Государыня не надышит на девчонку; лелеет её, как дитя своё, бережёт от дурного глаза, видит в ней своё утешение, любимую игрушку; а тут… сам демон в образе Волынского обезобразит, искомкает это сокровище.

Адский восторг вылился на лице временщика.

– О! тогда голова мятежника в ваших руках, – подхватил достойный клеврет с торжествующим видом. – Чтоб довершить потеху, мы постараемся ещё взбесить его в самом дворце… А пока голова у него свежа, признаться, опасен бунтовщик. Мы поведём это дело прекрасно; ручаюсь за успех жизнью своей. Цыганка невольно помогает нам, взявшись, как видно, маклеровать влюблённым… Ваша светлость доставит ей… этой чудной, небывалой гадальщице, халдейке, всё, что вам угодно будет сказать об ней, – вы доставите ей вход во дворец, свободный ход во всякое время к глупенькой княжне.

– Да, да, государыня любит гаданье с тех пор, как альманачник Бухнер напророчил ей престол. Гороскопами она замучила профессора астрономии. Астролог в юбке – это новое! Мы употребим эту небывальщину в дело!

– Учителя и нынешнего посредника мы рассердим так, что он будет первый доказчик.

– Добро, всё добро, всё семя для богатой жатвы! Ты золотая голова; тебя бы надо в кабинет-министры.

– Я стою выше, я ваш кабинет-министр. Забыл ещё одно обстоятельство. Надо всеми средствами поддержать слухи, что Волынский вдовец… это необходимо! А то планы наши могут уничтожиться в самом начале. С моей стороны, я всех, кого мог, настроил этими слухами и буду продолжать…

– Обещаю то ж с своей стороны.

– Надо бы на время задержать жену его в Москве… но об этом хлопочет уж сам верный супруг.

– Ха, ха, ха! Придумать нельзя ничего лучше. Поди сюда, мой вернейший и умнейший советник, дай себя поцеловать.

И герцог курляндский поцеловал в лоб хитреца, униженно поклонившегося перед ним, как бы для принятия благословения от пастыря духовного.

Ущедрённый этой наградой, Липман продолжал:

– Потом вы имеете книгу, которую выкрала барская барыня из кабинета… имя забываю…

– *Историю Иоанны неаполитанской* , на полях которой написано рукою мерзавца: *Она! она!* [88]

– Приноравливать к кому вздумал! Сам на себя петлю надевает! В придачу ещё вчера вечером…

– Я перебью тебя, любезный, – сказал Бирон голосом сожаления и качая головой, – признаться, меня вчерашняя маскерадная история огорчила за тебя. Ох, ох, бедный! Идти с Волкова поля пешком, в жестокий мороз?..

– Обо мне не извольте беспокоиться. Моё тело и душа готовы за вас в пеклу. Для вас, если б нужно было, я вырыл бы своими руками всех мертвецов на кладбище и зарыл бы живых столько же. Мы было устроили так хорошо, да испортила какая-то маска, пробравшаяся вслед за нами… шепнула что-то хозяину и всё вывернула с изнанки налицо. К тому ж и ваш братец порыцарствовал некстати…

– Брата под арест! Хоть для виду надо же удовлетворить Волынского, который считает себя обиженным. Любопытно, однако ж, знать, кто эта секретная особа, которой известны ваши тайны… – Призадумавшись: – Это нехорошо, это что-то неловко!

– О! я отыщу этого секретника во что ни станет и… Бог свидетель, вымещу на бездельнике моё ночное путешествие и ваше беспокойство, которое стоит, чтобы ему тянуть жилы клещами. Но это пустячки при наших успехах! Кстати, Волынский и вчера проговорился насчёт государыни. Он пил с насмешкой за её здравие, припевая ей память вечную.

– И то будет иметь важную цену в глазах больной государыни.

– Посылал вас… (Липман, усмехаясь, потирал себе руки.)

– К чёрту?.. Это не новое! Посмотрим, кто первый попадётся в его когти. Всё прекрасно, бесподобно, мой усердный друг!

– Теперь позвольте о двух милостях.

– Заранее даю слово выполнить твои желания.

– Вы имеете важного соперника, я не без них. Лукавый Зуда работает против нас сколько может. Преданная нам барская барыня у него на замечании и с часу на час ожидает себе гибели. Надо спасти её, хотя назло её господину.

– А средства? Она крепостная?

– Я уж придумал их. Кульковскому ищут невесту из простых.

---

[88] Надпись «Она! Она!» обнаружена на полях одной из книг, принадлежавших Волынскому. Надпись сделана в том месте, где речь идёт о безнравственности неаполитанской королевы Иоанны II.

– Чего ж лучше для него этой шлюхи!.. Сама государыня будет просить отдать её за своего пятидесятилетнего пажа.

– И Волынский не посмеет отказать. Только надо как можно скорей, ваша светлость!

– Первое моё дело во дворце будет об этом.

– Сын её, если позволите доложить, ге, ге, хотя и глупенек, но усердно служит нам, сейчас только ещё сыграл исправно роль Языка…

– Ну что ж?

– За привод людей к празднику ему обещано офицерство.

– Можешь именем моим поздравить его офицером.

– Доклад мой кончен, и я спешу к работе. В приёмной зале толпа давно ожидает появления своего солнца, чтобы ему поклониться.

– Пускай ждут! Эту челядь надо проучивать, а то как раз забудутся. Поболее блеска и шуму для дураков и потяжелее ярмо для умных, и всё пойдёт хорошо Пошли мне Кульковского, я хочу с ним позабавиться да распорядиться насчёт его свадьбы.

Липман вышел, на место его вошёл Кульковский.

– Любезный пажик, – сказал ему герцог, – мы расстаёмся!

– Я лишаюсь лицезрения вашей светлости, которым несколько лет питался, как манною небесною. – отвечал пятидесятилетний паж, подходя к руке герцога.

– О! о! зачем это?.. – Он слегка отдёрнул было руку, но тот успел уловить её своими устами – Поверь, я не оставлю тебя и на новом твоём месте. А чтобы на первых порах доказать мои милости, вот что я для тебя делаю, – только, пожалуйста, не мучь меня своею благодарностию! Слышишь?..

Кульковский согнулся, сколько позволяла ему толщина его, чтобы внимать в раболепном восторге о новых милостях своего протектора.

– Государыне твоей известно, что ты опоганил себя целованием папских туфлей. За то не миновать бы тебе ловить куниц, хе, хе, хе; но мне стало жаль тебя. Где ему? Подумал я: он своим толстым брюхом изборождит всю Сибирь, пока поймает хоть одну мышь, издохнет, запыхавшись! Дело повернули мы так, что ты при дворе в новой должности. Но, – Бирон погрозился пальцем, – молодой пажишка шалун, плут большой! (Кульковский отвесил глубокий поклон.) Хе, хе, хе!.. И государыня боится за своих гофдевиц. Она хочет непременно женить тебя… ты это слышал?

– Из собственных уст её величества.

– Я сыскал тебе невесту… ну, нельзя сказать, чтобы молодая, знатная и красивая… но зато мой выбор!

– Прикажите мне жениться хоть на козе, так я почту вашу волю священною.

– На козе, ха, ха, ха! Это должно быть презабавно! Надо это поиспытать над кем-нибудь!.. Ха, ха, ха! Твоя выдумка меня потешила.

– Блажен, стократ блажен я, что мог доставить вашей светлости хоть миг удовольствия.

– Исполнение этой гениальной мысли побережём, однако ж, для другого. Тебе ж избрал я в сожительницы барскую барыню Волынского, фамилию, чёрт побери! не припомню.

– Барскую… – мог только сказать смущённый Кульковский.

– Да, да, её и в приданое мои милости и прощение твоей государыни за старые твои грехи. Что?.. Чай, при этом слове зашевелились из гробов родоначальники твои, литовские или татарские князья?.. Чай, развернули пред твои вельможные очи свои заплесневелые пергамента?.. Не ломайся же, дурачина, пока предлагают такой клад с завидной придачей, а то велят взять и без неё.

Вошёл дежурный паж и доложил о приезде вице-канцлера Остермана. Приказали просить.

– Ну?..

От этого вопроса пахнуло на сердце бедного Кульковского холодом Сибири.

– Милости ваши велики, – отвечал он, – женюсь…

– Скорей подбери всё с ковра! – вскричал герцог, и потомок литовских или татарских

князей, пыхтя и едва не ползая на четвереньках, бросился подбирать клочки алансоновых манжет, брошенных счастливым выходцем. Этот пинком ноги помог ещё ему исполнить скорее заданную тему.

Глава VII
СОПЕРНИКИ

Ужасный вид! они сразились!..
Они в ручной вступили бой:
Грудь с грудью и рука с рукой…
То сей, то оный набок гнётся.
Дмитриев

Остерман, сын пастора вестфальского местечка Бокума, потом студент Иенского университета, где запасался обширными знаниями, шутя и ставя профессору восточных языков (Керу) своею любезностию рога и своими остроумными куплетами ослиные уши, там же за честь свою поцарапал кого-то неловко и оттуда бежал в тогдашнее пристанище людей даровитых – под сень образователя России. Угаданный его гением, этот Остерман в благодарность укрепил России дипломатикой своей прибалтийские области её, которые ускользали было из-под горячего меча победителя (не говорю о других важных подвигах министра на пользу и величие нашего отечества). Этот самый Остерман, в свою очередь обогащённый деревнями и деньгами, вице-канцлер, граф, умевший удержать за собою, как бы по наследству, доверие и милости двух императоров, двух императриц, одного правителя, одной правительницы и, что ещё труднее, трёх временщиков, русских и нерусских, составлял в царствование Анны Иоанновны между соперничествующими партиями перевесное лицо. Зная силу Бирона, любимца её и вместе главы немецкой партии, опиравшейся на престол, посох новгородского архипастыря и ужас целого народа, хитрый министр тайно действовал в пользу этой стороны; но явно не грубил русской партии, которой предводителем был Волынский, имевший за собою личные заслуги, отважный и благородный дух, дружбу нескольких патриотов, готовых умереть с ним в правом деле, русское имя и внимание императрицы, до тех пор, однако ж, надёжное, пока не нужно было решать между двумя соперниками. Он видел возрождающуюся борьбу народности с деспотизмом временщика, но знал, что представителями её – несколько пылких, самоотверженных голов, а не народ, одушевлённый познанием своего человеческого достоинства. Тогдашний народ, включая и дворянство, погрязший в невежестве и раболепном страхе, кряхтел, страдал, но так же охотно бегал смотреть на казнь своих защитников, как бы на казнь утеснителей своих. Остерман знал, что истинного самопознания национальности не существовало в России и те, кто вздумали её представлять одними своими особами, замышляли неверное. К тому ж он уверился, что привязанность государыни к герцогу должна восторжествовать надо всеми обстоятельствами. И потому держался бироновской партии и укрепился под сенью её на второстепенном месте в империи. Таким образом, казалось, математически обезопасил своё лицо от превратностей фортуны. В расчётах этих он не догадался только, что хотя просвещённой национальности не существовало в России, но семя её заброшено в каждом человеке, где лишь только есть народ; и потому действовать именем её легко было в лице той, которая, как дочь Великого Петра, отца отечества, могла возбудить эту народность лучше сборища патриотов, действующих от себя. Он думал, что достаточно отдалил Елисавету Петровну от этой роли, и – ошибся. За эту ошибку поплатился он всем, что приобрёл заслугами царям и России, умом своим и хитростью. Такие молниеносные промахи самых утончённых политиков освещают для нас пути провидения. Видно, под зарницею их спеет жатва Божья!

Дивное явление в нашей истории – этот Остерман! Какой чудный путь протёк он от колыбели своей, в захолустье германского запада, до Берёзова!.. Приняв из рук судьбы

страннический посох на пороге пресвитерской хижины, он соединил его потом со скипетром величайшего из государей, начертывал им военные планы, мировые народам и царям и уставы на вековую жизнь империи, указывал череду на престол и, наконец, положил этот посох так скромно, так печально, на Востоке, в тундрах Сибири!.. Бокум, Иена, Ништадт, Берёзов!.. Надо же было так.

Но виноват: я увлёкся чудною судьбою одного из величайших двигателей просвещения в России, который ещё не оценён достойным образом и ожидает своего историка. Обращаюсь к роману.

Наступало, однако ж, критическое для Остермана время: он поддерживал доселе герцога, как любимца государыни, которую сам возвёл на престол; теперь, когда узнаны были его высшие виды, надлежало помогать ему всходить на ступени этого престола, или вовсе от временщика отложиться. В последнем случае вице-канцлер давал торжествовать русской партии и возводил Волынского на первенствующее место в кабинете и в империи. Он пришёл к герцогу, затвердив двусмысленную роль, которую решился играть до того времени, пока сами обстоятельства расскажут ему его обязанности.

Вслед за ним явился паж от государыни, звавшей к себе его светлость. Дали ответ, что сейчас будут.

Худо чёсанная голова, засаленная одежда министра представляли совершенный контраст с щеголеватою наружностью хозяина. Входя в кабинет, он опирался на свою трость, как расслабленный.

– Каково здоровье? – спросил его Бирон с живым участием, усаживая в кресла. – Эй! Кульковский! Скамейку под ноги дорогого гостя! Я знаю, вы страдаете подагрою. Подушку за спину!

Невольный паж, подставив скамейку под ноги министра и уложив подушку за спину его, вышел с лицом, багровым от натуги. Министр, благодаря, и охая, и морщась, и вскидывая глаза к небу, чтобы в них нельзя было прочесть его помыслов, отвечал:

– Ваша светлость знаете мои немощи… несносная подагра! Ох!.. К тому ж начинаю худо видеть, худо слышать.

– Конечно, не всё до слуха вашего доходит, но мы вам в этом случае поможем, – сказал Бирон двусмысленно, придвигая свои кресла к креслам Остермана, – а что касается до зрения, то у вас есть умственное, которому не надо ни очков, ни подзорной трубки.

Вице-канцлер благодарил его наклонением головы и, улыбнувшись, расправил себе волосы пятернёю пальцев, как гребнем. Бирон продолжал:

– Самсон покорился слабой, но лукавой женщине. Ум стоит телесной силы. Здоровье, сила душевная нужны нам, почтеннейший граф, особенно теперь, когда враги наши действуют против нас всеми возможными способами, и явно и тайно. Я говорю – враги наши, потому что своего дела не отделяю от вашего.

– Конечно, герцог, я держусь вами… ох! эта нога. – Он наморщился и потёр свою ногу, долго не будучи в состоянии произнести слова… – Держусь, как старая виноградная лоза, иссыхающая от многих жатв, крепится ещё около дуба во всей красе и силе.

Здесь курляндец пожал ему дружески руку.

– Но разве есть новости после того, как я имел честь беседовать с вашей светлостью?

– Должен признаться вашему сиятельству, что мятежнический дух Волынского и, к стыду нашему, ещё кабинет-министра, нахально усиливается каждый день. Перокин, Сумин-Купшин, Щурхов и многие другие, составляющие русскую партию, предводимую демоном безначалия, ближатся с каждым днём к престолу и шепчут уже государыне нашу гибель. Смерть, казнь всем немцам – пароль их. Никогда не работали они с таким лукавством и такими соединёнными силами. Ненависть их ко всему, что не русское, вам известна, но вы не знаете, как они ненавидят меня. Поверите ли, что я скоро не буду в состоянии собирать государственные подати? Они хотят этого достигнуть, чтобы расстроить машину правления и взвалить несчастные последствия на меня. Научают чернь, дворянство слухами о жестокостях моих, вооружают против меня целые селения, говоря, что я хочу ввести

басурманскую веру в России, что я антихрист, и целые селения бегут за границы. Это дойдёт до государыни. Подумайте о будущности несчастной империи. Что скажет императрица, вверившая нам кормило государства? Что скажет о нас история?

Остерман возвёл глаза к небу и пожал плечами. Он думал в это время: «Что скажет об тебе история, мне дела нет; а то беда, что русские мужики в недобрый час изжарят нас, басурманов, как лекаря-немца при Иоанне Грозном».

– Не смей я даже наказывать преступников – кричат: тиран, деспот! Исполнение закона с моей стороны – насилие; исполнение трактатов, поддержка политических связей с соседями – измена. Вы знаете, как справедливо требование Польши о вознаграждении её за переход русских войск через её владения…

– Справедливо, как требование долга по заёмному письму. И что ж, неужели?.. Ох! Нога, нога!..

– Посудите, любезнейший вице-канцлер, я, который, говорят, ворочает империей, не смею предложить это дело на рассуждение Кабинета. Мне нужны сначала голоса людей благонамеренных, преданных пользе государыни. И это дело готовят наши враги в обвинение моё. Право, стыдно говорить вам даже наедине, о чём они кричат на площадях и будут кричать в Кабинете, помяните моё слово!.. будто я, герцог Курляндии, богатый свыше моих потребностей доходами с моего государства и более всего милостями той, которой одно моё слово может доставить мне миллионы… будто я из корыстных видов защищаю правое дело.

Вошёл паж и доложил его светлости, что государыня опять велела просить его во дворец.

– Скажи, сейчас буду, – отвечал с сердцем герцог.

– Не задерживаю ли вашу светлость? – спросил Остерман, привстав несколько на свою трость.

– Успею ещё! Наш разговор важнее… Видите ли теперь, мой почтеннейший граф, что губит меня!.. Внимание, милости ко мне императрицы!.. Её величество знает мою преданность к себе, к выгодам России… она поверяет мне малейшие тайны свои, свои опасения насчёт её болезни, будущности России… И коронованные главы такие же смертные… что тогда?.. Я говорю с вами как с другом…

– Мы увидим, мы уладим. Разве бразды правления выпадут тогда скорее из рук… нежели теперь? Кто ж твёрже и благоразумнее может?.. (Здесь Остерман сощурил свои лисьи глазки.)

– О! Разве с помощью моего умного друга, как вы!.. Впрочем, я и теперь уступил бы…

– Уступка будет слабостью с вашей стороны. Честь ваша, честь империи требуют, чтоб вы были тверды.

– Я пожертвовал бы собою, я бросился бы, как второй Коклес, в пропасть, лишь бы спасти государство; но знаю, что удаление моё будет гибелью его. Тогда ждите себе сейчас в канцлеры – кого ж? гуляку, удальца, возничего, который проводит ночи в пировании с приятелями, переряжается кучером и разъезжает по… – Бирон плюнул с досадой – дерзкого на слова, на руку, который, того и гляди, готов во дворце затеять кулачный бой, лишь бы имел себе подобного… Поделает из государственного кабинета австерию…[89] и горе тому, кто носит только немецкое имя!

За дверьми послышался крупный разговор.

– Слышите?.. Его голос! Видите, граф, у меня в доме, во дворце, меня осаждают… Без докладу! Как это пахнет русским мужиком!.. И вот ваш будущий канцлер!.. Того и гляди, придёт нас бить!.. Вашу руку, граф!.. Заодно – действовать сильно, дружно – не так ли?.. Вы… ваши друзья… или я еду в Курляндию.

Эти последние слова были произнесены почти шёпотом, но твёрдо. Герцог указал на

---

[89] Трактир (от итал. – austeria).

дверь, кивнув головой, как бы хотел сказать: возитесь вы тогда с ним!.. Вице-канцлер, внимая разительным убеждениям Бирона, сделал из руки щит над ухом, чтобы лучше слышать, поднимал изредка плеча, как бы сожалея, что не все слова слышать может, однако ж к концу речи герцога торопливо, но крепко пожал ему руку, положил перст на губы и спешил опустить свою руку на трость, обратя разговор на посторонний предмет.

В самом деле, говоривший за дверью кабинета был Волынский, но как он туда пришёл и с кем крупно беседовал, надо знать наперёд.

Кабинет-министр, рассерженный неудачею своего послания к Мариорице и хлопотами по устроению праздника и ледяного дома, входил на лестницу Летнего дворца. Ему навстречу Эйхлер. Вероятно, обрадованный возвышением своим, он шёл, считая звёзды на потолке сеней, и в своём созерцании толкнул Артемия Петровича.

– Невежа! – вскричал этот, – не думает и извиняться! Видно, каков поп, таков и приход.

Лицо Эйхлера побагровело от досады; однако ж он не отвечал.

Выходка Волынского предвещала грозу. Девятый вал набежал в душе его. Он вошёл в залу, но, увидав за собой Миниха, остановился, чтобы дать ему дорогу. Этого военного царедворца уважал он как героя, пожавшего ещё недавно для России завидные лавры, как умного, истинно полезного государству человека и как сильного, честолюбивого соперника Бирона, уже раз восставшего против него и вперёд неизбежного. Только Миних и Волынский могли попасть в любимцы к государыне; Остермана она только всегда уважала.

Миниха удивил поступок Волынского. Он пожал ему дружески руку и примолвил:

– Вы, однако ж, не любите никого впереди себя, мой любезнейший Артемий Петрович!

– Никого, кто не достоин быть впереди, – отвечал с твёрдостью Волынский. – Но всегда с уважением уступлю шаг тому, кто прославляет моё отечество и вперёд обещает поддержать его выгоды и величие. Приятно мне очистить вам дорогу…

Слова эти были пророческие.

– Я немец, – прервал его Миних шутливым тоном, схватившись с ним рука за руку, – а вы, носятся слухи, не любите иностранцев?

– Опять скажу вам, граф, что или меня худо понимают, или на меня клевещут. Не люблю выходцев, ничтожных своими душевными качествами и между тем откупивших себе тайною монополией, неизвестными народу услугами или страдальческим многотерпением право грабить, казнить и миловать нас, русских! Перескажите это, – примолвил Артемий Петрович, обратясь к Кульковскому, подслушавшему разговор, – если вам угодно, я повторю. Но, – продолжал он, идя далее чрез залу, – пришлец в моё отечество, будь он хоть индеец и люби Россию, пригревшую его, питающую его своею грудью, служи ей благородно, по разуму и совести – не презирай хоть её, – и я всегда признаю в нём своего собрата. Вы знаете, отдавал ли я искреннюю дань уважения Остерману, министру Петра Великого? – не нынешнему, Боже сохрани! – Брюсу и другим, им подобным?.. Презираю иностранца, который ползает перед каким-нибудь козырным валетом, который с помощью кровавых тузов хочет выйти в короли; но менее ли достойна презрения эта русская челядь? – Он указал на толпу, стоявшую униженно около стен, опираясь на свои трости. – Посмотрите на эти подлые, согнутые в дугу фигуры, на эти страдальческие лица… Скомандуйте им лечь наземь крыжом по-польски[90] – поверьте, они это мигом исполнят! Мало? – велите им сбить яблоко, не только с головы сына… с младенца у груди жены, и поманите их калачом, на котором золотыми буквами напишут: «*Милость Бирона* » – и они целый пук стрел избудут, лишь бы попасть в заданную цель.

Миних, усмехаясь, пожал руку Волынскому и шепнул ему, чтобы он был осторожнее; но благородное негодование кабинет-министра на низость людей, как лава кипучая, сделавшая раз вспышку, не останавливалась до тех пор, пока не сожигала, что ей попадало навстречу. В таких случаях он забывал свои планы, советы друзей, явных и тайного, забывал

[90] Крыж – католический крест.

Махиавеля, которого изучал. Душа его, как разгневанный орёл, рвала на части животных, им только взвиденных, и впивалась даже могучими когтями в тигра, который был ему не по силам.

Дежурный паж остановил учтиво генерала и кабинет-министра, прося позволения доложить о их приходе.

– Скорей же! – сказал Артемий Петрович. – Миних и Волынский недолго ждут у самой императрицы.

Паж пошёл, но, посмотрев в замочную щель кабинета, увидел, что герцог занимается жарким разговором с Остерманом, воротился и просил Миниха и Волынского повременить, потому что не смеет доложить его светлости, занятому с господином вице-канцлером.

– О, когда так, – воскликнул Волынский, – войдёмте.

И Волынский отворил дверь в кабинет временщика, всё-таки уступая шаг своему спутнику. За ним поспешил войти паж с опоздалым докладом.

Улыбкою встретил герцог пришедших, просил их садиться, бросил на пажа ужасный взгляд, которым, казалось, хотел его съесть, потом опять с улыбкою сказал, обратясь к Волынскому:

– А мы только сию минуту говорили с графом о вчерашней вашей истории. Негодяи! Под моим именем!.. Это гадко, это постыдно! Кажется, если б мы имели что на сердце друг против друга, то разведались бы сами, как благородные рыцари, орудиями непотаёнными. Мерзко!.. Я этого не терплю… Я намерен доложить государыне. Поверьте, вы будете удовлетворены: брату – первому строжайший арест!

– Я этого не желаю, – отвечал холодно Волынский.

– Вы не хотите, справедливость требует… пример нужен… я не пощажу кровных…

– Они довольно наказаны моим катаньем.

– Ха, ха, ха! Это презабавно. Господин вице-канцлер уж слышал, – Остерман, усмехнувшись, сделал утвердительно знак головой, – но вам, граф, должно это рассказать.

– Любопытен знать, – отвечал Миних, вытянув свой длинный стан вперёд и закрыв длинною ногою одну сторону кресел.

– Его милость так прокатила вчера некоторых негодяев на Волково поле, что они слегли в постелю, и поделом!

– Позвольте вам противоречить, – перебил Волынский, – одного из них я подвёз только к Летнему дворцу, именно сюда в дом…

Приняв эпитет негодяя для своего брата, Бирон иронически продолжал:

– Да ведь сам Артемий Петрович в маскерадном, кучерском кафтане!.. Надо, говорят, посмотреть, как этот русский наряд пристал такому молодцу, как наш кабинет-министр! (Последнее слово заставило Остермана опять усмехнуться.)

– Да, ваша светлость, я славно прокатился и в Персию и в Немиров, – подхватил с досадою Волынский, – и никто, конечно, не осмелится сказать, чтобы я исполнил своё дело кучерски, а не как министр Российской империи. Впрочем, русские бояре-невыходцы – просто веселятся и так же делают государственные дела: сам Пётр Великий подавал нам тому пример. Может статься, и его простота удивила бы выскочку в государи, если б они могли тогда быть!

– Я говорю только, что вы сделали, а не то, что вы хотите заставить меня мыслить. Кто ж смеет лишать вас заслуг ваших?.. Вы знаете, не я ли всегда первый ценил их достойным образом и… последняя милость…

– Милость моей государыни! – прервал с твёрдостию Волынский. – Я ни от кого, кроме её, их не принимаю. Вы изволили, конечно, призвать меня не для оценки моей личности, и здесь нет аукциона для неё…

– Боже мой! Какая азиатская гордость!.. Помилуйте, мы говорим у себя в домашнем кабинете, а не в государственном. Если вам дружеская беседа не нравится, я скажу вам, как герцог курляндский…

Бирон гордо и грозно посмотрел на Артемия Петровича и думал, что он при этом слове

приподнимется со стула; но кабинет-министр так же гордо встретил его взор и сидя отвечал:

– Я не имею никакой должности в Курляндии.

Бирон вспыхнул, сдвинул под собою кресла так, что они завизжали, и, встав, сказал с сердцем:

– Так я, сударь, вам говорю именем императорского величества.

При этом имени Волынский тотчас встал и с уважением, несколько наклонившись, сказал:

– Слушаю повеление моей государыни.

– Она подтверждает вам, сударь… чтобы вы, – не приготовив основательного удара, Бирон растерялся и искал слов, – поскорее… занялись устройством ледяного дворца…

– Где будет праздноваться свадьба шута?.. – отвечал с коварной усмешкой Волынский. – Я уж имею на это приказ её величества; мне его вчера сообщили от неё; ныне я получил письменно подтверждение и исполняю его. Просил бы, однако ж, вашу светлость доложить моей государыне, не угодно ли было бы употребить меня на дела, более полезные для государства.

– Наше дело исполнять, а не рассуждать, господин Волынский. (Голос, которым слова эти были сказаны, гораздо поумягчился.)

– С каким удовольствием употребил бы я себя, например, на помощь страждущему человечеству!.. Доведено ли до сведения её величества о голоде, о нуждах народных? Известны ли ужасные меры, какие принимают в это гибельное время, чтобы взыскивать недоимки? Поверите ли, граф? – продолжал Артемий Петрович, обратившись к Миниху, – у нищих выпытывают последнюю копейку, сбережённую на кусок хлеба, ставят на мороз босыми ногами, обливают на морозе ж водою…

– Ужасно! – воскликнул граф Миних. – Нельзя ли облегчить бедствия народные, затеяв общеполезную работу? Сколько оставил нам Пётр Великий важных планов, которых исполнение станет на жизнь и силы разве только наших правнуков! Например, чего бы лучше упорядочить пути сообщения в России? Для такого дела я положил бы в сторону меч и взялся бы за заступ и циркуль. А где, позвольте спросить, Артемий Петрович, наиболее оказываются нужды народные?

– Всего более страдает Малороссия, – отвечал Волынский, бросив пламенный, зоркий взгляд на Бирона. Этот сел, и кабинет-министр сел за ним. – Именно туда надо бы правителя, расположенного к добру.

Он намекал на самого Миниха, домогавшегося гетманства Малороссии.

– Об этом, – подхватил Остерман, – сильно заботится государственный человек, у которого мы имеем честь теперь находиться. Он, конечно, ничего не упустит для блага России. – Здесь Волынский с презрением посмотрел на вице-канцлера, но тот очень хладнокровно продолжал: – И, сколько мне известно, заботы его увенчаются благоприятным успехом: государыня назначает правителем Малороссии мужа, который умом и другими душевными качествами упрочит внутренно благоденствие этой страны и вместе с мечом будет уметь охранять её спокойствие от нашествия опасного соседа.

Этою лукавою речью был несколько склонён честолюбивый Миних к стороне Бирона, который, пользуясь поддержкою вице-канцлера, обратился с большею твёрдостью к мнимому гетману Малороссии:

– Поверьте, несчастия, которые вам с таким жаром описывают, только на словах существуют, и сам господин Волынский обманут своими корреспондентами.

– Я не дитя или женщина, чтобы мог быть обманут слухами, – сказал Волынский. – Я имею свидетельства и, если нужно, представлю их, но только самой императрице. Увидим, что она скажет, когда узнает, что отец семейства, измученный пыткою за недоимки, зарезал с отчаяния всё своё семейство, что другой отнёс трёх детей своих в поле и заморозил их там…

– Выдумка людей беспокойных! мятежных!

– Неправда, герцог! – вскричал кабинет-министр, вскочив со стула. – Волынский это подтверждает, Волынский готов засвидетельствовать это своею кровью…

Явился опять посланный из дворца, и опять за тем же.

– Сию минуту буду! – сказал герцог, посмотрев значительно на своих посетителей. – В третий раз государыня требует меня, а я задержан пустыми спорами…

– Ваша светлость пригласили меня, – сказал Миних, – чтобы поговорить о деле вознаграждения поляков за проход русских войск.

– Да, да, – отвечал Бирон, – господин вице-канцлер согласен на вознаграждение.

– Честь империи этого требует, – сказал Остерман. – Впрочем, судя по тревожному вступлению к нашему совещанию, я советовал бы отложить его до официального заседания в Кабинете.

– Честь империи!.. – воскликнул Волынский. – Гм! честь… как это слово употребляют во зло!.. И я скажу своё: *впрочем* . Здесь, в государственном кабинете, во дворце, пред лицом императрицы, везде объявлю, везде буду повторять, что один *вассал* Польши может сделать доклад об этом вознаграждении; да, один *вассал* Польши!..

При слове *вассал* Миних и Остерман встали с мест своих, – последний, охая и жалуясь на подагру, – оба смотря друг на друга в каком-то странном ожидании. Никогда ещё Волынский не доходил до такой отчаянной выходки; ему наскучило уж доле скрываться.

– За это слово вы будете дорого отвечать, дерзкий человек! – вскричал вне себя Бирон, – клянусь вам честью своею.

– Отдаю вам прилагательное ваше назад! – вскричал Волынский.

– Государыня вас требует, – сказал Остерман герцогу.

– Во дворец, да! К государыне! – произнёс Бирон, хватая себя за горящую голову; потом, обратясь к Волынскому, примолвил: – Надеюсь, что мы видимся в последний раз в доме герцога курляндского.

– Очень рад, – отвечал Волынский и, не поклонясь, вышел.

Собеседники, смущённые этой ссорой, которой важные последствия были неисчислимы, последовали за ним. В ушах их долго ещё гремели слова: *Я или он должен погибнуть* – слова, произнесённые беснующимся Бироном, когда они с ним прощались.

– Я или он должен погибнуть! – повторил временщик, ударив по столу кулаком, когда они вышли.

– Этого гордеца надо бы хорошенько проучить, – говорили между собой стоявшие в зале, когда Волынский проходил мимо их с гневной, презрительной улыбкой.

– Его светлость! Его светлость! – закричал паж.

Возглас этот, повторённый сотнею голосов по анфиладе комнат, раздался наконец у подъезда. Опережённый и сопровождаемый блестящей свитой, Бирон прошёл чрез приёмную залу и удостоил дожидавшихся в ней одним ласковым киваньем головы. Зато скольких панегириков удостоился он сам за это наклонение! «Какой милостивый! Какой великий человек! Какая важность в поступи! Проницательность во взорах! Он рождён повелевать!.. Модель для живописца!.. Жена моя от него без ума!»

Какой-то выскочка осмелился сказать, что Пётр Великий и для художника, и для женщин имел более привлекательности.

– Помилуйте, – отвечали ему, – у того был только бюст хорош, а у этого… всё совершенство!..

Бирона ожидала у подъезда золотая карета, вся в стёклах, так что сидевший в ней мог быть виден с головы до пят, как великолепное насекомое, которое охраняет энтомологист в прозрачной коробке. И вот покатил он, ослепляя толпу и редкой красотой своего цуга, и золотой сбруей на конях вместе с перьями, веявшими на головах их, и блеском отряда гусар и егерей, скакавшего впереди и за каретой. Между тем как чернь дивилась счастию временщика, червяк точил его сердце: гордость его сильно страдала от дерзкого, неугомонного характера Волынского. «Но он погибнет во что бы то ни стало», – говорил Бирон, и блуждающие от бешенства глаза остановились на бумажке, приколотой едва заметно к позументу, которым обложена была рама в карете. Дрожащими руками, как бы от предчувствия, сорвана бумажка с своего места. Он готов был задохнуться от ярости, когда

прочёл написанное:

«Берегись, злодей!.. Тело Горденки похищено вчера в полночь и зарыто в таком месте, откуда можно его вырыть для свидетельства против тебя. Знай более, исполнители воли твоего клеврета бежали и скрываются там, где смеются твоему властолюбию».

Эта записка имела своё действие. Она смутила, испугала герцога грозною неожиданностью, как внезапный крик петуха пугает льва, положившего уже лапу на свою жертву, чтобы растерзать её. Он решился не обнаруживать государыне обиды, нанесённой ему соперником, до благоприятного исполнения прежде начертанных планов. Надо было отделаться и от Горденки, который его так ужасно преследовал. Собираясь зарезать ближнего, разбойник хотел прежде умыться.

Сибирь, рудники, пасть медведя, капель горячего свинца на темя – нет муки, нет казни, которую взбешённый Бирон не назначил бы Гросноту за его оплошность. Кучера, лакеи, всё, что подходило к карете, всё, что могло приближаться к ней, обреклось его гневу. Он допытает, кто тайный домашний лазутчик его преступлений и обличитель их; он для этого поднимет землю, допросит утробу живых людей, расшевелит кости мёртвых.

Глава VIII
ВО ДВОРЦЕ

Но час настал – я ничего не помню,
Не нахожу затверженных речей:
Любовь мутит моё воображенье…

Пушкин

– Во дворец! – закричал взбешённый Волынский и углубился в карету.

При слове «дворец» Мариорица, вооружённая с ног до головы всеми возможными обольщениями, предстала пред него.

«Там, – говорил он сам с собою, – увижу, может быть, её, эту пленительную Мариорицу, которую не могу вытеснить из сердца, от которой сойду с ума, если она не будет моею».

Молчание её на письмо, препятствия раздражили в нём страсть до того, что он признаётся в ней уже самому себе. Эту страсть называл он доселе прихотью непостоянного, влюбчивого характера. И что ж теперь? Одна мысль о Мариорице – и Волынский уже не кабинет-министр, не ревностный гражданин, жертвующий собой отечеству; он просто пламенный, безумный любовник. Что за слова: честь, благородство, отечество, он их более не понимает. Он кается уже, что вспышкою своего неосторожного характера слишком рано возбудил против себя временщика и что это обстоятельство отдалит его от дворца. Безрассудный! Он подрезал, может статься, в полном цвете лучшие свои надежды. В минуты мечтания о Мариорице (и, кажется, только в эти минуты) патриот Волынский готов уступить врагу, лишь бы он сделал его властелином её, одной только её. Тешься тогда лукавый сколько душе угодно, режь, души кого хочешь!.. И правду говорил Зуда: одному ль ему пересилить судьбу России в образе Бирона?..

Он погрузился в одну мысль о Мариорице. Вся душа его, весь он – как будто разогретая влажная стихия, в которой Мариорица купает свои прелести. Как эта стихия, он обхватил её горячей мечтой, сбегает струёю по её округлённым плечам, плещет жаркою пеною по лебединой шее, подкатывается волною под грудь, замирающую сладким восторгом; он липнет летучею брызгою к горячим устам её, и чёрные кудри целует, и впивается в них, и, весь напитанный её существом, ластится около неё тонким, благовонным паром.

– Карета давно подъехала ко дворцу! – раздался голос, и Волынский, встрепенувшись, видит: дверка отворена, подножки спущены и гайдук в изумлении смотрит на своего барина,

неподвижно углублённого в карете.

«Уж не удар ли с ним!» – думает слуга.

– Да, да, я задремал, – говорит Артемий Петрович.

Браня себя за свою слабость и обещаясь быть вперёд благоразумнее, он спешит во дворец.

Входя в него, не заботится, как примет его государыня; он думает только о восторге с Мариорицей. Сердце его трепещет, как у молодого человека, вступающего в первый раз в свет. И вот он в комнате, где принимает его императрица Анна Иоанновна. Она забавлялась в ней игрою на бильярде, которую так же любила, как верховую езду и стрельбу из ружья.

Волынского осаждает вереница шутов разного звания и лет (их было, если не ошибаюсь, шесть почётных, включая в то число Кульковского, успевшего также явиться к своей должности). Между ними отличаются итальянец Педрилло, бывший придворный скрипач, но переменивший эту должность на шутовскую, найдя её более выгодною, и Лакоста, португальский жид, служивший ещё шутом при Петре I и прозванный им принцем самоедов. Старик Балакирев – кто не знал его при великом образователе России? – дошучивает ныне сквозь слёзы свою жизнь между счастливыми соперниками. Он играет теперь второстепенную роль; он часто грустен, жалуется, что у иностранцев в загоне, остроумен только тогда, когда случается побранить их. И как не жаловаться ему? Старых заслуг его не помнят. Иностранные шуты, Лакоста и Педрилло, отличены какими-то значками в петлице, под именем ордена *Бенедетто* , собственно для них учреждённого. А он, любимый шут Петра Великого, не имеет этого значка и донашивает старый кафтан, полученный в двадцатых годах. Вообще все эти шуты не прежних времён; фарсы их натянуты, тупы, и как быть им иначе под палкою или, что ещё хуже, грозным взором Бирона? Остроумие – дитя беззаботного веселия.

– О, волинка! пру, пру, ду, ду… – вскричали и затянули один за другим Педрилло и Лакоста, увидав Волынского, которого они не любили потому, что он их терпеть не мог и ничем не даривал; да и соперничество его с герцогом курляндским было положено тут же на весы.

– Видно, музыка этой волынки не по вас, картофельщики, – подхватил Балакирев, – стеклянные головки не выдержат русского языка.

Императрица играла в бильярд с Мариорицей, которую сама учила этому искусству, чтобы иметь во всякое время свою *домашнюю* партию. Княжне Лелемико приходилось играть; но при имени Волынского она вспыхнула, побледнела и задрожала. Шары двоились в глазах её, бильярд ходил кругом. Можно догадаться, каков был удар.

– Кикс, моя милая! – сказала государыня, засмеявшись, – никогда ещё не видывала я тебя в таком знаменитом ударе. А? Наш любезный кабинет-министр! – примолвила она, обратясь с приветливым видом к Волынскому. – Каково здоровье?

– Ещё худо, ваше величество, – отвечал он, бледный от смущения княжны Лелемико, не скрывшегося от его взоров.

– Это заметно.

– Но я поспешил сделать вам угодное, государыня, принялся ныне же за устройство…

– Ледяного дворца для свадьбы моего новобрачного пажика. – Кульковский сделал глубокий поклон так, что широкая лысина его казалась блестящею тарелкою среди его туловища, в неё звучно шлёпнул Педрилло ладонью. – Я любовалась уж из окна, как у вас дело спеет. Мне это очень приятно. Вы с таким усердием исполняете моё желание, что даже нездоровье вас не удержало.

– Удовольствие ваше, государыня, дорого нам.

– Не взыщите, господа, что отвлекаю вас от дел государственных для своих прихотей… Да, таки прихотей… не скрываю этого; но старая, хворая, брюзгливая женщина всегда с причудами. Зато недолго буду вам надоедать ими.

Анна Иоанновна произнесла это грустным голосом, как бы предчувствовала свою близкую смерть. Волынский хотел что-то сказать, но государыня предупредила его, смотря

на него проницательным взором:

– Мне уж и память вечную поют… – Волынский побледнел и собирался сделать почтительно возражение; но и тут государыня дала ему знак рукою, чтобы он молчал, и примолвила: – Знайте, однако ж, мой любезнейший Артемий Петрович, что я умею различать от истины шутку, под весёлый час, а может быть, и в сердцах сказанную. Дела ваши говорят мне о вашей преданности лучше, нежели сплетни. – Она протянула милостиво руку Волынскому, и тот, став на одно колено, поцеловал руку с жаром благодарности. В это время вошёл герцог курляндский. Государыня, сначала испуганная его появлением, смешалась, однако ж вскоре оправилась и, взглянув на него довольно сухо, продолжала, обращаясь всё к кабинет-министру: – Я не имею нужды посылать за вами по три раза; вы являетесь даже на мысленное моё приглашение. Верьте, – прибавила она, давая голосом особенный вес своим словам, – что никто нас не поссорит с вами.

Пасмурно, со злобною усмешкой смотрел Бирон на эту сцену и долго молчал, потом завёл разговор то с шутами, то с Мариорицей.

Поднялся гам между шутами. Надобно было им рассеять гнев государыни. Педрилло, приняв команду над товарищами, установил их, одного за другим, около стены, как дети ставят согнутые пополам карты, так, что, толкнув одну сзади, повалишь все вдруг. Один Балакирев не повиновался. Дело обошлось и без него. Педрилло дал толчок своей команде, и все повалились один на другого. Долго барахтался Кульковский по полу, чтобы встать. Государыня изволила смеяться этому фарсу; смеялись другие зрители, хохотали сами актёры. Потребован, однако ж, отчёт от Балакирева, почему он не повиновался.

– Червяк в голове! – отвечал старик угрюмо, – а когда червяк у русского заведётся, так и сам принц не только кур[91], но и коршунов не выгонит его.

За такое неповиновение отсчитали бедному шуту Петра I столько ударов палкою, сколько слов было в его ответе.

Между тем игра на бильярде кончилась, к удовольствию Мариорицы, делавшей беспрестанно промахи, несмотря что вооружилась всею душевною твёрдостию. Бойкая воспитанница гарема сделалась робка и стыдлива, как институтка за порогом дома, где получила воспитание. Условлено было, что, когда княжна проиграет, должен пролезть под бильярдом ассистент её, новопожалованный паж, а в противном случае – Педрилло. Пал роковой жребий на Кульковского, и он пополз на четвереньках, сопровождаемый общим смехом. Жестокая судьба его не удовлетворилась тем, что заставила его считать, задыхаясь, перегородки бильярда, что товарищи осадили его со всех сторон киями, как охотники кабана, запутавшегося в тенетах; надо ещё было, чтобы вбежала любимая государынина борзая сучка, которая увенчала потеху, вцепившись зубами в ухо страдальца.

– Ату! Ату! – кричали шуты.

Травля была презабавная… Кровь порядочно струилась по пухлой щеке Кульковского, и, несмотря на боль, он не смел отогнать свою мучительницу. Мариорица почти со слезами смотрела на это зрелище. Наконец государыня, боясь видеть своего пажа корноухим, сжалилась над ним и велела отнять собаку. Сколько раз, при совершении этого мученического подвига, вспоминал Кульковский о своём дежурном стуле в Летнем дворце! Вдобавок поручили ему смотреть за сучкою, с тем чтобы она привыкла к нему.

Гнев императрицы на герцога, как и можно было ожидать, кончился со смехом её на проказы шутов. Он умел воспользоваться минутою весёлости, чтобы подойти к её величеству и просить у ней прощения, сбрасывая всю вину на важные дела государственные, которых разбирательством он должен был заняться.

– Желая вас успокоить скорейшим окончанием их, – говорил он, – я сделался преступником. Где гнев, тут и милость.

Когда нужно было, хитрец умел употреблять и русские пословицы в дело. Изволили

---

91 Намёк на Бирона, герцога Курляндского.

простить по пословице, с тем, однако ж, чтобы во весь день важных дел не встречалось. Разговаривая с Бироном всё по-немецки уже ласковым тоном, изволили прохаживаться по бильярдной взад и вперёд и останавливались нередко у окна, из которого видна была начатая стройка ледяного дома. Этим случаем воспользовался Бирон, чтобы хвалить усердие Волынского в исполнении малейшей воли государыни. Такие отзывы льстили сердцу её величества, и она не упустила случая благодарить своего любимца за беспристрастие. Изъявили также желание, чтобы между первыми сановниками государства, которых она столько любила, отдавая, однако ж, преимущество, по справедливости, одному, существовал всегда мир, который будто, как до неё дошло, *колебался* …

– Каждому своё, – говорила государыня, – вам, кажется, делить нечего.

Тронутый герцог, со слезами на глазах, поклялся даже сделать уступки своих прав Волынскому, чтобы только угодить обожаемой государыне. В сердце же клялся помириться с ним тогда лишь, когда увидит голову его на плахе. Он убеждён был тайною запискою, найденною в карете, что ещё не время действовать решительно, и потому скрыл глубоко свою ненависть.

С другой стороны, кабинет-министр, отуманенный любовью и довольный, что государыня отвлечена от него жарким разговором с Бироном, забыл свою вражду. Он спешил воспользоваться этим случаем, чтобы подойти к княжне Лелемико. Любовь, стыдливость, которой не учили её в гареме, а научила сама природа, били ключом из сердца её и выступали на щеках румянцем, в глазах – томительным огнём. Когда Артемий Петрович подошёл к ней, из-под длинных её ресниц блеснуло выражение сердечного участия, дрожащие, уста её сделали вопрос:

– Здоровы ли вы?

– Я был болен, очень болен, – отвечал Волынский, – и хотел было умереть.

Слеза навернулась на её глазах; она покачала головой, как бы хотела сказать: «Безжалостный! Что вы со мною делаете?..» – и сказала вслух:

– Должны быть важные причины на это?

– Вы презрели моими страданиями, и для чего ж мне после жить!.. Но я хотел ещё раз вас увидеть, ещё раз упиться этим блаженством, и потом… да судит Бог!.. Не моя вина! Зачем перенёс он вас в Петербург? Зачем испытывать было надо мною обольщения вашего небесного взгляда?.. Я человек; а надобно быть камнем, чтобы провести своё сердце сквозь такие испытания…

Мариорица не отвечала, но взор её наградил Волынского самою пламенною, самою нежною любовью. Дрожа, она положила на окно платок, из которого он мог заметить уголок свёрнутой бумажки. Это был ответ, который княжна написала, вставши поутру, но, за отсылкою «Телемахиды» сметливою служанкою, не могла доставить к Артемию Петровичу.

Ах! как любила Мариорица!.. Любовь разлилась в ней пожаром, во сне палило её муками, нежило роскошными видениями, наяву мутила все её думы, кроме одной, что Волынский сведён в её душу самим провидением, не как гость минутный, но как жилец вечный, которому она, раба, друг, жена, любовница, всё, чем владеет господин на востоке и севере, должна повиноваться, которого должна любить всеми помышлениями, всею душою своей, которого так и любит. И могла ль она после этого не отвечать на письмо его? Девушку с европейским воспитанием испугали бы в таком случае расчёты приличия, страх общественного мнения; она, пламенное дитя Востока, боится только гнева, холодности своего владыки. Мариорица полюбила не постепенно; страсть её не созрела временем, пожертвованиями, оценкою достоинств любимого предмета – она вспыхнула в один миг, в один миг её обхватила, и Мариорица не может уже любить ни более, ни менее, сколько любит. Ни у кого не спрашивалась она совета на эту любовь: ни у рассудка, ни у сердца, ни у людей. Любовь послана ей свыше, как фирман [92] султана его подданному: слепое

[92] Указ (перс).

исполнение или гибель!.. Никому не поверяет она своих чувств: если бы она это сделала, ей бы казалось, что она делит их с другим.

Волынский видит роковую бумажку, догадывается, что это ответ на его письмо, и не имеет возможности её взять. Шуты беспрестанно шныряют около них, подмечают их взгляды, подслушивают разговор, следят движения, но добыча шпионов небогата на этот раз. Разговоры влюблённых отрывисты, перемешаны кабалистикою слов, непонятных для черни, похищенных из другого, высшего мира. Волынский благодарит Мариорицу за жизнь, которую она дарит ему, которую обещает он ей посвятить. Он просит дозволения прислать к ней цыганку за ответом. Цыганка заслужила его доверие: можно ли отказать? Взоры княжны, увлажнённые любовью, то останавливаются на нём, то застилаются чёрными длинными ресницами; он пьёт её душу в этих взорах, он черпает в них море блаженства. Смущение их обнаружило бы скоро их страсть, если б голос императрицы, зовущей к себе княжну, не спас их от подозрения. Волынский блаженствует; он торжествует заранее и, смотря на всё в волшебное стекло любви, видит в своём враге ловкого, умного любимца императрицы. Они беседуют, шутят друг с другом, как будто никогда не ссорились, и государыня утешается, что согласие водворилось между ними так скоро по манию её воли.

Анна Иоанновна сидела на штофном диване, расположенном вдоль внутренней стены комнаты; несколько ступеней, обитых богатыми коврами, вели к нему. Мариорица уселась у ног её на верхней ступени.

– Как разгорелась ты, прекрасное дитя моё! – сказала государыня, обвив её шею своей рукой и поцеловав её в лоб.

От этого движения свалилась с головы княжны шапочка, и чёрные длинные косы пали ей на колени. Как она была хороша в эту минуту!.. Сама государыня посмотрела на неё с восторгом матери, подняла ей косы, обвила ими дважды голову, надела ей шапочку несколько набекрень, по-русски, полюбовалась опять на неё с минуту и, с нежностью потормошив её двумя пальцами за подбородок, примолвила:

– Какая милушка!

Всё в комнате примолкло; самые шуты не шевелились, будто страшась нарушить это занимательное зрелище. Волынский стоял как вкопанный: он пожирал Мариорицу глазами, он весь был у ног её. На беду, княжна сидела по-восточному, и одна ножка её, обутая в башмачок, шитый золотом, уютная, как воробышек, выглядывала из-под платья и дразнила его пылкое воображение. Государыня заметила силу его взглядов и сказала шутя, закрыв рукою лицо княжны:

– Господин Волынский, не сглазьте её у меня. Вы смотрите на мою Лелемико, как лисица на добычу. Я с вами поссорюсь за это.

Волынский отвечал, как придворный, что он не мог не заплатить невольной дани красоте.

– И я ли один, – прибавил он» – виноват в этом проступке: ваше величество женщины, и сами не скрываете своего восторга при виде на княжну.

Разумеется, похвалы заставляли Мариорицу ещё более краснеть, хотя и были ей приятны.

Во время этой сцены Бирон, чтобы избавиться от невольного обольщения или для того, чтобы не мешать страсти Волынского расходиться более и более, на собственную его гибель, ласкал государьенину собаку и, казалось, на неё одну обратил своё внимание. Наконец он сказал:

– Ваше величество изволите женить Кульковкого; вот и свадебный дом строится, но о невесте не было ещё слова.

– Ваша правда, подойник готов, а коровы ещё нет, – отвечала, смеясь, государыня. (Бирон успел предупредить её насчёт барской барыни, сказав, что эта пара будет презабавная.) – Надо, – продолжала она, подозвав к себе Кульковского, – положиться на его вкус. Послушай, дурак, выбирай во всей империи, только не при моём дворе; даю слово, что, если изберёшь достойную себя, не откажу быть твоею свахою.

Низко поклонился жених, положил руку на сердце, тяжело вздохнул и объявил, что страдает денно и нощно по госпоже Подачкиной и умрёт, если она не будет его супругой.

– О ве, о ве! Иссохнет бедный до второго пришествия, как спицка! – подхватил Лакоста.

– Oche bella armonia! – прибавил Педрилло, – corpo di bacco![93] Одна толст, как бас, а другая – тоненька фагот.

– Не парочка, а чудо! – вскричал Балакирев, – в пустую бочку поселится саженная змея.

– Кто ж эта знаменитая Подачкина, на которую пал такой счастливый жребий? – спросила государыня.

– Не знаю, ваше величество, – сказал Бирон.

– Моя барская барыня, – отвечал, смутясь, Волынский. У него вертелись в голове тёмные догадки насчёт её. – Только удивляюсь очень, каким образом наш Парис, не сходя со стула в приёмной его светлости, мог подметить такое сокровище, которое хранится у меня за тридевять замками.

– Надеюсь, господин Волынский, что вы не подожжёте моего дворца, если мы похитим вашу прекрасную… как бишь? За которую дрались греческие цари?

– Елену! – подхватил Бирон.

– Да, хоть Алёну?

– Боже меня сохрани! – отвечал Волынский.

– Так вы уступаете мне свою красавицу?

– С большим удовольствием.

– Благодари же, дурак!

И Кульковский, расшаркавшись перед кабинет-министром, рассыпался, как умел, в благодарности.

– Эта свадьба делается с позволения вашего, государыня, – сказал Бирон пасмурно, – но есть особы при вас, которые давно женаты и скрывают это от вашего величества.

Педрилло пал на оба колена и, зарюмив, вопил жалобным голосом:

– Виноват, матушка, только не снимай повинна головка.

– Как! У меня во дворце? Без моего позволения? – сказала с неудовольствием Анна Иоанновна.

– Серсе приказал: лупи, а кто можно против Серсе на кулачка маршир. Ах! Если бы ваш величество видел la mia cara[94], то простил моя. Глазка востра, бел, как млеко, нежна голосок, как флейтошка, ножка тоненька, маленька, меньше, шем у княжен, проворно тансуй, прыжки таки больша делай и така молоденька!..

Описание своей любезной сопровождал Педрилло страстною и отчаянною мимикой, прижимая то руки к сердцу, то вскидывая глаза к небу.

– Истину слов его, – сказал Бирон серьёзно, – и я могу засвидетельствовать.

– Да это должна быть какая-нибудь танцовщица! Кто ж она? – спросила государыня.

– Не смей моя сказать… (Педрилло испуганный, бледный, дрожал всем телом; холодный пот капал со лба.)

– Говори, я тебе приказываю.

– Девушка, жил здесь во дворес.

– Имя!.. Что ж…

– Ах! страх моя берёт и таскать душку во ад. Не казнишь моя…

– Говори, а не то… – вскричала с гневом государыня.

– Дочь… дочь, ох! придворна…

– Ну?..

---

[93] О, какая прекрасная гармония! Чёрт возьми! (итал.).

[94] Мою дорогую (итал.).

– Дочь… придворна коза.

– Козы! козы! – раздалось по комнате.

Государыня хохотала от всего сердца, смеялись и другие, сколько позволяло приличие.

– Если так, – сказал она, – то прощаю от души нарушение законных прав в моём дворце.

– Моя жёнка родил вчера, и когда ваш величество простил моя, так я прошу пожаловать на родина.

– А?.. понимаю! Плут знает, что у русских есть обычай класть на зубок деньги. Твоя шутка стоит награды. Хорошо; даю слово быть к тебе, и сама назначу для этого день. Герцог, вы не забудете мне об этом напомнить?

– Могу ли забыть то, что вам делает удовольствие? – отвечал Бирон.

– Случается это с вами… – прервала шутя государыня и обратила опять речь на свадьбу Педриллы.

Долго ещё смеялись его лукавой затее; наконец вышли все из бильярдной, иные из дворца, каждый унося на свою долю больший или меньший участок удовольствия, которое доставило им короткое время, проведённое в этой комнате. Один старик Балакирев уносил на своей спине боль от полученных ударов.

По приезде Бирона домой Липман имел ещё дух доложить своему патрону, что исполнительный Гроснот найден в своей комнате застреленным, вероятно, вследствие побега конюхов, обливавших Горденку. Обратить свой гнев на Липмана было опасно, и потому решились временщик и клеврет его стараться отыскать тайных производителей этого дела и устремить всю коварную политику свою на исполнение прежде начертанных планов. Лучших, более действительных нельзя было и придумать.

Вместо одного Гроснота Бирон нашёл их десяток: на низких людей никогда не бывает недорода.

Глава IX
ПРИПАДОК

Часто в пылу сражения царь задумывался о своём царстве, и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и, бывши зрителем, казалось, видел что-то другое.

«Опал» И. К.

Влюблённое сердце перемогло честолюбивую душу, и с тайными слезами я продаю свободу свою за безнадёжное счастие.

Марлинский

Волынский обещал прислать цыганку к княжне Лелемико, и первой его заботой было приказать отыскать её. Несколько дней поиски были тщетны. Мучимый желанием скорей прочесть ответ Мариорицы, он решился прибегнуть к помощи увалистого Тредьяковского так, что мог бы воспользоваться ею, не вполне открыв ему цель этого содействия. На беду, творец «Телемахиды» страдал только завистью – болезнью мелких душ. Он писал к Артемию Петровичу, что изнемог духом и телом, видя несправедливость к нему соотечественников, унижающих его пред сочинителем оды на взятие Хотина, и что он до тех пор не может приняться за служение музам и своему меценату, пока не исходатайствуют ему кафедры элоквенции и указа на запрещение холмогорскому рыбачишке писать. В тогдашнее время было ещё мало пишущей братьи, а то посредственность не преминула бы составить заговор против юного таланта, расправлявшего могучие крылья. Разумеется, проситель удостоился от благородного и умного вельможи, чего стоил, – эпитетов подлого и злого дурака. С первою ж почтою богатый подарок отыскивал странника Ломоносова.

Несколько дней Артемий Петрович не имел случая видеть Мариорицу, и страсть в эти

дни так успешно забрала над ним власть, что сделала его совершенно непохожим на себя. Он блажил, как ребёнок, был то взыскателен и нетерпелив, то холоден к своему делу и слаб. Советов Зуды он вовсе не слушал; сначала сердился на него, потом стал его удаляться; наконец, не имея около себя никого, с кем мог бы поделиться душою, обратился опять к нему, с условием, однако ж, не раздражать его противоречием.

– Стоит только, – говорил он ему, – получить мне от тайного нашего поверенного условленный пароль, и хандра моя, как чад, пройдёт. Верь мне, время это очень близко. Государыня стала чаще сердиться на Бирона и даже сделала опыт лично изъявить ему свой гнев. Недаром скрывает он обиду, которую я нанёс ему и которую ни простить, ни забыть нельзя. Это уж означает его слабость. Два-три дня решительного гнева государыни на него – и тогда одно слово, только одна мысль о слезах и крови моих соотечественников, о России, молящей меня быть заступником своим, и я бегу исполнить свой долг и умереть, если нужно, за святое дело. Тогда не будет места в сердце ни другу, ни Лелемико, ни одному живому существу на свете. Постригусь отечеству, произнесу роковой обет и вырву всё земное из земного сердца. А теперь, воля твоя, не могу, не в силах… я ещё не в святой ограде… дай мне насладиться за нею благами мирскими, насмотреться на прекрасные очи, наслушаться волшебного голоса, и потом – готов хоть на плаху!

Зуда, слушая его, качал печально головой, пожимал слегка плечами – делать было нечего.

Когда уведомили Волынского, что Подачкин произведён в офицеры вопреки его воле, он махнул рукой и сказал:

– Хоть бы в сенаторы!

Когда Зуда известил его, что замороженный Горденко зарыт на берегу Невы в известном месте и готов встать из своего снежного гроба, чтобы обличить Бирона в ужасном злодеянии. Волынский отвечал:

– Хорошо! Но пусть подольше не тревожат этого несчастного трупа. Бедному и по смерти не дадут покоя.

Узнав, что конюхи Бирона, возившие ледяную статую на Неву, бежали в деревни Артемия Петровича и готовы в свидетели, он сказал своему секретарю:

– Челнок их в пристани; не трогайте его с места. Напротив, употребите все средства, чтобы обеспечить их от опасности. Наше дело подвизаться и гибнуть за отечество, если нужно, в гербу каждого дворянина вырезаны слова чести, долга, славы, сердце каждого из нас должно выучить эти слова с малолетства, тотчас после заповедей Господних. А конюхов зачем неволею тащить, может быть, на гибель за предмет, которого они не понимают?..

Раз какой-то нищий в сумерки у подъезда подал ему бумагу и скрылся. Это был подлинный донос Горденки, доставленный Липману цыганкою и потом переданный самому Бирону. Сокровище для кабинет-министра! Не видав доноса, он не мог иметь понятия о драгоценных тайнах, в нём заключавшихся. Артемий Петрович обрадовался было этой находке и вместе чего-то испугался. «Не ведёт ли эта роковая бумага, – говорил он сам с собою, – к решительной минуте и к разлуке с Мариорицей, как она привела несчастного Горденку к ужасной смерти!»

Думал ли Волынский о своей супруге? Уж конечно! Но каковы были эти думы!.. Страшная борьба происходила сначала в душе его. Он ценил любовь её, её доброту и любезность, обвинял себя в неблагодарности, мучился, терзался, как преступник, проклинал свою слабость и всё это кончал тем, что жил одною любовью к Мариорице. Портрет жены казался ему беспокойным обличителем, давил его своим присутствием – и портрет был снят и поставлен за бюро. Боясь, чтобы она не приехала, писал к ней, что он сам скоро будет в Москву проездом, по случаю данного ему от правительства поручения, и чтобы она его там дожидалась. С трудом повиновалось перо и сердце поворачивалось в груди, когда он уверял её в нежной неизменяемой любви. Не сроднившись с обманом, он тем более мучился, употребляя его. Между тем, доведённый своею страстью до исступления, ломал голову, как

бы развестись с женою, и уж заранее искал на этот случай в главных членах синода[95]. Она не родила, какой ещё лучшей причины к разводу?.. Не он первый, не он и последний!

Не могли ничего над ним и предостережения тайного друга, чтобы он берёг себя более всего от себя ж. «Ваша любовь к княжне Лелемико погубит вас, – писал к нему аноним, – она известна уж вашим врагам и служит им важнейшим орудием против вас».

– О! Эти затейливые опасения, – говорил Волынский, – дело моего слишком осторожного Зуды! Пустое! Одна любовь не помешает другой. Я сказал уж ему однажды навсегда, что не покину намерения спасти моё отечество и не могу оторвать княжну от своего сердца.

Чем более Волынский в эти дни душевного припадка показывал себя слабым, тем усерднее работал за него Зуда и тайный поверенный кабинет-министра, как мы и видели уже выше. Они верили, хотя и с боязнью, по опытам благородного характера его, что одно чувство должно в нём в решительные минуты восторжествовать над другим. И потому не упускали случаев и времени быть ему полезными в борьбе с сильным, коварным временщиком. Против подкопов его и Липмана проводили они свои контрмины, не менее надёжные; но и те большею частью принуждены были скрывать от Артемия Петровича, любившего сражаться в чистом поле.

Надо ещё упомянуть о том, что случилось поздно вечером в самый день, когда он виделся с княжною в бильярдной дворца. Сидел он в своём кабинете с Зудой и рассказывал ему свою заносчивую ссору с Бироном, скорбя, что не послушался советов друзей. Вдруг за стеной кабинета, в гардеробной, кто-то застонал, и вскоре раздался визг и крик.

– Что это такое? – спросил Артемий Петрович, вздрогнув и вскочив с канапе, – не режут ли уж кого у меня в доме?.. Чего доброго!

– Не могу понять, что бы это такое было, – отвечал секретарь.

– Батюшки! – раздалось снова. – Батюшки! Спасите от нечистого! Пустите христианскую душу на покаяние.

Волынский и Зуда бросились на этот крик в гардеробную, но в ней, за темнотой, нельзя было ничего различить. Только слышно было, что хрипел человек, выбивавшийся из шкапа, который стоял у стены кабинета. Подали свечи, и что же представилось? Барская барыня в обмороке, растрёпанная, исцарапанная, и арап подле неё, хохотавший от всей души.

– С ума ты, видно, сошёл, – сказал с сердцем Артемий Петрович, – что вздумал так пугать старую женщину!

– Не женщину, а поганую ведьму, – отвечал арап, коварно усмехнувшись. – Жаль, что она совсем не околеет.

– Что это всё значит?

– А вот что, сударь. Давно подметили мы с господином Зудою проказы её. Лишь только к вам в кабинет их милость или какой ваш благоприятель, этот бес в юбке тотчас в гардеробную и всякий раз, слышу, дверь на запор. Взглянул я однажды в комнату: ни душонки в ней! Кой чёрт, думал я, куда она пропадает? В другой будь я умнее – следом за ней караульный глаз в скважину и вижу: разбойница вошла в шкап и пробыла там всё времечко, пока у вас оставались гости. Дай-ка порасскажу об этом господину Зуде; тут, думал я, промаху не будет. Поцеловал меня его милость за эту весточку, настрого приказал до поры молчать – извольте же видеть, сударь, почему я не смел пораскрыть нашу тайность. (Глаза арапа заискрились, и улыбающиеся чёрные губы его показали два ряда жемчужин.)

– Виноват, что посердился на тебя, друг мой, – сказал Волынский.

– И больше бы погневались, сударь, так беда невелика. Потом… потом… да, его

---

[95] Бракоразводные дела были в компетенции церковной власти, поэтому производство дел находилось в духовных консисториях, а решения обязательно утверждались архиереями. Могло быть только четыре повода к разводу: прелюбодеяние, неспособность к деторождению, безвестное отсутствие и лишение всех прав состояния.

милость господин Зуда подметил на днях в кабинете за канапе просверленную дырочку. Смекнули мы, что это щель из шкапа гардеробной. Подделали ключ – маршалок был с нами заодно, – ныне успел я в сумерки забраться в дозорную будку, затворив за собою исправно дверь. Пошарил в шкапе и нашёл преисправную щель, из которой всё слышно, что говорится у вас в кабинете. Вот почуяла чутьём наша жар-птица, что у вас будет с его милостью потайной разговор, и шасть ко мне под бочок. «Милости просим, кукушечка, к стрелку поближе!» – сказал я про себя. Только что приложила она ухо к щели, я ей в бок булавку. Почесалась она и опять за свою работу. Тут уж запустил я ей стрелку поглубже так, что она порядком охнула, сотворила крёстное знамение и примолвила: «С нами сила крёстная!» Окаянная! Мало, что людей морочит, и Бога-то хочет обмануть!.. Дал я ей вздохнуть крошечку да как схвачу её вдруг в охапку и начал душить, щекотать, кусать… ну, была такая потеха, сударь, что рассказать не сумею… все жилки надорвал со смеху. А теперь, – арап ужасно взглянул на свою жертву, – ох! кабы моя воля… нож ей в бок – одним крокодилом на свете меньше!

– Она умерла, – сказал один из слуг, составивших кружок около барской барыни.

Он взял её за руки, и руки упали окоченелые на пол.

– Пустить ей кровь! – примолвил другой, – вспрыснуть её холодной водой.

– А лучше плёткой! – перебил маршалок.

– Ах! Вспрыснуть водой, – возопила вдруг плутовка, открыв несколько глаза.

Волынский с презрением отворотился от неё и сказал дворне:

– Выбросьте эту поганую кошку вон сию ж минуту за ворота со всеми её пожитками. Чтоб духу её здесь не пахло!

– И вот наконец, – сказал Зуда, когда они возвращались в кабинет, – ваш домашний шпион у вас в руках! Я советовал бы вам допросить строжайше эту неблагодарную тварь.

– Не пытать ли её по-бироновски?.. Ну её к чёрту? Пропавшего не воротишь. А что до благодарности, не говори мне об этом, друг мой! Ты знаешь, сколько я сам виноват пред одной особой. – Он разумел жену. – Чего ж ожидать от черни?..

Известно, что слуги всякого рода любят быть приятными своим господам, усиливая приговоры их. Благородному Артемию Петровичу нельзя было угодить таким образом; но дворня, ожесточившись против барской барыни, удовлетворяла в этом случае только своему негодованию. Невесту Кульковского, снова упавшую в обморок, отнесли за ворота с ругательствами всякого рода и с горячим телесным уроком и выбросили на снежный сугроб. Туда ж принесли её имущество. Опозоренная, измученная, волоча кое-как за собою пожитки, которые только могла украсть в огромный узел, боясь в полуночные часы попасть на зубок нечистому, увязая не раз в сугробы снежные, она не раз вычитывала с ужасом: «Батюшки мои светы! Вынеси, Самсонова сила, лёгкое перо!..» Наконец, полумёртвая, она дотащилась едва к утру до жилища Липмана. Здесь оказали ей всякую помощь, какую требовали её подвиги и сан Кульковского невесты.

Однажды утром доложили Артемию Петровичу, что цыганка отыскана и приведена. Это известие обрадовало его.

– Только боимся ошибиться, она ли ещё, сударь, – говорил посланный. – Голос её, пол-лица также её, с другой стороны – урод уродом. Цыган при ней тот же, что и прежде ходил с пригожей Мариулой. Стоят на том, что она и есть, и божатся, и клянутся, а может, сударь, морочат.

– Нет ли в воздухе какой заразы, что все стали бредить! – сказал Артемий Петрович. – Введите её ко мне.

Ввели цыганку в кабинет, в котором никого, кроме него, не было. Один глаз у неё был закрыт пуком волос, правая щека фатою.

– Мариула, это ты? – спросил Волынский.

– Я, господин, но только не пригожая, таланливая Мариула, на которой ты останавливал свои высокие очи. Сомною случилась беда… я обварилась кипятком и… признаешь ли меня теперь?

Голос её дрожал. Она подняла фату и пук волос. Щека, в одном месте исписанная красными узорами, в другом собранная рубцами, синекровавая яма наместо глаза – всё это безобразие заставило Артемия Петровича отвратиться.

– Что, барин?.. Вот ваша хвалёная красота!

Брюзгливо вскинул он взоры на неё, махнул рукой, чтобы она закрыла по-прежнему своё безобразие, и, когда она это исполнила, посмотрел на неё с жалостью, глубоко задумался с минуту, наконец сказал:

– Мне твоя красота не нужна. Мариула, а нужна твоя верность, твой ум.

– Я уж раз докладывала вам рада вам служить, добрый господин, – отвечала цыганка с живым участием.

Тут Волынский признался, что он любит княжну Лелемико и что она к нему неравнодушна. Щека цыганки загорелась:

– Что ж далее? – спросила она с нетерпением.

– Вот видишь, я писал к ней, ответ её готов но ей не через кого переслать его. Ты должна сходить во дворец и получить записочку.

– С радостью – отвечала Мариула, запинаясь, как будто стоял у ней кусок в горле.

И дрожащий голос её, и белые пятна, выступившие на пламенной щеке, изменяли её душевному беспокойству Мысль, что мать…. сама… Но она это делала для блага своей дочери. Может статься, Артемий Петрович хочет только погубить Мариорицу!.. Поверенная их тайн, она будет иметь возможность её спасти…

– Только с условием. – примолвила она умоляющим голосом, – буду помогать тебе всем моим разумением, всем лукавством, да… смотри, добрый, милый, честный барин, не сделай несчастною бедную девушку… Говорят, я уж успела выведать… сирота круглая, не имеет ни отца, ни матери, с чужой стороны… не доведи её до погибели, побойся Бога, женись на ней.

– О! Да с какими же ты причудами!.. Это дело свахи и попа.

– А что ж я, как не сваха!.. Вот видишь, барин, я много уж грехов приняла на свою душу: Бог за то и наказал меня. Мы хоть и цыгане, а знаем Бога. Пора мне жить честно. Коли не примешь моего условия, – прибавила она с твёрдостью и жаром, – я и дел никаких начинать не стану. Что ж?.. Женишься?..

– Уж конечно!.. Для чего б иначе!..

– Поклянись.

– Как же ты неотвязчиво требуешь!. Странно! Одна ко ж, пожалуй, клянусь…

– Всемогущим Богом… Слышишь?

Голос Мариулы был грозен, одинокий глаз её страшно сверкал, в душе Волынского совесть невольно забила тревогу.

– Уж конечно… Им… – сказал он, смутясь, – если только позволят…

– Кто ж?

– Например, государыня.

– О, чего бояре не выхлопочут, когда только захотят. Помни, Господь карает тех, кто преступает клятву.

Волынский старался усмехнуться.

– Право, ты, Мариула, годишься в проповедники.

– Побоишься суда небесного, так начнёшь говорить и проповеди. Теперь мы условились: ты будешь иметь пригожую жёнку; сиротка найдёт себе доброго, знатного, богатого мужа; а я буду с фатой… не забудь же фату за первый поцелуй… и душа моя не даст ответа Богу, что погубила мою… мою красавицу… Хоть и не видывала её, но люблю-таки, сама не знаю почему… может статься, потому, что сама была в такой беде, как она. И меня погубил когда-то такой же красивый барин, как и ты… – Мариула утёрла навернувшиеся на глазу слёзы. – Когда-нибудь я тебе это расскажу. Но я не плакать пришла, а дело делать. Жду твоего наказу.

Позван был арап и получил наставления провесть цыганку во дворец к княжне

Лелемико. При наказе Мариуле, чтобы она исполнила хорошенько поручение, Артемий Петрович хотел пожаловать ей золотую монету. Но цыганка с гордостью оттолкнула руку его, обещаясь, впрочем, взять деньги, когда всё уладит.

Глава X
ПОСЛАННИЦА

Родная мать… О Боже! Мать родная
Ей в руку чистую влагает нож;
Ведёт её сама к ужасной бездне
И думает: веду её к венцу,
На ложе пышное любви и счастья…

Не столько тревожит любовника первое тайное свидание с любимым предметом, как тревожило Мариулу свидание с княжною Лелемико. Радость и страх видеть так близко дочь свою, говорить с нею до того волновали её кровь, что занимался у неё дух; в голове и сердце её стучали молоты. Несколько раз дорогою останавливалась она, чтобы перевести дыхание.

– Смело за мною, – сказал арап, входя на крыльцо у маленького дворцового подъезда, и потом, изредка оборачиваясь к своей спутнице и ободряя её взором, повёл сквозь саранчу придворных слуг по извилинам лестниц и коридоров.

Было близко к девяти часам утра; но всё во дворце ещё ходило полусонное.

Мариула выставила тут вполне своё безобразие.

– Куда ведёшь этого урода? – спрашивали арапа любопытные.

– Куда приказано, – отвечал он, – много знать будете – состаритесь.

Иногда отделывался на нескромные вопросы молчанием; кому нужно, говорил, что герцог хочет ввести к государыне цыганку, которая чудная гадальщица.

– Мысли читает, братец, – говорил он, – знает, что с тобою было, что будет и какою смертью умрёшь.

Такие рассказы возбуждали во многих желание познакомиться с чудною ворожеею. Суеверие – общая слабость людей во всех званиях.

В одном коридоре, где ходили тихо, на цыпочках, Николай вызвал чрез камер-лакея арапку, привезённую с ним вместе в Россию. Он сказал ей что-то по-своему. Молодая пригожая негритянка, с коралловым ожерельем вокруг чёрной шеи, в белой шерстяной одежде, умильно улыбнулась своему соотечественнику, – в этой улыбке было что-то более, нежели дружеское приветствие, – кивнула ему курчавою головкой, давая знать, чтобы следовал с своей подругой за нею, привела их к одной двери в коридоре, отворила осторожно дверь и, всунув в отверстие голову, сказала:

– Княжну спрашивает женщина. Можно войти?

– Кто там? – раздался приятный голос, пробежавший по всем струнам Мариулина сердца. Ноги её готовы были подкоситься.

– Какая-то цыганка вас спрашивает, – отвечала арапка.

Едва слово «цыганка» было произнесено, послышалось, что кто-то опрометью бросился со стула или другой мебели и вслед за тем кто-то произнёс уже дрожащим голосом:

– Пускай войдёт!

Арап с своею соотечественницею отошли в сторону, чтобы потосковать о родине, шепнуть друг другу слово любви и между тем задержать в коридоре служанку княжны, вышедшую за завтраком. Мариула поспешила закрыть своё безобразие, но, за скоростью и боязнью, сделала это так неловко, что при входе её в комнату страшный глаз её, будто впадина в черепе мертвеца, и багровые швы, которыми было исписано полулицо, первые бросились в глаза княжны.

Мариорица была одна в комнате. Она едва не вскрикнула, увидав циклопа в образе женщины, и сделала шага два назад, трясясь и смотря на неё с большим отвращением. В эту минуту она забыла даже о цели посещения этой чудной посланницы.

Трепет сообщился и Мариуле; к нему примешалось и чувство унижения. Она остановилась у дверей, как бы готовая распасться. В таком положении находились обе несколько мгновений: одна – как бы умаливая одиноким своим глазом простить ей её безобразие, другая – приучая себя к виду этого безобразия мыслью о том, кто послал её. Первая, призвав на помощь всё присутствие духа, старалась поправить свои волосы на кровавую впадину, стянуть фату на щёку и стать в такое положение, что одна пригожая сторона лица её была видна Мариорице. Этот манёвр помирил их.

– Что тебе надобно? – спросила наконец Мариорица.

– Вы… сударыня… знаете зачем… Артемий Петро… – Язык её с трудом двигался.

При этом магическом имени княжна забыла прежний страх. За несколько мгновений она боялась взглянуть на цыганку, теперь готова была обнять её. Боязнь заменил стыд поверить другой… незнакомой женщине свои тайны сердечные. Вспыхнув, она перебила торопливо речь посланницы:

– Так он прислал тебя?.. Какая ты добрая!.. Садись, милая! Не оскорбила ли я тебя?..

Мариула воспользовалась этим сердечным волнением и робко, униженно, как собака, которую побил хозяин и зовёт опять, чтобы приласкать, подошла к княжне, соразмеряя свои шаги с впечатлением, которое выказалось на лице её.

– Оскорбить!.. О нет!.. – сказала цыганка с особенным чувством, – меня… ты… вы… может ли это статься! Да, Артемий Петрович вправду говорил, что я найду добрую, прекрасную барышню…

Она повела по всей фигуре княжны свой блестящий, одинокий глаз, в котором горела любовь самая нежная, самая умилительная; любовалась красотою своей дочери, пламенем очей её, правильностию коралловых губ; этим одиноким глазом осязала шёлк её волос, обвивала тонкий стан её, целовала её и в очи, и в уста, и в грудь… И могла ли она вообразить себе, чтобы эта самая прекрасная княжна, живущая во дворце, окружённая таким очарованием счастья, была некогда маленькая цыганочка Мариула, в худых, суровых пелёнках, под разодранным шатром?.. Прочь, прочь эта мысль!..

Когда цыганка примечала, что тень боязни снова набегала на лицо княжны Лелемико, она произносила опять волшебное имя Волынского. Таким образом дошла до того, что могла взять её руку… И мать с трепетом, с восторгом неописанным поцеловала руку своей дочери… О! как была она счастлива в этот миг!.. Она была награждена за все прошлые муки и за будущие.

– Жаль мне тебя, милая, – сказала Мариорица. – Отчего ж у тебя половина лица так испорчена?

– Вот видишь, добрая барышня, у меня была дочка, лет шести. Случись у нас в доме пожар. Кто подумает об дочери, как не мать! Что дороже для нас, как не дитя! Я хотела спасти её, упала под горящее бревно и обожгла себе половину лица.

– Пожар!.. пожар!.. – твердила Мариорица, приводя себе что-то на память. – А где это было?

– Далеко, очень далеко; где ж вам и знать этот край! В Яссах.

«И я родилась в Яссах!.. и меня спасли в пожаре!..» – думала княжна, потом сказала:

– Так ты моя землячка! Я сама ведь тамошняя.

– Полюби меня, милая, хорошая барышня! Хоть ты и знатная госпожа, а я бедная цыганка, но всё-таки из одного края.

– О! Как же! Как же!..

И Мариорица взяла за руку цыганку и посадила её подле себя.

– Что ж? Ты спасла свою дочку?

Мариула боялась сказать лишнее и отвечала:

– Нет, бедная погибла в огне; и косточек её не нашли.

Жалость обнаружилась на лице доброй девушки; слёзы навернулись на её глаза.

– О, с этих пор ты можешь открывать при мне всё лицо своё. Я не буду тебя бояться… Бедная! И что ж, у тебя была только одна дочь?

– Только одна!.. Извините… государыня, если я вам скажу… она походила на вас очень, очень много.

Тут Мариула опять с нежностью схватила руку тронутой княжны, крепко, сладостно осязала её в своих руках, ещё раз поцеловала её, и княжна оставила цыганку делать, что она хочет, и сама её поцеловала.

Но горничная могла прийти и расстроить беседу, ограждённую столь хорошо случаем от беспокойных свидетелей. На этот раз покуда довольно было для матери… Она напомнила о письмеце. Торопливо вынуто оно из груди, тёплое, согретое у сердца.

– Если *он* поручил тебе взять его, – сказала Мариорица, отдавая свёрнутую бумажку, – так я тебе верю.

– Бог, ты да я будем только знать, – отвечала цыганка и, намолив княжне тысячи благословений Господних, вышла от неё в упоении восторга.

Артемий Петрович ожил, получа письмо: чего не сказал он посланнице! Он готов был её озолотить.

В бумажке, которую принесла она, заключалось следующее:

«*Понедельник, поутру.*

Вы требовали ответа на своё письмо: вон он. Тут моё всё: и стыд, и мнение ваше, и жизнь моя! Возьмите это всё в дар от меня. Не думала я долго, писать ли к вам: моё сердце, ваши муки, сама судьба приказывали мне отвечать.

Вы, верно, хотите знать, люблю ли вас? Если б я не боялась чего-то, если бы меня не удерживало что-то непонятное, я давно сама бы это вам сказала. Да, я вас люблю, очень, очень. Это чувство запало ко мне глубоко в сердце с первой минуты, как я вас увидела, и пустило корни по всему моему существу. Так, видно, хотел мой рок, и я повинуюсь ему. Неведомое ли мне блаженство вы мне готовите или муки, которых я до сих пор не знаю, я не могу, не хочу избегнуть ни того, ни другого.

Поутру же .

Я хотела послать к вам мой ответ в толстой книге учителя; да уж её отослали. Ах! как досадно! Что подумаете вы?.. Глаза мои красны от слёз.

На другой день.

Ты сказал, что умрёшь, если не буду тебе отвечать. Видишь ли? Я всё сделала, что ты хотел.

Теперь будешь ли жить? Скажи, милый!

Для чего не могу угадывать твоих желаний?.. Если нужна тебе моя жизнь, возьми её. Для чего не имею их тысячи, чтобы тебе их отдать?

Вместо вы пишу ты, по-своему, не по-здешнему. Если б ты знал, как это сладко!.. Пиши так же.

Среда .

Всё нет посланницы! И тебя не вижу. Здоров ли? Боюсь спросить у посторонних.

Теперь знаю, как сладко и как мучительно любить!

Вечером.

Девушка к тебе пишет, и что она пишет?.. Знаю, это очень дурно по-здешнему. Мне самой стыдно прочесть, что я написала. В Хотине, сказывали мне, там за это казнят. Но я не могу превозмочь, что свыше меня… И, прочитав моё письмо, продолжаю, и в Хотине я писала бы к тебе.

Я спрашивала своих подруг, какое самое нежное имя на русском; милый, голубчик, – сказали они. И я говорю тебе это имечко, потому что другого нежнее не знаю. Может быть, они меня обманывают, а может быть, они никогда не любили по-моему. Каких сладких имён не насказала бы я тебе по-молдавански, по-турецки!..»

В своде законов сердечных отыщите статью: *о письмах* , и вы там найдёте, что первое письмо между влюблёнными не бывает никогда последним, сколько бы ни клялась слабейшая половина не писать, не отвечать более. Этот клубок, раз выпущенный из рук под гору, разматывается до тех пор, пока оборвётся или израсходуется. И потому, в силу этой статьи, переписка продолжалась между нашими влюблёнными. Волынский пускал к Мариорице страстные посылки, от которых бросало её в полымя и она теряла малейший остаток спокойствия. Мечтать о нём было уже для неё мало; видеть его, быть близкой к нему, говорить с ним и не наговориться – сделалось потребностью её жизни. Она видела, слышала, чувствовала только им; покорная во всём его воле, она была даже раба его взора – по нём была весела или скучна, по этому регулятору двигалось её бытие, управлялась её судьба. Ещё непорочная своими поступками, она уже в пламенных письмах Волынского умела напитать своё воображение и сердце всеми обольщениями порочной страсти. Яд протекал уже по её жилам. Несчастная была на краю гибели. А он?.. Живя в веке развращённом, в обществе, в котором обольщение считалось *молодечеством* и пороки такого рода нянчились беззакониями временщика, свивавшего из них свои вожжи и бичи; заражённый общим послаблением нравов и порабощённый своей безрассудной любви, Волынский думал только об удовольствиях, которые она ему готовит. Совесть замерла, Бог был забыт, рассудок околдован. Рассуждает ли человек, напившийся опиума?

Передача писем делалась через руки Мариулы, которой и Волынский и Бирон, каждый для своих видов, помогали всячески укрепиться во дворце. Таким образом, мать сама способствовала несчастной страсти своей дочери, успокоенная насчёт её клятвою обольстителя, что он на ней женится, и отуманенная нежными ласками Мариорицы, за которые платила угождениями всякого рода. Может статься, к слабости матери присоединялись и нежные, заботливые расчёты, что, помогая этой любви, она в состоянии будет неусыпно следить за ходом её и вовремя предупредить погибель дочери. Мариорица до того её полюбила, что садилась к ней на колена, обвивала свои руки около её шеи, убирала мастерски безобразие её полулица фатою и волосами, целовала её в остальный глаз, миловала, как свою няню, кормилицу, едва не как мать. И Мариула, в упоении от этих ласк, сама называла её нежнейшими именами.

– Милое дитя моё, – говорила она, – ненаглядная, дулечка, жизнёночек, люби этого пригожего Волынского. Он сделает тебя счастливою. Но только до женитьбы своей не давай ему много воли над собой. Один поцелуй… не более! А то пропадёшь навеки, достанешься в когти дьяволу!..

– Ох, Мариуленька, дорогая моя, – отвечала, вздыхая, влюблённая девушка, – боюсь, этот поцелуй сожжёт меня.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава I
ЛЕДЯНОЙ ДОМ

Всё чудо из чудес, куда ни погляди!
Каков же феин был дворец, признаться вам,
То вряд изобразит и Богданович сам.

И. Дмитриев

Я сберегла тебе невинных уст лобзанье.

«Манцениль». Туманский

Работа спела. Между адмиралтейством и Зимним дворцом, как бы по мановению волшебного жезла, встало в несколько дней дивное здание, какого ни одна страна, кроме России, не производила и какое мог только произвесть суровый север наш с помощью жестокой зимы 1740 года. Всё здание было из воды. Фундамент клался из воды; стены, кровля, стёкла, украшения выводились из неё же; всё спаявалось водою; вода принимала все формы, какие угодно было затейливому воображению дать ей. И когда солнце развернуло свои лучи на этом ледяном доме, он казался высеченным из одного куска сапфира, убранного фигурами из опала.

Современник этих ледовитых затей, почтеннейший *Георг Волфганг Крафт* , оставил *«для охотников до натуральной науки»* подробное описание дома[96]. Не желая лишить господина Крафта достойной славы или, лучше сказать, боясь вступить с ним в состязание, предоставляю ему самому говорить на немецкий лад о способе постройки, расположении и украшениях любопытного здания[97].

«Самый чистый лёд, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкою размеривали, рычагами одну ледяную плиту на другую клали и каждый ряд водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом чрез краткое время построен был дом, который был длиною в восемь сажен, шириною в две сажени с половиною, а вышиною вместе с кровлею в три сажени.

Напереди перед домом стояло шесть ледяных точёных пушек, которые имели колёса и станки ледяные ж, что и о всём последующем разуметь должно, разве что не ледяное случится, о чём именно упомянуто будет. Пушки величиною и размером против медных трёхфунтовых сделаны и высверлены были. Из оных пушек неоднократно стреляли; в каковом случае кладено в них пороху по четыре фунта, и притом посконное или железное ядро заколачивали. (Такое ядро некогда в присутствии всего императорского придворного штата, в расстоянии шестидесяти шагов, доску толщиною в два дюйма насквозь пробило.) Ещё ж стояли в том же ряду с пушками две мортиры. Оные сделаны были по размеру медных мортир против двухпудовой бомбы[98]. Напоследок в том же ряду у ворот стояли два дельфина. Сии дельфины помощию насосов огонь от зажжённой нефти из челюстей выбрасывали, что ночью приятную потеху представляло. Позади помянутого ряду пушек и мортир сделаны были около всего дому из ледяных баляс изрядные перила, между которыми, в равном расстоянии, четвероугольные столбы стояли. Когда на оный дом изблизи смотрели, то с удивлением видна была вверху на кровле четвероугольными

---

[96] В книжице, ныне довольно редкой и известной под названием: Подлинное и обстоятельное описание построенного в Санкт-Петербурге, в Генваре 1740 года, ледяного дома и всех находившихся в нём домовых вещей и уборов, с приложенными при том гридированными фигурами, также и некоторыми примечаниями о бывшей в 1740 году во всей Европе жестокой стуже, сочинённое для охотников до натуральной истории чрез Георга Волфганга Крафта, С. – Петербургской Императорской Академии Наук члена и физики профессора. – Печатано при Императорской Академии Наук, 1741. (Примеч. И. И.Лажечникова.)

[97] Неохотники до натуральной науки могут пропустить текст г-на Крафта. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

[98] Из которых многократно бомбы бросали, причём на заряд в гнездо 1/4 фунта пороху кладено. (Примеч. И. И.Лажечникова.)

столбами и точёными статуями украшенная галерея, а над входом преизрядный фронтишпиц, в разных местах статуями украшенный. Самый дом имел дверные и оконишные косяки, также и пилястры, выкрашенные краскою наподобие зелёного мрамора. В оном же доме находились крыльцо и двое дверей; при входе были сени, а по обеим сторонам покои без потолку, с одною только крышею. В сенях было четыре окна, а в каждом покое по пяти окон, в которых как рамки, так и стёкла сделаны были из тонкого чистого льду. Ночью в оных окнах много свеч горело, и почти на каждом окне видны были на полотне писанные смешные картины, причём сияние, сквозь окна и стены проницающее, преизрядный и весьма удивительный вид показывало. В перилах, кроме главного входа, находились ещё двоисторонние ворота и на них горшки с цветами и с померанцевыми деревьями, а подле них простые ледяные деревья, имеющие листья и ветви ледяные ж, на которых сидели птицы, что всё изрядным мастерством сделано было.

Наружное, прочее сего дома украшение состояло в следующих вещах. На всякой стороне, на пьедестале с фронтишпицем, поставлено было по четырёхугольной пирамиде. Помянутые пирамиды внутри были пусты, которые сзади от дому вход имели. На каждой оной стороне высечено было по круглому окну, около которых снаружи размалёванные часовые доски находились, а внутри осьмиугольный бумажный большой фонарь (со множеством зажжённых свечей) висел, у которого на каждой стороне всякие смешные фигуры намалёваны были. Оный фонарь находившийся внутри потаённый человек вкруг оборачивал, дабы сквозь каждое окно из помянутых фигур одну за другою смотрители видеть могли. По правую сторону дома изображён был слон в надлежащей его величине, на котором сидел персианин с чеканом в руке[99], а подле его два персианина в обыкновенной человеческой величине стояли. Сей слон внутри был пуст и так хитро сделан, что днём воду, вышиною в двадцать четыре фута, пускал, которая из близ находившегося канала адмиралтейской крепости трубами проведена была, а ночью, с великим удивлением всех смотрящих, горящую нефть выбрасывал. Сверх же того, мог он, как живой слон, кричать, каковый голос потаённый в нём человек трубою производил. Третие, на левой стороне дома, по обыкновению северных стран, изо льду построена была баня, которая, казалось, будто бы из простых брёвен сделана была и которую несколько раз топили, и действительно в ней парились.

Теперь посмотрим, каким образом убраны были покои. В одном из них на одной половине стоял уборный стол, на котором находилось зеркало, несколько шандалов со свечами, которые по ночам, будучи нефтью намазаны, горели, карманные часы и всякая посуда, а на стене висело зеркало. На другой половине видны были преизрядная кровать с завесом, постелью, подушками и одеялом, двое туфли, два колпака, табурет и резной работы комель, в котором лежащие ледяные дрова, нефтью намазанные, многократно горели. В другом покое, по левую руку, стоял стол, а на нём лежали столовые часы, в которых находящиеся колёса сквозь светлый лёд видны были. Сверх сего, на столе в разных местах лежали для играния приомороженные карты. Подле стола по обеим сторонам стояли резной работы два долгие стула, а в углах две статуи. По правую руку стоял резной угольной поставец с разными небольшими фигурами, а внутри оного стояла точёная посуда, стаканы, рюмки и блюда с кушаньем. Все оные вещи изо льду сделаны и приличными натуральными красками выкрашены были».

Назначен был государынею день для осмотра ледяного дома; ей приятно было видеть, как исполнили её мысль, и – вместе забыться, хотя на несколько минут, от душевной и телесной болезней, её осаждавших. А чтобы очарование зрелища было сильнее, положено было смотреть дом ночью, при освещении.

Весь Петербург поднялся на ноги или заставил двигаться ноги своих лошадей; со всех концов его тянулись нити пешеходов и ряды экипажей. Старики будто умылись живой водой

---

[99] Чекан – боевой топор с узким лезвием и молотовидным обухом.

и, схватив свою старость в охапку, бежали к фокусу общего любопытства; дети, вцепившись в полу отцовского кафтана, влеклись за толпою. Остались в домах недвижный больной, или мать с грудным младенцем, боявшаяся подвергнуть его опасностям народной тесноты, или слепец, которому воображение заменяло и зодчих, и живописцев, и самые чудеса природы; но и те с нетерпением ожидали рассказов о чудном ледяном доме. Забыты нужды, голод, страх бироновского имени и казни.

Выступив из мрака ночи с своими огнями, ледяной дом сиял металлическим блеском и далеко бросал от себя свет на Луговую линию, очертивши им пёстрый полукруг лиц и ног; площадь казалась вымощенною верхушками голов. Нередко усиленный крик ледяного слона, или огненный фонтан, бивший из хобота его, или новая смешная фигура на окнах заставляли зрителей вторгаться за черту, заказанную слободскими десятскими и сотскими. Русские остроты сыпались часто под русскою палкою.

– Посмотри, братец, – говорил один, – на первой картине немец в трёхугольной шляпёнке, в изодранном кафтанишке, худой, как спичка, бредёт со скребницей и щёткой в руке, а на последней картине разжирел аки боров; щёки у него словно пышки с очага; едет на бурой кобылке, на золотом чепраке, и бьёт всех направо и налево обухом.

– Эка простота! – возражал другой, – там входил он на Русь пешком, а тут гуляет по ней верхом; там, вишь, он чистил лошадку, а здесь едет на чищеной.

– Ванька, а Ванька! Это что за изба? – спрашивал один.

– Баня, – был ответ.

– Для наших парильщиков не тесненька ли, Семён Кондратьевич? – спрашивал третий.

– Напрасно и строить трудились, – примолвил четвёртый, – у нас в Питере на всяком месте готова баня.

– Э! Господин десятский, поберегите для переду свой веничек; здесь, на морозе, негоже поддавать пару…

– Ступайте мимо, господин сотский; видишь, мы-ста сами стоим впереди тысячи.

– Слышь? Ледяной слон кричит!

– И камни вопиют во времена тяжкие, – произнёс какой-то книжник важным, поучительным тоном.

Таким образом, наши Бомарше с бородками, площадные ценсоры своего времени, тешили вдоволь глаза и языки свои. Казалось, они остротами отмщали на знати свою бедность и унижение и согревались от жестокого задушавшего мороза.

– Государыня, государыня! – закричали сотские – и всё замолкло благоговейною тишиной.

Заскрипел снег, тиснутый сотнями подков, зашипел он от множества порезов; показался эскадрон гусар и вслед за тем сани государыни, за коими тянулся ряд экипажей. Из ледяного дома выступило несколько придворных на крыльцо и впереди всех Волынский. Когда сани поравнялись с ним, он был подозван к её величеству. Она изволила милостиво расспрашивать его об устройстве дома и смеялась очень карикатурным изображениям, часто переменявшимся на окнах. Кабинет-министр давал замысловатые объяснения. Вдруг, при одной перемене, кто-то за санями государыни вскричал с сердцем:

– Глупость, достойная своего творца!.. Чрезвычайно глупо!..

Голос, произнёсший эти слова, был Бирона; нельзя было в том ошибиться ни императрице, ни окружавшим её. Она вздрогнула от неожиданности их, нахмурила брови и с гневом сказала:

– Не знаю, на чьей стороне глупость!..

Это было первое важное, немилостивое обращение к Бирону, которое она позволила себе с тех пор, как его знала. При этом обращении она взглянула назад, пылающий взор её любимца, стоявшего у ней на запятках, дерзко встретил её взгляд.

Задыхаясь от досады, государыня продолжала относиться к кабинет-министру:

– Растолкуйте мне, мой любезный Артемий Петрович, что бы такое значили эти картины?

Они не могли быть загадкою для посвящённых в таинства Бироновых проделок. На картинах представлено было: 1-е) сцена замораживания Горденки, снятая как бы с натуры; 2-е) сцена на Неве, где является привидение, чтобы отнять ледяной труп у конюхов; 3-е) маскерадные герои на Волковом поле и 4-е) самоубийство Гроснота.

– Ваше величество, – отвечал Волынский, – изволите, конечно, помнить, что, выезжая из манежа герцогского, заметили ледяную статую на маленьком дворе у конюшен его светлости.

– Помню.

– Именно эта статуя подала вашему величеству мысль сделать ледяной дом, которого быть строителем я удостоен вами. И потому я хотел сохранить в картине происшествие, давшее ему начало. Настоящую ледяную статую я постарался достать и перенёс в одну из комнат, которые буду иметь счастие вам показывать. Прочие картины – вымысел живописца.

– Очень благодарна за ваше намерение, и если вы сделали глупость, как угодно сказать *иному* , то я первая подала вам к ней повод. Разделяю вместе с вами силу гнева его светлости, хотя, впрочем, не понимаю причины её.

Ирония заметна была в самом голосе государыни.

– Время, конечно, объяснит, почему так не нравится его светлости эта ледяная игрушка, – отвечал торжествующий Волынский.

– Да, время!.. – произнёс Бирон в замешательстве, не зная сам, что говорит. Он бормотал ещё невнятные слова, когда почувствовал, что кто-то сзади дёргает его за рукав шубы, и – остановился, чтобы посмотреть, кто осмелился быть таким дерзким. Бледное, вытянутое лицо, взоры, бросавшие от себя фосфорический блеск, двигающиеся взад и вперёд орангутановые уши поразили его. Это был Липман. Осторожный Липман не придёт без важной нужды тормошить его за санями государыни. Это подтверждает и отчаяние, выражающееся во всей его наружности, судорожно исковерканной. Бирон соскочил с запяток и, на шёпот своего клеврета, исчез вместе с ним, как будто потонул в камском мохе.

Государыня слышала, что герцог соскочил с запяток… вздрогнула, испуганная и смущённая этим движением, предвещавшим что-то необыкновенное, склонила взоры и глубоко задумалась… Наступило мёртвое молчание. Самый слон замолк. Сани её не двигались; у саней Волынский, вокруг придворные кавалеры, впереди эскадрон гусар, сзади множество экипажей, вдали толпы народные – стояли на одном месте. Волшебное зрелище представляли тогда этот ледяной дворец, один, посреди ночи, потешающийся огнями своими, эта царица, казалось, навеки усыплённая в зимнем экипаже, эти кони, воины, двор, народ около неё, на снежном полотне, убелённые морозом, – всё это будто в саванах, неподвижное, немое, мёртвое, – и вдали кругом мрачные здания, выглядывающие с своими снежными крышами из-за ограды этой сцены! К довершению очарования стали носиться по воздуху полосы тумана, как бы невидимые духи устраивали над царицей дымчатый полог.

Но слон вскрикнул – государыня встрепенулась, и всё вновь ожило. Она велела тронуть сани, а Артемию Петровичу стать позади себя. Изволили раз проехать мимо слона, возвратились назад и пожелали видеть внутренность дома.

Между тем Бирон, разъярённый, рыскал в нём, предшествуемый одним Липманом.

– Не может быть! – говорил он, пыхтя от злобы, – неужели они эту поганую штуку сыграли?.. Правда ли?.. Кто тебе дал знать?..

– Племянник!.. – отвечал Липман. – Племянник не солжёт… вы сами знаете…

– Где ж?..

– Вот здесь…

С этим словом вошли они в комнату, где стояли часы и лежали карты на столе. С одной стороны в углу купидон с дубинкою на плече вытянулся как бы на караул; с другой стороны другой ледяной купидон, прислонясь к окну, держал палец правой руки на губах, а левой рукою предлагал рог изобилия, желая, конечно, дать знать, что скромность доставляет богатство и прочие дары фортуны. Тут до сих пор не было ничего, что могло возбудить гнев его светлости. Но в переднем углублении, сделанном наподобие стоячего гроба, позади

стола, выступил… человек с бледным лицом мертвеца, в обледенелой рубашке, босой… Он держал бумагу в дрожащей руке. Казалось, только что облили его на морозе: струи ещё слегка спадали с ледяных сборов его рубашки, по лицу его выступали капли предсмертного пота.

– Опять он!.. И везде он!.. – вскричал с ужасом Бирон.

Как не ужасаться было ему! По сотне душ отправлял он ежегодно в Елисейские поля[100], и ни один мученик не возвращался с того света, чтобы преследовать его. А тут везде за ним неотступно проклятый малороссиянин! Да даст ли он ему, в самом деле, покой? Странно! Никого столько не боится Бирон; на этом предмете скоро сведут его с ума.

Он замахнулся тростью, чтобы ударить ненавистную фигуру, но та погрозила на него… Трость невольно опустилась, и ледяной пот выступил на челе самого временщика. С минуту стоял он, дрожа от страха и гнева; потом, одумавшись, захохотал, вновь замахнулся в ярости на мертвеца и… разбил ледяную статую вдребезги. Упали перед ним маска и рука; эта, зацепившись за его шубу, казалось, не хотела пустить его от себя. Липман с трудом отодрал её; загнувшиеся концы проволоки, которая была в неё вделана, впились крепко в бархат шубы. На месте, откуда рука приводилась в движение, осталось небольшое отверстие с Невской набережной.

Пока Бирон сбивал с своей шубы куски льда, её облепившие, как бы стирал брызги крови, наперсник его вырвал бумагу, подал её и торопливо стал рыться в кусках по полу, боясь, не скрывалось ли ещё какой в них штуки. Бегло взглянул герцог на бумагу, на которой и прочёл:

«Государыня! Я, малороссийский дворянин Горденко, живой заморожен за то, что осмелился говорить правду; тысячи, подобно мне, за неё измучены, и всё по воле Бирона. Народ твой страдает. Допроси обо всем кабинет-министра Волынского и облегчи тяжкую участь твоей России, удалив от себя злодея и лицемера, всем ненавистного».

Судорожно скомкав бумагу – за пазуху её, потом спросил торопливо:

– Куда мы это всё?

Послышался шум позади их… оба вздрогнули. Кто-то вошёл – это был Кульковский. Будто по чутью, он угадал, что нужен первому человеку в империи, и явился при нём.

– Кстати, любезный! – сказал Бирон, обратясь к пажику, – убери с Липманом всё это поскорее… куда хочешь… хоть в свои карманы. По одной милости за каждый кусок!

Не дожидаясь окончания речи своего патрона, Кульковский – ну убирать куски льду, то в карманы, то за пазуху, то в рот… Последнее делал он единственно, чтобы показать, до какой степени он привержен к первому человеку в империи. Он успел вынести в два раза кучки льду за угол дома, спугнуть стоявшего там недоброжелателя, приводившего в движение статую, очистить место, где разбросан был лёд, и, мокрый, прохваченный морозом, неприметно вмешаться в свиту государыни, входившей в ледяной дом. Как не сказать при этом случае: высокое самоотвержение, достойное римлянина! – выражение, которым любил щеголять сам Бирон, когда жертвовали выгодами своего отечества личной пользе его.

Государыня обошла весь дом, во всех отделениях останавливалась и изволила рассматривать каждую вещь с большим вниманием (но не спрашивала уже о ледяной статуе, как будто боялась через неё нового оскорбления)… За всё благодарила Артемия Петровича в самых лестных выражениях и не только на нём, но и на друзьях его старалась показать своё отличное к нему благоволение. Партия Волынского торжествовала.

Когда императрица вышла из дому, густой туман налёг на землю, так что за несколько шагов нельзя было ничего видеть. По временам мелькали – то голова лошадиная, то хвост, то воин, плывущий будто по воздуху, то сани без коней, несущиеся как бы волшебною силою, то палаш, мгновенно змейкою блеснувший. Большие огненные пятна (от свету из домов), как

---

100 Елисейские поля – в античной мифологии: загробный мир.

страшные очи привидения, стояли в воздухе; по разным местам мелькали блудящие огоньки (от ходивших с фонарями). Невидимые лошади фыркали и ржали; невидимые бичи хлопали. Подаваемые к разъезду сани во мгле тумана сцеплялись с санями; несли лошади, испуганные и застоявшиеся на морозе. Суета полиции, крик кучеров, стон задавленных, треск экипажей представляли совершенный хаос.

– Боже! Что это?.. Господи помилуй! – сказала испуганная императрица, крестясь; обратилась назад, искала кого-то смутными глазами, силилась закричать: – Артемий Петрович, вырвите меня из этого ада! – но произнесла эти слова осипшим от страха голосом.

Волынского не было около неё; видя, что государыню сопровождают его друзья, он остановился с княжной Лелемико и… забылся. Герцог курляндский успел воспользоваться этим случаем и следил императрицу. Она обратила на него умоляющие взоры.

– Будьте спокойны, ваше величество, – произнёс он голосом глубочайшей преданности, – вы найдёте меня всегда возле себя, когда жизнь ваша в опасности…

– Жизнь моя? В опасности?.. Ради Бога, не отходи от меня!

Она схватила его крепко за руку и с этой минуты до самого дворца не покидала её.

К подъезду подали сани государынины, окружённые множеством факелов.

– Да – это гроб! Это похороны!.. Меня живую хотят похоронить!.. – вскричала Анна Иоанновна, ещё более перепуганная этим зрелищем и готовая упасть в обморок.

– Прочь факелы! Кто это вам велел?.. – грозно вскрикнул герцог.

В толпе придворных послышался голос:

– Его превосходительство Артемий Петрович Волынский.

Эти роковые слова успели долететь до ушей императрицы.

– Кто бы ни был, всё безрассудно! – воскликнул Бирон.

Из лукавого раба он воспрянул снова дерзким повелителем.

Явился Волынский, но государыня уже не видела его. По приказанию герцога пажи принесли фонари, и её, почти в беспамятстве, снесли в сани и перевезли во дворец.

Сделалась суматоха между придворными; каждый спешил во дворец, к своей должности, или домой, каждый думал о себе. Испуганные гофдевицы нашли услужливых кавалеров, которые усадили их в экипажи или взялись проводить, куда нужно было. Мариорица ничего не боялась – он был подле неё. Волынский кричал её экипаж; но никто не отозвался; подруги её исчезли, прислуга также… И тут фатализм, и тут любовь сделали своё! Оставалось Артемию Петровичу проводить княжну пешком во дворец.

Счастливец! Он тонет с нею во мгле тумана; он страстно сжимает её руку в своей, он лобызает эту руку. Разговор их – какой-то лепет по складам, набор сладких эпитетов и имён, бессмыслица, красноречивая для одних любовников. Не обошлось без вопроса, общего места влюблённых: *любишь ли ты меня* ? Мариорица не отвечала, но Артемий Петрович почувствовал, что руку его крепко, нежно прижали к атласу раз, ещё раз, что под этим атласом сердце то шибко билось, то замирало.

Ноги их идут без всякого направления; они идут, потому что раз приведены в движение. Вся мысль влюблённых в их сердце; лучше сказать, у них нет мысли – они только чувствуют себя друг в друге; чувство упоения поглотило всё их бытие.

Он обхватил её стан из-под распахнувшейся шубы и колеблющуюся тихо привлёк к себе. На уста его пышет огонь с её лица; неведомо как, они встречают другие горящие уста, и Волынский выпивает до дна сладкий, томительный поцелуй…

Этот поцелуй разбежался тысячами по всему существу Мариорицы, она вся – пылающий поцелуй. Ей жарко, ей душно на морозе… Шуба сползла с плеч Волынского, он не останавливается за нею. Они забыли время, дворец, государыню, целый мир. Кто знает, долго ли они как сумасшедшие блуждали бы близ дворца, когда бы всего этого не напомнил им оклик часового. Встревоженные, они как бы пробудились от сладкого сна, будто упали с неба.

Успокоило их несколько, что они находятся у служб дворцовых. Найти дорогу к маленькому подъезду было делом нескольких минут. Они входят во дворец,

прокрадываются, как преступники; на лице их, кажется, прочтут повесть их нынешнего вечера. К счастию, в коридоре дежурный гофлакей дремлет, сидя на стуле; ни одного пажа, которых лукавство так опасно в подобных случаях! Как будто нарочно, никто их не заметил, никто не попадался им навстречу; самые свечи тускло горят – иные уж и погасли. Видно, весь дворец на половине государыниной озабочен её испугом.

Вот и комната княжны… Здесь, конечно, расстанется с нею Волынский, унеся с собою сладкую добычу любви? Спальня девушки – святилище для постороннего мужчины; преступник уже тот, кто входит в неё с мыслью обольщения. Время рассуждать об этом безумцу!.. Волынский забыл всё святое… Он входит за Мариорицей. Одинокая свеча нагорела; никого нет!.. Сумрак и тишина келий!.. Бедная девушка дрожит, сама не зная отчего; она, как робкое дитя, упрашивает, умоляет его выйти.

– Подари меня ещё одной минутой блаженства, *душа моя* , ангел мой! – говорит он, сажая её на диван. – Ещё один поцелуй, и я бегу от тебя, счастливейший из смертных!

Он сто раз печатлеет огонь своей страсти на белой шее и плечах, на пурпуре щёк, на чёрных, мягких косах, путающихся по лицу его и мешающихся с чёрными кудрями его волос, он пожирает её своими лобзаниями.

Бедная Мариорица! Слабое существо! Она опять всё в мире забыла.

Вдруг опрометью, запыхавшись, вбегает Липман и кричит как сумасшедший:

– Княжна! Княжна! Государыня очень больна… она вас давно…

Увидав кабинет-министра, он осёкся и не знал, что начать; однако ж скоро оправился и продолжал, запинаясь, с увёртками кокетки, искоса и насмешливо посматривая на гостя:

– Государыня вас… давно спрашивает… вас везде ищут… я к вам во второй раз… извините, если я не вовремя…

Злодей опять не договорил; рот его улыбался до ушей, уши шевелились, как у зайца, попавшего на капусту.

Громовый удар, раздробившись у ног Волынского, не так ужаснул бы его, как появление этого лица. От двусмысленных слов Липмана буря заходила в груди; он вспыхнул и – слово *бездельник!* было приветствием обер-гофкомиссару, или обер-гофшпиону.

– Не знаю, кого так величает его превосходительство, – сказал этот очень хладнокровно и всё улыбаясь, – по-нашему, это имя принадлежит тому, кто похищает у бедняка лучшее его сокровище. Следственно…

– Что хочешь ты этим сказать, несчастный? – вскричал Волынский, готовясь схватить его за грудь.

Он задушил бы жида, если бы не остановил его умоляющий взор Мариорицы, сложившей руки крестом на груди. Этим взором она была у ног его. На помощь к ней пришла Волынскому и мысль, что побоищем во дворце, в комнате самой княжны, он привлечёт новый, неискупимый позор на голову девушки, и без того уже столько несчастной чрез него.

Липман отпрянул назад, ближе к двери, всё-таки не теряя присутствия духа и измеряя свои слова.

– Что я хочу сказать? Гм! Это, кажется, не имеет нужды в экспликации[101]. То, что я, обер-гофкомиссар, застал ваше превосходительство как обольстителя у любимой гофдевицы её величества… и то, гм! что её величество изволит об этом узнать, когда мне заблагорассудится донести…

– Кто поверит жиду и перекрещенцу? наушнику, негодяю, запачканному в грязи с ног до головы?

– Улика налицо; свидетели есть, угодно – позову.

Есть ли слова для того, чтобы изобразить мучение бедной девушки в состоянии Мариорицы? Как низко упала она! Ниже, чем из княжон в цыганки?.. Обрызганная стыдом

101 Экспликация – объяснение.

от появления Липмана, сделавшаяся предметом ссоры подлого человека с тем, кого она любила более всего на свете, зная, что честь её зависит вперёд от одного слова этого негодяя, она чувствовала только позор свой и рыдала. О перемене к ней благосклонности государыни, об удалении от лица её, о бедности и ничтожестве она и не думала. Но когда вздумала, что друг её может пострадать, она забыла стыд, вскочила с своего места и, не дав Артемию Петровичу говорить, сказала твёрдым голосом:

– Неправда! Неправда! Он не виноват; я просила его проводить меня. Хочешь знать более, безжалостный человек? Я люблю его, я сама скажу государыне, что я люблю его; я готова объявить это Петербургу, целому свету…

– Объявить!.. Это было бы довольно смешно!.. Жаль мне вас очень, княжна!.. Знаете ли, ваше сиятельство, *кого* вы удостоиваете своим благосклонным вниманием?

В слове *кого* заключалась дьявольская ирония. Подобные слова отнимают несколько лет жизни у человека, на которого устремлены; они сушат сердце, растравляют жизнь; воспоминание о них поднимает волос дыбом посреди пирушки, когда ходит чаша круговая, пронимает дрожью и в объятиях любви.

Исступлённая Мариорица, вся пылая, судорожно схватила руку Артемия Петровича и только повторила гневно:

– Кого?.. Знаю ли я?..

Волынский дрожал от унижения, от страха, что Липман откроет тайну его женитьбы, от чувства ужасного состояния, в которое поставил Мариорицу, жертвующую для него всем, что имела драгоценнейшего на свете – девическою стыдливостью, – и, бешеный, уступил своему врагу. Он молчал.

Липман повесил на волоске меч над головой его и играл этим мечом. Он продолжал с твёрдостью на тот же лад:

– Знаете ли, что его превосходительство не может быть вашим мужем?

– А почему? – спросила Мариорица уже с жадным любопытством ревности.

Злодей собирался дорезать своего врага по суставам, зашевелил уши в знак торжества; но, поймав на лету ужасный взгляд Волынского и движение его руки к огромному медному шандалу, постигнув в этом взгляде и движении верную себе смерть, спешил униженно поклониться и присовокупил:

– Но об этом со временем, когда надобность потребует… Теперь исполнил я приказ её величества, и будьте уверены, что всё покуда останется похоронено в груди моей.

Когда он вышел, бедная, истерзанная Мариорица бросилась в объятия Артемия Петровича.

– Не любишь ли ты другой? – спрашивала она его. – Не обманываешь ли ты меня? О, говори скорей, скорей! Не два раза умирать.

Он утешал её как мог, лгал, клялся и, успокоив несчастную, мучимую ревностью, снёс на диван; потом, поцеловав в бледное чело её и в глаза, орошённые слезами, спешил избавиться от новой мучительной сцены, которую враги его могли бы ему приготовить. Но лишь только он из комнаты – навстречу ему когорта пажей, подалее в коридоре несколько высших придворных, и между ними – торжествующий Бирон. Они смеялись… и этот адский смех, отозвавшись в сердце Волынского, достойно отплатил ему за проступки нынешнего вечера.

– Подлецы! – сказал он так, что соглядатаи могли слышать это слово, постоял минуты с две против них, как бы вызывая их на благородный бой, и, когда увидел, что они молчат и начали скрываться, пошёл своей дорогой. Но как идти ему домой без шубы? Как решиться кабинет-министру попросить шубу у какого-нибудь дворцового служителя? По какому случаю?.. Он спрашивает только о своём эпипаже; ему докладывают, что сани его приезжали во дворец, но так как его не нашли там нигде, то и отослали их домой. Эйхлер, долговязый Эйхлер ему навстречу. Он не злопамятен, сожалея, что шубу его превосходительства, вероятно, в экипаже его отвезли домой, предлагает ему свою. Отвергнуты с грубостью услуги племянника Липмана, с коварством предложенные, сомненья нет. Волынский сходит

к малому подъезду, решаясь, однако ж, завернуть к одному гоф-лакею, на скромность которого надеется, и взять у него шубу.

У подъезда стоит девушка – она держит что-то на руках.

– Вы, Артемий Петрович? – говорит она ему таинственным голосом.

– Я, голубушка; что тебе?

– Княжна прислала вам свою шубу; ночью никто не видит… Я буду здесь ждать, пока вы назад пришлёте.

Среди тяжких чувств, обступивших Мариорицу, мысль о нём, заботы о его здоровье её не покидали. Лишь он пройди цел и невредим сквозь последствия этого несчастного вечера, а о себе она и не думает; она готова открыть грудь свою для всех стрел, на него устремлённых.

Смеясь, надел Волынский шубу Мариорицы, вручил посланнице кошелёк с золотом и просил её сказать, что он целует каждый пальчик на ногах милой, доброй, бесценной её барышни. Дорогой вспомнил он своих приятелей на Волковом поле.

На другой день принесли ему шубу из полиции. Домашние не сказали ему, что к ней прицеплена была записка: «Плата той же монетой с герцогскими процентами».

Глава II
ФАТА

Гляжу я безмолвно на чёрную шаль,
И хладную душу терзает печаль.

Пушкин

На другой день толкнулась цыганка во дворец; её не пустили. Грустная шла она домой; но лишь только сделала несколько шагов от маленького дворцового подъезда, услышала, что кто-то сзади кличет её по имени. Оглянулась – высокая неблагообразная женщина манит её своею собачьей муфтой. Мариула остановилась и с первого взгляда на неё припомнила себе, что где-то видела это шафранное лицо, к которому неизменно подобраны были под цвет тёмно-коричневый платок и жёлтый с выводами штофный полушубок; эти серые, тусклые глаза, в которых отражалось кошачье смирение, эта голова, поставленная как бы на проволоке. Да, именно она видела эту фигуру в доме Волынского: это его барская барыня.

«Из дворца она!.. Не узнаю ли чего о моей Мариорице?» – подумала цыганка и спросила потом нагнавшую её Подачкину, что ей надо.

Подачкина перевела дух, занявшийся от скорой ходьбы, сделала головой полукруг, с остановками по градусам, и, увидев, что около них нет никого, отвечала, пережёвывая гвоздику, будто корова жвачку:

– Мне ничего, покуда Бог милует; а я за тобой, сударка, для твоего же добра.

– Благодарим покорно хотя на пожелании; позволь, голубушка, спросить, в чём дело?

Словом «голубушка» приметно оскорбилась барская барыня; но она готовилась в придворные и успела скомкать кое-как досаду в сердце, обещаясь порядком отплатить своим гордым обращением, как скоро будет именоваться госпожой Кульковской.

– Ты, вижу, идёшь на Выборгскую сторону, – ласково продолжала она.

– Так, на постоялые дворы.

– По дорожке с нами, любезненькая, по дорожке. О, ох, ныне и сугробы стали каждый год больше! Это ещё б не горе – как выйду замуж, велю непременно очищать их, – а то горе, что всё на свете сделалось хоть брось. Добро б травы худо росли и морозы двое серчали, уж человеки, аки звери лютые поедают друг друга, роют друг другу ямы; забыли вовсе Бога (тут барская барыня перекрестилась) – прости, Мать Пресвятая Богородица Тихвинская, что вхожу во осуждение!

«Не к добру эта проповедь!» – думала Мариула.

– Вот недалеко ходить: хотел меня скушать живую, и с косточками, Господь прости ему его согрешения!.. Хоть бы и Артемий Петрович; да великая Заступница не дала ругаться надо мной, вознесла меня, недостойную, превыше моих заслуг – не знаю, ведомо ли тебе? – по милости самой матушки Анны Ивановны сочетаюсь вскорости законным браком с столбовым дворянином. Ведь мой Петенька еле-еле не князь, ходит у ручки государыниной и при сучке её величества, и коли задумает, так и самому Волынскому несдобровать. Потому он и паж, что всякий перед ним паш. Да уж, матка, если на то пойдёт, отольются волку овечьи слёзки. Во веки веков не затмиться в головушке моей поношению… нет, забудь он тогда, что я… (Тут наша пиковая дама с сердцем схватила муфту в одну руку и начала ею замахиваться.) Не извольте-де так, господин Волынский, хорохориться; ведь я такая же дворянка, и рядком сяду, таки сяду во дворце с вашей дражайшей сожительницей; и царица Анна Ивановна меня жалует своей ручкой, да и сама херцовина, супруга Бирона, допускает меня к себе в потаённость.

Мариуле в одно и то же время было смешно, и досадно, и грустно. Неучтиво кашлянула она раза два, чтобы оборвать прядь её красноречия; но это не помогло.

– По-моему, – сказала она, – Артемий Петрович человек, какого найти на редкость.

Подачкина, казалось, не слыхала этой похвалы и, не останавливаясь, продолжала:

– Пикни же он грубое словечко, я ему глаза выцарапаю; мой Петенька и сучку царскую выпустит – посмей-ка он тогда тронуть волоском! А вот быть по-нашему с Бироном; да я, Господи прости! хочу скорей лишиться доброго имени, пускай называют меня шлюхой, неумойкой, такой-сякой, коли я не увижу головы врага нашего на плахе, а вот быть, быть и быть…

Глаза Подачкиной выкатились наружу, голова её тряслась под лад частых движений муфты, сильнее и сильнее, скорей и скорей, вместе с гневом её; шаги её участились; наконец она осипла, залилась, захлебнулась, закашлялась и стала в пень посреди снежного бугра.

– Не знаю, как по батюшке величать вас, добрая госпожа, – сказала с нетерпением цыганка, вытаскивая её из снегу, – но вы не изволили ещё ничего сказать мне обо мне, как изволили обещать.

Важно опираясь на прислугу, вылезла из сугроба будущая великая особа, а покуда только что длинная, и, отдохнув немного, продолжала:

– Не прогневайся, мать моя, и до тебя доберёмся. Большому кораблю большое и плавание; маленький подождёт, пока тот отойдёт. Кажись, вы, цыгане, народ хитрый, а в тебе нашла я много простоты.

– Оттого, может статься, что я помесь с русскою, – отвечала, коварно улыбаясь, Мариула.

– Уйдёт улыбочка в пятки, любезненькая, коли я тебе порасскажу, как и под тебя подмываются. А всё твой хвалёный Волынский, чтоб ему пусто было, окаянному. – Она выплюнула, забывшись, свою гвоздику. Местную свечу поставлю образу Тихвинской Божьей Матери. – Тут сотворила большое крёстное знамение. – Матушка, Пресвятая Владычица, не попусти злодею долго по земле ходить… Ахти, ахти! Гвоздичка моя? Куда я её девала?

Остановились, начали искать, шарить по снегу.

– Не могу без гвоздички ходить: сказывают, чума так и пашет на нас из земли мухаметовой, вот откуда княжна Мариорица…

Цыганка нашла гвоздичку в снегу и подала её. В ожидании, к чему приведёт это смиренное велеречие, терпение её готово было лопнуть.

– Благодарствую, мать моя, любезненькая! Вот кто бы взял за свою душу приводить тебя в соблазн… помогать окаянному!.. Обездолить, губить сироту, ещё княжну!.. Ведь она всё-таки христианка; хоть из чужой земли, по-нашему в посты скоромного не ест.

– Губить? Это неправда! – возразила Мариула, покраснев и с сердцем.

– Такая ж неправда, как теперь зима и холодно. Погодите вы меня провесть!.. Ох, ох,

мы всё знаем. А ты слушай, лебёдка, да не сбивай. На княжну не надышит государыня; в пуховик её попади пёрышко, и то беда! А вы сердечную тащите в погибель, в ад, таки прямо в тьму кромешную… Знаешь ли, к кому он и тебя тянет? На сей земле под топор; а в будущем свете хочет заставить тебя лизать горячую сковороду или на вертеле сатаны поплясать.

От этих слов кровь поднялась быстро от сердца в голову Мариулы.

– Да ведь он обещает на ней жениться… – сказала она, запинаясь.

– Что ты? В своём ли уме, прости Господи! Да разве мы живём в какой татарской земле или в Туречине? Да разве можно от живой жены?..

– От живой?.. – могла только выговорить Мариула, помертвев; задумалась, потом вдруг захохотала так, что Подачкина вздрогнула, перекрестилась и отодвинулась назад.

– Тут не до смеху, матка моя!

– Ты, видно, дурочку нашла, что надо мною так издеваешься.

– Какая издёвка!.. Говорю только сожалеючи о тебе, аки христианка добрая, чтобы отвесть тебя от неминучей напасти. А что Волынцев твой женат, так любой прохожий тебе скажет. Сожительница его, Наталья Андреевна, в Москве, гостит у родных, захворала было там, но Господь поднял её, кажись, не на добро – по-моему, лучше умереть, чем жить с таким мужем; уж он не впервые проказит, любовниц у него несть числа! А она, кабы ты знала её, душа предобрая, сущий ангел на земле! Да какая же красавица! Вполовину он её не стоит. И как его, негодника, любит!.. Сколько раз говорила я ей: «Бросьте его, матушка Наталья Андреевна!» – «Не могу, родная Акулина Саввишна, – ведь она меня, сизая голубка, всегда по имени и отчеству величает, – не могу. Покинуть его – пуще чем с светом Божьим расстаться». Того и гляди, прикатит сюда, на своё горе…

Ни жива ни мертва слушала Мариула. Что ей бы за нужда, если б какой магометанский любовник её дочери имел нескольких жён? Она знала бы, что он любит более всех Мариорицу; Мариорица её была бы первая! Но в России, где двоежёнство невозможно – ей это очень хорошо известно (она истории не читывала, в большом свете не живала), – в России любовь Мариорицы к женатому должна погубить её. «Женатый?.. Не может быть! – думает она, всё ещё утешая себя надеждою. – Как не узнать мне было этого прежде, в несколько недель?.. Он был женат на какой-нибудь Наталье Андреевне, а теперь овдовел! Барская барыня выгнана из дому его и за то всячески ему мстит».

Она остановилась, сделала прыжок до барской барыни, вцепилась обеими руками в её полушубок и, страшно выпучив на неё одинокий глаз, произнесла осиплым голосом:

– Коли ты солгала?..

В этом вопросе можно было прочесть: «Не разделаешься со мною тогда… я не оставлю тебя живую, я растерзаю тебя…»

Испуганная Подачкина не знала, что делать, думала, что на цыганку нашло, и собиралась уж вырваться от неё, оставя ей в добычу и свой жёлтый с выводами штофный полушубок, как навстречу им слуга Перокина.

– Кстати, куманёк, – сказала она, глубоко поклонившись ему, – не делай меня лгуньей. Артемий Петрович Волынский женат или нет? Не овдовел ли, может статься?

В это время Мариула сторожила своим одиноким глазом, всем существом своим, всеми силами души, не мигнёт ли барская барыня слуге Перокина, не сделает ли ему условного знака.

Слуга, понюхав табаку и флегматически обозрев с ног до головы чету, так дружно сцепившуюся, отвечал:

– Кому лучше об этом знать, как не вам, сударыня кумушка, Акулина Саввишна? Вы, кажись, в дому его превосходительства выросли, повивали его, нянчили, на свадьбе его мёд кушали, у барыни при постели и в чести были… Однако ж когда дело дошло до меня, видно, так сказать, дорогая кумушка, не для прочего иного, как для удостоверения этой госпожи цыганки, так и я не прочь. Законная супруга его превосходительства, Наталья Андреевна, – сестрица моему барину, а барин от неё только что вечор письмецо получил, что она

препожалует на днях сюда. И поэтому-то хоботу видно, она здравствует.

Несчастная мать не могла более выдержать; она начала рвать на себе одежду и бросилась бежать. Только по дороге сыпались от неё несвязные слова:

– А! а!.. Вот каково!.. Непотребная! злодейка!.. Торговать своею… Женатый!.. гуляка!.. Господи! не попусти злодея!..

Ещё видели барская барыня и слуга Перокина, как цыганка бросилась было назад к ним, остановилась, помахала как сумасшедшая руками, опять побежала опрометью в ту сторону, где находился дом Волынского, и наконец скрылась из виду.

– Что за притча! – сказал слуга, понюхав флегматически табаку; барская барыня не отвечала, и каждый, разменявшись поклонами, пошёл своей дорогой.

Цыганка бежала в самом деле к дому Волынского, пугая народ своею отчаянною, безобразною наружностью; наконец она остановилась немного, чтобы вздохнуть, потому что готова была упасть от усталости и горя.

«Да что я за дура, взбеленилась без толку? – говорила она сама себе, – ещё не всё пропало! Ещё время исправить беду!»

Но лишь только она к дому Волынского, сердце упало у ней в груди. Вот она входит на лестницу, медленно, тяжело, как будто тащит за собою жернов. Докладывают об ней кабинет-министру – велят ей подождать… Она слышит, что посылают слугу в Гостиный двор; она видит, что слуга этот возвратился. Зовут её в кабинет.

Душа её на волоске держится ещё в теле. Её шатает из стороны в сторону; она хватается за стены, за двери, виснет на них от изнеможения…

– Сюда, сюда, Мариула, – кричит голос из кабинета, – прошу жаловать.

Входит…

Волынский сидит в креслах, и перед ним на столе – богатая фата.

Бедная, несчастная мать! Она хотела говорить и – зарыдала.

– Что с тобой? Что с тобой? – спрашивал её озабоченный Волынский. – Кто тебя обидел?

Мариула покачала головой с видом жестокого упрёка.

– Что со мною?.. Где твоя честь, где твоя совесть, говори, боярин русский?.. Есть ли в тебе Бог?

– Я обещал тебе фату за первый поцелуй…

– Береги её мне или себе на погребенье! Возьми и свои деньги – они жгут меня, они скребут мне душу.

Она вынула из кармана золото, которое дал ей Волынский в разное время, показала ему один червонец.

– Видишь, на каждом из них диавольская рожа с когтями… – сказала она и бросила их на пол.

– Ты с ума сошла, Мариула?

– Пусть буду я, по-твоему, глупая, безумная цыганка; то ты, боярин русский, где твоя совесть, где твой Бог, спрашиваю опять?.. Что обещал ты мне, когда вздумал обольстить бедную, невинную девушку; когда моими погаными руками доставал это сокровище? Не обещал ли ты на ней жениться? Кого брал тогда в свидетели?.. Злой, бессовестный человек, безбожник! Ты – женат; ты погубил беззащитную девушку. Отдашь Богу отчёт на Страшном суде, а может быть, расплатишься и в этой жизни?

Волынский смутился от слов обвинительницы своей, но старался, как мог, сохранить наружное спокойствие.

– Что ж тебе до того, что я женат? Ведь не ты моя любовница!

– Что мне?.. Не я любовница его?.. Вот что он теперь говорит!.. Но если бы ты ведал, что я…

Она не договорила, не зная, что делать, бросилась к ногам Волынского, обвила их своими руками, целовала их, рыдала, молила его о чём-то без слов. Но здесь силы вовсе оставили её; она не могла выдержать страшной борьбы природы с желанием сохранить

дочери её почётное место в свете; она не смела назвать себя, цыганку, матерью княжны Лелемико… и в страшных судорогах распростёрлась у ног Волынского.

Долго в ней не было никаких знаков жизни. Ей дана была всякая возможная помощь; её привели в себя и отвезли бережно на постоялые дворы, наказав кому нужно было с прибавкою того, что лучше всяких наказов – денег, чтобы за нею ухаживали, чтобы ей ни в чём не было недостатка. Но что вознаградит ей счастие дочери? Не мог Волынский объяснить себе причину такой сильной любви цыганки к княжне Лелемико; припоминал себе их чудное сходство и колебался в каком-то грустном подозрении. С этого времени угрызения совести начали терзать его, тем более что он убеждён был в истинной к нему страсти Мариорицы. Нередко гремели ему вслух слова: «Безбожник! ты женат – и погубил невинную девушку; отдашь отчёт Господу на Страшном суде». Он слышал нередко во сне рыдания цыганки, чувствовал, как она крепко обвивала его ноги своими руками, как целовала их, как ему тяжело было от них освободиться…

Глава III
РАССКАЗ ЦЫГАНКИ

Угадываю любопытство многих моих читателей не о яблоке познания добра и зла, но о яблоке родословном, именем Минны украшенном, – и спешу удовлетворить его.

Марлинский

По нескольку дней сряду несчастная Мариула искала добраться до княжны Лелемико: ни разу её не допустили. В разное время дня, даже по ночам, в жестокий мороз, становилась она на страже против дворца и выжидала, не проедет ли милое, бесценное для неё существо, не взглянет ли хоть сквозь окно, почуяв сердцем свою мать. Но о княжне Лелемико долго не было слова. Наконец цыганка узнала, что она была очень нездорова, но что теперь ей лучше и она в прежней милости у государыни. Это несколько успокоило бедную мать.

Между тем, в ожидании свадьбы Кульковского, на которой и цыгане должны были действовать в числе трёхсот разноплеменных гостей (надобно пояснить себе, что происшествия, нами рассказанные с начала романа, случились в течение двух-трёх недель), товарищ Мариулы коновалил, торговал лошадьми, вставлял им зубы, слепых делал зрячими, старых молодыми и, где удавалось, не клал охулки на руку. Но посреди этих кровных цыганских занятий, которых он не покинул бы, если б имел кошелёк и туже набитый, его кукона была постоянным предметом его забот. Когда Василий узнал её новое горе, которому помочь можно было одному Богу, он набрал ей целый короб надежд. Почему б Волынскому не развестись с женою, которую он не любит? Разве этого не водилось и на святой Руси? Наталья Андреевна хворала: кто знает? она может и умереть, на счастие Мариулы! Станется, что и государыня проведает о проказах господина Волынского и заставит его жениться на княжне, которую бережёт пуще своего глаза. А почему бы и Мариуле самой не найти случая да подать государыне челобитную, что он, назвавшись холостым и обещавшись жениться на девушке, живущей под крылом самой матушки-царицы, склонил бедную цыганку на сватовство и обманул всех.

– Не тужи, Мариуленька, – продолжал Василий, – назад не оглядывайся, прошлого не воротишь; поищем лучше впереди; старую брыкливую кобылу сбудем, огневого коня-молодца добудем. А чтоб знать, как дело повести вернее, порасскажи-ка мне от сивки-бурки, вещей каурки, как зачиналась белокаменна Москва, то есть как попала твоя дочка в княжны.

После утешений Василия отлегло несколько от сердца Мариулы; опять забилось это сердце надеждами, опять заструились они, как новая жизнь, по всему существу её. Цыганка лелеет эти надежды, убирает, нянчит их, как дитя любимые свои куклы, и не может отказать виновнику их в рассказе, которого он желает.

Комната, похожая на тюрьму, худо освещённая сальным огарком, почернелые от сырости стены, две нары, одна против другой к стене расположенные и служащие диваном и постелью, – вот аудитория цыганки. Осмотрев тщательно за дверью и уверясь, что никто их не подслушивает, начала она своё повествование:

– Знавал, Вася, ты меня молодою, пригожею, застал ты ещё мою красоту в Яссах; но уж тогда много сбыло её; горе сушит, а не красит. Посмотрел бы на меня, когда мне не минуло ещё двадцати лет, в годы моей Мариорицы! Цыганские таборы наперерыв хотели меня с отцом моим к себе: там, где я была, таборы мурашились гостями; за мои песни, а пуще за взгляд мой, платили щедро. Таскались мы много по России, Польше и турецким землям, и везде знавали меня под именем красотки и везде сулили нашим старухам горсти золота, лишь бы меня сманить в западню. Но чего не могли денежки, то сделал колдун – чёрный огневой глаз молдаванского князя Лелемико. Он был молод, пригож, сладкими речами оступил мою душу, как тенетами, и вывел меня из ума. Я полюбила его. Он дарил меня деньгами, нарядами – я не брала денег; мне надобна была только его любовь; я наряжалась только для него. В таборе, под кибиткою, родила я дочку. Пелёнками из лоскутов, которые собрала потихоньку от добрых людей, я прикрыла наготу её. Отец мой бранил меня, проклинал, бил и требовал денег. Я побрела к князю и принесла от него золото для отца и крещёное дитя. Крест, благословение отцовское, с надписью ножичком дня и года, когда родилась, и чего-то ещё, носит и теперь моя бывшая Мариуленька. Не в долгом времени старушка княгиня доведалась, что у сына есть любовница из цыган, и заставила его жениться на богатой и знатной девице. Расставаясь, он смочил мою грудь слезами; я горько плакала, думала, что не переживу этой разлуки; но, взглянув на мою Мариуленьку, прижав её, тёпленькую, хорошенькую, у груди моей, утешилась. С этого времени она стала для меня весь Божий мир, и отец, и полюбовник, и всё родное; в её глазках светили мне моё солнце, и звёзды ясные, и каменья самоцветные, на устах её цвели мои цветы махровые; здоровье её был мой самый дорогой талан, жизнью её я жива была. Знать, родилась я каким-то уродом. Господь создал меня только доброй маткой; я была негодная дочь, может статься – была бы и худой женой. Мариуленька ни в чём не нуждалась: при расставании князь одарил меня серебром и златом. Она росла в довольстве, в холе, в неге; я убаюкивала её песнями, пригодными и для царских деток. Не только я и отец, но весь табор любил её и баловал. Я звала её своею княжной, и за мною все её так называли. Да у меня в уме, в разуме только и вертелось, что она не иное что будет, как княжна, господарша, а может статься, и султанша. Кто бы поспорил со мною, тому вырвала бы глаза. Содержала я табор и делала ему разные милости от имени моей Мариуленьки, и потому приказала величать её своею господаршей. Дорогой взвидела ли моя Мариуленька пригожий цветок на лугу и манила его к себе ручками – стой табор за цветком; приглянулся ли ей мотылёк – и все мальчики и девочки, словно её придворные, бросались ловить мотылька. А когда мы под шатром небесным раскидывали свой шатёр, надобно было видеть, как обступали её малые и большие слуги её, как наперерыв один перед другим старались её утешить. И как она была хороша, вельможна на своей беленькой пуховой подушке, в цветном наряде, в золоте, в фольге, в лентах, среди запачканных лохмотников! Мариуленька бросала им из своих ручонок хлеб, сласти, а иногда и деньги. Мариуленька радовалась, и я была счастлива.

Цыганка остановилась, как бы для того, чтобы забыться в прошлом: и теперь прежнее её счастие отсвечивалось в её одиноком блестящем глазе, горело на щеке, дрожало в её словах. Насладившись прошедшим, она продолжала, вздохнув:

– Но в два года княжеской жизни мы рассыпали свои денежки по Украине и России и воротились за денежками в Яссы. Лелемико всё ещё любил меня, но я отказалась его любить – я боялась иметь другое дитя, я боялась отделить что-нибудь от Мариуленьки другому. Мне казалось, что тогда убавится из её счастия или будет несчастен другой ребёнок мой. Лелемико не имел детей от жены; лекаря говорили, что она никогда не родит; старушка мать его умерла; он убеждал меня отдать ему Мариуленьку, клялся, что выведет её непременно в княжны, укрепит за нею всё своё имение, а в случае, коли я не соглашусь, не даст мне ни

полрубия и пустит нас таскаться по миру. Куда?.. Я сначала руками и ногами! Отдать Мариуленьку – всё равно что отдать жизнь свою!.. Но когда увидела дочку, милую, бесценную дочь, владычицу табора, княжну, в старых лоскутьях, с сухарём во рту; когда услышала, что её в таборе разжаловали из княжон в Мариулку, а потом в лохмотницы и цыганята начали дразнить её языком, у меня поворотилась вся внутренность. Лохмотья? По миру? насмешки, нужда? Что ждёт её впереди?.. От этих мыслей голова у меня закружилась. Ночью, когда моё дитя, моё ненаглядное сокровище спало, – облобызав её с ног до головы, облив её слезами, я схватила её с люлькою, бросилась бежать из табора и, как сказано мне было, подкинула её в люльке, с письмецом, в цветник, под окна княжеские. Несколько раз принималась я с нею прощаться; то отойду шагов десяток, то назад ворочусь. Наконец скрепя сердце ушла от неё. Дорогой слышала её плач, хотела опять воротиться и… не воротилась. По письму, по словам ребёнка, должно было счесть, что она из знатного рода, что её утащили цыганы и они ж подбросили за неимением чем содержать. Как разочли, так и случилось. Добрая княгиня уговорила мужа взять дитя, посланное самим Богом. С того времечка моя Мариуленька уж Мариорица; дальше и дальше, её убирали, воспитывали по-княжески и стали величать княжной Лелемикой. Сначала я много тосковала по ней, но когда услышала об её счастии, забыла своё горе. Я жила в Яссах на конце города; закутавшись, видала иногда свою дочь в прогулках с мамою, но никогда не смела показать своё лицо ни ей, ни слугам княжеским, потому что Мариорица и тогда была в меня вся вылита. Сходство это, однако ж, потешало меня.

Раз, это было в саму полночь, просыпаюсь – будто кто меня ножом в бок, – открываю глаза, в комнате моей светлёхонько, словно среди бела дня. Бросаюсь с постели к окну – весь город теплится, огненные языки шевелятся уж над кровлями. «Боже! Мариорица!» – вскрикиваю я и, полунагая, бросаюсь в ту часть города, где она жила. Город кипит, как котёл, трещат кровли, лопаются стёкла, огонь бьёт с клубами дыма, кричит народ, стучат в набат, а у меня пуще в сердце гудит голос, один звук: спасай свою дочь! Почти без чувства прибегаю к дому княжескому и прямо в двери, обхваченные полымем, цепляюсь по лестницам, через сундуки, – вижу, янычар окровавленными руками тащит девочку… Это она!.. Схватываю её, изо всей силы толкаю янычара с лестницы, через него выношу Мариорицу, обвившую меня крепко ручонками, на улицу… что потом со мною случилось, ничего не помню. Знаю только, что я долго очень хворала. Первое моё слово, как скоро могла я только зубы разнять, было о княжне Лелемико. Никто не знал, куда она девалась. Воспитатель её сгорел, жена умерла от испуга… От этих вестей я только что с ума не сошла. Спрашиваю о ней встречного и поперечного, бегаю с утра до ночи по пожарищу, ищу её в грудах пепла, в камнях, в обгорелых брёвнах; напоследок узнаю, что янычар продавал её, моё дитя! на торгу, что родные князя Лелемико заплатили янычару большие деньги, лишь бы увёл её подальше. Он так и сделал. Я бежала по следам его день и ночь и нагнала в Хотине. Тут украла я Мариорицу, уговорившись наперёд с нею – она уж была девочка лет десяти и смышлёна, как взрослая, – нам помогала хозяйка дома, где квартировал янычар; я заплатила ей всё, что имела на себе. Не зная, однако ж, куда деваться с Мариорицей, и боясь, чтобы злодей не отнял её и не отомстил мне на её головушке, бросилась я тотчас к хотинскому паше и продала ему родную дочь свою с тем, чтобы, когда она вырастет, сделал своею наложницей или подарил в гарем султана. И тут сердце моё поднимало её куда-нибудь повыше, да и повыше. Паша любил её, как родную дочь; у него ей было хорошо, словно в раю магометовом. И тут не раз видала я её сквозь щёлочку двери, не одиножды слушала, как она певала. Песни её лились мне в душу так сладко, так сладко, что я хотела бы умереть под них. И между тем дочь не знала, что мать её так близко, что их разлучает одна доска. Что я говорю? Одна доска! Нас, как и теперь, многое, очень многое разлучало… Паша состарился; тут пришло ему на мысль подарить Мариорицу султану, потому что он такой красотки ещё не видывал, но русские пришли в Хотин: моя Мариорица взята в плен, отослана в Питер. И я сюда за ней, везде за ней! Где она, тут положу свои косточки; умру, так душа моя станет над ней носиться. И дочь не узнает, что я для неё делала; помянет в сердце имена чужих, но

никогда не помянет своей матери…

Рассказчица утёрла слёзы, бежавшие из одинокого её глаза; толстый цыган кряхтел и отвернулся, чтобы не показать на лице своём слёз, изменявших его обыкновенной флегме.

Глава IV
РАССТРОЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ

Не далее, а назад, барон!
Мы, словно пилигримы по обещанию,
ступаем три шага вперёд, а два обратно.

Марлинский

Поутру была оттепель, отчего пострадал было несколько ледяной дом; но к вечеру погода разыгралась, как в весёлый час расшучивается злой и сильный человек, – то щёлкала по носу градиной, то резала лицо ветром, то хлопками слепила очи. Наконец нити снега зачастили, словно мотки у проворной мотальщицы на воробе, сновались между небом и землей, будто вниз и вверх, так что в глазах рябило и все предметы казались пляшущими; около заборов вихрь крутил снег винтом и навевал сугробы; метель скребла окошки, ветер жалобно укал, будто просился в домы; флюгера на домах кричали. Одним словом, в природе господствовала чепуха, настоящее смешение французского с нижегородским. Мудрено ли, что при такой жуткой погоде, соединившейся с темнотою вечера и страхом бироновских времён, ни один житель Петербурга не смел высунуть носа на двор.

Ни один житель, сказали мы? Однако ж неподалёку от конюшен герцогских, между ними и домом тайного советника Щурхова, в развалины горелого дома вошли с разных сторон два человека. Один, казалось, пришёл из царства лилипутов, другой – из страны великанов. Оба тихонько кашлянули по два раза и по этому условному знаку сошлись за средней стеной у трубы; они едва не соприкасались брюхом одного с носом другого, а ещё искали друг друга. Наконец большой ощупал голову маленького, нагнулся, пожал ему руку и, вздохнув, спросил:

– Что, друг?

– Мы точно играем в шахматы, – сказал другой, отвечая таким же вздохом и подняв свою руку выше своего носа для пожатия руки великана, – ступаем шаг, два вперёд, и опять назад; вот уж почти в доведях, погорячимся, и всё испортим – стоим на том же месте, откуда начали, и едва ли не на шах и мате.

– О! Дело ещё не совсем испорчено, – возразил длинный. – Правда, он своею горячностью выбивает из рук наших орудия, которыми очищаем ему дорогу к цели его и нашей; досаждает, бесит, а всё-таки отстать от него не можешь, и всё за благородство его!

– Благородный, но сумасшедший человек! – сказал маленький с сердцем. – Я готов бы был отступиться от него, если б…

– Если б не любил его так много: не правда ли? Жалею его и не менее тебя его люблю. Кабы не проклятая страсть его к княжне, не проклятый вечер, мы скоро одержали бы верх!

– Знает ли государыня?

– Нет ещё. Из историй этого вечера ничего не выходило наружу, как будто её и не бывало. Герцог отдал строжайший приказ не произносить о нём словечка: кто видел, слышал, должен был не видать и не слыхать. Он бережёт золотое обвинение на важный случай. К тому ж я связал временщику руки, готовые поднять секиру: я надул ему в уши, чрез кого надо, что в Петербурге на мази, именно против него, возмущение за расстрижение

монахов и монахинь[102], сюда привезённых. В тот же роковой вечер, пришедши домой, получил он известие, что побеги целых селений за границу, по случаю его жестокостей, повторяются. Его злому духу дана работка: надо заняться ему разделкою с этими вестями, так чтобы они не дошли до государыни. А покуда – протаптываю себе следок до неё самой: ныне ходил я уж к ней с докладом, и она изволила милостиво расспрашивать меня о разных вещах. Дай-ка укрепиться в этой милости, перехитрить архиплутов, и тогда пущу такой доклад; что от него будет им жарко, как в пекле!

– Что с княжной?

– Сделалась было нездорова, верно, от мысли, что государыня, весь двор знают о тайном посещении, что город об этом говорит. Видно, ни воспитание гаремное, ни соблазн примеров и века, ни самая страсть не могу задушить в женщине стыд, когда эта женщина не погрязла ещё в пороке. Скоро, однако ж, ободрили её ласки государыни, навестившей её на другой же день, глубокое молчание насчёт неприятного вечера, вокруг неё прежнее внимание и уважение придворных; но, думаю, более всего повеяли на неё здоровьем добрые вести о Волынском. Тебе известно, что государыня звала его к себе. Думали все, что за факелы ему порядочно достанется: ты слышал, однако ж, как его приняли?

– Рассказывал он мне сам, что она при входе его изволила на него милостиво погрозиться, потом дала ему поцеловать свою руку и сказала: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Думаю, что в этих словах заключаются не одни факелы, но и ледяная статуя. Она подозревает в этой куколке что-нибудь худое для своего любимца и забвением прошедшего хочет сблизить соперников.

– Напротив, от этих милостей у нашего курляндца руки сильнее чешутся на заплечный удар.

В это время частый снег с вьюгою так налегли на плащ маленького, что ему тяжело было стоять под ним, как под свинцовой епанчой.

– Освободи из-под снегу, друг, – сказал он, с трудом произнося слова и двигаясь, – боюсь, что нас скоро занесёт.

– Покуда одного тебя, – отвечал длинный, усмехаясь и выковыривая маленького приятеля из снежной скорлупы.

– Знаешь ли, однако ж, как это освежило моё воображение? Прекрасная, счастливая мысль.

– Любопытен слушать.

– Мне пришла фантазия продолжать то, что враги моего благоприятеля так искусно начали, именно помогать любовникам.

– Помогать? Ты с ума сходишь!

– Скажи лучше, нашёл золотой рудник ума. Да, да, таки помогать! Прежде бился я изо всей мочи, растратил все сильнейшие доводы моего красноречия, чтобы отвесть Артемия Петровича от пагубной страсти и навесть на путь рассудка; теперь буду способствовать ей всеми силами, точно так, как делал Бирон. Ненадёжны, думаю, цепи, которыми прикован наш патрон к молдаванке, – они чувственные; но из любви Мариорицы к нему чего нельзя выковать! О! Я из этой любви построю лестницу хоть на небо, не только до государыни.

В голосе малютки дрожало вдохновение.

– Бедное творение! – произнёс, вздыхая, длинный, – чего из тебя не делают? Обманывают, развращают, губят; две противные партии употребляют как средство, каждая для своей пользы, пускают тебя, как монету, ходячую в двух неприятельских царствах, чтобы подкупить успех на свою сторону. Так прекрасно создана, и на какой удел!.. Роскошнейший цветок природы, которым надо было только любоваться, как безжалостно исщипан руками врагов, чтобы достать в нём яду одному на другого!.. Нет, друг, не знаю ещё совершенно твоих видов, но если они низки, предоставим их низким людям.

---

[102] Вследствие подтверждения указа Петра I от 28-го января 1723 года. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

– Не осуждай, не исследовав, – закон правды, который ты забыл! Вспомни, что мы действуем не только для блага одного человека, но для блага целого народа. Это одно. От другого довода твои аргументы разлетятся в пух, как рассыпались они в голове моей, когда дала ей работу совесть. Княжна погибла решительно, в первую минуту, как полюбила Волынского: пожалеть её можно, спасти нельзя, разве сам Бог придёт к ней на помощь!.. Я отгадал это существо, лишь только прочёл её первое письмо, лишь только увидел её. Если ей не суждено сжечь другого, ей суждено сгореть в собственном огне. Все способности её, все силы жизненные – в сердце; оно исполнено Волынским, и как скоро Волынского не будет в нём, это значит, что она перестала жить. Любовь для неё – жизнь. А Волынский любит, пока не обладает предметом. Даю тебе размыслить о последствиях. И потому – верный логический вывод – если мы не можем отвести от этого создания, возвышенного, прекрасного, – кто об этом спорит? – если мы не можем отвести от её сердца неминуемого, рокового удара, который судьба изловчила на неё с такою злобой, то воспользоваться её страстью для исполнения благородного подвига ничуть не низко и не грешно.

– Тс!.. Слышен человеческий голос…

Совещатели стали прислушивайся с страшным замиранием сердца.

– Ничего, – сказал маленький, – видно, ветер завывает!

– Ничего?.. Ради Бога, молчи!

В самом деле, начали вскоре долетать до них отрывки разговора:

– Сюда… след… пропал… ты?.. Как же!.. не впервой… опять след. Сюда, сюда, те обошли… не ускользнут!

Последние слова явственно отпечатались в слухе наших приятелей; сквозь расселину стены заметили они уж и свет.

– Это голос моего дяди, – сказал длинный, – нас обошли! Мы пропали!

– Что делать?.. Нырнуть туда ль, сюда ль – попадёшь им навстречу. Кабы можно было вскарапкаться на окно, я шмыгнул бы в сад Щурхова.

– Убьёшься.

– Лучше, чем попасть им в руки. Но ты?

– Я отделаюсь с Божьей помощью! Скорей же влезай мне на плеча, голову, на что попало, и марш!

Длинный говорил, а маленький уж исполнял. Он уж на руках, плече, голове длинного, уж на стене, проворно взбирается, как кошка, выше и выше, цепляясь за что попало, за уцелевшие карнизы, поросшие в расселинах отпрыски дерев, выбитые кирпичи… Свет виднее и виднее… Окно близёхонько, но беда! железный костыль впился в мантию учёного малютки. Тащить, тащить её, драть изо всей его мочи – не помогает! Освободить руку из плаща – неминуемо упадёшь. Он виснет на стене, как летучая мышь, с распростёртым крылом… его бросает в холодный пот… нет спасения! Гибель за плечами.

Отделение опального дома, где находились приятели, осветилось вдруг фонарём, и сквозь серебряную пыль падавшего снега озарились вполне жалкая, распетленная фигура Зуды и вытянутая из плеч голова Липмана, с её полудиском рыжих косм, разбежавшихся золотыми лучами из-под чёрного соболя шапки, с раскрытою пастью, с дозорными очами, как бы готовыми схватить и пожрать свою жертву, и наконец, сердитое лицо долговязого, тщедушного Эйхлера с его бекасиным носом. Стены, как чертог феин, заблистали алмазною корою. На этой чудной сцене, перед Липманом, державшим фонарь, выкроилась какая-то разбойничья образина с палашом наголо, а за ним мужичок с длинным багром, вероятно, чтобы острожить, где нужно было б, двуногую рыбу или спустить её в один из бесконечных невских садков.

– Это… вы… племянничек? – спросил Липман, на которого нашёл было столбняк.

– Видите, что я, – отвечал с сердцем кабинет-секретарь, бросился к дяде, вырвал фонарь из рук, дунул – и в одно мгновение исчез алмазный феин дворец и стёрлись все лица со сцены. – Ещё хотите ли слышать? Это я, дядюшка! Но зачем, – продолжал он ему на ухо, – приходите вы, с вашим бестолковым подозрением, портить лучшее моё дело?

– Что это?.. Господин Эйхлер!.. Я ничего не понимаю; я не образумлюсь ещё.

– А вот сейчас поймёте.

Тут Эйхлер бросился к мужику, державшему багор, вырвал его, подбежал к стене, к которой пригвождён был несчастный Зуда, пошмыгал багром куда попало, может статься по голове, – малютка освободился от удавки своей; одно усилие, раз, два ручонками по стене, и он на окошке, кувырк вверх ногами и бух прямо в сад Щурхова. Слышно было, что-то упало, и более ничего.

Живой ли упал, разбился ли или задохся в снежном сугробе, Бог знает.

– Что это упало? – спросил Липман недоверчиво.

– Разве вы не слышите, что человек? – отвечал племянник; потом, сунув ощупью багор мужику, подошёл к дяде и продолжал, опустив голос: – Издохнет, так не беда! По крайней мере, я сделал всё, что нужно в моих критических обстоятельствах. Пойдёмте, любезный дядюшка; я расскажу вам всё дорогой. Ваши сподвижники могут услышать, за стеной – тоже… и тогда не пеняйте на себя, если испортите всё дело нашего покровителя и отца.

Сделали клич команде обер-гофкомиссара, велели ей идти цепью, одному в нескольких шагах от другого, чтобы не сбиться с дороги и не попасть в Фонтанку, и в таком гусином порядке двинулись к квартире Липмана, на берег Невы. Выдираясь из развалин, не раз падали на груды камня.

– Ах, дядюшка, дядюшка, – сказал Эйхлер тронутым голосом, ведя Липмана под руку, – после великих жертв, после неусыпных трудов, в которых я потерял здоровье и спокойствие, после утончённых и небезуспешных стараний скрыть вашу безграмотность от герцога и государыни, которой ещё ныне представил отчёт, будто сочинённый и написанный вами; после всего этого вы приходите подглядывать за мною… – и, не дав отвечать дяде, продолжал: – Знаете ли, кто был со мной?

– Нет!

– Зуда.

– Зуда? Давно ли, какие у вас с ним связи?

– Я вижусь здесь с ним уж в третий раз.

– Так, почти так! Мои верные помощники донесли мне только сейчас, что во второй раз сходятся здесь два человека, и потому я… пришёл… никак не полагая вас найти… Для чего не предупредили вы меня?

– Потому что боялся дать вам в руки шнур моих замыслов, не скрепив их мёртвым узлом. Но, поверьте, штука будет чудная, неоценённая!.. Я не посрамлю ни вас, ни себя; и если за неё не обнимет меня герцог, так я после этого жить не хочу. Хитреца моего я довёл до того, что он уж и палец кладёт мне в рот… ха, ха, ха! Слышите? В саду Щурхова залились ужасные его собаки. А знаете ли вы, что каждая ходит на медведя?.. Жаль, если лукавец попадёт на зубок их прежде моего! Нет, милостивец мой, я всего тебя скушаю и с твоим буяном, Волынским. На место его махну в кабинет-министры, или я не Эйхлер, не достоин милостей, которые вы мне готовите, – я просто ротозей, ворона, гожусь в одни трубочисты. Только прошу вас, умоляю именем его светлости, не мешать мне… если я испорчу дело, ведите меня прямо своими руками на виселицу, на плаху, куда вам угодно.

Эйхлер говорил с таким убеждением, с таким жаром злодейского восторга, так живо описал планы, что у старика отошло сердце, как от вешнего луча солнца отходит гад, замиравший в зиму; огромные уши зашевелились под лад сердца, словно медные тарелки в руках музыканта, готового приударить ими под такт торжественной музыки. Пожав руку племяннику, Липман произнёс с чувством тигрицы, разнежившейся от ласк своего детёнка:

– Ни слова более, мой дорогой, ни слова более! Подозревать вас – всё равно что подозревать себя. Вы одна моя радость, моя утеха на старости; вами я не умру, потому что я весь в вас. Кабы я знал… ох, ох! кто без ошибок?.. не привёл бы сюда этих глупцов, не подставил бы ушей для их басен, которые тянут их теперь будто пудовые серёжки. Эй! слушайте! – вскричал Липман своей команде. – Если один из вас пикнет, что я нашёл племянника в этих дьявольских развалинах, то видите (он указал на Неву)… в куль – да в

воду!

С окончанием этого приказа дядя и племянник очутились на крыльце своей квартиры.

Глава V
ОБЕЗЬЯНА ГЕРЦОГА

Комар с дубу свалился,
Великий шум учинился.

Старинная русская песня

В длинной зале, подёрнутой слегка заревом от затопленной в конце её печи, против устья этой печи, стоит высокий мужчина пожилых лет, опираясь на кочергу. Одежда его – красный шёлковый колпак на голове, фуфайка из сине-полосатого тика, шёлковое исподнее платье розового цвета с расстёгнутыми пряжками и висячими ушами, маленький белый фартук, сине-полосатые шёлковые чулки, опущенные до икры и убежавшие в зелёные туфли. Взглянув на него, не можешь не смеяться. Но, прочтя на лице чудака, правильном, как антик, безмятежную совесть и добродушие, ирония, готовая выразиться, скрывается внутри сердца. По улыбке его можно прозакладывать сто против одного, что в этого старца поселилась душа младенца. То стоит он в светлой задумчивости, облокотясь на ручку кочерги, то этой кочергой усердно мешает уголья в печи, то кивает дружески четырём польским собачкам одной масти, вокруг него расположенным и единственным его товарищам. Ласки свои этим животным он равно на них делит, боясь возбудить в одном зависть и огорчить которого-нибудь, – так добр этот чудак! Вокруг него совершенная пустыня. Но когда расшевелённые им уголья ярко вспыхивают, уединение его вдруг населяется: князья, цари и царицы, в церемониальном облачении и богатых шапках, становятся на страже вдоль стен или выглядывают из своих жёлтых смиренных рам, будто из окон своих хоромин. Съесть хотят вас очи Иоанна Грозного, и чёрная борода его, кажется, шевелится вместе с устами, готовыми произнести слово: «Казнь!» Ослеплён, истыкан судом домашним бедный Годунов, которого благодеяния народу, множество умных и славных подвигов не могли спасти от ненависти потомства за одно кровавое дело (и маляр, как член народа, как судья прошедшего, взял своё над великим правителем, пустив его к потомству с чертами разбойника). Гении-утешители являются гурьбою, ибо на них не было недостатка в жизни русского народа; но всех заслоняет своим величием Пётр, которого одного народу достаточно, чтобы русскому произносить имя своё с гордостью. И в это время, когда толпа гостей обступает чудака, он, посреди них с кочергою, окружённый сиянием, кажется волшебником со всемогущим жезлом, вызывающим тени умерших, и кисточка на красном колпаке его горит, как звезда кровавая. Но вдруг исчезают знатные пришельцы с того света, и зала по-прежнему уединённа и темна. Чудак остаётся один с своими собачками и с своими светлыми думами.

В соседней комнате, вероятно, в прихожей, кто-то читает по складам духовную книгу. Сколько трудов стоит ему эта работа! Между тем в звуках его голоса льётся самодовольство: повторяя почти каждое выговоренное слово, он упитывается, наслаждается им, будто самым вкусным куском, какой он только съел в жизнь свою.

– Иван! – закричал чудак в красном колпаке.

Глубокий вздох за дверью объяснил, что чтец с прискорбием оставляет душеспасительное чтение, затем выказалась в зале благообразная фигура старика, одетого чисто и прилично слуге знатного барина. Он стал, сложив пальцы обеих рук вместе на брюхе, довольно выпуклом, и почтительно ожидал вопроса. Этот вопрос не задержался.

– Что, выздоровел ли повар?

– Какой выздоровел, сударь? Пьёт опять мёртвую чашу!

Чудак, в котором мы признаём господина дома, казалось, оскорбился ответом.

– У вас всё пьян да пьян! – сказал он. – Верно, болен! Напоить его мятой, малиной, чем-нибудь потогонным.

Слуга покачал головой и с сердцем возразил:

– Вы всех людей перебаловали, сударь! Из пятидесяти душ дворовых у вас некому платья вычистить, кушанье изготовить, берлину[103] заложить.

– А ты, Иван?..

В голосе, которым этот вопрос был сделан, заключались слова: «Ты, мой драгоценный Иван, не заменяешь ли мне их всех?»

Не было ответа. Слуга показывал сердитый вид, как это делает любовница с своим любовником, желая перед ним пококетничать, и молча шевелил пальцами по брюху. Барин продолжал развивать мысль свою:

– А ты? Не готовил ли мне кушанья в походах, не езжал ли со мною кучером, не чистишь ли мне платья?

– Рад вам служить, пока силы есть; да как я захвораю?..

– Ну, ну, Леонтьевич, полно грусть на меня наводить!

Облако уныния пролетело на добродушном лице чудака. Была святая минута молчания. Победив себя, он с твёрдостью сказал:

– А разве у меня нет рук?

– Воля ваша, сударь, вам самим? Холопскую работу?.. Это неслыханно!.. Ведь вам *стыдно* будет своей братии бояр!

– Стыдно делать бесчестное дело, а не трудиться. Святые отцы сами работали в поте лица.

Это возражение свалило было с ног всю стрелковую линию доводов, готовых выступить против чудака; но Иван, погладив немногие волосы, окаймившие его лысую голову, поправился и отвечал:

– У святых отцов не было на руках пятидесяти душ служителей и нескольких сот душ крестьян, которых Бог и царь вам вручили как детей ваших. А детки эти пустились в худое, забыли вас и Господа… *Грешно* баловать их! Ох, ох, сударь, право, не худо и лозу, где не берёт слово.

– Разве не знаешь, что мы с Волынским условились не наказывать телесно?

– Хорошо Артемию Петровичу! Не в осуждение его сказать, он любит сам погулять, а люди у него словно монахи; вы живёте, как отшельник, а дворня ваша…

– Ну, полно, полно, Леонтьевич, уложи своё сердце на псалтире.

Леонтьевич удалился в свою прихожую и снова принялся за чтение по складам, и господин его в красном колпаке стал опять с особенным удовольствием мешать в печи. Но слуга не успел ещё вытянуть и одного стиха, как послышалось новое воззвание:

– Иван!

Иван смиренно предстал опять в зале, сложив персты и почтительно наклонясь.

– Дал ли ты рублёвик… ну, тому… что вчера приходил?

– Не дал, сударь!

– Так отнеси или отошли завтра.

– Не отнесу и не отошлю, сударь!

– Когда я тебе приказываю!

– Вы приказываете не дельное.

– Я так хочу.

– Не дам, сударь; он пьяница, снесёт ваши деньги в кабак. Безделица?.. Рублёвик!

– Не твои деньги!

– Знаю, ваши; да зачем отдали вы мне свою казну на сбережение?

---

[103] Дорожную карету.

Минута гневного молчания. Но аргументы Ивана слишком были сильны, чтоб ему противиться, и чудак в красном колпаке, смиренно преклоня пред ним оружие своей логики, сказал сам себе вслух:

– Гм! Правда, правда, казна у него! Нечего делать!

И Иван, не дожидаясь дальнейших заключений, отошёл в свою келью.

Тут собаки начали сильно лаять; им отозвались четыре польские собачки.

– Иван!

Бедный мученик не заставил себя ждать.

– Видно, забежала опять давешняя коза?

– Помилуйте, сударь, какая коза! Ведь давеча было днём, а теперь ворота на засове.

Дворовые собаки бросились в другую сторону и залились горячим лаем; четыре польские собачки вторили им, хоть уши зажми.

– Ну это, сударь, недаром! – сказал Иван, качая головой, и бросился было на двор, как проворный мальчик.

Навстречу ему толпа челядинцев, разрумяненных, с мутными глазами, растрёпанных в пух. Не скоро можно было добраться через них до толку. У иных язык худо двигался, у других слишком скоро, будто жернов молол; говорили по нескольку вдруг; у всех говорило вино. Такова была многочисленная дворня у тайного советника Щурхова, которого видели мы в красном колпаке. Примерной чести всегда и твёрдости душевной только тогда, когда его порядочно разогревали в деле о благе общественном, умный и благородный вельможа, он был самый слабый господин. То не хотел огорчить крестника взысканием, то кума, то сына или племянника своего дядьки и заслуженного у отца его домочадца, а более всего не хотел наказанием ближнего возмутить душу свою. И потому Иван с мужеством и терпением геройским и честностью немецкою нёс весь дом на себе, как черепаха свою тяжёлую, но неразлучную оболочку, с которою расстаётся только вместе с жизнью. Он жаловался иногда на дармоедов, своих товарищей, и никогда на свою судьбу, тем менее на докучного господина. О! Его-то любил самою чистою, бескорыстною любовью и предан был ему до конца своих ногтей и волос. Два слова: *«стыдно и грешно»* – слова эти были краеугольным камнем всей морали Ивана и его господина.

Из окрошки вестей, которыми обдали Ивана, мог он только разобрать, что обезьяна герцога курляндского, вероятно сорвавшись с цепочки, пробралась в сад его превосходительства, завязла было в сугробе, но, услыхав погоню дворовых собак, проворно влезла на стену соседнего дома и виснет теперь на ней, как кошка.

– Окаянная! Так и щёлкает зубами, – сказал один, – от холоду, что ли, или хочет кусаться, как барин её?

– Лукава! – продолжал другой, – я было её рычагом, а она заговорила по-человечьи.

– Сказывают, в обезьяне бес сидит, как в змее: убить, так на том свете сорок грехов отпустится, – кричал третий.

– Убить! Убить! – было единодушное воззвание целой вакхической когорты.

На шум дворни вошёл Щурхов в переднюю. Узнав, о чём дело шло, потребовал себе калмыцкий тулуп и изъявил желание видеть обезьяну герцога курляндского и, если можно, взять её в плен.

Война объявлена – не бездельная! – война партий. Щурхов с своими домочадцами принадлежит партии Волынского, обезьяна – бироновской. Составилось в один миг грозное ополчение. Ночь, непогода, дух войска – всё благоприятствует; самый лукавый из неприятелей обойдён. Идут. Впереди Иван ведёт колонну, освещая ей путь фонарём и остерегая её от снежных гор и опасных мест. Это Мюрат войска. Хотя есть пословица, что на Иване недалеко уедешь, однако ж этот постоит за себя и своих; он вынесет их к славе. За ним сам военачальник. Кисточка на красном колпаке – точка, около которой в случае опасности должны соединиться все силы, победить или пасть; это знамя партии. Овчинный тулуп его развевается, как тога; кочерга в руках – жезл маршальский. Из воинов – кто несёт метлу, кто половую щётку, кто ухват, полено или сковороду. Иван, взглянув с презрением на

последнего, кажется, говорит: не оружие несёшь ты на врага, но щит против стрел его! Тот с гневом, разумеется мысленно, отвечает: «Возвращусь с щитом или на нём!» В резерве огромная датская собака тащит за собою человек пять героев, пылающих огнём мужества.

У садовой калитки ополчение сделало привал; но, ревнуя скорее стяжать лавровый венец после мгновенного отдыха, двинулось вперёд к месту битвы с возгласом: «Плен или смерть обезьяне герцога курляндского!»

Но каково было общее изумление! Лишь только обезьяна при свете фонаря увидела Щурхова, она жалобно возопила:

– Ваше превосходительство, спасите меня!

– А, лукавица! – закричали два-три голоса, – зверь, да знает, кого просить о помиловании. Убить её!

– Убить её! – повторили голоса. Один готовился уж пустить в бедняжку смертоносное орудие.

– Стойте! – вскричал отважно Щурхов, – никто ни с места! Иван, и только один Иван, со мною вперёд!

Войско опустило оружие и стало как вкопанное. Но общее изумление усилилось, когда обезьяна произнесла подошедшему близко под неё Щурхову:

– Сжальтесь надо мною, Андрей Иванович, ради самого Бога! Я разбит, исцарапан, окостенел от холоду: едва душа держится в теле; спасите меня от ваших собак и ваших людей, которые ещё злее и безумнее их!

– А, это вы, мой любезный Зуда? Какою судьбою? – вскричал Щурхов, уронив кочергу из рук. – Иван! Помоги.

Ещё не успел он выговорить этого приказания, как добрый служитель исполнял уж его. Тулупы подостланы под то место, где висел, едва держась за камни, истерзанный Зуда, и секретарь кабинет-министра бросился с своего Левкадского утёса на подстилку, ему приготовленную. В этот раз он бережно упал; но, ушибленный прежним падением, напуганный собаками и людьми Щурхова и окоченелый от холода, не мог двигаться. Сам Щурхов и Иван (прочие герои этого вечера не в силах были действовать) сделали из своих рук носилки и таким образом отнесли малютку, обсыпанного снегом, будто обсахаренного, в дом, где раздели его, уклали в постель и где влили в него целый медный чайник зелёного чаю (самоваров тогда ещё не было). У постели Зуды появилось новое лицо. Это был карла, не участвовавший в походе, но между тем наблюдавший за ним издали.

Уведомили тотчас Волынского, что секретарь его ночует у его приятеля. Да! Я забыл ещё сказать, что следствием похода была потеря туфли: уверен, что замечание пригодится для будущего историка чудака в красном колпаке и для оправдания моего на случай, если б кто упрекнул меня в исторической неверности.

Глава VI
СОБАКА-КОНЬ

В тогдашнее время, когда человек унижался до скота, и животные, по какому-то сочувствию, исполняли низкие должности человека.

На другой день исцелившийся Зуда и добрый хозяин – один в халате и колпаке, другой в колпаке и сине-полосатой фуфайке – прохаживались по зале и разговаривали о предмете, для них очень занимательном: именно о способах побороть ненавистного временщика. Иван, эффектно разложив на стульях, будто в магазине, блестящую пару платья, парик и прочий снаряд для великолепного выезда его превосходительства, нарушал по временам разговор убеждениями приняться за туалет. Он просил, докладывал, уговаривал, наконец, сердился и грозил уйти доготавливать кушанье. Для Щурхова, привыкшего к свободе и неге домашней одежды, этот вызов был всё равно что предложение надеть кандалы. Ему так хорошо в

красном колпаке и тиковой фуфайке! А у него отнимают счастие беззаботности, домашней свободы и хотят стянуть его в латы парчового кафтана, отягчить голову пуком чужих волос, как железным шишаком.

Пока в нём боролась лень с необходимостью, наехали друзья его и Волынского – Перокин и граф Сумин-Купшин, оба заклятые враги неправды и потом враги Бирона, оба неколебимые столпы отечества и трона. Они верили, что тот дворянин почётнейший, кто забывает себя для пользы общественной, кто не боится говорить правду перед сильными земли за утеснённых и беззащитных и готов за эту правду положить свою голову. Уверенность эту доказывали они не словами, а делом. И слово их было всё равно что дело. Кривых, тёмных путей не избирали они для своих действий, даже против врагов: в обществах, в сенате, в самом дворце, пред государынею, обличали они зло. Зато в свете приобрели имя людей беспокойных; сама государыня, хотя уверена была в их правоте и преданности к себе, считала их людьми докучными. Ни один из них не был лично обижен Бироном, но оба мстили ему за кровное оскорбление отечества.

Зуда, только что увидал голову одного из гостей, убежал во все лопатки.

– Готов ли, брат Андрей? – спросил Перокин, продирая свой тучный корпус сквозь открытую половину двери и высовывая в залу огромную голову с выпуклыми, львиными глазами. – Ге, ге! Да ты ещё нежишься, как старая баба.

– Ты не царская постельная собачка, чтоб себя так баловать, – прибавил сердито граф Сумин-Купшин, старичок, белый как лунь, сгорбившийся, как могильный свод, и едва передвигавшийся с помощью огромной трости, – стыдно! Да, кажется, здесь был Зуда в халате, коли не обманывают меня глаза. Секретарь при тайном советнике!.. Это ещё невидаль на Руси! Ох, ох, Андрей Иванович, перебалуешь ты всё, что только около тебя повертится. Погоди, мы за тебя возьмёмся порядком.

Покраснев и смутясь, как дитя, застигнутое в шалости своим наставником, Щурхов уже проворно одевался и, запинаясь, робко, с умоляющим взором отвечал:

– Зуда болен, ушибся вчера… ну проворнее же, Иван!

И слуга, оторопевший заодно с своим барином, не заметил, как подал ему парик задом и покрыл им лицо; но Щурхов, не показывая ни малейшего знака гнева, обратил парик назад и осмелился уж сам спросить:

– Что ж ныне за необыкновенный день, что вы торопите?

– Да разве ты не знаешь? Да разве ты не получал нашей записки? – спросили в одно время Перокин и Купшин, с видом и голосом удивления.

– Не знаю и не получал.

– Не может статься! Иван, не было ли посылки к твоему барину?

Иван мог бы сказать: я чистил платье, лошадей, стряпал и прочее; но в таком случае он осуждал бы своего господина, а это было бы тяжелей для него, чем обвинить себя. Он отвечал только:

– Нет, сударь, не видал ничего. Разве спросить карлу?..

Позвали карлу Щурхова. Угрюмое лукавство ёжилось на лице его, сбористом и жёлтом, как старые алансовые манжеты.

– Лежит какая-то бумага в передней, – проворчал он сердито, приводя в движение отвислые щёки, как брыли у собаки, – а какой бес принёс её, не ведаю: я спал на залавке…

Вошёл Зуда, прилично одетый, и, как скоро узнал о предмете разговора, бросился в прихожую, где и сыскал бумагу. Щурхов раскрыл её и начал читать. Между тем Купшин замахнулся тростью на карлу и вскричал с сердцем:

– О! Если бы я не боялся греха, придавил бы эту гадину в образе беса. Вон, мерзавец, и в кухню!

Жалобно зарюмил карла и, выходя из комнаты, сквозь слёзы проклинал своё житьё-бытьё при таком негодном барине, который позволяет чужим господам бранить у себя в доме своих верных служителей.

– Наконец, благодаря Господу, – сказал Щурхов с чувством, перекрестясь, –

государыня назначила нам ныне аудиенцию, которую мы так долго от неё испрашивали.

Зуда покачал головой и произнёс со вздохом:

– Думаю, что это предприятие только что испортит всё дело. Ещё слишком рано!

– О! Коли дожидаться окончания ваших планов, перецеженных и перетроенных, – возразил граф Купшин, горячась, – так надо ждать второго пришествия. Нет, сударик мой, мы, с нашим простым умишком, хотим, помолясь Богу, приниматься тотчас за работу; по-нашему, настоящая пора! Дай нам, голубчик, описать тебе самому, до какого жалкого состояния вы, с вашею хитростью и дальновидностью, с вашею учёностью, довели наше дело и как мы думаем его поправить, разумеется, с Божьею помощью: без неё же всё прах и суета. Теперь уложи масштаб и циркуль своего ума в карман, поверь здравым рассудком и добрым сердцем наше намерение, а там возражай. Вникни и ты хорошенько в дело, Андрей Иванович, и помоги нам во дворце. Нас не так скоро послушают – мы слывём озорниками, может статься, и проговоримся; а ты нас поддержи: государыня жалует тебя больше нашего; стоит тебе зажурчать сладкою своею речью, так поневоле развесишь уши и ретивое заговорит с тобою заодно.

– Ого! Если и впрямь так, сделаем что можно и должно, – подхватил Щурхов, охорашиваясь.

Глаза его заблистали, движения и речь стали тверды; казалось, что Купшин пустил во все жилы его свежую, горячую кровь, и если бы дали ему в это время начальство над лихим эскадроном, он славно повёл бы его в атаку, в пыл битвы. Это был священный костёр, на который надобно было только посыпать ладану, чтобы он загорелся.

«Чего не сделает эта золотая голова! – думал Иван, слушая с умилением похвалу своему барину и смотря на него с гордостью матери. – О! Кабы не потворство нашей братье, мог бы прямо на место герцога!»

Граф Сумин-Купшин продолжал:

– Волынский от своей молдаванки с ума сошёл – мы всё знаем, господин Зуда, хоть никого ни о чём не расспрашиваем, всё знаем. В наше время наушничество в таком ходу, что услышишь поневоле и то, что ввек не хотел бы слышать; душонки и языки налажены на всякую скверность; коли нельзя попасть в шептуны к фавориту, норовят в угодники к второстепенным и так далее, смотря по случаю. А в случае только тот, кто при ушке. Чай, у моего камердинера, у твоего дворецкого, у его мамки есть свой наушник. Впрочем, и то сказать, шила в мешке не утаишь. Итак, знаем, что брат Артемий вовсе потерял голову, расслаб, будто хворал несколько месяцев. Стал труслив, как заяц, не за себя – о! он до этого не дошёл и не дойдёт, я уверен в этом; но, сберегая честь и спокойствие молдаванки, даёт над собой верх Бирону, попускает злейшему врагу России грабить её и губить. Бедный Артемий! До чего осетил тебя дьявол!.. Всегда сам был первый в заговоре против временщика, лез из кожи вон, как скоро кто против его замыслов, хоть глаза выцарапать; а теперь готов в попятную. Ясно и верно, как дважды два – четыре, что участь нашего друга держится на одной цепочке с тайною молдаванки. Тронься он только на какое дело против Бирона, и княжну сделают чернее угля: вот чего страшится несчастный, попавшийся в эту западню, хитро устроенную, нечего таить, господин Зуда!

– Нельзя расчислить, – примолвил Перокин с сильною грустью, – до чего дойдёт гнев государыни, когда она узнает, что Волынский обольстил её любимицу. Несчастный разбил лучшую её игрушку!.. – Зуда хотел что-то возразить, но говоривший сделал ему знак, чтобы он молчал. – Действительно ли это так и буквально ли так – не ведаем: стыдно нам входить в подробности этого дела; но у фаворита есть свидетели… статься может, в его руках находится и переписка: чего же более для улики Артемия Петровича? Во всяком случае, безрассудно, стыдно, грешно!.. Оправдания нет. Но всего этого не воротишь. Дело в том теперь, чтобы спасти нашего друга наперекор ему и, если можно, через него спасти нашу кормилицу Россию. Бедная Россия! Не молоко, а кровь выпытывают из грудей твоих. Отважим за тебя всё, чего дороже нам нет на свете; а там буди воля Божья!..

Тронутый Перокин остановился как бы для того, чтобы собрать силы на объяснение

трудного подвига, на который он решался, и потом продолжал с особенным чувством:

– Сердце моё придумало только одно средство, крайнее, решительно. Время терять не надо. Вот видишь, в чём это средство. Волынский не любит жены своей, а моей бедной сестры; это ясно: что делать? насильно мил не будешь! Может статься, причина этой холодности и та, что она не имеет детей. Сестре я почти всё открыл письмом и убеждаю её для блага общего согласиться на развод. Теперь же отправляемся к государыне с тем, чтобы ей рассказать, как друг наш вовлечён в любовную связь с княжной, как Бирон старался всячески усилить эту связь – на это и мы представим документики, – и будем умолять её величество позволить Артемию Петровичу развестись с его женой… Уверены, что государыню легко убедить к согласию – она души не чает в молдаванской княжне; духовные особы после того не запнутся. Таким образом Волынский выйдет сух из воды, и государыня получит сильное предубеждение против своего любимца. Тогда представим ей в живых красках несчастное положение России, объявим, как верноподданные, что для спасения отечества от систематического грабежа и опустошения, для избавления самой государыни от нарекания потомства остаётся ей удалить от себя курляндца и вручить кормило не государства, но государственных дел Волынскому.

– А сестра твоя?.. – спросил сквозь слёзы Щурхов.

– Это его дело, а не твоё, – прервал с твёрдостью граф Купшин. – Там нет ни сестры, ни брата, там нет родства, где дело идёт о благе отечества. Трудна жертва нашего доброго Петра, кто из нас с этим не согласится? Но я сам первый положил палец в эту рану и уверен, что, кроме её, нет другого спасения. Ожидаем теперь твоих возражений, Зуда.

– Какие возражения!.. – Зуда трепетал от изумления и радости; он готов был пасть в ноги вельможам, сознаваясь, что минута благородного восторга может иногда более дальновидных, тонких расчётов ума.

– Теперь, – продолжал граф Купшин, – благословясь, посоветуемся, как повести ловчее речь матушке-государыне: ум хорошо, а два лучше! Худо только то совещание, где много умничанья, – это знак, что совещатели думают более о себе, нежели о благе общем.

Все перекрестились, положили по три земных поклона пред образом Спасителя; за ними последовал в благоговейном умилении Иван, которого не считали ни лишним, ни опасным в этом дружеском совещании. После того начали разбирать, что каждому из трёх вельмож, собиравшихся на аудиенцию к государыне, надо было говорить: приготовлялись немного – каждый должен был сказать, что Бог положил ему на сердце для блага отечества. И вот собрались они во дворец, одушевлённые чистотою и благородством своих намерений; но между тем встретилась помеха.

За дверьми подслушивал карла Перокина. Этот хотя и наружностью поприятнее был карлы Щурхова, но не менее лукав и зол. Подобравшись на цыпочках к замочной щели и затаив дыхание, повиснул на ней слухом. Хотя Зуда выходил в прихожую наведаться, не подслушивает ли кто, но застал его дремлющим в дальнем углу на залавке – так умел он мастерски спастись от всякого подозрения! Узнав о замыслах друзей, уродец слуга тихонько, бочком, выполз из прихожей на двор и – к приятелю своему, безобразному карле Щурхова.

– Во что ни станет, – сказал он ему, передав сущность совещания, – обернись хоть птицей и дай знать проворнее герцогу об этих замыслах.

Усмехнулся безобразный карла так, что задрожали брыли его. Это предложение для него находка, сладкий кусочек на голодный зуб. Лучшего случая не найдётся отомстить грубияну Перокину и его друзьям.

– Ступай в своё место, будет сделано! – отвечал он; перекатился в кухню, взял оттуда добрый кусок мяса, растерзал его надвое зубами, свистнул, гаркнул: – Удалая! Сивка-бурка, вещая каурка, стань пред мной, как лес перед травой.

Откуда ни возьмись, огромная датская собака, выше его ростом, прямо к нему; начала около него ластиться, визжать от радости, махать хвостом, обнюхала куски мяса, но не осмелилась схватить их.

– Сослужи мне службу, – сказал бесёнок, потрепав Удалую по спине.

Датчанка хорошо поняла волю его и вытянулась, как выезженная верховая лошадь; карла скок на неё, схватился одной рукой за шею, как за гриву, а другой бросил кусок мяса за ворота; собака туда ж, схватила кусок и, взметая пылью снег из-под ног, лётом помчала своего седока прямо к Летнему дворцу, который был не далее ста сажен от дома Щурхова.

Такое путешествие делал бесёнок не в первый раз; он езжал на своём Буцефале и в Гостиный двор, и на почту. Собака-конь известна была в околотке. Причину её любви отгадать нетрудно: он кормил её, когда другие забывали это исполнить.

У заднего подъезда Летнего дворца соскочил он с неё прямо на крыльцо, спросил, кого и что нужно, передал всё верно, получил свою награду, опять на коня, который исправно дожидался его, – выдал ему собачью награду, остальной кусок мяса, и, будто ни в чём не бывало, мигом возвратился домой, торжествуя в сердце свой подвиг. На радости бросил он гривну дворне.

– Пейте за здоровье Удалой! – закричал он; и всё пило за здоровье собаки-коня.

Друзья совсем было собрались во дворец, когда явился курьер герцога курляндского с пакетом от его светлости.

– Что за новость? – закричали друзья.

Распечатан пакет, и в самом деле неожиданная, чудная новость отняла у них языки и движение. Вот что заключалось в пакете:

«Её императорское величество приказала объявить вашему превосходительству, что назначенная вам аудиенция отменяется до другого, неопределённого дня. Вместе с сим повелено дать вам знать, чтобы все, имеющие вход ко двору, дамы и кавалеры, явились в параде ныне, в час пополудни, в квартиру Педрилло, на родины его супруги, придворной козы».

Подлинный подписал: Эрнст, герцог курляндский.

Этот ордер был на имя его превосходительства Андрея Ивановича Щурхова. Посланный герцога, узнав, будто нечаянно, что у господина тайного советника находились гоф-интендант Перокин и сенатор граф Сумин-Купшин, вручил им по такому же извещению.

Долго ещё после ухода вестового стояли друзья, будто ошибенные громом. Унижение, стыд, грусть раздирали им душу.

– Какая жестокая насмешка! – сказал наконец Перокин, пыхтя от досады.

Граф Купшин дрожал от чувства унижения и молча исколотил своею тростью невинный пол.

Щурхов кряхтел.

И все трое отправились к Волынскому, уверенные, что унижение до такой степени русских вельмож должно взорвать его и подвигнуть на благородную месть.

Глава VII
РОДИНЫ КОЗЫ

Страшитесь, чтоб коза
не обернулась волком.
Et toi, Brutus?.. [104]

Voltaire

...«Молчи, всё знаю я сама:

[104] И ты, Брут?.. Вольтер (фр.)

Да эта крыса мне кума!»

Крылов

Волынский получил также приглашение явиться в квартиру Педрилло, на родины его четвероногой половины. Он не рассуждал: унизительно ли для кабинет-министра, вместо того чтобы заниматься государственными делами, присутствовать при невиданном и неслыханном шутовском представлении. До того ль ему, когда рассудок его помрачён обстоятельствами, в которые он впутал себя и княжну Лелемико с помощью благоприятеля своего – Бирона. Он не оскорбился этим приглашением: после вечера, в который сердце его наслаждалось таким блаженством и изведало столько мук, оно не могло остановиться ни на каком определённом чувстве. То клялся он ужасною местью отомстить врагу за насмешку и тотчас отступал от своего намерения, страшась подвергнуть бедную княжну стыду и унижению, гневу государыни и Бог знает какой несчастной участи. Одна мысль об этом останавливала в нём кровь, и он внутренно мирился за несколько мгновений с Бироном, называя его молчание насчёт рокового вечера благородным поступком, между тем как этот поступок был только дело холодного, утончённого расчёта. То сбирался он писать к жене – добрейшему, прекрасному созданию, которое столько любило его и ни разу, с тех пор как они жили вместе, не подало ему причины к неудовольствию; решался изобразить ей свою неблагодарность, своё безрассудство и просить её возвратиться скорее в Петербург, чтобы спасти его от него самого. Он даже плакал слезами раскаяния. Но этот припадок благоразумия и совести был короток: одна мысль о Мариорице с пылающим поцелуем – и все намерения исчезали, как тень, наведённая мимолётным облачком, и душа его с жадностью хваталась за чашу наслаждений, ещё недопитую. «Погоди, – нашёптывал ему сатана-страсть, – не весь ещё мир дивных восторгов развил я для тебя; я раскрою тебе чертоги, полные чудес. Счастливец! Знаешь ли, что блаженство, которое далось тебе так легко, согласился бы иной купить огнём вечным; а ты не хочешь заплатить за него несколькими часами муки земной? Взгляни только на неё: оцени сокровище, которым обладаешь, и – трус! – уступи его, если можешь, угрозам судьбы и людей».

И несчастный поддавался опять своей страсти, а может статься, только силе своего пламенного воображения. «Но, – думал он, – если Мариорица узнает, что я женат? Каково ей это услышать в обществе, между подругами, может статься при самой государыне! Она изменит себе, она погубит себя и меня. Если она и будет уметь скрыть своё смущение, каково мне тогда показаться ей на глаза? Что сказать? Какое извинение принести? Нет! Лучше самому предупредить её, объявить ей письмом всё, как было. Страсть всё оправдает. Другого средства нет спасти её от нового мучительного положения. Надо, чтоб она, рано или поздно, это узнала; довольно, что я два, три месяца скрывал свою тайну; надо когда-нибудь развязку. Развод с женой ещё остался к моему спасению. Есть надежда!.. Что будет, то будет!»

Всё это, однако ж, легче было говорить в чаду страсти, со слов надежды, нежели сделать. Кажется, на душу его набегали уже нечистые своекорыстные намерения. Благородного, возвышенного Волынского нельзя было в нём узнать, так сети лукавых, его безрассудство и любовь опутали со всех сторон ум и сердце его.

Он написал письмо к княжне; но с кем доставить его? Не новую ли неосторожность прибавить к прежнему и усилить несчастие Мариорицы? Бывало, цыганка так проворно, так мастерски исполняла его поручения; а теперь нельзя и подумать, чтоб согласилась взяться за это дело эта чудесная, загадочная женщина, столько похожая на княжну и такая заботливая об её спокойствии и счастии, как будто это спокойствие и счастие были её собственные – даже более, чем её. Как жестоко платит она Волынскому за его преступную любовь! Цыганка неугомонней его совести; везде преследует его. Он во дворец – цыганка тут, на дворцовой площади, у дворцового крыльца, кивает ему, указывает на небо; он из дворца – неумолимая опять тут же и опять напоминает ему небо. Кабинет-министр думает уже

употребить против неё свою власть: ей ли напоминать ему его обязанности?..

Какие ж средства возьмёт он доставить письмо? Он зван на родины придворной козы. Кстати, он заедет во дворец доложить государыне, что все затеи к свадьбе Кульковского готовы, и спросить, когда её величеству угодно будет назначить день для церемонии. Не увидит ли там Мариорицы? Не удастся ли отдать ей письмо?

Лошадей! – он скачет во дворец. След его кареты занесло уже снегом, когда приехал к нему дружеский триумвират и с ним маленький Зуда. Что делать? Перокин объявляет, что он не поедет на шутовские родины козы, хотя на то была воля государыни. Щурхов колеблется: он хотел бы возвратиться к своему красному колпаку, тиковой фуфайке, польским собачкам и неизменному Ивану, к своей блаженной лени и свободе, к своему маленькому миру, заменяющему всё, что за ним делается в большом, земном мире. Граф Сумин-Купшин едет, но клянётся, что не умолчит пред государыней унижения, в каком фаворит водит русское дворянство на шутовской цепочке или на колодничьей цепи. И коль скоро оба друга его узнают его твёрдое намерение, они клянутся разделить с ним опасности и честь этого дня.

Проезжая дворцовую площадь, Волынский боится взглянуть сквозь окно кареты, чтобы не увидать своей совести, воплощённой в виде цыганки.

Он застал государыню на выходе из внутренних покоев. Её принимает под руку Бирон с подобострастием самого преданного слуги.

– Подождите, – сказала она, возвращаясь назад, – я хочу перекрестить свою Лелемико от *призору очес* .

Вдали, в дверях, показалось, как в раме, бледное, но всё ещё прекрасное лицо и стройная фигура восточной девы. Не знаю, говорили ли мы, что государыня находила особенное удовольствие почти каждый день переряжать её по своему вкусу; над ней, как над куклой, делала она опыты костюмов разных народов, а иногда по собственной прихоти соединяла их несколько вместе. Особенно любила играть её длинными чёрными волосами: то рассыпала их кругом головы, то свивала густыми струями вдоль щёк и по шее, то заплетала в две косы, позволяя им сбегать из-под золотой фески, или обвивала ими голову под собольей шапкой, или пускала по спине в одну густую косу почти до полу. И всегда кстати можно было сказать княжне: *«Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»* Ныне Мариорица одета по-своему, по-молдавански. Увидав Артемия Петровича, она вдруг вся вспыхнула и побледнела. Эти перемены были так быстры, что глаз едва мог за ними следовать. Государыня подозвала её к себе, перекрестила, поцеловала в лоб и в глаза, потом, обернувшись к своему кабинет-министру, примолвила:

– Я ведь правду говорила, что вы сглазите мою Лелемико, помните ли?..

Волынский хотел улыбнуться, но его улыбка выразилась так насильственно, что походила на гримасу, бледнея, он искал слов – и не находил их. В словах государыни было столько убийственной правды. Княжна, не зная также, что делать, целовала руки государыне и в этих ласках старалась укрыть себя от наблюдательных взоров, на неё обращённых.

– Каково? Вы не помните! – сказала государыня, возвращаясь назад и приняв руку Бирона, чтобы на ней опереться. – Вот видите, женщины – памятливее!

– Виноват, ваше величество… дела государственные… заботы, могли… – отвечал, не докончив ответа, смущённый Волынский.

Государыня, усмехаясь, продолжала:

– Ох, ох, Артемий Петрович, недаром говорят, что у вас глаз не простой. Воля ваша, вы знаетесь с нечистой силой! Поверите ли, я сама иногда хочу на вас посердиться; но вы лишь только на меня взглянете, я, хотя и владычица могущественной империи, уступаю вам…

В это мгновение герцог так грубо отнял свою руку, что государыня покачнулась набок своим тучным корпусом и, может статься, подвергла бы себя неприятности и стыду падения, если бы ловкий кабинет-министр, оживлённый лестной шуткой императрицы, не успел поддержать её и занять место Бирона.

– Что с вами, герцог? – спросила она, покраснев и с сердцем. Но этот гнев только что промелькнул. Государыня была женщина и скоро перетолковала по-своему досаду герцога.

Она в свою очередь отняла потихоньку руку от Волынского, кивнув ему, однако ж, ласково в знак благодарности, потом протянула руку Бирону, от которой этот не смел уж отказаться, покачала головой в виде упрёка и примолвила дружеским тоном: – Что с вами, мой любезный Эрнст?.. Если на вас нашёл вчерашний припадок, отдохните: а я не хочу другого провожатого, кроме вас…

После этих слов можно ли было думать побороть любимца государыни в уме и сердце её? Несчастен, кто это замышлял только! Правду говорил Зуда, предрекая Волынскому неудачу в самом начале борьбы его с Бироном. Но кто разгадает сердце человеческое, этого сфинкса, доселе неразобранного во всех причудах его, этого оборотня, неуловимого в своих изменениях? Одна минута – и государыня могла перемениться.

С неудовольствием уступил Волынский своему счастливому врагу, но воспользовался этим случаем, чтобы отстать от государыни, продолжавшей свой путь к одной из внутренних дворцовых лестниц. Бросив, как милостыню, слова два-три то одному, то другому из свиты её и, между разговором, давая проходить толпе, жаждущей лицезрения императрицы, он очутился один в комнате. Оглянулся назад – сердце угадало, – Мариорица стоит на конце этой комнаты, унылая, неподвижная, опираясь на ручку двери. Она провожала его взорами, подстерегала в его движениях и взглядах хотя минутное к себе участие; душа её влеклась по его следам. Как скоро она заметила, что Волынский отстал, любовь заиграла румянцем в её щеках.

Артемий Петрович опять осмотрелся – в комнате ни души! Вынул письмо из кафтана, преклонил его до земли, положил на ближайшее окно, стараясь объяснить страстною мимикой, что сердце его раздирается от горести, и поспешил догнать свиту императрицы и вовремя вмешаться в толпу. Мариорица схватила письмо, прижала его к сердцу и исчезла. Всё это было сделано в два-три мгновения, быстрые, как молния. У квартиры Педрилло успел ещё Артемий Петрович быть замеченным государыней и – в отсутствие Бирона, уходившего вперёд установить зрелище, – взыскан милостью её, выраженною глазами и на словах. Такое обращение государыни с Волынским держало ещё некоторых царедворцев в надежде, а других в страхе, не поколеблются ли решительно на его сторону весы царского благорасположения, к невыгоде Бирона.

Диво дивное ожидало зрителей в квартире Педрилло, превращённой на сей раз из нескольких комнат в одну обширную залу со сценою, на которую надо было всходить по нескольким ступеням. Сцена была убрана резными атрибутами из козьих рогов, передних и задних ног, хвостов и так далее, связанных бантами из лент. Во глубине сцены, на пышной постели и богатой кровати, убранной малиновым штофным занавесом, лежала коза, самая хорошенькая из козьего прекрасного пола. Она убрана была в блондовый чепец с розовыми лентами; из-под шёлкового розового одеяла, усыпанного попугаями и заморскими цветами, изредка заметно было беспокойное движение её связанных ножек. Впрочем, она глядела на посетителей довольно умильно, приподнимая по временам свою голову с подушки. Подле неё, на богатой подушке, лежала новорожденная козочка, повитая и спелёнатая, как должно. От обоих концов кровати до авансцены расположены были в два ряда все придворные шуты, кто прямо, как столб, кто сгорбившись более или менее, кто на коленах, так что представляли собой лестницу, восходящую к стороне кровати. Все они были в блестящих кафтанах и пышно причёсаны. Двое из них, один против другого, держали по дымящейся курильнице, двое по умывальнице, и в таком же порядке по серебряному блюду, утиральнику, шитому золотом, и другим вещам, нужным для туалета. За кроватью, в почтительном отдалении, стояло несколько десятков карл и карлиц с козьими рожками, рыльцами и в косматом одеянии из козьей шерсти, а ближе к родильнице, в таком же наряде, с прибавкою чепца, повивальная бабка, которая по временам брала на руки новорожденную и убаюкивала её. Не видать было одного Балакирева: он накануне дошутил свою последнюю земную шутку, уложась в гроб и не вставши из него. (За несколько дней назад потребован он был к герцогу для получения отеческого наставления за острое словцо, не вовремя сказанное временщику.) Педрилло, одетый богаче прочих своих собратий и вчёсанный двумя этажами

волос выше их, при ордене Бенедетто, принимал гостей со всем приличием, должным их сану, и непринуждённою заботливостью хозяина-придворного.

Введённая в спальню родильницы, государыня подошла к постели, изволила высыпать из кошелька на особо приготовленную подушку несколько десятков золотых монет *на зубок* и потом спросила госпожу Педрилло об её здоровье. Родильница (тиснутая за ногу повивальною бабкой) преумилительно заблеяла в ответ, и вместе с этим весь её козий штат заблеял хором: кто басом, кто тенором, кто дискантом, чему её величество изволила от души смеяться. В то же самое время кабинет-секретарь Эйхлер записывал на длинном листе особ, бывших в зале, и потом, когда Анна Иоанновна присела на кресла, герцог вызывал по этому списку всех посетителей и посетительниц одного за одним, по классам, с тем, чтобы они подходили к родильнице и исполняли то же, что сделала государыня. Выполнивши этот обряд, спрашивали также о здоровье *госпожи* Педрилло, и на каждый вопрос давала она исправный козий ответ, которому вторил тот же гармонический хор. На сцене одни шуты удерживали своё хладнокровие и важность, от чего ещё более усиливалось смешное зрелище. Одним словом, потеха была такая, что государыня забыла свою болезнь и хохотала до слёз; всё за нею смеялось также, не в состоянии быв соблюсти должного приличия, чем она нимало не оскорблялась. И Волынский положил свою богатую дань на подушку родильницы; и он наведался, как и прочие придворные, о здоровье козы!..

Между тем как толпа обоего пола в неподдельном восхищении обступала постель родильницы, вошли в залу три человека и стали посреди неё, как бы оглашённые, сомкнувшись рядом. Один, седовласый старец, опирался в глубокой горести на трость: в нём узнают графа Сумина-Купшина. Нетрудно угадать, кто были по бокам его. Появление этих трёх фигур, так смело и дружно отделившихся от придворной толпы, так одиноко, молчаливо и мрачно стоявших посреди огромной комнаты и веселия шутовского праздника, дерзавших, по-видимому, ослушаться воли императрицы, сковало смех и обратило на себя общее внимание. Пророки, явившиеся в сонме грешников, не сделали бы между ними большего впечатления. Сначала пронёсся глухой шёпот в толпе; потом всё замолкло, вперив взоры на лицо государыни, на котором хотели разгадать приговор дерзким возмутителям её удовольствий. Бирон казался встревоженным, ожидая на себя, по предчувствию нечистой совести, какого-нибудь нападения этих смелых подвижников правды. Не менее его смутился Волынский. Сама государыня, которую всякая нечаянность сильно тревожила, поражённая грозною неподвижностью трёх друзей, не могла скоро освободиться от мучительного чувства, её обнявшего. Наконец она спросила, обратясь к герцогу:

– Что они там? Велите им подойти.

Хозяин праздника Педрилло сошёл к ним и объявил волю государыни, чтобы они подошли к родильнице и сделали то же, что и другие. Вельможи не дали ответа, и Педрилло доложил, что они не повинуются.

– Опасные люди!.. – сказал Бирон, наклонясь почти к уху государыни. – Я вам уж докладывал, что они замышляют… Ещё ныне получил я тайные известия о худых намерениях… заговор… статься может, они выбрали этот случай… есть важные сообщники… но я взял свои меры.

Пётр, Екатерина и… (умолчим: он жив – живым хвала столько похожа на лесть) пошли бы навстречу беде. Так делают великие духом; но Анна Иоанновна была больная женщина, и любимец её умел пользоваться её немощами. Оторопев и бледнея, она шёпотом просила его усилить свои предосторожности на случай худого намерения. Бирон пошёл отдавать кому нужно приказы. Страх невольно сообщился толпе, а чего боялись – никто не знал.

Эти распоряжения, этот страх достойны были смеха: опасность существовала только на языке коварного фаворита и перешла в воображение государыни, покорённой его демонским влиянием, от неё к женщинам и некоторым царедворцам, испуганным, может быть, только для виду, из угождения.

Все заволновались.

Волынский, слышавший коварные остережения Бирона, вспыхнул – он забыл всё: и

Мариорицу, и свою любовь, и свои опасения; он видел только благородный подвиг друзей – и одной искры прекрасного, брошенной вовремя в эту душу, довольно было, чтобы воспламенить её. Пока не падёт луч солнца на Мемнонову статую, она не издаёт дивных звуков. Он подошёл к государыне и сказал ей с особенною твёрдостью:

– Напрасно коварство пугает ваше величество пустыми опасениями. Я кладу голову мою на плаху, если эти господа не пришли повергнуть к стопам твоим как верноподданные, а не как бунтовщики, моления бедствующего отечества, которым внять пора.

Этою смелою речью открыта была война соперников, скрывавшаяся доселе в потаённых действиях.

– Здесь не место для докладов, – вскричал озлобленный Бирон. – А кем, сударь, назвать, как не бунтовщиками, людей, которые приходят возмущать удовольствия её величества и в глазах её противиться её воле. И вы, господин кабинет-министр, заодно с ними!

– Да! Всегда заодно с верными сынами отечества, а не врагами его! И я горжусь этим, ваша светлость! – отвечал Волынский.

– Что за споры в присутствии моём? – сказала государыня сначала гневно, потом смягчив голос. – Здесь, конечно, вовсе не место… Мне нигде не дадут покоя, Боже мой!.. Этого недоставало!.. И вы, Артемий Петрович?..

Обратясь к Волынскому, государыня покачала головой, как бы хотела сказать: «И ты, мой сын?.. Тобою я так дорожила, так долго сберегала тебя от нападений моего любимца, закрывала своею грудью, а ты поразил меня так нечаянно, прямо в сердце?» Хотя этих слов произнесено не было, но Артемий Петрович выразумел смысл их в голосе и взорах императрицы и, покорясь её милостивому упрёку, приблизился к друзьям и просил их выбрать другое время и место для своих представлений.

– Где ж место, – воскликнул с негодованием граф Сумин-Купшин, – когда мы не можем более иметь доступ к нашей государыне? Ныне назначена была нам аудиенция у её величества – и что ж? выгоды иностранного шута предпочтены выгодам отечества?

– Мы не выйдем отсюда, пока не будем услышаны, – произнёс с жаром Перокин.

Все трое подошли к сцене и пали на колена перед императрицей. Восторжённый старец продолжал:

– В последний раз, может быть, перед смертным часом, пришли мы говорить тебе истину. Вели нас казнить, но выслушай её! Поруганная злодеем Россия взывает к тебе, матери её. Услышишь голос её позднее там, где и цари предстают на суд верховного Владыки и отдают ему отчёт в делах своих; но тогда уж будет не время. Каждый из твоих подданных явится к тебе не на коленах, как мы теперь, с молением и слезами, но станет обвинителем твоим, укажет Господу на кровавые язвы свои, на рубища, на цепи, которыми ты позволила недостойному любимцу нас отягчить, расскажут Господу унижение человечества. Скоморохи предпочтены истинным слугам отечества и твоим, подозрение дало брату нож против брата, сыну против отца.

Бирон давно взял государыню под руку и приметно увлекал её, сохраняя, однако ж, наружное уважение.

– Не хочу ничего слышать, – кричала она, махая платком и сходя со ступеней. – Здесь не место, говорю вам. Я вам назначу день… Не хочу ничего слышать… Они продолжают. Боже мой! Боже мой! Грубияны, дерзкие бунтовщики!

– Нет, государыня, матушка наша, мы не бунтовщики, – прервал Щурхов, – вели нам пролить кровь нашу, но только за тебя и отечество, и мы источим её до последней капли. Умилосердись над своею Россиею: грудь ломится у ней от того, что она, боясь проговориться, затаила даже своё дыхание; всё ходит в ней на цыпочках, чтобы не оскорбить слуха курляндского герцога; верные сыны твои запаяли свои уста, придавили своё сердце, чтобы оно не выстучало заветной чести и правды. Русские до того дошли, что стыдятся, не только что боятся, быть благородными. Правда и опала, честь и казнь – стали одно и то же.

Государыня, продолжая идти, не слыхала уж этих слов. Скоро сковалось около неё

кольцо из царедворцев, так что нельзя было видеть её, и она осторожно вынесена потоком, хлынувшим из квартиры Педрилло.

Зала опустела, и стало в ней так тихо, как в хижине поселянина, когда он со всею семьёю своей отходит в поле. Остались только на ступенях сцены три друга, в прежнем положении на коленах, опустив печально голову, и посреди сцены Волынский, прежний Волынский, во всём величии и красоте благородного негодования, выросший, казалось, на несколько вершков, отрясая свои кудри, как гневный лев свою гриву, подняв нахмуренное чело и пламенные взоры к небу – последней защите отечеству против её притеснителя. На постели лежала ещё бедная связанная козочка и подле неё, прикованная к кровати страхом, повивальная бабка, карлица, одетая по-козьему.

Наконец три друга встали, послав дружески горестный взгляд кабинет-министру, с которым примирил их благородный его характер. Он подошёл к ним. Все молча пожали друг другу руку.

– Разве Бог и Елисавета – дщерь великого Петра, а не Анна – спасут Россию! – воскликнул, вздохнув, граф Купшин.

Ещё не успели они выйти из дворца, как Щурхову, Перокину и графу Сумину-Купшину объявлен арест в крепости. Щурхов просил одной милости – прислать ему в место заключения четырёх польских собачек его, колпак и фуфайку. Об Иване он не упоминал; но этот сам явился, и ему не отказали в почётном месте на соломе возле его господина.

Глава VIII
ПИСЬМО И ОТВЕТ

В письме [105], переданном, как мы уж сказали, княжне Лелемико, открывал ей Волынский, со всем красноречием страсти и отчаяния, что он женат. Вместе с этим, стараясь возвысить её до небес, делая из неё женщину необыкновенную, как будто нездешнего мира, думал данью лести умилостивить её и испросить себе прощения. Ослеплённый, он ещё не знал её хорошо.

Ответ.

«Не знаю, выше, ниже ли я других женщин; но уверена, что ни одна не может любить тебя, как я.

Несколько уж дней известно мне, что ты женат. О женщине, которую называют твоей женой, говорили при государыне. Сначала поразило меня это известие, не скрою от тебя. Но оно пришло поздно. Я не могу переменить себя, не могу покинуть любви своей; она сильнее меня, сильнее самой судьбы! И как и откуда изгоню я тебя? Нет капли крови во мне, которая не напитана была бы самою пламенною к тебе любовью; нет биения сердца, которое не отозвалось бы ею, – места во всём существе моём, где бы ты не жил. Я вся твоя! Имей сто жён, сто любовниц – я твоя, ближе, чем кора при дереве, растенье при земле. Делай из меня что хочешь, как из вещи, которая тебя утешает и которую, измявши, можешь покинуть, как из плода, который ты волен высосать и – бросить!.. Я создана на это; мне это определено при рождении моём. Говори мне что хочешь против себя; пускай целый мир видит в тебе дурное: я ничего не слышу, ничего не вижу, кроме тебя – прекрасного, возвышенного, обожаемого мною!

Ты виноват предо мною?.. Никогда! Ты преступник из любви ж ко мне: могу ль тебя наказывать? Каждый удар по тебе повторился бы сторицей на моём сердце.

Видишь, я женщина слабая, самая слабая женщина!

Скажи мне только, милый, бесценный друг! Что ты не любишь своей жены; повтори мне это несколько раз: мне будет легче. И она не стоит тебя! Если б она тебя любила,

[105] Письмо это выпущено по обстоятельствам. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

покинула ли бы тебя на такое долгое время?

Погода или вёдро будет, подъезжай в полночь к дому Апраксина. Я хочу доказать тебе, как я тебя люблю. Горничная моя предана мне; она подкупила ещё одного верного человека: меня проводят. Доставь мне в другое время денег, поболее денег – всё для тебя, мой неоценённый друг! Если б можно, я подкупила бы весь мир, чтобы владеть тобою – без страха за тебя».

Ответ написан, но с кем послать? Горничная, которая со времени рокового вечера освобождена от дальнейшего присмотра за княжной и доносов (за что положила уже сто земных поклонов), с восторгом отправляет при ней должность поверенной. Груня переродилась; она уж не раба, а слуга самая преданная, самая усердная. Для своей барышни полезет в огонь и в воду. Что делается свободно, делается так легко, так успешно. Тяготит её только по временам память прошедшего; особенно мучит похищение из ящика всех записок, полученных княжною от Волынского. Сколько могла, облегчила она этот удар для Мариорицы. «Непременно требовали этих записок», – говорила Груня; но она, желая избавить свою барышню от позора, в отсутствие её поспешила сжечь их и потом сказала лазутчику Бирона, что сама княжна их сожгла. Груды пепла свидетельствовали об истине её слов. Обманутая Мариорица, собрав пепел, плакала над ним, как над прахом любимого человека, и спрятала в шёлковой подушечке, которую нередко держала у своего сердца. Теперь во что ни станет надо послать записку. Груня берёт поручение на себя; но лишь только она из дворца – навстречу Мариула. Цыганка так давно, так жалобно упрашивала её позволить видеться с её барышнею; теперь ещё усерднее молит об этом, едва не целует её рук. «Вот верный случай поручить ей записку, – думает Груня, – цыганка не раз уж их носила. А то я могу заплутаться вечером и не найти дом Волынского».

Ах! Как отлегло от сердца матери, когда она узнала подробности тайного свидания, за которые дарили её фатой…

Вводят цыганку к княжне; Груня шёпотом докладывает, зачем она воротилась.

От радости дрожит Мариула, увидев свою дочь, едва верит, что у ней, осматривает её с ног до головы. В восторге цыганка забывает всё прошедшее. Одно, что её беспокоит, так это бледность Мариорицы. Бедная похудела с того времени, как она видела её в первый раз в Петербурге, и всё от любви к нему, к негодному обманщику Волынскому!

Мариорица ласкает её, целует и вкрадчивым голосом спрашивает цыганку, любит ли она её по-прежнему.

– Люблю ли я?.. Скажи, чем это доказать?

– Вот видишь это письмецо; ты знаешь, к кому оно… отнеси к нему, но только сейчас, сию минуту, в собственные руки.

– К нему?.. В собственные руки?..

Ужас изобразился на лице цыганки. Каково поручение для матери!

– Да, да, к нему сейчас! – возразила гневно княжна, – или не знай моего порога!

– Несу! – отвечала мать. – Но знаешь ли, – прибавила она, отдохнув несколько от тягости своей жертвы, – знаешь ли, милая барышня, что он женат? Что он негод…

Вспыхнула Мариорица, заградила ей уста своей рукой и, нахмурив брови, как маленький Юпитер на свою землю, с пылающим взором вскрикнула:

– Цыганка! Берегись!.. Не говори мне про него худого, или я прокляну тебя…

«Она!.. проклянёт меня?.. – думала Мариула, оледенев от ужаса. – Дочь проклянёт свою мать?.. Боже, Боже мой! Скажи, бывало ли это в твоём мире?.. Неужели надо мной должно совершиться!»

– Несу твоё письмецо, барышня! – сказала она, и лишь хотела проститься с дочерью, почувствовала в руке деньги… плату за… Нет имени этому слову на языке порядочных людей! Земля, казалось, растворилась, чтобы её поглотить; дрожь её проняла; деньги невольно выпали из рук; она хотела бросить и письмо, но вспомнила проклятие и в каком-то священном страхе, боясь, чтобы одно слово не погасило навеки небесного огня, которому

обрекла себя на служение, и не погребло её живую в земле, спешила исполнить волю дочери.

«Что пишет она в этом письме?» – думала Мариула, неся его к Волынскому. Как дорого заплатила бы, чтоб знать его содержание! Но смеет ли нарушать тайну дочери, поручив другому прочесть его? Нет, никогда не допустит она, чтобы чужие уста читали стыд Мариорицы, чтобы они растворились для коварной усмешки над нею!

Когда Волынский возвратился домой с шутовского праздника, цыганка стояла уж у крыльца. Какими ужасными взорами поменялись они! Она подала ему письмо, тот принял его.

– Что? Одумалась! – сказал он.

Ни слова ответа; но глаза её были ужасны, – так и расстались.

Глава IX
НОЧНОЙ СТОРОЖ

С негодованием и грустью возвращался Волынский домой, помышляя об участи, ожидавшей его друзей. Они принесли себя в жертву делу, которого он был главным зачинщиком и проводником; его долг спасти их или погибнуть вместе. В таком состоянии застигла его цыганка, когда он вышел из кареты на своё крыльцо. Принадлежа весь долгу своему, он было забыл, что писал к Мариорице: так одна страсть обхватывала вдруг эту душу, не давая в ней места другой. Появление неотступной цыганки, этого ужасного Полифема в женском виде, готовой, кажется; броситься на него и истерзать, напомнило ему и письмо его, и всю гнусность обольщений, по которым он провёл сердце неопытной девушки. Эта мысль помутила в нём чистоту и возвышенность намерений, возбуждённых твёрдостью друзей его. Что ещё готовит ему ответ княжны? Он спешит и боится прочесть его; он кается, что писал к ней и до того дошёл, что желает в ней перемены чувств. Может быть, и произвела это в ней весть об его женитьбе. Кабы так?.. Чудный человек! Могущ, как море, и непостоянен, как оно с своими отливами и приливами: то безбоязненно ходят на дне его птички, то на разъярённых волнах своих поднимает оно корабли до облаков.

«Мариорица предалась мне, – думает он, увлекаясь чувством прекрасного, пустившего уже во всём существе его сильные побеги, – Мариорица моя, но ещё не осквернена преступлением. А свет?.. Он считает её преступницею со дня рокового вечера. Свет! Это завистливое собрание личностей, готовое оклеветать всё, что только делается не для каждой из них, и поднять до небес всё, что ей льстит! Стоит мне победить себя, возвратить Мариорицу этому себялюбивому уроду, и, снова предмет его надежд и искательства, взлелеянная снова им, она выйдет чиста и непорочна из уст его, будто сейчас вышла из купели».

Что за чародей человек, когда нужно ему оправдать свои проступки и помириться с судьбой! Как легко в мыслях своих расстановляет он на сцене мира актёров, разыгрывающих с ним драму его жизни, заставляет их говорить, действовать и чувствовать по-своему и ведёт эту драму к желанному концу! Какой он искусный лекарь для тех ран, которые сам наделал и растравил так мастерски! Но подумал ли ты, Артемий Петрович, что сердце, которое ты смесил в своих руках, по горячей прихоти своей, приняло уже форму, которую ты хотел ему дать, и отвердело в ней так, что ты можешь переменить её не иначе, как разбив? Подумал ли, что ты развратил уже несчастную девушку страстными речами, письмами, лобзаниями; что ты отдал её в добычу общественному мнению? А знаешь ли, что такое в твоё время общественное мнение? Эхо сильного и богатого, ротозей, который ловит мух и готов, смотря по намёку своего повелителя, назвать их соловьями или тарантулами, выточенное искусно до пустоты дерево, издающее звук, угодный камертону, в него ударяющему, обезьяна, повторяющая темпы временщика! Свет молчит, пока властелин его сковал ему уста грозою; но одно слово – и бесчестье бедной девушки, как ходячая монета, разойдётся по рукам черни, жадной к злословию. Знаю, что Мариорица ещё достойна обожания, но прибавь – обожания мудреца, не дающего своего суда по первым признакам и влиянию других. Глупое

множество судит иначе, по одной наружности или как ему прикажут. Ты, забывшись, обнял кумира в глазах черни, и чернь перестала ему поклоняться и, бессмысленная, повергает его в прах. Ты восстановляешь его, снова служишь ему с благоговением, приносишь чистые жертвы, достойные божества, созидаешь ему храм до неба; но чернь говорит: «Кумир осквернён», – и бежит поклоняться другим богам.

Зуда встречает Волынского и, не дав ему прочесть ответ княжны, рассказывает, с какими прекрасными намерениями триумвират друзей собрался на свой подвиг, как Перокин решался пожертвовать благополучием своей сестры делу общему, уничтожив брак её с Артемием Петровичем. Пристыженный таким великодушием, Волынский даёт обет не уступить им в благородстве, что бы ни заключалось в ответе Мариорицы. Он колеблется даже, не раскрыв письма, сжечь его. Но на дне сердца затаилась ещё любовь вместе с первородным грехом, любопытством, и он читает ответ княжны. Слёзы капают на письмо; он целует бумагу.

– Нет, я недостоин всех этих жертв, – говорит он, отдавая Зуде письмо для прочтения. – Еду на свидание – не могу не ехать… Господи! Подай мне твёрдость. Друг! Молись за меня о том же.

Но прежде чем он отправляется на это свидание, поручает Зуде вложить в расселину камня, в ограде Летнего сада, бумажку, на которой написано: «На днях, или я действую один!» Так приказал тайный, неизвестный друг на случай нужды в нём.

Он едет в условленный час, но боится, чтобы клевреты Бирона не подшутили вновь над ним; он страшится за Мариорицу и молит все силы небесные сохранить её от новой беды, а ему не дать упасть в борьбе неравной.

За несколько сот шагов до дому Апраксина оставляет Волынский свои сани. Ночь темна, он бредёт ощупью вдоль стен и у назначенного места становится на страже в пустой будке. «И теперь, – думает он, – должен я проститься навсегда с этой чародейкой, для которой было забыл отечество, друзей, жену, всё на свете, теперь, когда она отдаётся мне совершенно и лучшие мечты мои исполняются? Чем не пожертвовал бы я несколько недель назад, ещё вчера, за миг, который мне ныне обещан и которого страшусь! Но подвиг, мною затеянный, не свыше ли сил человека?.. Устою ли я против него? Друзья в тюрьме, отечество гибнет: вот мысль, которою должен я себя поддерживать».

И вот он ждёт Мариорицу полчаса и более, в шорохе шагов запоздалого прохожего или ночного лазутчика, в шелесте ветра, в полёте птицы, в огоньке, блеснувшем и померкшем в одной из дворцовых комнат. Никого. Окостенев от холода, выходит он из своей засады… слышен говор… сердце у него замирает – всё опять замолкло: никого! Тихо, жутко, как на кладбище. Вдруг мимо его пронеслось что-то чёрное, как дух полуночный, как вихрь, и пахнуло на него ужасом; но, заметив его, остановилось, страшно взглянуло ему в глаза и захохотало так, что подрало его по коже и волосы встали дыбом. Он за привидением, хочет его схватить – привидение от него, и снова адский хохот рассыпается в тишине ночи, и ужас впился когтями в сердце и терзает его на части.

– Опоздал! – каркнул наконец, будто над его ухом, зловещий голос, сопровождаемый свистом и скрежетом зубов. – Уж было проклятие!.. Но всё-таки ты пришёл поздно, голубчик!..

Вне себя Волынский ищет схватить вещуна – и хватает один холодный воздух. Ему чудится, сыпал искры следом бесовский глаз и кто-то чёрным клубом кувыркался пред ним по снегу. Крест, охотничий нож спасут его от злого духа или человека; но что сделалось с княжною? почему не пришла она на свидание, ею самое назначенное? Не насмешка ли?.. Не может быть! Какое-нибудь несчастие задержало её дома или переняло на пути!.. Он идёт-таки ко дворцу, бродит долго около него – ни одной души, кроме часовых! К страху, к муке душевной присоединилось вскоре и чувство физической боли: мороз обул его ноги в ледяные коты, накинул на грудь ледяной панцирь, который кольцами своими дальше и дальше врезывается ему в тело. Нет сил терпеть более! Он возвращается к своим саням с тяжёлою ношею страшных воспоминаний и ещё ужаснейшей неизвестности об участи

княжны, проникнутый насквозь холодом, проклиная свою любовь, себя и всё в мире. Уж эта любовь начинает ему надоедать…

С княжною вот что случилось.

Нетерпение любви заставило её выйти из дворца несколькими минутами ранее назначенного для свидания времени. Её нельзя признать в одежде горничной; такой прелестной субретки ещё свет не видывал. Любовные проказы так же обыкновенны во дворце, как и в хижине, и её пропустили вместе с Груней без препятствий тем легче, что надзор за нею, как мы сказали, уже, был снят по повелению герцога. Но шаг за дворцовое крыльцо – и её ожидает присмотр более строгий, более неусыпный, заменяющий целую сторожевую цепь, самую исправную полицию, превосходящий своею бдительностью даже шпионов Бирона: это присмотр матери. Сердцу Мариулы дана весть, что дочери её грозит беда, и она с первою тенью ночи на бессменной страже у маленького дворцового подъезда. Никто не смеет её отгонять: она купила это право заслугами Липману.

Всё существо её обратилось в слух. Видите ли, как она из-за колонны вытягивает шею, будто пеликан из гнезда своего, стерегущий птенцов от хищного зверя; видите ли, как сверкает её одинокий глаз и роет во мраке и удит в нём предметы, как она жадным ухом прислушивается ко всему, что только движется. Сквозной ветер от Невы хлещет её крылом по лицу, мороз прохватывает до сердца, коробит её – Мариула терпит. Одна мысль держит ещё теплоту жизни в её груди: она, может быть, спасёт дочь свою от погибели. Бедная греет попеременно руки то под мышками, то своим дыханием; она боится переминаться, чтобы не заскрипеть по снегу ногами. Бьёт зуб об зуб, как у собаки, окоченелой от холода; мысли мутятся, но одна из них не покидает её – мысль о спасении дочери. Вот идут… Сходят с лестницы две женщины… оглядываются… Ветер пахнул на лица их беглый свет от фонаря: одна из них – Мариорица; это она, сердце матери не могло ошибиться. Дано им несколько шагов вперёд, и в несколько прыжков цыганка догнала их.

– Куда ты, барышня? – спросила она встревоженным голосом, остановив княжну за рукав шубы.

Мариорица хотела бежать, но, узнав голос цыганки, остановилась.

– А, это ты? – сказала она. – Как ты меня испугала! Что, отдала?.. Будет?..

Этот вопрос всё объяснил матери.

– Отдала… Но ты не пойдёшь далее! – произнесла Мариула глухим, но твёрдым, повелительным голосом, стиснув ей руку своею.

– Какая царица!.. Пусти ж!.. Тебе что за забота?

– Мне, мне много заботы. Ни с места, говорю тебе, или я тебя опозорю, закричу слово и дело, созову народ, встревожу дворец, весь город.

– Проклятая цыганка!.. Хочешь денег? Мало, что ль, тебе дано?

– Нет, мне дано много… над тобой, видишь, там на небе, откуда блестит звёздочка, – произнесла Мариула вдохновенным голосом; потом, силою отведя её от Груни в сторону, наклонилась на ухо и сиповатым шёпотом в исступлении прибавила: – Я… мать твоя. Вспомни табор цыганский, пожар в Яссах… похищение у янычара, продажу паше, уродство моё, чтобы не признали во мне твоей матери: это всё я, везде я, где грозила только тебе беда, и опять я… здесь, между тобою и Волынским: слышишь ль?

Она говорила, и, казалось, вся утроба её трепетала; в горле её бился предсмертный колоколец.

В этих словах было столько могущества, столько ужасной истины, что княжна в каком-то очаровании, в каком-то непонятном убеждении, что это её мать, не показывая ни радости, ни печали, не говоря ни слова, уничтоженная, машинально повлеклась назад во дворец. Но цыганка изнемогла: жестокость ударов, нанесённых ей в такое короткое время, беспрерывная душевная тревога, страх за дочь, ночи без сна на холоде, дни без пищи, проклятие дочери, мысль, что погубила её, открыв, что она, цыганка, её мать, помутили тут же рассудок. Бедная мать!

Мы рассказали уж, как она, в первом припадке своего сумасшествия, встретила

Волынского и столько напугала его.

Глава X
ВОТ КАКОВЫ МУЖЧИНЫ!

Aussi tu me dois plus que de l'amour… tu dois m'aimer comme matresse et comme mere… entends-tu, Henri, il y va de ton honneur… car c'est une chose sainte et sacree qu'un tel amour.
Sue[106]

Что скажет ему Мариорица в оправдание? Что может она сказать? Она встретила свою мать-цыганку – не так ли? Тогда как Волынский хочет развестись с женою для того, чтобы жениться на ней, жениться, однако ж, на княжне, любимице государыни – не на цыганке же! Чтоб ему принадлежать, она готова идти к нему в услужение; её любовь выдержит все превратности судьбы, все пытки; но выдержит ли это испытание его сердце? Ужасная ночь! С какою безотчётною радостью шла она в объятия друга, и вместо сладкого поцелуя прожгло всё её существо клеймо позора. На какие жертвы решалось пламенное дитя Востока и чем вознаграждена за это!.. Она горько плачет, она смочила всю подушку слезами, хотела б выплакать на ней своё сердце, свою жизнь. Но мысль расстаться с ним, как бы то ни было, хоть смертью, для неё ужаснее всего.

Дочь цыганки!.. От одной мысли об этом кровь останавливается и стынет, рассудок мутится. Но полно, говорено ли это было?.. Слышала ли она точно эти слова? Если и сказано, не обман ли из каких-нибудь видов?..

«Нет, – говорит Мариорица сама с собою, – всё это слышала я, всё это слишком горькая правда! Так – помню, будто во сне, телегу с навесом из грубого холста, тёплую грудь и тёплые лобзания женщины, пожар и опять эту женщину в борьбе с янычаром, похищение, завет и опять её, и везде её. Кто ж это всё, как не мать?.. Понимаю теперь и первое страшное свидание наше здесь в Петербурге, и робость её, и жаркие ласки, которые только может выдумать мать и которых мне было так стыдно, не знаю отчего. О! с какою нежностью, с какою любовию целовала она мои руки, и я не понимала, почему посторонняя женщина меня так любит. За деньги Волынского, – думала я. Неужели сердце можно купить до такого притворства? Пускай придёт она, я сама расцелую её руки сто, тысячу раз, оболью их слезами… Только чтоб никто этого не видал – чтобы он не узнал! Да она этого сама не потребует. Понимаю теперь и заботы обо мне, и брошенные деньги, будто обожгли они её. Самая эта ночь не доказывает ли её любви? Она говорила, что изуродовала себя для меня ж, – наверно, чтобы не признали во мне её дочери. Волынский сказывал ведь мне когда-то, что видел женщину, на меня очень похожую: он говорил, конечно, про неё! Добрая мать!.. Чем я тебе заплатила за это? Постыдными поручениями, проклятием!.. Господи милосердный, возьми назад моё безумное слово!.. Матушка, прости меня! Добрая, несчастная мать! Несчастная дочь! Видно, обе родились под злополучною звездою!»

Так говорила сама с собою Мариорица, обливаясь слезами. На все вопросы Груни отвечала она только, будто цыганка сказала ей, что Артемий Петрович не мог прийти на свидание.

Роковая тайна была похоронена на дне сердца, но с этого дня червяк смерти засел уже в нём. Правду говорила когда-то Мариорица цыганке – первый поцелуй сжёг её.

---

106 Поэтому ты мне обязан более чем любовью… ты должен меня любить как возлюбленную и как мать… слышишь ли, Анри, речь идёт о твоей чести… ибо это любовь возвышенная и святая. Сю (франц.).

На другой день после этого происшествия сидел Волынский дома в своём кабинете, озабоченный участью своих друзей, преданных суду, и ломая себе голову, как бы скорее распилить цепи на них и России. Поверенный камень, на углу Летнего сада, отвечал ему: скоро, очень скоро, ныне, завтра, на днях или никогда!

– Не скрою от вас, – говорил Зуда кабинет-министру, – что я работаю вдвоём, даже втроём; но клянусь вам, что не могу ещё объяснить вам, кто мои сообщники или чей я сообщник. Скажу только, что один – мужчина, другая – женщина.

– Не спрашиваю, кто вы, не хочу спрашивать, – отвечал Волынский, – боюсь ныне сам за себя… Действуйте, но только скорее, хоть бы стоило мне это головы.

– О, Бог даст, мы спасём вашу голову, переменив теперь способы наших действий. Прежде, как вам известно, старались мы взбесить Бирона ледяною статуей и другими средствами, чтобы он нагрубил её величеству и вывел её из терпения; теперь хотим прямо к сердцу государыни, но путями тихими, вкрадчивыми, которые не могли бы её испугать и которых, однако ж, не могла б она избегнуть.

Оставшись один в своём кабинете, Волынский предался тоске о прошедшем и какому-то тяжкому предчувствию. Голова его спустилась на грудь; чёрные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное, разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть, сквозь которую глаза бросали отблеск пламенной и сумрачной души. В таком точно состоянии застали мы его, когда сотни разноплемённых пар являлись к нему на смотр. Много ли прошло тому времени? Ещё не было и праздника, для которого делался этот смотр, а чего не изведало с того дня его сердце, какого блаженства и мук оно не испытало! Он мысленно прошёл фазы своей безумной любви, и слёзы закапали из глаз.

Свеча нагорела, думы сменяли думы; дремота отягчила его веки, и он заснул.

Впросонках слышит суету в доме, потом скрип двери… Открывает глаза – и видит пред собою в сумраке женщину в пышном расцвете лет и красоты, с голубыми глазами, в которых отражается целое небо любви! Заметно, однако ж, что оно подёрнуто облаком уныния. Щёки её пылают, густые белокурые локоны раскиданы в беспорядке по шее, белой, как у лебедя. Боже! Не видение ли это?.. Это жена его!

Волынский не смеет пошевелиться.

Она стоит у дверей, как изгнанная пери у ворот рая; она смотрит на него с робостью, ищет чего-то в глазах его, просит, умоляет о чём-то и боится подойти. Никогда не казалась она ему так хороша! Любовь и ещё какое-то чувство, не менее горячее, но более чистое, вооружили её в эти минуты всеми своими прелестями для победы над неверным.

В смущении продирает Волынский глаза.

– Ты не узнаёшь меня, Артемий Петрович? – говорит она ему, смягчив упрёк нежностью выражения, и слёзы заструились по её лицу. – Ты не выгонишь меня теперь; разве выбросишь меня мёртвую, истоптав прежде своими ногами; но знай… ты погубишь со мною своего младенца. Я пришла к тебе на суд мужа и отца.

– Наташа! Милая Наташа! – мог только произнести Волынский, и она в объятиях его. И он увлекает её к себе на колена, прижимает её руки к сердцу, целует её в очи и уста. Она прильнула к нему всем существом своим, обвилась около него, как плющ, то прижимает его страстно к груди своей, то посмотрит ему в очи, не веря своему счастию, то милует его, резвится, как дитя, убирает его кудри, потопив в них свои розовые пальчики, то путает с их чёрною смолью лён своих кудрей.

– Милый Артемий! – говорит она, упоённая чистым восторгом, – вижу, ты меня любишь по-прежнему… А как они мне солгали, жестокие!.. Будто ты… нет, нет, язык не двигается, чтобы выговорить их ложь. Не верю! Они, может статься, хотели испугать меня и заставить скорее приехать. Но ты простишь меня, когда узнаешь, зачем я так мешкала.

Она потупила свои прекрасные глаза и покраснела, как девушка.

– Видишь, – прибавила она, взяв его руку и приложив её под сердце, – здесь наше дитя… ты отец его!

Только тот, кто в первый раз носит это имя, может понимать всё высокое этого слова,

всё его очарование. Но Волынский боится верить и предаться новому чувству: оно так неожиданно! Не обманывает ли жена, чтобы более привязать его к себе? Она знает, как он желает детей.

– Ты не веришь, друг мой?.. – Тут она взглянула на образ Божьей Матери, стоявший в углу в киоте. – Поверь ей!.. Возьми, положи свою руку, вот здесь… слышишь, как трепещет твоё дитя, будто рыбка; он отозвался своему отцу, он тебя приветствует… Я сама не верила, когда поехала в Москву, долго не верила. Но когда узнала совершенно, что я мать… не ведаю, что со мною делалось от радости; счастие моё было так велико, что я не смела ему предаться и потом боялась его потерять. Я прибегнула к Богу, к святым угодникам его с молитвами сохранить наше дитя; ездила к Троице на поклонение Сергию-чудотворцу, в Киев к почивающей там святыне, в Нилову пустынь. Для чего ж другого оставаться было мне так долго без тебя! Но везде мысль о тебе меня не покидала; на пути, в храмах Божьих, у святых гробниц ты был со мною; везде молилась о тебе, о твоём здоровье, о твоей любви ко мне. Думала, как ты обрадуешься неожиданной вести – тебе так хотелось детей!.. Пишу к тебе письмо об этом; но ты, видно…

– Не получал, друг мой!

– Злые люди! Как они искусно работали!.. Не получал?.. И вот причина твоего молчания. Но я всё-таки не переставала думать, как тебя это обрадует. И вдруг в Москве говорят мне, что ты полюбил какую-то молдаванскую княжну… брат мой пишет, что ты хочешь… Господи! Не понимаю теперь, как у меня достало сил жить после этого письма… он писал, что ты хочешь развестись со мною. И брат сам уговаривал меня, для какого-то общего блага, согласиться на этот развод. Меня с тобою разлучить?.. О! Они не знают меня! Пускай сам Бог придёт развести нас!.. – Наталья крепче обвила его своею рукою, как будто боролась ещё, чтоб его не отняли у неё. – Злодеи! Едва не убили меня, наше дитя. Не знаю, как я всё это перенесла. Я молила Пречистую Деву-Богородицу сохранить тебя от этого убийства; едва не выплакала душу свою в молитвах. Милости её велики: всё, что насказали мне о тебе, – ложь, я это вижу, я это чувствую по твоим ласкам. Хочу думать, что всё это был сон ужасный! Повтори мне, милый Артемий, что это всё солгали злые, завистливые люди, что ты любишь меня по-прежнему!

– Да, милая, душа моя, это всё ложь, – повторял Волынский, осыпая её самыми пламенными ласками, от которых она убиралась в лучшие цветы счастия, как невеста к венцу, и горела неизъяснимым восторгом. – Может статься, это вышло оттого, что я пошутил с одною полоненной княжной… но божусь тебе, это была шалость, глупость, вспышка одинокого сердца, развлечение от скуки без тебя… Негодные! Стоило ли из этих пустяков пугать тебя!.. С чем могу я тебя сравнить, тебя, прекрасного, бесценного друга!.. Как сладко любить без боязни! Ни Бог, ни люди не мешают нам.

Может быть, вспомнил он в это время вчерашний мороз, страх и муки.

– Восторги наши так чисты, а кто нам мешает быть самыми страстными любовниками? Не правда ли?

– О! Я буду молить Бога дать мне уразуметь всё, что есть прекрасного, дорогого в любви на земле и в небе, соберу в груди моей все сокровища её, весь мир любви, отрою все заповеданные тайны её и буду истощать их для тебя, милый друг! Сердце научит меня находить для тебя новые ласки, каждый день изобретать новые.

– Бесценная!.. Нет, я тебя не знал! – И в забвении страсти он хотел сказать: и я мог променять тебя!.. но остерёгся. – Так у нас будет дитя, милое, прелестное, похожее на тебя? Может быть, дочка!

– Нет, я подарю тебе сына, такого же пригожего, статного, как и ты. Посмотри, сдержу ли слово!

С этих минут любовь и счастие семейное водворилось в доме Волынского, и Мариорица была забыта.

ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ

Глава I
ЛЮБОВЬ ПОВЕРЕННАЯ

Когда Зуда говорил, что из любви Мариорицы построит лестницу хоть на небо, он знал, что говорил. Поспешая воспользоваться этою любовью для своих видов, написал следующее письмо к княжне:

«Обстоятельства, в которых находится господин Волынский, заставляют адресоваться прямо к Вам без околичностей.

Я, Зуда, секретарь и друг его; от меня ничего не имеет он скрытого. Этот приступ достаточен, чтобы меня выслушать. Вам известно, что друзья Артемия Петровича за смелую выходку против герцога курляндского посажены в крепость и ждут там своего смертного приговора. Не миновать этого ж и Артемию Петровичу, если какая-нибудь могучая рука силою чудотворною, силою беспредельной дружбы или любви не оградит его заранее и сейчас от удара, на него уж нанесённого. Требуется высокая энергия, самоотвержение, готовое на все жертвы. Угадываю, скажете Вы: мне предстоит этот подвиг, и никому другому.

Так Вам, княжна, Вам, благороднейшее, возвышенное существо, предлагаю этот подвиг; Вы позавидуете, если он будет предоставлен другому. Может статься, нужно броситься прямо в огонь; но это единственное средство спасти человека, который Вам так дорог, не говорю уже – необходим для России. Не упоминаю Вам о благе человечества в этом случае: Вы этого теперь не поймёте. Представляю только гибель любимого человека, обращаюсь только к сердцу Вашему и, уверен, скорее достигну, чего хочу. Грустно, больно было бы мне, да и напрасно объяснять вам, что появление Ваше в Петербурге, Ваши наружные и душевные совершенства, которым никто не мог бы противиться, отняли у нас государственного человека, вырвали краеугольный камень из-под храма, начатого им во имя спасения отечества. С тех пор как он узнал Вас, он забыл все святые обязанности свои, изменил супруге, друзьям, чести, Богу. Враги его воспользовались слабостью его, или страстью, чтобы сделать её орудием своих козней. Но да идут мимо Вашего сердца эти слова. И пойдут они наверно мимо! Всё это для Вас вздор; Ваше сердце не поймёт теперь ничего из этого. И потому не говорю: возвратите его святым его обязанностям, – напоминаю только гибель любимого человека, твержу только: спасите его от плахи и унижения, которое для него ещё ужаснее смерти.

Минуты дороги. Вот в чём дело!

Вы найдёте здесь две бумаги. Постарайтесь всячески, чтобы государыня их увидела и прочла, но под условием, чтобы Бирона при этом случае с нею не было. Да благословит Вас любовь на этот подвиг! Провидение, конечно, Вас назначило спасти любимого человека от гибели и позора. Что может быть сладостнее этого для Вас, существо необыкновенное!

Но каким образом – спросит Вас государыня – достались Вам эти бумаги? Учитель Ваш Тредьяковский – скажете Вы – оставил у Вас книгу (которую при сём посылаю); перебирая листы её, нашли Вы бумаги и при них записку (тоже здесь прилагаемую). С Тредьяковским мы уже сделаемся на случай, если б потребовали его к государыне налицо для допроса. Записку можете ей показать. Вручаю Вам судьбу А. П.».

«Если Вы любите государыню, – сказано было в особой записке, – если Вам добрая слава её и спокойствие дороги, вручите ей осторожнее вложенные в книгу Тредьяковского бумаги, но только тогда, когда не будет у неё злодея Бирона».

Всё это перешло через руки негра Волынского в руки черномазой его приятельницы, жившей во дворце, и никто не видал, какими путями эта посылка закралась на грудь Мариорицы.

Как дорого ей это поручение!.. Не другому кому, не жене его вручён залог его спасения. Ей, одной ей!.. Провидение знает, что она любит его более всех на свете. Как

радует её, возвышает это поручение! Она забывает уж своё горе, бедственную ночь, мать: спасение милого Артемия тут, у сердца её, тут он сам, его жизнь, его спокойствие, счастие, честь! Какая нужда для неё, что она цыганка: она выше всех в мире, – она спасительница милого человека! «Он узнает, – говорит сама с собою Мариорица, – что всё это я, не кто другой, для него сделала. Ещё прикажите что-нибудь, господин Зуда, но только именем его, и вы увидите, буду ли уметь исполнить».

И глаза этого прекрасного создания разгорались огнём неземным, и щёки её пылали. С каким восторгом примеривает она себе терновый венец, ей так расчётливо предлагаемый! А Волынский что делал в это время? Забывал её в объятиях той, которой некогда изменил для неё ж, дочери фатализма. Что ж была его любовь, пылкая, безумная?.. вы легко отгадаете. Не ошибался и в этом случае Зуда!

Вечер во дворце.

Государыня необыкновенно тосковала во весь день. В ушах и сердце её отзывались смелые истины, сказанные её вельможами. Несчастия России, если и вполовину существовали, как ей изобразили, налегли на грудь её, и без того растерзанную болезнями и привычкою к предмету недостойному. Освободиться, однако ж, от него не имела сил и лучше решалась терпеть муки, которым сама себя обрекла. Бирон, понимая очень хорошо своё настоящее положение, был весь день неотступно при ней, окружал её своею заботливостью и изыскивал средства рассеять тучу, налёгшую на чело императрицы… Стрельба в цель в галерее, нарочно для того устроенной, карты, шуты, дурочки – ничто не могло её рассеять. Наконец она объявила герцогу, что очень нездорова и желает остаться одна.

Спросив руку княжны и опираясь на неё, государыня перешла в свою спальню.

– Дитя моё, – сказала она, подвигаясь к креслам, стоявшим возле кровати, – как стучит у тебя сердце! Так и бьёт мне в руку. Здорова ли ты?

– Здорова, – отвечала Мариорица, встревоженная приближением роковой минуты, в которой должна была решиться участь любимого человека, – но беспокоюсь о вас.

Вместо ответа Анна Иоанновна с нежностью пожала ей руку и едва дошла до кресел, в которые тяжело рухнулась. Она велела было позвать камер-девицу, чтобы подать ей другие кресла, на которые обыкновенно клала больные ноги; но Мариорица с какою-то упрямою заботливостью сама спешила всё это исполнить, стала возле неё на колена и начала слегка поводить ладонью то по одной, то по другой ноге государыни, как это делалось каждое утро и вечер для облегчения её страданий. Детские попечения её заметно были приятны Анне Иоанновне.

Они были одни в комнате. Безмолвие нарушалось только вздохами страждущей императрицы. Свет от тройной канделябры сквозил через голубой штоф занавесов и падал на бледное лицо её, отчего оно принимало синеватый цвет мертвизны; утомлённые глаза её по временам закрывались, и, чтобы усилить ещё это подобие смерти, пышная кровать возле неё, с своим убранством, казалась великолепным катафалком, готовым принять останки того, что была некогда царица. Смотря ей пристально в глаза и следя за движением её губ, княжна как бы стерегла выход её души из тела. Кто б подумал, чтобы здесь, в этих двух женщинах – одной, носящей уже все признаки смерти и уничтоженной под тяжестью предчувствия, другой – юной, но слабой, дочери цыганки, принадлежащей единственно любви, ничего не постигающей, кроме неё, – заключалась в эти мгновения судьба империи!.. Несколько минут продолжалось их безмолвное состояние. «Господи! – молила княжна, обмирая от страха пропустить удобное время для подачи бумаг. – Господи! Брось мне на этот раз в душу луч своего уразумения».

Наконец государыня открыла глаза и сказала:

– Довольно, милая! мне легче.

Мариорица, всё стоя на коленах, схватила её руку, с жаром прижала её к губам своим – губы были холодны, на руку государыни закапало что-то горячее.

– Что с тобою? Ты плачешь, кажется?

– Государыня, когда я вижу, что вы страдаете, может быть и не одними телесными болезнями, когда меня заверяют в этом люди вам преданные и дают мне способы спасти вас, что должна я делать?

– Новая беда!.. Объяснись, что такое? – воскликнула государыня, оторвавшись от спинки кресел, к которым была прикована своим изнеможением.

Мариорица вынула из груди бумаги и, подавая их, рассказала искусно, с жаром, что велено ей было сказать. Дрожащими руками приняты бумаги; приказано осмотреть, не стоит ли кто у дверей, и, когда это было исполнено, государыня начала про себя чтение.

Одна из поданных бумаг был подлинный донос Горденки, за который его заморозили, допрашивали цыганку, застрелился Гроснот, пытали, мучили и уморили столько людей.

«Дойдёт до государыни, – умирая, говорил мученик, – я передал моё челобитье Богу». И Господь услышал этот завет на пороге смертном, принял это условие земли с небом, уберёг его сквозь все препятствия человеческие и вручил по назначению. Сколько в этой бумаге ужасных истин насчёт Бирона! В ней описывались разные действия его жестокости и корыстолюбия так ясно, с такими верными доказательствами и важными свидетельствами, что можно было их как бы в очи видеть. «Но сердце твоё, всемилостивейшая государыня, обольётся кровью, – писано было между прочим в доносе, – когда узнаешь способы, употребляемые для обогащения доимочного приказа, отдающего отчёт одному Бирону и его одного обогащающего. Батоги, плети, окачивание на морозе водой, солёная пища без питья, тысячи жестокостей, какие только адская изобретательность умеет разнообразить и оттенить, употребляемы без всякого уважения к истинному несчастию и без всякой ответственности. Закона тут в помину нет; надо всем владычествует одна воля Бирона. Из тысячи случаев опишу тебе, всемилостивейшая государыня, только два, которые покажут, как сборщики должны быть осторожны в своих действиях, и внушат твоему сердцу правила для руководства их в подобных случаях: да различают они на будущее время неплательщика по несчастию, насланному свыше, от несостоятельного по закоснелой лени, разврату или упрямству. Самодержавное слово твоё пусть облегчит участь одиноких, обременённых многочисленным семейством, несчастных, которых настигла кара Божия, лишив болезнями нескольких рабочих рук, падежом – скота, пожарами – крова, неурожаем – куска хлеба. Составители закона должны помнить, что они имеют дело с человеком, а не с вещью, готовою всё вытерпеть.

В село NN[107] на самое рождество Христово нахлынули сборщики. Святость дня должна бы уж освободить от подобного нашествия. Напротив, они, кажется, выбрали один из самых торжественных праздников христианина, чтобы надругаться над человечеством, которого образ благоволил принять в этот день сам Искупитель. Они рассыпались по деревне, как волки, напавшие на беззащитное стадо, требовали недоимок, без толку собирали их, по собственной воле и расчёту накладывали пени, обирали скот, земледельческие орудия, хлеб в амбарах, мучили, терзали беспощадно тех, которые и этими способами не могли удовлетворить их. Стук палочных ударов сменялся плачем и стенанием. Над одним отцом многочисленного семейства, которого он был единственным кормильцем, обрушилась более всего их жестокость. На сходке пытали его всеми бироновскими пытками, но при каждой перемене вместо денег получали от него ответ, что у него шестеро детей, мал меньше другого, без матери, и что он не ведает даже, где добыть им хлеба. «Лжёшь! Прикидываешься!» – кричали сборщики и совещались, какого нового рода пытку приложить к нему. «Батюшки! Заплачу, – вопил несчастный, – дайте мне только дойти до моей избы». С этим условием приостановили новые муки, для него изготовленные. В ожесточении приходит он домой; навстречу ему дети, обступают его, просят у него хлеба. «Тотчас! – говорит он, – всем достанется!» Исступлённый, схватывает он нож и зарезывает всё своё

107 Читателю до имени нет, кажется, нужды. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

семейство. Одного, шестимесячного, лежавшего в люльке и надсевшегося от крика, берёт окровавленными руками за ноги, приносит на сходку и с ужасным хохотом размазживает ему голову о голову главного сборщика. «Дайте ж квиток, разбойники! – закричал он. – Шесть душ ровно из вашего счёта вон».

Через неделю деревня опустела; в польских лесах появилась новая.

В другом селе, при подобном случае, отец отвёл пятерых детей своих в поле – это было зимою – и, несмотря на плач их, всех заморозил. «Я хоть один пойду в ад, – говорил он, – зато вы избавитесь от мук бироновских».

В другой бумаге, поданной Мариорицей, заключалось описание мученической смерти Горденки и последствий её.

При чтении этих бумаг государыня смочила платок слезами.

– Как нас обманывают! – сказала она, всхлипывая. – Я и сотой части этого не знала. Как терзают бедное человечество, и всё именем моим!.. Живой человек… почти в моих глазах, ледяная кукла!.. Боже мой! Этому нельзя почти верить! И вот преданность, вот любовь ко мне!.. Всё это одна жажда корысти, одно желание властвовать надо всем, даже надо мною!.. Надо конец!.. Господи! Прости мои прегрешения и не лиши меня в трудное это время своей великой помощи. Милая, – прибавила она, – молчи обо всём, что ты знаешь из этих бумаг, из этого вечера: я хочу собраться с силами… чтобы наказать… О! Как тяжело не иметь ни к кому доверия, не иметь друга! И вот царский сан, которому столько завидуют!..

Государыня опять зарыдала.

– У вас остаётся Артемий Петрович Волынский! – сказала княжна с особенным восторгом. – Вырвите свою доверенность из рук недостойных и отдайте ему… он достоин быть любимцем царей; вручите ему управление России, и вы увидите, какая слава, какое счастие прольётся на народ наш, как все будут благословлять ваше имя!

Изумлённая необыкновенным одушевлением, необыкновенною силою, с которою говорила Мариорица, Анна Иоанновна пристально посмотрела ей в глаза, отчего эта, краснея, потупила свои.

– Несчастная! – грустно произнесла государыня, качая головой. – И тебя успел обворожить этот чародей! И тебя не избегнул злой рок! О, молись, молись Богу!.. Теперь позови мне камер-девицу; тебе и мне нужен покой.

Но княжна не двигалась. Опомнившись от смущения, в которое бросили её догадки государыни, она рассчитывала, и очень верно, что если ныне же, тотчас после чтения этих бумаг, не сделано хоть решительного приступа в пользу Волынского, то впоследствии и подавно ничего не сделается. Любовь, и такая любовь, как её, внушает смелость; одушевлённая ею, она сказала:

– Государыня, дайте же приказ освободить…

– Друзей Волынского! – прервала Анна Иоанновна, как бы испуганная этою просьбою. – Теперь… ночью?..

Теперь же, государыня! Господь пошлёт вам и лучший сон, и утешение вашему сердцу.

Она говорила с таким горячим убеждением, с такою нежностью целовала руки императрицы, что эта не могла отказать, велела подать себе чернилицу, перо и бумаги и написала приказ коменданту крепости – освободить из-под ареста трёх вельмож, засаженных туда в день празднования известных родин козы.

Через минут пять хотели воротить посланного с этим приказом – так была велика нерешимость Анны Иоанновны, всё ещё боявшейся выйти из-под опеки временщика, – но было поздно! Друзья пользовались уже свободою и, уверенные, что вместе с нею падёт могущество фаворита, благословляли за неё императрицу.

С каким умилением чистого, благодарного сердца, с какими радостными слезами молилась княжна, когда она пришла в свою спальню!

– Мне, мне обязаны его друзья своею свободою, его собственное счастие, слава его будут делом моим! – говорила она в упоении своего счастия.

Глава II
УДАР

И что ни шаг,
То новые беды иль новый враг.

В ту же ночь узнал Бирон о приказе коменданту Петропавловской крепости. Бешенство его не знало меры, пока он не мог доискаться, что было причиною этого распоряжения, на которое он не давал своего согласия. На все расспросы, кто был после него у императрицы, ему могли только сказать, что оставалась с нею вдвоём княжна Лелемико и что, когда укладывали её величество спать, глаза её были красны от слёз, между тем как любимица её пришла к себе в необыкновенной радости.

– О! Я отплачу этой поганой девчонке. Это её дельце! – повторял он, грызя ногти до крови; и почти всю ночь проходил, как часовой, вдоль и поперёк кабинета своего.

Утром следующего дня явился герцог во дворец. Угрюмый и молчаливый, он был принят государынею с необыкновенною холодностью и принуждением. Боясь остаться одна с ним, она приказала княжне не отходить. С той и с другой стороны – ни слова об освобождении трёх вельмож из-под ареста. Заговорили, однако ж, неприметно о празднике, который так давно готовили к свадьбе Кульковского.

– Когда ж он состоится? – спросила государыня.

– Это зависит от воли господина кабинет-министра, – отвечал Бирон, – не знаю, когда ему угодно будет назначить.

Неудовольствие явно означилось на лице Анны Иоанновны.

– Напротив, думаю, когда мне угодно будет. А чтобы доказать вам, как он скоро исполняет мои желания, я назначаю завтрашний день.

По приказанию её, записка к Волынскому с этим распоряжением написана княжною, подписана государынею и тотчас же отправлена. Бирон кряхтел от досады и, не боясь оскорбить слуха императрицы, пускал по временам неблагозвучные вспышки воздуха, который собирал в груди своей.

– Ваши желания? – повторил он, иронически усмехнувшись. – Смею заверить, что он считает поручение вашего величества оскорбительным для себя. Он объявил это при Остермане и Минихе в самых дерзких выражениях.

– Дела говорят лучше слов. Покуда дозвольте вам не поверить. Впрочем, с некоторого времени замечаю, вы особенно нападаете на кабинет-министра, который столько предан моим и моей России пользам – и предан не на одних словах. Не с этого ли времени, как он выставил напоказ вашу ледяную статую?

Тут она пристально посмотрела на герцога. Герцог побледнел и побагровел.

– Позвольте выйти княжне, – сказал он, собираясь обрушить разом на голову Волынского решительный удар, так давно изготовленный, и между тем стыдясь вмешивать княжну в свой донос перед ней самой. Но и этот стыд он скоро забыл.

– Моя Лелемико останется при мне, – отвечала государыня с необыкновенною твёрдостью.

– Вас обманывают.

– Знаю, но только не Волынский.

– Именно он. Государыня! уж под крылом голубки свивают доносы на верного, преданного вам слугу, – он посмотрел значительно на княжну, от чего эта вся вспыхнула. – Поберегитесь, чтобы коршун не сел на ваш престол.

На лице государыни изобразилось какое-то сомнение и робость.

– Покуда этот коршун хочет выклевать мне глаза, чтобы я не видал его коварных замыслов. Но пусть прежде выпьет сердце моё! Пора к развязке! Я не могу долее терпеть моё унижение, которое доселе скрывал от вас, сберегая ваше здоровье. Один из нас должен очистить другому место, но не иначе, как мёртвый. Дорого ценю ваши милости и недёшево

уступлю их. Выслушайте меня, ваше величество; я прошу, я требую этого, и теперь же.

– В другое время.

– Надеюсь, скоро!.. Правда, вам ныне не до меня; вас и без меня оступят жалобами… может статься, ныне ж упадёт к ногам вашим жена его…

При этом слове кровь ударила в голову Мариорицы, всё в глазах её запрыгало и закружилось.

– Жена? Да разве она приехала? – спросила государыня.

– Вчера вечером и, вероятно, тотчас узнала его связи с непотребною…

Нож клеветы был прямо устремлён в сердце бедной девушки. Она не вынесла удара; грусть её зажгло, у сердца что-то оторвалось; она кашлянула, прижала белый носовой платок к губам, и розовое пятно означилось на нём! Как жестоко наказывает её судьба за одну минуту неземного блаженства на земле! Герцог радовался уж своему торжеству, видя, что государыня склонялась на его сторону, но ожесточение, с которым он напал на любимицу её, разрушило всё, что он успел выиграть вновь из потерянных прав своих, и положило между ею и им новую преграду. Нельзя было не догадаться, на кого устремлены были его стрелы, облитые ядом: цель сама означала себя слишком явно; но время, место и способ обвинения были худо выбраны. Государыня заметила ужасное положение княжны, сжалилась над нею и взяла её сторону. Отпустить её от себя, чтобы освободить от ужасных намёков своего фаворита, она не решалась, боясь услышать что-нибудь важное насчёт своей любимицы. Как бы по предчувствию, она страшилась потерять своё последнее утешение. И потому с прежнею холодностью и твёрдостью разговор был обращён на другой предмет.

Вскоре доложили о Волынском. При имени его Мариорица казалось, ожила; она не старалась оправиться, она в одну минуту оправилась, воскреснув душою.

Артемий Петрович вошёл. Если б он видел, какой взгляд на него бросили! Это был целый гимн любви. Чего в нём не было? Моление, упование, страх, покорность, любовь земная, судорожная, кипящая, и любовь неба с его глубокою беспредельностью, с его таинственным раем. Но другой взгляд… о! он пронизал бы вас насквозь холодом смерти. Артемий Петрович вошёл и не удостоил взглянуть на неё, преданный ли своей новой любви к жене или делу друзей и отчизны.

«Может статься, – думала Мариорица, утешая себя, – он мстит мне за то, что я не пришла на свидание, мною ж назначенное! Не мог ли он подумать, что я насмеялась над ним? И то может статься, что он сберегает меня от подозрений… Один утешительный взор любви, ничего более, а там хоть погибнуть!»

И этого взора не было.

– Артемий Петрович, – ласково произнесла государыня, – вы читали моё желание?

– Оно будет выполнено, ваше величество!

– Завтра?

– Завтра, в час, который вам угодно будет назначить.

– Слышите, ваша светлость?

– Разве кабинет-министр в первый раз себя обольщает несбыточным? Разве он в первый раз говорит так необдуманно? – сказал Бирон, не удерживая, более своей злобы.

Кружева на груди Волынского запрыгали; но он сделал усилие над собой и отвечал сколько мог умеренней:

– Благодарите присутствие её величества, что я не плачу вам дерзостью за дерзость. Волынский никогда, даже вам, не изменял своему слову, хотя б это стоило ему жизни.

– Но знаете ли, государь мой, что делается между людьми, снаряжёнными на праздник и вам порученными?

– Более, нежели вы думаете, государь мой! Знаю, что одного из них, именно малороссиянина, вам угодно было исключить из списка живых. Да это для вас, сударь, такая безделица! Человек!.. К тому же русский!.. ну, стоило ли из этой дряни хлопотать! Однако ж вы сами тотчас же поспешили заменить его другою живою, подставною куклой.

– Сказка, вами сплетённая! Тысяча вторая ночь, которою прекрасная ваша пленница

ищет убаюкать вашу скуку и, может быть, оградить вас от наказания нашей правосудной владычицы!

– Клевета, которою вы вместо надгробной надписи хотите скрасить памятник над своими мертвецами, чтобы они не путали вашей младенческой совести! Гм! поставьте лучше из целой России великолепный мавзолей.

– Боже мой! Да эти буяны так забылись в присутствия моём, что у меня в ушах ломит от их крику. Пожалуй, чего доброго, возьмутся за святые волоса!.. Я обоим вам приказываю замолчать, – вскричала грозно государыня, – я это всё разберу после, в своё время. Все ли у вас пары налицо? – прибавила она, немного погодя, смягчив голос. Обращение было сделано к кабинет-министру.

– Все, государыня!

– Опять неправда! – воскликнул Бирон.

– Докажите.

– Цыганка Мариула вчера с ума сошла. – При этом слове княжна помертвела, встала с своего места, чтобы идти, и не могла. – Полиция вынуждена была посадить её в яму.

– Та самая, которая?.. – спросила было государыня.

– Гадала некогда вашему величеству, – подхватил герцог.

– С ума со…? – и государыня не договорила.

Там, где стояла княжна Лелемико, послышался глухой стон, будто грянулось что-то тяжёлое оземь. Все оглянулись – княжна лежала недвижимо на полу.

– Боже! Её убили! – закричал Волынский, схватив себя за голову, и первый бросился подавать ей помощь, за ним Бирон.

Но государыня, несмотря на то что перепугана была так, что дрожала всем телом, дёрнула сильно за шнурок со звонком, чтобы прибежала прислуга, и сердито указала дверь герцогу и кабинет-министру, примолвив:

– Прошу уволить от ваших нежных попечений. Снявши голову, не плачут по волосам. Ступайте…

– Не пойду, ваше величество! – вскричал Волынский, став на колена подле княжны и схватив руку её, которую старался согреть своим дыханием.

– Какой позор!.. И меня заставляют смотреть на него!.. Вы хотите быть ослушником?.. – сказала грозно императрица. – Не заставьте меня в другой раз повторить.

Во время этого ужасного спора подданного с своею государынею Бирон стоял у дверей. Прислуга дворцовая явилась.

– Теперь пойду, – сказал Волынский, встал, посмотрел ещё на княжну и вышел; герцог за ним.

Лишь только они успели занести ногу за первый порог, Бирон сказал с коварною усмешкою своему врагу, шедшему в глубокой горести:

– Полюбуйтесь своим дельцем.

Не было ответа. Может статься, Волынский, убитый тем же ударом, который поразил княжну, не слыхал насмешки; может статься, не находил слов для ответа, потому что, оборачивая брошенный ему жетон на ту или другую сторону, везде читал: *«достойному награда»* . Кровавое пятно, им замеченное на белом платке, терзания бедной девушки, у которой он отнял спокойствие, радости, честь, может быть, и жизнь; сумасшествие цыганки, столько любившей княжну и связанной с нею какими-то таинственными узами, – всё, всё дело его. Нельзя отказаться от этих подвигов. Ад его начинался на этой земле; зато путь к нему был усыпан такими розами!..

Выходя из дворца, он был в состоянии человека, который слышит, что за горою режут лучшего его друга. Стоны умирающего под ножом разбойника доходят до него и отдаются в его сердце; а он не может на помощь – ужасная гора их отделяет. Всё наконец тихо, всё мрачно вокруг него… Или не скорее ль можно сравнить состояние его с состоянием человека, который в припадке безумия зарезал своего друга и, опомнившись, стоит над ним?

Глава III
МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ

С этим адом в груди приходит он домой. Взоры его дики; на лице сквозит нечистая совесть; вся наружность искомкана душевною тревогой. По обыкновению, его встречают заботы слуг. Неприятны ему их взгляды; каждый, кажется, хочет проникнуть, что делается у него в душе.

– Прочь к чёрту! – говорит он им ужасным голосом.

И все с трепетом удаляются, объясняя себе по-своему необыкновенное состояние барина. В тогдашнее время не было в домах ни мужниной, ни жениной половины; всё было между ними общее. Не желая встретить жену, Волынский нейдёт в дальние покои и остаётся в зале; то прохаживается по ней тяжёлыми, принуждёнными шагами, будто совесть и в них налила свой свинец, то останавливается вдруг, как бы нашёл на него столбняк. Он желал бы убежать из дому, от семейства, от всего света, в леса дремучие, в монастырь; он желал бы провалиться в землю. Везде преследует его кровавое пятно; на всём белом видит он этот ужасный знак.

Наталья Андреевна, узнав, что он возвратился домой, спешит к нему. Он холодно принимает её ласки; на все вопросы её, нежную заботливость отвечает несвязно, сухо, едва не с сердцем. Мысль, что с ним случилось несчастие, тревожит её, она умоляет его открыться. Он грубо ссылается на хандру. Но слёзы, блеснувшие в её глазах, пробивают наконец путь к его сердцу. «Довольно и одной жертвы! Не эту ли ещё убить за любовь ко мне?» – думает он, старается её успокоить, увлекает в свой кабинет, целует её и силится забыться в её ласках. Доброе, милое это существо радуется своей победе, торжествует её разными пламенными изъяснениями любви своей; она уже не та тихая, только что нежная супруга, которую некогда упрекал Волынский в холодности, – она страстная любовница, утончающая свои ласки: она плачет от упоения любви. Но что с нею вдруг?.. Она отпрянула от него, как будто сам сатана её укусил; она дрожит, будто провели по всему её телу замороженным железом.

Безумный! Среди пламенных изъяснений любви, забывшись, он произнёс: *милая Марио* … и уста его, не договорив околдованного слова, оледенели, и волос его встал дыбом.

– Что ж вы, сударь, не доканчиваете? – сказала Наталья Андреевна, судорожно усмехаясь. Она хотела продолжать, но не могла: ревность задушила её.

Артемий Петрович почти насильно обвил её своими руками, как бы заключил её в волшебный круг, из которого она не могла высвободить себя, целовал её руки, умолял её взором; но она, вырвавшись из его объятий, оттолкнула его.

– Прочь, прочь, обманщик, негодный человек! – говорила она, рыдая. – Так вот ваша любовь! Вот моё сокровище, за которое я не хотела всех богатств мира и за которое нельзя дать гроша!.. Прекрасная любовь! В то время как меня ласкаете, как я думаю быть счастлива, сколько может быть счастливо Божье создание, у вас на уме, в сердце ваша молдаванка; ваши ласки, мне расточаемые, принадлежат другой. Я только болванчик, кусок дерева, на котором вам угодно примеривать ваши нежности вашей прелестной, божественной Мариорице. Нет, этого более не будет; я не дойду более до такого позора… И вот причина вашей горести!.. Зачем же было меня обманывать? Давно б мне просто сказать: ты мне постыла, я люблю свою молдаванку, одну её! Мне было бы легче!.. Повторите мне это теперь и оставьте меня; расстанемся лучше… У меня будет кого любить и без вас – со мною останется мой Бог и Спаситель, которого вы забыли!..

И несчастная рыдала, ломая себе руки. Ревность заставляла её говорить то, что она, конечно, не в состоянии была б выполнить. Артемий Петрович стал перед нею на колена, уверял, что хотел её испытать, божился, что её одну любит, что её одну ввек будет любить, что к Мариорице чувствует только сожаление. Истинная любовь легковерна. Наталья Андреевна поверила, но наперёд требовала, чтоб он подтвердил свою клятву пред образом Спасителя. И он, как бы в храме, пред алтарём, подтвердил её со слов Натальи Андреевны,

диктовавшей ему то, что он должен был сказать для успокоения её. В этом случае он не думал лицемерить ни перед нею, ни перед Богом: от любви к Мариорице, возмущённой такими неудачами и несчастиями, лишённой своего очарования, действительно осталось только глубокое сожаление; но это чувство так сильно возбуждало в нём угрызения совести, что он готов был желать себе скорее смерти. Жизнь его опутана такими дьявольскими сетями; один конец её мог их разрубить. Любил он истинно свою жену? Да, он дорожил ею с тех пор, как узнал, что она скоро будет матерью его младенца; но могло ли чувство чистое, возвышенное, нераздельное иметь место в сердце, измученном страстью, раскаянием, бедствиями Мариорицы, страхом быть уличённым в связи с нею, бедствиями отечества? Сердце его была одна живая рана.

Наталья во всех случаях жизни любила прибегать к святыне. Вера вознаграждала её за все потери на земле, осушала её слёзы, святила для неё земные восторги, обещала ей всё прекрасное в этом и другом мире. И теперь, успокоенная своим мужем, расставшись с ним, она прошла в свою спальню и там молилась, усердно, со слезами, чтобы Господь сохранил ей любовь супруга, который после Бога был для неё дороже всего.

Успокоив её, Волынский хотел также утешить чем-нибудь и бедную девушку, безжалостно брошенную им на смертный одр. Совесть его требовала этого утешения. Он принялся писать к Мариорице. Но при каждом скрипе шагов в ближней комнате, при малейшем шорохе дрожал, как делатель фальшивой монеты. Не она ли идёт?.. Ну, если застанет его над письмом к своей сопернице! Артемий Петрович, кажется, боится шелеста от собственных своих движений. Кабинет-министр, который некогда смело шёл навстречу грозным спутникам временщика, пыткам, ссылке, казни и смерти, удалый, отважный во всех своих поступках, трусит ныне, как дитя.

Дверь на запор.

Письмо, которое он писал к Мариорице, было орошено слезами, так что по нём сделались пятна. Но лишь только начертал он несколько строк, как стукнули в дверь. Он спешил утереть слёзы и бросить письмо под кипу бумаг; рука, дрожащая от страха, отперла дверь. Вошедший слуга доложил, что его превосходительство желают видеть граф Сумин-Купшин, Перокин и Щурхов. Тысячу проклятий их безвременному посещению! Политика и дружба для него теперь гости хуже, чем татары для бывалой Руси. Однако ж велено просить друзей.

Они пришли благодарить за ходатайство об них у государыни и вместе радоваться, что правое их дело начинает торжествовать. Когда б знали они, что обязаны своим освобождением молдаванской княжне! Волынский и не принимает на себя успеха этого дела, а приписывает его только великодушию государыни. Беседа освятилась новою клятвою друзей действовать решительно против врага России и, если он не будет удалён от управления государством, требовать, чтобы их опять отвели в крепость.

Как доволен был хозяин, когда гости удалились! Он продолжал и кончил письмо. Арапу поручено доставить его во что б ни стало, и сейчас.

Когда княжна была приведена в чувство и государыня оставила её в её спальне, уверенная, что ей лучше, горничная её Груня наэлектризовала её одним прикосновением к руке. В этой руке очутился клочок бумаги, могучий проводник, возбудивший её к жизни, полной, совершенной, к жизни любви. При этом было произнесено три волшебных слова: *«От Артемия Петровича»* . Казалось, она встала из гроба и услышала райское пенье. Глаза её заблистали по-прежнему, грудь её взволновалась. «Что бы ни было в этой записке, – думала она, целуя её с восторгом, – я уж счастлива, – это знак, что он помнит обо мне».

Задыхаясь, она читала письмо:

«Безумный! До чего довёл я тебя?.. И вот небо, которое тебе обещал! Что должен я сделать, чтобы возвратить тебе прежнее спокойствие и счастие? Скажи, милая, бесценная Мариорица, научи меня. Одно слово, одно твоё желание – и я спешу исполнить его, хотя бы стоило мне то жизни, хотя б я должен купить твоё благополучие муками в здешнем мире и за пределами гроба. Дай малейшую отраду – напиши одно слово о своём здоровье. Ради Бога,

укрепи себя для лучших дней, или я уничтожу себя, жену, всё, что только носит моё имя, что может его носить. Я не усну, если не получу от тебя ответа».

Половина того, что писал Волынский, была ложь, но она сделала своё действие – успокоила, утешила Мариорицу, и цель его была достигнута. Княжна отвечала:

«Ты обещал мне небо на земле – и дал мне его. Виноват ли ты, что не мог сделать его вечным? Ведь ты не Бог! За блаженство, которое я вкусила, пошли он мне тысячу мук, всё не покроет этого блаженства. Ты с своей стороны мне ничего не должен – ты дал мне более, нежели я ожидала; с тобою узнала я благо, какого и самые горячие мечты мои не обещали мне. Теперь моё дело жить и умереть для тебя, для твоего спокойствия, счастия и славы.

Ты плакал? Следы твоих слёз остались на бумаге – о! Для чего пали они на неё? Для чего не могла я выпить их моими поцелуями? Боже! И я виною их…

Мне сделалось дурно от слов этого злого человека, Бирона; я к этому не приготовилась, ещё не привыкла. Но с этой минуты даю тебе слово не потревожить тебя и тенью огорчения; буду тверда, как любовь моя. Спи, милый друг; сны твои да будут так радостны, как теперь сердце моё».

Ни слова о неудаче свидания, о болезни своей, ни слова о цыганке; она всё забыла, она помнит только своего обольстителя. Сердце её благоухает только одним чувством – похожее на цветок хлопчатой бумаги, который издаёт тем сильнейший запах, чем далее в него проникает губительный червь: отпадает червь, и благоухание исчезает.

Прочитав письмо, Волынский несколько успокоился; оно убаюкало его совесть, но и в дремоте её виделись ему страшные грёзы. Письмо было сожжено, и пепел брошен в печь, чтобы и следов его не оставалось. Ту же участь имели прежние письма к нему Мариорицы: так сделался он осторожен, боясь попасть с ними под новый ужасный упрёк жены. Воспоминания прошлой любви его к княжне разгорелись было при этом случае; он заплатил ей дань несколькими слезами. Но с прежнего его кумира обстоятельства сняли лучи, которыми любил он её убирать во дни своей страсти, из которых он свил было для неё такой блистательный венец, и сердце его недолго удерживалось на этих воспоминаниях. Незавидная была двусмысленная роль его: надобно было обманывать и любовницу и жену, столь горячо его любивших. Волынский сделался низок в собственных глазах и растерялся. Мог ли он в этом состоянии работать отечеству с прежнею силою и благородством души?.. Всякая жертва требует очищения.

Зуда и на этот случай сказал своё пророческое слово.

Глава IV
КУДА ВЕТЕР ПОДУЕТ

Нечистая каморка, худо освещённая сальным огарком в железном подсвечнике. На полках – множество фолиантов с важною и преважною физиономией; большая часть с надгробною надписью: Rollin [108]. На других полках обгорелые горшки, накрытые дощечками и книгами; деревянная чаша, пара оловянных ложек, мышеловка, бутылка, заткнутая бумажкой, и ещё кое-какая посуда, довольно нечистая. Стол с бумагами, из которых одна кипа придавлена кирпичом (ci git[109] сын Одиссея, родившийся на острове Итаке, взлелеянный Минервой и Фенолоном и зарезанный в Санкт-Петербурге профессором элоквенции); тут же – великанша-чернилица, надутая, как (не скажу кто, чтобы гусей не раздразнить)… песок в коробочке, сложенной из писчей бумаги, и железные съёмцы[110] по

[108] Роллен (франц.).

[109] Здесь погребён (франц.).

[110] Съёмцы – щипцы для снятия нагара со свечей.

образу адамовых. В комнате два стула, огромный сундук и постель, на которой подушки черны, как будто готовили на них блины, и одеялом служит тулуп. К стене жмётся портрет с бородавкою; подле него туго насаленный парик и хлопушка для мух. Стены вспаханы стихами, писанными мелом, – для вытягивания их нужна бычачья грудь. Роллень? Нечеловеческие стихи? Бородавка? А! Тут, верно, живёт любитель муз Тредьяковский. Василий Кириллович занимает одно из седалищ. Голова его с обнажённою макушкою представляет целый земной шар; с одной стороны к свечке, служащей солнцем (как в свете нередко случается, что сальные огарки служат иным солнцами), сияет лучезарный полдень, далее рассвет, ночь и сумрак. Против него, на другом стуле, молодой офицер с красным носом. Ба! да это его благородие Подачкин. Видно, беседуют.

П о д а ч к и н. Смотри ж, не забудь. Тебя потребуют к государыне – ты прямо в ноги и расскажи, как стращал тебя Волынский виселицею, плахою, хотел тебя убить из своих рук, коли не скажешь молдаванке, что он вдовец, и не станешь носить его писем; как заставлял писать вирши против её величества и раздавать по народу…

Т р е д ь я к о в с к и й. Заставлял, конечно… но я и вознести мысль не посягнул.

П о д а ч к и н. Уж разумеется, братец! Слышь? Переврёшь и недоврёшь, в караульню, на палочную.

Т р е д ь я к о в с к и й. Возлягте упованием своим на меня, как на адамантов камень. Чего не возмогу я исполнить за великие щедроты, которые ниспосылает на меня его светлость! Да не дозволите ли утруждать ваше благородие. Вы, как особа, обретаетесь при высокостепенном господине… удостойте презентовать его светлости недостойное моё стихосложение, в честь его персоны составленное?

П о д а ч к и н недоврешь (качаясь на стуле). А почему ж не так, почему ж? Однако не худо, братец, понимаешь… ну, ты сам разумная голова… без мази и воз с места не тронется, с нею въедем, пожалуй, хоть в спальню к герцогине.

Третьяковский отпирает сундук, вынимает из *кошки* [111] целковый и вручает его с поклонами.

П о д а ч к и н. Я там видел у тебя другой.

Ты раздайся, расступись, туга киса;
Хоть глазком одним мигни, моя краса!

И другой целковый – тут было почти всё денежное богатство Василия Кирилловича – отдан милостыни раздавателю его светлости. Но золотые горы и слава были впереди.

Т р е д ь я к о в с к и й. Соблаговолите ли, ваше благородие, дозволить прочитать вам поднос мой?

П о д а ч к и н. Похвально!.. – Сынок барской барыни играл уже роль покровителя наук. – Не худо бы, однако ж, при этом винца.

Желание его благородия было исполнено, и попойка началась. Между тем Василий Кириллович читал ему стихословный акростих в честь герцога курляндского, благодетеля и просветителя России, Аристида, Фемистокла, Солона и несколько раз Мецената.

П о д а ч к и н *(перебивая его)* . Похвально, ей-ей, хотя не понимаю! Да ты, чёрт побери, на виршах собаку съел. Знаешь ли, братец, напиши что-нибудь на свадьбу моей матери. Шут бы её взял, славная матка! Вспоила, вскормила меня, в офицеры вывела да сама себя не забыла…

Т р е д ь я к о в с к и й. За особенное себе удовольствие должен почитать и с отменною ревностью готов вам таковым стихословием моей работы презентовать. На всякую потребу я

---

111 Кошельки делались из кошачьей кожи, почему и назывались кошками, от того ж должно происходить и слово киса. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

изготовил преизящные эпиталамические[112] стихи, которые, без сомнения, пригодны будут и на бракосочетание вашей матери.

П о д а ч к и н. Что высока, то высока, четырнадцать вершков мерных! Однако, братец, доходит ли ваше мастерство до того, чтобы твои стихи на бракосочетание можно тотчас, лихо, переделать в стихи на смерть?

Т р е д ь я к о в с к и й *(с гордостью охорашиваясь)* . Чего мы не возможем?.. О! го, го!.. И доложить вам осмеливаюсь, что стоит только некоторые слова, резвунчики, прыгунчики, как горные козочки, вытеснить, а на место их вогнать траурные и тяжёлые, как чёрные волы, с трудом раздирающие плугом утробу земную. Однако ж дозвольте обратиться к предпринятому мною труду в честь его светлости, великого покровителя наук и благодетеля России.

И Василий Кириллович, надуваясь, читал свой панегирик, и новый валет[113] высших валетов герцогских допивал свою бутылку. Между тем неслышными шагами вошёл в комнату старичок, едва ли не семидесятилетний, худощавый, бледно-восковой, с серебряным венцом из волос, с редкою седою бородкой, в чёрном русском кафтане, подпоясанный ремнём, – настоящий мертвец, которого требовала к себе земля! Одни глаза обнаруживали в нём жизнь, и жизнь мощную, пламенную. Это был дядя нашего стихотворца, некогда учитель в Киевской академии и потом служка тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского, который за то, что не хотел отложиться от убеждения, проникшего ум и сердце его, но неприятного временщику, был схвачен от священнодействия в полном облачении и брошен в Петербурге в смрадную темницу. Увидав старика, племянник стал в тупик.

– Продолжай, племянничек, продолжай! – сказал служка, усмехаясь пронзительной усмешкой, – прибавь к своим похвалам новый подвиг благодетелю России! Новый кровавый стих к твоим великолепным виршам!

Старик расстегнул на себе поясный ремень, спустил левый рукав кафтана и рубашки, отчего обнажилось плечо. Оно было изрыто кровавыми бороздами; кровь, худо запёкшаяся, струилась ещё по остову старца.

Тредьяковский смутился.

– Что, друг? Не правда ли, стоит твоего панегирика? – продолжал он, одеваясь. – И это всё он! Твой Аристид, твой Солон и Фемистокл!.. За то, что я осмелился сквозь решётку тюрьмы подать моему архипастырю, моему благодетелю и отцу чистую рубашку – три месяца носит одну, не скидая; гнёзда насекомых источили уж её! Вот человек – герой… Отрёкся ли он от своей веры, лишённый посоха своего, церкви, Божьего света, воздуха, изгложенный червями и болезнями? Вымучили ли из него пытки хотя одно слово против его совести?.. Его бы славить, его бы воспевать!.. Где вам!.. На вас только облик человеческий, а так же ползаете, как четвероногие. Вам скорей награду здесь, на земле, хоть медный грош, лишь бы не даром!.. А небо? О! Никогда не гляделось оно в вашу душу, никогда не тянуло оно её к себе; ни одна йота из языка человека с Богом не тревожила вас дивным восторгом! Твоё сердце бежало ли когда на уста вместо слов? Беседовал ли ты когда с этим Богом слезами? Несчастный! Ты из этого ничего не знаешь. Камень камнем и будет. Продолжай, любезный, подноси на коленях своё стихотворное враньё: сын времени погладит тебя по головке, может статься, окутает тебя в свою ливрею, озолотит тебя и поставит на запятки. Но знай! Внуки наши обрекут тебя достойному позору, оплюют твои подлые творения. Слышишь?.. Громы надо теперь на палачей, ужасные громы неба, а не чиликанье синиц под ружьём охотника, не блеянье овец под ножом мясника! И грянет этот гром! Горе вам тогда! Слышишь ли?..

---

112 Эпиталамические – свадебные (от греч. epithalamios – свадебная песня).

113 Слуга (от франц. valet).

Голос вдохновенного старца умолк – может статься, последняя его лебединая песнь на земле. Он исчез.

Долго ещё племянник слушал его, поверженный в ничтожество громовыми истинами старца, как бы приходившего на миг из гроба, чтобы обличить его в раболепстве. Подачкин, разинув рот, слушал также, ничего не понимая. Налитый стакан стоял нетронутый.

Наконец Василий Кириллович одумался, встал, подошёл на цыпочках к двери и припал к ней ухом: никого! Отворил её – никого! Тут он осмелился произнести:

– Сумасшедший! Накупается каждодневно на побои: то нянчится около своего архиерея, дерзнувшего воспротивиться власти его светлости, то шляется по караульням, воздвигает на него ненависть солдат и предсказывает восшествие на престол Елисаветы Петровны. Кончить ему неблагообразно!

Василий Кириллович начал опять читать свой *поднос* , но чтение было опять прервано. Вошёл в каморку кабинет-секретарь Эйхлер. Подачкин вытянулся во фронт; хозяин встал, смутившись, и приветствовал гостя как мог; но этот, не дав ему расплыться в многоглаголании, отвёл его в соседнюю, ещё меньшую, каморку. Здесь шёпотом объявил, что все усилия произвесть Василия Кирилловича в профессоры элоквенции остались тщетны, потому что фаворит решительно падал и судьба его на волоске. Целая свита сожалений, вздохов, жалоб на несправедливость людей и переменчивость фортуны следовали за этим объяснением. Стук-стук, новый гость – и кто ж? Зуда, которого не видали целые веки. Никогда ещё каморка Тредьяковского не имела у себя столько разнородных посетителей. Разумеется, что поклонение пиита обратилось к восходящему солнцу, и Эйхлер вынужден удалиться.

Тут Волынского торжество было объявлено во всеуслышание, так что и Подачкин струсил. Не обошлось, однако ж, без новых тайных переговоров в соседней каморке, где Василию Кирилловичу предлагали милости, какие ему самому угодно будет назначить. Заслуги его умели всегда ценить, но случая не было к награде; теперь этот случай представился, и спешили им воспользоваться. Взамен требовали только: в случае спроса государыни сказать, что он действительно был вчера у Волынского и от него пошёл давать урок княжне Лелемико, у которой оставил свою книгу (а были ли в ней бумаги, ему неизвестно), и потом насчёт связи кабинет-министра свалить всю вину на Бирона, который будто бы угрожал Василию Кирилловичу виселицею и плахою, если он не поддержит этой связи и не заверит княжну, что Волынский вдовец. Да это безделица!.. Василий Кириллович полезет для его превосходительства, своего благодетеля, покровителя и мецената, в огонь и в воду. Пошли уверения, клятвы, всепокорнейшие, всенижайшие, вседолжнейшие, так что крошечный Зуда едва не задохся от них. Кончилось тем, что два серебряных рублёвика после упорной битвы были отняты пиитом, сильным, как Геркулес, и возвратились в своё прежнее обиталище, и новое его благородие согнато с Парнаса в толчки:

Ведь Парнас гора высокая,
И дорога к ней негладкая.

Глава V
СВАДЬБА ШУТА

Гимен на торжественной ехал колеснице,
Купидушки ту везли, прочие шли сице.
Тредьяковский

Приданого за ней полмиллиона,
Вот выдали Матрёну за барона…
И сделалась моя Матрёна

Ни пава, ни ворона.
Крылов

Назначенный праздник не был отменён. По особенной привязанности к княжне Лелемико государыня хотела им воспользоваться, чтобы показаться вместе с нею придворным и тем отразить стрелы клеветы, которые могли на неё посыпаться. Она верила любви Мариорицы к Волынскому – и как не верить? Свидетельства были слишком явны: бедная не умела скрывать свои чувства, – но в голове Анны Иоанновны развилась мысль сделать эту любовь законною… На это довольно было одного её царского слова.

При докладе Волынского, что шутовская свадьба снаряжена, с ним обошлись необыкновенно милостиво. Что, казалось, вело его к гибели, то послужило к выгодам его. Каких же странностей нет на свете! Прошу угадывать, где встать, где упасть. Напротив, к изумлению всего двора, Бирон был принят чрезвычайно холодно. Он хотел говорить о предмете, лежавшем у него на сердце, и не имел возможности: сначала речь его перебивали, потом решительно объявили, чтобы он не смел упоминать о княжне. За то отплатил он при выходе из внутренних комнат, хлопнув сильно дверью.

Тигра вводили в клетку, но боялись ещё запереть её; он знал свою силу и играл железной клеткой, входя и выходя из неё. Никто не смел говорить об охлаждении к фавориту – не верили ни слухам, ни глазам, боялись даже верить, чтобы не проговориться; хотели скорей думать, что тигр притворяется спящим.

Праздник! Народный праздник! Какое магическое слово для толпы! Полно, для одной ли толпы? Это слово не клич ли к общему веселию? И кто ж не хочет забыться от забот здешней жизни, вкусив хоть несколько капель у фонтана этого веселья, бьющего для всех и про каждого? Мужичок окунает в нём свою бороду, так он жаден напиться его до безумия; мудрец – хоть и мудрец, с припевцем из Соломона *«всё суета сует»* , осторожно, исподтишка, лезет тоже, за щитом густой бороды черни, испить с отдыхами ковшичек удовольствия – народного, грубого, как он называет его, но всё-таки удовольствия. Накрой же кто его на этом ковшике любимою его сентенциею: *«всё суета сует»* , у него тотчас готова оговорка: ведь надобно ж было испытать, какова водица, чтобы описать её свойства! А всё это сведём к тому, что все мы не прочь от народных увеселений.

Не пользуясь Мафусаиловой жизнью, мы не могли быть на празднике, который в последний год царствования Анны Иоанновны дан был по случаю свадьбы пажа и шута её Кульковского. Постараюсь, однако ж, описать праздник, будто сам видел его. А отчего так хорошо его знаю, то извольте знать, слышал я об нём от покойной моей бабушки, которая видела его своими глазами и вынесла из него рассказов на целую жизнь, восторгов на целую вечность, если б вечность дана была в удел моей бабушке.

Итак, просим ко мне под бочок: смотрите ж, что я буду вам показывать.

Видите ли? становится на площади между Зимним дворцом и ледяным домом карета золотая, десятистекольная, запряжённая восемью *неаполитанскими* лошадьми. Что за кони! будто писаные! Сбруя пылает на них, страусовые перья развеваются на головах; снег курится из-под ног, тонких, как у оленя. Пиф, паф бичом – каково ж рисуются! Благородная кровь означилась струями по атласу их шерсти. Двенадцать пеших гайдуков идут по бокам цуга, готовые смирить рьяность коней в случае, если б забыли узду и бич. Кучера в треугольных шляпах с позументами, из-под которых прицеливается в карету длинная коса, в откидных ливрейных шубах, исписанных блестящими галунами, в башмаках и шёлковых чулках с огромными пряжками. Пажи унизали карету ожерельем, которому служат как бы замком два арапа в золотых шубах и в белых чалмах. Охраняют её *двенадцать ездовых сержантов* верхами в гренадерских с плюмажем шапках. В ней сидит государыня, напротив её княжна Лелемико (кабы знали, что она дочь цыганки!). На лице последней играет уж румянец, в глазах искрится удовольствие. Скоро ж оправилась! Мудрено ли? Она уверена, что любима. Позади этой кареты несколько других с великими княжнами и придворными дамами. В одной из них – посмотрите – настоящая русская дева, кровь с молоком, и взгляд и привет

царицы: это дочь Петра Великого, Елисавета. Она дарит толпу улыбкой, будто серебряным рублём. Кажется, сердце хочет сказать: «Желанная, царствуй над нами!» Как ей легко увлечь эту толпу! Невыгодно сравнение с нею для Анны Иоанновны, смуглой, рябоватой, с длинным носом, тучной, мрачной. Прибавьте к неприятной наружности потворство ужасному Бирону и можете судить, почему её прозвали грозною, когда она в самом деле не была такою. Заметьте и эту молоденькую женщину в придворной карете – милое, дутое личико, на котором набросано кое-как простодушие, доброта, ветреность. Это Анна Леопольдовна, супруга герцога Брауншвейгского. Кто бы подумал, что ей предоставлено сменить временщика и править государством? Кому, однако ж, как не голубке, принести ветвь мира человечеству, усталому от казней! К карете нередко подъезжает муж её, незначащее лицо, и статный, красивый Линар, этот очарователь… Но я расскажу вам когда-нибудь в другое время их историю. Вот и карета герцога курляндского, с его гусарами, скороходами, егерями и пажами. Он ослепляет великолепием своего экипажа и прислуги и красотою лошадей; он давит толпу своим грозным взором и именем. Жена его с ног до головы облита корою алмазною: знатоки ценят их в два миллиона. Вот и фельдмаршал Миних верхом – герой, инженер, честолюбец, волокита, любящий страстно ветчину с сахаром и женщин, но более всего славу. Посмотрите, как он увивается около кареты С…вой (дочери В…ва)[114], первой красавицы при дворе – первой, хотел я сказать, после княжны Лелемико. Она небрежно отвечает ему; отуманенные грустью взоры пронзают толпу всадников и ищут между ними молодого В…ва, двоюродного брата её, к которому пылает страстью преступной. Зато муж её у ног прекрасной княжны Т…ой[115], венчающей его не одними надеждами. Но слышали ли вы про чудную смерть С…вой и про сердце её, выставленное в церкви на золотом блюде, под стеклянным колпаком, и проч.?..

О Господи! Положи на уста мои хранение. Когда-нибудь, если удастся, расскажу всё, что я про них слышал от девяностолетнего старца[116], которому тайны их жизни были известны, как его собственная спальня. А теперь станет ли меня управиться и с настоящим рассказом!

Какой щегольской съезд! Играют волны страусовых перьев; переливается блеск золота в блеск алмазов; бархаты пышут яркостью своих цветов; чёрные соболи нежатся на женских коленках. Какое отборное собрание женщин! Какие хорошенькие, свежие лица, будто сейчас умылись снегом или с серебра под первый весенний гром! Горят опасные взоры их, или проблёскивает на вас из-под длинных ресниц луч потаённый. Кокетничают и красавицы лошади. Всё блестит, всё радуется снаружи. Зато какой хлам становится за придворными экипажами. Чего тут нет? Вот курятник, из которого выглядывает жирная наседка с полдюжиной хохлатых птенцов; вот человеческая мумия под белым париком, прилепленная к своему седалищу, устроенному в богатом берлине, который везут четыре лошадиные мумии верёвочными постромками; она боится малейшего толчка, чтобы душа не вылетела из неё вон. Думаю, что и в соседней карете, со взводом прислуги в нарядной ливрее на запятках, барыня, разряженная, как жар-птица, при каждом ухабе дрожит не менее старика, – не за душу свою – кажется, душонки-то и нет у неё, а за свои соколиные брови, за жемчуг своих зубов, за розы и перловую белизну лица, взятые напрокат. Тут найдёте в экипажах живые колоды карт, живые корзины с цветами, свежими и поблёкшими, простыми и расписными, индейских петухов, ветвистых оленей и прочее и прочее, что и ныне можете найти на всяком съезде. Какая смесь вкуса с безвкусием, блеска с чернотою, великолепия с

---

114 Строгановой (дочери Воронцова).

115 Трубецкой.

116 От него ж узнал я историю молдаванской княжны Лелемико. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

недостатком! Настоящая вывеска необразованности тогдашнего времени! Только два-три экипажа вполне щеголевато снаряжены, и в числе их карета Волынского. В ней сидит супруга его, счастливая, гордая им, только им и – разве плодом любви их, который носит под сердцем. Какая мысль блеснула в голове её и Мариорицы; что почувствовали они, когда издали взглянули друг на друга в первый раз? Уж, верно, не Наталья Андреевна завидовала участи княжны, сидящей с государыней. Сам Волынский разъезжает на санях, чтобы удобней распоряжать всеми частями праздника.

Однако ж внимание, господа и госпожи! Не заглядывайтесь так на прекрасную, бледную княжну Лелемико и пригожую супругу кабинет-министра. Знаю, что обе загляденье. Одною, говорите вы, любуетесь, как звездою любви на роскошном ложе неба, как обольстительною девою, которая должна украшать рай Магометов: все помыслы о ней – соблазн, грех, бессонница, видения, бунтующие кровь вашу. Другою восторжены вы, как Мурилловым идеалом, на который, кажется, боишься глядеть не душевными очами, которого взгляд соучастия даёт крылья, чтобы лететь на небо христианское. Знаю, что вы колеблетесь, кому из них отдать золотое яблоко; но теперь не время играть роли Париса. Итак, прошу внимания, господа и госпожи!

В голове шествия – рота гвардейцев; треугольные шляпы солдат украшены еловыми и дубовыми ветвями, у офицер лаврами – так ходили они, возвратившись из славного турецкого похода. Проходя мимо императрицы, они приветствуют её громким *«виват!»* .

Вот выступает огромный слон – сильное, мудрое животное из числа четвероногих, которое, однако ж, повинуется, как вы видите, маленькому двуногому животному, может быть и довольно глупому. Но этот простачок получил от одного лукавого выскочки из своего рода талисман – молоток, которым он, сидя на его хребте, долбит силача и мудреца в голову и управляет им как хочет. Тяжело выступает слон в тёплых котах. Но каких это двух зверьков везут на спине его в огромной железной клетке, утверждённой к ней подпругами? Народ, несмотря на присутствие императрицы, встречает их радостными восклицаниями, хохочет, плещет руками. Поезжай они на слоне и не в клетке, народ не посмел бы смеяться! Эти зверьки, судя по образу их, человеки. Один – Кульковский, другой – супруга его, бывшая Подачкина и барская барыня. Кланяйтесь им, господа и госпожи, и поздравляйте их со вступлением в законное супружество. Они едут из церкви на свадебный обед, провожаемые многочисленным поездом. Напыщенные, как лягушка, собиравшаяся в быки, сидят они друг против друга в богатых креслах. Штоф, бархат, золото, вспыхивая от луча солнечного, сквозят через железные прутья клетки, муфты придают новобрачным высокую степень кукольного барства. Есть чем и похвалиться: от Баязета до них ещё никто езжал в таком чудесном экипаже; а Баязет, как вы изволите знать, был не мелкая спица в колеснице мира – легко сказать, султан!

Любезная старина! Завидная старина! Увы! теперь не повезут человека в железной клетке!..

С какой высоты смотрят новобрачные на толпу! Всё мало и низко перед ними. С каким самодовольством озираются они! Не для них ли съезд двора, стечение всего Петербурга? Для них собрание всей России – все диковинки, нигде ещё не виданные! Особенно торжественна госпожа Кульковская: ей пожаловано богатое приданое, хоть бы невесте Миниха; она уж столбовая дворянка, может покупать на своё имя крестьян и колотить их из своих рук; мечты о столе царском, где сядет рядом с женою Волынского, бывшею своею барынею, о пирах и более о наказаниях, которые будет рассыпать, кружат ей голову. Осмелься кто из её крестьян пискнуть перед ней; кликнула – заплечный мастер садится на облучок её повозки – летят, приехали, и по её мановению, без дальнего суда, расправа готова. Всё дело нескольких целковых и власти боярской. Чудные времена, славные времена!.. Госпожа Подачкина опьянела от восхищения, и ей не верится, что она на такой высоте почестей и могущества.

Глядите, глядите, что за странный поезд тянется за экипажем новобрачных! Честь первых за ними принадлежит остякам, или, лучше сказать, оленям, на которых они едут. Красивые животные дрожат и упираются; от страху по шерсти их перебегают тени. За ними

новгородцы на паре козлов, малороссияне на волах, чухонцы на ослах, татарин с своею татаркою на откормленных свиньях, на которых посадили их, чтобы доказать, как можно преодолеть натуру и обычаи. Тут и рыжеволосые финны на крошечных конях, камчадалы на собаках, калмыки на верблюдах, белорусцы под войлоком колтуна, зыряне, которых честность могла бы поспорить с немецкою, ярославцы, взявшие верх на этой человеческой выставке статью, красотою, щёгольством наряда, и так далее, все сто пятьдесят разноплемённых пар, каждая в своём народном костюме, на отличной паре животных, в различных санях и салазках. Блеянье, лай, мычанье, рёв, ржанье, звон бубенчиков и колокольчиков – какая чудная музыка при этом диковинном поезде! Опять скажу, только в России можно было составить такой богатый этнографический праздник. На одной площадке собрались весь север Азии и почти весь восток Европы: для этого стоило только русской царице махнуть платком из окна своего терема.

По воле государыни, поезд сделал два оборота на Луговой линии и тянется к манежу Бирона. Там приготовлен обед для новобрачных и гостей. Стол накрыт на триста три куверта. Музыка, составленная из труб, гобой и литавр, встречает поезд. Садятся за стол чинно, парами, в том порядке, в каком ехали, – разумеется, князь и княгиня свадьбы на переднем месте. Перед каждою парою поставлено национальное её кушанье.

Государыня с своею свитою расположилась на возвышении под балдахином. Около неё составляется блестящая гора дам и кавалеров.

За обедом Тредьяковский громогласно произносит стихи «собственной работы»:

Здравствуйте женившись, дурак и дура,
Ещё… тота и фигура,
Теперь-то прямое время вам повеселитца,
Теперь-то всячески поезжаным должно беситца.
Ну, Мордва, ну, Чуваша, ну, Самоеды!
Начните веселье, молодые, деды!
Балалайки, гудки, рожки и волынки!
Сберите и вы бурлацки рынки.

Ах, вижу, как вы теперь ради!
Гремите, гудите, брянчите, скачите.
Шалите, кричите, пляшите!
Свищи, весна, свищи, красна!

И так надлежит новобрачных приветствовать ныне.
Дабы они во своё время жили в благостыне;
Спалось бы им да вралось, пилось бы да елось.
Здравствуйте ж женившись, дурак и дурка,
Ещё… тота и фигурка!

Государыня рукоплещет, именует Василия Кирилловича придворным пиитом, и, по приказанию её, всё её окружающее осыпает певца рукоплесканием. Он встаёт, изнемогший под бременем своего торжества. Два пажа берут его под руки и сажают на противный конец стола, где для него поставлен особенный куверт под беседкою из вееников. Ему одному нет пары; он единствен. Во время обеда служат ему пажи – честь, равняющая его с Шапеллем, если не с Тассом.

Обед кончился, начинаются пляски, каждая пара свою национальную. Там плывёт лебёдкою русская дева, и около неё увивается соколом её товарищ; за ними ломаются, как одержимые духом, в шайтанской пляске; далее пристукивают *козачка* или выкидывают

журавля . Тут мчатся степным вихрем цыгане: «Эй, жги, говори! эвое, эван!» – и взоры исступлённо-красноречивы, и каждая косточка говорит, каждая жилка бьётся, и грудь душит бурею любви. Но что с княжною Лелемико?.. Она бледнеет. Пляшущая цыганка не мать её, но её напоминает, и это напоминание леденит всё существо Мариорицы. Она старается укрепиться, ищет взорами Волынского, находит и оживает. Между тем цыгане пролетели, голос их отдаётся слабее и слабее, наконец совсем замирает. Новые пары, новые пляски и голоса! И страх и грусть Мариорицы промчались как мимолётные видения.

Великолепный балет! Испытайте задать нам подобный, господа директоры театров!..

Пир кончен, и новобрачные с своим пёстрым многочисленным поездом отправились в прежнем порядке в ледяной дом. Здесь, при звуке труб, литавр и гобой, под хор козлов, быков, собак и ослов, высадили их из железной клетки и отвели с подобающею честию в спальню, где и заперли. Поезд распущен. Часовые приставлены к дому, чтобы влюблённая чета не могла из него освободиться. Каков алтарь Гименею?.. На что ни садятся, к чему ни прикасаются, всё лёд – стены, брачное ложе, утварь, отвсюду пышет на них холод, ближе, теснее, наконец душит, костенит их. Несколько минут утешает их огонь в ледяном камине, на ледяных свечах; но этот фосфорный огонь не греет – вот и он слабее перебегает по ледяным дровам, цепляется за них, бьётся, умирая, исчезает… Холодно, мрачно, как под землёю! Сердце замерло. Сначала *молодые* силятся побороть холод; то бегают взад и вперёд по комнате, пляшут, кривляются, то кувыркаются, то колотят друг друга. Смех, да и только!.. Нет более сил выдерживать. Стучатся в дверь, стонут, умоляют часовых выпустить их, припадают заочно к их ногам, клянутся по гроб не забыть их благодеяний, обещаются озолотить их. Ничто не помогает. Отчаяние берёт верх. От мольбы переходят к проклятиям: всё проклинают, что только носит имя человеческое; ломают и уничтожают всё, что могут разломать и уничтожить, силятся разрыть стену… наконец, предавшись отчаянию, садятся на постель… Глаза слипаются, дремота одолевает их более и более; смерть уж протягивает на них руки, усыпляет их, убаюкивает сказками, сладкими видениями; ещё одна минута… и они заснули бы навеки. Но утро отрясает уже свои белокурые кудри из-за снежного подзора; начинает светать… К новобрачным входит караульный офицер и, найдя их в предсмертном усыплении, старается их оживить. Их оттирают снегом и относят на квартиру, где помощь лекаря скоро возвращает им жизнь.

В этот день Бирон был чрезвычайно скучен, государыня очень весела, как бы утешаясь победою над своим любимцем и самой собою. Унизительное внимание герцога простиралось почти на каждого из придворных, кроме отъявленных врагов его. Упавший временщик всегда низок.

На следующий день государынею назначено кабинетское совещание по случаю вознаграждения поляков. Твёрдость её делала успехи.

Глава VI
ОПАЛА

Грозой утомлено,
Спит море – тигра сон! не верь ему; оно
Пред новой бурею так страшно помертвело.
В. Тепляков

В полдень, когда кончились совещания, Эйхлер стоял у дверей государынина кабинета. Под мышкою держал он какие-то бумаги. Его, племянника Липмана, его, преданного Бирону, осыпанного благодеяниями герцога курляндского, избрали для доклада о поляках, решённого в государственном Кабинете. Лучшего выбора нельзя было сделать. При этом докладе лукавый ум Эйхлера докончит то, что начали коварство и сила временщика. Тяжкая забота налегла на чело его: по временам трепет губ и рук обнаруживает в нём сильное душевное волнение. То садится он на стул, разбирает бумаги, углубляется в чтение их, с

негодованием комкает их в руках, опять складывает; то встаёт, утирает холодный пот с лица, подходит к окну, смотрит на небо, будто с укоризной, то делает разные странные движения, как бы говоря с самим собой. Это уж не тот двусмысленный, сонный Эйхлер, которого вы видели с его дядей в домашней канцелярии герцога, когда они допрашивали Мариулу; это не тот ротозей, который считал на небе звёзды, столкнувшись с кабинет-министром на лестнице Летнего дворца; не тот умышленный разгильдяй, приходивший благодарить своего патрона за высокие к нему милости; это, правда, Эйхлер, племянник Липмана, кабинет-секретарь, но Эйхлер обновившийся. Наружность его благородна, отчётлива; на лице его, во взорах резко написаны намерение, цель, подвиг. В душе его ворочается какой-то демон; видно, что ему надобно разрешиться от него.

– К её величеству! – закричал дежурный паж, отводя дверь кабинета, и указал туда рукою, давая знать, что государыня уже там.

Невольный трепет пробежал по всему составу Эйхлера; он имел только время поднять глаза к небу, как бы умоляя его о чём-то.

Он в кабинете государыни.

Анна Иоанновна сидела за письменным столом; к ногам её, покоящимся на шёлковой подушке, прислонилась отвратительная карлица, которая по временам слегка тёрла их. Этот уродец слыл глухою… Кивнув приветливо кабинет-секретарю, её величество в знак благоволения подала ему свою руку поцеловать.

– Что сделано? – спросила она потом с живым участием.

– Несправедливость восторжествовала, государыня! Все члены подписали вознаграждение, кроме кабинет-министра Волынского. Он один не изменил ни себе, ни правде: одушевлённый любовию к отечеству и преданностью к вашему величеству, он один защищал её горячо, благородно, как истинному вельможе следует. Каждое слово его, подобно огненному мечу ангела, карателя зла, падало на сердца его противников; сильные доводы его заставили их умолкнуть. Но герцог уже наперёд подписал своё мнение, и все молча, страшась ужасных гонений, подписали за ним свой стыд и унижение России. Простите мне, ваше величество, если я, увлечённый любовью к правде, к пользам вашим и России, слишком смело изъяснился.

Эйхлер говорил с горячим чувством; слова его излетали, как молнии; когда он кончил, по его лицу катились слёзы.

Кто бы мог подумать! Эйхлер? Племянник Липмана, его сотрудник, клеврет и наследник, пестун злодейских замыслов Бирона?..

– Ты?.. Плачешь? – сказала изумлённая государыня. – Ты, любимец герцога?

– Ах! Ваше величество, если бы вы знали, чего стоила мне эта любовь!.. Теперь, когда она не нужна мне более, в эту решительную минуту, когда я могу всё потерять от вашего гнева и всё приобресть от ваших милостей, я признаюсь, что моя преданность к герцогу была только личина. Скидаю эту личину, достигнув своей цели: открыть вашему величеству всю истину. Ненавижу Бирона, который угнетает моё второе отечество, покрыл кровавым струпом народ русский и бесславит ваше царствование; ненавижу его милости, презираю их. С тех пор как я узнал всё благородство души Волынского, я предался ему безгранично, как друг, как сын его. Ему это неизвестно; он даже считает меня в числе своих врагов. Вот моя исповедь, государыня! Предаю вам всего себя.

– Чудные вещи слышу я!.. Чему и кому верить?.. – произнесла Анна Иоанновна, качая головой; потом взяла бумаги из рук Эйхлера, читала их про себя, перечитывала и долее всего останавливалась на мнении Волынского, которое состояло в следующих выражениях: *«Один вассал Польши может изъявить своё согласие на вознаграждение, но русский, храня пользы и честь своего отечества, как долг велит истинному сыну его, не даст на сие своего голоса»* .

Пока государыня читала бумагу и озабоченный Эйхлер следил её взоры, карлица ускользнула из-под стола и скрылась.

– Вассал? Это, однако ж, грубо!.. – сказала государыня. – Разве он не мог употребить

других выражений?..

– Не вините его, ваше величество, за то, что он для пользы России и чести вашей увлёкся благородною пылкостью своего характера и не взвесил как должно слов своих. Эти же слова произнёс он некогда самому герцогу и ныне хотел быть верен себе и на бумаге, которая пойдёт к потомству. Герцог тогда же сильно чувствовал своё оскорбление: зачем же не жаловался вашему величеству? Оттого, что сам связан был по рукам и ногам ужасною смертью Горд…

Анна Иоанновна замахала рукой.

– Не говори мне про это… Мне всегда дурно делается, лишь только я об этом вспомню.

– Запутанный, он искал средств погубить кабинет-министра в глазах вашего величества. Случай скоро представился – любовь к княжне Лелемико. «Государыня не надышитна неё – вот точные слова герцога моему дяде, – государыня лелеет её, как своё дитя, своё утешение, свою любимую игрушку. Надо воспользоваться этою страстью, помогать ей, скрыть от княжны, что Волынский женат, облегчить им переписку, а там, когда он погубит её и будет пойман, довесть всё до сведения государыни. Она разгневается… и тогда голова его в наших руках». Так и делал герцог, верный своему плану. Не он ли перехватывал письма к Волынскому жены его и письма любовников? Первые сжигал, другие доставлял по принадлежности. Не он ли ввёл цыганку во дворец и к вашему величеству, как знаменитую гадальщицу, чтобы она могла удобнее передавать тайные послания? И если любовь княжны и кабинет-министра привела их на край пропасти, виноват один герцог.

С живым участием слушала государыня всё, что говорил Эйхлер; она была тронута его убеждениями, но спросила, готов ли он подтвердить это именем Бога.

– Да поразит меня всемогущий Бог, если хоть одно слово неправды донёс я вашему величеству!

Государыня погрузилась в глубокие размышления; потом, прервав их, сказала, будто говоря сама с собою, однако ж вслух:

– Я все эти планы расстрою!.. Я женю его на княжне… Почему ж не так?.. Он жены не любит, кажется, и она за ним не погонится… детей нет… греха не будет!..

Выговорив это, она опять задумалась; то судорожно брала перо в руки, то бросала его. Видно было, что в душе её происходила сильная борьба и она не смела решиться на подвиг, для неё небывалый.

– Что ж могу я сделать, – присовокупила она наконец, – когда все члены Кабинета подписали?

– Согласиться с мнением кабинет-министра, – отвечал с твёрдостью Эйхлер, – и тем самым восстановить униженную истину. Одно самодержавное слово ваше, только одно слово, подпись вашей руки – и потомство прибавит золотую страницу в истории вашей. Как слава легка для царей!

Была решительная минута.

Красноречие сердца превозмогло. Дрожащею рукой взяла Анна Иоанновна перо и написала на кабинетной бумаге: *«Быть по мнению кабинет-министра Волынского»* .

Эта подпись скрепила победу Волынского и опалу герцога.

Эйхлер бросился к ногам государыни и с восторгом поцеловал руку, ему протянутую. Но лишь только собрался он выйти из кабинета, обременённый своими трофеями, как вошёл Бирон, по обыкновению без доклада. Он будто с неба упал. Губы его помертвели; голова, руки, колена дрожали. Каково ж, он всё слышал!.. Поражённые его внезапным явлением, государыня и кабинет-секретарь, казалось, окаменели, так было ещё ужасно это лицо! Никогда и сам Бирон не бывал в таком страшном положении; он хотел говорить, и язык его не двигался. Наконец Анна Иоанновна сказала дрожащим голосом:

– Что вам угодно?.. Я вас не звала… Чтоб ваша нога… не была у меня!.. – и, не дожидаясь ответа, вышла.

Бирон всё ещё стоял на одном месте. Опомнившись, Эйхлер схватил кабинетскую бумагу за подписью государыни и собирался идти, но был остановлен…

Он чувствовал, что по нём неверно шарила ледяная рука, что по всему его существу блуждали глаза демона, как будто допытывали, он ли это, Эйхлер, племянник Липмана! И ни слова – язык не говорил. Презрительно посмотрел на Бирона кабинет-секретарь и оставил его.

Вскоре потребовали Волынского во дворец. Тут имел он уж случай развернуть пред государыней со всем усердием верноподданного и горячностью истинного патриота картину ужасных зол, которыми Бирон отягчил Россию.

К вечеру весь город узнал об опале фаворита. Сотни экипажей разного калибра осадили подъезд к дому Волынского: никто, кроме его друзей, не был принят.

Глава VII
ЧЁРНАЯ КОШКА

Душа твоя чиста, унынье чуждо ей;
Светла, как ясный день, младенческая совесть:
К чему тебе внимать безумства и страстей
Незанимательную повесть?
Пушкин

Медленно, заботливо сходила госпожа Волынская с дворцовой лестницы. Ступени двоились у ней в глазах, и она с усилием старалась поймать их своею ногою. Досада, сильнее Декартовых вихрей, кружила ей голову, разрывала сердце, наводила оттенки злости на это лицо, прежде столь добродушное и приятное. И как не досадовать, как не беситься ей! Она во второй раз приезжает во дворец, во второй раз ей отказывают. Какая причина такой неблагосклонности государыни?.. И тогда, когда мужу её изъявляют особенные милости, когда он взял верх даже над фаворитом? Тысячи предположений, и между ними одно, тёмное, но самое верное, то, что на унижении её строят торжество её соперницы. Боже! Какое оскорбление!.. Чем она заслужила его? Любовью к мужу, исполнением своих обязанностей! Опутанная этими думами, она несколько раз оступалась: дворцовая лестница казалась ей мрачным, перегнившим сходом в могилу. Гады ползут, шипят, обступают её, обвивают своими холодными кольцами, готовы её задушить. Но одно воззвание к Богу – и нечистое сонмище исчезает.

Внизу лестницы кто-то назвал её по имени. Едва не вскрикнула она от испуга, увидав пред собою длинный-предлинный и неподвижный стан, как будто проглотивший аршин, на огромных фижмах, при собольей муфте, сборище румян, белил, морщин, мушек и цветов, под высокостепенной, напудренной причёской, всё это на высоких, красных каблуках.

– Вы не узнаёте меня, матушка, Наталья Андреевна? – сказала эта размалёванная вывеска придворной дамы, важно приседая.

Вгляделась пристально госпожа Волынская: а! это бывшая её барская барыня – чёрная кошка, которая должна была пробежать ей чрез дорогу.

– Не узнала-таки, не узнала, Акулина Саввишна! Как можешь? – спросила Волынская, обняв её от доброты души, ей свойственной.

И госпожа Кульковская, супруга столбового дворянина, старшего пажа и старшего придворного шута, щепетильно дозволила себя поцеловать в щёку, охраняя сколько можно девственность своих румян, мушек и фижм.

– Правду сказать, матушка, немного похворала после свадьбы… спазмы, удушье… не мудрено! хлопоты во дворце… около сучки её величества… да господин Карл Карлович, дай Бог ему здоровья, помог. Ведь вы знаете Карла Карловича, придворного дохтура?

Произнося это, Кульковская натягивала изо всей мочи на тон знатной барыни.

– Как же, знаю! Не задерживаю ли я тебя?

– Помилуйте, Наталья Андреевна, я помню вашу отеческую (она хотела сказать

аттенцию[117]) ко мне и готова для вас и сучку царскую оставить. Признаться вам со всею открытостью моей души, я поджидала вас таки нарочно. – Тут она вздохнула. – Много, очень много было бы мне вам в потаённость шепнуть… не для прочего иного, как для пожелания вам добра… Примером будучи сказать, может статься, вы и огорчаетесь, что вас Анна Ивановна не приняла… Господи Боже мой! Да этакой кровной обиды не снести бы и мне… слечь бы таки, слечь в постелю… А всё это, матушка, не взыщите, ваш дражайший супруг напроказил… У нас во дворце чудеса про него рассказывают, слушать, так ушки вянут… и будто он разводится с вами… и будто… Да на сём месте нас могут подслушать; а коли угодно было бы вам, сударыня, по старой памяти удостоить меня своим посещением, так я порассказала бы вам всё… Милости просим! Я живу недалечко, здесь во дворце, рукой подать.

Чёрная кошка не только что пробежала через дорогу Волынской, она вцепилась в грудь её, скребёт ей сердце, душит её. Как не идти ей за демоном-искусителем? Он манит её плодом, который дороже для неё, чем первой женщине плод познания добра и зла: в нём заключается познание сердца её мужа. И когда она вкусит от него, её рай, так же как рай Евин, должен исчезнуть.

Она идёт – следы её горят. Слуге при ней велено дожидаться в санях.

Чрез лабиринт коридоров вошли они в чистую комнату со сводами. Постель, напышенная и вздутая, как толстая купчиха, с двумя пирамидами подушек, китайский фарфор в шкапе за стеклом, картины великого мастера в золотой раме, украденные из дворца, и рядом с нею лубочные эстампы с изображением, как мыши кота погребают, и русского ада, в котором жарят, пекут, вешают за язык, за ребро, за ногу, во всех возможных положениях, – вот что составляло главное украшение знаменитого жилища господ Кульковских. На лежанке дремал её сынок. Мать разбудила его и, когда он совершил три ужасных зевоты, которыми, казалось, хотел проглотить пришедших, сказала ему с нежностью:

– Душенька, выдь куда-нибудь прогуляться или развеселиться; да не забудь своей официи[118]…

– На веселье нужны деньги, – отвечал он сурово, – дай целковенький прогуляться, так пойду, а не то, хоть тресни, не выйду.

Нежного сынка удовлетворили, и он, опоясавшись мечом-кладенцом, приветствовал его глупо-умильной усмешкой.

– Такой ветреник, всё шпагу забывает!.. Да скажи в австерии, чтобы не слишком шумели, а то как раз пришлю унять. Вот, матушка Наталья Андреевна, – продолжала Кульковская, когда наследничек её высоких душевных достоинств вышел, не поклонясь, – нажила себе забот. Да здесь не покойнее ли вам будет? А то против двери…

– Хорошо, хорошо, – повторяла Волынская, истерзанная душевными муками.

Если б посадили её в это время на уголья, на лёд, если бы земля колебалась под нею и громы над ней гремели, она ничего б не слыхала, ничего не видала.

– Воля ваша, матушка, неловко… пересядьте сюда…

Ужасная женщина!.. Каковы послуги перед тем, как собиралась убить? Так палач, готовясь снять голову с своей жертвы, заботился бы на эшафоте о том, чтоб оградить её от луча солнечного или сквозного ветра.

– Ахти, бедная головушка, – сказала наконец Кульковская, приведя в движение топор своего языка, – до какого позору дожила ты!.. На гибель свою прокатилась в Москву. Сам лукавый шепнул тебе ехать в этот путь-дорожку. Кабы тебе, сизая голубушка, половину рассказать, что было здесь без тебя, так сердце бы замерло, ох, ох!.. – И Кульковская

---

117 Внимание (от франц. attention).

118 Официя – достоинство, звание. Здесь: знак офицерского звания – шпага.

заплакала; потом, осушив свои слёзы, продолжала. – Добро б волокитство на речах, а то пошли записочки – пресылались сначала через школьника Тредьяковского, потом носил их бездельник Николка, черномазый дьявол; напоследок… язык не двигается… застали вашего благоверного супруга в спальне молдаванки…

– Неправда, Саввишна, неправда! – сказала полумёртвая Волынская, – видно, зло берёт иных на Артемия Петровича, что выдумали такие сказки!..

– Сказки?.. Хороши сказочки, только не на сон грядущий, а на упокой души!.. Не верите мне, матушка? Так, пожалуй, выставлю свидетелей: старика Липмана, самого герцога, человек десяток пажей, дворцовых лакеев, горничную девку… Да коли распоясываться, язык и душка устанут. Видно, приходит конец мира! Господи, надолго ли станет твоего долготерпения?.. Неправда? А почто ж вас государыня Анна Ивановна не принимает? Спросили б давно нас, дворцовых!.. Потому что ваш дражайший бросился вчера ей в ноги, плакал, бил себя в грудь и упросил её величество дозволить ему развестись с вами и жениться на своей молдаванке… Что, матушка, вы не верите? Так вот поверьте этому свидетелю, поверьте своим оченькам… – Она отошла к лежанке и из шкатулки, на ней стоявшей, вынула сложенную бумажку. – Чай, вы рукописание своего муженька знаете?.. Прочтите, полюбуйтесь, а после скажите, наврала ли я вам, глупая баба, нанесла ли на святого человека околесицу… Да этих записочек ходит довольно по всему дворцу… Коли охоты станет читать, наберу их вам десятка два, хоть в книжечку извольте переплесть…

Не дождалась Волынская, чтобы подали ей записку, – сама вырвала из рук.

Это послание было одно из тех, от которых неопытную девушку бросает в одно время и в пламя и в дрожь, от земли на небо, в атмосферу, напитанную амброю, розой и ядом, где сладко, будто под крылом ангела, и душно, как в объятиях демона, где пульс бьётся удвоенною жизнью и сердце замирает восторгами, для которых нет языка.

Надо было видеть, что делалось с несчастною Волынскою. Давно ли он был так нежен, так страстен? Давно ли призывал Бога в свидетели его любви? Как она была счастлива!.. И что ж? В один миг исчезло очарование этого счастия: знойное дыхание сатаны испепелило все её надежды, все радости в мире! Глаза её помутились, будто у безумной, запёкшиеся губы дрожали, из полурастворённого рта, казалось, готов был вылететь крик смерти. Видно было, как младенец её трепетал… Что ей до младенца?.. *Был* один – по нём и другого дорого ценила; нет *того* – и ей нипочём дитя её.

Сама Кульковская испугалась ужасного состояния, в которое её повергла. Зная силу её веры, напомнила ей о Боге, о страданиях Иисуса Христа, оставившего нам собою образец терпения, показала ей на икону скорбящей Божьей Матери… И Наталья Андреевна, придя в себя, судорожно зарыдала и распростёрлась пред ликом Небесной Утешительницы. Долго лежала она на полу, молясь и прерывая свои молитвы рыданиями; наконец встала, с горячею верою приложилась к образу… Божья Мать с такою небесною улыбкою то смотрела на своего младенца, то, казалось ей, на неё, как бы показывая, что она должна жить для того, кто у ней лежит под сердцем, – этого существа, невинного в преступлениях отца… Она не всего лишилась: с нею её Бог и Господь; её не покидает и Матерь Божия; она сама мать. Для младенца своего останется она жить, клянётся жить – ни одной клятвы ещё в жизнь свою не нарушала, – и неземное утешение прокралось невидимым лучом в её душу.

Но с какими глазами встретит она Артемия Петровича? Что будет она в доме, откуда её скоро изгонят холодность мужа и воля государыни? Как станет она смотреть на осквернённое ложе, где заменит её счастливая соперница? Неужели дождётся, чтоб её выгнали?.. Нет, она не дойдёт до такого унижения; она предупредит его. Нога её не будет уж на пороге мужнина дома. У неё есть брат – тот примет её к себе. Пускай придут там оспаривать её законные права! Сам Бог сказал, что когда он сочетает, человек не разлучит, – пускай придут поспорить с Богом!..

Написано письмо к Артемию Петровичу: в нём объясняли, что, обманутая, осмеянная, не может она уж явиться к нему в дом. Отказ от дворца, верные слухи, что государыня желает их развода для того, чтобы женить его на своей любимице, собственное письмо его к

княжне – чего более? каких ещё свидетельств?

Письмо отослано тот же час.

В доме брата своего Перокина просила она убежища и защиты. Ни убеждения разного рода, ни обещания помирить их с мужем не имели никакого действия: несчастная осталась непреклонною.

Глава VIII
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Тебе сказать не должен боле:
Судьба твоих грядущих дней,
Мой сын, в твоей отныне воде.
Пушкин

Гнев Липмана дошёл до бешенства, когда он узнал об измене своего племянника. Он проклинал неблагодарного, рвал на себе волосы, терзал себе грудь ногтями, изрыгал богохуления; но – прошёл пароксизм бешенства, и он опять мудрец на злое. Сделаны новые, хитрые расчёты. Волынский не примет его под крыло своё; он пропал, если пропадёт Бирон: следственно, надобно остаться верным герцогу не для него, а для себя; надобно спасти герцога, чтоб спасти себя. Эту верность запечатлел он клятвою выпутать его из худых обстоятельств. Гнев государыни не был твёрд, одна Мариорица могла помешать примирению и доставить новую пищу к немилостям… на этой оси вертелось колесо фортуны обоих соперников. Что ж? Сокрушить её!.. Такие ли помехи уничтожают злодеи? Между тем и герцог должен был действовать посредством Остермана и людей, преданных ему из собственных своих видов.

С другой стороны, Артемий Петрович принимал поздравления неохотно. Он доволен был, что сделал своё дело, но отчаивался распутать домашние обстоятельства. Поставленный между любовью Мариорицы и любовью жены, он должен был погубить одну из них. Что ещё скажет он, когда узнает решение последней?

В глубоких раздумьях застал Зуда того, кого весь город почитал первым счастливцем и будущим виновником счастия народного. Зуда вошёл не один. Лицо, бывшее с ним, поразило кабинет-министра своим появлением. Не видение ли?.. Эйхлер?.. Может ли статься!

– Что вам нужно у меня? – спросил его Волынский сурово.

– Иметь честь вам рекомендовать себя, – отвечал, улыбаясь, Эйхлер.

– Напрасный труд!.. Я вас давно очень хорошо знаю…

– Теперь только, – подхватил Зуда, – извольте узнать его, как вашего тайного друга, как того человека, который был вам столько полезен своими безымянными посланиями, под маскою астролога, под личиною нищего, через конюхов; доставил вам подлинный донос Горденки, вползал невидимкою в карету герцогскую, добрался до кабинета государыни, заставлял говорить камни: одним словом, это самый тот, которому обязаны вы победой над герцогом и настоящим своим счастливым положением, если ещё можно назвать его счастливым.

Несколько мгновений стоял Волынский как бы обезумленный; наконец бросился обнимать Эйхлера.

– Как это сделалось, Боже мой! – говорил он. – Мог ли я подумать?.. Друг мой, благороднейший друг! Зачем вы ранее не открылись мне? Зачем вы так долго играли роль моего врага, и я не мог вас достойно оценить? Сколько унижений разного рода, сколько оскорблений от меня претерпели!

– Простите мне, если скажу, что характер ваш, возвышенный, но слишком пылкий, слишком безрасчётный, налагал на меня эту скрытность. Я боялся, чтобы вы, узнав своего тайного корреспондента и помощника, не изменили себе при случае и не потеряли во мне

того, чем я хотел быть для вас до конца своего назначения. Могу теперь открыть, что Зуда, с которым я связан был узами дружбы ещё на школьной скамье, в одном из немецких университетов, был со мною в заговоре.

– Каков? Ай да приятель!.. Дай же, лицемер, и тебя прижать к моему сердцу. – Волынский крепко обнял и маленького секретаря. Слёзы были у всех на глазах. – Подвиг ваш, друзья мои, могу чувствовать; но оценить его должна Россия. Да, народ русский будет вам некогда признателен. Стыжусь, я должен сказать, я недостоин таких товарищей, таких бескорыстных поборников правды и любви к отечеству. Чем заплатил я вам?.. Вместо того чтобы нести мои жертвы хоть рядом с вами, если я не мог вас обогнать, я сбивал вас с пути, я делал ваши жертвы бесполезными, сквернил их моею глупою страстью!.. Господи! Если проступки мои, моё безумие должны получить из рук твоих достойное возмездие на этой земле, то да идёт чаша зол, по крайней мере, мимо этих двух прекраснейших твоих созданий!

– Если и нам суждено погибнуть, – сказал Эйхлер, – утешимся, что пали за дело человечества. Умирая, ничем упрекнуть себя не можем; мы действовали не как возмутители народного спокойствия, не из корыстных видов, но как верные сыны отечества, преданные государыне и долгу нашему. Не нарушали мы закона, но шли против беззакония в лице временщика; все наши действия вели к престолу и несли ему в дань. Его дело принять её или отвергнуть. Чист наш подвиг, и стыд будет тому, кто исказит его!.. Не унижаясь перед счастливым злодеянием, жили; не унижаясь – умрём.

– Да, скажут наши правнуки, им было больно угнетение России, и они решались выкупить её и честь государыни ценою своей крови и жизни! Пускай тот, кто не желает счастия своему отечеству, выйдет из рядов потомства, чтобы объявить нам приговор. Нет, нет, этого не будет! С Бироном кончится пора скоморохов, шутов и подлых угодников, кончится унижение России, и благородный потомок наш, кто бы он ни был, придёт некогда сказать своё спасибо на могиле нашей. Помянув честно борцов и мучеников временщика, он сам возвысится духом.

Так в день своей победы и торжества говорили кабинет-министр и его советники, будто готовились на казнь… Заметно было, что Эйхлер имел нечто тяжёлое передать Волынскому и что Волынский, по какому-то предчувствию, постигал его тайну. Так в знойный день, хотя ещё нет ни одного облачка на небе, уже душно перед бурею. Долго собирался кабинет-секретарь открыться, наконец сказал:

– Горестно мне присовокупить теперь, что подвиг наш ещё не кончен, что над головою вашей собирается грозная туча. Настоящее посещение моё, кроме желания скинуть пред вами гнусную личину и открыть себя, каков я есть, имеет ещё целию исполнение трудной миссии… О, чего б не дал я, чтобы жребий этого поручения пал не на меня! Оно выше сил моих.

– Говорите, – отвечал с твёрдостью Волынский, – по словам моим вы видите, что я ко всему приготовился.

– Я несу вам предложение от самой государыни. Должен предупредить, что ваше согласие утвердит вас в милостях её величества и послужит ещё более к уничтожению вашего врага и, следственно, к благополучию России. Не могу также скрыть, что отказ наш поведёт вас к неприятным следствиям и что вы можете через него потерять едва ли не все свои приобретения. Итак, счастие ваше и благоденствие России в ваших руках.

– О! по этому вступлению вижу, что не могу исполнить желание государыни. Но я не боюсь его услышать и сделать отказ: душа моя испытана; тяжкий молот судьбы бил её со всех сторон… не виню никого в своих несчастиях, кроме себя самого… Один лишний, решительный удар не много сделает над этой душой. Жду вашего объяснения.

– Не знаю, откуда ветер подул, но дело государственное взяло курс семейный, домашний. Её величеству угодно было, совсем для меня неожиданно, позвать меня сейчас к себе. Воля её передать вам, что она, желая согласить честь своей любимицы, княжны Лелемико, с её благополучием и зная, что вы… Извините… враги вас оклеветали… свидетельства слишком явные…

– Говорите, говорите прямей! Боюсь вашего суда, а не осуждения злодеев и низких людей.

– Итак, государыня, зная, что вы будто вовлекли княжну в порочную связь, что вы любите её неограниченно (доказывают это письма ваши в руках у государыни); получив также верные свидетельства, что вы не любите супруги вашей, от которой не имеете и детей, и что вы хлопотали уже о разводе, предлагает вам своё покровительство в этом деле. Преступная любовь ваша и любовь сироты, столь драгоценной сердцу её величества, должна освятиться у алтаря.

Встал дыбом волос на голове Артемия Петровича; он весь дрожал.

– А жену мою?.. – спросил он задыхающимся голосом.

– Убедят идти в монастырь.

– В монастырь?.. Волынскую?.. Жену мою с моим ребёнком!.. Нет, этому не бывать!

Вне себя Волынский ходил скорыми шагами по комнате, как безумный ударял себя в лоб, ужасно вскрикивал по временам.

– Вот до чего довёл я их и себя!.. Мне это смели предложить?.. И я?..

Крик этот сопровождался судорожным хохотом, судорожным плачем, наконец подошёл он к Зуде и спросил его:

– Ты что сделал бы на моём месте?

– Вспомните, что говорил я вам, когда вы только затевали борьбу с герцогом, – отвечал хладнокровно Зуда. – Надо было остановиться вначале… но теперь, зашедши так далеко… чем нельзя пожертвовать для блага отечества! Я согласился бы на предложение её величества.

– О! зачем было добиваться чувства у этого сердца, иссохшего на Махиавеле!.. Он тогда не человек, когда дело идёт о цели политической; у него нет сердца – у него только ум. Но вы, господин Эйхлер? – И, как будто испугавшись, что Эйхлер скажет одно с Зудою, продолжал, не дав ему отвечать: – Нет, нет, прежде чем вы дадите ответ, я расскажу вам, в каком состоянии теперь нахожусь, в каких отношениях я к двум особам, которых судьбу связал неразрывно с своею. Этот железный человек знает всё (он указал на Зуду)… видно, ему нужно растравить мои раны… Но вам должен я открыть эти отношения. Видите, сударь, жена моя беременна; она любит меня горячо, выше всего в мире, кроме своего Бога, и счастлива уверенностию, что я её также люблю. Если б я оставил её, недолго бы пережила она мой гнусный поступок. Убийца жены, убийца своего младенца, какую жизнь влачил бы я, двоежёнец, на этой бедной земле?.. За что погубил бы я это создание, чистое, как ангелы?.. Безумие страсти уж исчезло вместе с очарованием её… Положим, что Наталья Андреевна перенесла бы своё несчастие и осталась жить: чувствуете ли позор, который падал бы на меня?.. Жена Волынского, монахиня, родила бы в келье!.. Что за адская смесь! А потом? Где б ни появилась она, везде указывали бы на неё пальцами; каждый прохожий, лохмотник, враги мои смели бы говорить: вот бывшая жена кабинет-министра Волынского! Он в чести, в холе у государыни, а она, глядите… в каком чёрном теле!.. А этот мальчик или девочка, это дитя, которое за нею таскается, это его отродье: ему нет имени!.. Каждый нищий счастливее его: он может указать на своего отца, а этот не смеет назвать своего – всё равно что сын греха, сын блуда! Волынский продал жену свою, своё дитя, счастие и свободу их, закон, совесть, продал здешнюю и будущую жизнь – за что ж? За место любимца!.. Своекорыстным видам!.. Кто скажет – благу отечества!.. Нет, нет, этого не будет! Пускай отдам Богу ответ на Страшном суде за любовь мою к Мариорице – назовите её слабостью, заблуждением, безрассудством, безумием, чем хотите, – пусть за неё карает меня правосудная десница Господа! Но когда умолкнула страсть и говорит рассудок, когда дело идёт о расчётах личных – каким бы покровом вы их ни одевали, выгодами ли общими, пользою отечества, – никогда не посягну на это святотатство. Я до того ещё не унизился. Знаю, что отказом моим оскорбляю государыню, уверенную в успехе своего предложения; знаю, что лишаю себя, друзей и дело правое необходимой его опоры, что по-прежнему ввожу Бирона в милости её величества и должен ожидать ужасной грозы; но… так низко и ни за что не продам души

своей! Решение моё неизменно – донесите это государыне.

– Если б вы дали другой ответ, – сказал Эйхлер с восторгом, – я каялся бы, что служил вам. Благодарю Бога, что в вас не ошибся.

– Виноват, – подхватил Зуда, несколько смущённый, – может быть, я так создан… переменить себя не могу… но скажу опять, что не понимаю, к чему всё это ведёт. Когда вы готовились на подвиг освобождения отечества, не решались ли пожертвовать собою исполнению этого подвига? А теперь…

– Собою одним, да! А теперь, по-твоему, я спасал бы себя и жертвовал бы другими.

– Разве отказом государыне, как вы сами говорите, не вовлекаете в собственную гибель и ваших друзей, и вашей супруги?

– Хотя бы и так, не сделаю подлого дела! И кто и чем поручится мне, что я, обрадовавшись без души предложению государыни и согласившись на него, не получу скоро достойной награды за своекорыстное угождение? Кто поручится, что Бирон через месяц, через несколько дней не овладеет снова милостями государыни и не насмеётся достойным образом над подлым двоеженцем? Мудрено ль? (Видишь, какой оборот взяло дело: я нужен не для государства, а к случаю!..) Что скажешь тогда? Какими глазами прикажешь мне смотреть на людей, на Божий свет? Как умирать мне будет?.. Теперь, по крайней мере, буду и тем доволен, что поколебал силу временщика и облегчил другим средства совсем его свергнуть. Отечество и за то останется мне признательным. Сколько дозволяло мне моё слабое человечество, я исполнил долг свой и не запятнал его гнусным поступком, который не может извиниться никакою целью. Если я и совратился с должного пути, то да судит меня Бог! Требую, чтобы об этом мне более не говорили. Решение моё свято. Только прошу вас, господин Эйхлер, не объявлять моего ответа государыне до завтрашнего дня. Я приготовил бы ко всему друзей своих. Может быть, найдём ещё способы с честью охранить наше дело от новых ударов судьбы.

Этим кончилась беседа. Зуда решился прибегнуть ещё к одному средству: письмом объяснить княжне Лелемико затруднительное положение, в каком находился человек, ей столько драгоценный. Любовь изобретательна: не придумает ли чего к спасению его?

Несколько времени спустя принесли Волынскому письмо

– От кого? – спросил он слугу.

– От барыни, – отвечал этот.

– Где ж она?

– У его превосходительства, братца своего.

– Письмо из дому брата? Должно быть, чрезвычайное! – сказал встревоженный Волынский, распечатав письмо нетвёрдою рукой.

Первое, что бросилось ему в глаза, было собственное его послание к Мариорице. Будто ножом полоснуло его по сердцу.

Он догадывался об истине, и одна догадка приводила его в ужас. Немалого подвига стоило ему прочесть письмо жены.

– По делам вору мука! – воскликнул он, изорвав то и другое в клочки. – Но… баба шалит! Есть мера всему!.. Не ожидает ли, что притащусь к ней умаливать о милости?.. Этого слишком много! Этого не будет!.. После уверений моих, после доказательств страстной любви и клятвы она должна была не раскрывать прошлого, не дотрагиваться до этой опасной струны. Что ж она делает? Выкапывает в навозной куче старые грехи мои, везде чутьём отыскивает их следы. И где ж наводит справку о поведении мужа?.. У бывшей своей барской барыни, у сквернавки, которая продавала меня злейшему врагу моему, на которую и плевать гадко!.. Дойти до такого унижения, Боже мой! Отныне я сам не хочу её знать… Что за жена!.. Пускай себе живёт на здоровье у своего братца, да распускает басни о муже, да себе и людям на потеху малюет его сажей с ног до головы!.. Нет, Мариорица на её месте не то бы сделала… О! это душа возвышенная, не рядовая! Да много ли Мариориц на свете? И я пожертвовал ею!.. Неблагодарный!.. Но, – прибавил он, успокоившись несколько от сильного душевного волнения, в которое бросила его ужасная посылка, – я исполнил долг

свой. Не пойду назад. Пускай вина будет не на моей стороне!..

В этот же день Зуда доставил ему другого рода послание. Оно было от княжны Лелемико.

«Мне всё известно, – писала она, – всё: и предложение государыни, и любовь к тебе жены, и отношения твои к ней. Не хочу быть причиною твоего несчастия. В сердце моём отыскала я средства помочь всему… Но я сама должна с тобою переговорить… тайну мою не доверяю ни бумаге, ни людям. Будь у ледяного дома к стороне набережной, в 12 часов ночи. Теперь никто… не помешает…»

Да! Никто не помешает: её ангела-хранителя уж нет; сумасшедшая мать сидит в яме.

Что ей мать? У ней в мире никого нет, кроме него; он один для неё всё – закон, родство, природа, начало и конец, альфа и омега её бытия, всё, всё.

– О! эта пишет иначе, – сказал Волынский, – буду, непременно буду, хоть назло той…

Глава IX
НОЧНОЕ СВИДАНИЕ

О милый! Пусть растает вновь
Моя душа в твоём лобзанье:
Приди, допей мою любовь,
Допей её в моём дыханье,
Прилипну я к твоим устам.
И всё тебе земное счастье,
И всей природы сладострастье
В последнем вздохе передам.

В. Тепляков

Не шути с огнём, обожжёшься.
Пословица

«Зачем долее жить? – думала Мариорица, прочитав письмо от Зуды, – я любила, узнала всё, что в любви и в жизни есть прекрасного… чего мне ждать ещё? Разрушения моего и конца этой любви, не во мне, нет – моя любовь должна перейти со мною и в другой мир, – но в его сердце. Я только помеха его счастию. Если я буду за ним, что принесу ему? Минутные восторги и, может статься, раскаяние, чувство несчастия его жены и младенца – о! это дитя мне так же дорого, как бы оно было моё; оно мне не чужое, дитя моего Артемия! Лучше умереть, и умереть любимою, гордою, счастливою его любовью, с именем невесты, любовницы, друга, унеся с собою память сердца милого человека. Я прикую её к своей могиле восторгами, признательностию, жертвами. Не завиднее ли это, чем жить для того, чтобы вечно тревожить его спокойствие и ждать охлаждения, видеть его неверность, может статься и презрение? Лучше всего умереть теперь, когда все зовут меня прекрасною. Хочу и в гробу лежать достойною его любви, а не сухим, жёлтым остовом, от которого он будет отворачиваться, который поцелует с отвращением».

Так думала Мариорица, решаясь пожертвовать собою для блага Волынского. Находили минуты, в которые ей становилось грустно, холодно от мысли умереть такой молодою, когда существо её только что раскинулось было пышным цветом, когда на устах и груди её млели поцелуи любви, когда сердце нежило так много тёмных и вместе сладких желаний. Но мысль, что ей обязан он будет своим спокойствием, счастием, славою, торжествовала надо всем, уносила её в небо, откуда она смотрела глазами любви неземной на свой земной подвиг. Ей становилось тогда легко, радостно; какой-то дивный восторг согревал её; казалось ей, душа её расправляла огненные крылья, чтобы скорее понестись в это небо и

утонуть в нём…

Вот какие способы изберёт она, чтобы исполнить свои замыслы.

Мариорица оставит письмо к государыне, в котором откроет, что она дочь цыганки. Уж и этот подвиг не безделица! Знаю, чего стоит иным просить грамоты на дворянство, то есть объявить, что был некогда недворянином… Каково ж княжне, царской любимице, которую носили на руках, которой улыбка ценилась вместо милости, ей признаться этим самым людям, что она дочь… бродяги! Она, однако ж, сделает это. Для чего ж? Для того, что Волынскому нельзя будет жениться на дочери цыганки, и это самое послужит Волынскому оправданием. Потом Мариорица будет лгать в письме своём… в первый раз в жизни солжёт – будет клеветать на Бирона… Чего не сделает для милого Артемия?.. О! в какие злодеяния не пустилась бы она, если б он был злодей!.. Она скажет в письме к государыне, что герцог знал её низкое происхождение, но сам уговаривал Мариулу не открывать этого никому, а помогать всячески связи дочери с кабинет-министром. Она будет клеветать и на себя: скажет, что ещё до приезда в Петербург была порочна… что она неблагодарная, негодяйка, презренное орудие Бирона, избранное им для погибели его врага; что, взявшись погубить Волынского, невольно полюбила его и потом из любви решилась его спасти, доставив государыне бумагу с доносом на герцога. Мариорица прибавит, что раскаяние, нестерпимые угрызения совести заставили её наконец открыть всё пред тем, как она решилась прекратить недостойную жизнь… Прекрасно! Бирон после этого письма падёт решительно… а Артемий, её милый Артемий будет в милости, в чести, в славе, дитя его не умрёт, жена не посмеет его упрекнуть ни в чём… Но милый, бесценный Артемий её также должен будет знать, что она всё это налгала, наклеветала на себя, что всё это жертва, ему принесённая… Она хочет видеть его в последний раз и доказать, что его одного любила и вечно будет любить. А там… пук его волос у сердца, мысль о нём и снежный саван – какой лучше смерти ждать?… Но, – прибавила она, – нынешний день мой; он должен мне его подарить!

В таком упоении сердечных замыслов послала она к Артемию Петровичу записку, которую мы уж видели; потом приготовила письмо к государыне и, запечатав, положила у себя за зеркалом. Но каким образом Мариорица выполнит своё обещание прийти в назначенный час к ледяному дому? Поверенная её тайн, Груня, больна (ей велено сказаться больной, потому что она не способна к злодеяниям: видно, что власть Бирона имеет ещё во дворце скрытых, но ревностных исполнителей). Груня заменена какою-то дуэньей, которой наружность не предвещает ничего доброго. Свободный выход Мариорице из дворца уладит арапка, приятельница Николая; но можно ли утаить своё ночное путешествие от горничной, спящей за перегородкой её спальни? Чего б ни стоило, надо купить молчание её. Любовь Мариорицы готова и на это унижение: ведь эта жертва последняя! После смерти её пускай говорят что хотят, лишь бы милый Артемий знал её тем, чем она есть! Неосторожная!.. Время быть осторожной!.. Открывается… С радостью, которой изученное притворство непонятно для неопытной девушки, отвечают, что готовы помогать во всём такой милой доброй барышне, предлагают услуги бойкие, ловкие, сулящие успех верный. Ничего не требуют, кроме молчания. Тайна запечатлена ужасною клятвою. Всё улажено.

Ожидания двенадцатого часа исполнены душевной тревоги. В этот час всё уляжется во дворце и месяц уйдёт за снежную окрайницу земли. А теперь как всё везде суетится! Назло ей каким ярким светом налился месяц! Как ослепительно вырезывается он на голубом небе! Только по временам струи облачков наводят на него лёгкую ржавчину или рисуются по нём волнистым перламутром. Как пышет свет этого месяца на серебряный мат снегов и преследует по нём малейшие предметы! Где укрыться от этого лазутчика!

«Может быть, – говорит сама с собою Мариорица, сокращая разлуку думами о нём, – может быть, и он смотрит теперь этому безжалостному месяцу в глаза и упрашивает его о том же, о чём я умоляю его. Луч этот, который падает на меня и гнетёт так моё сердце, может статься, проник и в его грудь. Чувствует ли он, что я зову его проститься со мною навсегда – навеки. Боже! Как ужасно это слово!.. Не жалко бы мне покинуть твой мир, где бы его не было, твоё прекрасное солнышко, которое не освещало бы его вместе со мною,

блеск двора, алмазы, зависть подруг, почести, которых он не разделял бы со мной – это всё, чем ты, мой Боже! так щедро наделил меня. – Она посмотрела в зеркало, отражавшее всю роскошь её прелестей… – это всё, если б оно не было ему назначено; не жалко бы мне тогда покинуть твой мир; но теперь… когда он в этом мире, расстаться со всем этим… больно, грустно!»

И Мариорица плакала.

«На то была твоя всемогущая воля, – прибавила она, упав на колени и молясь, – я призвана была на землю спасти его своею любовью от бед, уберечь для славы его и счастия других… Да будет твоя воля! Жертва готова».

Потом она вспомнила мать… Ей известно было, что государыня посылала наведаться о цыганке Мариуле: говорили, что бедной лучше, что она уж не кусается… Сердце Мариорицы облилось кровью при этой мысли. Чем же помочь?.. Фатализм увлёк и мать в бездну, где суждено было пасть дочери. Никто уж не поможет, кроме Бога. Его и молит со слезами Мариорица облегчить участь несчастной, столько её любившей. Запиской, которую оставляет при письме к государыне, завещает Мариуле всё своё добро.

Но месяц скрылся за снежный обзор; во дворце всё расходится на покой по отделениям; в коридоре слышна неучтивая зевота гофлакея; скоро двенадцать часов… и с мыслью об этом часе Волынский, один Волынский становится на страже у сердца Мариорицы. Мечты её обняли его и не хотят более покинуть: ей уж так мало осталось времени любить его и думать о нём на земле!.. Она горит вся в ожиданиях роковых минут свидания; щёки её пылают, грудь пожирает ужасное пламя, в устах пересохло… жажда томит её… Она просит пить. Приносят воды… довольно мутной… Поднос в руках служанки дрожит так, что питьё плещет чрез край стакана; помертвелое лицо её что-то страшно подёргивает. Мариорица ничего не замечает; вода выпита разом. Когда ей замечать! На адмиралтействе ударяет двенадцать часов, и всё существо её судорожно потряслось…

Наброшена кое-как на плеча шуба, накинута шапочка набекрень… кто-то стукнул в дверь: это арапка. Идут… по коридорам, худо освещённым или вовсе тёмным, спускаются по узким, истёртым, душным лесенкам, кое-где ощупью, кое-где падают… Скоро ли? Вот сейчас!

И вот они у какой-то двери: ключ щёлкнул, дверь вздохнула. Мариорица дышит свежим, холодным воздухом; она на дворцовой набережной. Неподалёку, в темноте, слабо рисуется высокая фигура… Ближе к ней. Обменялись вопросами и ответами: «Ты?» – «Я!» – и Мариорица пала на грудь Артемия Петровича. Долго были они безмолвны; он целовал её, но это были не прежние поцелуи, в которых горела безумная любовь, – с ними лились теперь на лицо её горячие слёзы раскаяния.

– До чего довёл я тебя, несчастную! – сказал он наконец.

– О! Не говори мне про несчастия, – возразила она, увлекая его далее. – Чего недостаёт мне теперь? Я с тобою… Вот видишь, как я обезумела от своего счастия… мне столько было тебе сказать, и я всё забыла. Постой немного… дай насмотреться на тебя, пока глаза могут ещё различать твои черты; дай мне налюбоваться тобою, может быть, в последний раз…

Они остановились. Мариорица схватила его руку, жала её в своих руках, у своего сердца, силилась пламенными взорами прорезать темноту, чтобы вглядеться в Артемия Петровича и удержать милые ей черты.

– В последний раз? – спросил он с горестным участием. – Отчего так?

– Нам должно расстаться! – отвечала она.

Он не возражал, но с нежностью поцеловал её руку. Молчание его говорило: нам должно расстаться!

– Ну, если б я умерла, поплакал ли бы ты обо мне?

– Что это значит?.. Объяснись…

– Надо ж когда-нибудь умереть… не ныне, завтра… когда-нибудь…

– Милая! Не мучь меня, ради Бога… Что за ужасные мысли, что за намерения? Скажи мне.

Догадываясь по трепету его рук, по сильному биению сердца, ударявшего в её грудь, что мысль об её смерти встревожила Артемия Петровича, довольная этими знаками любви, она старалась успокоить его:

– Нет, милый, нет, я пошутила… я буду жить, но такая жизнь всё равно что смерть… нам надо расстаться для твоего счастия, для твоего спокойствия. Однако ж пойдём далее; здесь могут нас заметить… Видишь, как я стала осторожна!

Они пошли далее.

На этот раз Волынский дал было обет сохранить себя от всех искушений; но ласки Мариорицы были так нежны, так жарки, что обеты его понемногу распадались…

Надо было иметь силу остановиться на первом шагу, объяснить свои намерения, как друзья проститься, но… они пошли далее.

Каким исступлённым восторгом пылала она, жрица любви возвышенной и вместе жертва самоотвержения!.. Не земным наслаждениям продавала она себя, Мариорица сожигала себя на священном костре…

Любовники остановились у дверей ледяного дома. Чудное это здание, уж заброшенное, кое-где распадалось; стража не охраняла его; двери сломанные лежали грудою. Ветер, проникая в разбитые окна, нашёптывал какую-то волшебную таинственность. Будто духи овладели этим ледяным дворцом. Два ряда елей с ветвями, густо опушёнными инеем, казались рыцарями в панцирях матового серебра, с пышным страусовым панашом на головах.

Волынский стал у порога и не шёл далее. Святое чувство заглянуло ещё раз в его душу.

– Что ж?.. – сказала она, увлекая его, как исступлённая вакханка.

– Если переступим порог, мы погибли, – отвечал он.

– Дитя!.. Ты боишься любви моей?.. Не погубить, спасти тебя хочу; но вместе хочу, чтобы ты меня знал…

Этим упрёком всё святое опрокинулось в душе его. Пристыженный, он схватил её в свои объятия и понёс сладкое бремя…

– О милый! – сказала она, крепко обвив его своими руками, – наконец ты мой, на этот час ты мой; не отдам тебя никому, приди хоть сам Бог!.. Для этого часа я послана провидением на землю, для него я жила… в нём моё прошедшее и будущее…

Дворец в своей чёрной мантии уже приподнимался пред ними. Они прощались, долго прощались… Лицо Волынского было мокро от слёз Мариорицы; сердце его разрывалось.

Они расстались было, но опять воротились друг к другу. Ещё один длинный, томительный поцелуй… он проводил её до дворца. Ещё один… губы её были холодны как лёд; она шаталась… Дверь отворилась, дверь вечности… Мариорица едва имела силы махнуть ему рукой… и исчезла.

Он ещё долго стоял на одном месте, погружённый в ужасное предчувствие.

Несчастный! Ты увидишь её – разве там, где мёртвые встают!..

– Не покидай меня, – сказала Мариорица, стиснув руку арапке, отворившей ей потаённую дверь, – у меня ножи в груди… режут её… Но счастие моё было так велико!.. Я всё преодолела… победа за мной!.. Теперь нет сил терпеть… Понимаю… ад… Как я им благодарна!.. Они… за меня сами всё исполнили… избавили меня от самоубийства… Господи! Как ты милостив!

Испуганная арапка с трудом дотащила её до её комнаты. Было в ней темно. Служанка спала или притворялась спящею. Мариорица не велела будить её, не велела зажигать свеч. Сильные конвульсии перебирали её; по временам слышен был скрежет зубов, но она старалась, сколько могла, поглотить в себе ужасные муки.

– Какие страдания! – говорила она, не пуская от себя арапку, – но всё это пройдёт сейчас!.. Вот уж и прошло!.. Как хорошо!.. Ах, милая! Кабы ты знала, какая прекрасная ночь!.. На мне горят ещё его поцелуи… Какое блаженство умереть так!.. Завтра ты скажешь ему, что я умерла счастлива, как нельзя счастливее, как нельзя лучше; прибавь, что никто не

будет любить его, как я… О! он меня не забудет… он оценит, что я для него сделала… Сыщи за зеркалом письмо, отдай государыне, но только тогда, когда меня не станет… поклянись, что отдашь… В этом письме его счастие…

И арапка, не зная, что делает, клялась, обливаясь слезами.

– Ох! Боже, Боже мой!.. Что-то у меня в груди… Ничего, ничего, – произнесла она тише, уцепясь за рукав арапки, – это пройдёт скоро… Слышишь ли? Скажи ему, что посреди самых жестоких мук… милый образ его был передо мною… пойдёт со мной… что имя его… на губах… в сердце… ох! Милый… Артемий… прости… Арт…

Конец этого слова договорила она в вечности.

Бренная храмина опустела; дух, оглашавший её гимнами любви и пропевший последний высокий стих этой любви, отлетел… Арапка держала уж холодный труп на руках своих. Она вскрикнула, ужасно вскрикнула, так что стены задребезжали.

– Что такое? Что такое? – спросила вскочившая с постели служанка.

– Княжна… умерла, – могла только сказать арапка.

– Княжна умирает, – повторила служанка, выскочив в коридор, и этот возглас раздался по дворцу и дошёл осторожно, шёпотом, до изголовья государыни.

Призваны были искуснейшие лекари, употребляли всё, чтобы… Но мёртвые не воскресают. С трудом оттащили Анну Иоанновну от трупа любимицы её.

Когда этот труп клали в гроб, на груди её, у сердца, лежал венком чёрный локон… Ни одна злодейская рука не посягнула на него; он пошёл с нею в гроб.

Небо услышало твои молитвы, прекрасное, высокое создание! Ты умерла в лучшие минуты своей жизни; ты отлетела на небо с венком любви, ещё не измятым, ещё вполне сохранившим своё благоухание!..

Глава X
ПОХОРОНЫ

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла…
О друг! я всё земное совершила,
Я на земле любила и жила!

Жуковский

Поутру, чтобы не тревожить государыни близостью мертвеца, вынесли княжну Лелемико в церковь Исакия Далматского.

Выносы были великолепные.

Во дворце решили, что она умерла от удара. Сама Анна Иоанновна видела раз, как она кашляла с кровью; по разным признакам надо было ожидать такой смерти, говорили доктора. Вспомнили теперь, будто профессор физики и вместе придворный астролог (Крафт) за несколько дней предсказывал её кончину. Утешались тем, что суженого не избегнешь.

Письмо Мариорицы к государыне не нашлось за зеркалом.

Все в городе знали о смерти княжны; но тому, кто был первою виною её, не смели о ней сказать. Наконец… и он узнал.

Отказываюсь от муки описывать ужасное его состояние. Скажу только, что у него, как у несчастной королевы Марии-Антуанетты, в один день побелели волосы.

Было много посетителей у гроба княжны Лелемико.

Как хорошо лежала она в нём, будто живая! Как шли к ней на её чёрных волосах этот венок из цветов и эта золотая диадема, которою венчают на смертном одре и последнего из людей!..

Видели у этого гроба рыдающую женщину; видели, как она молилась с горячею верою

за упокой души усопшей, как она поцеловала и перекрестила её.

Молившаяся за Мариорицу, благословлявшая её, была жена Волынского.

Видели потом у гроба мужчину… Лицо мертвеца, искажённое страданиями, всклоченные волосы… в мутных, страшных очах ни слезинки! Вид его раздирал душу. Это был сам Волынский. Забыв стыд, мнения людей, всё, он притащился к трупу той, которой лобзания ещё не остыли на нём… Долго лежал он полумёртвый на холодном помосте храма. Встав, он застонал… от стона его потряслись стены храма, у зрителей встали волосы дыбом… Служитель алтаря оскорбился этими стенаниями… несколько десятков рук вытащили несчастного… Ему не дали проститься с ней… Может быть, он и не посмел бы!

Целый день женщины, дети, старики, множество народа толпились около гроба княжны. Всякий толковал по-своему о смерти её; иной хвалил приличие её наряда, другой – узоры парчи, богатство гроба, все превозносили красоту её, которую и смерть не посмела ещё разрушить.

В этот самый день Мариула жалобно просилась из ямы; в её просьбе было что-то неизъяснимо убедительное. На другой день опять те же просьбы. Она была так смирна, так благоразумна, с таким жаром целовала руки у своего сторожа, что ей нельзя было отказать. Доложили начальству, и её выпустили. Товарищ её, Василий, не отходил от неё. Лишь только почуяла она свежий воздух и свободу, – прямо на Дворцовую площадь. Пришла, осмотрелась… глаза её остановились на дворце и радостно запрыгали.

– Ведь это дворец? – спросила она.

– Ты видишь, – отвечал печально цыган, знавший уже о смерти княжны Лелемико.

– Да, да, помню!.. Тут живёт она, моё дитя, моя Мариорица… Давно не видала её, очень давно! Божье благословение над тобой, моё дитя! Порадуй меня, взгляни хоть в окошко, моя душечка, мой розанчик, мой херувимчик! Видишь… видишь, у одного окна кто-то двигается… Знать, она, душа моя, смотрит… Она, она! Сердце её почуяло свою мать… Васенька! Ведь она смотрит на меня, говори же…

– Смотрит, – сказал старик, и сердце его поворотилось в груди. Он отвернулся, чтобы утереть слёзы.

– Каково ж, Васенька? Княжна!.. В милости, в любви у государыни!.. Невеста Волынского… Скоро свадьба!.. Каково? Ведь это всё я для тебя, милочка, устроила. Ты грозишь мне, чтобы я не проговорилась… Небось не скажу, что мать твоя цыганка… Да не проговорилась ли я когда, Васенька?..

Она тёрла себе лоб, как будто припоминала себе что-то.

– Нет, никогда.

– То-то и есть!.. Не пережить бы мне этой беды!.. Проговориться?.. Да разве я с ума сошла!.. Не бойся, душечка моя, не потревожу твоего счастия… Бог это будет знать да я.

Мариула была счастлива; это счастие горело в чёрных диких глазах её.

Вдруг от Исакия Далматского ветер донёс до слуха её заунывное похоронное пенье.

– Что это? – сказала она, откинув фату свою, чтобы лучше слышать.

Пенье приближалось.

– Кого-то хоронят… Слава Богу, что не с той стороны… не из дворца несут!..

– Да, не из дворца, – подхватил испуганный цыган. – Мне сказывали, что княжна Лелемико будет ныне в Гостином дворе. Пойдём лучше туда, дожидаться её.

– Пойдём, – отвечала Мариула, крепко схватив его за руку, – может статься, мы там увидим её.

Они отошли к *большой прешпективе* .

В это время вдали поравнялся с ними розовый гроб, предшествуемый многочисленным синклитом. Мариула остановилась… Вытянув шею, она жадно прислушивалась к пенью; сердце её шибко билось, синие губы дрожали… Гроб на повороте улицы исчез.

– Слава Богу, что не из дворца! – повторила она; кивнула ещё раза два дворцу ласково, с любовью, как бы говоря: «Божье благословение над этим домом!» – и побежала с товарищем к Гостиному двору искать, смотреть княжну Лелемико…

Глава XI
АРЕСТ

Делайте с ним что хотите… с той поры как земля взяла её к себе, он перестал быть вельможею, подданным, гражданином, мужем… все связи его с миром прерваны.

Прошло несколько дней, Волынский, убитый своею судьбой, не выходил из дому. До слуха Анны Иоанновны успели уж довесть ночное путешествие… дела государственные стали. Она грустила, скучала, досадовала. В таком душевном состоянии призвала к себе Остермана, Миниха и некоторых других вельмож (все, кроме Миниха, были явные противники Волынского) и требовала советов, как ей поступить в этих затруднительных обстоятельствах. Остерман и за ним другие объявили, что спасти государство от неминуемого расстройства может только герцог курляндский. Миних молчал.

Этот ответ льстил сердцу государыни; она спешила им воспользовался. Бирон был позван.

Собираясь во дворец, герцог велел позвать к себе Липмана. Среди ликования семейного он обнял его и поздравил с победой.

– Я вам ручался за неё головой моей, – отвечал Липман.

Глаза обоих блистали адским огнём. Герцог хотел показать своё великодушие.

– Желаешь ли, – сказал он, – чтоб я облегчил участь твоего племянника и ограничился одним изгнанием?

– Требую его казни, – подхватил клеврет с жестокою твёрдостью, поразившею самоё семейство его патрона. За эту твёрдость, достойную Брута (как говорил Бирон), он удостоился нового прижатия к груди его светлости.

Пасмурный, угрюмый явился Бирон во дворец. Не уступая, он хотел возвратить прежнее своё влияние на душу государыни. Это ему и удалось. Лишь только показался он у неё, она протянула ему дрожащую руку и сказала голосом, проникнутым особенным благоволением:

– Забудем старое; мир навсегда!

Припав на колено, Бирон спешил поцеловать эту руку; потом, встав, произнёс с твёрдостью:

– Благоволением вашего величества вознаграждён я за несправедливости. В них вовлекли вас враги мои; но забыть прошедшее могу и должен только с условием. Не хочу говорить о кровных оскорблениях слуги, преданного вам до последнего издыхания, посвятившего вам себя безусловно, неограниченно, готового для вас выдержать все пытки: за эти обиды предоставляю суд вам самим. Но оскорбление моей императрицы мятежными подданными, унизительное приноровление вас к какой-то Иоанне, нарушение вашего спокойствия даже среди невинных забав ваших, позорная связь в самом дворце, которой причину нагло старались мне приписать, бесчестье и смерть вашей любимицы, умышленное расстройство государственного управления и возбуждение народа к мятежу… о! В таком случае чем кто ближе к вам, тем сильнее, неумолимее должен быть защитником ваших прав. Он не отойдёт от вашего престола, пока не охранит его и нарушители этих прав не будут достойно наказаны. Ваше величество возвращаете мне снова милости ваши и прежнюю мою власть: не приму их иначе, как с головою мятежного Волынского и сообщников его…

– Этого никогда не будет! – вскричала государыня, испуганная решительным предложением своего любимца.

– В таком случае я, как ложный обвинитель верноподданных ваших, повергаю себя высшему суду: вы должны меня казнить.

– Нет, нет, вы по-прежнему мой советник, мой друг; Волынского мы удалим…

– Этого мало для примера подобных ему или мне. Моя или его голова должна слететь;

нет середины, ваше величество! Избирайте.

– Боже мой! Что они со мною делают! – говорила Анна Иоанновна, обращая глаза к небу, как бы прося его помощи.

– Вашему величеству предлагают собственное ваше благо, благо империи, вверенной вам Богом.

– По крайней мере, не без суда… Да, я хочу, чтобы он предан был суду, и если оправдается…

– Обвинения законные, – сказал Бирон, вынув из бокового кармана бумагу и подложив её к подписи государыни, – закон и должен наказать или оправдать. Я ничего другого не требую. Осмелюсь ли я, преданный вам раб, предлагать что-либо недостойное вашего характера, вашей прекрасной, высокой души?.. Взгляните на осуждения… Государыня! Твёрдость есть также добродетель… Воспомните, что этого требует от вас Россия…

Перо подано государыне. Дрожащею рукою подписала она приказ держать Волынского под арестом в собственном доме, и предать его суду за оскорбление величества, и прочее, и прочее.

Участь кабинет-министра и его друзей была решена. Так вертится колесо фортуны!..

Пока наряжался суд, Эйхлер успел дать знать об этом Артемию Петровичу.

– Спасайтесь, – говорил он ему, – голова ваша обречена плахе.

– Я ожидал этого, – отвечал хладнокровно Волынский, приподняв с подушки отяжелевшую голову, – я готов… Пора! Недостойный муж, недостойный сын отечества, омерзевший друзьям, самому себе, я только тягочу собою землю. Зуда прав: не мне, с моими страстями, браться было за святое, великое дело!.. Наказание, посылаемое мне Богом, считаю особенной для себя милостью. Ах! Если б оно искупило хоть часть грехов моих… Нет, друг мой, я не побегу от руки, меня карающей. Жаль мне только вас… Спасайтесь вы с Зудою, пока ещё время.

Волынский встал, отпер своё бюро и вынул несколько свёртков с золотом.

– Возьмите это, друзья мои… поспешите где-нибудь укрыться… деньги вам помогут лучше людей… а там проберётесь в чужие края. Да спасёт вас десница милосердого Бога от новых бед и страстей, подобных моим… Когда меня не будет, не помяните меня лихом…

– За кого почитаете вы меня? – прервал с негодованием Эйхлер. – Я поклялся разделить вашу участь, какова бы она ни была, и никогда не изменял своему слову. Разве и у меня недостанет сил умереть?..

Не было ответа. Рыдая, они обнялись.

Когда Волынский узнал, кто был наряжен судить его, он уверился, что смертный его приговор неминуем.

– Но прежде казни моей, – сказал он, – хочу ещё замолвить одно слово государыне за моё отечество. Истина пред смертным часом должна быть убедительна.

Надеясь всего хорошего от личного свидания его с государыней, Эйхлер не отговаривал его.

Наскоро оделся кабинет-министр и отправился во дворец. Внезапному его там появлению изумились, как удивились бы появлению преступника, сорвавшегося с цепи. Придворные со страхом перешёптывались; никто не смел доложить о нём императрице. Недолго находился он в этом положении и собирался уже идти далее, прямо в кабинет её величества, как навстречу ему из внутренних покоев, – Педрилло. Наклонив голову, как разъярённый бык, прямо, всею силою, – в грудь Волынского. На груди означился круг от пудры.

– Ге, ге, ге! Каковы рога у козла! – вскричал Педрилло, отскочив шага на два назад, выпучил страшно глаза и заблеял по-козлиному.

Разъярённый, забыв, что он во дворце, кабинет-министр замахнулся на шута тростью… удар был силён и пришёл в шутовскую харю. С ужасным криком растянулся Педрилло; кровь полила из носу струёю.

– Кровь! Кровь! Убил!.. – раздалось по дворцу.

Тревога, беготня, шум. Прислуга, лекаря, придворные – всё смешалось, всё составило новый, грозный обвинительный акт против кабинет-министра.

Шута, вскоре оживлённого, прибрали. Но через несколько минут вышел из внутренних покоев фельдмаршал Миних и объявил Волынскому от имени её императорского величества, чтоб он вручил ему свою шпагу и немедленно возвратился домой, где ему назначен арест. Это объявление сопровождалось дружеским и горестным пожатием руки.

– Граф! – отвечал Волынский, отдавая ему свою шпагу и гофлакею свою трость, – участь моя решена… От вас Россия имеет право ожидать, чтобы вы докончили то, что внушила мне любовь к отечеству и что я испортил моею безумною страстью… Избавьте её от злодея и шутов и поддержите славу её…

Когда он возвращался домой, несколько людей остановили его карету.

– Спасайся, наш отец, – говорили они, – дом твой окружён крепким караулом. Отпряжём лошадей и ускачем от беды.

– Благодарю, друзья мои, – отвечал Артемий Петрович и велел кучеру ехать прямо домой.

Пленник сам отдался страже. На дворе успел он только проститься с Зудою, которого увлекали. В прихожей встретили его объятия жены, забывшей всё прошедшее при одной вести, что муж её в несчастии. Она узнала от Зуды благородный поступок Артемия Петровича по случаю предложения государыни жениться на княжне Лелемико.

Суд продолжался несколько дней. Не все формы были соблюдены. Но Волынского и друзей его велено осудить, и кто смел отступить от этого повеления?.. К прежним обвинительным пунктам присоединили и пролитие крови во дворце. Один из судей (Ушаков), подписывая смертный приговор, заливался слезами.

С этим приговором герцог курляндский явился к государыне.

– Что несёте вы мне? – спросила она дрожащим голосом и вся побледневши.

– Смертный приговор мятежникам, – отвечал он с грозною твёрдостью.

– Ах! Герцог, в нём написана и моя смерть… Вы решились отравить последние дни моей жизни…

Государыня заплакала.

– Я желаю только вашего благополучия и славы! Впрочем, на всякий случай я изготовил другое решение.

Бирон, трясясь в ужасном ожидании, подал ей другую бумагу.

– Что это значит? – вскричала Анна Иоанновна. – Казнь ваша?.. И вы даёте мне выбирать?..

– Ту голову, которая для вас дороже. Я не могу пережить унижение закона и честь вашу.

– Господи! Господи! Что должна я делать?.. Герцог, друг мой! Сжальтесь надо мною… мне так мало остаётся жить… Я прошу вас, я вас умоляю…

Государыня вне себя ломала себе руки. Бирон был неумолим. В эти минуты он истощил всё своё красноречие в защиту чести, закона, престола… Злодей восторжествовал. Четыре роковые буквы «Анна» подписаны рукою полуумирающей… Слёзы её испятнили смертный приговор.

Глава XII
РАЗВЯЗКА

Во всё время, пока продолжался суд, Наталья Андреевна не отходила от своего мужа, утешала его, как могла, читала ему псалмы, молилась с ним и за него. Последние часы его были услаждены этим ангелом, посетившим землю, не приняв на ней ничего земного, кроме человеческого образа. Она понемногу облегчала для него ужасный путь.

Наступил роковой час. Прислали – кого ж? Подачкина – взять бывшего

кабинет-министра из-под домашнего ареста, чтобы до исполнения приговора держать его в крепости.

– Безумцы! – сказал, горько усмехаясь, Волынский, когда надевали на него цепи, – они думают оскорбить меня, подчинив надзору бывшего моего слуги! Я уж не земной, а *там* не знают ни оскорблений, ни цепей.

Только при виде жены, лежавшей без памяти на пороге и загородившей ему собой дорогу, он потерял твёрдость. Облив слезами её ледяные руки, повергнулся пред образом Спасителя, молился о ней, поручал её с младенцем своим милостям и покровительству Царя Небесного:

– Будь им отец вместо меня! Если у меня будет сын, научи его любить отечество выше всего и…

Только Бог слышал остальные слова.

– Я хотел просить её благословения, – сказал он, когда толкнул его грубо Подачкин и напомнил, что время идти, – но, видно, я недостоин и его…

– Прости мне, хоть заочно, – прибавил он; с грустью ещё раз поцеловал её руку и перешагнул через неё…

На дворе ожидало его новое горестное зрелище. Вся дворня, от малого до большого, выстроилась в два ряда. Все плакали навзрыд; все целовали его руки, прощались с ним, молили Отца Небесного помиловать их отца земного. Каждого обнял он, всех умолял служить Наталье Андреевне, как ему служили… не покидать её в случае невзгоды…

Умолчу об ужасном заточении, об ужасных пытках… скажу только: они были достойны сердца временщика.

Наконец день казни назначен.

К лобному месту, окружённому многочисленным народом, привезли сначала Волынского, потом тайного советника Щурхова в красном колпаке и тиковой фуфайке (не знаю как, очутились тут же и четыре польские собачки его; верного Ивана не допустили); прибыли на тот же пир седовласый (сенатор) граф Сумин-Купшин, неразлучный с ним (гофинтендант) Перокин и молодой (кабинет-секретарь) Эйхлер. Какое отборное общество! Почти всё, что было благороднейшего в Петербурге!.. Недоставало только одного… Друзья осматривались, как будто искали его.

– Где ж Зуда? – спросил Эйхлер.

– Он сослан в Камчатку, – отвечал офицер, наряженный в экзекуцию[119].

– Благодарение Богу! – воскликнул с чувством Волынский. – Хоть одним меньше!

Негодование вылилось на лице Эйхлера.

– А разве меня выкинете из вашего счёта, – сказало новое лицо, только что приведённое на лобное место (это был служка несчастного архиепископа Феофилакта), – по крайней мере, я благодарю Господа, что дозволил мне умереть не посреди рабов временщика. Утешьтесь! Мы идём в лоно Отца Небесного.

Друзья, старые и новый, обнялись, прочитали с умилением молитву, перекрестились и ожидали с твёрдостью смерти.

В это время раскалённое ядро солнца с каким-то пламенным рогом опускалось в тревожные волны Бельта, готовые его окатить[120], залив, казалось, подёрнулся кровью. Народ ужаснулся… «Видно, пред новой бедой», – говорил он, расходясь.

Всё мёртвое отвезли на телеге, под рогожкою, на Выборгскую сторону, ко храму

---

[119] Участь Зуды облегчена, без всякого, однако ж, со стороны его домогательства, потому только, что он в самом начале борьбы Волынского с Бироном уговаривал первого не вступать в неё. До ссылки наказан он, однако ж, плетьми. Одну участь и в одно же время с Эйхлером имел генерал-кригскомиссар Соймонов. (Примеч. И. И. Лажечникова.).

[120] После жестоких морозов была оттепель, отчего в заливе переломался лёд. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

Самсона-странноприимца[121]; всё живое выпроводили куда следовало.

Предание говорит, что на лобном месте видели какого-то *некреста* , ругавшегося над головою Волынского и будто произнёсшего при этом случае: «Попру пятою главу врага моего». По бородавке на щеке, глупоумильной роже, невольническим ухваткам можно бы подумать, что этот изверг был… Но нет, нет, сердце отказывается верить этому преданию.

Вскоре Тредьяковский получил кафедру элоквенции.

Предание говорит также, что на первом этапе нашли Эйхлера, плавающего в крови, и подле него ржавый гвоздь, которым он себя умертвил.

Со дня казни полиция беспрестанно разбирала в драке людей Волынского, пустившихся в пьянство, с людьми Бирона. Неугомонных принуждены были выслать из города, а некоторых наказать плетьми.

От всего этого разрушения осталась одна несчастная Волынская, – Божье дерево, выжженное почти до корня ужасною грозою. Она дала слово жить для своего младенца – и исполнила его.

Всё имение осуждённых было взято в казну. Жене бывшего кабинет-министра оставили дворов пять в каком-то погосте, удалённом от Петербурга. За нею просились все дворовые люди; но позволили идти только двум старикам.

Ледяной дом рухнулся; уцелевшие льдины развезены по погребам. В доме Волынского, прежде столь шумном и весёлом, выл ветер. Народ говорил, что в нём поселился дух…

Когда растаял снег, на берегу Невы оказался весьма хорошо сохранившийся труп человека с бритой головой и хохлом… Под смертною казнью запрещено было говорить об этой находке.

Глава XIII
ЭПИЛОГ

Сыны отечества! В слезах
Ко храму древнего Самсона!
Там за оградой, при вратах,
Почиет прах врага Бирона.
Отец семейства! Приведи
К могиле мученика сына:
Да закипит в его груди
Святая ревность гражданина!

Рылеев

…Ангелам Своим заповедает о тебе, сохранять тебя на всех путях твоих.

Пс. XC, ст. II

Анна Иоанновна недолго пережила казнь Волынского. Чтобы сделаться правителем России, Бирону недоставало только имени: исторгнув его от умирающей государыни, предсказавшей вместе с этим падение своего любимца, регент недолго пользовался своею грозною, хищническою властью. Слово мученика не прошло мимо. Кто не знает об ужасной ночи, в которую, под неучтивыми ружейными прикладами, стащили его за волосы с пышной дворцовой постели, чтобы отправить в Сибирь по пути, протоптанному тысячами его жертв? Кто не слыхал об этой ночи, в которую жена его, столь надменная и пышная, предана

[121] Выстроенному Петром I в память победы, одержанной под Полтавою. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

поруганию солдат, влачивших её по снегу в самой лёгкой ночной одежде? За плащ, чтобы прикрыть свою наготу, отдала бы она тогда все свои бриллианты!.. Миних совершил это дело, может быть, оплодотворив в сердце своём семена, брошенные на него Волынским.

Мелькнула на ступенях трона и неосторожно оступилась на нём Анна Леопольдовна, это миловидное, простодушное дитя-женщина, рождённая не для управления царством, а для неги и любви. Россия ждала свою, родную царицу, дочь Петра Великого, и Елисавета Петровна одним народным именем умела в несколько часов приобресть державу, которую оспаривала у ней глубокая, утончённая, хотя и своекорыстная, политика, умевшая постигнуть русский ум, но не понимавшая русского сердца. *«Вы знаете, чья я дочь?»* – сказала она горсти русских, и эта горсть, откликнувшись ей родным приветом *матери* , в одну ночь завоевала для неё венец, у ней несправедливо отнятый.

Чего не могла сделать государыня по сердцу народа? Она сбросила с него цепи, заживила раны его, сорвала чёрную печать, которую сердце и уста были запечатаны, успокоила его насчёт *православия* , которым он так дорожит, воскрылила победу, дала жизнь наукам, поставив сердце России краеугольным камнем[122] того храма, который с её времени в честь их так великолепно воздвигается. Она – чего нам забыть не должно, – своим примером внушив немецкой княжне, что может народность над сердцем русского, подарила нас великою государынею, которая потому только в истории нашей не стоит на первом месте, что оно было занято Петром беспримерным. Тотчас по вступлении своём на престол Елисавета спешила посетить в душном, мрачном заключении тверского архиепископа Феофилакта.

– Узнал ли ты меня? – спросила она, снимая с него железа.

– *Ты искра Петра Великого!* – отвечал старец и умер вскоре, благословляя провидение, дозволившее ему увидеть на русском престоле народную царицу.

Русский гений поэзии и красноречия, в лице холмогорского рыбака, приветствовал её гармоническое царствование первыми сладкозвучными стихами и первою благородною прозой. Но лучшею одою, лучшим панегириком Елисавете были благословения народные. Вскоре забыли о кровавой бироновщине, и разве в дальних городах и сёлах говорили о ней, как теперь говорят о пугачёвщине; да разве в хижинах, чтобы унять плачущих ребят, пугали именем басурмана-буки.

Здесь должен я, однако ж, рассказать одно происшествие, которое невольно напоминает нам грозного временщика.

В один из летних дней 1743 года, когда вместе с жителями Петербурга улыбалась и природа, подходили от московской стороны к Исакию Далматскому три лица, на которых наблюдательный взор невольно должен был остановиться, которые живописец вырвал бы из толпы, тут же основавшейся, чтобы одушевить ими свой холст. Впереди шла крестьянка, по-видимому лет тридцати. Несмотря на худобу её и тёмный загар, напоминающий картины греческого письма, взор ваш сейчас угадал бы, что она была некогда красавица; сердце и теперь назвало бы её прекрасною – столько было души в её печальных взорах, так много было возвышенного, благородного, чего-то небесного, разлитого по её интересной физиономии. Это благородство в чертах, какая-то покорность своему жребию, несвойственная черни, и руки, хотя загорелые, но чрезвычайно нежные, не ладили с её крестьянской одеждой. За нею шёл седовласый старик, что-то вроде отставного солдата, в сером балахоне и в белом, чистом галстуке, в лаптях и с бритой бородой. Он имел одно из тех счастливых лиц, по которому с первого взгляда вы поручили бы ему свои деньги на сохранение, своё дитя под надзор. Он и нёс на руках дитя лет трёх, смугло-розовое, с чёрными кудрями, завитыми в кольца, с чёрными острыми глазами, которые, казалось, всё допытывали, всё пожирали. «Прекрасный цыганёнок!» – сказали бы вы. Между тем в нём было что-то такое, почему б вы его тотчас признали за барского сына. Обвив левою рукою

[122] Московский университет. (Примеч. И. И. Лажечникова.)

шею старика, он то прижимался к нему, когда встречали экипаж, с громом на них наезжавший, то ласково трепал его ручонкою по щеке, миловал его, то с любопытством указывал на высокие домы и церкви, на флаги кораблей, на золотую иглу адмиралтейского шпица.

– Это что, дядя, это что? – спрашивал он, поворачивая за подбородок голову старика, куда ему нужно было.

На лице последнего тяжёлыми слоями лежала печаль, так же как и на лице молодой женщины; но заметно было, что он, вызываемый из своего пасмурного состояния живыми вопросами малютки, силился улыбнуться, чтобы не огорчить его. Не с большею бережью и заботливостью нёс бы он царское дитя.

У паперти Исакиевской церкви остановились они. Дверь в церковь была отворена; в тёмной глубине её мелькала от лампады светлая, огненная точка. Молодая женщина взяла малютку с рук пестуна его, велела ему молиться и сама положила три глубоких земных поклона. Когда она встала, в глазах её блистали слёзы. Потом вынула из сумочки, на поясе висевшей, свёрнутую, крошечную бумажку и три гроша и, отдавая их слуге, сказала:

– Поскорей! Нам надо поспешать к обедне.

Слуга вошёл в церковь, где причет готовился к священнослужению, отозвал к себе дьячка, вручил ему бумажку и два гроша, на третий взял восковую свечу, поставил её пред образом Спасителя и, положив пред ним три земных поклона, возвратился к молодой женщине. Дьячок передал бумажку священнику, а тот, развернув её при свете лампады, прочёл вслух:

– *За упокой души рабы Божьей Марии* , – и прибавил лаконическое: – Будет исполнено!

Молодая женщина сама уж взяла на руки дитя, несмотря на заботливые предложения слуги понести это бремя. Потом вся эта занимательная группа побрела далее, чрез дворцовую площадь, в каком-то сумрачном благоговении, молча, с поникшими в землю взорами, как будто шла на поклонение святым местам. Сам малютка, смотря на пасмурное лицо молодой женщины, долго не смел нарушить это благочестивое шествие. Но против дворца необычайность поразившего его зрелища заставила его вскрикнуть:

– Мамаша, мамаша! Посмотри, что это такое?

Мать оглянулась, куда указывало дитя, и увидела в двух шагах от себя что-то безобразное, изуродованное, в лохмотьях, похожее на цыганку. Эти развалины живого человека лежали в двухколёсной тележке, которую вёз старик цыган. Грозно приподняв на него палку, полицейский служитель кричал, чтоб они съезжали с дворцовой площади и никогда на ней не показывались, что им уже давно велено из Петербурга вон. По-видимому, цыганка была лишена употребления ног. В диких глазах её выражалось совершенное расстройство ума. Она делала разные движения рукой, указывая на дворец, и бормотала какие-то приветствия какой-то княжне, называя её самыми нежными именами. Когда цыган хотел везти её далее, безумная приходила в бешенство, и тот принуждён был уступать, уверяя полицейского солдата, что они сейчас съедут, лишь бы ему немного вздохнуть.

Поравнявшись с ними, молодая крестьянка, или та, которую мы за неё принимаем, бросила во имя Христа в тележку несколько медных денег. Будто гальванической силой приподняло цыганку при взгляде на ребёнка.

– Подай, подай мне!.. Это его сын… – закричала она так, что мать в испуге бросилась бежать, озираясь частенько, не выскочила ли из тележки ужасная женщина, не преследует ли её…

Потеряв цыган из виду, она перекрестилась; но заметно было, что какие-то мрачные думы тревожили её во всю дорогу, и шаги её, прежде твёрдые, стали запинаться. Чаще взглядывала она на своё дитя, ещё нежнее прижимала его к груди.

Путь их был на Выборгскую сторону.

Они спешили. День был жаркий. Лицо молодой женщины разгорелось, щёки малютки алели – слуга убеждал отдать ему драгоценное бремя; но мать не соглашалась, как бы боясь поручить его хилым рукам старика, из которых какая-нибудь новая цыганка могла бы

вырвать.

Вот они уж на Выборгской стороне, вот и у церкви Самсона-странноприимца. Благоговейный ужас выразился на лицах пилигримов, когда они через ворота вошли в ограду. Здесь представился им погост, усыпанный многочисленными возвышениями, изрытыми смертью, этим всемирным, неутомимым кротом, – гостиница, где для всякого нового приезжего и прихожего всегда найдётся приличная почивальня, на которую ни один из них ещё не жаловался! И почти над всяким возвышением по камню, положенному будто из боязни, чтобы принятый землёю не возвратился на неё! И на каждом крест – знамение жизни земной и стремления к небу!.. С трепетом оглянулись путники на могилу у самых ворот… Молодая женщина побледнела, губы её посинели, и руки затряслись так, что она была готова уронить своё дитя. Слуга успел принять его и опустить возле себя на землю. Рыдая, пала странница на могилу и долго, очень долго лежала на ней без чувств. Старик стоял на коленах; он молился… слёзы текли по изрытым его щекам. Дитя плакало и, уцепившись ручонками за платье матери, силилось приподнять её.

Эта крестьянка была Наталья Андреевна Волынская, это дитя был её сын, старик – слуга её и пестун малютки.

Наталья Андреевна пришла в Петербург, куда вызвало её правительство для возвращения ей имения, отнятого в казну во время бироновщины. Первым делом её, по прибытии в город, было идти на святую для неё могилу.

Ударили в колокол к обедне. Стараниями усердного служителя приведена она в себя. Она перекрестилась, стала на колена, схватила сына и, наклонив его голову на могилу, говорила ему, нередко прерывая свою речь рыданиями…

– Здесь лежит отец твой… молись за упокой души его… скажи: папенька! благослови меня с того света!

И дитя твердило:

– Папенька! Благослови меня с того света…

– О милый, незабвенный друг! Видишь, я исполнила обет свой… Я дала тебе сына… Посмотри, он весь в тебя… Я привела его к. тебе… Благослови нас, милый мученик!.. Кабы не он, я давно б лежала здесь подле тебя.

Вдохновенная своею любовью, она, казалось, видела кого-то сходящего с неба, и глаза её блистали дивным, неизъяснимым восторгом.

Слуга напомнил, что пора к обедне. В самом деле, она началась, и Волынская, бросив ещё взгляд на бугор, где, казалось, почивало существо, для неё бесценное, шатаясь, побрела с своим младенцем в церковь. Там дьячок читал уж апостол. Кроме двух, трёх старух, богомольцев никого не было. Невольно взглянул чтец на пришедших… и что ж? Он смешался… голос его начал прерываться более и более, наконец слёзы задушили его.

– Что с тобой? – спросил священник с неудовольствием.

Этот выговор заставил его оправиться; кое-как докончил он чтение. Нередко вглядывался в него и слуга Волынского. По окончании обедни, когда Наталья Андреевна просила отслужить панихиду на могиле мужа, дьячок бросился целовать у ней руки и сказал:

– Матушка, Наталья Андреевна вы не узнали меня?.. А помните ли тайного советника Щурхова… приятель был вашего сожителя и положил вместе с ним голову: я Иван… бывший дворец…

Дьячок не договорил и залился опять слезами.

Это был верный служитель благородного, возвышенного чудака в красном колпаке. Он выучился исправно читать и определился дьячком к той церкви, при которой был погребён его барин. Он не хотел расстаться и с прахом его.

С любовью сестры Наталья Андреевна обняла Ивана и представила ему своего сына.

Можно догадаться, с каким чувством пел он похоронные песни при служении панихиды.

По окончании её повёл он Волынскую на ближнюю могилу.

– Здесь лежат косточки моего барина… – начал он и опять не договорил. Немного

погодя, оправившись, продолжал: – Ах! матушка, кабы вы знали, как всё его-то для меня дорого… Обноски его берегу словно зеницу ока… Две польские собачки и теперь живут со мною; а двух других, поверите ли? не мог оттащить от его могилы; на ней, бедненькие, и издохли…

С того времени видали очень часто молодую знатную барыню, всю в чёрном, с маленьким сыном на могиле Волынского. На ней, казалось, она состарилась, на ней выростила и воспитала его.

Слышно было вскоре, что в Рыбачьей слободе умерла какая-то сумасшедшая цыганка и что её товарищ ускакал Бог весть куда, на кровном коне, которого украл с бывшей конюшни Бирона.

КОММЕНТАРИИ

Об авторах

ВОЛКОНСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ (1860—1917), беллетрист, драматург. Родился в Петербурге в знатной, но давно обедневшей семье. Окончил в 1882 году училище правоведения. Служил помощником делопроизводителя в канцелярии главного управления государственного коннозаводства, чиновником по особым поручениям при министерстве народного просвещения. В 1891 году вышел в отставку с чином надворного советника. Первые публикации относятся к 1885 году. Автор романов из современной жизни («Семья Колениных» (1890), «Мёртвые и живые» (1898), «Одержимые» (1899) и др.) и более двадцати исторических произведений, написанных под большим влиянием двоюродного дяди – историка и беллетриста Е. П. Карновича. В 1891—1915 годах опубликовал романы и повести: «Мальтийская цепь», «Князь Никита Фёдорович», «Воля судьбы», «Брат герцога», «Кольцо императрицы», «Записки прадеда» и многие другие.

Роман «Князь Никита Фёдорович» печатается по тексту литературного приложения к журналу «Нива» за 1891 год, книги 10-12.

ПОЛЕЖАЕВ ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ, русский писатель второй половины XIX – начала XX века. В конце 40-х годов окончил юридический факультет Казанского университета. Автор мемуаров «Давно минувшее. Студенческие воспоминания» (1894), книги публицистики «За шесть лет (1906—1912)» (1912), а также многочисленных исторических произведений: «Московское княжество в I половине XIV века» (1878), «Престол и монастырь» (1880), «Царевич Алексей Петрович» (1882, вторая часть романа под названием «Побег и смерть» – 1885), «Лопухинское дело» (1883), «150 лет назад. Бирон и Волынский» (1837), «Фавор и опала» (1903).

Роман «150 лет назад. Бирон и Волынский» печатается по изданию В. И. Губинского, СПб, 1902 год.

ЛАЖЕЧНИКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ (1792—1869), прозаик. Родился в богатой купеческой семье, получил хорошее домашнее воспитание. С 1807 года начал печататься в журналах «Вестник Европы», «Русский вестник», «Аглая». В 1812 году бежал из дому и вступил в русскую армию. Лажечников участвовал в последнем этапе Отечественной войны и европейских походах 1813, 1814 и 1815 годов. Автор «Походных записок русского офицера» (1817—1818). После отставки (1819) служил по министерству народного просвещения вплоть до 1837 года. В 30-е годы написал исторические романы «Последний Новик» (1831—1833), «Ледяной дом» (1835), «Басурман» (1838), принёсшие автору известность и признание. С 1847 года Лажечников снова на службе: тверской, затем

витебский вице-губернатор, а в 1856—1858 годах – цензор петербургского цензурного комитета. Последние романы Лажечникова «Немного лет назад» (1862) и «Внучка панцирного боярина» (1868), где автор обратился к современной ему тематике, не имели уже шумного успеха у читателей.

Текст романа «Ледяной дом» печатается по изданию: Лажечников И. И. Ледяной дом. М… «Правда», 1979.

Читателю несложно будет соотнести имена персонажей романа «Ледяной дом» с реальными историческими лицами, явившимися прототипами этих героев: Перокин, Щурхов, Зуда, Сумин-Купшин – Еропкин, Хрущёв, де ла Суда, Мусин-Пушкин. Прототипом Кульковского был М. А. Голицын.

«1722 г., Генваря 24. Табель о рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, однако ж воинские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был.» (в оригинале – таблица).

Класс 1:
Воинские:
Сухопутные: Генерал-фельдмаршал
Гвардейские: –
Морские: Генерал-адмирал
Артиллерийские: –

Статские: Канцлер

Придворные: –

Класс 2:
Воинские:
Сухопутные: Генералы: от кавалерии, инфантерии. Штатгальтер.
Гвардейские: –
Морские: Адмирал (прочих флагов)
Артиллерийские: Генерал-фельдцейхмейстер

Статские: Действительный тайный советник

Придворные: Обер-гофмаршал

Класс 3:
Воинские:
Сухопутные: Генерал-лейтенант. Кавалеры ордена св. Андрея Первозванного. Генерал-кригскомиссар.
Гвардейские: –
Морские: Вице-адмирал. Генерал-кригскомиссар
Артиллерийские: Генерал-лейтенант

Статские: Генерал-прокурор
Придворные: Обер-шталмейстер

Класс 4:

Воинские:
Сухопутные: Генерал-майор
Гвардейские: Полковник
Морские: Шаутбенахт, обер-цейхмейстер
Артиллерийские: Генерал-майор. Генерал-майор-от-фортификации

Статские: Президенты коллегий и штатс-конторы. Тайный советник. Обер-прокурор.

Придворные: Обер-гофмейстер Обер-камергер.

Класс 5:
Воинские:
Сухопутные: Бригадир. Оберштер, кригскомиссар, генерал-провиантмейстер.
Гвардейские: Подполковник.
Морские: Капитан-командор, капитан над портом Кронштлотским, Обер-сарваер от корабельного строения, интендант Цейхмейстер, Обер-штер, кригс-комиссар.
Артиллерийские: Подполковники-от-артиллерии.

Статские: Герольдмейстер, Генерал-рекетенмейстер, Обер-церемониймейстер, Обер-валтмейстер, Вице-президент коллегии, Генерал-полицмейстер, Архиатер, Генерал-постдиректор, Директор от строений.

Придворные: Гофмейстер, Гофшталмейстер, Тайный кабинет-секретарь, обер-гофмейстер при ЕИВ императрице, обер-шенк.

Класс 6:
Воинские:
Сухопутные: Полковник, казначей, обер-провиантмейстер, обер-комиссар, генерал-адъютант при императоре, прокурор, генерал-квартирмейстер.
Гвардейские: Майор.
Морские: Капитан 1 ранга, Капитан порта, Сарваер корабельный, прокурор, интендант партикулярной верфи СПб, казначей, обер-провиантмейстер, обер-комиссар.
Артиллерийские: Подполковник-от-артиллерии, Полковник-инженер, Обер-комиссар.

Статские: Прокурор в статской коллегии. Президенты в надворных судах, тайный советник канцелярии, Иностранной коллегии. Обер-секретарь Сената. Обер-рентмейстер в резиденции, советники в коллегиях.

Придворные: Шталмейстер, Действительный камергер, Гофмаршал, Обер-егермейстер, первый лейб-медик.

Класс 7:
Воинские:
Сухопутные: Подполковник, генерал-аудитор, генерал-провиантмейстер-лейтенант, генерал-вагенмейстер, генерал-гевальдигер, генерал-адъютант при ген. – фельдмар., контроллер.
Гвардейские: Капитан.
Морские: Капитан 2 ранга, Контроллер.
Артиллерийские: Майор, Подполковник-инженер, Обер-контроллер.

Статские: Вице-президенты в надворных судах, обер-секретари в Военной, Адмиралтейской и Иностранной коллегиях, экзекутор при Сенате, обер-фискал, прокурор

при надворном суде, церемониймейстер.

Придворные: Гофмейстер при ЕИВ императрице, лейб-медик при ЕИВ императрице.

Класс 8:

Воинские:

Сухопутные: Майор, генерал-адъютанты при полных генералах, генерал-аудитор-лейтенант, обер-квартирмейстер, Обер-фискал, цалмейстер.

Гвардейские: Капитан-лейтенант.

Морские: Капитан 3 ранга, Корабельный мастер, цалмейстер, обер-фискал

Артиллерийские: Майор-инженер, капитан, шталмейстер, обер-цейхвартер, контроллер.

Статские: Унтер-штатгальтер, экономии гальтер, регирунсраты в губернии. Обер-директор над пошлинами и акцизами. Обер-ландрихтер. Президент в магистрате, обер-комиссар в коллегии. Асессор в коллегии, обер-провиантмейстер, обер-секретарь в коллегии, секретарь в Сенате, обер-бергмейстер, обер-валдейн, обер-минцмейстер, надворный советник. Надзиратель лесов, воевода.

Придворные: Титулярный камергер, гоф-шталмейстер, надворный интендант.

Класс 9:

Воинские:

Сухопутные: Капитан, флигель-адъютант при ген. – фельдмар. и полном генерале, адъютант при ген. – лейтенанте, обер-провианмейстер, генерал-штабквартирмейстер, обер-аудитор, полевые почтмейстеры, генерал-профосы.

Гвардейские: Лейтенант.

Морские: Капитан-лейтенант, Галерный мастер.

Артиллерийские: Капитан-лейтенант, капитан-инженер, обер-аудитор, квартирмейстер, комиссары пороховых и селитренных заводов.

Статские: Титуляр. советник, секретари в военных и Иностран. колл., обер-ренмейстер в губернии, полмейстер, бургомистр от магистрата, ландрихтер в провинции, профессоры академий. Доктор факультета, архивариус при гос. архиве, сенатские протоколист и переводчик, казначеи монетного дела, асессор в надворном суде, директор над пошлиной в порту.

Придворные: Надворный егермейстер, надворный церемониймейстер, обер-кухенмейстер, камер-юнкер.

Класс 10:

Воинские:

Сухопутные: Капитан-лейтенант.

Гвардейские: Унтер-лейтенант.

Морские: Лейтенант.

Артиллерийские: Лейтенант, капитан-лейтенант-инженер, аудитор-цейхвартер, обер-вагенмейстер, капитан над мастеровыми людьми.

Статские: Секретари прочих коллегий, бургомистр от магистрата в губернии. Переводчики в коллегии. Протоколист в коллегии. Обер-комиссар экономии и обер-комиссар в губернии, асессор в губ. надворном суде, обер-цегентнер, бергмейстер, обер-бергпробиер.

Придворные: –

Класс 11:
Воинские:
Сухопутные: –
Гвардейские: –
Морские: Корабельный секретарь.
Артиллерийские: –

Статские: –

Придворные: –

Класс 12:
Воинские:
Сухопутные: Лейтенант.
Гвардейские: Фендрик.
Морские: Унтер-лейтенант, шкипер 1 ранга.
Артиллерийские: Унтер-лейтенант, лейтенант-инженер, фурлецкий поручик, вагенмейстер.

Статские: Секретари в надворном суде и канцелярии в губернии. Ратман. Камерир в коллегии, минцмейстер, форшмейстер, гитенфорвалтер, маркшейдер.

Придворные: Гоф-юнкер, Надворный лекарь.

Класс 13:
Воинские:
Сухопутные: Унтер-лейтенант, флигель-адъютант при генерал-лейтенанте.
Гвардейские: –
Морские: –
Артиллерийские: Штык-юнкер, унтер-лейтенант-инженер.

Статские: Секретарь в провинции, механикус, почтмейстер в СПб. и Риге. Коллежские переводчик и протоколист, сенатские актуариус и регистратор.

Придворные: –

Класс 14:
Воинские:
Сухопутные: Фендрик, флигель-адъютант при генерал-майоре и бригадире, штаб-фурьер.
Гвардейские: –
Морские: Корабельный комиссар, шкипер 2 ранга, канстапель.
Артиллерийские: Фендрик-инженер.

Статские: Комиссар при коллегии, фискал при губ. надворн. суде, камерир в провинции, земский комиссар, почтмейстер в Москве, архивариус, актуариус, регистратор и бухгалтер при коллегии. Земский рентмейстер, асессор в провинциальном суде, коллегии юнкер

Придворные: Надворный уставщик, гофмейстер пажей, гофсекретарь, надворный

библиотекарь, антиквариус, надворные камерир, аудитор, квартирмейстер и аптекарь, шлосфохт, надворный цейхмейстер, кабинет-курьер, мундшенк, кухенмейстер, келлермейстер, экзерцицеймейстер, надворный балбир.

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА

1730 год

19 января – около двух часов ночи в Лефортовом дворце скончался пятнадцатилетний Пётр II. Вечером того же дня в Митаву к герцогине Курляндской Анне Иоанновне отправляется посольство от Верховного тайного совета.

25 января – Анна Иоанновна подписывает предложенные Верховным тайным советом условия восшествия на престол, после чего отправляется из Митавы в Москву. По этим условиям Анна Иоанновна обязуется: 1) в супружество не вступать; 2) наследника себе не назначать; 3) без согласия Верховного тайного совета не начинать войны, не заключать мира, не накладывать податей и не жаловать имений и вотчин, не производить в чины выше полковничьего.

с 10 по 15 февраля – Анна Иоанновна останавливается под Москвой, в с. Всесвятском.

15 февраля – торжественный въезд Анны Иоанновны в Москву.

20-21 февраля – дворянство и жители Москвы приносят присягу Анне Иоанновне на основании подписанных ею условий («кондиций»).

25 февраля – аудиенция дворянства у Анны Иоанновны. На просьбу дворянства о сохранении самодержавия императрица приказывает разорвать подписанный ею в Митаве акт самоограничения.

28 февраля – 1 марта – проводится новая присяга императрице.

4 марта – подписан манифест об упразднении Верховного тайного совета.

9 апреля – опала и ссылка Долгоруких.

28 апреля – торжественная коронация императрицы Анны Иоанновны. В этот же день Эрнст-Иоганн Бирон назначается обер-камергером «с рангом действительного генерала».

1731 год

17 марта – отмена закона о единонаследии (майорате).

29 июля – учреждение в Санкт-Петербурге Шляхетского кадетского корпуса для подготовки дворян к военной и гражданской службе.

1732 год

15 января – императрица Анна Иоанновна приезжает из Москвы в Петербург.

16 января – торжественный въезд императрицы в Петербург.

17 апреля – указ о производстве за военные заслуги в офицеры солдат не только из шляхетства, но и из податных сословий, в том числе из крестьян.

1733 год

1 февраля – кончина польского короля Августа II.

14 марта – в Варшаву выезжает полномочный посол Российской империи граф Карл-Густав Левенвольде.

12 мая – дочь Екатерины Иоанновны (внучки царя Алексея Михайловича) и Карла-Леопольда, герцога Мекленбург-Шверинского, Елизавета-Екатерина-Христина принимает православие и в крещении получает имя Анна.

25 августа – в Варшаве открывается избирательный сейм.

11 сентября – польским королём избирается Станислав Лещинский.

20 сентября – 20-тысячная русская армия под командованием Ласси подходит к берегам Вислы.

22 сентября – Станислав Лещинский вынужден бежать в Данциг.

24 сентября – Россия, Австрия и Пруссия добиваются избрания королём Польским саксонского курфюрста Августа.

1734 год

Начало осады Данцига русской армией.

5 марта – под Данциг прибывает граф Миних.

28 июня – Данциг сдан русским войскам.

1735 год

Осень – начало войны между Россией и Турцией. Поводом к войне стало вторжение крымского хана в Кабарду.

1736 год

22 мая – войска под командованием графа Миниха взяли Перекоп.

20 июня – русская армия под командованием Ласси овладела крепостью Азов.

31 декабря – высочайший указ о праве дворян выходить в отставку через двадцать пять лет.

1737 год

Июнь – избрание Бирона герцогом Курляндским. С этого года он именуется «Божией милостью Эрнст-Иоганн Герцог Курляндский».

2 июля – Миних овладел крепостью Очаков.

5 августа – начало мирных переговоров с Турцией в Немирове. Первоначальные требования российской стороны: 1) присоединение к России Кубани, Крыма «и прочих земель, до р. Дуная лежащих»; 2) независимость Молдавского и Валашского княжеств. Из-за несогласия турецкой стороны Россия идёт на уступки, заявляя, что она «удовольствуется, чтоб границею была р. Днестр; земли от Азова до Днепра, Кинбурна, Кубани и о. Тамань» должны остаться во владении русских; перекопская линия должна быть уничтожена турками. К концу переговоров Россия претендует только на Азов, Очаков и Кинбурн «с пристойными границами», отказываясь от Тамани, Темрюка и всех земель, лежащих по ту сторону Кубани.

10 октября – безрезультатное завершение Немировского конгресса.

1739 год

3 июля – свадьба Анны Леопольдовны и принца Антона-Ульриха Брауншвейгского.

17 августа – Миних одерживает победу при Ставучанах.

19 августа – русская армия под командованием графа Миниха овладела Хотином.

1 сентября – подписание предварительных условий на мирных переговорах в Белграде. В этот же день русская армия под командованием Миниха вступает в Яссы.

18 сентября – окончательное подписание Белградского мира. Австрия возвращает Турции Сербию и часть Валахии. Россия отказывается от притязаний на Крым, Бессарабию, на освобождение от турецкой власти Молдавии и Валахии. Возвращаются завоевания, сделанные Россией во время войны. Таким образом, за Россией остаётся только Азов.

7 октября – русское правительство утверждает Белградский договор.

8 ноября – казнены Иван Алексеевич, Василий Лукич и Сергей Григорьевич Долгоруковы. Причиной сурового приговора стало случайно раскрывшееся «дело о подложной духовной» Петра II (в 1730 г.).

1740 год

6 февраля – свадьба шута кн. Голицына с калмычкой Буженинovой в Ледяном доме.

14 февраля – торжественное празднование Белградского мира в Петербурге.

12 апреля – домашний арест Артемия Петровича Волынского.

18 апреля – начало допросов Волынского в Тайной канцелярии.

19 июня – для суда над Волынским составлено Генеральное собрание.

23 июня – приговор по делу Волынского представлен на утверждение императрице Анне Иоанновне. Императрица повелевает Волынского, Еропкина и Хрущова казнить через отсечение головы.

27 июня – приговор по делу Волынского приводится в исполнение.

12 августа – у племянницы императрицы, Анны Леопольдовны, родился сын Иоанн.

Август – отмена указа о праве дворян выходить в отставку через двадцать пять лет.

5 октября – Анна Иоанновна объявляет наследником престола сына Анны Леопольдовны принца Иоанна.

16 октября – регентом до совершеннолетия принца Иоанна назначается герцог Бирон.

17 октября – кончина императрицы Анны Иоанновны.

Ночь с 8 на 9 ноября – Бирон и его ближайшие родственники и приверженцы, с согласия Анны Леопольдовны, арестованы.

9 ноября – Анна Леопольдовна объявляет себя правительницей.

10 ноября – Бирон заключён в Шлиссельбургскую крепость.

1741 год

18 апреля – обнародование манифеста «о винах бывшего герцога Курляндского». Бирон обвиняется в отсутствии религиозности, насильственном и обманном захвате регентства, намерениях удалить из России императорскую фамилию и утвердить престол за собой и своим потомством, небрежении о здоровье императрицы, водворении немцев и проч.

13 июня – Бирон и его семейство под конвоем отправляются в пелымскую ссылку.

13 августа – манифест от имени императора Иоанна об объявлении войны Швеции.

23 августа – Ласси одерживает победу над шведами у Вильманштранда.

25 ноября – дворцовый переворот, в результате которого на русский престол вступает дочь Петра I Елизавета Петровна.